ДЖОЙС

Аким Кубатиев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ирландец Джеймс Джойс (1882–1941) по праву считается одним из крупнейших мастеров литературы XX века. Его романы «Улисс» и «Поминки по Финнегану» причудливо преобразовывали окружающую действительность, вызывая полярные оценки — от восторженных похвал до обвинений в абсурдности и непристойности. Избегая внимания публики и прессы, он окружил свою жизнь и творчество завесой тайны, задав исследователям множество загадок. Их пытается разгадать автор первой русской биографии Джойса — писатель и литературовед Алан Кубатиев. В его увлекательном повествовании читатель шаг за шагом проходит вместе с героем путь от детства в любимом и ненавистном Дублине до смерти в охваченной войной Европе, от комедий и драм скитальческой жизни Джойса — к сложным смыслам и аллюзиям, скрытым в его произведениях.

- Кубатиев Алан Кайсанбекович. ДЖОЙС
  - Глава первая МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ, ЗАКЛАДНЫЕ
  - Глава вторая ИРЛАНДИЯ, РОЖДЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ
  - Глава третья ВЕРА, ШКОЛА, КНИГИ
  - Глава четвертая ДУША, ТЕЛО, НОША
  - Глава пятая ТЕАТР, КРИТИКА, ГОРДЫНЯ
  - Глава шестая СТРАНСТВИЕ, НЕВЕРИЕ, ТРУД
  - Глава седьмая ПАРИЖ, СТИХИ, ГОЛОД
  - Глава восьмая СМЕРТЬ, СЛОВО, ПИВО
  - Глава девятая ПЕСНЯ, ДЕВА, ПОБЕГ
  - Глава десятая ДОРОГА, РУКОПИСЬ, ВИНО
  - Глава одиннадцатая КВАРТИРЫ, СТРОКИ, МНОГОРЕЧЬЕ
  - Глава двенадцатая БРАТ, ИЗДАТЕЛИ, ВИНО
  - Глава тринадцатая ИТАЛИЯ, КЛЕРК, ПОБЕГ
  - Глава четырнадцатая «МЕРТВЫЕ», КНИГА, ИРЛАНДИЯ
  - Глава пятнадцатая ОРАТОР, ЖУРНАЛИСТ, ПОЭТ
  - Глава шестнадцатая ПОБЫВКА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ПОЕДИНОК
  - Глава семнадцатая ДУБЛИН, ХУДОЖНИК, ИСТОКИ
  - Глава восемнадцатая НЕУДАЧНИК, СКАНДАЛИСТ, ВОИТЕЛЬ
  - Глава девятнадцатая ТРИДЦАТИЛЕТИЕ, НЕВОЗВРАЩЕНИЕ, СРАЖЕНИЕ
  - Глава двадцатая ЭЗРА, ГАРРИЕТ, ТОМАС
  - Глава двадцать первая ОДИССЕЙ, «УЛИСС», ПОТОК

- Глава двадцать вторая ВОЙНА, ИЗГНАНИЕ, ДРУЗЬЯ
- Глава двадцать третья ЦЮРИХ, ПИСАТЕЛЬ, «ПОРТРЕТ…»
- Глава двадцать четвертая ЖИЛИЩА, СЦЕНА, СЛЕПОТА
- Глава двадцать пятая БАДГЕН, «УЛИСС», ПОЕДИНОК
- Глава двадцать шестая ВЛЮБЛЕННЫЙ, СКАНДАЛИСТ, «ИЗГНАННИКИ»
- Глава двадцать седьмая ТРИЕСТ, ОТЪЕЗД, ПАРИЖ
- Глава двадцать восьмая СИЛЬВИЯ, АДРИЕНН, «ЦИРЦЕЯ»
- Глава двадцать девятая ПОКЛОННИКИ, ПОМОЩНИКИ, ПОДДЕРЖКА
- Глава тридцатая КНИГА, КНИГА, КНИГА
- Глава тридцать первая ПОМИНКИ, ФИННЕГАНЫ, СЛЕПОТА
- Глава тридцать вторая СНОРЕЧЬ, СЛЕПОРЕЧЬ, НОЧЕСЛОВ
- Глава тридцать третья ОТЦЫ, ДЕТИ, ПСИХОАНАЛИЗ
- Глава тридцать четвертая ДОЧЬ, БЕЗУМИЕ, НАДЕЖДЫ
- Глава тридцать пятая МЭТР, МАЭСТРО, МАСТЕР
- Глава тридцать шестая КОНЕЦНАЧАЛОВЕЧНОСТЬ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖ. ДЖОЙСА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60

- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104

- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148

- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163

Кубатиев Алан Кайсанбекович. ДЖОЙС

Вопрос. А как вы относитесь к Джойсу?

Ответ. К Джойсу никак нельзя относиться. Это такая гора, а мы все в ее тени.

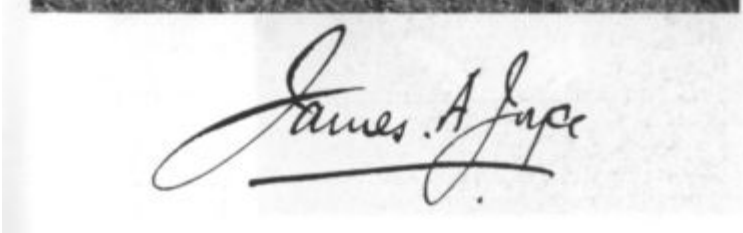
Джон Апдайк. Из интервью

Время, река и гора — вот истинные герои моей книги.

Джеймс Джойс о «Поминках по Финнегану»

Глава первая МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ, ЗАКЛАДНЫЕ

…And stare at the old bitter world
where they marry in churches…[1]



Нет ни одного члена семьи Джойсов, ни одного известного

ему родственника, которого он не сделал бы прототипом своей прозы. Закономерностей тут почти нет, хотя в целом те, кто носят фамилию Джойс, появляются в лучшем гриме, чем Мюрреи — члены семьи его матери. Тут Джойс следует предпочтениям своего отца, который жаловался, что имя Мюрреев вызывает у него ощущение вони, между тем как имя Джойсов благоухает. Его прямые предки не слишком разделяли это убеждение, но, как все ирландские Джойсы, претендовали на то, что происходят от прославленного клана из Голуэя, давшего имя деревне Джойс. Проверить это невозможно, но зачем отказывать им в этом невинном тщеславии?

Отец писателя, Джон Станислаус Джойс, при частых и вынужденных новосельях первым в новое жилье обычно вносил оправленное в роскошную раму гравированное изображение герба голуэйских Джойсов. В «Улиссе» он восклицает: «Выше головы! Пусть вьется наш флаг! Алый орел, летящий в серебряном поле!» А в «Портрете художника в юности» Стивен предлагает сомневающемуся однокласснику показать семейный герб в геральдическом зале Дублинского замка. На замечание: «Мы все сыновья королей» Стивен отвечает: «К сожалению», но Джеймс Джойс, как его отец или, что тоже примечательно, Шекспир, чрезвычайно дорожил гербами. Не слишком при этом волнуясь о доказательстве их подлинности, он добавил портрет отца к галерее семейных портретов кисти Уильяма Роу, тоже кочевавшей за ним с квартиры на квартиру.

Исследователи выводят имя Джойсов от французского joyeux (веселый), и Джеймс Джойс, который настаивал на том, что литература должна выражать «священный дух радости», принял свое имя как знамение. Годы спустя он будет носить в бумажнике портрет герцога де Жуайеза, жившего в XVII веке, и спрашивать друзей, не видят ли они разительного сходства. С другой стороны, он любил говорить о себе как о «Джеймсе Джойлессе», то есть «безрадостном», о «Джойсе-в-Пустыне» (Иисус в пустыне), «Джойсе Зла» (обыгрывается созвучие Joyce и joys, «радости») и размышлял о Фрейдовой концепции чужого имени, пусть и нежеланного.

В начале XIX столетия состоятельный житель Корка Джордж Джойс назвал своего сына Джеймсом. Этого Джеймса Джойса, прадедушку писателя, отличали яростный национализм, ненависть к священникам и неспособность к деловой жизни, унаследованные двумя следующими поколениями и давшие себя знать с должными поправками и в жизни писателя. Молодым Джеймс присоединился к «белым парням», католическим агитаторам против помещиков, был арестован и приговорен к

смерти, хотя приговор в исполнение не привели — к счастью для всех последующих Джойсов. Его сын Джеймс Огастин, родившийся в 1827 году в Роуз-коттедже, графство Фермой, стал его партнером по бизнесу, но деловой хватки не было ни у одного из них, и в 1852 году в книгах появилась запись о банкротстве двух Джеймсов, работавших под названием «Джеймс Джойс и сын, соль и добыча известняка».

Однако Джеймс Джойс-младший, дедушка писателя, сумел выгодно жениться и войти в богатую семью О'Коннелов. Семья прибыла с плоскогорья Ивергах, как и славный Дэниел О'Коннел[2], и претендовала на родство с ним. Он добродушно подтверждал родство и, когда приезжал в Корк, всегда наносил визит своему «кузену» Джону, державшему лавку тканей и портновскую мастерскую между церковью Святого Августина и углом Саут-Мейн-стрит. Джон О'Коннел и его жена, урожденная Эллен Маккан из Ольстера, имели большую семью. Один из сыновей, Чарльз, стал викарием Карригнавара и всегда отвергал приношения прихожан, потому что имел свои средства. Епископ пытался убедить его, что такое поведение несправедливо по отношению к другим священникам, но он упорствовал. Другой сын, Уильям, согласно «Портрету художника в юности», промотал свое состояние, переехал вместе с семьей Джона Джойса в Дублин и вернулся в Корк лишь за два года до смерти. Его внучатый племянник описывает Уильяма как «добродушного старика с загорелой кожей, резкими чертами лица и белыми бакенбардами, вполне способного на десяти-двенадцатимильную прогулку и выкуривавшего каждое утро у сарая на заднем дворе полную трубку вонючего табаку; волосы у него были тщательно причесаны, а цилиндр аккуратно на них надет».

Двое других детей Джона О'Коннела, Алисия и Эллен, около 1847 года стали послушницами монастыря Богоявления в Корке. Религиозная карьера Алисии была необычной. Однажды ей приснилось, что она стоит на высоком холме, глядя на море, и зовет неких детей; когда она проснулась, то решила, что место это — маленькая деревушка Кроссхейвен, в Корк-Харбор, где у ее брата Уильяма был домик на берегу. Она собрала семь тысяч фунтов, главным образом в своей семье, и учредила монастырскую школу Богоявления в Кроссхейвене, которая процветает и поныне. Под монашеским именем матери Ксавьеры она готовила Джона Джойса к первому причастию. Позже Джон, отец Джеймса Джойса, безуспешно старался уговорить ее деятельную преемницу мать Терезу взять двух его детей в школу на сниженную плату.

Эллен, сестра Алисии, не была расположена к такому

милосердию и предприимчивости; она пробыла послушницей восемь месяцев и решила оставить призвание по причине слабого здоровья. Ее отец вознамерился найти ей мужа, и священник предложил сосватать Джеймса Огастина Джойса, тогда двадцатиоднолетнего, то есть намного младше Эллен. Жена постарше и порешительнее могла его утихомирить — так полагали участники этого предприятия. Он в те годы был слишком буен, чтобы преуспеть — «самый красивый мужчина в Корке», как говорил его сын Джон, и отличный охотник. Свадьба состоялась 28 февраля 1848 года и принесла Джеймсу немало выгод, включая тысячу фунтов приданого и близкое знакомство с такими заметными людьми, как старшие двоюродные братья Эллен — Джон Дэли и Питер Пол Мак-Суини, впоследствии соответственно лорд-мэр Корка и лорд-мэр Дублина.

Их единственное дитя, Джон Станислаус Джойс, родился 4 июля 1849 года. Первое его имя, скорее всего, дано в честь Джона О'Коннела, а второе, Станислаус — в честь польского святого Станислава Костки, одного из трех покровителей благочестивой юности. В этом отразилась симпатия его отца к борьбе католической Польши за освобождение. Ни женитьба, ни рождение сына не образумили Джеймса Огастина Джойса — за банкротством 1852 года последовала новая запись о банкротстве. Но ему помогали обе семьи, и скоро он перевез жену и ребенка в модный пригород Корка Сандейз-Уэлл. Без сомнения, благодаря этой же поддержке он получил солидную и не слишком обременительную должность инспектора налоговых сборов, которая значится в его свидетельстве о смерти.

Со своим сыном Джоном он ладил очень хорошо, относясь к нему так же снисходительно, как относились к нему. Когда мальчику исполнилось десять, его послали в колледж Сент-Колман в Фермое, существовавший тогда всего второй год — у Джойсов были там знакомства. Джон оставался в школе недолго: поступив 17 марта 1859 года, он был выписан 19 февраля 1860-го. Архив колледжа подтверждает, что он получил также отдельные уроки фортепиано и пения и, наверное, уже продемонстрировал первые признаки того прекрасного тенора, которым впоследствии справедливо гордился. Но здоровьем он был некрепок — страдал ревматической лихорадкой, потом заболел тифом, и отец решил забрать его. Те же архивные записи констатируют, что семь фунтов платы за обучение так никогда и не были внесены. Задолженность эту Джон Джойс вынужден был погасить тридцать лет спустя, когда забирал из Кпонгоувз своего сына Джеймса.

Чтобы укрепить здоровье мальчика, отец посылал Джона с лоцманскими катерами встречать трансатлантические суда,

причаливавшие в Куинстауне, и эта терапия сработала на диво удачно. Она также обогатила его, как предположил его сын Станислаус, замечательным по богатству словарем божбы и непристойностей. В эти же годы Джон проявил себя как отличный охотник и бонвиван, в особенности на «отмечаниях», следовавших за охотами. Быстрый ум и отличная память позволили ему узнать историю едва ли не каждого дома и хозяйства в округе; впоследствии Джон хвастался: «В графстве Корк нет поля, которого я бы не знал!» Его энциклопедия краеведческих сведений была унаследована Джеймсом Джойсом.

Жизнь Джона омрачила ранняя, в тридцать девять лет, смерть отца 28 октября 1866 года. Но следующей осенью он поступил в коркский Куинз-колледж, учебу начал всерьез и к тому же выдвинулся в звезды спорта и любительского театра. Он греб в университетской четверке, бегал кроссы, толкал ядро и долго держал рекорд в тройном прыжке. Великолепный мим и певец, он был ведущим актером всех любительских спектаклей. Немудрено, что он завалил переводной экзамен второго курса. Третий курс тоже завершился неудачей, что его не особенно огорчило. Смерть отца принесла ему наследство, собственность в Корке давала 315 фунтов годовых, а в июле 1870-го его дед Джон О'Коннел подарил ему на совершеннолетие тысячу фунтов. Франко-прусская война, разразившаяся в том же месяце, едва не получила нового воина: с тремя друзьями Джон собрался записываться во французскую армию. Добравшись до Лондона, он был перехвачен разгневанной матушкой, которая увезла его назад. Ничуть не обескураженный, он быстро ввязался в какие-то неприятности с фениями[3]. Решив, что Корк предоставляет ему слишком много героических возможностей, мать начала готовиться к переезду в Дублин. Она надеялась, что там сыщутся более мирные и одобряемые законом занятия, достойные его дарований.

Отъезд в Дублин произошел в 1874 году и опять-таки не особенно огорчил Джона Джойса. Быстро нашлись новые друзья и новые радости. Не утруждая себя работой, он изучал местные пабы или ходил под парусом у Далки, где мать приобрела дом. Вскоре после переезда он пришел к учителю музыки, который согласился прослушать его. Уже через несколько минут педагог позвал сына и восторженно сказал: «Нашелся тот, кто будет наследовать Кампанини!» По уверениям Джона, ничем, правда, не подтвержденным, в те годы его считали лучшим тенором Ирландии.

После 1877 года Джон Джойс заключил соглашение с Генри Аллейном, выходцем из Корка, организовавшим «Дублинскую и Чейпелизодскую дистиллировочную компанию». Компания

нуждалась в деньгах, и Джойс предложил купить ее акции на пять тысяч фунтов с условием, что будет назначен секретарем с годичным жалованьем в 300 фунтов. Директора согласились, и вскоре он работал в Чейпелизоде, в старом здании на берегу Лиффи, побывавшем и женским монастырем, и казармой, и свечной фабрикой, а теперь ставшем дистиллировочной компанией — этот красивый термин обозначал винокуренный завод. Хотя Аллейн был строг и придирчив, Джойс быстро сошелся с ним и полюбил Чейпелизод. Его рассказы о Бродбенте, державшем там гостиницу «Муллингар», помогли впоследствии его сыну Джеймсу конструировать «Поминки по Финнегану» вокруг героя, трактирщика в Чейпелизоде. Со временем Джон Джойс обнаружил, что Аллейн обкрадывает фирму, и созвал собрание акционеров. Аллейн покинул компанию. Среди персонажей Джеймса есть неприятный босс под такой фамилией: он любил платить по отцовским счетам. Акционеры выразили благодарность Джону зато, что он уберег их от более серьезных потерь, и выбрали казначеем — без казны. Деньги, включая и его собственные, исчезли бесследно.

Потом Джона Джойса занесло в политику. Случай выпал на выборах в британский парламент в апреле 1880 года. Джон Джойс был гомрулером, сторонником самоуправления Ирландии, и занял должность секретаря Дублинского объединенного клуба либералов. Члены клуба относились к гомрулю приязненно и поддерживали либеральную партию, которая поддерживала гомрулеров и юнионистов на выборах, но позже пыталась подавить ирландскую Земельную лигу. Джон Джойс явно не слишком вникал в политику либералов: он увидел шанс сбросить двух последних депутатов-консерваторов от Дублина — сэра Артура Гиннеса, более удачливого пивовара, чем он, и Джеймса Стирлинга. Либералы выставили Мориса Брукса и доктора Роберта Дайера Лайонса, тоже коркского уроженца, что добавляло ему симпатий Джона.

Джойс беззаветно работал на Брукса и Лайонса весь март до самых выборов 5 апреля. Потом он со вкусом описывал подсчет бюллетеней: «Считали голоса в Экзибишн-палас в очень большой комнате. Все столы стащили туда, и к каждому я поставил четверых человек. Я ничуть не надеялся, что мы проведем обоих кандидатов, и был бы доволен, если бы выбрали Брукса, но не ожидал, что и Лайонс пройдет. К концу подсчетов у меня были приблизительные цифры, и я дополнял их два-три раза, и, господи помилуй, что со мной было, когда я понял, что проходят оба! Я чуть с ума не сошел… Тогда я и испытал удовольствие сообщить сэру Артуру Гиннесу, что он более не член

парламента… Вскоре мы вышли и устроили благодарственную встречу в баре „Ротонда“. Я шагал во главе шествия и никогда его не забуду; все наперебой хвалили меня. Каждый из выбранных преподнес мне сотню гиней. Боже мой, три часа утра, а веселье в полном разгаре, я герой дня, потому что они сказали мне, что на самом деле выборы выиграл я! Господь всемогущий, столько выпитого шампанского я в жизни не видел! Мы не дожидались, пока вытащат пробки, а просто отбивали горлышки о мраморные стойки».

Это празднество семья Джойсов продолжила в «Поминках по Финнегану». В каком-то смысле это была их победа — бедных над богатыми. Заглавная статья газеты «Фрименз джорнел» расхваливала клуб либералов за то, что они оказали такое влияние на результаты, и предлагала благодарному правительству вознаградить усердие Джона Джойса. Новый лорд-лейтенант Каупер, занявший пост 5 мая, предоставил ему легкую, хорошо оплачиваемую должность в департаменте налоговых сборов Дублина. Назначение было пожизненным и давало 500 фунтов годового жалованья.

Должность позволяла Джону Джойсу наконец подумать о женитьбе. Несколько месяцев назад он встретил молодую женщину. Ее звали Мэри Джейн Мюррей, она, как и он, пела по воскресеньям в хоре церкви Трех святителей в Ратгаре. Отцом ее был Джон Мюррей, агент по продаже вин и спиртного из Лонгфорда, делавший на винокурне закупки. Она была хорошенькая, светловолосая, очень терпеливая и верная, и запас этих качеств Джон Джойс, как ни старался, истощить не смог. Если он был воплощением веселого хаоса, то она — самого порядка, и это влекло его к ней. В ней он нашел женщину, которая будет выносить его мальчишество, не разделяя его. Ни мать Джона, ни отец Мэри не одобряли этот брак, и Джойс ускорил решение проблемы, сняв дом на Клэнбрассил-стрит, 50, почти рядом с домом 7, где жили Мюрреи. Впоследствии эта улица появилась в «Улиссе» — там живет отец Блума. Наконец отец Мэри Джон Мюррей сдался, но мать жениха Эллен была тверже алмаза, считая Мюрреев ниже Джойсов по происхождению. Еще до венчания, состоявшегося в католической церкви на Рафмайнс 5 мая 1880 года, она вернулась в Корк и вскоре умерла, не послав перед тем за единственным сыном и не дав ему своего благословения.

Мэри Джейн (или Мэй) Мюррей родилась 15 мая 1859 года и была десятью годами моложе своего мужа. От семьи матери она унаследовала сильную тягу к музыке: ее дедушка Флинн, у которого был крахмальный заводик на Бэк-лейн, упомянутый в

«Мертвых», позволил обеим дочерям учиться музыке. Школой на Эшер-стрит руководили две сестры ее матери, миссис Кэллахэн и миссис Лайонс. Видимо, как раз от них она и усвоила чуть старомодную изысканность манер, которой выучила и своего старшего сына.

Джон Джойс временами жаловался на Флиннов, но доставалось и Мюрреям. Самые отборные эпитеты приберегались для тех родственников, кто не одобрял его; адская кислота речей Терсита в «Циклопах», двенадцатом эпизоде «Улисса», во многом конструируется по образцу его излияний: «Господь возрыдал, когда увидел, что я женился на этих!» Его тесть, откладывавший сватовство, именовался «старым развратником», потому что был женат вторично. Двое братьев Мэри Джейн, Уильям и Джон, сделались у него «многоуважаемыми гондольерами». Уильям Мюррей был счетоводом в известной юридической фирме «Коллинз и Уорд», а Джон, описанный в «Улиссе» как «Рыжий Мюррей», работал в бухгалтерии «Фрименз джорнел». Однажды его племянник в знак презрения вывалил ему под дверь мешок гнилых устриц. По натуре Джон был груб, неприветлив, неуступчив и дал автору богатый материал для «Дублинцев», где он скрыт под разными именами.

Что до Уильяма Мюррея, то он просвечивает в «Улиссе» сквозь Ричи Гулдинга. Он требовал от своих детей, чтобы они называли его «сэр», а когда бывал пьян, обращался с ними крайне жестоко. Но он был прекрасным исполнителем оперных арий и женился на женщине, которая стала для всех детей Джойсов, включая Джеймса, источником помощи. Джозефина Мюррей была интеллигентна, сдержанна и неизменно щедра — качества, которые не так часто попадались в этих тяжелых семьях.

Поздней весной 1880 года Джон Станислаус Джойс и Мэй Мюррей отбыли в Лондон на медовый месяц. По возвращении они поселились на Нортумберленд-авеню, 47, и он занял свой пост в конторе платежей и сборов — он был сборщиком по округам Ротунда и Куэй, а потом по округу Норт-Док. Самоуверенность и остроумие скоро сделали его популярным в конторе. Джон Джойс одинаково пылко зачинал детей и подписывал закладные. Первый его ребенок родился в 1881 году и не выжил; он горевал, кричал, что вся его жизнь ушла вместе с этим младенцем, но скоро утешился, заложив первый из доставшихся ему домов в Корке. Второй ребенок, Джеймс Огаста (вместо «Огастин»: клерки на то и клерки, чтобы делать ошибки в документах), родился 2 февраля 1882 года, уже на Брайтон-сквер, дом 41, в Ратгаре. За этим событием последовали еще три закладных — в марте, октябре и ноябре 1883 года.

Восемнадцатого января 1884 года появилась на свет Маргарет Элис, по-семейному Поппи. В августе 1884 года была заложена еще часть собственности, 17 декабря 1884-го родился Джон Станислаус, Стэнни, потом, 24 июля 1886-го, — Чарльз Патрик. Меньше чем через год подписаны еще две закладные, и в день рождения отца, 4 июля 1887 года, увидел свет Джордж Альфред. Эйлин Изабел Мэри Ксавьера Бриджит родилась 22 января 1889 года, Мэри Кэтлин — 18 января 1890-го, Ева Мэри — 26 октября 1891-го. Затем, 8 ноября 1892 года, появилась на свет Флоренс Элизабет, рождение которой было ознаменовано новыми закладными. Мэйбл Джозефина Энни, «Бэби», явилась в мир 27 ноября 1893 года, и глава семьи отпраздновал это еще двумя закладными.

Всего, если не считать трех выкидышей, в семье родилось четверо мальчиков и шесть девочек. Больше детей не рождалось, а вот закладных появилось еще около дюжины, и довольно скоро Джойс-старший остался без собственности. В избытке у него были только дети и долги.

Этот напористый, даровитый человек считал себя жертвой обстоятельств. Никогда не лезший в карман за словом, жутко сентиментальный, пьющий, поющий, разглагольствующий, он стал в глазах своего сына Джеймса воплощением жизненной силы. Его фразы — «с помощью Господа и пары полисменов», «как из лопаты стрельнул», «между нами не говоря» и многие другие — эхом отдаются в книгах Джойса. В них отец появляется куда чаще других прототипов, за исключением разве что самого автора. В ранних рассказах «Дублинцев», «Сестрах» и «Аравии», он сострадательно переодет в дядю; в более поздних он присутствует также в Хенчи, Хайнсе, Кернане и Гэбриеле Конрое. «Портрет художника в юности» — там он Саймон Дедалус, описанный его сыном как «студент-медик, гребец, тенор, актер-любитель, крикун-политикан, мелкий помещик, мелкий инвестор, пьяница, славный парень, рассказчик, чей-то секретарь, кто-то на винокурне, сборщик налогов, банкрот и в настоящее время — восхвалитель собственного прошлого».

В «Улиссе» он снова Саймон и появляется в «Циклопах» как персонаж и одновременно рассказчик. В «Поминках по Финнегану» Джон Джойс — основной прототип Хамфри Ирвикера. Большинство его детей выросли с могучей неприязнью к нему, но старший, которого он в общем любил больше всех, впитал его привязанность и запомнил его шутки. Когда отец умер, Джеймс говорил Луи Гилле: «Он никогда не сказал ничего о моих книгах, но отрицать меня не мог. Юмор „Улисса“ — от него. Персонажи „Улисса“ — его друзья. Книга — его вылитый

портрет…» В «Портрете художника в юности» Стивен отрицает, что Саймон в любом реальном смысле его отец, но сам Джеймс не сомневался, что он — сын своего отца в любом из смыслов.

Джеймс с редкой верностью натуре передал и достоинства, и недостатки своего отца. После его смерти писатель ответил тому же Луи Гилле на вопрос, кем был его отец: «Он был банкротом». Частичка этого дара передалась и сыну.

Глава вторая ИРЛАНДИЯ, РОЖДЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ

I am of the Ireland, and the holy land of Ireland…[4]

Джеймс Джойс любил размышлять о дне своего рождения. Позже, всегда увлекаясь совпадениями, он радовался открытиям — например, что делил свой год рождения с Имоном де Валера, Уиндэмом Льюисом, Фрэнком Бадгеном, а день рождения — с Джеймсом Стивенсом. В том же году родились Корней Чуковский, Алан Милн, Аристарх Лентулов, Франклин Рузвельт, Иван Ильин, Сигрид Унсет, Грегор Мендель, Игорь Стравинский, Макс Борн, Роберт Годдард. Умерли, кстати, не менее значительные люди — Генри Лонгфелло, Чарльз Дарвин, Ральф Уолдо Эмерсон, Джузеппе Гарибальди, Михаил Скобелев. То, что 2 февраля было Свечной мессой и Днем святой Бригиты, подкрепляло его сакральное значение. То, что это еще и День сурка, придавало ему комический оттенок, намекая на один из главных смыслов «Улисса». Джойс шел на самые разные ухищрения, чтобы увидеть первые экземпляры «Улисса» и «Поминок по Финнегану» в этот самый день.

Крестил его 5 февраля в церкви Святого Иосифа на Тираньире преподобный Джон О'Маллой. Воспреемниками были Филип и Эллен Маккан, приходившиеся ему родственниками по прабабушке, жене Джона О'Коннела. В 1882 году Джойсы жили в Ратгаре, южном пригороде Дублина, на Уэст-Брайтон-сквер, 41 — скромный, но удобный дом уцелел до сих пор. Но Джон Джойс любил жить поближе к воде и подальше от родичей жены. В начале мая 1887 года он перевез свою семью в большой дом модного курортного района Брэй. Здесь, на Мартелло-террейс, 1, до моря было всего несколько шагов, отчего улицы иногда буквально заливало водой. Джон Джойс опять занялся греблей и был загребным в четверке, выигравшей гонки любителей. От Брэя до Дублина ходил удобный поезд, но Джон говорил — и оказался прав, — что стоимость билета удержит родственников от посещений.

По воскресеньям он имел обыкновение ходить на вокзал встречать прибывающие поезда и приглашать тех знакомых, кто на них приезжал, провести день в его доме. Они почти всегда обедали, потом прогуливались, возвращались к ужину, затем выпивали и пели в гостиной второго этажа. Самыми частыми

гостями были Альфред Берган, впоследствии заместитель шерифа Дублина, и Том Девин. Берган был хорошим рассказчиком с богатым запасом скабрезных историй, которые наверняка помогли Джеймсу впоследствии сделать вывод, что большинство ирландских шуток скатологичны. Девин, добрый и музыкальный, пел «Ребята, ребята, подальше от девиц!..». Мэй Джойс играла, а Джон Джойс пел «Мою красотку Джейн» (глядя при этом на Мэй) или какой-то из сотен католических гимнов, баллад и арий. Об этих концертах Джеймс писал Бергану в 1934 году: «Веселые у нас в доме были вечера, правда?»

Возможно, предвкушение жизни в здоровом климате и привело к ним из Корка дядю Джона Джойса — Уильяма О'Коннела. Мягкий, вежливый, но и гордый старик всегда ладил со своим племянником Джоном, который мало что так любил, как обсуждать старые времена в Корке, и часто говорил своим дочерям с забавной гордостью: «Никогда не выходите замуж за коркских. Вот ваша мамочка вышла…» Уильям прожил с его семьей почти шесть лет. Второй жилец, куда больше восхищавший детей, был Джон Келли из Трали, появляющийся в «Портрете…» как Джон Кейси — он сидел в тюрьме за агитацию в пользу Земельной лиги, и Джон Джойс неоднократно приглашал его в дом на Брэй восстановить силы после заключения. В тюрьме он искалечил себе пальцы правой руки — одним из наказаний была разборка просмоленных морских канатов и тросов. Детям он рассказывал, что повредил руку, делая подарок королеве Виктории надень рождения. Келли, «человек с холмов», жил под постоянной угрозой ареста. Однажды констебль по фамилии Джойс, друживший с однофамильцем, ночью тайно зашел предупредить, что утром он придет к ним с ордером. Келли той же ночью уехал. Общение с врагом короны могло быть рискованным для государственного служащего, но Джон Джойс никогда не скрывал своего национализма и восторженной преданности Парнеллу[5], полностью разделяемой Келли. Это начало формировать и ум его наблюдательного сына.

После переезда в Брэй к ним присоединилась миссис Хирн Конвей по прозвищу Данте, взятая как гувернантка для детей. Толстая, но милая и неглупая женщина, она, к сожалению, была слишком сильно покалечена неудачным замужеством, чтобы легко войти в терпимую и веселую семью. Собираясь в Америку работать «ирландской няней», она вдруг получила наследство от умершего брата, разбогатевшего на торговле с Африкой, вернулась в Дублин войти в права наследования, бросила католическую школу и решила выйти замуж. Свое девичье сердце она отдала щеголеватому клерку из Ирландского банка. Вскоре

после свадьбы мистер Конвей сбежал в Южную Африку с ее деньгами и очень скоро перестал слать письма с обещаниями вернуться. Оставшуюся часть жизни Данте Конвей пребывала в статусе «брошенной невесты», и мучительные воспоминания о жизненном крахе смешивались с раскаянием по поводу оставленной монастырской школы. Отсюда ее неистовая религиозность, дополненная таким же ярым национализмом. Две ее косы, вспоминает Джойс, были заплетены разными лентами — одна красно-коричневой, в честь Дэвитта и Земельной лиги, другая зеленой в честь Парнелла. Когда Парнелла уличили в прелюбодеянии, зеленая лента была навеки выдернута из косы.

Миссис Конвей была неплохо образованна и, по-видимому, наделена педагогическим даром. Сидя на величавом сооружении из кресла и множества подушек, хранившем ее вечно болевшую спину, в черном кружевном чепце, тяжелой бархатной юбке и расшитых стразами шлепанцах, она звонила в маленький колокольчик, чтобы все было «как в школе». Джеймс приходил и садился у ее ног. Уроки состояли из чтения, письма, географии или арифметики; иногда он слушал, как она читает стихи. Ее благочестие впечатляло мальчика куда меньше, чем ее предрассудки. Она много рассуждала о конце света, будто ждала его с минуты на минуту, а когда сверкала молния, заставляла Джеймса креститься и повторять: «Иисусе из Назарета, Царь Иудейский, упаси нас от смерти скорой и незаслуженной». Гроза как носитель Божьего гнева настолько поразила воображение Джойса, что он до смерти испытывал страх перед ней. Когда его спрашивали, почему он так чувствителен, он отвечал: «Вы не воспитывались в католической Ирландии». Стивен Дедалус в «Портрете…» говорит, что боится «собак, лошадей, оружия, моря, гроз, машин, деревенских дорог ночью», и то же повторяется в «Улиссе» и «Поминках…».

К этому времени Джеймс уже был маленьким, худеньким, послушным мальчиком во взрослой компании. Бледное личико, голубые глаза, странные для его возраста серьезность и самодостаточность. Впрочем, во всем остальном он был обычен и предсказуем. Близорукость вскоре нацепила на него очки, но лет в двенадцать болван-доктор посоветовал их снять. Домашнее имя Санни, «Солнышко», он получил явно в противовес вечно кислому брату Станислаусу. Сестру Нору прозвали «Буди» — это имя потом перейдет в «Портрет…». Непохожесть брата их пока не трогала, потому что он слишком рано привык ее скрывать.

По возрасту и темпераменту Джим легко становился вожаком детских игр. Через улицу, на Мартелло-террейс, 4 (а не 7, как в «Портрете…»), жила семья аптекаря по имени Джеймс Вэнс, и

они, хотя и были протестантами, быстро подружились с Джойсами. Густой бас Вэнса превосходно вторил сильному тенору Джона в католическом гимне «Придите, все верные». Старший ребенок Вэнса, хорошенькая девочка Эйлин, была всего четырьмя месяцами старше Джеймса, и отцы часто полушутливо сговаривались сосватать первенцев. Данте Конвей грозно предупреждала Джима, что он попадет в ад, если будет играть с «еретичкой» Эйлин, и он даже грустно сообщил ей об этом, но удовольствия перевесили.

Ад и его главнокомандующий стали для мальчика чем-то вроде театрального реквизита. Он любил устраивать маленькие спектакли; одно из ранних воспоминаний Станислауса — как они разыгрывали историю Адама и Евы с их сестрой Маргарет, «Поппи», а Джим ползал вокруг них в роли змея, чрезвычайно его воодушевлявшей. Сатана был полезен и в другой миссии, вспоминала потом Эйлин Вэнс. Когда Джим решал наказать кого-то из братьев или сестер за дурное поведение, он повергал провинившегося на землю, накрывал красной садовой тачкой, натягивал красную вязаную шапку и начинал шипеть и трещать, изображая адское пламя, которым он сжигает грешника. Тридцать лет спустя в Цюрихе Джойс получил от квартирной хозяйки прозвище «герр Сатана» за остроконечную бородку и подпрыгивающую походку; но к тому времени он убедил себя, как это видно из «Портрета…», что настоящий враг — это Nobodaddy, дух несвободы, демон стеснения, а не «старый Ник», как в его богобоязненном детстве называли дьявола.

У Джима был несомненный талант выдумывать страшные истории. Одна из выдумок, сильно впечатлившая Эйлин, — о том, что его мама, когда дети рассердят ее, сует их головой в унитаз и дергает цепочку. Та же проказливость вылезла и на детском празднике, куда их водили вдвоем; там Джим подсыпал во все напитки соли. Гости, впрочем, аплодировали проказнику. Но лучшее из воспоминаний Эйлин Вэнс — дом Джойсов, наполненный музыкой. Мэри Джойс, такая золотоволосая, что кажется Эйлин ангелом, аккомпанирует Джону, и дети тоже поют. Ударным номером Станислауса была чуть цензурированная в угоду приличиям уличная баллада «Поминки по Финнегану», а Джим чаще всего пел «Пирог Хулихэна». Голос его и в то время был уже достаточно хорош, чтобы вторить родителям на любительском концерте в гребном клубе Брэя. Сохранилась дата — 26 июня 1888 года, ему чуть больше шести лет.

Джон Джойс величаво решил дать сыну лучшее образование в Ирландии. Побывав когда-то самым младшим учеником в колледже Сент-Колман, он не видел причин лишать этого опыта

Джеймса. Клонгоувз-Вуд отстоял от Брэя всего на сорок миль; географически это Сэллинс, графство Килдэр. 1 сентября 1888 года родители привезли сына в школу. Плата составляла 25 фунтов в год, вполне по плечу Джону Джойсу — тогдашнему. Джима спросили, сколько ему лет, и он ответил: «Полседьмого». Так его и прозвали впоследствии. Мать, заливаясь слезами, попросила его не разговаривать с плохими мальчишками. Отец напомнил ему, что пятьдесят лет назад Джон О'Коннел, его прапрадедушка, преподносил Освободителю адрес именно в Клонгоувз. Еще он дал ему две пятишиллинговые монетки и строго запретил доносить на других мальчиков. Затем родители отбыли, и Джим остался начинать совершенно иную жизнь.

Джойс вынес из своего образования убежденность в высочайшем учительском мастерстве своих наставников-иезуитов; это особенно интересно, потому что всю свою жизнь он делал все, чтобы избавиться от внушенного ему педагогами в рясах. «Не думаю, что будет легко найти кого-нибудь, равного им», — спустя много лет говорил Джойс композитору Филиппу Жарнаку. Но нелегко понять, как он на самом деле чувствовал себя в эти годы. Станислаус вспоминает, что видел его счастливым и довольным, но «Портрет…» показывает нам несчастного и угнетенного мальчика. В самом деле, ребенок его лет, вырванный из нормальной семьи, не мог не испытывать потрясения. Руководство школы разрешало ему жить в медпункте, а не в дормитории, чтобы медсестра, няня Гэлвин, могла за ним приглядывать. Разумеется, она не могла полностью избавить его от тоски по дому и от притеснений других мальчишек, по крайней мере в первые месяцы. Снобизм детей ему был внове; он защищался от него, придумав себе отца-джентльмена, сделав одного из дядюшек судьей, а другого генералом.

Худшее из переживаний тех месяцев более или менее детально описано в «Портрете…» — какой-то мальчик разбил Стивену очки, а отец Долан наказал его самого, решив, что Стивен разбил их, чтобы избежать занятий. Отец Долан в реальности был отцом Джеймсом Дэли, суровым префектом школы (чем-то вроде завуча) в течение тридцати лет и жестоким ревнителем дисциплины. Впоследствии Джойс называл его «твердолобым». Получив незаслуженное наказание, мальчик храбро отправился за правдой к ректору, отцу Конми, и был им поддержан. Видимо, после этого другие мальчишки зауважали его. Такое развитие событий предлагается, хотя и не очень внятно, в «Портрете…» и в общем заслуживает доверия. Правда, весной 1891 года одноклассники столкнули Джеймса в яму с водой, отчего он заработал простуду. В его письмах домой все эти

события никак не отражались. Отец Конми говаривал, что письма Джеймса, неизменно начинавшиеся с сообщений, что он здоров, и продолжавшиеся списком его нужд, напоминают заказ бакалейщику. Для Джона Джойса они означали совсем другое. Он говорил: «Если этого мальчика выкинуть в центре Сахары, он усядется, помянет Господа и начертит ее карту…» Свой интерес к мельчайшим деталям признавал и сам Джойс, почти теми же словами говоря Фрэнку Бадгену: «У меня мозг приказчика бакалейной лавки».

После трудного начала Джойс мало-помалу завоевал Клонгоувз. В классе он был среди первых, чем заинтересовал отца Конми. Джойс не забыл поддержки директора, и когда его биограф много позже описывал Конми как «вполне приличного человека», Джойс недовольно вычеркнул эти слова и вписал: «вежливый и утонченный гуманист». Память Джойса была, как писал Станислаус Джойс, «сохраняющей». Он мог достаточно споро сочинять в уме как поэзию, так и прозу, запоминать и подолгу хранить сочиненное почти без потерь.

Кроме хорошей учебы, он был также отличным спортсменом — этот факт с удивлением открывали для себя его ранние биографы и даже родной брат. Телесная слабость Стивена Дедалуса или, скажем, Ричарда Роуана в «Изгнанниках» отражает скорее отвращение Джойса к таким грубым видам спорта, как бокс или регби. Но домой из Клонгоувза он привез коллекцию кубков за победы в беге с барьерами и спортивной ходьбе, несмотря на то, что был младше и меньше ростом других мальчишек. Крикетом, вполне атлетической игрой, он тоже живо интересовался. Имена великих крикетистов то и дело всплывают в его последней книге.

После своего первого причастия в Клонгоувзе Джойс принял второе имя — Алоизиус в честь итальянского святого Алоизия Гонзага, отказавшегося от титула ради монашеского призвания. В биографии Алоизия было еще одно обстоятельство, поразившее Джойса, — святой не позволял своей матери обнимать его, потому что боялся прикасаться к женщинам. Утонченность ритуалов покорила воображение мальчика, и он детально изучил последовательность действий священника при совершении мессы. Он участвовал в службах у маленького деревянного алтаря, облаченный в соответствующие одежды, взмахивая кадилом и воскуряя ладан. Величие Церкви восхищало его, и это восхищение осталось в нем навсегда. Но понемногу начинали накапливаться и вопросы, во многом порожденные язвительным антиклерикализмом отца: в то время, как пишет сам Джойс в «Портрете…», они выливались только в удивление тем фактом,

что Святые Отцы могут быть повинны в грехе гнева или несправедливости.

Приезды в родной дом на каникулы были связаны для него с теплыми воспоминаниями. Джон Джойс был всегда рад его видеть, семья носилась с ним. Эйлин Вэнс все еще жила через улицу, и они были неразлучны вплоть до одного Валентинова дня, когда ее отец послал Джеймсу от ее лица «валентинку», перефразирующую известное тогда стихотворение: «О Джимми Джойс, ты мой милый, ты мое зеркальце, с вечера до утра, ты мне даже без единого фартинга нужен больше, чем Гарри Ньюэлл с его ослом». Гарри Ньюэлл был старым ворчливым калекой, ездившим на своей тележке по Брэю. Эйлин, узнав, какую с ней сыграли шутку, стала так стесняться своего товарища по играм, что много лет краснела при одном упоминании его имени. Он же сохранил стишок в памяти и вставил его в «Улисс», там, где Блум вспоминает, как послал «валентинку» своей дочери Милли.

Когда Джеймс возвращался домой из Клонгоувза, то чаще всего заставал отца и Джона Келли спорящими о Парнелле. Этот несгибаемый человек наполнил своим образом Ирландию. Во множестве обличий он будет являться и в текстах Джойса, в его размышлениях, аналогиях, составляя часть того самого наследия, которое практически не ощущается при переводах на другие языки. Но Джойс поражался, насколько холоден был герой нации даже к друзьям. Он часто вспоминал эпизод, когда Парнеллу вручили чек на 38 тысяч фунтов стерлингов, а он даже не поблагодарил. Многие молодые люди воображают себя Гамлетами; Джойс, как станет ясно из более поздних намеков, воображал себя Парнеллом. Некоронованный король Ирландии тоже вот-вот должен был стать героем трагедии. Доигрывались три последних акта пьесы. Первый — попытка «Лондон таймс» дискредитировать Парнелла, опубликовав письмо, написанное якобы его рукой, где прослеживалась связь пишущего с громким убийством в Феникс-парке, когда от рук фениев погибли министр по делам Ирландии и его помощник. Истинным автором письма оказался журналист Ричард Пиготт, с сыновьями которого Джойс учился в Клонгоувзе. В феврале 1889 года он был разоблачен по допущенной им орфографической ошибке — вместо «hesitancy» (нерешительность, колебание) он написал «hesistancy». Ошибка эта забавляла Джойса всю жизнь, и большой кусок «Поминок…» построен именно на ней. Однако Пиготта чувство юмора не спасло. После скандала он покончил с собой, и учителя-иезуиты посетили каждый класс, прося школьников не сообщать ужасную новость его сыновьям. Но один школьник все же сделал это, и сцена была жуткой.

Отмщенный Парнелл достиг пика популярности, репутация его была невероятно высока. Его округ встал за него стеной. Но за день до Рождества того же года капитан Уильям Генри О'Ши подал прошение о разводе со своей женой Китти по причине ее супружеской неверности, где указал Парнелла как соответчика. Десять лет он терпел эту связь (в немалой мере из-за того, что его жена могла стать, но так и не стала наследницей своей богатой тетушки) и в 1886 году получил кресло в парламенте от Голуэя как награду за молчание. Поначалу Парнелл демонстрировал редкостную силу духа, не давая партии развалиться в разгар громкого скандала; его заместитель Тим Хили настойчиво убеждал остальных, что вождя нельзя покидать, когда земля обетованная уже показалась на горизонте. Однако вскоре под давлением католических епископов, а затем и Хили, к которому присоединились бывшие соратники, Парнелл потерял лидерство в партии, а в октябре умер, раздавленный поражением.

Поражение Парнелла всегда расценивалось его приверженцами как итог тройного предательства — капитана О'Ши, Хили и епископов, которых ставили в один ряд с Пиготтом, и слово «предатели» прочно закрепилось в представлениях Джойса о своих соотечественниках. Взрослым он видел все более четкие параллели между своей непростой судьбой и уделом Парнелла; в 1912 году он напрямую сравнивает их в своих стихах.

Для Джона Джойса падение Парнелла трагически совпало с утратой собственного благополучия: оно словно отсекло добрые старые времена и оставило ему лишь тусклое настоящее. Он делал всё, чтобы спасти вождя: даже ездил в Корк, уговаривая своих арендаторов, пока они у него еще были, голосовать за кандидата Парнелла. Его антиклерикализм стал еще свирепее, он ненавидел всех священников, особенно архиепископа Уолша и Лоуга, «мешок с требухой из Армы». Но гнев на Хили и «банду Бентри» был сильнее. На митинге в Королевском театре он публично крикнул Хили: «Предатель!»

Вскоре после смерти Парнелла девятилетний Джеймс Джойс, так же разгневанный, как и его отец, написал стихотворение, разоблачающее Хили, под названием «Et Tu, Healy»[6]. Отец был настолько польщен, что отдал его напечатать и раздавал своим друзьям. Стихотворение не сохранилось, но Станислаус Джойс вспоминал, что Хили в нем сравнивался с Брутом, а Парнелл — с Цезарем и даже Христом. Оно заканчивалось смертью Парнелла, уподобленного орлу, с высоты взирающему на копошащуюся в грязи массу ирландских политиканов. Экземпляр отец послал в Ватикан: ответа не последовало.

Данте Конвей, твердо разделявшая позицию церкви,

чувствовала себя в семье Джойсов все неуютнее. Смерть Парнелла как бы закрепила его мученичество, но не для нее. Джойс описывает рождественский ужин 1891 года, когда его отец и Джон Келли оплакивали мертвого и преданного вождя, а Данте в ядовитом благочестии поднялась и вышла из-за стола. Спор был таким громким, что его слышали Вэнсы на другой стороне улицы. А «Улисс» свидетельствует, что миссис Конвей через четыре дня покинула их дом навсегда. Более важным следствием для отца и сына было то, что в Ирландии всё отныне было пошлостью и ложью: ни одна политика и ни один политик не стоили того, чтобы на них работать.

Денежные трудности Джона Джойса росли, отчего в июне 1891 года Джеймса пришлось забрать из Кпонгоувза. Семья перебралась ближе к Дублину — в Управлении налогов началась реорганизация, среди уволенных чиновников оказался и Джон. Его не слишком ценили как работника: при сборе налогов он не раз ошибался, допускал значительные дефициты и вынужден был возмещать их генеральному сборщику, продавая свою коркскую недвижимость. Забыта была отвага, с которой он защищал свою сумку сборщика от бандита в Феникс-парке; об этом вспомнил только его сын в «Поминках…». Сперва ему не назначили никакой пенсии, но мистер Джойс воззвал к начальству, и оно согласилось выделить ему пенсион — 132 фунта два шиллинга и четыре пенса в год. В этом круге сорокадвухлетний Джон Джойс будет метаться до конца дней, как тигр в клетке. Он слишком привык к свободной жизни, такой доход был для него унизителен, да и любой из возможных мелких заработков никак не предполагал того обилия свободного времени, что выпадало ему в Налоговом ведомстве. Кляня воображаемых врагов, а порой и собственную семью, он злобно утверждал, что это их попустительство сделало его алкоголиком. Воображение рисовало ему себя не нищим, а джентльменом с временными затруднениями. Семья тоже приняла нищету — упрямо отвергая при этом само слово.

Остатки наследства только оттянули погружение на дублинское дно. В начале 1892 года Джон перевез семью в Блэкрок, на Кэрисфорт-авеню, 23. Дом назывался «Леовилль» из-за каменного льва перед входом. Часть детей была определена в монастырскую школу, но Джеймсу позволили заниматься самому: он то и дело вмешивался в работу матери, требуя проверить его урок. Он также сочинил несколько цветистых стихотворений и начал писать роман в соавторстве с мальчиком-протестантом по имени Рэймонд, жившим по соседству. Все эти произведения не сохранились.

В начале 1893 года Джойсы переезжают в Дублин. Сначала

они жили в пансионе, а потом сняли большой дом на Фицгиббон-стрит, 14, рядом с Маунтджой-сквер — свое последнее приличное жилье. Поначалу дети нигде не учились; наконец Джон Джойс с величайшей неохотой отвел их в школу Христианских братьев на Норт-Ричмонд-стрит. Джеймс Джойс старался никогда не вспоминать о периоде «ХБ» в своих произведениях, дав своему герою провести пару лет в грезах, и не рассказал о нем даже Херберту Горману, одному из своих первых биографов. Как и его отец, Джойс считал иезуитов джентльменами от педагогики, а Христианских братьев — ее трутнями и захребетниками. «Пэдди Вонючка и Микки Жижа» — называл их его отец.

Именно тогда Джон Джойс случайно во время прогулки повстречал отца Джона Конми, оставившего должность ректора Клонгоувза, чтобы стать заведующим учебным циклом в иезуитской школе при Бельведер-колледже. Он еще не был назначен провинциалом ордена в Ирландии, это случится в 1906 году, но уже приобрел немалое влияние. Услышав, что его бывший ученик вынужден посещать школу Христианских братьев, и вспомнив о его способностях, Конми доброжелательно предложил устроить Джеймсу с его братьями бесплатное обучение в школе Бельведер-колледжа. Джойс-старший вернулся домой, чрезвычайно довольный Конми и собой, и в апреле Джеймс отправился в Бельведер, чтобы стать самым знаменитым его выпускником.

Бельведер-колледж выстроил в 1775 году Джордж Рокфор, второй граф Бельведер, и дом до сих пор считается одним из самых красивых зданий XVIII века в ирландской столице. Его главные залы, отделанные Майклом Стейплтоном, поименованы в честь Венеры, Дианы, Аполлона, но без их изображений — отцы-иезуиты этого не одобрили. Джойс оказался в очень впечатляющем интерьере, с увлечением занимался историей рода Бельведеров и даже собирался написать о них книжку. Клонгоувз подспудно ассоциировался у него с мятежом, а Бельведер — с плотской любовью. В «Улиссе» Джойс исходит из некоторых своих разысканий, описывая, как отец Конми, скупо упомянувший о роде в своей брошюре «Старые времена в баронстве», пишет о неясностях в семейных анналах. Видимо, в 1743 году Мэри, графиня Бельведер, была обвинена в любовной связи с братом мужа. Письма, представленные как доказательство, были, скорее всего, поддельными, но леди Бельведер возжелала признать вину, чтобы ее буян-муж развелся с ней. Однако вместо развода граф безжалостно заточил ее в имении Голстоун, где она до самой смерти почти тридцать лет настаивала на своей невиновности.

Но в школе Джойс учил не это. Иезуитская педагогика в

Бельведере была той же, что и в Клонгоузе, и приспосабливаться к ней не пришлось. Его дар английской словесности привлек к нему внимание. Рутинные сочинения на темы вроде «Кто рано встает, тому Бог подает», «Прогулка по округу», «Неколебимость духа» продемонстрировали его способность достигать более высокого уровня банальности, чем его одноклассники. Учителем родного языка был Джордж Станислаус Демпси, хорошо сложенный мужчина, в зрелые годы напоминавший отставного полковника. Он одевался непривычно элегантно, носил усы и бутоньерку в петлице. Дикция и манеры у него были старомодные. В этом старомодном стиле он и оповестил ректора, отца Уильяма Генри, что юный Джойс — «мальчик, чья голова изобилует идеями». Ученики неуважительно прозвали ректора «Видьте-ли» — он любил это выражение, но в целом уважали. Джойс тоже вполне положительно изобразил его под именем мистера Тейта в «Портрете…». Позже они с Демпси переписывались, и старый учитель щедро предлагал напечатать стихи Джойса в школьном журнале.

Джеймс завоевывал позиции в Бельведере, а его отец терял их в остальных частях Дублина, как и у себя дома. Почти год они прожили на Фицгиббон-стрит, 14. Когда Джону пришлось ехать в Корк продавать оставшуюся недвижимость, он взял с собой сына. Эта поездка предстает в «Портрете…» как начало жестокого отчуждения от отца, некогда любимой отцовской юности и отцовских друзей. Однако и тут еще Джеймс смотрит на мир с любопытством умного и талантливого подростка. Станислаус Джойс вспоминает, что в письмах брата домой возникало впечатление, что ситуация его изрядно развлекала. Впоследствии, уже взрослым, он доброжелательно и с мягким юмором писал о людях Корка и самом городе, вспоминал об отеле «Империал», где они с отцом остановились, о прогулочном бульваре Мардайк и знаменитом коркском блюде «дри-шинз», черном кровяном пудинге с пряностями.

Продажа недвижимости заняла около недели, и вырученных денег должно было хватить, чтобы расплатиться с главным кредитором, адвокатом Рейбеном Доддом. Около 1400 фунтов было получено за землю и строения на Сауз-террейс и каретный сарай со стойлами на Стейбл-лейн. Еще около 500 фунтов дали участок и дома на Энглси-стрит. Многое из проданного было связано с ностальгическими воспоминаниями, историей семьи и города. Впрочем, тоску довольно быстро залечило турне по закадычным приятелям и барам.

Вернувшись в Дублин, Джон испытывал еще большую горечь. Постоянным напоминанием о позоре было то, что сын Додда

учился в одном классе с его сыном. Джеймс Додда-младшего презирал, а в «Улиссе» припечатал его, сдвинув историю 1911 года в 1904-й. Додд-младший пытался покончить с собой из-за безответной любви, бросившись в реку Лиффи. Утонуть ему не дали, да и он сам в холодной декабрьской воде быстро передумал, но никак не мог ухватить спасательный круг. Проходивший мимо грузчик прыгнул в воду и доплыл с жертвой страсти к ступенькам набережной. Полицейский довез его в госпиталь. Грузчик оказался чуть ли не профессионалом: за последние несколько лет он спас около двадцати человек. Додда отвезли в госпиталь на машине, а грузчик пошел домой пешком. В этот раз он жестоко простудился и заболел воспалением легких, оставив семью без заработка. Жена его отправилась к мистеру Додду-старшему, который неохотно принял ее, но обогатил ценным советом для мужа — впредь заниматься своими делами. Потом, решив, что совет запомнится лучше, будучи подкреплен деньгами, вручил женщине целых два шиллинга шесть пенсов. Грузчик пролежал несколько недель и так до конца и не выздоровел. За спасение его не поблагодарили ни отец, ни сын. Дублинская газета «Айриш уоркер», описавшая этот случай, язвительно заканчивала статью словами: «Мистер Додд считает, что его сын стоит полкроны. Мы бы не дали этой суммы за всю семью Доддов».

Много позже Рейбен Джаспер Додд-младший подал на Би-би-си в суд за клевету, после того как в эфире был прочитан эпизод «Улисса» «Гадес». Негодующий прототип утверждал, что прыгнул в Лиффи «за своей шляпой».

А тогда, в 1894 году, у Джона Джойса остались 11 фунтов ежемесячной пенсии и невеселая возможность перехватывать по мелочи то там, то здесь. Пишущая машинка еще не начала своего победоносного шествия по миру, и каллиграфический почерк давал ему заработок копииста у адвокатов и нотариусов. Временами он подрабатывал сборщиком рекламных объявлений для «Фрименз джорнел», а во время выборов находил те самые мелкие поручения, делавшие его на миг богатым, счастливым и, соответственно, пьяным.

Переезд с Фицгиббон-стрит состоялся — они поселились на Милберн-лейн в Драмкондре. Времена меняются, а с ними и топонимы. Лондонский Ислингтон, к примеру, из унылой пролетарской дыры стал фешенебельным районом дорогих квартир. Драмкондра, он же Клонтерк, в наше время тоже является прелестным туристским районом северной части Дублина, с отличными пляжами, отелями и ресторанами. Тогда же это было застроенное небогатыми домишками подножие

длинного холма, неподалеку от леса и реки Толка. Население составляли фермеры и чернорабочие, не слишком обрадовавшиеся новым соседям, явно знавшим лучшие дни. Станислаус дрался с местными мальчишками. Джеймс, как ни странно, с ними ладил, но в школе пришлось давать отпор другим снобам. В «Портрете…» есть эпизод, когда мистер Тейт зачитывает вслух фразу из еженедельного сочинения Стивена: «Вот. Это о Творце и душе. Гхм… кхрм… А! „…без возможности когда-либо приблизиться“. Это ересь». Джойс получил то же обвинение.

Одноклассники завидовали успеху его эссе. Несколько из них пошли домой той же дорогой и решили воспользоваться случаем. Сначала говорили о литературе и выясняли, величайший писатель Марриет[7] или просто великий. Джойс высказал свое мнение. Величайший писатель-прозаик, сказал он, это кардинал Джон Генри Ньюмен. Выбор, конечно, был отменный, хотя скорее стилистический.

Второй вопрос был еще категоричнее: «А кто лучший поэт?»

Один из усердных учеников подсказал: «Теннисон», но Джойс сказал: «Байрон». — «Байрон был негодяй!» — крикнул кто-то, и усердный ученик закричал: «Хватайте еретика!» Они схватили Джойса и потребовали признать, что Байрон плох. В схватке его стукнули палкой и прижали к изгороди с колючей проволокой, изодравшей ему одежду. Джойс выстоял, но, по воспоминаниям брата, пришел домой в слезах; мать утешила его и заштопала одежду. Так начались его муки за искусство. Кстати, эти предпочтения — Ньюмена и Байрона — Джойс сохранил навсегда.

Успехи в школе подтвердились результатами весеннего промежуточного экзамена-конкурса. В соперничестве со всеми мальчиками Ирландии, учившимися в подготовительных классах, Джойс завоевал один из первых призов — 20 фунтов стерлингов. Деньги были выплачены правительством Джону Джойсу, который передал их сыну с разрешением свободно потратить — в подтверждение теории, что именно так нужно учить обращению с деньгами. Джеймс, несмотря на молодость, уже кое-что об этом знал: щедро ссужая братьев, сестер и даже родителей, он педантично вносил эти ссуды в расходную книгу. Родителей он водил в театры и рестораны, даже в один весьма дорогой. Семья вновь припомнила вкус роскоши, которую больше не могла себе позволить, и повторяла это каждый год, когда Джеймс выигрывал конкурс. Он же, в свою очередь, укреплялся в ощущении своей щедрости. Когда ему через несколько лет настойчиво предлагали помогать семье, он с полным правом отвечал: «Я уже сделал достаточно».

Среди детей он, пожалуй, был единственным, кто легко ладил с отцом. Им нравилось путешествовать вдвоем: летом 1894 года Джон взял сына в поездку в Глазго. Он подружился с капитаном одного из лайнеров компании «Дьюк», что курсировал между Глазго и Дублином, и принял его приглашение совершить поездку. Путешествие испортил дождь, но Джон Джойс обзавелся новым морским рассказом: на обратном пути он якобы жестоко поссорился с капитаном из-за Парнелла. «Господи, друзья, — говорил потом Джон, — если б он был еще и пьян, то вышвырнул бы меня за борт!»

Дома Джойс-старший бывал буен — постоянные денежные трудности не лучшим образом отражались на его характере. Родился новый сын, Фредди, проживший всего несколько недель. Жена еще не оправилась после родов, когда пьяный рыдающий Джон попытался задушить ее. «Клянусь Богом, пора с этим покончить!» — кричал он. Не вдаваясь в обсуждение, что он имел в виду, дети с визгом бросились между ними, а Джеймс запрыгнул отцу на спину и повалил его, не отпускавшего мать, на пол. Миссис Джойс выхватила младших детей из этой барахтающейся кучи и убежала к соседям. Биографы замечают, что сцена была совершенно в духе Достоевского, которого Джеймс тогда еще не читал. Через несколько дней в дом явился полицейский, долго беседовавший с отцом и матерью.

Отныне Джон Джойс доказал свою склонность к насилию. Станислаус нескрываемо возненавидел его, за что отец иронически прозвал его «любящим сыном». Об остальных детях он словно позабыл, за исключением разве что Джеймса и Бэби (Мейбл), младшей из девочек. Счета между тем накапливались, домохозяин требовал плату, и где-то в конце 1894 года они собрались переезжать вновь. Ощущение семейной жизни как постоянной катастрофы, удерживаемой на краю лишь ссудными кассами, верными друзьями да случайно подвернувшейся работой, утвердилось в разуме Джойса.

Глава третья ВЕРА, ШКОЛА, КНИГИ

All thought becomes an image and
the soul becomes a body…[8]

Дни в Бельведере оказались для Джеймса еще и ареной, где сцепились два свирепых, пусть и плохо тренированных бойца — тело и разум, дух и плоть. Невидимый миру поединок стал уводить его все дальше от родителей и наставников. Поначалу он читал сентиментальные романы Эркмана-Шатриана, а в конце школы прочел то, на чем возгорелось пламя множества молодых душ XIX века. Генрик Ибсен и порожденный им театр сделал с душой Джойса многое из того, чем она впоследствии стала. Как он потом писал в «Портрете…», его душа стряхнула погребальные пелены и с презрением отвергла детство.

Среди отринутого была и приверженность Церкви. Его воскрешение, для которого Христос оказался отличной описательной метафорой, было скорее рождением художника, чем воскресением Бога. Чувство греха, «то чувство отделения и утраты», как он писал в дневнике, привело его к сознанию, в котором он, как мертвую кожу, сбросил все, кроме чисто христианского чувства вины. Джойс переживает жестокие изменения и выходит из них трезвым и отчужденным, оставив рядом лишь очень немногих друзей, которым открывает свои радости, свою искренность, свою пылкую юность. Но даже им он казался странным; ведь, обнажая свою душу, он ожидал в ответ большей и большей верности, а такая дружба в конце концов становится непосильным бременем подчинения.

Вскоре семья была снова вынуждена переехать и оказалась на Норт-Ричмонд-стрит — коротенькой тупиковой улочке, где рядом была постылая школа Христианских братьев. Джойс почти не вспоминал об этом месте, разве что описал в «Аравии» один из домов да книги в бумажных обложках, оставленные недавно умершим священником. Зато по соседству жили люди, ставшие частью населения Джойсова мира. В доме 10 обосновалась семья Бордмен, и подруга Герти Макдауэлл в «Навсикае» Эди Бордмен явно возникла из комбинации имен Эйли и Эдди Бордмен. Когда о Герти говорится, что «мальчишка, у которого есть велосипед, вечно катается туда-сюда перед ее окном», имеется в виду Эдди Бордмен, который был знаменит на весь Дублин как обладатель первого в округе велосипеда с пневматическими шинами; мальчишки прибегали посмотреть на него отовсюду. Но когда Герти говорит о мальчике на велосипеде: «Отец велел ему сидеть

дома по вечерам и как следует заниматься, чтобы заработать награду на экзаменах, а потом, после школы, он хотел поступать в колледж Тринити учиться на доктора», — это относится к самому Джойсу, чье усердие к учебе тоже славилось на Норт-Ричмонд-стрит.

Сыновья Джойсов становились индивидуальностями. Джон Станислаус Джойс, «Стэнни», был серьезным, головастым мальчиком, крепким благодаря спорту, но на несколько дюймов ниже Джеймса. Он уже проявлял признаки ограниченности и упорства, которые определят его жизнь. Второй брат, Чарльз, был изящен, развязен и капризен, склонен к разным карьерам, но без особых талантов к ним. Младший, Джордж, походил на старшего брата умом и одаренностью, но ему оставалось жить всего несколько лет. Маргарет, старшая из сестер, напоминала мать сдержанностью и упорством и хорошо играла на пианино. Эйлин была более взбалмошной и менее упорядоченной, Мэри (Мэй) — тихой и мирной, Ева и Флоренс — замкнутыми и углубленными в себя. Мейбл, самая младшая, оказалась неожиданно веселой. И все они, каждый по-своему, понимали, что семье конец.

Конечно, тон задавали мужчины. Девушки, «мои двадцать три сестры», как шутил Джойс, никак не пытались утвердить себя. Среди сыновей первенствовал Джеймс — ему Джон Джойс, его друзья и почти все родственники предсказывали блестящую карьеру, пока что не слишком точно определяя, в какой области. Станислаус был по возрасту ближе всех к нему и понимал его лучше других. Он ходил за братом, будто нося шлейф невидимой мантии. Читая и пытаясь понять то, что читал Джеймс, а не то, что задавали в Бельведере, ценой школьных успехов он стал неплохо разбираться в европейской литературе.

Джон Джойс, жуткий и обворожительный попеременно, не давал семье ни скучать, ни жить спокойно. Когда он был в духе, это был семейный комик; однажды за завтраком он прочел вслух из «Фрименз джорнел» некролог миссис Кэссиди, их приятельнице. Потрясенная Мэй Джойс, крича: «О! Не говорите мне, что она умерла, не говорите!» — собралась бежать к ней, но муж озабоченно сказал: «Может быть, и нет…» и грустно посмотрел на нее сквозь монокль: «…но вот тут кто-то позволил себе вольность ее похоронить». Джеймс разразился хохотом, а потом повторял шутку одноклассникам и даже воспользовался ею в «Улиссе». По воскресеньям отец выпроваживал родных к мессе, но сам оставался дома. Когда старшие сыновья возвращались, он часто уходил с ними на прогулки, рассказывал им о дублинских персонажах. Мог вдруг показать, где жил Свифт, прогуливался Аддисон, где оперировал сэр Уильям Уайльд[9]. Щедр он был и на

множество историй о городе и мире, и не только слышанных, но и тех, в которых сам был персонажем — взять хотя бы его работу сборщика налогов, когда ему приходилось сталкиваться с самыми сочными деталями частной жизни Дублина.

Первые два года в Бельведере Джойс безмятежно и счастливо учился. После латыни и французского он должен был выбрать третий язык; мать настаивала на немецком, отец советовал греческий, но сам он предпочел итальянский. Свое слабое знание древнегреческого он оплакивал всю жизнь, но бесценным подспорьем для него оказался именно итальянский. Получив тему для домашнего сочинения «Мой любимый персонаж», он миновал Гектора и Ахилла, а выбрал Улисса-Одиссея, о котором читал в «Приключениях Улисса» Чарльза Лэма. Люцифер, Парнелл, Улисс — как ни различались эти персонажи, все они были ему сродни. Он не собирался становиться таким же, для этого он был слишком горд. Скорее их он собирался сделать такими же, как он сам; ему нужна была связь и игра между собой и ими.

Промежуточные экзамены проходили в июне каждого года, и Джойс увлеченно к ним готовился. Математика давалась ему нелегко, но он с ней справился, а вот с химией никак не получалось. Дома он пользовался роскошью отдельной комнаты, где мог заниматься, и во время экзаменов семья обращалась с ним крайне почтительно. Как-то вечером, когда он напряженно читал, Джон Джойс пришел и спросил: «Что бы ты хотел, если выиграешь конкурс, Джим?» Не отрываясь от книги, мальчик ответил: «Пару отбивных» — и продолжал читать.

Результатом его усердия были победы в 1894 и 1895 годах. Первый раз он был сто третьим из 132 победителей, хотя второй раз едва стал последним из 164. Главная премия составляла 20 фунтов за весь год, вторая — ту же сумму, но уже ежегодно в течение трех лет. Результаты конкурса были внесены в официальные сведения и торжественно хранятся в архиве до сих пор. Незамедлительно два священника-доминиканца обратились к Джону Джойсу и предложили Джеймсу бесплатное проживание, питание и обучение в их школе под Дублином. Джеймс ответил: «Я начал с иезуитами, с ними и закончу».

Джеймс умерил суровость нрава незадолго до конца семестра, убедив Станислауса прогулять денек занятий. Братья планировали совершить экспедицию по линии берега до самой Пиджн-хауз, городской электростанции Дублина. По пути, вспоминает Станислаус, он встретили явного педофила-гомосексуалиста, которого Джеймс позже вставит в рассказ «Встреча». Так его окликал опасный, постыдный мир взрослых,

куда ему самому вот-вот предстояло вступить. Ни учителя, ни родители пока не вызывали у него таких ощущений.

Джойс движется к тому моменту, который он позже сочтет сосредоточением физического и психического развития мужчины — когда мальчик превращается в подростка. Несколько месяцев он оставался еще мальчишкой, но словно втайне сопротивлялся этому. Поведение его было безупречным, в декабре 1895 года он удостоился приглашения во влиятельное братство Благословенной Девы Марии и в следующем году был избран его префектом или главой. Между этими двумя событиями Джеймс, как он признался много позже Станислаусу, начал сексуальную жизнь. Ему шел четырнадцатый год. «Портрет…» описывает его падение как драматически внезапное, но это вряд ли было так. Все тот же Станислаус упоминает о напряженном флирте с юной служанкой. Джеймс то и дело затевал с ней что-то вроде игры в догонялки и звучные пятнашки по нетипичным для этой игры местам, пока развлечение не было замечено и осуждено отцами-иезуитами. Затем последовал эпизод посерьезнее. Возвращаясь из театра, Джойс шел вдоль набережной канала и повстречал проститутку. Отчаянный, любопытный, жадный до любого способа показать себя, он и тут пошел на эксперимент. Результат укрепил его представление о сексуальном акте как о вещи постыдной — представление, впоследствии подавленное, но никогда не отброшенное. Вернувшись домой, Джойс нашел там отца и Бергана, весело обсуждавших пьесу, на которой они тоже побывали. Он постарался скрыть свои ощущения, чтобы не попасться на язык двум беспощадным острякам.

Однако держался он не так непроницаемо, как ему казалось. Отец Генри, ректор Бельведера, гордился своей способностью судить о характерах, и Джойс вызвал его подозрения. Генри был суров как прозелит, и его ученики часто наблюдали, как он вдруг останавливался посреди урока и начинал отмаливать ка-кую-то неподобающую мысль. А Джеймс выглядел уж слишком закрытым. Поэтому ректор не надеялся сам докопаться до истины, а вместо этого, как подобает настоящему иезуиту, пригласил на беседу Станислауса, расспросил его о нем самом, а потом искусно перешел к его брату. Устрашенный ректорскими напоминаниями об опасности лгать перед Духом Святым, Станислаус из неблагочестивого припомнил только историю со служанкой. Отец Генри почуял здесь опору своим подозрениям и на следующий день послал за миссис Джойс. Не вдаваясь в частности и этим встревожив ее еще сильнее, он предупредил:

— Ваш сын склонен к путям греха.

Крайне обеспокоенная, она вернулась домой, и Станислаус,

который к тому времени рыдал над собственной низостью, признался матери и брату, что ***о*** именно он сказал ректору. Джеймс расхохотался и обозвал его балбесом, а мать обвинила во всем служанку и рассчитала ее. Матери Брендана Галлахера она поведала, что эта женщина пыталась совратить ее сына.

Джойсу не нужны были ректорские наставления и предостережения. Из префектов братства его не разжаловали, и это положение его вполне устраивало. Подростковый тайный восторг обожания Девы обострялся тем, что на губах его шипел поцелуй греха. Его разум рвался обожать и осквернять одновременно. Однако девственная чистота все еще восхищала его. Он нашел в себе силы исповедаться — не в школе, а в часовне на Черч-стрит. Священник-капуцин выслушал рассказ мальчика о вполне мужских грехах скорее с сочувствием, чем с осуждением. С самой Пасхи это была первая исповедь Джеймса, и она вернула страстную воодушевленность к набожности в его душу. Он беспрерывно молился, усмирял плоть и трудился, чтобы добродетель его стала такой же окончательной, какой он прежде ощущал свою греховность. В «Портрете…» Джойс поиздевался над своим тогдашним религиозным возрождением, использовав коммерческую метафору, переодетую в пламенеющий слог: «Его душа будто приближалась к вечности; каждая мысль, слово, поступок, каждое внутреннее движение могли, лучась, отдаваться на небесах, и временами это ощущение мгновенного отклика было так живо, что ему казалось, что его душа во время молитвы нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как стоимость покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а легким дымком ладана или хрупким цветком».

Джеймс копил благостыню: его сестра Эйлин видела, что он твердит розарий[10] по дороге в колледж. Затем он опять задумался о себе. Ему стало казаться, что проповедь в дни удаления сыграла на слабых сторонах его души, что вера его выкручивает его как тряпку, вынуждая к неискренности. То, что он считал благочестием, казалось теперь лишь судорогой религиозного страха. Точка зрения, переданная Стивену в «Портрете…», разрасталась в его мыслях, как показывали более поздние письма и замечания. Да и бороться за воздержание оказалось не в пример труднее — для него так просто невозможно. Это он спокойно признавал много раз. Надо было выбирать между непрестанным ощущением вины и вполне еретической реабилитацией чувственности. По убеждениям Джойс раскаивался перед католической доктриной, по темпераменту — перед человечеством.

Его вера пошатнулась, и немедля начался новый процесс:

гигантски возросла вера в искусство, создаваемое крайне небезупречными людьми.

В Бельведере он теперь писал и прозу, и стихи. Его брат припомнил одну историю, предназначенную для журнала «Тит-битс», в основном ради гонорара; в ней человек, пришедший на бал-маскарад, переодевшись известным русским дипломатом, проходит на обратном пути мимо российского посольства, думая о «смеющейся ведьме», своей невесте, когда нигилист пытается его убить. Полиция арестовывает обоих, но невеста, узнав о происшествии, понимает, что случилось, и мчится в участок все объяснить и освободить его. Станислаус Джойс говорит, что несколько фраз, описывающих размышления героя о невесте, «были не без грациозности». Три-четыре года спустя Джеймс переписал рассказ в совершенно бурлескном стиле. Подобные трансформации не редкость для идей, которые сначала завладевали им безоглядно; потом он мстил им за это. Многие страницы «Улисса» написаны именно так, и рассказ попал туда же.

Первый цикл стихов Джойса назывался «Настроения», и само заглавие предполагало влияние У. Б. Йетса, чьи ранние сборники настаивали на том, что настроения есть метафизические реальности, запечатляемые художником. Подобно «Силуэтам» «Настроения» не сохранились. Единственный образец этой поэзии — перевод Горациевой оды «К потоку Бандузии». Выглядит это скорее пробой, чем достижением. Таким языком Джойс уже писал — школьные сочинения.

В 1896 году Джойс, еще не достигший нужного возраста, не мог принять участия в промежуточном тестировании. В 1897-м он набирает высший балл и становится тринадцатым в группе из 49 победителей, а также получает 30 фунтов годовых в течение двух лет. Он также получил три фунта за лучшее сочинение на английском, написанное в Ирландии в его возрастной группе. Успех вывел его в число лучших учеников Бельведера. В следующем году он стал старшиной корпуса, и его всегда посылали к ректору договариваться о свободном дне.

После занятий жизнь его, кроме посещений Найттауна, главным образом замыкалась на Бельведер-плейс, 2, в доме члена парламента Дэвида Шихи. Семья Шихи каждую субботу была открыта, что поощряло студентов попроказливее навещать их и их семерых детей. Джеймс и Станислаус бывали там постоянно, а Джеймс по приглашению миссис Шихи несколько раз оставался до утра. Ближайшим его другом там был Ричард Шихи, пухлощекий смешливый юноша, который звал его Джеймс Дисгастин — «отвратительный». Джойс дружил также с братом

Ричарда Юджином, на год отставшим от него в Бельведере, и с четырьмя их сестрами — Маргарет, Ханной, Кэтлин и Мэри, самой младшей и самой хорошенькой. К Мэри Джойс несколько лет испытывал тайное, но богатое переживаниями чувство, о котором она и не подозревала. Поэтому с ее братьями ему было легче, а с ней он вел себя замкнуто, застенчиво, порой грубо.

Дома у Шихи любили петь и играть в игры. Джойс почти всегда отмалчивался, пока не начинались развлечения. Он любил, чтобы его упрашивали спеть, и даже напрашивался на просьбу. Сентиментальные и юмористические песни одинаково удавались ему — ирландские, французские и даже елизаветинские. Ирландские, которые он важно и манерно распевал, были «Флейтист из Инишкорти», «Деметриус О'Фланаган Маккарти», «Круглоголовый парень» и «Замок Бларни». Английский репертуар включал разбойничьи баллады вроде «Терпина-удальца», песни времен Генриха VIII («Прежние друзья, добрая компания») и Джона Доуленда («Не плачьте же больше, печальные струи») или что-нибудь помоднее, вроде «Пары ясных глазок» из «Гондольеров» Гилберта и Салливана. Французские песенки были представлены веселой «Пойдем-ка, цыпочка!». У него была чудная приплясывающая версия «Человек срывает банк в Монте-Карло». Все это Джойс пел нежным, но довольно слабым тенором.

Пока Джеймс развлекал компанию, Станислаус просто сидел и отдыхал, потому что знал, что по тугодумию не может тягаться с братом. В шарадах, тогдашней любимой семейной забаве, Джеймс выдавал гениальные вещи. Когда надо было представить слово «закат», он сидел в округлом кресле так, что его макушка едва показывалась над краем спинки. Разыгрывая «твердость», он выслушивал сообщения о катастрофах с полным бесстрастием: в его доме пожар, его имущество погибло, дети и жена получили тяжкие ожоги… Затем легкий интерес возникал на его лице, и он спрашивал: «А что с моей собакой?» Как-то раз они с другом разыгрывали львов, которым должны были бросить юного христианина, и тут вошел чинный молодой адвокат, ранее у них не бывавший. Они набросились на него, порвали на нем одежду, а также, как полагается приличным львам, разломали очки. Адвокат, так и не успев развеселиться, подобрал клочки с кусочками и более не возвращался.

Хотя ему нравились все эти вольности, Джойс продолжал обгонять в интеллектуальном развитии своих одноклассников — он читал взахлеб и со страшной скоростью, прочитывая все написанное понравившимся автором. Одним из них был Джордж Мередит, чье «Испытание Ричарда Феверела» и «Трагические

комедианты» ему особенно нравились. Другим — Томас Харди; он ходил в библиотеку на Кэйпел-стрит, чтобы взять «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей». Библиотекарь предупредил Джона Джойса, что его сын читает опасные книги. Джеймс легко разуверил отца и уже для него послал Станислауса за «Джудом Незаметным». Станислаус, напуганный тем, что слышал о Харди, стал спрашивать у библиотекаря «Джуда Неприличного»[11]. Джойсу так понравилась оговорка, что позже он рассказывал эту историю как случившуюся с ним. Через несколько лет Харди ему надоел, но тогда он читал его с интересом и всегда уважал за упорство, с которым тот противостоял среднему вкусу.

Новым важным бременем для его души стал норвежец Ибсен, еще один гений, рожденный маленьким народом. Имя его было уже хорошо известно в Англии, в Ирландии меньше. Его любили и отвергали одновременно. «Атенеум» поругивал его произведения за аморальность, а Йетсу они казались обывательскими и проходными. Джойс увидел в Ибсене то, что назвал «духом прекрасного ребяческого своеволия, несущегося сквозь него, как могучий ветер». Он также одобрял отчужденность и замкнутость Ибсена, которые привели его к отъезду из страны и зачислению себя в изгнанники. Правда как осуждение и разоблачение, изгнание как художественная категория: это были полюса мышления самого Джойса. Фигура Ибсена, чей темперамент, говорит он в «Стивене-герое», подобен мощи архангела, занимала для Джойса в искусстве то место, которое Парнелл занимал для него в национальной истории.

Преимущественно через Ибсена Джойс убедился в важности драмы: он еще не попробовал себя в сценическом искусстве, но в театре бывал так часто, как мог себе это позволить, и писал рецензии на каждую увиденную пьесу, контрастировавшие с написанным газетными критиками. Станислаус сообщает о курьезном последствии такого посещения: давали «Магду» Зудермана. На следующий день, обсуждая пьесу с родителями, которые тоже ее смотрели, Джойс сказал: «Тема пьесы — как гений восстает в доме и против дома. Вам не стоило ее смотреть. Это вот-вот произойдет в вашем собственном жилище».

Весь выпускной год Бельведера Джойс ощущал себя осажденной крепостью, то и дело отклоняющей искусительные предложения почетной сдачи. Первым предложением оказалось физическое здоровье. В Бельведере наконец открылся спортивный зал, где инструктором был лысый старший сержант по фамилии Райт, и началась активная пропаганда спорта. Джойс не отказывался участвовать, его выбрали секретарем спортобщества, он неутомимо тренировался, снова и снова подтягиваясь на

перекладине, пока Райт не говорил ему: «Достаточно, Джойс». Но до превращения в здоровяка ему было очень далеко; зато другие формы «духовных упражнений» он высмеивал с азартом. Приходил скрюченный вдвое и говорил Райту: «Я за исцелением». Второе, чему он сопротивлялся, было участие в Ирландском возрождении[12], начавшееся с появлением в школе организаций вроде Гэльской лиги. Он не был готов принять свою нацию целиком: как парнеллит, с нетерпимостью относился к попыткам игнорировать старые раны, предпочитая растравливать их, и даже появился 6 октября в Бельведере с листом плюща на отвороте куртки, знаменуя день смерти Парнелла. Преподаватель отец Тирни заставил его снять лист в школе, но разрешил приколоть обратно за ее стенами. Последним искушением было предложение завуча школы, который, по воспоминаниям Станислауса, советовал Джойсу подумать о карьере священника. Это означало затворничество и тюрьму для души, а Джойс тянулся к искусству и жизни, сулило это проклятие или нет.

В «Портрете…» Стивен Дедалус идет по берегу моря на исходе своих школьных дней и внезапно видит красивую девушку с подоткнутой юбкой, спускающуюся к воде. Ее красота вспыхивает для него, как озарение правды, и подтверждает его выбор в пользу искусства и жизни, даже если это означает и трудности, и страдания. Случай также наводит Джойса на суждения о времени. Без сомнения, он увидел в этом «профанное совершенство человечества», как бы противопоставленное бледному рыхлому лицу манящего священника. Теперь он без колебаний входит в «прекрасные дворы жизни».

Отход Джойса от католицизма, разумеется, был тайным. Он уверял, что его отношения с отцом Генри и другими преподавателями до конца оставались очень добрыми. Но свидетели отмечают, что память Джойса тут дает осечку. Он вечно опаздывал на занятия, из-за чего Демпси в конце концов возмутился и отослал его отчитаться в своем дурном поведении отцу Генри. Ректор вел урок латыни, когда Джойс покорно вошел и объявил, что мистер Демпси велел ему прийти и признаться, что он опоздал на занятия. Генри прочел ему длинную лекцию, которую он выслушал, по словам бывшего среди учеников Юджина Шихи, в «нераскаянном молчании». Когда она завершилась, он добавил тем же самым скучающим тоном: «Мистер Демпси велел мне сказать вам, сэр, что вчера я тоже опоздал на полчаса». Ректор снова разразился речью. Когда он закончил, Джойс добавил, едва ли не зевая: «Мистер Демпси велел мне сказать вам, сэр, что за весь месяц я ни разу не пришел в школу вовремя».

Последний спор Джеймса и отца Генри состоялся на следующий месяц, как раз перед окончанием Бельведера. За день до национального конкурса, 24 июня 1898 года, состоялся школьный экзамен по катехизису. Джойс и двое других учеников не смогли прийти на него. Ректор воспламенился таким явным неподчинением и не стал даже слушать их объяснения, что им не хватало времени готовиться к другим экзаменам. Он заявил, что они совершили акт непослушания, и запретил им вообще участвовать в конкурсе. К счастью, молодой педагог, преподававший французский и считавший Джойса своим лучшим учеником, сумел разубедить ректора. Джойс сдал экзамен, но лишний день подготовки ему никак не помог. Он набрал результаты, несравнимые с прошлыми, но четыре фунта за английское сочинение ему достались, и профессор Уильям Магеннис из дублинского Юниверсити-колледжа отметил, что этот молодой человек достоин публикации.

Бельведер многое дал Джойсу, в особенности отличную подготовку по английскому и трем иностранным языкам. Более того, он привил ему склонность и хорошую технику бунтарства. Он знал теперь, что может пренебречь религиозным обучением, и это завершало сложившийся к этому времени образ. Но понятнее всего, по крайней мере тогда, было то, с чем Джойсу надо расстаться, хотя главного в этой науке он еще не познал.

Глава четвертая ДУША, ТЕЛО, НОША

It takes upon the body and upon the soul the coarseness of the drudge…[13]

Когда Джойс начал посещать дублинский Юниверсити-колледж, это заведение вело битву за признание. С 1853 года, когда Джон Генри Ньюмен[14] основал его как католический университет, он словно бы набирал скорость и пробовал варианты. Ньюмену не довелось сделать его тем, чем хотелось. В 1857 году он вернулся в Англию, а годом позже снял с себя ректорские полномочия. Следующие 15 лет университет держался загадочным образом, не имея ни основательной частной подпитки, ни государственного финансирования. Размещался он в старых, ветшающих зданиях на Стивенс-Грин-стрит, и новый ректор обнародовал грандиозный план строительства нового университетского комплекса на окраине Дублина. Воплотиться ему было не суждено.

После множества затяжек и бесконечных дебатов ирландских парламентариев в 1879 году был принят весьма невнятный Университетский билль. Парламент одобрял создание системы высшего образования в Ирландии и признавал, что Тринити-колледж был слишком маленьким и протестантским, чтобы учить множество студентов-католиков. Билль изобретательно предоставлял поддержку Юниверсити-колледжу, но лишь как части Королевского университета, который становился экзаменующим учреждением для соответствующих колледжей в Дублине, Корке, Голуэе и Белфасте. Экзамены должны были проводиться по светским дисциплинам, что должно было ослабить влияние католической церкви на процесс обучения. Эта перемена задала тон подготовки Джойса. Хотя иезуиты главенствовали в колледже, но чисто религиозным обучением школьников не перегружали. Директор, отец Уильям Дилэни, был одним из наиболее успешных католических просветителей Ирландии и считал, что религию следует внедрять не «в лоб», а исподволь.

Студенты Юниверсити-колледжа смутно догадывались, что Тринити-колледж, до которого полмили, укомплектован более достойными профессорами. На классическом отделении — Мэхэфи и Тайрелл, надменные и враждебные в своем величии, превосходящие во многом коллег из Юниверсити, особенно после кончины выдающегося поэта Джерарда Мэнли Хопкинса, который в состоянии горестной нищеты занял в 1880-х эту кафедру.

Английское отделение возглавлял в Три-нити Эдвард Даудэн, одаренный ученый, в то время как в Юниверсити, когда Джойс туда поступил, профессорствовал Томас Арнольд, куда менее впечатляющий и сильно одряхлевший. Когда-то он был даже героическим прототипом для писателей, которых теперь едва помнил. Он был братом еще одного замечательного поэта, Мэтью Арнольда, и всю жизнь путался в том религиозном кризисе, который его брат величаво преодолел. Дважды он обращался в католицизм — во второй раз, чтобы получить англосаксонскую кафедру Оксфорда.

Одно время Джойс изучал английский у отца Джозефа Дарлингтона, декана факультета, как и Арнольд, англичанина, перешедшего в католицизм. Дарлингтон знал, как много читает Джойс, и на первой же лекции упомянул пьесу Стивена Филипса «Паоло и Франческа», спросив, читал ли ее кто-нибудь. Джойс на прямой вопрос Дарлингтона кратко ответил: «Да» — и с тех пор почти не бывал на занятиях. Дарлингтон не слишком оскорблялся этим, равно как и проницательно распознанным религиозным дезертирством Джойса. Четыре года он с легким неодобрением поглядывал на Джойса, но не портил ему жизнь и анкету, за что был вознагражден переселением в литературную вечность, Валгаллу педагогов.

Итальянский Джеймс изучал с природными итальянцами. Несмотря на кажущуюся строгость обучения, он удачно совпал с одним из самых либеральных и понимающих его профессоров — точно так же ему повезло и в школе. Иезуит отец Чарльз Гецци был переведен в Ирландию после долгого служения в Индии. Он дал Джойсу прочные знания Данте и Габриеле д'Аннунцио — комбинация довольно странная по теперешним временам, но вполне естественная тогда. У д'Аннунцио Джойс учился требовательности к стилю. На последнем экзамене по итальянскому он оказался единственным студентом мужчиной, остальные восемь или девять были девушками. «Даниил среди львиц», как он острил позже, подготовился плохо, тексты знал очень приблизительно, однако так хорошо усвоил манеру д'Аннунцио, что импровизировал в ней, и экзаменаторы после некоторых сомнений выпустили его.

Джойс читал итальянцев не только для курса, но и для себя. Он углубляется в конфликт гвельфов и гибеллинов, а среди философов открывает неожиданного мастера — Джордано Бруно. Долгое время Бруно считался вероотступником, но тогда уже началось его оправдание. На римской Кампо деи Фьори, где когда-то произошло аутодафе мыслителя, в 1889 году ему был поставлен памятник. Гецци благочестиво напомнил Джойсу, что

Бруно был ужасным еретиком, но Джойс ответил сухо, что и сожжен он был ужасно. Теория Бруно о бесконечном множестве миров могла привлечь Джойса потому, что он считал искусство примирителем противоречий своего сознания, которые он позже персонифицировал как Шема и Шоуна. В «Поминках…» Бруно Ноланец переряжен в дублинских книготорговцев Брауна и Нолана.

Французскому Джойса учил Эдуар Кади, бретонец с могучими усами. Он чувствовал, насколько даровит его студент, с удовольствием читал его работы, а однажды восторженно сказал, что выдал бы за него свою дочь. Отнесем это утверждение на счет родительской любви — достоинства мадемуазель Кади нигде не прославлены. Джойс учился французскому, но не дисциплине. Однажды, опоздав на двадцать минут, он еще и прошел мимо профессора к окну, выходящему на улицу, открыл его и высунулся чуть не по пояс. Кади, сочтя это уже перехлестом, растворил соседнее окно, так же высунулся из него и гневно уставился на Джойса. «Bonjour, monsieur, — мрачно поздоровался Джойс. — Я только хотел подсчитать, сколько карет в погребальной процессии олдермена Кернана». В другой раз он притворился, что смертельно поссорился с другим студентом по поводу неточностей в его французском переводе и будет стреляться с ним в Феникс-парке. Перепуганный Кади долго успокаивал свирепых кельтов и уговорил пожать друг другу руки — что они и сделали так же свирепо.

Студенты в Юниверсити были столь же необычными, как и их профессора. После себя умнейшим из них Джойс считал Фрэнсиса Скеффингтона — он погиб во время Пасхального восстания 1916 года, когда безрассудно пытался прекратить мародерство английских солдат. В университете он был старше Джойса почти на целый срок обучения и считался признанным бунтарем. Протестуя против однообразия в одежде, он носил брюки гольф, по тем временам строго спортивную одежду, за что его прозвали «Никербокером» — по имени персонажа Вашингтона Ирвинга, носившего похожие штаны. Протестуя против бритья, он отпустил бороду и пошел даже дальше, умудряясь протестовать против курения, алкоголя и вивисекции. Великий составитель и распространитель всяческих прошений, он убеждал Джойса подписать петицию к русскому царю о стремлении ко всеобщему миру, но Джойс, если судить по «Портрету…», отказался. Говоря, что у Николая II лицо пьяного Христа, он (или Стивен) добавляет, не скрывая своего презрения: «Держитесь за вашу икону. Если уж вам так нужен Христос, пусть это будет Христос узаконенный»[15].

Несмотря на совершенно разное устройство мышления,

Джойс и Скеффингтон хорошо ладили. Забавлялись они по-ирландски: зная, как Скеффингтон рвется настаивать на разного рода правах, Джойс пообещал ему полкроны, если тот купит в самой дорогой фруктовой лавке на Сэквилл-стрит крыжовнику на полпенса и расплатится золотым совереном — монетой почти в пятьсот раз дороже порции кислой простонародной ягоды. Скеффингтон согласился, вошел в лавку, и через некоторое время Джойс, ехидно посмеиваясь, наблюдал предельно раздраженную продавщицу и гордого собой борца с двумя пригоршнями сдачи. Скоро Скеффингтон женился на Ханне Шихи и, отказываясь признавать за браком хоть малейшую возможность ущемлять чьи-то права, переименовал себя в Шихи-Скеффингтона.

Было еще трое юношей, с которыми Джойс общался в университете, — Керран, Косгрейви Бирн. Первые двое были взаимной противоположностью: Константин Керран добр и сдержан, и Джойс ценил его спокойный ум. «Портрет…» слегка преувеличивает его обжорство, но он был склонен к полноте. Прекрасно начитанный, знающий архитектуру, он сделал не слишком заметную карьеру в Верховном суде. Он разделял страсть Джойса к поездкам в Европу, но был набожен более, чем европеизирован, что и продемонстрировал, участвуя в массовом скандале во время премьеры драмы Синга «Удалец с Запада». Тем не менее Джойс уважал его критические суждения и в течение жизни относился к нему с необычной деликатностью.

Винсент Косгрейв обладал багровым лицом Нерона и беззаботностью Панурга. Неплохой, но совершенно неупражняемый мозг, острая интуиция — он рано и глубоко оценил Джойса и говорил Бирну: «Джойс — самый примечательный человек из всех, что нам попадались». В удел ему достались праздность и неудачи. С возрастом характер его ухудшался, и гибель его в Темзе, видимо, неслучайная, стала жестоким признанием непригодности к чему-либо. Косгрейву Джойс был благодарен за всегдашнюю готовность бродить с ним, говорить и (если были деньги) забредать в бордель на Тайрон-стрит. Речи его, о бабах ли, о религии, были грубыми, но остроумными. Джойс, который тогда почти не пил, поддерживал его в разнообразных публичных выходках, хотя чаще изображал из себя строгого учителя при буяне-ученике.

Но самым близким другом Джойса по колледжу был Джон Фрэнсис Бирн, «Крэнли» его романов. Они были знакомы еще по Бельведеру, но после колледжа виделись редко. Бирн был красив, спортивен и умен, преуспевал и в шахматах, и в гандболе и презирал занятия даже более царственно, чем Джойс. Его после смерти обоих родителей вырастили две старшие сестры, на лето

он забирался в Уиклоу и жил там деревенской жизнью, изумлявшей его дублинских приятелей. Он не блистал ни идеями, ни риторикой, наоборот, — Джойс говорил, что он «блистательно банален». Но чтобы в такой компании быть банальным, нужна смелость, и он ею обладал. Бирн держался как человек, знающий о жизни все, но не желающий этим пользоваться. Стоя с другими юношами на ступеньках Национальной библиотеки или Юниверсити-колледжа, он внимал их болтовне, но не снисходил до замечаний. Джойса он покорял скорее именно этим: что бы он ни рассказывал Бирну о своих чувствах, семье, друзьях и церкви, о мучивших его амбициях, все уходило в загадочно-внимательное молчание Бирна, как волна в песок дублинского пляжа. Бирн слушал Джойса, не навязывая взамен собственных признаний и не изображая отпущение грехов.

Ни в ком из друзей Джойс не нуждался так, как в Бирне. Он мог часами ждать, пока Бирн выиграет партию в шахматы, чтобы потом обрушить на него свой монолог. Бирна, в свою очередь, поражала именно речь Джойса, горячая и несдержанная. Дружба эта имела для Джойса такое значение, что, когда она прекратилась, это сильно уменьшило его привязанность к Ирландии.

Когда в сентябре 1898 года Джойс поступил на подготовительный курс Юниверсити-колледжа, ему было шестнадцать с половиной. Жесткие темные, волосы, расчесанные, когда он удосуживался это сделать, на прямой пробор, упрямый подбородок — самая сильная часть его в общем тонкого лица, острый нос, светло-голубые глаза и узкие сжатые губы. Лицо почти всегда было неподвижно, мимику мог разглядеть лишь хорошо знавший его человек. Близорукость постепенно повлияла не только на внешность, но и на личность — не желая трогательно щуриться или носить очки, он закрепил на лице выражение спокойного равнодушия. Сухопарый и узкокостный, он практически не прибавлял в весе до самой смерти. Смех Джойса или громкое восклицание могли напугать — настолько они не связывались с его обычной манерой; бывали случаи, когда его спрашивали, что с ним. Одет он чаще всего был в неглаженый заношенный костюм, да и мылся нечасто. В шарадах у Шихи на вопрос, что он больше всего не любит, Джойс отвечал: «Воду и мыло». Однако сестра Ева вспоминает, что он гордился тем, что вши у него не заводились. «Им нечем себя потешить», — говорил он.

Качества, из которых позже сложится знакомый нам Джойс, пока только накапливались. Очень по-юношески он и выражал сильные чувства, и пытался их сдерживать. Любовная лирика его

— явное свидетельство воображаемых страстей, как он позже признавался брату, и рядом — жестоко подробный анализ женщин как «животных с мягкой шкурой», перевоплощенный вой вожделения. Он начинает составлять свое отношение к таким институтам, как семья, церковь, государство, хотя пока делает это не так яростно, как впоследствии. От родных Джойс не отказывался, продолжая любить их, но подгонять складывающиеся убеждения под унылую необходимость зарабатывать деньги был не намерен. В университетские годы его самым близким родичем был Станислаус, но и ему он уделял не слишком много любви, и тот взревновал, когда Джеймс все больше времени проводил с Бирном и Косгрейвом.

Что же касается церкви, Джойс, похоже, больше не принимал причастия после своего взрыва благочестия на Пасху 1897 года. Биограф Моррис Эрнст спросит его: «Когда вы расстались с католической церковью?» Джойс ответит: «Спросите об этом у церкви». Из двух возможных путей расставания с религией Джойс выбрал не столько атеизм, сколько смену объекта веры. Искусство, захватывавшее его все больше, казалось ему преимущественным по сравнению с любой другой человеческой деятельностью. В этой церкви без веры он обрел себя. Она была старше святого Петра и куда бессмертнее, в ней он мог быть и упрямым, и лихим. Скоро судьба послала ему отличную схватку, где он в полной мере явил оба этих качества.

Собственно, и сама схватка была результатом события, которое можно оценить как главное культурное событие в жизни Дублина 1880—1890-х годов. 8 мая 1899 года в Ирландском литературном театре состоялась премьера трагедии Уильяма Батлера Йетса «Графиня Кэтлин». Вокруг нее уже давно клубилась туча скандалов и сплетен. Товарищ Йетса по театру Эдвард Мартин едва не отказался от финансовой поддержки постановки и вообще от участия в театре. Истовый католик, запуганный изобилием в пьесе злых духов и языческих богов, он решил показать ее духовному лицу, и духовное лицо согласилось с его опасениями. В театре разразился скандал, но Йетс сделал все, чтобы убедить Мартина остаться. Он даже нашел двух богословов поумнее, и те успокоили католическую совесть драматурга. Затем кто-то из многочисленных противников Йетса напечатал памфлет, где уравнял речи персонажей-бесов с мнением самого автора, и распространил брошюру по всему городу, оставив по экземпляру в приемной каждого дублинского врача. Дряхлый кардинал Лоуг, в лучших традициях обскурантов, не читая пьесы, объявил ее еретической; сказано было, правда, что, если пьеса такова, какой ее описывают, о да — она еретическая, и ни один

католик не должен ее смотреть. Но в этот раз Мартин был устойчивее.

Через десять лет эта ситуация и Йетсу, и Муру, и Джойсу казалась нелепой и смехотворной, но тогда…

Джойс вообще-то употребил довольно покровительственную интонацию, еще до этого назвав Йетса главным из живущих ирландских авторов. По своим тогдашним доходам он смог купить билет лишь на галерку, но и оттуда увидел великую актрису Флоренс Фарр в роли поэта Айлиля, услышал ее завораживающий голос, который потом добавит славы и очарования стихам Йетса, — она будет читать, почти петь их под музыку старинного инструмента псалтериона, похожего и на греческую кифару, и на арфы древних кельтов. Вторая замечательная актриса, Мэй Уитти, известная своими шекспировскими ролями, играла графиню.

Йетс мало писал о премьере, считая ее удачей и решительным высказыванием публики своего «за» — за свободу литературы. Но другие очевидцы запомнили куда более бурную картину. Спектакль шел в одном из самых больших концертных залов ирландской столицы, рассчитанных на восемьсот человек, но народу было больше. Представлен был, как писали журналисты, «весь Дублин» во всем своем буйном разнообразии. Партер заняли спортивные, крепкие, хорошо организованные студенты из Юниверсити-колледжа, томившиеся в воинственном ожидании нападок на Ирландию или католическую веру. Галерка, где сидел Джойс, была заполнена задиристыми антиклерикалами, настроенными не менее решительно аплодировать всему, что покажется им смелым. Были и клакеры, нанятые утренней газетой, для того чтобы просто сенсации ради сорвать спектакль, а им противостояли молодые театралы, неистово аплодировавшие удачным строкам или репликам. Критик Джордж Казенс писал: «В дуэли шиканья и криков „браво“ кричавшие „браво“ победили. Я могу засвидетельствовать эту победу, потому что сам был в числе победителей, а в качестве трофея унес порванную шляпу; яростно размахивая ею в зале, я приветствовал вовсе не пьесу, а подъем духа Искусства в Ирландии, в противовес духу обскурантизма и бесчестной цензуры».

Среди аплодировавших был семнадцатилетний Джеймс Джойс, который не присоединился ни к одному из лагерей, сразу поняв, что христианство пьесы символическое, а не теологическое. Националисты в своих газетах вопили, что это бесстыдство по отношению к своему народу. Автор-де вывел в пьесе и крестьянина, ломающего распятие, и священника, на которого нападает бес в образе свиньи, и крестьянку,

изменяющую мужу, и двух воров — что это такое, как не предательство национальных интересов Ирландии?

Джойс никак не возражал против того, что ирландские крестьяне изображены тупыми и суеверными; они такими и были. Вера их, считал он, была набором заученных предрассудков. Но тема Фауста, пусть и в женском обличье, расплачивающегося за весь человеческий род, отозвалась в его душе неожиданно сильно. В «Портрете…» Стивен будет готов также подписать контракт на страдание за свой род. Стихи, которые пела Флоренс Фарр в этой пьесе, «Кто идет за Фергусом?», тронули его еще больше. Их яростная неудовлетворенность, их обетование настолько совпали с его мыслями, что позже он положил их на музыку и называл лучшим стихотворением мира.

Кто вслед за Фергусом готов
Гнать лошадей во тьму лесов
И танцевать на берегу?
О юноша, смелее глянь,
О дева юная, воспрянь,
Оставь надежду и тоску.

Не прячь глаза и не скорби
Над горькой тайною любви,
Там Фергус правит в полный рост —
Владыка медных колесниц,
Холодных волн и белых птиц
И кочевых косматых звезд[16].

Друзья Джойса придерживались иного мнения. Как только спектакль закончился, Скеффингтон с остальными сочинили письмо протеста во «Фрименз джорнел» и оставили его на столе в колледже, чтобы любой желающий мог подписать. Джойсу предложили, но он отказался, а Кетгл, Скеффингтон, Бирн и Ричард Шихи подписали. Им очень хотелось выглядеть в творческой среде Дублина интеллектуалами-католиками, но повод был выбран неосмотрительно. Йетс, как будет ясно впоследствии, одержал безоговорочную победу. Письмо, опубликованное через два дня после премьеры в «Фрименз джорнел», должно было явить их эстетический патриотизм, а продемонстрировало только узколобость. Правда, они утверждали, что уважают Йетса как поэта, а вот как мыслителя они его презирают. Ирландия — не его предмет, его персонажи — не ирландские католики. «Наш очевидный долг, — говорилось в письме, — во имя и ради чести дублинского католического

студенчества Королевского университета протестовать против такого искусства, которое представляет наш народ омерзительной породой вероотступников». Письмо должно было прозвучать для Джойса живым повторением сатирических мотивов ибсеновских пьес, разыгранным его товарищами. Они припомнят ему впоследствии его отказ подписаться, а он, в свою очередь, высмеет их готовность сплеча поставить росчерк. Кстати, отец Нолан вспоминал потом, что подписаться отказывались и другие, но только Джойс сделал это публичным поступком. Если Ирландии не суждено было стать «последним дополнением к Европе», как он тогда говорил, она по крайней мере должна предоставить своим художникам свободу и унять своих попов.

Эпизод завершил выпускной год Джойса, через месяц он заканчивал университет, но особенного рвения в подготовке к экзаменам не проявлял. Академическая карьера перестала его привлекать, и более или менее заметного результата он добился только по латыни — второй результат выпуска. Но английские эссе того времени пока что еще весьма поверхностны и, увы, напыщенны. Джойс, как и множество молодых литераторов того времени, подражал Джону Рескину, на смерть которого в 1900 году откликнулся уже куда более интересным текстом — «Венком из дикой оливы». Немногое, что стоит внимания в тогдашних текстах Джойса, — это его ненависть к любому принуждению, особенно по отношению к искусству, которую он сохранит всю свою жизнь.

Со времени поступления Джеймса в университет его семья все наращивала скорость движения вниз; это было видно даже в переездах. С 1898 по 1900 год они переезжали пять раз, и каждый раз это было все более неприглядное жилище. В «Портрете…» Джойс описывает дом в Фэйрвью, на Ройял-террейс, 8, смежный с монастырскими постройками. Сквозь общую стену доносились вопли сумасшедшей монахини. После 1901 года они перебрались еще дальше, за Северную окружную дорогу, на улицу Глендарифф-Пэрэйд, 32. Еще в Бельведере одноклассники спрашивали Джойса, почему это они так часто переезжают. Теперь единственной защитой от снобов для него стало интеллектуализированное презрение. Отцу его пришлось выучиться всем тонкостям обращения с домовладельцами; он искусно уклонялся от выселения за неуплату, предупреждая его экстренными переездами или предлагая съехать в обмен на расписку об уплате, экономя домохозяину расходы на разбирательство. Обычно хозяева соглашались, и Джон Джойс успевал перебраться на другую квартиру, убеждая нового домохозяина с помощью расписки в своей платежеспособности —

мало ли какие временные затруднения бывают у джентльменов! Потом все повторялось.

Следующий учебный год стал для Джеймса решающим. В октябре 1899 года он предложил прочесть на январском заседании Литературно-исторического общества доклад «Драма и жизнь». Общество, как и сам колледж, было созданием Ньюмена — существует оно, кстати, и по сей день. Некоторое время оно бездействовало, затем Скеффингтон добился его возрождения и стал его новым лидером и главным вербовщиком. Потом к нему присоединился Кеттл. Руководство колледжа не поощряло открытых политических дискуссий, и обычно темы были социальными либо чисто литературными. Джойс активно участвовал в обществе, особенно в год учебы на подготовительном отделении, его выбрали в исполнительный комитет общества и едва не сделали казначеем. В январе 1899 года Джойс и Кеттл участвовали в качестве «отрицателей» в диспуте «Последняя декада XIX века — последняя степень падения английской литературы». Месяцем позже, в феврале, Хью Бойл Кеннеди, жеманный молодой человек (Джойс язвил, что лицом он похож на хорошо отшлепанную детскую попку; позже он стал министром юстиции в Ирландском свободном государстве[17]), прочел доклад «Военная машина как государственная необходимость». Джойс атаковал доклад, с жестокой иронией переведя восемь степеней блага в военные термины. Потом в «Улиссе» появится список «британских блаженств» — все на «Б»: «Beer, beef, business, bibles, bulldogs, battleships, buggery and bishops»[18] — очень похоже на перепев тогдашних сарказмов.

Возможно, его также раззадорил доклад Артура Клери — очень неглупого и остроумного студента, впоследствии ставшего ярым националистом. Но в тот раз его доклад назывался «Театр и его образовательная ценность». Дискуссия была довольно серая, однако Джойсу не под силу было упустить такой повод. Ведь Клери упомянул о «признанном всеми вырождении современной сцены» и добавил к этому, что «Генрик Ибсен — это зло»; потом расхвалил древних греков и, размахивая «Макбетом» как аргументом, ратовал за возрождение шекспировского театра. «Полагаю, что для влияния на нас и нашего развлечения достойным итогом деятельности театра должно быть возвышение», — утверждал Клери. Тут Джойс не мог согласиться ни с чем. Он разгромил доклад, а его горячая поддержка Ибсена возбудила такой же горячий спор среди студентов, которые Ибсена не читали. Отголоски докатились даже до матушки Джеймса; в «Стивене-герое» она стыдливо задает вопрос, хороший

ли писатель этот Ибсен. Сын немедленно принес ей почитать несколько его пьес, и она выдержала проверку на удивление хорошо, согласившись, что Ибсен во всяком случае никак не аморален. Даже Джон Джойс, удивленный тем, что его жена взялась за чтение едва ли не впервые со дня свадьбы, начал читать пьесу «Союз молодежи», но вскоре отложил, успокоив себя, что Ибсен скучен до безопасности.

Джойс тщательно разрабатывал мысли для «Драмы и жизни». Большинство его эссе того времени связано с драмой, со Станислаусом он обсуждал свои аргументы, а тот на удивление толково возражал. Когда он закончил свой доклад, то передал его аудитору общества, тому же Клери, который показал его ректору. Отец Дилэни отказал Джойсу в разрешении выступить.

Так состоялось первое столкновение Джойса с цензурой после школьных времен, когда мистер Дэмпси обнаружил в его тексте примеры ереси, и он немедленно явился к ректору с протестом. Дилэни, такого никак не ожидавший, сбавил запрет до замечания, что доклад слишком умаляет этическое содержание драмы, но Джойс защищался знаменитым доводом Фомы Аквинского о прекрасном, которое суть то, что вызывает у нас удовольствие. Ректор решил не настаивать на своих возражениях, но несколько самых ортодоксальных студентов явно натаскали на травлю Джойса.

Чтобы прочнее обосновать собственное высокое мнение о своей же работе, Джойс написал редактору «Фортнайтли ревью» У. Л. Кортни и храбро поинтересовался, не нужна ли ему обзорная статья о творчестве Ибсена. Кортни ответил в тот самый день, когда назначено было чтение доклада: статья ему не нужна, однако рецензию на новую пьесу Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» он бы взял. Слегка взбодренный ответом, Джойс отправился в Физический театр читать свой доклад — это было 20 января 1900 года. Профессор Магеннис, заметивший его еще со времен конкурсных экзаменов, был рецензентом. Джойс прочел свой доклад. Это было, как вспоминал Станислаус, «достаточно бесстрастно»; а сам автор в «Стивене-герое» описал все так: «Он читал тихо и отчетливо, облекая весомость мысли или выражения в тихую и безобидную мелодию, и произнес заключительные фразы с металлической отчетливостью».

Мелодию автор действительно попытался подобрать успокаивающую и недвусмысленную. Начал он с греческой драмы: Клери счел это обычной данью традиции, но Джойс говорил о ней, как о том, что было убито сценической условностью. Следующая великая драма, шекспировская, тоже умерла, став просто «литературой в диалогах». Другие

драматурги, предшествующие современным, Корнель, Метастазио, Кальдерон, разрабатывали инфантильное жонглирование сюжетом, и воспринимать их всерьез нельзя. Как говорил Верлен: «Все прочее — литература». Джойс явно держал в уме этот суперкороткий тезис, обсуждая драму как нечто, не смешиваемое с литературой. Литература имеет дело с личными отклонениями в преходящих условиях, тогда как драма — с неизменными законами человеческого бытия. Парадоксально, но именно современные драматурги «восприняли то, что извечно, и по-настоящему заинтересовались этим. Мы должны очистить мозги от ханжества, — говорил Джойс, раздражая патриотов среди слушателей, — будем вести критику как свободные люди, как свободная раса…»

Он закончил свой доклад монологом из ибсеновских «Столпов общества» и едва успел отдышаться, как на него набросились — Клери, Кеннеди и все прочие. Магеннис был не так категоричен, однако тоже не согласился. Критика эта собрана в «Стивене-герое». «Эсхил — несокрушимое имя», «греческая драма переживет множество цивилизаций», «автор — враг религии», «он не признает, что церковь обуздывает произвол художника», «пьесы Ибсена — сточные трубы», «„Макбет“ будет славен, когда все безвестные авторы, о которых говорит Джойс, будут мертвы и забыты…». В конце Джойса, как полагается, обвинили в отсутствии патриотизма потому, что он так восхищается иностранными писателями.

Хотя в «Стивене-герое» персонаж-Джойс не склонен отвечать на заушательства, подлинный Джойс встал с кресла докладчика только после десяти часов вечера, когда прозвонил колокол, означавший прекращение всех событий на территории университета. Как вспоминает судья Юджин Шихи, Джойс говорил без всяких заметок почти полчаса и по очереди ответил каждому из критиков. Его задиристое красноречие постепенно вернуло ему уважение и внимание аудитории. Раздались даже аплодисменты. После завершения дебатов один студент простодушно хлопнул его по спине и воскликнул: «Джойс, ты молодец, но все равно ты чокнутый!»

Джойс ответил на это (если согласиться с Эллманом) поражение ударом, которого сокурсники его не могли ни нанести, ни отвести. Он достал французский перевод ибсеновской пьесы «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», прочел и написал статью, которую отправил в «Фортнайтли ревью». Когда 1 апреля 1900 года газета вышла с оглавлением, где значилось «Новая драма Ибсена. Джеймс А. Джойс», однокурсники автора онемели. То, что он получил 20 гиней, ошеломило их еще больше. Некоторые

попробовали пойти той же дорогой, но безуспешно. Отныне Джойс был Тем-Парнем-Что-Напечатался-в-«Фортнайтли», и это укрепило его высокую самооценку, но и добавило отстраненности. Вознесли его не столько восхищение студентов, сколько благосклонность самого Ибсена, хотя написал он из Христиании не Джойсу, а своему переводчику Уильяму Арчеру, который сообщил Джойсу: «Думаю, вам будет интересно узнать, что в письме, которое я получил от Генрика Ибсена два-три дня тому назад, он говорит: „Я прочел или скорее разобрал рецензию мистера Джеймса Джойса в „Фортнайтли ревью“, очень благосклонную, и весьма желал бы поблагодарить за нее автора, обладай я достаточным знанием языка“».

К Джойсу на Ричмонд-авеню это письмо словно упало из рая. Его благословлял на литературный подвиг один из самых замечательных писателей того мира. Он сам, в сущности, уже входил в писательство. Через несколько дней он ответил Арчеру:

«Дорогой сэр,

хочу поблагодарить Вас за письмо и Вашу доброту ко мне. Я — молодой ирландец восемнадцати лет, и слова Ибсена я сохраню в своем сердце на всю жизнь.

Искренне Ваш,

Джес [19] А. Джойс».

Глава пятая ТЕАТР, КРИТИКА, ГОРДЫНЯ

Players and painted stage took all my love…[20]

До письма Ибсена Джойс был «молодым ирландцем». После него он стал европейцем.

Он всерьез принялся за языки и национальные литературы: по его дневникам, письмам и репликам видно, что нет ни одного примечательного произведения конца XIX века, которого бы он не прочитал. Семья смирилась с его литературными вкусами; ему разрешали читать даже Золя. Отец находил деньги, порой в ущерб семейному бюджету, чтобы Джеймс мог покупать новинки и зарубежные издания.

Педанты ставят на купленных книгах дату приобретения и расписываются. Автографы Джойса между 1900 и 1901 годами стоят на книгах Гауптмана («Вознесение Ханнеле»), Ибсена («Строитель Сольнес», на норвежском), Верлена («Пр*о*клятые поэты»), Гюисманса («Наоборот»), Д'Аннунцио («Наслаждение»), Толстого («Плоды просвещения»), Зудермана («Бой бабочек» и «Разрушение Содома»), Бьернсона («Свыше наших сил»). Итальянским языком и литературой он интересуется все больше, и это разочаровывает его в некогда любимом Россетти, которого он читал на английском, но считал носителем итальянского духа; теперь он для него «мороженщик».

Данте он изучает все углубленнее; Оливер Гогарти не то по воле автора, не то в самом деле назовет Стивена Дедалуса «дублинским Данте», странствующим по кругам дублинского Ада — Чистилища — Рая. Он читает «Придворного» Бальдассаре Кастильоне и попадает под странное влияние возрожденческого идеала мужчины — становится вежливее, внимательнее, но еще более скрытным, чем прежде. Его увлекает Флобер; «Мадам Бовари» понравилась ему не слишком, а вот «Легенду о святом Юлиане Странноприимце» и «Искушение святого Антония» он чуть ли не заучивает наизусть. Первоначальное увлечение Гюисмансом сменяется разочарованием — поздние книги бельгийского символиста кажутся ему бесформенными и комедиантскими. Повальное увлечение дублинской интеллигенции оккультизмом и Востоком не миновало и его. Вот его автограф на «Катехизисе буддиста» Х. С. Олкотга — 7 мая 1901 года. Станислаус предполагал, что Джеймс искал замену оставленной религии, но скорее всего он, подобно Йетсу и в противовес его лучшему другу Джорджу Расселу, увлекся опять-

таки символикой.

Чтобы прочесть Ибсена в подлиннике, Джойс занимается датским и норвежским. Он цитирует друзьям стихи Ибсена из «Бранда», «Агнесс, мой славный мотылек…», уже на языке оригинала. Когда они хвалили более известные произведения Ибсена, он отвечал им: «Открытка, написанная Ибсеном, будет не менее ценной, чем „Кукольный дом“…» Когда они проявляли интерес к мыслям Ибсена, он вместо этого начинал говорить о чистой технике, разбирая такие малоизвестные вещи, как «Комедия любви». Однако и сама тема этой комедии, отказ художника от любви и брака ради жизни на вершинах гор, была ему очень близка. Джойс начал хорошо разбираться в европейском театре; решив, что главным последователем Ибсена следует считать Гауптмана, чьих переводов на английский тогда не было, он начинает изучать немецкий, которого прежде не любил. Такую дань восторгу надо ценить.

Джойс искал свой стиль, и прочитанная им работа Артура Саймонса «Символистское движение в литературе» усилила его интерес к французской литературе. Совсем недавно, в 1896 году, умер Верлен, и Джеймс небезуспешно переводил его и его подражателей-символистов. Пытаясь стать обозревателем французской литературы для какой-то газеты, он ищет рекомендателей, его почти принимают, но — издание не состоялось.

Торопясь истратить гонорар, полученный за статью об Ибсене, он с отцом уехал в Лондон. Джон Джойс украсил путешествие бурным скандалом с каким-то солидным англичанином из-за Англо-бурской войны. В Лондоне им удалось найти дешевый пансионат с суровой одноглазой хозяйкой, которую Джон прозвал «Циклопия». Почти все вечера они проводили в театрах и мюзик-холлах, видели Элеонору Дузе в «Ла Читта Морта», «Мертвом городе», и Джойс, пытаясь, как д’Аннунцио, войти в число любимцев великой актрисы, написал ей панегирическое стихотворение, которого она не одобрила. Но он держал ее фотографию на своем рабочем столе и продолжал обожать. В эти дни он сделал несколько официальных визитов — один из них вместе с отцом к Т. П. О’Коннору в «Ти-Пиз уикли», попытать счастья насчет журналистской работы. Но Джеймса сочли слишком юным. То же самое произошло и в «Фортнайтли ревью» — он просто изумил Кортни своей молодостью. Уильям Арчер поначалу холодно отозвался на его письмо, но потом припомнил «того самого юного ирландца с Ибсеном» и сердечно пригласил его в свой клуб, где заказал дикую утку[21]. В сущности, Арчер был первым по-настоящему влиятельным

литератором, обратившим внимание на решительно настроенного юношу, и два последующих года его поддержка была просто неоценимой.

В Ирландию Джойсы вернулись в превосходном настроении, с двухпенсовиком в кармане, и Джеймс авторитетно заявил Станислаусу, что мюзик-холл, а не поэзия, есть инструмент критического исследования жизни. Это навсегда станет его любимым занятием — перечеркивание прежних утверждений и воздвижение новых. И больше всего он радовался тому, что находил ценность в том, что сам готов был счесть презренным и вульгарным.

Летом Джойс-старший получил работу — исправлять списки избирателей Маллингара. В командировку он взял Джеймса и еще нескольких детей. Маллингар — географический центр Ирландии, при этом глубокая провинция. Джойс-младший своей надменностью и иронией сильно осложнял отцу контакты с населением. Ну как патриот Маллингара мог простить заносчивому мальчишке фразы вроде «Мой разум интересует меня куда больше, чем все это графство»? Однако он смотрел по сторонам и запоминал.

Писал он и там: этим временем датируются две эпифании, в «Стивене-герое» он, по сути, описывает героя в Маллингаре. Но в «Портрете…» Джойс этот эпизод опускает, предпочитая заключить книгу спорами Стивена в кругу студентов. Он заметил какие-то места, например, фотоателье Фила Шоу, где в «Улиссе» будет работать Молли Блум.

В Маллингаре Джеймсу делать было настолько нечего, что он наконец-то решил осуществить давнюю мечту — написать собственную пьесу под названием «Блестящая карьера». Исполненный сознания собственной значимости, а также грандиозности замысла, он начертал на первой странице обязательное по моде того времени посвящение:

> «Моей
> Собственной Душе Я
> Посвящаю первую
> В своей жизни
> Настоящую работу».

Это была единственная работа, которую он посвятил себе. Пьеса написалась легко, правки были немногочисленны, и, закончив, он принес ее отцу, сидевшему в постели. Джон Джойс перевернул титульный лист, увидел посвящение, помолчал и сказал: «Святой Павел!»

В конце августа они вернулись в дом на Ройял-террейс, и пьеса была отослана Уильяму Арчеру с сопроводительным письмом, где выражалось желание узнать мнение знатока. Герой пьесы, как ибсеновский доктор Стокман во «Враге народа», молодой врач; Джойс и сам некогда целых три месяца размышлял о карьере медика. Доктор демонстрирует беспощадность и неумолимость, добиваясь успеха, но для врача этот успех сомнителен. И любовь он предает ради женитьбы, которая пойдет на пользу его карьере — он становится мэром города. Эпидемия чумы, такой же символической, как зараженные стоки у Ибсена, бросает ему вызов: как врач и как мэр, он должен справиться с ней. Неизвестная женщина становится его помощницей и организует помощь заболевшим. В третьем акте чума, разумеется, побеждена, народ ликует, мэра благодарят, и среди всего этого он сталкивается с неизвестной соратницей, которая оказывается его бывшей возлюбленной — ее еще и зовут Анджела. Теперь она замужем за ревнивцем. Четвертый акт, последний, отведен под дискуссию Анджелы и мэра о прошлом и будущем, карьера доктора утратила свой блеск в его же глазах, Анджела печально отбывает, и входит слуга, чтобы объявить, что ужин подан. Потом Джойс посмеется над собой же в «Поминках» («Ibscenest nonsense!»), но тогда эта пародия казалась ему достижением и подлинной драмой.

Арчер драму прочел — со вздохами, но внимательно. Джойс получил ответ.

«Дорогой м-р Джойс!

Наконец я отыскал время прочесть вашу пьесу. Она заинтересовала меня и даже оказалась изрядной загадкой — пожалуй, я не совсем представляю, что сказать о ней. Вы явно талантливы — возможно, больше чем талантливы, — но я думаю, что пьеса вряд ли будет иметь успех. Для сцены — во всяком случае, для коммерческой сцены — она чудовищно невозможна. Если же считать ее просто драматической поэмой, то мне трудно представить себе, какой величины холст понадобится для такой картины. Последний акт сужает ее до своего рода любовной трагедии, почти пьесы-диалога, но чтобы прийти к этой точке, вы выстроили громадную фабулу из политики и чумного мора, в которой читатель, по крайней мере один читатель, совершенно теряет из виду то, что вы хотели сделать центральной идеей пьесы. Я пытался разобраться в усложненном символизме второго и третьего актов, чтобы понять гигантскую широту замысла, но если вы имели символическую цель, от меня она ускользнула. Символизм может быть всеобъемлющим — но я не слишком хорошо читаю иероглифы.

С другой стороны, у вас определенно дар легкого, естественного и при этом эффективного диалога и достаточное количество сценической живописности. Сцена между Полом и Анджелой до любопытного сильна и красноречива, если бы она еще вела к чему-то либо ее еще к чему-то вели. В целом вы кажетесь мне недостаточно готовым и в то же время способным проецировать характеры так, чтобы завладеть вниманием читателя и будоражить его воображение. Правда и то, что вы чрезмерно вынуждаете себя наполнять сцену таким множеством фигур, какое и Шекспир не смог бы наделить индивидуальностью. В конце первого акта я перестал отличать один персонаж от другого, но, догадываясь, что интерес пьесы в том, чтобы сосредоточиться на любовном споре между Полом и Анджелой, я не мог это утверждать достаточно определенно. Вы можете сказать, что я читал недостаточно внимательно. Возможно — однако это вы должны были удержать мое внимание. По правде говоря, лишь в третьем акте персонажи стали для меня различимыми. Скажу вам честно, что я почувствовал; без сомнения, другие могут оказаться восприимчивее, но всегда полезно узнать, какое воздействие ты оказал на дружественного читателя.

Я не знаю, хотели ли вы действительно писать для сцены. Если да, то не замедлю вам посоветовать для практики выбрать холст поменьше и написать драму с полудюжиной ясно выписанных и живо изображенных персонажей. Если вы сможете показать мне такую пьесу, я сумею по крайней мере составить верное суждение о вашем таланте. В настоящее время я заинтересован и весьма впечатлен, но в то же время, должен признать, изрядно сбит с толку.

Если вы не сочтете это письмо холодным душем, я буду очень рад прочесть еще что-нибудь в драматическом роде из того, что вы озаботитесь мне прислать.

Искренне ваш,

Уильям Арчер

P. S. Рукопись верну в понедельник».

Без сомнения, Арчер был прав — это была не пьеса. Но некоторые ее дефекты со временем могли стать достоинствами; просто в то время еще нельзя было предугадать, какие именно. Создать огромную, бурлящую пьесу, для того чтобы свести ее к напряженному и горькому диалогу мужчины и женщины, как заметил Ричард Эллман — это же почти готовая техника, породившая «Мертвых», «Улисса» и «Поминки по Финнегану». Безобразная мешанина жизни, постепенно кристаллизующаяся в отчетливую трагедию, — это техника «Дублинцев». Возможно, то,

что Арчер подметил как «нечто большее, чем талант», выросло именно отсюда.

Джойс ответил Арчеру благодарностью за критику и чуть позже сжег пьесу, но писать продолжал. Создавая еще одну прозаическую драму, он писал одновременно другую, в стихах, под названием «Вещество снов», которая тоже не сохранилась, за исключением фрагмента песни: «В тихой ночи / Слушай зов любящего, /Внемли гитаре, / Леди, леди-красавица, / Сбрось поспешно плащ, / Пусть возлюбленный твой вкусит /Сладость твоих волос…» Он написал также несколько стихов, оплакивающих грех и воспевающих радость, под общим названием «Сияние и Тьма». То, что уцелело, отмечено скорее тьмой, чем сиянием.

Репутация Джойса как выдающегося поэта несколько преувеличена. Там, где он в стихах продолжает дело «Улисса» и «Поминок…», он интересен, но не более того: таких поэтов можно насчитать десятки — Кэрролл загадочнее и безумнее, Киплинг бронзовее и метафизичнее, Уайльд изысканнее и горестнее и т. д. Джойс — отличный версификатор, но ничего такого, что может поразить на всю жизнь, упасть в память и вонзиться, как ножницы в деревянный пол, — никогда. Ну, может быть, стихотворение на смерть отца, совпавшую с рождением сына. Ну, последнее стихотворение из «Chamber music». Всё. Скорее всего, дело в том, что, как писал Г. Кружков, «здесь, в лирических стихах, он совсем другой. Но это тот же самый Джойс». Пародия и самопародия, некоторые ключи опять-таки к его прозе.

В конце лета 1901 года Джеймс собрал свои лучшие стихи — названия у них самые банальные, содержание под стать. Арчер был редактором антологии молодых поэтов, и стихи эти Джойс посылал ему за год до «Блистательной карьеры». Он также порекомендовал Арчеру книжечку другого ирландца, Пола Грегана, чьи стихи полагал утонченными. Но антология была уже собрана, и Арчер предложил ему критическую заметку: «… темперамента в Ваших стихах больше всего».

Джойс и сам не был уверен в высоких достоинствах своих стихов. Главным источником неуверенности, как он признавался брату и себе, было явное превосходство соотечественника, Уильяма Батлера Йетса, чей сборник «Ветер в камышах» (1899) вызывал его острый и мучительный восторг. К своей прозе он относился несколько иначе, без лишней скромности, и намеревался превзойти Джорджа Мура, Томаса Харди и Ивана Тургенева, если не Толстого. Проза сулила ему даже большую выразительность, чем поэзия. Но и поэзию он не собирался оставлять совсем и потому около трех лет писал то, что

отказывался по моде того времени называть «стихами в прозе». Термин, который он применил для описания этого жанра, был интригующе нов и звучен — «эпифания».

Строго говоря, изобрел его не Джойс. В богословской литературе он означает проявление или раскрытие воли Бога в сотворенном им мире. Католики 6 января празднуют Эпифанию — Богоявление, Крещение Господне, День трех королей, его называют по-разному, но, в сущности, это день преклонения трех волхвов перед младенцем Иисусом. Кстати, в некоторых странах в этот день освящается вода, ладан и мел, которым верующие пишут у входа в дом инициалы трех царей «К + Б + М» и тем весь год отгоняют злые силы и помыслы от дома и живущих в нем.

У Джойса эпифания — это внезапное раскрытие сущности вещей, «…когда душа обыденнейшего из предметов предстает нам излучающей свет…». Художник нацелен на такие раскрытия, полагает Джойс, и обязан искать их не среди богов, а среди обычных людей, в случайных, очевидных, а то и вовсе малоприятных явлениях жизни. Он может обрести «внезапное явление духовности» и в «вульгарности речи, жеста, и в запомнившемся состоянии самого разума». Иногда эпифании становятся евхаристическими — еще один религиозный термин, ничтоже сумняшеся заимствованный Джойсом и наполненный мирским смыслом. Тут под ним подразумевается миг переполнения, пик страсти — любой. Иногда эпифании приносят испытывающему их другое благо: они передают ему в ощущении все то, что слова выразить не могут. Дух являет себя в этих двух ипостасях. Эпифании обусловливают и разницу стилей: иногда они звучат словно сообщения на чужом языке, и их грандиозность в их совершенной простоте, полном отказе от любых дополнений, которые могут сделать их понятными сразу. Второй стиль — это когда они никак не шифруются, когда их доносит лирика.

Непроизносимые эпифании часто сопряжены с вещами, от которых хочется избавиться, с глупостью, самонадеянностью, невосприимчивостью, быстро возникающими в разговоре из двух-трех фраз. Джойс не слишком деликатно представляет в качестве примера разговор его двоюродных бабок после смерти миссис Каллахэн на острове Ашер: «Там, высоко, за темными окнами дома, горит очаг в узкой комнате; снаружи сумрак. Старуха шаркает из угла в угол, готовит чай; говорит о переменах, о странностях, о том, что сказал доктор, священник… Я слышу ее речь словно издалека. Я брожу между углями, от приключения к приключению… Боже! Что там в дверях?.. Череп-обезьяна; тварь подползает ближе к огню, к голосам: глупая тварь…

— Это Мэри Эллен?

— Нет, Элиза, это Джим…

— А… ‘Брый вечер, Джим…

— Че-нибудь хочешь, Элиза?

— Думала, это Мэри Эллен… Думала, ты Мэри Эллен, Джим…»

Как в «Сестрах», Джойс никогда не сосредоточивается на эффекте, он как бы дает ситуации расплыться, утечь сквозь слух. Первым оттачивает он здесь тот стиль, который станет общим местом современной прозы. Описать происходящее так, чтобы вмешательство с какими-то комментариями или оценками казалось дурацкой бестактностью или бездарностью. Никакой видимости очаровательного интима с читателем, никакого больше авторского доверия к нему, его больше не развлекают, а даже как бы и требуют к суду. Художник отказывается от себя и читателя ради материала. Но для этого доверие к материалу должно быть полным. Теофиль Готье, «чеканка по дерьму».

Самые понятные эпифании чаще всего угрюмы и меланхоличны, однако есть и такие, в которых просвечивает явление нежданной радости. Среди них есть и описание чисто религиозного переживания. Но как раз оно хуже других:

«Пора уходить — завтрак готов. Я произнесу другую молитву… Я голоден, но я бы лучше остался в этой тихой часовне, где толпы приходят и проходят так бесшумно… Славься, святая Дева, милосердная мать, жизнь наша, нежность наша и надежда! Завтра и каждый день я надеюсь приносить тебе в дар по добродетели, ибо знаю, ты будешь рада, если я это сделаю. Теперь же до свиданья… О, прекрасный свет солнца на улице, и о свет в сердце моем!»

Видимо, это не возрождение религиозного чувства, а воспоминание о нем, даже если описано собственное переживание Джойса. А может, это попытка лучше понять то, чем заканчивается «Портрет художника в юности»:

«В путь, в путь!

Зов рук и голосов; белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, застывших неподвижно под луной, их рассказ о далеких странах. Их руки тянутся ко мне, чтобы сказать: мы одни — иди к нам. И голоса вторят им: ты наш брат. Ими полон воздух, они взывают ко мне, своему брату, готовые в путь, потрясают крыльями своей грозной, ликующей юности»[22].

Наброски эти явно были подготовкой, движением к чему-то значительному, и Джойс, позабавившись мыслью собрать их отдельной книжкой, оставил их; года через три, работая над «Стивеном-героем», он вставит часть из них в текст, иллюстрируя

творческую углубленность героя. В какой-то мере и для него самого они были подтверждением его миссии художника. На выученном к тому времени норвежском он пишет Ибсену в марте 1901 года: поздравляя его с семидесятитрехлетием, он напоминает, кто он такой. В конце довольно пространного текста есть еще и поразительные слова: «Ваш труд на земле идет к концу, вы рядом с молчанием. Перед вами сгущается мрак. Многие писали о таком, но они не знают ничего. Вы открыли свой путь — хотя и ушли по нему так далеко, как только можно — в „Йоне Габриеле Боркмане“ и его правде духа — Ваша последняя пьеса, мне кажется, стоит особняком. Но я уверен, что впереди — более возвышенное и священное просветление».

Джойс явно без излишней скромности добавляет это. И кто же принесет это просветление? Разумеется, молодой гений, но он достаточно умен, чтобы понять, что еще не обмакнул своего факела в достаточно горючее вещество. Видимо, речь идет о его тогдашнем кумире Герхарте Гауптмане, будущем нобелевском лауреате. В Маллингаре он перевел две пьесы Гауптмана.

Его немецкий тогда был не слишком хорош, о силезском диалекте, на котором писал драматург, он вообще ничего не знал и многие места пьесы пересказывал ирландским деревенским говором, а некоторые просто не смог перевести, но честно отметил звездочками пропущенное.

Он работал с Гауптманом не только из желания изучить его и улучшить свой немецкий: Джойс надеялся убедить Ирландский литературный театр поставить пьесы. С первого спектакля в мае 1899 года он пристально следил за работой театра. После «Графини Кэтлин» было показано «Вересковое поле» Мартина — тоже вполне ибсеновская пьеса, хотя и разбавленная гэльской романтикой. Йетс провозгласил, что театр будет одинаково работать и с европейскими, и с ирландскими пьесами, и Джойс уже готов был представить свои переводы со всеми звездочками, но, ознакомившись с пьесами для следующих постановок, ужаснулся — они оказались в высшей степени ирландскими, никаких европейских альтернатив не было. Йетс и Джордж Мур собирались репетировать свою драматизацию старинной легенды о Диармайде и Грайне, а их соратник, будущий президент Ирландии Дуглас Хайд, представил пьесу «Касад-ан-Зугайн», «Свивание соломенной веревки», вообще написанную на мало кому понятном гэльском.

Обозленный Джойс написал статью, обличавшую национализм театра. Понес он ее в новый литературный журнал университета, «Святой Стивен», где редактором был его вечный соперник Хью Кеннеди, а тот очень предусмотрительно показал

рукопись отцу Генри Брауну, который отверг ее. Когда Джеймс узнал об этом, он в ярости бросился к ректору, отцу Дилэни, но тот просто отказался его принять. Приятель Джойса Скеффингтон получил такой же афронт с работой, отстаивавшей равенство женщин в университете. Джойс предложил опубликовать статьи за свой счет. Они отправились в «Джеррард бразерс», лавку канцтоваров на Стивенс-Грин, где заказали 85 экземпляров работы и распространили их с помощью Станислауса, который сумел вручить один экземпляр служанке самого Джорджа Мура.

Статья Джойса называлась «День толпы». Она начиналась угрюмой цитатой: «Ни один человек, говорил Ноланец (Джордано Бруно. — А. К.), не сможет возлюбить правду или добро, пока не возненавидит большинство; и художник, пусть даже он служит толпе, должен себя изолировать от нее». Игнорируя Ноланца, Ирландский литературный театр уступил «троллям» вместо того, чтобы воевать с ними, как учит Ибсен. В этом театре не появился ни один драматург европейского масштаба. Артисты там — не великаны, а великанчики. Йетс, которого можно было счесть гением, слишком эстет и слишком слабоволен; Мур однажды занял место среди мастеров английской прозы, но не смог плыть в потоке нового романа, который хлынул со стороны Флобера, Якобсена, Д'Аннунцио. «Но правда все же на нашей стороне. Повсюду находятся люди, которые достойны нести традиции старого мастера, умирающего в Христиании. Он уже обрел последователя в авторе „Михаэля Крамера“, и третий проповедник не заставит себя ждать, когда настанет час. Уже ныне этот час может быть у дверей».

Публикация «Двух эссе» вызвала изрядные споры. Никто, разумеется, не знал, кто такой Ноланец. Джойс потом писал Герберту Корману: «Юниверсити-колледж был заинтригован персонажем, которого сочли древним ирландским вождем наподобие Мак-Дермота или О'Рейли». Были студенты, полагавшие, что это сам Джойс, но самые глубокомысленные решили, что это привратник медицинского факультета, фамилия которого была Нолан. Станислаус уговаривал брата сделать хотя бы сноску, поясняющую, что это Джордано Бруно из Нолы, но Джеймс ответил: «Обывателям дается возможность поразмыслить». Он даже предположил, что кто-нибудь из студентов, докопавшись, кто такой Ноланец, прочтет его работы. «Автор „Михаэля Крамера“» был еще одной загадкой для большинства читателей, хотя тут были подсказки. Многие из Шихи, например, угадали Гауптмана и в забавном диалоге дали это понять Джойсу.

Блаженство последних месяцев учебы было разрушено

болезнью младшего брата Джорджа, заболевшего брюшным тифом. Его очень любили в семье, особенно Станислаус, с которым он был ближе и сердечнее, чем Джеймс. Измученный болезнью, он лежал не вставая, и даже отец приходил к нему по вечерам, сидел и читал ему вслух. Джордж просил иногда Джеймса спеть, его успокаивал задумчивый напев йетсовского «Кто идете Фергусом?». Доктор уверял, что мальчик выздоравливает, и наставлял миссис Джойс, как и чем его кормить. Но мать приготовила ему то, что просил он. Желудок больного не выдержал тяжелой пищи, и болезнь возобновилась.

В эпифаниях Джойс описывает жуткую сцену (позже она войдет в «Стивена-героя», но брат там превратится в сестру), когда мать вдруг появилась в дверях гостиной, где Джеймс задумчиво играет на пианино, и спросила: «Ты знаешь что-нибудь о теле? Что я должна сделать? У Джорджа что-то течет из дыры в животе. Ты о таком когда-нибудь слышал?»

Третьего мая 1902 года брат умер от перитонита. Джеймс написал, что не может молиться за него вместе с другими. Три года спустя он даст его имя своему первенцу.

Университет Джойс окончил в июне. Выпускные оценки были хорошие, но он и не подумал претендовать на диплом с отличием. Единственное усилие, которое он себе позволил, была работа над докладом для февральского заседания общества. На этот раз он взял не европейскую тему, а ирландскую — поэта Джеймса Кларенса Мэнгана (1803–1849), два стихотворения которого Джойс положил на музыку. Выбор не случайный: в докладе Джойс упирал на то, что Мэнган, в высшей степени национальный поэт, подвергался травле и пренебрежению именно со стороны националистов. Восстановить его значение мог только ирландец с европейскими взглядами.

Там, где «Драма и жизнь» два года назад была агрессивной и декларативной, этот доклад искусителен и лиричен. Претензии Джойса на открытие Мэнгана были несколько чрезмерными, потому что Йетс уже объявлял его, Томаса Дэвиса (1814–1845) и Сэмюела Фергюсона (1810–1886) своими литературными предтечами. К тому же за десяток предыдущих лет вышло несколько изданий поэта. Но студентам он был неизвестен, а Джойс настаивал, что место ему в литературном пантеоне. Позже он так же упорно будет сражаться за репутации таких полузабытых писателей, как Итало Звево или Эдуар Дюжарден.

Описывая достоинства Мэнгана, Джойс пользуется и сам чуть ли не поэтической речью. Стиль Уолтера Пейтера[23], отрывки из текстов которого включались в антологии современной поэзии, еще не покинул английскую критику. Джойс попадает в

затруднительное положение не столько из-за витиеватости изложения, сколько из-за того, что пропагандирует теорию нового искусства для Ирландии на примере художника, чья ирландская литературная карьера была крайне неудачной, да еще писавшего на английском. Но Джойс категорически отворачивается от алкоголизма, опийной наркомании и асоциальности Мэнгана, не считая эти обстоятельства достойными упоминания (Гёте, один из любимых авторов Мэнгана, писал: «Я прощу актеру любые человеческие пороки, и не прощу человеку ни единого актерского…»). Более того, он утверждал, что бедность, саморазрушение и временное забвение — это самая достойная судьба для художника. Хотя ожидание «благословенного духа радости» не всегда может их облегчить.

Литература, порожденная смешением «мощного романтического воображения» с классической силой и строгостью, — вот что должно явиться миру. Джойс не очень внятно, хотя и звучно, конструирует свою точку зрения:

«Как часто людской страх и злоба, мерзкие чудовища, порожденные роскошью, соединяются, чтобы сделать жизнь низменной и мрачной и вопить об ужасе надвигающейся гибели, в то время как человек малой отваги хватает ключи от ада и смерти и швыряет их далеко в бездну, возглашая хвалу жизни, которую освящает неизменное чувство правды, и хвалу смерти, самой прекрасной форме жизни. В этих широких путях, которые объемлют нас, в этой великой памяти, которая огромнее и щедрее нашей, ни один момент экзальтации не утрачен; и все те, что писали из благородства, писали не напрасно, пусть в отчаянии и изможднии, не слыша серебристого смеха мудрости. Неужели такие, как они, не будут участвовать, в благодарность за их высшую изначальную цель, вспоминаемую с мукой или из-за пророчества, которое они изъяснили, в длящемся утверждении духа?»

Если вслушаться, Джойс говорит куда более оскорбительные вещи, чем в «Драме и жизни». «Великая память» — выражение крайне двусмысленное, ибо речь шла о том, чего не посмеет отрицать ни один христианин; но, заимствованное у Йетса, который, в свою очередь, заимствует его у английского философа-неоплатоника и поэта, а тот у оккультистов, говоривших о некоем четвертом измерении, где обретает облегчение тот самый дух, страдающий в цепях материи. «Смерть, самая прекрасная форма жизни» — еще один парадокс, резанувший уши слушателей, а ему предшествовали «малая отвага» и пути, которыми боги покидают мир. Над всем этим публика вдоволь потом поиздевалась в том самом «Святом Стивене» — «отсутствие есть высшая форма

присутствия»; но Джойс эту насмешку сберег и 33 года спустя приведет ее в письме к дочери.

Члены Литературно-исторического общества были потрясены. Но один из них все же кинулся в бой. Это был Льюис Дж. Уолш, который два года назад получил золотую медаль общества за ораторское искусство, обойдя Джойса (тот жестоко высмеет его напыщенную трескотню в «Стивене-герое»), Джойс отмалчивался или отделывался краткими ремарками. На следующий день «Фрименз джорнел» поместил заметку о заседании, назвав доклад «чрезвычайно талантливым… по общему мнению, лучшим из прочитанных перед собранием…». «Святой Стивен» безмолвно перепечатал заметку в мае 1902 года, добавив лишь, что Джойс ополчался не на нацию, а на дурное и окостеневшее искусство.

Видимо, именно теперь Джойс окончательно решил, что его пожизненное призвание — литературой утверждать дух.

Как пропитать дух, одновременно занимаясь его утверждением, было уже второстепенной проблемой. Отец, памятуя о чудных винокуренных деньках, и безосновательно надеясь, что даровитый сын возьмет его наконец на иждивение, советовал ему устраиваться клерком на пивоварню Гиннесса. Джеймс уклонялся, и вместо этого повторил отцову биографию в другом — с другом Бирном он подался на медицинский факультет имени святой Цецилии. Самым известным его пациентом станет Ирландия, и оперировать ее он будет без наркоза.

Глава шестая СТРАНСТВИЕ, НЕВЕРИЕ, ТРУД

Would I could cast a sail on the water…[24]

Годы 1900—1902-й выдались весьма неспокойными для ирландской литературы, а значит, в первую очередь для Дублина. И молодому, заносчивому и буйному дублинцу было у кого учиться.

Йетс и Мур могли вызывать у Джойса неприязнь как общественные деятели, но лучших стихов и прозы на английском тогда не писал никто. Джон Миллингтон Синг прославился как драматург, а на драматургию Джойс все еще смотрел по-особенному. Леди Изабелла Огаста Грегори на склоне лет вдруг начала писать отличные деревенские комедии. Джордж Рассел, поэт с псевдонимом А.Е., мистик и очень интересный художник, с редкостным доброжелательством пестует молодых ирландских авторов, среди которых были Падрайк Колум и Шеймас О'Салливан. Не столь яркие, но энергичные и целеустремленные литераторы вроде Стэндиша О'Грэйди, Джона О'Лири, Дугласа Хайда и многих других, канувших в Лету, делали Дублин все менее провинциальным, взращивая здесь особую разновидность европейского модернизма. Джойса, уже признанного одиночку и ниспровергателя любых авторитетов, втянуло в эту орбиту. Надо сказать, выиграл он от этого не так уж мало.

Джорджу Муру и леди Грегори было по 50, Сингу — 31, Джорджу Расселу — 37, Йетсу — 35. Рассел, доброжелательный и снисходительный, в отличие от Йетса, практически не покидал Дублина. Поэтому Джойс явился к нему без приглашения в десять вечера, полагая, что уж точно застанет его дома.

Критики считали Рассела — главным образом из-за его туманного мистического языка и причудливой бороды — если не чудаком, то эксцентриком. Он не был ни тем ни другим. При очень незаурядном литературном даре Рассел был умен, деловит и практичен: долгие годы он занимался делами Ирландского сельскохозяйственного общества, кооператива земледельцев, основанного сэром Хорэсом Планкеттом., знаменитым ирландским реформатором; по рекомендации Йетса он стал исполнительным секретарем общества. Впоследствии с Планкеттом они организовали большое число сельскохозяйственных банков, пользовавшихся авторитетом и успешно работавших. Стихи его не отличались особой сложностью, однако он был серьезным критиком и зорким

ценителем способностей других. Одной из его любимых фраз была цитата из Бхагават-гиты: «Средь того, что прекрасно, и я красота».

Итак, в десять вечера Джойс постучал, и ему не ответили. Он расхаживал по улице взад и вперед, пока Рассел уже к полуночи не вернулся домой. Джойс не собирался поступаться намерением и постучал снова. Рассел открыл, Джойс представился и спросил, не поздно ли для разговора.

— Для разговора никогда не поздно, — самоотверженно ответил Рассел и пригласил юношу войти.

В беседе гость снисходительно признал, что Рассел написал пару-другую хороших стихов. По настоянию Рассела прочел несколько своих стихотворений, стараясь не показать, что мнение хозяина его ничуть не заботит. Тот тоже признал за стихами достоинства, но посоветовал Джойсу отказаться от традиционных форм. И вот тут прозвучала довольно пророческая фраза.

— В вас пока недостаточно хаоса, чтобы породить свой мир, — сказал Рассел.

Когда они наконец закончили разговор, то условились, что Джойс придет снова. Но Рассел чувствовал себя неловко. Потом он написал своей приятельнице: «Мой юный гений придет в понедельник и снова покажет себя. Но я и за тысячу миллионов фунтов не стану его мессией. Он всегда будет критиковать своего бога за дурной вкус». Другому корреспонденту он писал: «Тут есть юноша по имени Джойс, который на что-то способен. Горд, как Люцифер, пишет стихи, безупречные по технике, иногда прелестные».

Рассел рассказал про Джойса Муру, тот, видимо, прочел «День толпы» и сказал, что автор «преждевременно умен». Затем неутомимый А. Е. написал леди Грегори, а потом наконец просигналил и Йетсу: «Очень хочу, чтобы ты встретился с молодым человеком по имени Джойс, о котором я полушутливо писал леди Грегори. Мальчик чрезвычайно умен, принадлежит скорее к твоему клану, чем к моему, но еще больше к своему собственному. Все интеллектуальное снаряжение при нем — культура и образование, которых так не хватает многим нашим друзьям. Пишет он, как мне кажется, удивительно хорошую прозу, хотя я думаю, что и хорошие стихи, а заодно пытается написать комедию, полагая, что это займет у него лет пять, ведь он пишет медленно… Мне кажется, ты найдешь этого двадцатиоднолетнего юношу, уверенного и самонадеянного, достаточно интересным». Так Рассел, на что Джойс и надеялся, уже через пару недель трезвонил во все колокола.

В начале октября 1902 года Йетс вернулся в Дублин, и

Рассел, за год до того как-то написавший ему, что грядет новое человечество, для которого они будут понятны и необходимы, сообщил: «Явился первый призрак нового поколения. Зовут его Джойс. Я уже пострадал от него, пострадай и ты».

Йетс согласился, и Рассел известил Джойса, что они могут встретиться на репетиции «Кэтлин-ни-Хулиэн»[25] в Эншент-Консерт-рум. Но Джойс предпочел как бы случайно встретиться с Йетсом в кафе около Национальной библиотеки.

Встреча стала исторической и даже символической. Так встретились Флобер и Мопассан, Рембо и Верлен, Шиллер и Гёте. Такие встречи меняют течение литературы, пусть не молниеносно, однако навсегда. Сходство между ними было — один разочаровался в протестантизме, другой отвернулся от католицизма. Один — безземельный помещик, другой — вечный квартирант. Но дальше начинались различия. Джойс был своим, от крыш до клоак, в городе, который Йетс знал лишь по нескольким кварталам. Джойс был плотью от плоти мелких буржуа, что составят потом вселенную «Улисса», а Йетс их в лучшем случае не замечал. Йетс верил в гордых вождей древней Ирландии и чистых душой крестьян, в то время как Джойс презирал тех и других за высокомерие и невежество.

Тридцатисемилетний Йетс был в начале трудного периода, с 1899 по 1914 год, когда новых стихов появлялось очень мало, а театр отнимал все больше сил и приносил достаточно разочарований, хотя и не вызывал желания оставить его. Он подходил к моменту, когда ранние работы требуют от повзрослевшего поэта обновления или перемен. Об упоении красотой, мистическом прозрении, вечном круговороте воплощений повествовали первые поэтические книги «Ветер в камышах» (1899) и «Темные воды» (1900), но к этому времени Йетс начинал ощущать то самое «яростное негодование», о котором сказано в его переводе знаменитой эпитафии Свифта, и оно вливалось в то самое требование. Дикое, простое, вырвавшееся спонтанно казалось ему необходимой заменой утонченному и отработанному; он резко поворачивает к театру, наиболее публичному виду искусства, к драме, наиболее органичному для него жанру. Как он сам писал, это было желание создать «чистую трагедию»; простота отыскалась в крестьянской теме и крестьянском диалекте, величие и восторг — в древних кельтских легендах.

Джойсу этот интерес рафинированного мистика к ирландскому мужичью казался искусственным, чем-то вроде попытки защититься от стыда и беспомощности перед лицом воистину чудовищной бедности и невежества. Надо учесть, что

при всем своем интеллекте и зоркости юный тогда Джойс не мог понять мучительной диалектики пути, которым тонкий художник и мыслитель Уильям Батлер Йетс шел от искусства для избранных к зрелищу для вовсе не допущенных — или допущенных лишь на галерку. Джойс видел здесь только конъюнктурный интерес; в «Дне толпы» он говорит о «плавающей воле» Йетса, а в «Поминках…» и вовсе называет его «блуждающим огоньком». Отношения своего он не скрывал, но говорил с Йетсом с мягкой и доброжелательной улыбкой, постоянно извиняясь за сказанное, а закончил словами: «Я не собираюсь преклоняться перед вами, потому что в конечном счете нас обоих забудут…»

Даже терпимого Йетса эти слова задели. Друзьям он отозвался о своем собеседнике не менее беспощадно: «Никогда не видел таких громадных претензий с такими малыми основаниями». Однако впечатление осталось — прежде всего от уверенности Джойса в себе. Когда Йетс сослался на Бальзака и Суинберна, Джойс громко расхохотался, встревожив публику в кафе. В качестве контраргумента он прочитал несколько эпифаний, на что Йетс мстительно заметил: «Прелестно, но незрело».

Уходя, Джойс сказал ему еще более ужасные слова: «Мы встретились слишком поздно, и вы слишком стары для того, чтобы я мог на вас повлиять». Вряд ли это было сказано ради эпатажа или в порыве задиристости; Джойс восхищался Йетсом-поэтом, превосходно знал его и скорее всего выразил искреннее горе, что перед кумиром открылся грязный и тоскливый тупик.

Свое изложение беседы с «ирландским юношей» Йетс хотел сделать предисловием к сборнику эссе «Мысли о добре и зле», но передумал. Оно сохранилось в его бумагах: «Я думал, как долго меня еще будут считать проповедником отчаянных крайностей и возмутителем, размахивающим безответственным факелом растраченной юности. Я вышел на улицу и встретил молодого человека, который подошел ко мне и представился. Он сказал, что написал книгу не то стихов, не то эссе, и говорил со мной, как со старым знакомым. Да, я вспомнил его имя; он бывал у моего друга, ведущего еще более отчаянную битву, чем я, и продержал его в философском споре до предрассветных часов. Я попросил его зайти со мной в курительный салон ресторана на О'Коннел-стрит, и там он прочел мне прекрасную, хотя и совершенно незрелую и причудливую гармонию коротких прозаических описаний и размышлений. Метр отброшен, сказал он, чтобы добиться такой текучести формы, какая могла бы отразить любые движения духа. Я похвалил его работу, но он сказал: „Мне совершенно все равно, нравится вам сделанное мной или нет. Для

меня в этом нет ни малейшей разницы. На самом деле я не понимаю, почему читаю вас“ <…>

Он встал и, уходя, сказал: „Мне двадцать. Сколько вам лет?“ Я ответил, но, боюсь, убавил себе год. Вздохнув, он сказал: „Я так и думал. Поздно мы встретились. Вы слишком стары“.

И теперь я по-прежнему в нерешительности, посылать ли мне эту книгу на обозрение в ирландские газеты. Молодое поколение стучит в их двери так же мощно, как в мою».

То, что Йетс принял реплику Джойса всерьез, но по-доброму, подтверждается его приглашением Джойсу написать пьесу для нового театра. Джойс ответил, что ему понадобится для этого пять лет. Йетс попросил оставить ему стихи и эпифании для более пристального прочтения, а потом написал Джойсу длинное и одобрительное письмо, которое, как и Арчерово про «блестящую карьеру», свидетельствует, насколько сильное впечатление производили творчество и характер Джойса уже тогда. Фрагмент письма Йетса уцелел:

«…но я не могу сказать больше. Помнится, доктор Джонсон сказал о ком-то: „Подождем, пока не станет ясно, фонтан это или цистерна“. Работа, которую вы сделали, очень примечательна для человека вашего возраста, живущего вдали от развивающихся интеллектуальных центров. Ваша стихотворная техника намного лучше, чем техника любого молодого дублинца из тех, кого я встречал в свое время. Это могло быть работой молодого человека, живущего в литературном окружении Оксфорда. Однако люди начинали так же многообещающе, как вы, но терпели потом неудачу, или с куда меньшего, но затем добивались успеха. Качества, приносящие успех, подолгу не проявляются в поэзии. Это намного реже качества таланта, скорее качества характера — вера (этого у вас, кажется, достаточно), терпение, адаптивность (без этого ничему не научишься), и способность расти с опытом — возможно, самая редкая изо всех.

Я сделаю для вас все, что сумею, но боюсь, что это не слишком много. Самое главное, что я могу, хотя вы можете в это не поверить, это представить вас писателям, которые начинали так же, как вы, которые учатся профессии у соратников, особенно у тех, кто поближе и того же возраста, кто понимает их затруднения.

Искренне Ваш,

У. Б. Йетс».

Через Йетса и Рассела Джойс попал к леди Грегори, которая была очарована его чтением собственных стихов, не обратив внимания на его невоспитанность. Она пригласила его и Йетса отобедать с ней в отеле «Нассау» 4 ноября. Многие ирландские

литераторы помогали Джойсу, и все они поплатились за это.

В октябре Джойс начал изучение курса медицины, на который записался весной. Отцу страстно хотелось, чтобы сын преуспел там, где он провалился, но этого не случилось. Несколько лекций он посетил. Но судить о состоянии мыслей Джойса можно по его тогдашнему поведению, вместе вызывающему и равнодушному. 31 октября он приходит на церемонию вручения диплома бакалавра искусств Королевского университета. Он и его однокурсники вели себя буйно, особенно во время исполнения «Боже, храни короля». Выходя из зала, студенты столпились вокруг Джойса, который собирался произнести речь, но тут явилась полиция (очевидно, у ирландских церемоний выпуска была вполне определенная репутация) и вынудила его и публику искать трибуну снаружи, на какой-нибудь телеге. Когда они снова собрались, Джойс воззвал к ним, с царственной щедростью даруя им право «устроить столько шуму, сколько хочется».

На медицинском факультете Джойс столкнулся со знакомой проблемой: с деньгами в семье стало еще хуже. Джон Джойс решает, что теперь, когда дети подросли и вот-вот станут совсем независимыми, самое время приобрести дом. Урезав пенсион наполовину, отец кое-как набрал половину суммы и 24 октября купил дом на Сент-Питерс-террейс, в Фибсборо. Место было неплохое — в сущности, северный рубеж центрального Дублина, неподалеку от Лиффи, ближе Кабры, уже считавшейся пригородом. Дом отец тут же заложил за 100 фунтов, потом еще за 50 и т. д. До мая семья прожила там, но в мае Джон продал остаток своей доли и в очередной раз съехал. По этой причине Джеймсу нечем было покрывать свои расходы на учебу. Он взялся было за ту же кабалу, которой пробавлялся Бирн, за тьюторство студентов, но руководство университета отказало ему в вакансии. По всегдашнему таланту всюду обнаруживать врагов, Джойс решил, что администрация объединилась против него. Озлобленный этим и своими естественно-научными курсами, он стремительно принял решение, повлекшее крутые перемены в его судьбе.

Утверждая, что дублинский факультет ему не подходит, Джойс довольно нелогично решил учиться на медика в Париже. Вообще-то он в любом случае собирался в Париж, но любил представлять свои капризы как разумные планы. Он не слишком задумывался, поможет ли ему парижский диплом в Ирландии, да и другими вопросами не слишком задавался — например, как он сдаст химию на французском, если не смог сделать этого на английском. Переезд в Париж — это было пафосно. Даже Шоу, Уайльд, Йетс перебирались всего-навсего в Лондон, который не

так отделял их от всего родного и знакомого. Он же собирался в Европу как миссионер, но безо всякого благочестия.

Джойс в ноябре 1902 года пишет на Faculté de Médecine, запрашивая разрешения на поступление, и получает ответ, что каждый такой случай рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств. Семестр уже начался, но все эти детали он предполагал обойти. Приняв решение, он стал писать всем, кто предположительно мог помочь. Его письмо леди Грегори — это смесь просительности и вызывающей независимости. Из него видно, что он уже придает символическое значение своему побегу из Дублина:

«Сент-Питерс-террейс, 7,

Кабра, Дублин.

Дорогая леди Грегори,

я расстался со всеми моими здешними медицинскими занятиями и собираюсь побеспокоить вас одной историей. Получив степень бакалавра искусств в Королевском университете, я строил планы изучать медицину там же. Но руководство университета решило, что это не для меня, и смею сказать, намерено лишить меня любой возможности говорить то, что я думаю. Будучи совершенно откровенным, скажу, что у меня нет никаких средств платить за обучение медицине, а они отказываются предоставить мне репетиторство, или тьюторство, или прием экзаменов, ссылаясь на отсутствие мест, хотя они предоставляли и предоставляют их людям, не сдавшим экзаменов, которые я сдал. Я хотел бы получить степень по медицине, потому что это поддержало бы меня в моей главной работе. Я хочу обрести себя — малого или великого, потому что знаю, что ни одна ересь или учение не бывают так ненавистны моей церкви, как человеческое существо, и поэтому я собираюсь в Париж. Намерен изучать медицину в Парижском университете, поддерживая себя преподаванием английского… Я пытаюсь встать против всех мировых сил. Все непостоянно, кроме веры в душе, она меняет любые вещи и наполняет светом их непостоянство. И хотя я выгляжу изгоняемым из моей страны, как неверующий, я просто не нашел тут человека, верующего, как я.

Искренне ваш,

Джеймс Джойс».

В ответ леди Грегори пригласила его в Кул поговорить о его планах и осторожно предложила не бросать медицинский факультет Тринити-колледжа, но этот совет Джойсу не понравился абсолютно. С материнской заботой посоветовала хотя бы взять в Париж теплую одежду, а также написала для него несколько рекомендательных писем. Денег она ему не пообещала,

и в Кул Джойс не поехал, но последовал еще одному ее совету — встретиться с Лонгвортом, редактором «Дейли экспресс», для которого она писала. Лонгворт поговорил с Джойсом за три дня до его отъезда и согласился посылать ему книги на обзоры, чтобы как-то поддержать его.

Третье письмо леди Грегори Йетсу принесло неожиданно хороший результат. Йетс тут же отозвался из Лондона:

«Мой дорогой Джойс,

я только что узнал от леди Грегори о вашем плане уехать учиться в Париж. Кажется, вы покидаете Дублин в ночь на понедельник и отбываете в Париж в ночь на вторник. Если я прав, то надеюсь, что вы позавтракаете со мной утром во вторник. Я заведу будильник и буду вас ждать, как только поезд прибудет. Потом вы сможете полежать на диване и отдохнуть от переезда. Затем вы пообедаете со мной и успеете на свой парижский поезд. Надеюсь, что вы зайдете ко мне; мне была бы приятна хорошая беседа. Я думаю, вы позволите мне дать вам несколько лондонских литературных рекомендаций, что немного облегчит вашу жизнь в Париже (где множество людей просто не хотят учить английский), если вы соберетесь писать, обозревать книги, стихи и т. д. для здешних газет. Такая работа еще никому не приносила вреда. Ваши стихи тоже принесут вам сразу кое-что.

Искренне ваш,

У. Б. Йетс.

P. S. Я в общем уверен, что смогу уговорить „Спикер“ взять у вас стихи и дать вам возможность делать кое-какие обзоры. Некоторое время назад я привел к ним юношу, которого они теперь считают своим лучшим автором и, без сомнения, будут ждать того же от вас. Но мы еще об этом поговорим».

Воодушевленный Джойс заканчивал приготовления. Он обзавелся рекомендательным письмом от друга отца Тимоти Харрингтона, лорд-мэра Дублина, где говорилось о его, Джеймса, добром нраве. Он написал о своих планах Арчеру, и Арчер потратил много сил, чтобы отговорить его преподавать английский в Париже, уверяя, что эта ниша переполнена. Но Джойс уже слишком далеко зашел и мудрые советы на него не действовали. Свои рукописи он доверил Джорджу Расселу, отчасти затем, чтобы польстить ему своим доверием. Рассел, правда, тут же написал Йетсу: «Изо всех диких юнцов, каких я видел, этот — самый дикий. Непонятно, зачем я с ним встречаюсь. Я в душе своей благоразумен до скуки». Станислаусу Джойс объяснил, что в случае его неожиданной смерти копии его стихов и эпифаний должны быть отосланы во все ведущие библиотеки мира, не исключая Ватиканской.

В этом во всем был осколок игры, но острый, ранящий. Хотя когда Джеймс отплывал от Кингстаунского причала, «моста разочарований», как он потом его назовет, он пока еще радовался тому, как это было сыграно.

В «Портрете художника в юности» он сплавляет воедино два отплытия из Дублина — первое, 1 декабря 1902 года, и второе, 9 октября 1904-го, когда был уже не один. Пока слово «изгнание» не вошло в его лексикон, разве что намеком в письме к леди Грегори. Джойсу изгнание понадобится как упрек всем остальным и оправдание себе. Его кумир Данте был изгнан из Флоренции, однако в этом страшном приключении таилась надежда — он долго хранил ключи от своих флорентийских дверей. Джойса никогда не вынуждали уехать и не запрещали вернуться. После своего первого отъезда он пятикратно возвращался домой. Но как только его отношения с родиной грозили улучшением, он находил новый повод их испортить и подтвердить правоту своего добровольного отсутствия. Позже он даже высказывал резкое недовольство возможной независимостью Ирландии именно потому, что она грозила переменой тех отношений, что он так тщательно выстроил между собой и родиной.

— Вот скажи, — говорил он Фрэнку Бадгену, другу и биографу, — отчего я должен менять условия, которые придали Ирландии и мне форму и достоинство?

Мог ли Джойс написать свои книги в Ирландии? Вполне возможно. Но для них явно была нужна такая интимность отношений, которая, как некоторые формы секса, включает постоянные ссоры и напряжение, даже насилие. Джойс открыл Ирландию, покинув ее. И продолжал открывать всю жизнь.

Книги свои он перенасытил описаниями множества разновидностей расставания и разделения. Та свобода, которой добиваются его герои, чаще всего самоизгнание или добровольная разлука. Разумеется, общество с его выталкивающими механизмами играет свою роль, но Джойс не Золя, век другой, он не может считать себя беспомощной жертвой и атакует общество, причиняя страдания не только ему, но и себе.

Джойс, как мы смутно теперь осознаем, жил борьбой с условностями и их сопротивлением, которое сам же и вызывал. Писать — означало сражаться и жить. Джойс говорил потом, что когда он мог писать, то жить мог где угодно, хоть в бочке. Возможность писать была сама по себе убежищем, отстранением, окопом с лесенкой для броска в атаку. В Цюрихе к нему явился поклонник и попросил разрешения поцеловать руку, написавшую «Улисса». Джойс убрал кисть за спину и сказал: «Нет-нет, она ведь делала и многое другое!»

Джойс был достаточно честен сам с собой, чтобы признать, что его отъезд перевешивал все счеты с иезуитами и желание стать врачом. Он увеличивал расстояние между собой и родиной, чтобы понять ее через понимание чужого мира.

Глава седьмая ПАРИЖ, СТИХИ, ГОЛОД

I came on a great house in the middle of the night,
Its open lighted doorway and its windows all alight[26].

Мечту о Великой Карьере не сумела погасить даже ничтожная сумма, которую смог наскрести отец сверх оплаты его проезда. Даже трудности, которые он предчувствовал, не могли ему испортить настроения.

Йетс, извещенный загодя, явился на станцию Юстон в шесть утра. Джойс был благодарен и, как писал впоследствии Йетс, «неожиданно дружелюбен», без прежней «ибсенистской ярости». Старший поэт провел с Джойсом целый день, но оставался явно доволен возможностью покровительствовать молодому таланту. Он заказывал ему завтрак, ланч и обед, платил кебменам, сводил его с людьми, которые могли оказаться полезными. Йетс полагал, что Джойс может пробиться, делая статьи о французской литературе, книжные обозрения и время от времени публикуя стихи, поэтому он привел молодого ирландца в редакции «Академи» и «Спикера», а вечером — домой к Артуру Саймонсу, который вот уже десять лет был главным связующим звеном между Парижем и Лондоном.

Саймонс станет главной фигурой в публикации ранних работ Джойса, как позже Эзра Паунд. Корнуоллец, родившийся в Уэльсе, он гордился тем, что не был англичанином; Саймонс тоже приехал в Лондон совсем юным и скоро сумел убедить лондонцев, что это они провинциалы, а не он. Он выискивал ощущения и стал их знатоком, некоторое время даже употреблял гашиш, чтобы подойти к новым ступеням бытия, пускай иллюзорным. Его привлекали все искусства: он был вагнерианцем в музыке и играл Джойсу куски из «Парсифаля», комментируя в манере «девяностников», как назвал это Джойс: «Когда я играю Вагнера, я весь — другой мир». Саймонс в первую же встречу определил Джойса для себя как «зловещего гения и неуверенный талант», а Джойс хохотал над замечанием Йетса, сделанным, когда они были одни: «Саймонс всегда жаждал совершить великий грех, но так и не сумел подняться выше девочек из кордебалета». Оно помогло Джойсу справиться с некоторым потрясением от пышного и неудержимого Саймонса. Однако энтузиазм того был совершенно искренним, а обещание помочь

исполнено.

Тем же вечером Джойс отправился поездом в Ньюхейвен, затем пароходом в Дьеп, а оттуда поездом в Париж. С вокзала он поехал прямиком в гостиницу «Корнель» в Латинском квартале, пристанище безденежных британских туристов. Свои рекомендации он пустил в ход немедленно. Доктор Ривьер, физиотерапевт, пригласил его на следующий день позавтракать и устроил потрясающий обед из семи блюд, о котором Джойс радостно писал домой: «Я столько сэкономил!» Джойс также позвонил Мод Тонн, знаменитой музе Йетса, которой тот написал о молодом пришельце, но ее племянница болела, и Мод была в карантине. Она ответила добрым письмом и пригласила позвонить позже, каковым желанием он мучился потом несколько недель, но победил его.

Четвертого декабря Джойс написал свои первые обзоры для «Дейли экспресс» о стихах Уильяма Руни и про книгу Дугласа Джерролда о Джордже Мередите. Они были без подписи и, возможно, заготовлены заранее. В первом он разносил Руни за осквернение хороших стихов патриотизмом и сетовал о тех «великих словах, что делают нас несчастными». Эта фраза так разъярила газету «Нью айришмэн», опубликовавшую стихи, что она, в свою очередь, разнесла обзор, обильно его при этом цитируя.

Пятого он решил, наконец, узнать о своем медицинском будущем. Оказалось, что ему нужна французская степень бакалавра или персональное разрешение от министра образования, которое выдавалось только до 1 декабря. Тем не менее в министерстве ему пообещали выдать такое в течение нескольких дней. Первый экзамен он рассчитывал сдать в июле 1903 года.

Домой летели бодрые, остроумные и наблюдательные письма. Немало места в них занимали детальные описания строжайшей экономии: «Купил будильник за 4 франка, чтобы вовремя вставать по утрам, потому что школа довольно далеко…» Однако тут же он пишет о чудесной нормандской мебели, которая непременно нужна ему для занятий — всего за пять фунтов. Мать он умиляет обещанием заказать ей из первых же заработков новые челюсти.

Возможно, Джойс побывал на первых занятиях. Биографам он потом рассказывал, что ему пришлось прекратить это, потому что от него потребовали немедленной платы за учебу. Однако возможно и то, что он знал французский хуже, чем требовалось. Дальнейшие его письма — больше о холодном ветре и внезапном ухудшении здоровья.

Болезнь болезнью, однако Джеймс неустанно разыскивает учеников для преподавания английского. В знаменитой уже тогда школе Берлица была вакансия с полной нагрузкой, за 150 франков, или 7 фунтов 10 шиллингов в месяц. Джойс не уверен, занимать ли ее: отложить занятия — это одно, а бесповоротно отказаться от карьеры медика — совсем другое. Пока что он дает частные уроки молодому виноторговцу, социалисту по убеждениям, за фунт в месяц.

Йетс присылает ему не слишком утешительное письмо о возможности публикации его стихов в газетах и очень деликатно намекает, что над последними стихами неплохо бы поработать.

Джойс превосходно выносил одиночество, но не отказы. В отчаянии он пишет родителям, спрашивая разрешения приехать на Рождество. Те соглашаются, и отец в очередной раз пишет закладную на дом, потому что других денег нет. Но и тут его могут принять лишь на неделю. Джойс пишет следующее письмо, где сообщает, что здоровье его стало хуже и он опасается не выдержать поездку через Дьеп, поэтому просит купить ему чуть более дорогой билет на паром Кале — Дувр.

Перед отъездом для поднятия духа он сходил в театр, потом в бордель и сфотографировался в длинном мешковатом пальто и со скорбным выражением лица. Три такие открытки он послал: а) домой, намекая на истощившиеся средства; б) Косгрейву, на школярской латыни описывая проституток Латинского квартала и в) Бирну, заполнив свободное место новым стихотворением. Стихотворение вполне улиссовское: о стонущем море, летящей морской птице, о седых ветрах и ледяных вихрях, несущих и его над неустанно ревущим внизу океаном…

Деньги из Дублина прибыли, 22 декабря он выехал, в Лондоне позвонил Йетсу и в ночь на 23-е был дома. Карточки, посланные им, оказали совершенно непросчитанное действие. Бирн возгордился автографом поэта и показал его Косгрейву, добавив, что никто не знает Джойса так хорошо, как он. Косгрейв безмятежно достал из кармана такую же фотографию и заметил: «Наверное, ты не знаешь именно этого?» Бирн прочитал залихватскую латинскую эпистолу с некоторым ужасом: он ведь просил Джойса не доверять Косгрейву, а детали письма были просто шокирующими. Тогда он вручил Косгрейву обе открытки и сказал: «Ну тогда пусть у тебя будет и эта».

Косгрейв со смехом рассказал Станислаусу об эпизоде и отдал ему открытку Бирна, сказав, что две ему не нужны. Джойс с тех пор выдумывал Бирну обидные клички, но… «Итак, в путь! Пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел

конец. Да, он уйдет, он не может ни с кем бороться, он знает свой удел»[27]. Скорее всего, инцидент с открытками только ускорил развязку — дружба стала умирать раньше. Больше в течение дублинских каникул Джойса они с Бирном не виделись.

Однажды вечером в Национальной библиотеке, где он проводил б*о*льшую часть времени, завязался разговор с молодым человеком, ожидавшим свой заказ. Они беседовали о Йетсе. Молодой человек был красив, спортивен, цветущ и к тому же явно небеден. Представившись Оливером Гогарти, он добавил, что собирается получить диплом в Оксфорде. Гогарти был так же помешан на непристойностях, как Косгрейв, но при этом еще талантлив и замечательно остроумен. Он восхитился стихами Джойса и разразился своими, Джойса, разумеется, не впечатлившими — однако его восхитили скабрезные песенки Гогарти. Три из них — «Квартирохозяин, неси-ка вина», «Медик Дик и медик Дейви» и «Шимбад-мореход и Розали, шлюха из Угольной гавани» — он использовал в «Улиссе». С самого начала молодые люди испытывали друг к другу столько же приязни, сколько чувства соперничества: оба собирались стать медиками, оба рвались писать. Гогарти вещал об эллинизированной Ирландии, Джойс, не знавший древнегреческого, — о ее европеизации. Джойс видел в Гогарти «веселого предателя» Ирландии, несмотря на глубокую симпатию к нему, но и Гогарти считал его вывернутым наизнанку иезуитом, которого он просто обязан вернуть от меланхолии фирболгов[28] к аттическому ликованию.

Каникулы затянулись почти на месяц. Джеймсу доверили почетный ритуал — швырнуть каравай хлеба сквозь входную дверь в полночь на Новый год. Изобилие, которое этот обряд должен был обеспечить, все не наступало. В гостях у Шихи он мастерски изображал парижского студента. Когда его попросили спеть французские песни, он так же мастерски изображал, что опускает непристойности, и наслаждался тем, как почтенные гости понимающе «ухмылялись, хотя слова были совершенно невинные».

Перед отъездом из Дублина 17 января 1903 года Джойс услышал, что приятель его отца, О'Хара из «Айриш таймс», может устроить ему место французского корреспондента газеты. Приняв желаемое за действительное, он отбыл во Францию, уверенный, что скоро получит это место. В Лондоне он зашел к Льюису Хайнду, редактору «Академи», и получил книгу на пробную рецензию. Результат не удовлетворил Хайнда и газету.

«Не подойдет, мистер Джойс», — сказал он.

«Извините», — сказал Джойс и собрался выйти, как обычно,

не обсуждая причин.

«Да погодите, — остановил его Хайнд, — я ведь хочу вам помочь. Почему бы не выслушать мои пожелания?»

«Я подумал, — ответил Джойс, — что мне следует донести до ваших читателей, что я считаю эстетической ценностью книгу, которую вы мне дали».

«Верно. Этого я и хотел».

«Ну так вот, — продолжал Джойс. — Я думаю, что у нее нет ни эстетической, ни какой-либо другой ценности, и собирался донести это до ваших читателей».

Рассердившийся Хайнд сказал: «Хорошо, мистер Джойс, при таком отношении я вам не смогу помочь. Мне стоит только открыть окно и высунуть голову, как сбежится сотня рецензентов».

«Рецензировать вашу голову?» — поинтересовался Джойс, чтобы достойно закончить встречу.

Йетс потом ругал его за надменность, и Джойс принял упреки с непривычным смирением. Синг, который перебрался в Лондон по той же причине, что Джойс во Францию, писал другу: «Я не смог пройти по газетам на этой неделе… Джойс по дороге в Париж обошел их все, так что мне лучше несколько дней не показываться, чтобы не было впечатления, что ирландцев здесь слишком много».

Джойс вернулся в Париж, полный решимости продолжать «эксперимент со своей жизнью». Сохранился его читательский билет в Национальную библиотеку — там он сидел целыми днями, а вечера проводил в библиотеке Сент-Женевьев. Шекспир пока отставлен, он читает всего Бена Джонсона, и пьесы и стихи, очевидно, сейчас его интересует форма и техника. Он читает в переводе «О душе» и «Метафизику» Аристотеля, разумеется, и «Поэтику» тоже. В тетради он пишет свои собственные апофегмы, оспаривая превосходство комедии над трагедией: то, что она делает для радости, трагедия делает для печали, чувство обладания в одной так же важно, как чувство отделенности в другой.

Во всех тогдашних письмах, особенно домашним, главная тема — голод. Джойс даже бравирует этим вполне угнетающим состоянием, описания коего подробны и даже юмористичны — однако перекличка с тремя часами пятнадцатью минутами 13 января 1941 года в Цюрихе звучит уже и здесь. Письма эти стоили немало слез Мэри Джойс, чье здоровье тоже сильно пошатнулось. В залоговую кассу и ломбарды она несла последние даже не ценности — предметы домашнего обихода. Там не брезговали ничем, но и платили почти ничего. Чудовищными усилиями ей

удавалось набрать три-четыре шиллинга, которые тут же отсылались в Париж. Но Джойс не слишком задумывался над тем, как ей это удается. Биографы часто, хотя и разными словами, пишут — «his pity he reserved for himself»[29].

«Дорогая мама,

твой перевод на 3 шиллинга 4 пенса за прошлый вторник был как нельзя кстати, потому что я оставался без еды 42 (сорок два) часа. А сегодня я без еды уже двадцать часов. Но эти приступы постов нынче для меня обычное дело, и когда я получаю деньги, то бываю чертовски голоден и успеваю проесть целое состояние (до одного шиллинга), прежде чем скажу: „Принесите нож!“ Надеюсь, что новый образ жизни не слишком попортит мое пищеварение. От „Спикера“ или „Экспресса“ новостей нет. Если бы нашлись деньги, я купил бы себе маленькую масляную печь (лампа у меня уже есть) и готовил бы себе макароны с хлебом. Надеюсь также, что проданный ковер — не из новых покупок, которые ты продаешь снова, чтобы прокормить меня. Если так, то не продавай больше ничего, или я буду возвращать деньги назад по почте. Я полагаю, что делаю все, что могу, но все равно большую часть времени тяну дьявола за хвост. Условия мои настолько восхитительны, что я временами не могу уснуть до четырех утра, а когда просыпаюсь, то немедля бегу к двери, чтобы увидеть под нею конверт от моих издателей, и уверяю тебя, что утро за утром вижу лишь деревянный пол; я вздыхаю и отправляюсь назад в кровать, несмотря на голод. Я не был у мисс Гонн и не собираюсь. Упорное растягивание твоего последнего перевода поддержит меня до середины понедельника (пересылка — вроде бы полфранка) — затем, похоже, я начну следующий пост. Сожалею об этом, ибо понедельник и вторник дни карнавальные и я буду, видимо, единственным голодающим в Париже.

Джим».

На обороте письма, чтобы скрасить его беспросветную мрачность, он набросал несколько нот из песенки Пьера Лоти «Упа-Упа» и приписал: «Эту арию исполняют на лютне солист и женский хор. Ее поют перед королевой одного индийского острова по государственным праздникам, и ее свита подпевает хором».

Письмо пробудило в Джоне Джойсе такую энергию, что он собрал целый фунт или даже два и послал сыну. Джеймс получил перевод карнавальным вечером и, благодарный, написал, что купил себе «сигару, конфетти и поужинал. Еще я купил плиту, сковородку, тарелку, чашку с блюдцем, нож, вилку, маленькую ложку, большую ложку, соли, сахара, инжира, макарон, какао

итак далее, забрал белье из прачечной. А теперь пытаюсь готовить сам». Мать написала ему одно из тех заботливых писем, которые ему так докучали:

«Я думаю, что твое будущее в Париже серьезно зависит от новой газеты, потому что без какой-то уверенности жить там — просто несчастье, при постоянной борьбе, и твое здоровье пострадает. Все же не отчаивайся, потому что я полна надежды и этот месяц должен принести многое. *Не забывай всех своих друзей* и выбери время позвонить миссис Макбрайд, чья женитьба и влюбленность, естественно, не оставляют ей времени для серьезных дел, и то совершишь большую ошибку, если не будешь, как говорит твой папочка, „поддерживать с ней отношения“. *Ты не осуществишь своих планов без дружеской поддержки*. Стэнни усердно работает и злится, потому что не может послать тебе денег…»

Матушка считала Джеймса непрактичным и очень боялась за его будущее.

К Мод Гонн Джойс так и не пошел. Он просто не мог показаться ей в дырявых ботинках, изношенном костюме и грязной рубашке, отвлечь внимание от которой не удавалось даже пышному, но, увы, тоже далеко не безукоризненному галстуку. Менее требовательным знакомым, которые у него появились, на это было наплевать, но неистовая красавица Мод… Капризная муза Йетса, яростная патриотка, миссис Макбрайд она стала не случайно — Йетс для нее был недостаточно ирландцем, а Джон Макбрайд во время Англо-бурской войны бил англичан вместе с бурами. Правда, потом они все равно разведутся и разъедутся — она останется в Париже, а вернувшегося в Ирландию Макбрайда вместе с Джеймсом Конноли и прочими казнят после Пасхального восстания. Но лучшие вещи Йетса всегда будут посвящены Мод Гонн. Джойс так и не смог собраться с духом и явиться к ней.

Компания, которая понемногу складывается вокруг него, интернациональна в лучших парижских традициях и почти так же богемна. Спорят они в основном о литературе — когда французский их подводит, переходят на латынь. Один из них, Теодор Даублер, немец из Триеста, убежденный мистик, все больше не выносивший Джойса и его язвительные аргументы, пригрозил вызвать его на дуэль. Поединок не состоялся, оружие и условия тоже остались неизвестными, но много лет спустя на вопрос Станислауса, что бы он сделал, получив «формальный вызов иль картель», Джойс ответил мгновенно: «Сел бы на ближайший поезд в Дублин».

Однако главным его литературным знакомством тех дней был все-таки земляк Джон Миллингтон Синг, тоже прибывший

завоевать Париж. Он приехал туда чуть позже, но его поединок с издателями начался намного раньше. И опыт голода, едва не убивший его, тоже был побогаче. С Джойсом они спорили буквально обо всем, даже о том, стоит ли идти на карнавал, и Синг мог ответить, например: «Да ты настоящий буржуа; тебе нужно по праздникам сбегать в парк и посидеть там!..»

К тому времени Синг уже начал утверждаться как талантливый драматург. Еще в 1898 году он отказался от мысли стать великим критиком французской литературы вроде Артура Саймонса и уехал на Аран — сказочное даже для Ирландии место, три больших острова у западного побережья, в самом устье залива Голуэй, по легенде, выстроенных фирболгами и засыпанных драгоценной землей, которую от морских волн спасали каменные стены, выложенные по всему побережью. Жители Аран говорят на собственном диалекте гэльского, его-то Синг и слушал, набирая материал для своих четырех пьес — «В сумраке долины», «Скачущие к морю», «Источник святых» и «Свадьба лудильщика». Аранские острова добавили ему жизни — он страдал болезнью Ходжкина, то есть злокачественным лимфогранулематозом, но на островах почти не болел. Островные впечатления вошли в его главные произведения, и замечательные дневники, проиллюстрированные к тому же Джоном Батлером Йетсом, отцом поэта, будут выпущены за два года до его ранней смерти в 1909 году и переведены на многие языки мира.

Когда Йетс говорил с Джойсом, то вряд ли заметил тяжелую ревность, вызванную его словами, что «Скачущие к морю» — это «совершенно греческая вещь». За те две недели, что Синг прожил с Джойсом в «Корнеле», он показал ему свои рукописи и в том числе «Скачущих к морю». Джойс прочел ее с ненавистью. Брату он написал, что вынужден был не читать ее, а разгадывать, и что это трагедия обо всех, кто утонул в море, но что Синг, слава богу, не аристотелианец. В эту нишу Джойс не хотел пускать никого. Позже, после смерти Синга, не раз оказывалось, что Джойс помнил наизусть целые куски из «Скачущих…», а в Триесте он перевел пьесу на английский. Но Сингу он не простил ни единого ее недостатка, настоящего или кажущегося, и обрушивал на него жестокие лекции по эстетике, а Синг добродушно отвечал ему: «У тебя прямо-таки разум Спинозы».

Еще одним парижским ирландцем Джойса был Джозеф Кейси. В английской массовой и приключенческой литературе того и чуть более позднего времени довольно часто встречается этот тип — «ирландец с тягой к динамиту и пристрастием к абсенту», не пренебрегающий, однако, и другими напитками. Джойс называл

его «gray ember», «уголь под пеплом». Фений, спасающийся в Париже от возможной виселицы, Кейси работал наборщиком в парижском издании газеты «Нью-Йорк геральд». С Джойсом они познакомились в крохотном дешевом ресторанчике рю дю Лувр. Там Кейси, без конца крутя сигареты из чудовищного табака и бумаги, что была еще ядовитее, зажигал их спичками, взрывавшимися, будто запалы, безостановочно пил неразбавленный абсент и так же взрывоподобно перечислял беды Ирландии. «В веселом городке Париже скрывается он, Иган Парижский, и никто его не разыскивает, кроме меня». Кейси появится в «Улиссе» под именем Кевин Иган — оно позаимствовано у другого фения. Там Стивен вспоминает пронизывающую жалость этих совместных завтраков: «Слабая высохшая рука на моей руке. Они позабыли Кевина Игана, но не он их. Воспомню тебя, о Сионе». Ему противопоставлен его сын-солдат с кроличьим личиком, приехавший из Парижа в отпуск: Патрису социализм, атеизм и французский тотализатор на бегах кажутся нормальной цепью явлений, а отец — дряхлым занудой.

Встречи с приятелями всегда были крайне важной частью жизни Джойса, хотя тогда он стыдился в этом признаться. Однако были другие прелести Парижа, которые он освоил очень быстро, потому что в сущности они были продолжением его дублинских навыков. Называл он их замечательно — «тем светильником для любовников, что свисает с дерева мира». Семье он писал, что не может позволить себе театр, однако сумел попасть на первое представление «Пелеаса и Мелисанды» Дебюсси в «Опера комик», видел Бернхардта и Синьоре в «Добрых надеждах» Эйерманса в театре Антуана. С галерки, за семь франков пятьдесят сантимов, он слушал де Рецке в «Паяцах» (а Шерлок Холмс — в «Гугенотах») и с восторгом обнаружил, что у его отца был совершенно тот же голос. Позже это подтвердил Микеле Эспозито, профессиональный итальянский музыкант, живший в Дублине, — об этом Джойсу рассказал Сэмюел Беккет. Ему снова захотелось петь, он даже отыскал педагога, но тот потребовал аванс, и от идеи пришлось отказаться.

Он сумел совершить два путешествия: одно в Ножан, второе в Тур, где он совершенно неожиданно получил поддержку по части литературы. Джойс познакомился и подружился с сиамцем, который тоже занимался в библиотеке Сент-Женевьев, и уговорил его съездить в Тур послушать замечательного тенора, певшего в тамошнем соборе. В станционном киоске он увидел книжку Эдуара Дюжардена, о котором он помнил, что это друг Джорджа Мура. То были знаменитые «Лавровые деревья срублены». Всю последующую жизнь Джойс не обращал внимания на критиков,

приписывавших ему заимствование внутреннего монолога и «потока сознания» у кого угодно, и с нечастой у него откровенностью признавался в том, что считает честью для себя научиться этому у Дюжардена. Сиамец тоже был удостоен чести: когда он зрелым человеком узнал о славе своего парижского знакомого, то поменял свое имя Рене на Рене-Улисс; Джойсу это польстило еще и тем, что Рене-Улисс принадлежал к королевскому дому.

С деньгами стало чуть полегче. Джо Кейси регулярно одалживал ему небольшие суммы, Патрис тоже, были и щедрые случайные знакомые. Гогарти в ответ на его просьбу прислал целый фунт. Он освоил науку экспатриантов — попадать к обеду и ужину в домах знакомых; метод работал с французами, но давал осечку с американцами и англичанами. Появился ученик, заплативший аванс за несколько уроков. Капали маленькие гонорары за редкие обзоры для «Дейли экспресс». «Спикер» заплатил ему за рецензию, но частями и очень скудно. Хозяйка гостиницы отказывалась поддерживать будущую славу и требовала выплат в счет современности. Матери он жаловался на «самый подлый голод» и пояснял, что, несмотря на строго соблюдаемое «правило чечевицы», предписывавшее две трапезы в течение шестидесяти часов, «слегка ослабел». Одежда постыдно износилась, он перестал бриться и отпустил бороду. На ирландский бал в День святого Патрика ему пойти не удалось, потому что у него не было фрака — довольно смешная жалоба для того, кому нечего есть, но вполне понятная для человека его лет. Мэй Джойс решает во что бы то ни стало помочь ему с одеждой. А он тем временем пытается взять интервью у Анри Фурнье, ведущего французского соперника Джеймса Гордона Беннетта в автомобильных гонках, которые должны состояться будущим летом в Дублине. Интервью получилось скучное и довольно вялое, но «Айриш таймс» его купила — еще бы, свежие новости из Парижа!

Всем этим Джойс пытался убедить самого себя, что он сможет выжить за границей и продолжать, как он сам писал, «путешествие души». То, что он сейчас писал, он писал с полной уверенностью, все яснее понимая, чего хочет. Пятнадцать новых эпифаний доказывали ему самому, что, как говорит Стивен Дэйну, «рождается душа». Чувство это возникло еще до первого отъезда из Дублина, однако тогда Джойс заново начинал уяснять себе, что такое душа. Возможно, Джойс остался бы во Франции дольше, питаясь крохами и выжимая переводы из родителей, но заболела мать. Она уже долгое время едва перемогалась, объясняя свое состояние сперва дурными зубами, потом глазами,

а потом появились грозные признаки. Встревоженный, Джойс просит ее в апреле 1903 года:

«Дорогая мама, пожалуйста, если сможешь, поскорее напиши мне, что случилось.

Джим».

В тот день он пошел в Нотр-Дам на мессу, но опять-таки больше сравнивал качество французского церковного пения с ирландским, потом долго бродил по Парижу, чтобы допоздна не возвращаться в свою комнатенку. Но телеграмма все равно его дождалась:

«НАТЬ[30] УМИРАЕТ ВОЗВРАЩАЙСЯ ОТЕЦ».

Денег на поездку у него, разумеется, не было. У одного из знакомых, разбудив того за полночь, он одолжил 300 с лишним франков и следующим утром через Дьеп уехал в Ньюхейвен.

Глава восьмая СМЕРТЬ, СЛОВО, ПИВО

Ravening, raging and uprooting that he
may come into the desolation of reality…[31]

Любой раковый больной проходит ремиссию. Опухоль ненадолго отступает перед лечением, хотя какое лечение, кроме хирургического, возможно было в 1903 году?

Поначалу врачи диагностировали у Мэри Джойс цирроз печени, который скорее грозил ее мужу, а не ей. Но даже им стало в конце концов ясно, что это рак. Страх смерти приобрел у нее необычные формы: она страдала из-за безбожия сына и непрестанно уговаривала его вернуться к вере и принять причастие. Но Джойс был несгибаем. Как Стивен Дедалус, он боялся, что потеряет накопленное, стоившее больше труда, чем заучивание символов, пусть даже и освященных двадцатью веками поклонения.

Мать рыдала, ее рвало мутно-зеленой желчью. Он не сдавался.

На улице Джойс встретил Йетса, рассказал ему, что не уверен, умирает ли его матушка, и добавил с притворной беспечностью: «На самом деле это не имеет никакого значения».

Имело. И для него в первую очередь. Он никогда не чувствовал такой потребности в ее одобрении, и когда он писал ей из Парижа, то добивался даже не денег, а поддержки его стремлений. Отец умел развлечь его своим непочтительным и безудержным юмором, но мать… Возможно, так она в последний раз оплатила его упрямое стремление к свободе. В ней безудержным и самоотверженным было терпение. Джойс унаследовал его, но направлено оно оказалось на совершенно другие вещи.

Сбежав на несколько сотен миль от дома, он все равно остался зависим от нее, еще болезненнее, чем прежде. Ее он хотел сохранить, пусть Мэй Мюррей и была частью того затхлого мира, из которого он начал вырываться. Умерев, она лишала его всего — и возможности поддержки, и возможности сражения. Ее затянувшаяся смерть, неопрятная и одинокая, как почти любая смерть, отдаляла его от всех, кто у него еще оставался.

Джон Джойс также был полураздавлен болезнью жены — полу, потому что раздавить его не могло ничто. Но пить и

шляться он бросил и старался проводить с женой как можно больше времени. Перезаложив дом, он выручил 50 фунтов на врачей и лекарства и три фунта послал в Париж другу Джеймса, одолжившему деньги на билет домой.

Сын разыгрывал из себя парижанина — длинные волосы, бородка, обширный галстук-бант, шляпа из Латинского квартала. Но ему было тяжело. К тому же Бирн так и не простил ему той выходки с открыткой, и Джойс безуспешно пытался восстановить их дружбу. В разговоре Бирн признал, что повод смехотворен, однако сам по себе крайне показателен, и Джойс ни в чем не изменился, и скорее всего ни о какой дружбе речь идти не может, и разве что Джойс серьезно задумается над своим характером, и тогда, возможно, и Бирн задумается, не вернуться ли к былой приязни… Он заметил, что Джойс относится к людям, в особенности к женщинам, слишком легко, на что Джойс ответил, что Бирн к ним относится слишком плебейски. А на требование Бирна пояснить свои слова Джойс вдруг сказал совершенно неожиданную вещь: «Я сижу с тобой на стене, слушаю твой голос, и я абсурдно счастлив — настолько, что не собираюсь ничего анализировать».

На следующее утро Джойс письмом позвал Бирна в город, и они весь день до вечера бродили по Дублину. Бирн все же упрекнул Джойса в том, что он усугубляет страдания своей матери, а Джойс иронически отвечал, что следует примеру Паскаля в отношении его наставника, святого Алоизиуса Гонзаги, да и самого Христа.

Джойс искал поддержки и у других. Гогарти, Косгрейв, студент-медик Джон Элвуд сочли его поведение частью натуры художника. Гогарти уже был врачом и оставался им всегда, несмотря на литературу и спорт, — известным терапевтом и хирургом-отоларингологом. Первый эпизод «Улисса» буквально наполнен Гогарти — Быком Маллиганом. Очевидно, это плата за опору, предоставленную Джойсу в эти дни.

Станислаус в «Воспоминаниях о Джеймсе Джойсе» пишет, как Гогарти давал Джойсу поносить свои лучшие костюмы и отдавал те, что постарее; уговорил его сбрить парижскую бороденку, чтобы добиться полного сходства с Данте; дал ему прозвище «Кинч», которое впоследствии объяснил Шону О’Фаолейну как звукоподражание свисту ножа, рассекающего плоть («Клинк» в переводе Хинкиса и Хоружего). Джойс не остался в долгу — он мрачно-загадочно попросил Гогарти одолжить ему револьвер двадцать второго калибра. Гогарти встревожился, но одолжил. Потом оказалось, что револьвер тут же перекочевал в ломбард. Джойс предложил последнюю строку для поэмы Гогарти «Смерть

Шелли», получившей награду Тринити-колледжа — «светит над ним, воином песни, царем Леонидом». Вручая награду, профессор Дауден умиленно процитировал именно последнюю строку.

Отношения между Гогарти и Джойсом всегда были поединком. Оба претендовали на верховенство, и Джойс, несмотря на все обаяние и остроумие Гогарти, выигрывал. Как ни странно, он уступал Гогарти в типично ирландской добродетели — винопитии; сознательно решив бросить пить, Джойс не мог геройствовать на вечеринках и в пабах. Однако парижские вина, дешевые и вкусные, сильно поколебали его решимость. Гогарти зловеще обещал споить Джойса и «сломить его дух», но эти слова, пересказанные Элвудом Джеймсу и Станислаусу, звучали не то подлинной угрозой, не то черным юмором. Сам Гогарти к спиртному был высоко толерантен, выпить любил, славил алкоголь и жестоко дразнил Джойса, пока тот был воздержан.

И Джойс уступил. Наложившись на тревогу за мать, неуверенность в будущем, желание не проиграть Гогарти и в этом, тяга к спиртному расцвела буйным цветом. Поначалу Джойс, воображая себя елизаветинцем, заказывал легкий херес, кларет и тому подобное. Новость о его первой крупной попойке оказалась известием городского уровня — над ним подшучивали незнакомые люди, иногда на улицах.

Кларет был дорог, и его сменил классический «Гиннесс», «вино народа». Джойс римскими способами не пользовался и порой напивался до полного выпадения из реальности. Собственно, он этого и добивался. «Что надвигается на меня из тьмы, нежное и журчащее, словно поток, страстное и свирепое, с бесстыдным движением чресл? Что рвется в ответ из меня, с криком, будто в небе орел к орлу, плача о победе, плача об ужасающей заброшенности?» Портер помогал оглушить часть души, копившую терзания. Но наутро все возвращалось.

Из-за парижской шляпы его принимали за пьяного проповедника; кто-то из друзей отволакивал его домой; братья и отец, ставший на время трезвенником, начали презирать и жалеть Джойса. Но он не разрешал себя жалеть и отвечал на упреки колкостями. Он говорил: «Вы боитесь жить, вы и такие, как вы. Весь этот город страдает параличом воли. А я не боюсь жить». Станислаус интересовался, хочет ли он по-прежнему быть писателем? Джойс отвечал: «Мне наплевать, напишу ли я еще хоть строчку. Я просто хочу жить. Меня следует перевести на государственное содержание, потому что я способен наслаждаться жизнью. А трезвые моменты я употреблю на исправление грамматических ошибок гениев». Когда Станислаус так же язвительно интересовался, что он может сказать «этим

пьяным йеху, студентам-медикам», Джойс отвечал: «Они не так скучны, как вы».

Станислаус и сам собирался в писатели, но сжег свой дневник после того, как Джеймс сказал ему, что он безумно пресен, кроме тех мест, где пишется о нем, и что ему лучше никогда не браться за прозу. Поскучав несколько месяцев, Стэнни принялся вести дневник снова. Его философские афоризмы не исчезли полностью: хотя Джеймс иронически советовал ему назвать цикл «Рвотными пилюлями», один из них появится через два года в «Несчастном случае», где мистер Даффи пытается определить, что происходило между ним и миссис Синико: «Одна фраза, написанная после прощального свидания с миссис Синико, гласила: „Любовь между мужчиной и мужчиной невозможна потому, что физическое влечение недопустимо; дружба между мужчиной и женщиной невозможна потому, что физическое влечение неизбежно“»[32]. Станислаус редко вызывал у Джеймса что-то, кроме раздражения. Такой серьезный, такой внимательный, такой благоговеющий, что брат говорил ему: «Отвернись, пожалуйста. Твое лицо нагоняет тоску». Или: «Не дай бог стать женщиной и видеть твою физиономию по утрам рядом на подушке…»

Работал Станислаус клерком, получал мало и быстро терял те способности, которыми, казалось, был наделен. По ночам он яростно писал, чтобы потом узнать в своих текстах опять-таки брата. «Моя жизнь, — признавался он, — моделируется по образу и подобию жизни Джима, но когда меня обвиняют… что я не понимаю обаяния Гогарти или подражаю Джиму, я могу с легкостью опровергнуть обвинение. Это не просто подражание, как считают они, я уверен, что для этого я слишком умен и мой мозг достаточно зрел. Просто в Джиме я оцениваю то, что меня по-настоящему восхищает и хотел был видеть в большинстве. Но это ужасно — иметь старшего брата, который умнее тебя. Я не слишком претендую на оригинальность. Я следую Джиму почти во всех важных вопросах, но не во всех. Джим, я думаю, редко принимал мои мнения. Однако в некоторых вещах и я иду своим путем».

Мэри Джойс становилось все хуже, и Джеймс часами бесцельно бродил по городу, ожидая, когда она умрет. Рецензий он не делал, почти не писал. Слухи о Падрайке Колуме, новом светиле, доходили до Джойса, и как-то раз он даже позволил ему нагнать себя на выходе из Национальной библиотеки.

Колум уже считал себя вписанным в то, что получило гордое наименование «Ирландское возрождение», и радостно заговорил о нем с Джойсом. Тот презрительно ответил:

— Не доверяю любым видам энтузиазма.

Они заговорили о поэзии, но и тут Джойс, услышав от Колума, что он все время думает о содержании стиха, пожал плечами:

— Стих есть просто высвобождение ритма…

Когда Колум, не зная, о чем еще говорить, сообщил, что его имя может писаться и как «Колумб», Джойс величаво поинтересовался:

— А как вы называетесь, когда надеваете облачение певчего?

Слава богу, дальше всплыл Ибсен, хотя и тут Джойс так же презрительно отмел «Кукольный дом», недавно сыгранный дублинской любительской труппой, потому что у «Старого великана» только две поистине великие вещи — «Гедда Габлер» и «Дикая утка». Потом Джойс неожиданно попросил у Колума рукопись его только что написанной пьесы — можно предположить, что это была знаменитая «Разорванная земля», после успеха которой в «Нейшнл тиэтр сосайети» Колум ушел в литературу.

Через несколько дней Джойс подошел к Колуму на улице и протянул рукопись со словами:

— Гнилье — снизу доверху!

Помахав тросточкой ошеломленному автору, Джойс добавил, уходя:

— Уж не знаю, кто заразил тебя непониманием — Ибсен или Метерлинк…

Но позже, уверившись, кто именно в ирландской литературе номер первый, он признал, что «этот Колум небездарен». А в 1909 году похвалил его поэму «Сквозь дверь», хотя и в том же стиле: «Я бы такого писать не стал…»

Обиженная леди Грегори все же простила его — скорее всего, из сочувствия к болезни матери. Тем не менее когда она собрала большинство пишущих молодых ирландцев, то его не позвала. Он пришел сам. Джон Эглинтон вспоминал: «Со своим обычным боязливо-задиристым видом он подошел к недовольной хозяйке вечера и тут же повернулся к ней спиной, чтобы оглядеть толпу…»

На литературные приемы его не звал и Джордж Мур, хотя нахала Гогарти приглашал всегда. Мур видел стихи Джойса, ему показывал их Рассел, но он вернул их ему с жестокой, но верной оценкой: «Саймонс!» Узнав, что Джойс постоянно одалживается по мелочи, Мур с некоторым отвращением заметил:

— Да он же просто… просто попрошайка!..

Нет сомнений, что реплики эти доходили до Джойса, с трудом сохранявшего видимость безразличия.

Обидчивый и равнодушный, вспыльчивый и холодный, Джойс смотрел на дублинский театр литературных марионеток, потому что за невидимыми стенами этого театра в нищем и запущенном доме умирала его мать. С начала апреля она уже не вставала, денег на сиделку не было, и Джозефина Мюррей с бесконечным терпением ухаживала за ней. Мэри еще шутила с врачом, но болезнь побеждала и ее мужество, ее рвало без остановки, и боли становились все непереносимее. Джойс пел для нее, как он пел для умирающего брата Джорджа, любимое стихотворение Йетса «Кто вслед за Фергусом», аккомпанируя себе на пианино.

Отец снова запил, и чем хуже становилось жене, тем отчаяннее он напивался. Однажды ночью он ввалился в дом, прогромыхал в спальню жены и, рыдая, завопил:

— Я не вынесу больше! Мне конец! Если не можешь выздороветь — умри! Умри, будь ты проклята!

Станислаус с исступленным воплем бросился на него и убил бы, но его остановила мать, из последних сил поднявшаяся с кровати, чтобы разнять их. Джеймс утащил отца прочь и запер в другой комнате. Черный юмор трагедии обернулся побегом Джона Джойса: он неведомо как смог выбраться через окно, спуститься по крыше со второго этажа и опять исчезнуть в дублинских пабах.

Тринадцатого августа 1903 года Мэй Джойс умерла. Ей было 44 года.

За несколько часов до смерти она перестала приходить в сознание, и семья стояла вокруг нее на коленях, молясь за ее душу и плача. Джон Мюррей, ее брат, видя, что ни Джеймс, ни Станислаус не преклонили колен, строго приказал им сделать это. Они не подчинились.

Тело миссис Джойс увезли в Гласневин для погребения, Джон Джойс безутешно рыдал, выкрикивая, что скоро и он ляжет рядом с ней, что пусть Господь немедленно приберет и его, пока Станислаус не принялся кричать на него. Отец посмотрел на него и сказал только: «Мальчик, ты не поймешь…»

Ужас пополам с горем захлестнул самую маленькую, девятилетнюю Мэйбл. Джеймс сидел рядом с ней на ступеньках, обняв ее, и шептал:

— Не плачь, не надо плакать. Мама на небесах. Там она куда счастливее, чем была тут, на земле, и если она увидит, как ты плачешь, это убавит ей счастья. Можешь помолиться за нее, если хочешь, маме это понравится. Но не плачь больше.

Несколько дней спустя он наткнулся на пачку любовных писем отца матери и прочитал их, сидя в саду. «И что?» — спросил его брат. «Ничего», — ответил Джеймс. Это говорил не

сын, а литературный критик. Станислаус их сжег — как сын.

В первом же эпизоде «Улисса» Стивен вспоминает: «Ее секреты в запертом ящичке: старые веера из перьев, бальные книжечки с бахромой, пропитанные мускусом, убор из янтарных бус…» Те же чувства породили стихотворение «Тилли», которое Джойс не публиковал до 1927 года:

Он шагает вслед за зимним солнцем,
Гонит скот холодной красной дорогой,
Окликает языком, им понятным,
Гонит стадо свое над Каброй.

Голос им говорит, что дома тепло.
Мычат они, копыта выбивают грубую музыку.
Он похлестывает их цветущей веткой.
Пар венчает их лбы.

Стадо сбивается вокруг пастуха,
Он уляжется у огня,
Я истекаю черной кровью
Там, где отломана моя ветвь.

«Тилли» означает «тринадцатый в дюжине», избыточный, «довесок» по версии Г. Кружкова. В сборнике «Яблочки по пенни», обещавшем дюжину стихотворений, теперь было на одно больше, а продавался он за шиллинг, то есть 12 пенсов.

Через месяц после смерти матери Станислаус предпринимает еще одну отчаянную попытку написать портрет своего брата — изменчивого, непредсказуемого, насмешливого. Отрывок этот еще и портрет самого Станислауса, и объяснение, почему он-то писателем не стал:

«Джим — гений характера. Когда я говорю „гений“, это означает чуть больше, чем то, чему я верю; но, вспоминая его юность и то, что мы спали вместе, я говорю именно это. <…> Он необычайно морально храбр — храбр настолько, что, я надеюсь, однажды станет ирландским Руссо. Конечно, Руссо можно винить в том, что он втайне лелеял надежду отвести гнев неодобряющих читателей, признаваясь в чем угодно, но Джима в этом не заподозрить. Великая его страсть — свирепое презрение к тому, что он зовет „толпой“: тигриная, ненасытимая ненависть. У него заметная внешность и осанка, множество привлекательных черт; музыкальный певческий и особенно говорящий голос (тенор), отличный недоразвитый талант к музыке, он остроумен в беседе. Он имеет угнетающую привычку спокойно говорить близким

самые убийственные вещи о себе и других, более того, он выбирает самое убийственное время для этого, и убийственны они потому, что верны. Вещи это такие, что я, зная его лучше некуда, все равно уверен, что он может потрясти даже меня или Гогарти своими непристойными стихами. Тем не менее для незнакомых он крайне привлекателен и любезен, но хотя он очень не любит грубости, я уверен, что от природы он любезностью не наделен. Когда он сидит на каминном коврике, обняв колени руками, слегка откинув голову, волосы зачесаны назад, длинное лицо красное, словно у индейца, от бликов пламени, на лице его выражение жестокости. Но он бывает временами мягок, ведь он может быть добр, и никто не изумляется, обнаружив в нем мягкость. (Он всегда прост и открыт, когда к нему относятся так же.) Однако его любят немногие, несмотря на его привлекательность, и тот, кто решит обменяться с ним добротой, совершит весьма невыгодную сделку».

Джойс прочитал фрагмент, но был на удивление сдержан в оценке: заметил только, что «моральная храбрость» (moral courage) — это не о нем. Видимо, не стоило добиваться от брата более точного и интеллектуального языка в описании его холодной отстраненности, которую он избрал и поддерживал в себе, даже ценой потерь.

Никаких определенных намерений у него не было, денег тоже. Черный, порыжевший по швам костюм он носил в знак траура, но и немножко от гамлетизма, и больше всего на свете, как писал Малларме, ему хотелось прочесть книгу о себе самом. Вспыхивал какими-то проектами, предлагал «Айриш таймс» разные темы, но в журналисты Джойс не годился совершенно — он мог писать только для одинаково с ним осведомленных.

В сентябре 1903 года Скеффингтон, ставший заведующим учебной частью в Юниверсити-колледже, прислал ему записку, что можно занять место преподавателя французского в вечерних классах. Джойс решил, что это очередная атака руководства колледжа на его независимость, и отправился к декану, отцу Дарлингтону, чтобы отклонить предложение на том основании, что он не находит свой французский достаточно хорошим. Дарлингтон пробовал переубедить его, но тщетно.

— И какой же путь вы избрали, мистер Джойс? — поинтересовался он.

— Путь литератора, — ответил тот.

Декан настаивал:

— Но ведь есть опасность погибнуть от истощения в дороге!

Джойс, по словам брата, ответил, что есть опасность, но есть и награда. Декан напомнил ему о знаменитом адвокате,

окончившем университет благодаря тому, что он подрабатывал журналистикой. Однако в Дублине знали, что юноша уже студентом продемонстрировал чудеса гибкости, публикуя статьи сразу в двух газетах совершенно противоположного направления. Джойс ответил сухо:

— Мне, видимо, не хватает дарований этого джентльмена.

Попытавшись вернуться на медицинский факультет, он опять споткнулся на химии и согласился с Кеттлом — сделать перерыв до осени, а там попытать счастья на медицинском факультете Тринити, где химия преподавалась более щадящим образом. Три попытки принесли Джойсу лишь вкус к медицинской терминологии, и еще он стал объяснять Станислаусу, что его страсть жить как можно ярче рождена «крайне высокоорганизованной нервной системой».

С Фрэнсисом Скеффингтоном, всегдашним соратником по авантюрам, он решил начать новый еженедельник европейского типа. Литературе там предполагалось отводить больше места, чем политике, но непременно освещать социализм, пацифизм и эмансипацию женщин. Назвать его собирались «Гоблин» для контраста с благопристойными «Фрименз джорнел», «Айриш таймс» и «Дейли экспресс». Они тут же собрались регистрировать новое имя, и Джойс высчитал, что для начала необходимо не меньше двух тысяч фунтов. Управляющим делами они собирались назначить Гиллиса, знакомого редактора «Ирландского пчеловода».

В поисках денег Джойс узнал, что Падрайк Колум заключил с американским миллионером Томасом Ф. Келли, жившим в пригороде Дублина, что-то вроде сделки. Американец предложил ему платить больше, чем Колум сумел бы заработать, в течение трех лет при условии, что Колум будет жить в деревне и писать. Взамен Келли получал американские права на все книги, созданные Колумом за это время. Колум также должен будет оповестить весь читающий мир, что берет с собой в деревню только Библию, Шекспира и Уолта Уитмена.

Джойс умирал от зависти. Томас Келли жил в Келбридже, где когда-то Свифт ухаживал за Эстер Ваномри; от Кабры туда было больше 14 миль, и Джойс пешком отмерил их по декабрьскому морозу — только для того, чтобы швейцар его не пустил. Дорога туда и обратно составила около 46 километров, если по прямой, но со всеми поворотами и изгибами наверняка больше. Он написал Келли изысканно-злобное письмо, и американец, вовсе не собиравшийся его унижать, извинился двумя телеграммами, но во второй добавил, что в данное время не располагает свободными двумя тысячами. Чтобы добыть хоть что-то, Джойс

предложил перевести «Жизнь пчел» Метерлинка для «Ирландского пчеловода», но Гиллис просмотрел книгу и совершенно обоснованно отказал. Правда, он великодушно принял Джойса в помощники редактора, и Джойс, как он впоследствии рассказывал, проработал на этой должности «почти двадцать четыре часа».

Оптимизм Джойса еще держался, но все же мало приятного сознавать себя постоянным заложником обстоятельств. Классовая ненависть — «а между тем дурак и плут одеты в шелк и вина пьют и все такое прочее!» — не слишком его палила, но все же хотелось, чтобы социализм пришел побыстрее и совершил перераспределение богатств. Раз или два он забредал на митинги социалистов на Генри-стрит. Затем, как большинство молодых литераторов того времени, он пришел к Ницше, которого страстно полюбили также Йетс и прочие дублинские интеллигенты, не в последнюю очередь из-за стиля. Ницше, как он впоследствии писал, взрастил его неоязычество, «прославляющее себялюбие, блудодейство, безжалостность и отрицающее благодарность и прочие домодельные добродетели».

Вряд ли Джойс был последовательным ницшеанцем и уж тем более социалистом, но в тот год, когда его то и дело затягивало в какие-то молотилки, ему наверняка хотелось воображать себя суперменом, небрежно отбивающим любые атаки судьбы, стоящим над фанатиками и чернью. Тетка Джозефина Мюррей слышала его признание: «Хочу быть знаменитым при жизни».

Глава девятая ПЕСНЯ, ДЕВА, ПОБЕГ

Because lam mad about women lam mad about hills…[33]

Уклад Джойсов и прежде не отличался особым порядком, а во время болезни Мэри всё неостановимо двигалось к хаосу. Дом взывал о ремонте, перила где треснули, где обломились, зато в комнатах было просторно — мебель была либо продана, либо заложена. На заднем дворе костлявые цыплята уныло клевали что-то невидимое глазу. Джон Джойс еще в ноябре выпросил очередной залог в 65 фунтов, хорошо понимая, что он будет последним, а от 900 фунтов, что были получены вместо регулярных выплат пенсии, не осталось ни фартинга (дом будет отобран в ноябре 1905 года). Залог покинул дом обычной дорогой — в кассы дублинских трактирщиков; тогда отец продал пианино, что привело Джеймса в ярость — было так неожиданно вернуться однажды домой и не увидеть инструмента.

После смерти матери Маргарет, «Поппи», в двадцать лет стала хозяйкой дома. Точнее, взяла на себя всю ту работу, которую делала мать и которой с каждым шагом вниз по социальной лестнице становилось все больше. Тетя Джозефина старалась заменить ей мать хотя бы поддержкой и советами — и ей, и сестрам, и братьям, включая Джеймса. Маргарет осваивала науку выколачивания из отца не пропитых еще шиллингов на пропитание семьи, где кроме нее по-прежнему оставалось восемь детей. Голодать приходилось не так уж редко. В доме просто не было съестного. Однажды Гогарти встретил Джойса и спросил:

— Где ты пропадал двое суток? Болел?

— Да.

— И чем же?

— Изнурением, — тут же ответил Джойс.

Джон Джойс продолжал искренне оплакивать жену. Смерть ее выбила те немногие опоры, которые еще держали его. Праздность Джеймса он еще мог снести, но Чарльз пил все чаще и был уже известен в полицейских участках, а Станислаус, хотя и оставался трезвенником, был неизменно груб с отцом. К тому же он ушел с должности клерка и присоединился к Джеймсу в поисках более благородного удела.

Джон Джойс чувствовал себя брошенным всеми. Напиваясь в баре, он возвращался домой, жестоко высмеивал сыновей, мог отвесить затрещину любой из дочерей, которой не повезло оказаться рядом. Он обвинял всех детей скопом в

неблагодарности, описывал их предполагаемое безобразное поведение на его похоронах, угрожал вернуться в Корк и оставить их всех, как Иисус иудеев. Семейная жизнь так придавила Маргарет, что о замужестве она не хотела и думать, а через несколько лет стала монахиней.

В этом холодном нищем доме, не принадлежавшем ни ему, ни его семье, Джойс готовился стать великим. Болезненное несовпадение желаемого и предоставляемого, как ни странно, заправляло горючим двигатели его честолюбия.

Случайно Джойс узнал, что Эглинтон и другой знакомый писатель, Фред Райан, готовятся издавать новый журнал для интеллектуалов под названием «Дана» в честь ирландской богини земли. 7 января он написал буквально в один присест вполне автобиографический рассказ, где самолюбование мешалось с иронией. Станислаус предложил название — «Портрет художника». Рассказ был отослан издателям.

Так началось превращение Джойса в зрелого писателя. Рассказ потом станет куда более длинной вещью под названием «Стивен-герой», а затем сократится почти наполовину, чтобы стать «Портретом художника в юности». На это уйдет десять лет.

С «Портретом художника», впервые после написания «Блестящей карьеры», Джойс решается на длительную работу. Чистые выплески поэзии или эпифании ему уже были малы. Томило желание собрать воедино те ступени духовного опыта, которые он уже прошел, и взглянуть, куда ведет эта лестница, или по крайней мере узнать, связываются ли они в какую-то последовательность, в образ чего-то. Сейчас трудно сказать, собирался он писать эссе или рассказ, потому что во всех его работах до «Улисса», даже в «Дублинцах», есть элементы и того и другого, и во всей его прозе всегда есть исповедальность — горячечный шепот невидимому собеседнику, отделенному решеткой и занавесью.

В двадцать один год Джойс открывает себя заново. Художник, пишущий о том, как стать или быть художником, всегда рискует вызвать подозрение в том, что с остальным материалом он не в ладах. Бунин в «Жизни Арсеньева» пишет о «мучительно-сладком труде», направленном на воистину пчелиный сбор, «образовывать в себе нечто годное для писания». Бугристая сальная клубничина — нос пьяного бродяги, мокрая белая веревочка на крышке трактирного чайника, ощущение свежего холодка на только что выстриженном затылке — всё собирается юным тогда автором-героем в упоительный для него конгломерат бытия, МИР. Джойс собирает СЕБЯ — мир есть только обрамление. Обывателю, вяло интересующемуся жизнью художника, он мстит тем, что

заставляет его интересоваться собой. Однако впоследствии найдутся читатели, которые в этой пристальности увидят и то, что Джойсу невыносим его собственный герой, особенно когда выйдет «Портрет художника в юности». Недостаток симпатии к персонажу не есть отвращение; Джойс понимает, что ранние метания героя, как и самого автора, — это вода, не только заливающая луг, но и обеспечивающая впоследствии его плодородие. Без них невозможен переход к зрелости.

Тональность рассказа достаточно воинственная. Автор настаивает на том, что мальчишеские качества никуда не уходят и уживаются со взрослыми. У прошлого нет «железной несокрушимости памяти», оно как бы предполагает «текучую последовательность „настоящих“». То, что мы видим, не есть устоявшееся изображение, отпечаток, но скорее некий «индивидуальный ритм», не «удостоверение личности, но эмоциональный изгиб». Джойс отыскивает ту концепцию личности, которая потом превратится в того самого «человека-реку».

Герой, пока еще безымянный — назовем его Юношей, — проходит одну пору за другой; вот религиозный пыл: «Он мчался сквозь этот предел, будто расточительный святой, изумляя многих брызжущим (в оригинале ejaculatory. — А. К.) задором, оскорбляя многих духом затворничества. Однажды в лесу невдалеке от Малахайда работник удивленно смотрел на подростка лет пятнадцати, молившегося с каким-то восточным экстазом». Но пыл постепенно слабеет и с поступлением в университет исчезает вовсе. Ему на смену приходит создание «загадочности манер», для защиты от вторжений в тот самый «неискоренимый эгоизм, который он впоследствии будет называть „избавителем“». Текст являет и искренность, и самонадеянность, но самонадеянности больше: «Пусть враждебные стаи мчались в холмы за своей добычей. Это была его страна, и он метал в них презрение со сверкающих рогов». Рога, разумеется, принадлежат благородному оленю.

Самое интересное в этом отрывке то, как проза насыщается мыслями героя. Символистская скрытность, не называющая по именам оленя и охотника, но проясняющая отношение к ним в сопутствующих метафорах, «хрипящем призраке» и «сверкающих рогах». Текст работает скорее за счет эмоций, чем идей, не признаваясь в симпатиях к Юноше, но позволяя ему описать себя наиболее привлекательным образом. Понятно, что техника далеко не безупречна — те же самые «рога», «быстро крепнущий щит» и многое другое, — но именно отсюда прорастает все усложняющаяся духовная сила мятущегося Стивена в «Портрете

художника в юности». В «Улиссе» и «Поминках…» Джойс развивает то же открытие, оказавшееся неисчерпаемым и ветвящимся: там уже язык отражает не только главные характеры, когда река описана словами, фонетически напоминающими о струении, воде, плеске, или когда стиль словно набухает вожделением вместе с растущим вожделением Герти Макдауэлл; это могут быть слова ночи или дня, утра или полуденной суеты. «В семь часов вечера на Эккпс-стрит английский язык становится таким же усталым, как и сам уходящий день», и ему даются только стертые клише.

Герой Джойса выбирает свою почву «без преимущества для себя», потому что хочет быть преследуемым и гонимым — это даст ему право не сдаваться преследователям и презирать гонителей, ему нужны не верные, а предающие. Он проводит резкую границу между собой и балбесами-сокурсниками, а особенно твердо — между собой и сладкоречивыми наставниками-иезуитами. Их отрицает священный долг художника, который Юноша принимает в две стадии. В первой он взыскует «ревностного добра», и разум юноши, как разум алхимических героев Йетса, «вечно вострепещет к его восторгу». На душу Юноши «пал, словно плащ, образ красоты», и он покидает церковь сквозь врата Ассизи, чтобы обрести в искусстве безмолвное благословение. Грустный Юноша медитирует на пляже, как позже Стивен Дедалус, и постепенно теряет интерес к «абсолютному удовлетворению», обретая вместо этого «сознание красоты условия смерти».

Так начинается вторая стадия. В ней у Юноши развивается вкус к сексуальной свободе и сопутствующей, как он считает, свободе духа. Затем следует лирический апостроф в виде нераспознаваемой девичьей фигуры, этакого светского коррелята Девы Марии. Может, это она и есть, та самая, чей вид у края воды в 1889 году воспламенил душу юного Джойса? Словно Магда в «Родине» Зудермана, она подсказала ему, что он должен грешить, если хочет расти; она заставляла его через грех открыть собственную сущность. В воображаемом соитии с ней, очищающем действительное совокупление с проституткой, Юноша постигает, что должен идти вперед, к «измеримому миру и широкому простору действий». Его разрывают новая жизнь и стремление изменить все сущее, но не силой, а наоборот — мягкостью, настойчивой учтивостью. Те, кто уже существует, не станут его публикой: они, как Йетс, слишком стары, чтобы помочь ему, — его поддержат те, кто «зарождаются сейчас». В эффектной, будоражащей речи, где Джойс перемешан с Марксом и Заратустрой, герой говорит: «Мужчина и женщина, вы породите

грядущую нацию, в труде грядет просвещение масс. Конкурентный уклад работает против себя самого, аристократия вытесняется, и посреди общего паралича больного общества только единая воля создает деяние».

Эссе (назовем его так) было представлено Эглинтону и Райану и, как положено, ими отвергнуто. Эглинтон сказал Джойсу, что не может публиковать то, чего не понимает, и категорически осудил сексуальные порывы героя как с воображаемой девой, так и с реальной шлюхой. Джойс расценил этот отказ как вызов — ведь история его героя должна была стать для нового века призывом к оружию. В дневнике Станислауса 2 февраля 1904 года записано:

«Вторник. День рождения Джима. Ему сегодня двадцать два. Он поздно проснулся и из-за сильной простуды лежал весь день. Он решил переделать свое эссе в роман и, придя к такому решению, обрадовался, как он говорит, этому отказу. Эссе… было отвергнуто издателями, Фредом Райаном и Уильямом Маги, из-за описанного в нем сексуального опыта. Джим считает, что отвергли его потому, что он весь о нем, хотя они выразили искреннее восхищение стилем произведения. Они всегда восхищаются его стилем. <…> Джим начал свой роман, как он обычно начинает свои вещи, наполовину со злости, чтобы показать — он пишет о себе затем, что у него есть более интересные предметы, чем их бесцельные споры. Я предложил название „Портрет художника“, и этим вечером, сидя на кухне, Джим пересказал мне идею романа. Он будет почти автобиографическим и, естественно, как всё, что делается у Джима, сатирическим. Туда он вставит многих своих знакомых и тех иезуитов, которых знал. Не думаю, что они там себе понравятся. Он еще не решил насчет заглавия, и я опять предложил все, что мог. Наконец одно было принято — „Стивен-герой“, по имени Джима в его книге, „Стивен Дедалус“. Название, как и сама книга, сатирическое. Вдвоем мы переокрестили всех персонажей, дав им имена, которые больше подходили им по характерам или позволяли предположить, из какой они части страны. Потом я спародировал многие имена… Папочка заявился, очень пьяный, и — что для него крайне необычно — проследовал сразу наверх в постель. Сегодня у нас был отличный ужин и чай. После заката полил дождь. Провели вечер, играя в карты — в честь события. Джим и Чарли курили. Джим хотел позвать папочку, но все решили, что ему лучше поспать».

Джойс всегда действовал решительно и быстро, когда ситуация была серьезной. Меньше чем за месяц он разработал тему романа, героем которого стал художник-ренегат,

оставивший католическую веру. Но эстетические воззрения Стивена созданы не просто отрицанием. Художником он становится потому, что искусство открывает ему «светлые площади жизни», которые запирали от него священники и короли.

Десятого февраля Джеймс закончил первую главу, а к середине лета у него уже накопилась внушительная стопка страниц. Первые главы «Стивена-героя» не сохранились, но, по воспоминаниям Керрана, лирика первых страниц сменилась горьким и жестким реализмом. Но даже у его откровенности были границы. Станислаус в дневнике проницательно заметил: «Джима считают предельно откровенным по части себя, но стиль его таков, что кажется, будто он признается на каком-то иностранном языке — так признаваться куда легче, чем просто на родном».

Проза вернула Джойсу способность писать стихи. Но и тут он сражался. Герберту Корману он признался, что «Камерную музыку» написал «в знак протеста против самого себя», против дней без работы и ночей отчаяния. Начало циклу положило «Молча волосы расчесывая», которое Артур Саймонс через месяц, в мае 1904 года, напечатал в «Сатердей ревью». Два следующих стихотворения были написаны после прогулки с Мэри Шихи, Скеффингтоном и другими на холмах за Дублином. Джойс, отчаянно зябнувший на апрельском ветру в своей яхтсменской фуражке и матерчатых туфлях, тем не менее гордо поигрывал тросточкой и наблюдал за Мэри. Красота ее восхищала Джеймса, а молчаливость он принимал за то же презрение к остальной компании, какое испытывал сам. Он прятал свои чувства, однако там, возвращаясь с холмов, они обменялись несколькими словами. Глядя на луну, Мэри сказала, что она словно готова расплакаться, а Джойс с мягкой дерзостью ответил, что луна скорее походит на лицо толстого пьяного монаха. «Ты все-таки очень испорчен», — вздохнула Мэри, а он не согласился: «Нет. Но я стараюсь изо всех сил».

Когда они разошлись, Джеймс разорвал сигаретную пачку и карандашом написал «What counsel has the hooded moon», где луна, как водится, мужского рода, и потому переводчику трудно будет объяснить то, что происходит в этом стихотворении, где автор предлагает деве слушать не толстого монаха в облачном капюшоне, а его, автора, знающего о любви и славе все. Переводчик может заменить «луну» на «месяц», но все равно — кое-что важное не сохранится. Однако речь шла о земной любви как лекарстве от печалей и забот. В «Камерной музыке» Джойс не раз говорит о любви именно так, как говорили елизаветинцы, у

которых он так усердно учился. Тогда же в этом ключе, лексике и стиле написана изящная вещица, воистину камерная песенка, которую он так и не опубликовал: «Пойди туда, где встречается юность / Под луной, у моря, / И оставь свое оружие и сети, / Свое веретено и кружева…»

Между этими неожиданными творческими вспышками Джойс играл свои роли в маленьких семейных спектаклях пьянства, безделья и скандалов, что преданно записывалось Станислаусом. Отцовского рекорда, тоже зафиксированного — четыре нетрезвых дня каждой недели, — Джеймс не побил, но жил вполне беспорядочно. Его лень и житейская праздность вполне сочетались с непрестанной работой писателя. Февральская запись в дневнике рассказывает, как он, вместе со Станислаусом, проспал до часу дня и тем ужасно разозлил отца, который устроил им скандал с угрозами и едва не дошел до драки, так что Джеймсу пришлось выскочить на улицу, как бы за полицейским. Однако в марте он сидит почти сутки за столом, добиваясь, чтобы «писать стало так же легко, как петь».

Но уже 13 марта он отсутствует всю ночь, и причины отсутствия понятны из грустного письма к Гогарти, который уехал в Оксфорд. Джеймсу нужен адрес хорошего врача, который поможет с последствиями визита в бордель.

Литература не заставила его полностью отказаться от увлечения пением, биографы пишут даже о «возможности сделать карьеру певца». И вот, посреди уже хорошо прописанной книги, Джойс вдруг снова возвращается к этому намерению. Голос у него был отличный, а для любителя так даже превосходный — «нежный и медоточивый». Любопытно, что у него не было характерного для мальчиков периода мутации — его тетя, миссис Кэллахэн, вспоминала, что даже ребенком он пел не дискантом, а несильным, но чистым тенором. Пока ему не исполнилось двадцать, он редко брал ноты выше «соль» или даже «ля-бемоль». Силы звука ему не хватало, голос был нетренирован, однако при должной подготовке он мог соперничать с лучшими тенорами своего времени.

Взяв несколько уроков у лучшего дублинского учителя вокала Бенедетто Пальмиери, Джойс охладел к ним (в немалой степени из-за отсутствия денег) и перенес свой интерес на учительство. Открылась временная вакансия в Клифтон-скул, частной школе в районе Саммерфилд-лодж, где проживал второстепенный поэт Денис Флоренс Маккарти, чье имя то и дело появляется в «Поминках…». Основателем и главой школы был ольстерский шотландец Фрэнсис Ирвин, выпускник Три-нити-колледжа. Почти

вся вторая глава «Улисса», «Нестор», где Стивен Дедалус зарабатывает свои три фунта двенадцать шиллингов, написана со школы Ирвина. Джойс преподавал там всего несколько недель. После его ухода школа продержалась недолго и закрылась из-за окончательно спившегося Ирвина.

Позже, в апреле, он принимает первое из серии приглашений Гогарти навестить его в Оксфорде: если Джеймс сможет накопить три фунта на дорогу, то все остальные расходы Оливер брал на себя, мудро отказываясь прислать деньги авансом: Джойс непременно промотал бы их. Джойсу хотелось увидеть Оксфорд, и было бы даже весело быть представленным известным шпрехшталмейстером Гогарти: «Леди и джентльмены! Только один вечер на манеже! Осторожнее, сударыня! Мальчик, отойди от клетки! Дайте кто-нибудь пинка ребенку! Редкий образец… Я попросил дать ребенку пинка! Благодарю вас, капитан! Редкий образец неодомашненного кельта! Не аплодировать — приходит в неконтролируемую ярость!..» Но накопить три фунта он так и не смог.

Гогарти повторял приглашение, а Джойс отвечал. Какой-нибудь контрразведчик мог усмотреть в их переписке тайный код: Гогарти обращался к нему «Блуждающий Ангус[34]», «Презиратель посредственности», «Бич черни», а поля были покрыты приписками и примечаниями, направленными в любую сторону, кроме той, куда должно. 3 мая он приписывает, что получил вторую награду Ньюдигейта[35], и добавляет, что заказал два новых костюма и один даст поносить Джойсу, если тот приедет. Джойс отвечает просьбой о ссуде и описывает свое бедственное положение. Гогарти отвечает таким же подробным описанием своего бюджета, чтобы обосновать отказ. Джойс возвращает документ с находчивой припиской — теперь он просит о другом:

«Шелборн-роуд, дом 60, Дублин.

Дорогой Гогарти,

отсылаю тебе свой бюджет. Я все еще жив. Вот более разумная просьба. В пятницу я пою на garden-fête[36], и если у тебя найдется приличный костюм или рубашка для крикета, пришли ее или их. Пытаюсь получить ангажемент в Кингстон-павильон. Ты там никого не знаешь? У меня такая мысль на июль и август: выпросить у Долметча лютню и проехать побережьем по югу Англии от Фалмута до Маргейта, исполняя старые английские песни. Когда ты уезжаешь из Оксфорда? Хотелось бы мне его увидеть. Твоей аллюзии не понимаю. „Камерная музыка“ — название цикла. Полагаю, Дженни уезжает через день или около того. Я позвоню сказать „Прощай, прощай…“. Ее письмо меня никак не задело. А другие — да. Прилагаю одно, чтобы ты

не слишком чванился собой. Элвуд почти выздоровел. У меня свидание с Энни Лэнгтон — хотя ты ее уже забыл? Других новостей сообщить не имею…. Непреданный тебе. Пока прощай, Непоследовательный.

Стивен Дедалус.

3 июня 1904 г.».

Упоминание о «Камерной музыке» относится к эпизоду, сильно перевранному в последующих истолкованиях и имевшему место месяцем раньше. Гогарти, который до этого был в Дублине, взял Джойса к Дженни, общительной вдовушке, и пока они пили портер, Джойс читал свои стихи, которые он носил с собой в большом конверте. Каждое было написано его лучшим почерком посередине большого куска пергамента.

Вдовушке это развлечение, в общем, понравилось, но пару раз она отлучалась за ширму к ночному горшку (chamberpot). Приятели слушали неизбежный звук, и тут Гогарти ехидно заметил: «Вот тебе и критика!» А Джойс уже обдумывал название, предложенное Станислаусом, — «Камерная музыка», Chamber Music. И когда брат услышал от него эту историю, то так же ехидно заметил: «Вот тебе и благое предзнаменование!»

Между тем песок в часах дотек до того самого дня — четверга, 16 июня 1904 года, который Джойс через много лет выберет для «Улисса». В мировой литературе нет другого такого дня и, скорее всего, уже не будет. Однако он существовал в реальности и, возможно, длится до сих пор. Что же было в этот день с самим Джойсом?

В этот самый день он начал разрабатывать свою теорию о том, что Шекспир — не принц Гамлет, а его отец, преданный королевой и собственным братом, как был предан, по мнению Джойса, и сам Шекспир женой Энн Хэтэуэй, изменившей ему с его братом. Джойс постоянно отыскивал великие жертвы предательства: Христа, Парнелла, себя. Вместо того чтобы делать художника мстителем, он переводил его в рогоносцы. Об этом он с восторгом рассказывал Эглинтону, Бесту и, разумеется, Гогарти.

В знаменитую башню Мартелло он пока не переехал, хотя по «Улиссу» он там уже живет и даже платит за постой. Он влюблен в одну из дочерей музыканта Микеле Эспозито, а другую умудрился оскорбить.

Собственно, влюбленность и сделала этот день великим талисманом Джойса и всего читающего мира. Джойс часто воображал себя влюбленным — довольно долго его мысли занимала кузина Кэтси Мюррей, потом в них воцарилась Мэри Шихи, правда, без всяких попыток объясниться или сблизиться теснее. Отношение к женщинам у него было сложным —

писательницы-феминистки впоследствии прокатятся по нему джаггернаутовыми колесами, смазанными ядом. Станислауса он потряс, одобрительно процитировав дублинскую остроту: «Женщина — это животное, которое раз в день мочится, раз в неделю испражняется, раз в месяц менструирует и раз в год размножается». Однако невероятная грубость легко уживалась в нем с подлинной нежностью — иначе не был бы написан последний эпизод «Улисса» и та самая «АЛП» из «Поминок по Финнегану», которая уже давно считается одним из шедевров мировой лирики. В «Камерной музыке» он мечтает о НЕЙ, одновременно и представляя ее себе и не зная, кто она такая… Говорит он с леди, учтив и благороден с леди, томится он по леди. Но вышло всё совсем не так.

Еще 10 июня, как написано почти теми же словами во всех его биографиях, Джойс шагал по Нассау-стрит и вдруг увидел высокую молодую женщину с каштановыми волосами, шагавшую чуть поодаль. Сперва он заметил даже не ее, а то, как гордо и независимо она держится. На попытку Джойса заговорить она ответила достаточно бойко. Из-за «капитанки» девушка приняла его за моряка, а по голубым глазам сначала решила, что он швед. Она служит в гостинице «Финн», вполне приличной меблирашке, а по певучей речи Джойс угадал, что она из Голуэя. Имя у нее было ибсеновское — Нора, а вот фамилия… «Барнакл» в обыденной речи означает липучку, «банный лист», человека, держащегося за должность, даже вцепившегося рака. Отец Джойса, услышав, как ее зовут, предрек: «Вот она его и не отпустит никогда». Разговор закончился обоюдным согласием встретиться перед домом сэра Уильяма Уайльда на углу Мэррион-сквер. Сэр Уильям, великий хирург и замечательный фольклорист, уже скончался, в Генуе похоронили его жену, а четыре года назад во Франции умер его опозоренный сын Оскар. Сыновья Оскара не носят больше его фамилию и даже не хотят учиться в Оксфорде…

Но 14 июня свидание не состоялось. И Джойс посылает рыжей капризнице первое, во всяком случае из уцелевших, письмо:

«Шелборн-роуд, 60.

Должно быть, я ослеп. Так долго смотрел на рыжие волосы и пытался решить, ваши ли они. Домой я вернулся удрученным. Я бы снова назначил свидание, но это может быть неудобно вам. Я надеюсь, что вы будете так добры, что назначите его мне — если вы меня еще не забыли!

Джеймс А. Джойс,

15 июня 1904 г.».

Свидание было назначено. Вечером 16 июня они прогулялись по Рингс-энду, а после начали встречаться чаще.

То, что самую известную и знаменитую из своих книг Джойс навсегда привязал к дате своего первого свидания с Норой, говорит прежде всего о том, как безоговорочно он признал ее значение в своей жизни. Как Петрарка, в тот день он «вошел в лабиринт, из которого нет исхода». Образовалась связь с миром, которой раньше не было и через которую к нему пришло многое. Но прежде всего разрушено было то мучительное одиночество, которое не оставляло его после смерти матери. Как всем известно, в английском языке понятия «мужчина» и «человек» обозначаются одним словом. Норе скажет Джойс: «Ты сделала меня мужчиной». Подразумевалось — «человеком». О Норе написано уже несколько книг, и по крайней мере пара из них — серьезные. О чем же можно было писать?

У любого крупного писателя кроме реального брака есть еще символический — так складывались отношения Йетса и Мод Гонн. Второй брак — алхимический: художника и народа. Можно для точности сказать — художника и родины. Принадлежал ли союз Джойса и Норы к какой-то из этих разновидностей?

Джойс отдал «Улиссу» всё, даже этот день своей жизни, но вот Нору он не отдал никому: ни мятежному поэту Стивену Дедалусу, ни умеренному и аккуратному супругу Леопольду Блуму.

Она могла показаться простушкой, но Джойс вечно искал необычное в обычном и, похоже, не ошибся. У нее не было особого образования — средняя школа, и всё тут. В литературе она не разбиралась, духовными исканиями не занималась. Была очень неглупа от природы, остроумна и способна выражать свои мысли кратко и точно. Кокетлива, но при этом облечена какой-то ненарушимой невинностью, отчего ее верность Джойсу была немного забавной, но безупречной. Разделять интеллектуальные устремления она явно не годилась, ну так ведь и Джойсу для этого мало кто был нужен. Символического союза, восхищавшего леди Грегори или того же Йетса, не получалось. Вышел союз двух крепких и живых молодых людей, из которых один был проще и чище, а другой зато умел петь.

Полгода назад девушка приехала из Голуэя, где ее отец был запойным пекарем и их огромная семья жила в нищете. Норе было пять лет, когда мать, возившаяся с кучей младших детей и снова беременная, отослала ее к бабушке на остров Нан. После родов она должна была вернуться, но бабушка предложила оставить ее у себя. Мать окончательно порвала с отцом, ее братья частично заботились о девочке и ее воспитании. Когда Норе

исполнилось тринадцать, она стала ходить в монастырскую школу Милосердных сестер, а потом ее взяли привратницей в школу Богоявления, тоже в Голуэе. Ближайшая ее подруга Мэри О'Холлиран описала это время. Записано под ее диктовку сестрой Норы Кэтлин Барнакл, так как миссис О'Холлиран несильна в грамоте — да и Кэтлин тоже:

«Она была самой надежной подругой из всех каких я знала когда нам удавалось раздобыть пенни на сладости что случалось очень редко мы отправлялись к миссис Фрэнсис она была почти слепая и держала кондитерскую лавочку на Проспект-хилл. Пока она искала гирю на полпенни для весов Нора набивала карманы фартука сладостями и мы убегали с ужасным хохотом и фартуки у нас были набиты сладостями и мы шли к другой старушке и просили на пенни леденцов от кашля и ухватывали из жестянки сколько могли пока она стояла к нам спиной и снова очень смеялись. Там был молодой человек Джим Коннел он бывало приходил к нам и все время ждал когда уедет в Америку. В тот вечер мы с Норой купили коробку шоколадных негритят мы их называли черные детки и взяли самый большой конверт какой нашелся и послали по почте коробку Джиму а Джим читать не умел и примчался к нам домой думал наконец получил разрешение в Америку и когда пакет вскрыли он увидел только двенадцать негритят и нам пришлось удрать и неделю не показываться он отдал это своей милочке ее звали Сара Кэвэно из деревни и после того он с ней не разговаривал.

Нора знала другого парня ей очень нравилось его имя Майкл Сонни Бодкин и он собирался в Юниверсити-колледж он был очень красивый молодой человек и голова у него была в черных кудрях он Нору просто обожал, но она была для него слишком молодая и боялась что ее увидят с парнем. Мы ходили в лавку к его отцу купить на пенни леденцов таких плоских со стихами на них (вроде я тебя люблю вечером тебя я жду). Сонни Бодкин умер совсем молодым.

Потом Нора встретила Уилли Малвея она его повстречала прямо на мосту и он спросил встретится ли она с ним а она меня спрашивает Мэри что мне делать. Я ей говорю иди когда она спросила что ей делать. Я говорю буду ждать тебя буду сидеть у Эбби-Черч ждать тебя и будто я пошла с тобой и нам надо вернуться домой до десяти вечера а то ее побьют. Она очень боялась своего дядю Томми Хили когда он в городе ее видел со своей тростью и всегда насвистывал. Я тоже боялась что меня увидят поэтому была внутри в Эбби-Черч пока она не пришла с большой коробкой шоколада и раскидала его по столу у меня дома и всех нас оделила.

Потом однажды вечером Нору поймал ее дядя Томми он за ней шел до самого дома а там здорово ее отлупил. На другую неделю она уехала в Дублин и написала мне оттуда, Привет, подруга, я тут в Дублине и мой дядя Томми уже за мной не походит. Она шесть месяцев в Дублине пробыла а потом приехала домой навестить. Потом уехала и семь лет вообще не писала домой.

Я замуж вышла в ноябре 1906-го и стала миссис Моррис и мать шести детей три мальчика и три девочки один мой сын школьный учитель тут в Голуэе и теперь у меня тринадцать внуков, я живу напротив Кэтлин (Барнакл-Гриффин) с моей сестрой Энни и когда я по вечерам одна слезы наворачиваются на глаза как я часто думаю про вечера когда мы с Норой одевались в мужские костюмы. Мы ни разу не попались и встретили ее дядю Томми однажды вечером и Нора говорит это мой дядя а я говорю Нора пошли скорее нечего болтаться тут и я сказала ему добрый вечер, подделываясь под мужской голос как могла так что он никогда не узнал и вот я еще здесь а моей Норы уже нет».

Запись могла бы встать без всяких исправлений в любой текст Джойса — она выглядела бы смелой натуралистической интрузией. Но и без этого отсюда узнается многое о Норе, как из всякого человеческого документа.

Та самая юная женщина из Голуэя, хорошенькая, озорная, дерзкая и не слишком грамотная, осталась рядом и была до самого конца с одним из самых незаурядных людей века. Мария Жола вспоминает, что Нора говорила ей: «Вы и вообразить себе не сумеете, что это было такое — угодить в жизнь этого человека». Однако ему нравилось считать ее разгуливающей в его жизни, с любопытством оглядывающейся по сторонам, и беззаботное приятие всего, что она там находила, казалось ему неизбежной и обязательной чертой женского характера. В «Поминках…» так ходят Анна Ливия и ее дочь.

Довольно скоро она начинает писать ему «Мой Милый Драгоценный», а он в июле пишет ей «Маленькая Надутая Нора» и «милая каштановая головка». Но подписываться «Джим» он пока еще стеснялся и довольно долго они были в письмах «Нора» и «М-р Джойс». Унеся с одного из первых свиданий как чисто блумовский фетиш ее перчатку, он через неделю присылает ей новую пару и подписывается «Оджи» (Aujey), неполной анаграммой своих инициалов. Опять слышится эхо из будущего — все тот же «мистер Генри Флауэр», блумовский псевдоним для эротической переписки.

Через две недели Нора получает письмо, под которым нет подписи, но она и не нужна:

«Шелборн-роуд, 60.

Моя дорогая Нора,

меня словно ударило. Я вернулся в половине двенадцатого. После этого я, как дурак, сижу в кресле. Я не мог ничего делать. Я ничего не слышу, кроме твоего голоса. Как дурак, я слышу — ты зовешь меня „Дорогой…“. Я обидел сегодня двух человек, встав и уйдя от них. Я не хотел слышать их голоса — только твой.

Когда я с тобой, я забываю о твоей презирающей, подозрительной натуре. Мне хочется чувствовать твою голову на моем плече. Думаю, что мне пора уснуть.

Полчаса я писал это. Напиши мне что-нибудь, хорошо? Надеюсь на тебя. Как мне подписываться? Я никак не подпишусь, потому что не знаю как.

15 августа 1904 г.».

Воистину — «А я, любя, был глуп и нем…»

Хотя вряд ли — эти мучения и вопрошания, как ему подписаться, есть отчасти мучительное нежелание признаваться в любви, переводить себя в большинство. Но в отличие от своих друзей Джойс прямо и настойчиво разбирает ее, как часовщик часы, до мельчайших деталей. Станислауса не слишком заботило, влюблен Джеймс или воображает себя влюбленным. Он слегка ревновал мисс Барнакп к той власти, которую она получила над братом, и недоумевал, как мог тот, язвительный и непредсказуемый, вдруг стать, как все. Впрочем, Джойс его мнения не спрашивал.

Привычки его пока что не менялись, характер оставался тем же. Пил он по-прежнему. Четверо суток спустя после первой встречи с Норой Джойс был на репетиции в «Нэйшнл тиэтр сосайети», временно использовавшем большой пустовавший склад за бакалейной лавкой на Кэмден-стрит. После закрытия лавки проход был только через длинный узкий переулок под тусклым газовым фонарем. Актеры не возражали против появлений Джойса. Он развлекал их пением в перерывах, пока Синг не объявил, что закончил новую пьесу «Колодец святых». Известие, похоже, сильно возбудило Джойса, и он яростнее, чем обычно, возвестил о неослабевающем презрении к ирландскому театру — пришел и упал в том самом проходе, потому что был смертельно пьян. Именно в тот день актриса Вера Эспозито привела туда свою матушку. Пробираясь на склад, она споткнулась обо что-то и услышала набор плаксивых стенаний. Испуганная дама выбралась на улицу и дождалась Фрэнка и Уильяма Фэй, директоров труппы, чтобы сказать им о непонятном препятствии. Затеплив по свече, они сумели опознать тело, и когда его стали вытаскивать, оно принялось отбиваться. Но силы

были неравны, Джойса выволокли и бросили на улице, а дверь заперли на засов. Через несколько минут в зал стали доноситься удары тяжелой трости и вопли: «Открой сейчас же, Фэй! Ты не закроешь от нас свой паскудный дом!» Братья Фэй отперли дверь и вежливо разъяснили Джойсу, что об него споткнулись не они, а миссис Эспозито. Джойс немного утих, и Джордж Робертс вместе с другим актером отвел его домой. Это происшествие он все же счел происками братьев Фэй, о которых написал два ядовитых лимерика.

После этого подвига Джойс на время унялся. Вернувшись в чинный дом Казинсов, он снова занялся романом. Стодвухстраничную главу «Стивена-героя» он послал Джорджу Расселу, а Константину Керрану отправил все, что написал. Керран похвалили рукопись и поинтересовался, не стал ли Мередит одним из прототипов. Джойса это скорее возмутило, чем порадовало. Его переписка в это время демонстрирует болезненную смесь заносчивости и назойливости. Вот записка Керрану с обещанием позвонить в офис. Керран несколько раз ссужал его деньгами и не требовал возврата. Вот открытка Джорджу Робертсу с просьбой занять фунт, подписанная «Джеймс Супермен». Бирну, отдыхавшему в Уиклоу, в августе присылается письмо от «Богемы-с-Болот» во имя «Иисуса распятого за ны» с просьбой о ссуде, но Бирн отвечает в том же духе — на латыни, насмешливо и довольно жестко. Но ведь и Джойс просил не так, как просят: друзьям как бы позволялось ему помочь.

Мало кто помогал ему так безотказно, как Джордж Рассел, и потому сбор плодов с этого щедрого дерева проводился осторожно и регулярно. Рассел прочел «Стивена-героя» и восхитился им, заодно предложив Джойсу написать рассказ, подходящий для «Айриш хоумстед». Что-нибудь «простое, деревенское, жизнеутверждающее», не шокирующее читателей. Гонорар — фунт стерлингов. Подписать предлагалось любым именем. Вряд ли Рассел предполагал, что его предложение станет началом «Дублинцев», где предложенные товарные признаки отыскать будет нелегко.

Джойс быстро написал первый рассказ «Сестры». Основой послужила история смерти впавшего в старческое слабоумие священника, родственника со стороны матери. Джойс, чтобы не потерять заказ, наговорил Расселу про цикл из десяти рассказов, интригующе названных «эпиклети». Сам этот термин — результат не то путаницы, не то элементарной ошибки, не то самое начало отработки той невероятной техники, в которой никому больше не удалось ничего написать. Латинское слово «epicleses» или древнегреческое «epiklesis» в «Словаре современного

католицизма» Фр. Дж. Хардона определяется как «призывание Духа Святого священником, отправляющим Мессу, после слов Освящения». Святой Дух призывается, чтобы претворить хлеб и вино в плоть и кровь Христову. Джойс в очередной раз вынимает нужное ему из церковного ритуала, объясняя это сходством тайны мессы с тем, что он, художник, пытается совершить: «…дать людям некое интеллектуальное или духовное наслаждение тем, как хлеб повседневности претворяется во что-то, что обретет свою неизменную творческую жизнь… и возвысит их умственно, морально и духовно».

Станиславусу он объяснял это так:

— Ты видел человека, буквально выпрыгнувшего из-под трамвая? Вообрази, если бы его переехало, всё, что он до этого сделал, мгновенно обрело бы смысл. Я имею в виду не полицейское расследование. Я о всех тех, кто его знал. И о его мыслях — для всех тех, кто мог его знать. Идея в значимости обычных вещей, и я хочу поделиться ею с теми двумя-тремя убогими, которые случайно меня прочтут…

Эпифании лирические привели Джойса к «Портрету художника в юности», а эпифании голые, предельно заземленные показали путь к первому рассказу «Дублинцев».

Старика-священника в рассказе разбивает паралич, парализованным он доживает до смерти, и единственный, кого эта смерть заденет за живое, — безымянный мальчик, приведенный проститься с отцом Флинном.

Но почему рассказ называется не «Смерть отца Флинна», а «Сестры»? Видимо, тут появляется один из сквозных образов Джойса — старуха, символ Ирландии, вечная изгнанница в собственном доме, истратившая жизнь на служение дряхлому, сомневающемуся и обезумевшему воплощению не Бога, а ритуала. Кем бы ни стал Джойс, ирландцем он оставался всегда, и вряд ли будет натяжкой счесть его старух — сестер в «Дублинцах», молочницу и призрак матери в «Улиссе», — перекликающимися с Кэтлин ни Хулиэн. Джойс уже видел пьесу Йетса, поставленную братьями Фэй, с великолепной Мод Гонн в заглавной роли нищенки на богатой свадьбе. Удвоение персонажа — удвоение пафоса и преображение фольклорной фигуры.

Джойс не говорит об этом прямо, но паралич священника, одной из ключевых фигур ирландского общества, для него есть «общий паралич безумия» всей Ирландии. Сам священник складывается для читателя из воспоминаний разных персонажей — зануды-виноторговца, дяди и тетки мальчика, которым когда-то был рассказчик, но и сестер покойного, тех самых старух. Потир для причастия, пустая чаша, треснувшая в небрежном

служении, втиснутая в желтые пальцы мертвеца, — еще один трагический символ утраты большего, чем жизнь, — утраты духа. Каждый из персонажей по-своему дополняет рассказ о падении, о мучениях, которые причиняли отцу Флинну его бессилие и утрата веры. Телесное нездоровье, неопрятность, причудливый облик как бы намекают на душевный распад, что контрастирует со спокойной уверенностью, терпением и несгибаемостью переживших его сестер — они всё видят, всё знают и прощают ему всё. Их причудливая речь, комически неверное словоупотребление создают совершенно особую музыку английской речи. Джойс, как и молодой Мопассан, уже способен в коротком рассказе распорядиться тонкостями и глубокими смыслами языка, пользуясь самым простым словарем.

Он впервые пользуется впечатлениями детства, и отца с матерью переодевает в дядю и тетку. Скупо, но точно Джойс отбирает те предметы мира, которые будут одновременно банальны и загадочны.

Как ни удивительно, рассказ был принят. В жизни Джойса отказы удивляют куда меньше, чем согласие. Х. Ф. Норман, издатель «Айриш хоумстед», 23 июля прислал Джойсу соверен и сказал, что поменяет только название прихода. 13 августа, в первую годовщину смерти Мэй Джойс, рассказ был напечатан. Под псевдонимом «Стивен Дедалус», так как Джойс, по словам Станислауса, все равно стыдился публиковаться в «газете для свиней».

Из своего первого успеха Джойс немедленно собрался сделать акционерное общество: приятелям предлагалось одолжить ему пять фунтов с перспективой получения им гонорара за шесть следующих рассказов и, соответственно, дивидендов с вложения. История с Колумом и Келли явно засела в его воображении. Но, столкнувшись с недостаточным энтузиазмом возможных акционеров, он остыл. Доход пошел ему одному: 10 сентября — за «Эвелин» и 17 декабря — за «После гонок».

Небольшие, но наделенные огромной взрывной силой, пропитанные болью, презрением и жалостью рассказы сейчас же вступили в жесткое противоречие с целой тогдашней ирландской литературой и прежде всего — с текстами Йетса.

Йетс тогда был не столько властителем дум, сколько голосом Ирландии. В замечательной работе В. А. Ряполовой говорится: «Йетс апеллировал к романтической традиции ирландского освободительного движения, в которой реальные имена и события предстают в ореоле легенд, становятся такой же частью национальной мифологии, как действительно легендарные или аллегорические фигуры — как Кэтлин, дочь Хулиэна. В драме

Йетса история и фольклор существуют на равных, одинаково обладают той мерой условности, которая была необходима для произведения, где и фольклор и история — средства политической агитации»[37]. Пьесы его, особенно «Кэтлин, дочь Хулиэна» были приняты с восторгом, как Символ веры, как патриотическая прокламация, но в своих последних стихах, где речь шла о крови и жертвах Пасхального восстания, поэт мучительно допытывался сам у себя: «Не той ли пьесой отдал англичанам /Под пули я людей, которых знал?» Мера славы, как всегда, уравновешивалась мерой ответственности.

«Эвелин», рассказ о девятнадцатилетней девушке, мечтающей уехать из Ирландии, жить другой жизнью, чем та, которая свела с ума ее мать и которая неизбежно засосет ее, — и не находящей в себе силы вырваться. Ни юноша-моряк с бронзовым ясным лицом, протянувший ей руку, ни жестокий само-дур-отец, ломающий ее жизнь, не помогают ей окончательно расстаться с «запахом пропыленного кретона». Сильнее всего оказывается ужас перед переменами: он кричит в ее ушах голосом обезумевшей матери: «Конец удовольствия — боль!» Мать кричит эти слова на искаженном гэльском — «Диревоун Сераун!» В прозе Джойса ничего не бывает случайно.

Йетс писал о самопожертвовании во имя родины — молодой герой его пьесы уходил из дома накануне собственной свадьбы за старой нищенкой, бредившей каким-то изгнанием, какими-то зловещими чужаками и призывающей отомстить за нее. Джойс говорил о цене самоопределения. Бегство из сумасшедшей страны, где все умирают или исчезают, — лишь повод для этого, но героиня не способна даже переступить барьер посадочного павильона на пристани. «— Эвелин! Эви! — Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал ее за собой. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное». Итог в этом «беспомощном животном». Уступлено все, что делало ее человеком, она перестает быть даже женщиной: «Ее глаза смотрели на него, не любя, не прощаясь, не узнавая».

«После гонок» — явная перекличка с «Рыжим Ханраханом», рассказом Йетса о картежниках, напечатанным годом раньше. Оба рассказа словно написаны об одном — о мгновенной вспышке упоительного безрассудства и наступающем следом «темном оцепенении». В деревне ли, в Дублине, в ту ночь надевшем «маску столичного города», работает один механизм, пусть Йетс пишет о полуфантастическом персонаже, барде, колдуне, поэте, а Джойс с очевидной полемичностью выбирает заурядного дублинского пижона. Странствия Рыжего Ханрахана по неизвестной части

мира и ночь Джимми Дойла «во всем остальном равны». Оба они стремятся туда, где можно жить, и обоих выбрасывает туда, где жить невозможно, — праздник Дойла заканчивает почти магическое заклинание, своеобразный крик петуха, слова «Рассвет, джентльмены!». По замечанию Р. Эллмана, Йетс написал кельтскую историю, а Джойс — ирландскую; Йетс мягок и меланхоличен, Джойс зорок и недобр по-гамлетовски — «I must be cruel only to be kind».

Норман принял эту вещь, но предупредил, что других публикаций пока не будет. Здесь начинается та часть писательской карьеры Джойса, что будет всю его жизнь только приумножаться. Редакция получала все больше возмущенных и протестующих писем от читателей не только из Дублина, но и со всей Ирландии, где читали когда-то невинную хозяйственную «Айриш хоумстед».

Но у Джойса купили три стихотворения. Сложный мыслитель и сверхизощренный прозаик, Джойс на диво прост в поэзии; всё или почти всё, что он сочинил, удобно поется и уже не раз положено на музыку. Два его стихотворения — «О милая, слышу…» и «Хочу быть в этой чудесной груди» — напечатаны в «Спикере» за июль, «Моя любовь в коротком платьице» — в августовской «Дане», и за нее ликующему Джойсу удалось еще до публикации получить отменный гонорар — полновесную гинею.

Появился новый журнал «Вэнчур», и его главный редактор Джон Бейли с рекомендации Саймонса попросил у Джойса стихотворение. Джойс послал два: «Какой совет даст месяц в капюшоне», написанное для Мэри Шихи на разорванной сигаретной пачке, и «Склонись же к раковине ночи». Гонорары были, но лишь после появления в ноябрьском номере. Константин Керран, издававший теперь «Сэйнт-Стивенз», журнал Юниверсити-колледжа, скромно попросил Джойса прислать что-нибудь из непристроенного и был потрясен, когда получил новый стих «Святая миссия» и вчитался в его язвительный текст, явно непригодный для католического студенчества. «Нечестивое изделие» было возвращено автору, правда, с юмористическим комментарием и малой толикой денег для смягчения.

Но дело было не в нечестии. Критики будут считать, что «Пенни за штуку» собрало покаянные стихи, но это неудачное определение — Джойс и покаяние очень плохо сочетаются. А «Святая миссия» — откровенная атака на дорогие ирландскому читателю ценности. Всегдашняя джойсовская игра слов начиналась с заглавия: «Holy Office» — это официальное название инквизиции.

Джойс презирал ирландское литературное движение в целом

— кого больше, кого меньше, но досталось всем. Национализм, бушевавший во всем, от пивоварения до политики, он не признавал даже в качестве способа возрождения национальной культуры, а его и ее идеологические признаки вызывали у него ярость — ирландские доблести, где жестокость выдавалась за мораль, а онанизм за целомудрие. Еще непереносимее для него было, когда писатели, исповедовавшие эти ценности, славились восторженными согражданами как ревнители «возрождения» — или «Возрождения», но тогда уж обязательно «кельтского». Не расставшись до конца с католицизмом, Джойс видел свою миссию в том, чтобы впрячь в одну упряжь христианский ритуал и Аристотелеву эстетику. «Mumming company», «шайка ряженых» из его сатиры обречена принять «Катарис-Пургаториум». Второе слово латинское (любимые Джойсом греко-латинские удвоения) означало на медицинском жаргоне Средневековья «очиститель» и было эвфемизмом слабительного — так он иронически нарекает себя.

В совершенно свифтовской тональности он пишет великолепные строки, горькие и мужественные: «Там, где они сгибаются, ползут и умоляют, я обрекаю себя стоять, без боязни, без друзей, без союзников, одинокий, равнодушный как селедочный скелет, твердый как горный хребет, вздымаю свои утесы в воздух. Пусть продолжают сводить свои балансы. Пусть трудятся до могилы — моего духа им никогда не обрести, и моя душа никогда не объединится с их душами, покуда не иссякнет Махаманвантара[38]; и хотя они пинками гонят меня со своего порога, мой дух будет пинать их вечно».

Конечно, без поэтических преувеличений не обошлось: у него будут и друзья, и союзники, и поклонники, и меценаты, еще при его жизни. Но — Джойс поэтизировал очень важные для себя постулаты, их нельзя было оставить в ящике стола. Он не смог найти денег на оплату, и тираж ушел в макулатуру. Потом, уже в Триесте, Джойс закажет его снова и раздаст через Станислауса всем помянутым, кроме Йетса.

Возможно, значительнее всего для Джойса в эти дни была убежденность, что его любит Нора Барнакл. Поэтому со всем остальным миром он мог себе позволить быть свирепым и беспощадным. Ему самому были удивительны те чувства, которые Нора вызывала у него. Джойс не стеснялся говорить и писать о своей нежности к ней. Он стал намного ближе с Джоном Фрэнсисом Бирном, забыв историю с той злосчастной парижско-латинско-бордельной запиской, и с ним решил обсудить словесный залп, 16 августа обрушенный на него Норой:

«Мне кажется что я все время в компании с тобой и в любом

возможном разнообразии обстоятельств говорю с тобой иду с тобой внезапно сталкиваюсь с тобой в разных местах пока не начинаю думать что душа оставляет мое тело во сне и уходит взглянуть на тебя и даже больше находит тебя или может это только фантазия».

Бирн предположил, что это цитата из письмовника, да еще переписанная безграмотно. Джойс и сам, как учитель правописания, вынудил Нору признаться в шпаргалке, и она согласилась (!) перейти на более простой словарь и естественный синтаксис. Но Джойс увидел в этой попытке воспользоваться более изощренными инструментами тот самый намек на ее аморальность, который после расписал во всей красе.

В конце августа ему выпала наконец удача — дать любимой услышать, как он замечательно поет. Сначала Джойс привел ее на вечерний концерт, где он исполнил песню «Кухулин» на стихи Томаса Мура. Первые строки этой безумно популярной песни опять звучали Джойсу предсказанием, но на сей раз оно было общеирландским:

Пусть на Эрин с последней печалью гляжу,
Всюду Эрин, взглянув, для себя нахожу;
Твоя грудь для изгнанника родиной станет,
А в глазах всё тепло, что вокруг недостанет.

Затем его пригласили разделить сцену в Эншент-Консерт-рум с самими Джоном Маккормаком и Д. К. Дойлом. Пик его певческой карьеры больше не возносился так высоко. Он порепетировал утро с профессиональной аккомпаниаторшей Эйлин Рейди у нее дома. Там он вел себя развязно и чванливо: когда ее мать спросила, что ему налить для увлажнения горла, чаю или кофе, он ответил запомнившимся «виски». Но к вечеру Джойс разнервничался и предупреждал Нору, чтобы она не приняла это за обычную грубость. Однако Джозеф Холлоуэй описал его победоносное выступление:

«Публики было много, но организация концерта вряд ли могла быть хуже. Ирландские „возрожденцы“ до жалости нуждаются в способном управляющем. Начинают они неизменно со значительного отставания от объявленного времени, пробуждая нетерпение в публике; таким образом они совершенно недопустимо мешают исполнителям. Некомпетентность аккомпаниаторши заставила одного из певцов, м-ра Джеймса Джойса, сесть за пианино и аккомпанировать себе в песне „В простоте своей“, после того как она сделала несколько безуспешных попыток отбарабанить „Сборщика урожая“,

заявленного в программе…У м-ра Джойса несильный тенор, который он склонен форсировать на высоких нотах, однако поет он с артистической эмоциональностью».

В этот вечер Джойс выиграл сразу три награды: поспешное отбытие мисс Рейди дало ему завязку сюжета нового рассказа «Мать», «Фрименз джорнел» похвалил его пение («…м-р Джойс, обладатель нежного тенора, чарующе спел „В ивовой роще“») — и Нора Барнакл была просто очарована им. Через много лет она осталась верна этому восторгу и часто говорила, что Джиму надо было остаться в музыке, а не мучиться с литературой. Джойс тоже очень долго расспрашивал ее о том, наслаждалась ли она. Ну конечно — женщины обожают теноров.

Чем теснее становилась их взаимная привязанность, тем острее было его следующее терзание: Джойс раскаивался, что заставил ее поверить в того, кем на самом деле не является. Как-то вечером он описал Норе свою сексуальную биографию — до встречи с ней, разумеется, и Нора вполне предсказуемо была потрясена и встревожена. Так же встревожилась Берта в «Изгнанниках». Ее реакция вызвала у него, как ни странно, прежде всего недоверие, потому что сам-то Джойс верил, что это никак не отражается на его душевной чистоте. Как можно было не отпустить ему грехи, не омыть его состраданием, не разглядеть его истинную натуру!.. В «Изгнанниках» подобное описано замечательной фразой: герой говорит о героине, что «питал пламя ее невинности своей виной». Но Джойс решает идти до конца, и это означает, что Нора, верующая и воцерковленная, должна узнать всё.

Письмо от 29 августа заслуживает быть приведенным целиком.

«Шелборн-роуд, 60.

Моя дорогая Нора,

я только что закончил свой полуночный ужин, хотя аппетита у меня нет. Когда я справился с ним уже наполовину, то обнаружил, что ем пальцами. Меня затошнило — совсем как прошлым вечером. Я совершенно угнетен. Простите мне это жуткое перо и чудовищную бумагу.

Вчера я, наверное, причинил вам боль тем, что говорил, но разве плохо, что вы будете знать мое мнение о многих вещах? Мой разум отвергает весь существующий социальный строй и все христианство — домашний очаг, признанные добродетели, религиозные доктрины. Как я могу любить идею дома? Мой дом — это просто привычка среднего класса, разрушенная мотовством, которое я унаследовал. Мою мать, я думаю, медленно убивала жестокость отца, годы бедствий и циничная

открытость моего поведения. Глядя на ее лицо в гробу — серое и истощенное раком, — я понимал, что смотрю в лицо жертвы, и проклинал систему, которая сделала ее жертвой. Семья моя состояла из семнадцати человек. Мои сестры и братья для меня никто. Лишь один из братьев способен понять меня.

Шесть лет назад я оставил католическую церковь, яростно ее возненавидев. Я ощутил совершенно для себя невозможным оставаться в ней по причине порывов моей природы. Я вел тайную войну против нее, будучи школьником, и отказался принимать возможности, предлагавшиеся мне. Поступив так, я сделал себя нищим, но сохранил гордость. Теперь я веду против нее открытую войну тем, что пишу, говорю и делаю. Я не могу войти в социум иначе, чем бродягой. Три раза я начинал изучать медицину, один — право, один — музыку. Неделю назад я договаривался об отъезде в качестве гастролирующего актера. Я не смог вложить достаточно энергии в этот план, потому что вы тянули меня за локоть. Истинные трудности моей жизни невероятны, однако я их презираю.

Когда вчера вы пришли, я брел к Графтон-стрит, где я долго стоял, прислонившись к фонарному столбу, и курил. Улица была полна жизни, несшей с собой поток и моей юности. Пока я стоял, то думал о нескольких фразах, которые записал несколько лет назад, когда жил в Париже, — фразы, звучавшие так: „Они проходили подвое, по трое, среди жизни бульваров, шагая как люди, у которых есть досуг в месте, освещенном для них. Они в кондитерских, они болтают, разрушая крохотные сладкие сооружения, или молча сидят за столиками у дверей кафе, или спускаются по лестницам, одежды издают деловитый шелест, нежный, как голос соблазнителя. Они проходят в облаке ароматов. Под ароматами их тела несут теплый влажный запах…“

Повторяя это про себя, я понимал, что жизнь все еще ждет, решу ли я войти в нее. Ей не удастся, может быть, дать мне то опьянение, какое дала однажды, но оно все равно есть, и сейчас, когда я умнее, но лучше справляюсь с собой, оно будет безопаснее. Оно не задает вопросов, ничего не ждет от меня, кроме нескольких мгновений моей жизни, оставляя другие свободными, и взамен обещает мне наслаждение. Я думал обо всем этом и отверг без сожалений. Для меня оно бесполезно: оно не даст мне то, чего я хочу.

Полагаю, вы недопоняли некоторые строки письма, которое я написал вам, и я заметил какую-то стеснительность в вашем поведении вчера, будто вас беспокоили воспоминания о том вечере. Однако я ощущаю ее как некоторое таинство, и мысли о ней наполняют меня удивительной радостью. Возможно, вы не

сразу поймете, почему я так превозношу вас за то, что вы не поняли меня. Но в то же время это было и причастие, оставившее меня в печали завершившегося чувства печали и унижения — печали потому, что я видел вас в необычайной, грустной нежности, с которой вы выбрали это причастие как компромисс, а унижение — потому, что понял: в ваших глазах я опустился до условностей нашего теперешнего общества.

Сегодня вечером я говорил с вами насмешливо и язвительно, но я обращался к миру — не к вам. Я враг низменности и рабства в людях, но не ваш. Видите ли вы ту простоту, что за всеми моими масками? Маски носят все. Некоторые люди, которые знают, что мы очень близки, часто говорят мне о вас оскорбительные вещи. Я спокойно слушаю, считая ниже своего достоинства отвечать им, но самые незначительные слова их заставляют мое сердце метаться, как птицу в буре.

Мне тяжело оттого, что я должен уснуть, помня последний взгляд ваших глаз — выражение утомленного безразличия. Кажется, ни одно человеческое существо не смогло стать так близко моей душе, как смогли вы, и, однако, вы восприняли мои слова с болезненной грубостью. „Уж понимаю, что вы такое говорите“, — сказали вы. Когда я был младше, у меня был друг (Бирн), которому я открывался полностью — в чем-то больше, чем вам, в чем-то меньше. Он был ирландцем, а значит, был со мной двоедушен.

Я не сказал и четверти того, что хотел сказать, но это гигантский труд — писать этим проклятым пером. Не знаю, что вы подумаете об этом письме. Напишите мне, хорошо? Верьте мне, моя дорогая Нора, я чту вас очень высоко, но хочу большего, чем ваши ласки. Вы снова оставили меня в муках сомнения.

Дж. А. Дж.

29 августа 1904 года».

Сопротивляясь его крайностям, Нора пыталась удержать Джойса на уровне людей, которых знала или по крайней мере представляла. Джойса, похоже, забавляло, что его принимают за обычного человека, — отсюда можно было изображать себя исключением, признаваясь в поступках, ужасавших Нору, и как бы проверяя ее. А затем можно было писать ей покаянные письма: «Во мне есть немного дьяволического, что доставляет мне удовольствие опровергать мнение людей обо мне и доказывать им, что я и вправду эгоистичен, горделив, коварен и безразличен к другим». Иногда она разбивала его позы так безжалостно, что Джойс, потративший на них немало сил, оказывался в замешательстве. Но ему везло — за роман такого уровня

сложности любой романист отдал бы палец.

Джойс уже проигрывал и сценарий отъезда, по возможности окончательного, вот только героиню он еще не видел. Нора могла оказаться серьезным бременем, у этой связи могли быть малопривлекательные последствия, и потому он склонялся к участию в труппе актеров-гастролеров. А тут еще подоспела очередная перемена мест — добросердечные Мак-Кирнаны уезжали на отдых и запирали дом.

К семье Джойс возвращаться не хотел. В добропорядочном семействе Казинсов ему было не по себе. Около недели он прожил в доме тетушки Джозефины Мюррей, но дядя Уильям его не выносил и после пары возвращений в неподобающем виде предложил ему съехать. Ночь он провел у знакомого студента-медика, несколько незадокументированных суток еще где-то и 9 января оказался в Сэндикоуве, в круглой каменной башне. Такие веком раньше строились на ирландском побережье как защитные сооружения на случай высадки Наполеона. Первая такая башня была построена на Корсике, на мысе Мартелло, и так стали называться они все. Каменной кладки стены восьмифутовой толщины выглядели совершенно по-средневековому. Высотой башня в 40 футов, то есть 12 метров, имеет два этажа и рассчитана на гарнизон человек в двадцать. Обычно на ее плоской крыше стояло одно мощное орудие, способное с вращающейся платформы вести огонь по окружности.

Вход в нее устроен метрах в трех от земли, ступеней в целях неприступности не предполагалось, отчего употреблялась веревочная лестница. Более романтического жилища Джойсу уже не выпадало. Огромный ключ был отлит из меди — прежде в башне хранился порох для орудий и мушкетов, и сталь могла дать искру при ударе о камень. Им отпиралась массивная дверь, через которую можно было попасть в жилое помещение, круглую сводчатую комнату с камином, тускло освещенную сквозь две скошенные бойницы. Внутренняя лестница вела вниз, в пороховые и провизионные погреба и к водяной цистерне, и вверх, на крышу, огороженную каменным барьером, с орудийной площадкой посередине. Спали жильцы в подвесных морских койках.

Башня контролировала одну из пленительнейших частей прибрежного ирландского пейзажа. Внизу беспорядочно громоздились скалы, среди них узкая бухточка, любимое место купания, Форти-Фут, затем море с группой островов, среди которых Далки и Малгинс. В автобиографии Гогарти почему-то пишет, что это Джойс снял башню в Военном ведомстве. Но разыскания Р. Эллмана доказали, что в архиве начальника Военного ведомства все арендные документы подписаны Гогарти

и ежегодную ренту в восемь фунтов стерлингов платил тоже он.

Жильцам башни нравилось (без особых оснований) думать о ней как о приюте разгула и нечестия в «забитой попами богоспасаемой Ирландии». Гогарти называл ее «омфалос», то есть «пуп Земли». Во-первых, она действительно напоминала неудачно перевязанный пупок. Во-вторых, все они дружно выдумывали, что она вырастает в главный храм неоязычества и оттого является чем-то вроде камня-пупка в Дельфах.

Там бывало много гостей — Артур Гриффит, чье впоследствии мощное движение «Шинн фейн» («Мы сами») только набирало силу и размах, молодые писатели вроде Джозефа Хоуна и Шеймаса О'Салливана. По значительным поводам кто-нибудь приволакивал бочонок портера, поднимался с ним по лестнице и втягивал ее за собой, чтобы нежеланные и случайные гости шли мимо.

Кроме Джойса в башне имелся еще один постоялец — Сэмюел Чинвикс Тренч, происходивший из почтенной англоирландской семьи, знакомый Гогарти по Оксфорду, страстно увлеченный Ирландским возрождением, что серьезно оскорбляло Джойса. Можно себе представить, что он испытывал, когда Тренч с той самой «улыбкой англичанина» говорил: «О, зовите меня Диармайд!» Диармайд, племянник самого Финна, воспитанник великого Энгуса, красавец с колдовской меткой на лбу, покоритель царицы Грайне, убийца дикого вепря из Бенн-Гулбана — и эта бледная оксфордская моль! Тренч недавно вернулся из плавания на каноэ через всю страну, носил в петлице розетку Гэльской лиги и считал, что узнал теперь настоящую Ирландию. Гогарти представил ему Джойса с восторженными словами:

— Вот этот человек собирается через пятнадцать лет написать роман!

Тренч был совершенно несносен. С Гогарти, при его нескончаемых шутках, насмешках и заносчивых монологах, было тоже нелегко, но в этом сочетании — просто невыносимо. Башня Мартелло стала скучнее вошебойки. Однако все пытались сохранять хорошие отношения.

Однажды на набережной рядом с башней они повстречали отца Йетса, не менее знаменитого Джона Батлера Йетса, и Гогарти, подстрекаемый Джойсом, с сияющей улыбкой обратился к нему:

— Доброе утро, мистер Йетс, не будете ли вы добры ссудить нам пару шиллингов?

Старик оглядел их с головы до ног и парировал:

— Разумеется, нет. Во-первых, у меня нет с собой денег. Во-вторых, вы и ваш друг их непременно бы пропили.

Джойс выступил вперед и, по воспоминаниям Гогарти, мрачно сказал:

— Стоит ли говорить о том, чего нет?

Йетс двинулся дальше, и Джойс развернул перед Гогарти свой тезис:

— Видишь, «бритва Оккама» запрещает использование избыточных аргументов. Когда он сказал, что у него нет денег, этого было достаточно. Он не имел права обсуждать возможное использование несуществующего…

Другой веселый эпизод, видимо, случился, когда Джойс еще только поселился в башне. Они с Гогарти нанесли исследовательский визит в «Герметик сосайети», общество мистиков-любителей из среднего класса, возглавляемое Джорджем Расселом. Члены общества еще не собрались, так что они вдвоем залезли в «тайное тайных», набитое оккультными книгами вроде «Изиды без покрывала» мадам Блаватской, и сели на скамью, где восседал Рассел, а «верные герметисты кольцеокружали его». В углу стоял рабочий чемоданчик Джорджа Робертса, совмещавшего астральные перемещения с разъездной торговлей женским нижним бельем. Гогарти вытащил оттуда пару дамских панталон, завязал их вокруг палки метлы и приколол записку якобы от Джона Эглинтона, в те времена рассказывавшего всем желающим о своем безбрачии, подписанную им и гласившую: «Я никогда такого не делал». Затем они с Джойсом сбежали. Рассел посчитал автором этого «непристойного изображения» в первую голову Джойса, но понемногу сменил гнев на милость. Хотя в сборник молодых дублинских поэтов, который составлял в этом году, Джойса он не включил, за что был обруган в «Улиссе».

Не считая таких веселых вылазок, сосуществование было напряженным. Джеймс считал, что он терпит постоянное бахвальство и позерство Гогарти. Станислаусу он говорил, что Гогарти выставил бы его из башни, однако боится, что Джеймс в будущем может прославиться и тогда его, Гогарти, имя будет очернено. Поэтому он сейчас разыгрывает из себя богемного приятеля, но ему тяжела одновременно мысль, что придется светиться отраженным блеском Джойса.

Но Гогарти, скорее всего, боялся, что Джойс превратится не только в постоянного, но и недружелюбного сожителя. Вся душевная сила Джойса сосредоточилась на Норе, поэтому с остальными он был еще бесцеремоннее, чем раньше. Разрыв с Гогарти уже просвечивает в двух стихотворениях, написанных в эти дни:

Тот, кто утратил славу, или не смог
Найти ни единой души, что подружится с его душой,
Среди врагов, в презрении и гневе
Не держался старинного благородства,
Этого, высокого и неприступного —
Тому остается его любовь.

Косгрейв, прочитав это, стал называть Нору Барнакл «соратницей» Джойса. Другое стихотворение обходилось с Гогарти еще жестче:

Потому что голос твой был со мной,
Я причинил ему боль,
Потому что я снова держал твою руку
В своей,
Больше нет ни слова, ни знака,
Что могут изменить все к лучшему —
Теперь он чужой мне, тот,
Кто был моим другом.

Стихотворение было не из лучших, но Джойс включил его в «Камерную музыку» — оно помогало понять перемену настроения в остальных стихах этой подборки.

В прозе Джойс жестко и детально описал свое выдворение из башни. Однажды ночью Тренч завизжал о какой-то черной пантере, после чего, полупроснувшись, схватил револьвер и выпалил несколько раз в камин. Потом он снова рухнул и уснул, а Гогарти сумел забрать револьвер. Джойс был всерьез напуган — в таком помещении рикошет мог стоить жизни любому из них. Когда Тренч снова принялся ночью вопить о пантере, Гогарти крикнул: «Я с ней расправлюсь!» Потом в игривом настроении сам начал стрелять по сковородкам на полке, приколоченной над койкой Джеймса. Джойс расценил это как веселое предложение убираться. Случилось это 15 сентября, в холодный дождливый день, Джойс оделся и молча вышел — навсегда.

Пришлось вернуться к Мюрреям, уговорив дядю Уильяма, а через несколько дней все-таки снова поселиться в отцовском доме. Отец, с которым за лето они почти не виделись, был радушен и подолгу с ним разговаривал. Джойс не упоминал о Норе Барнакл, понимая, что отец может счесть знакомство с голуэйской девчонкой ущербом для воображаемой фамильной чести и вообще недостойным джентльмена. Но он рассказал о сваре в башне. Джон Джойс сказал, что это лишь подтвердило его

невысокое мнение о Гогарти, которого он называл «приказчичьим сынком». Так что, когда Джеймс осторожно заговорил об отъезде из Ирландии, отец, к его облегчению, согласился с ним.

«Тролли» — так по-ибсеновски Джойс называл тех, кто препятствовал сохранению его душевной целостности. Он обдумывал новые рассказы и новые главы «Стивена-героя», нелестные как для знакомых, так и для Ирландии в целом. Тролли ни коем случае не смогут принять его обличения с чистой радостью художников, или ему придется подстроиться под них, чтобы дальше работать в Ирландии…

Жизнь в Европе казалась ему не такой путаной и раздражающей. Джеймс советовался с Бирном, честно ли будет сманивать и Нору туда, на безденежье и безработицу, и примет ли она это предложение. Бирн спросил:

— Ты серьезно увлечен Норой?

— Да, — ответил Джойс.

— Ты ее любишь?

Бирн добивался ответа, и Джойс вынужден был признаться, что такого он не испытывал ни к одной девушке.

Бирн провозгласил:

— Не жди и не откладывай. Спроси Нору, и если она согласится, забирай ее с собой.

Воодушевленный ответом своего персонального оракула, Джойс вдруг ощутил, что его мозг слился в какой-то странной связи с разумом Норы и даже его тело, казалось, ощущает то, что ощущала она. Впоследствии он назвал это «светоносной неизбежностью».

Отправившись к Норе, Джойс рассказал ей всё. А потом спросил:

— Тут есть кто-нибудь, кто понимает меня?

Нора совершенно правильно посчитала эту сентенцию формальным предложением. И ответила:

— Да.

И они тут же решили, что должны уехать вместе.

Шестнадцатого сентября он написал ей письмо. Почему-то довольно официальное, предполагающее, что они оба признали это решение необратимым:

«Мне кажется, что я веду битву за вас, где против меня все религиозные и общественные силы Ирландии и что кроме себя мне полагаться не на кого. Здесь нет жизни — ни естественности, ни честности. Люди живут друг с другом в одних и тех же домах всю жизнь, и в конце ее так же далеки друг от друга, как всегда… То, что вы решились стать со мной на ту же дорогу в моей суматошной жизни, наполняет меня огромной гордостью и

радостью. Позвольте мне, милая Нора, сказать вам, как сильно я желаю, чтобы вы разделили со мной любое счастье, и заверить вас в моем глубочайшем уважении за ту любовь, которую я желаю заслужить и на которую мечтаю ответить».

Из письма можно понять, что она его полюбила первой, «за муки», а он ее — «за состраданье к ним».

Итак, Джойс мобилизует все силы для переселения на континент. Школа Берлица могла предоставить вакансию учителя английского или французского. Нашлась некая мисс Гилфорд, владелица агентства, якобы устраивающая на работу за рубежом преподавателей; она очень быстро, еще в сентябре, ответила на его письмо, что она зарезервировала ему место в школе Берлица и за скромное вознаграждение в две гинеи сообщит, в какой именно. Джойсу хватило здравого смысла быть осторожным, и он снесся одновременно со школой Берлица и с полицией города, откуда писала мисс Гилфорд. Никто из них не знал о такой конторе, но полицейские подтвердили ее благонадежность, и Джойс решил рискнуть — заплатить и дождаться адреса.

Перед отъездом, как всегда, посыпались хлопоты — объяснения с родичами Норы, только что узнавшими, что она затеяла, сбор денег и все такое. Между ними снова возникает напряжение, разряжаемое, как всегда, письмом. Рискнем начать переводить его на «ты»:

«Carissima[39],

только после ухода до меня дошло, почему была заминка между моим вопросом: „Твоя родня богата?“ — и твоей тягостной неловкостью после него. Моей целью было узнать, лишишься ли ты со мной тех удобств, к которым ты привыкла дома… Ты спрашиваешь меня, почему я тебя не люблю, но ты непременно должна верить, что я поглощен тобой, и если желаешь человека целиком, восхищаешься и уважаешь, то ищешь способы обеспечить его счастье любым образом, что и есть любовь — то, чем является моя привязанность к тебе. Я говорю тебе, что твоя душа кажется мне самой прекрасной и простой в мире, может быть, потому, что сознаю это, глядя на тебя — моя любовь или привязанность теряет всю свою жестокость…»

Джойс мог воспользоваться словом «любовь» с огромным трудом — оно слишком далеко отходило от его самодостаточности. Персонаж «Изгнанников» говорит: «Есть одно слово, которое я никогда не посмел бы сказать вам», и когда момент настает, выговаривает только: «Я глубоко к вам привязан…» Сама Нора вряд ли нуждалась в таких тонких различиях, какие Джойс проводил между любовью, влечением и благоговением. Сразу вспоминается та, кому она была

доноршей, — Молли Блум с ее знаменитым «Oh rocks, — she said, — tell us in plain words»[40]. Но все, что нужно, она пока переводила для себя теми самыми простыми и не очень простыми словами.

В конце сентября возникли новые перспективы — для него работа в Амстердаме, для нее в Лондоне. Возникла идея задержаться в Лондоне и собрать денег для переезда в Париж: «Иногда эта наша авантюра меня почти забавляет. Весело думать, какой эффект произведет новость в моем кругу. Но к тому времени мы благополучно осядем в Латинском квартале, и они могут говорить что заблагорассудится».

И все-таки беззаботная готовность Норы его беспокоила. Прямо-таки девочка в летнем лагере, готовая идти в поход за маргаритками. Как многие мужчины, Джеймс Джойс ошибался. То, что он принимал за девичью безмятежность, было на самом деле железной решимостью. Нора Барнакл решила всё, приняла его целиком и готовилась принять то, что на нее обрушится вслед за этим. Отчасти Джойс это чувствовал. «Почему я не решусь звать тебя так, как все время зову в глубине сердца? Что мне мешает — может, то, что нет слова, достаточно нежного для твоего имени?» Но вместе с тем он не может избавиться от мрачных грез с ее участием…

Помощи решено было снова искать у литературных знакомств. Он расспрашивал Артура Саймонса, куда предложить «Камерную музыку», и по его совету направил ее в конце сентября Гранту Ричардсу. Йетсу он послал просьбу вернуть рукописи переводов «Перед рассветом» и «Михаэля Крамера» Гауптмана, если они не пригодились театру «Эбби»[41], и заодно попросил денег.

Йетс ответил сразу:

«Кули-парк, Горт, Голуэй,

2 октября.

Мой дорогой Джойс,

я не могу выслать вам ваши пьесы сегодня, потому что нынче воскресенье и почта не принимает пакеты. Я пошлю все завтра, но сам не дочитал. Одалживал их читать приятельнице, филологу-германистке, и она отметила, да вы и сами это знаете, что вы не слишком хороший германист. Однако я был намерен прочитать их сам и только что погрузился. Мне кажется, что мы вряд ли сможем использовать их в нашем театре. У меня есть уже перевод пьесы Зудермана, сделанный приятелем, страстно желающим заниматься такими вещами. Видите ли, сейчас у нас совершенно нет средств, из которых мы могли бы платить за подобную работу. Нам дали театр, но каждый пенни рабочего капитала

заработан нашими спектаклями. Позже, надеюсь, мы сможем и платить. Еще я не уверен, что мы сможем сейчас работать с немецкими вещами. Публике мы должны дать ирландские произведения. Очень сожалею, что не могу помочь вам деньгами. Я сделаю все возможное, чтобы найти вам работу, но это все, что я могу для вас сделать.

Вш искрн

У. Б. Йетс».

Несмотря на этот и прочие отказы, Джойс радовался перспективам. В начале октября он писал Норе: «Какое чудесное утро! Рад сказать, что этот череп меня прошлым вечером не мучил. Как я ненавижу Бога и смерть! Как я люблю Нору! Конечно, эти слова тебя шокируют, благочестивое ты существо».

Последний общий побор, или обложение налогом на знакомство, начался с леди Грегори. Просьба о пяти фунтах встретила ответное предложение — посвятить ее в конкретный план его действий. Телеграмма от мисс Гилфорд пришла 4 октября, в ней содержалась инструкция быть в конце недели в Швейцарии. Джойс переслал ее леди Грегори и приписал: «Теперь я составил собственную легенду и строго ее придерживаюсь». Немедленно пришел перевод на пять фунтов с наилучшими пожеланиями. Джойс неутомимо добывал займы. Он говорил, что он не Иисус Христос и по водам ему не пройти.

Некоторым он писал, что это его последняя денежная просьба, но на них это не повлияло. Скеффингтон отказал, потому что считал, что Нору подвергают неоправданному риску. Джойс жестоко обиделся.

Наконец Шеймас О'Салливан получил такое письмо:

«Отбываю вечером. Позвоню через двадцать минут. Раз не можешь занять денег, пришли в пакете:

Зубную щетку и порошок.

Щетку для ногтей.

Пару черных ботинок и любое пальто и пиджак, какие сможешь дать.

Все очень пригодится. Если ты не здесь, встречай меня возле Дэйви Бирна со свертком в 7.10. У меня обуви нет никакой. Дж. А. Дж.».

Под конец он собрал достаточно денег, чтобы добраться с Норой до Парижа. Тетя Джозефина и сестра Маргарет старались отговорить его, но он ничего не слышал. Маргарет нашла для Норы кое-что из вещей и пришла с тетушкой и Станислаусом проводить их. Джон Джойс тоже явился, но было решено не давать ему знать о том, что его сын едет с женщиной, и потому отъезжающие держались порознь. Джойс взошел на борт первым,

и страх, что Нора повторит финал «Эвелины», бился в нем до последней минуты, пока она не ступила на палубу. Им казалось, что они все проделали безукоризненно, однако Том Девин, приятель Джона, увидел их вместе и тут же догадался, что случилось, так что Джойс-старший очень быстро узнал правду…

Они добрались до Лондона, все еще не доверяя друг другу до конца. Когда они уже были в городе, Джойс оставил Нору в парке на два часа, чтобы зайти к Артуру Саймонсу. Она была уверена, что больше его не увидит, но он вернулся. К удивлению всех, кто его знал, да и к собственному тоже — навсегда.

Глава десятая ДОРОГА, РУКОПИСЬ, ВИНО

I have been in the path of stones… [42]

Джойс ездил всю жизнь, как по необходимости, так и по склонности. Даже умирать он уехал в другой город. Готовность ирландцев к перемене мест вошла в поговорку, и Джойс соединил в себе все возможные причины этой перемены. Не совсем богема, не совсем трудовой мигрант, не совсем искатель приключений, не совсем поссорившийся-со-страной, но все вместе и вдобавок еще кое-что. Об этом «кое-что» придется говорить всю оставшуюся часть книги.

Кроме всего прочего, он великолепно владел искусством наживать себе врагов. Добавим к этому искусство осложнять себе жизнь где угодно, и получится — опять-таки неполное — досье. Не в последнюю очередь Джойс переезжал именно потому, что легче менял место, чем решал проблемы. Возможно, это наложившийся на детскую еще психику образец поведения Джона Джойса, который менял дом за домом, и Джеймс отчасти подсознательно справлялся с трудностями таким образом. Думается, что он еще и ломал гомеостаз. Он терпеть не мог, как пишет Эллман, когда его вынуждали делать даже то, что ему нравилось.

Препятствия вырастали, как в сказке, одно за другим, но в реальности они преображались в самые скучные вещи. В Лондоне Артура Саймонса не оказалось дома, когда Джойс позвонил ему. Соответственно, отпал шанс обсудить издателей для «Камерной музыки» или попросить маленький заем. После этой неудачи Джойс и Нора тем же вечером, 9 октября, уехали в Париж. Деньги почти кончились; едва наскребли на открытый фиакр, который довез их, сундук и единственный чемодан с вокзала Сен-Лазар на Восточный вокзал, к бульвару Страсбург.

Оставив Нору по уже устоявшемуся обычаю в парке, Джойс целеустремленно помчался по парижским знакомым. Дус, один из самых надежных приятелей, уже помогавший ему, когда умирала мать, отдыхал в Испании, но доктор Жозеф Ривьер, накормивший его когда-то первым приличным парижским обедом, оказался на месте. Щедро ссудив гостю 60 франков на продолжение поездки, доктор пригласил его зайти позже для знакомства с директором крупнейшего цюрихского банка. Нора сидела в парке, новые туфли стерли ей ноги, и Джойсу пришлось отказаться. Зато он встретился с Керраном и еще одним бывшим одноклассником,

Джеймсом Мэрнахэном, по-прежнему скрывая Нору от чужих глаз. Вечером они смогли купить билеты на ночной поезд до Цюриха и утром 11 октября прибыли туда.

Расспросы помогли выбрать гостиницу на Рейтергассе, 16, с отличным названием — «Хоффнунг», «Надежда». Здесь впервые за все время их романа они остались одни и впервые узнали друг друга как любовники. Судя по всему, Нора и Джеймс не разочаровались. Когда в 1915 году они снова оказались в Цюрихе и ностальгически решили остановиться там же, гостиница была переименована — в отель «Дублин». Такие вещи выдумать нельзя, они могут только случаться.

Джойс отправился в школу Берлица известить о своем прибытии. Преподавание он считал скучным, но несложным занятием, кое-какой опыт у него уже был, оно должно было сохранить ему время для завершения сборника рассказов и романа, предположительно из шестидесяти трех глав. Несомый ветром радостных намерений, он позвонил герру Малакрида, директору школы, и с изумлением услышал, что никто ничего не знал о нем и никакой вакансии ему не зарезервировано. Он послал мисс Гилфорд гневное письмо, на которое она ответила, вложив в конверт извещение от директора венской школы Берлица, считавшейся главной европейской конторой фирмы, где Джойсу гарантировалось место в Цюрихе. Ответ из Вены легко угадать. Доискаться, где и кто надул мисс Гилфорд на гинею, было невозможно, но положение Джойса из радужного мигом стало отчаянным.

Герр Малакрида оказался славным человеком — он предложил поискать Джойсу вакансию в другой швейцарской или итальянской школе Берлица. Неделя ожидания была мрачной: Джойс спасался только работой над одиннадцатой главой «Стивена-героя», о днях в Бельведере. Как раз тут Малакрида известил о вакансии в Триесте, так что Нора и Джеймс оставили сундук у недавних знакомых, а сами с одним чемоданом на двоих отбыли в Австро-Венгрию.

В Триест они прибыли 20 октября, и Джойсу понадобилось часа полтора, чтобы едва не начать свою карьеру вкупе с медовым месяцем в австрийской тюрьме. На пьяцца Гранде, главной площади, он разговорился с тремя пьяненькими английскими моряками, и полицейский, которому не понравилось, как они зычно изъясняются и размахивают руками, арестовал их за «нетрезвое поведение». Джойс, решивший вступиться за парней, угодил в ту же «корзинку». Бесстрашно истребованный им английский консул добирался долго и разбирался неохотно. Он решил почему-то, что Джойс дезертировал с корабля. Джойс

гневно заявил, что он — бакалавр искусств Королевского ирландского университета, прибывший преподавать в школе Берлица. Консул опять-таки счел эту историю фантастической. А может, Джойс совершил в Англии какое-то преступление? (Ирландцу этот вопрос задавали обязательно.) В конце концов он забрал Джойса, не скрывая полного нежелания делать это, чем обогатил отвращение бакалавра искусств к английской бюрократии.

Возглавлявшему тогда школу Берлица синьору Бертелли Джойс был не нужен. Неделю он искал частные уроки и работу английского корреспондента для деловых контор Триеста. Один-два ученика нашлись, но это не давало даже сносного заработка, и он опять занимал везде, где только можно, — в городе, где Джойс почти никого не знал, это требовало изобретательности. Составление списка его триестских кредиторов могло бы стать темой диссертации. Семейная выучка не пропала даром: адреса Джойс менял чуть ли не ежедневно.

Памятник Джойсу в Триесте изображает пожилое, осторожно крадущееся существо с тетрадкой под мышкой. Худой, молодой, стремительный Джойс, «многомильнопередвигавшийся», не изображен нигде — а в Триесте он, скорее всего, еще был таким.

При всех сложностях быта он сумел дописать двенадцатую главу романа и начать рассказ «Канун Рождества», о дяде Уильяме Мюррее. В нем было что-то кошачье, от «Cats» Элиота — недаром они потом так понравились друг другу; Джойс, падая из любого положения, мягко приземлялся на лапы. Скоро пришла помощь от начальника Бертелли по школе, синьора Альмидано Артифони.

Спокойный, деликатный и, видимо, добрый человек, Артифони вернулся из Вены с инструктажа от руководства фирмы. Борясь за новые рынки, Берлиц решил не только усилить школу в Триесте, но и учредить еще одну в Пуле, большом торговом и военном порту Австро-Венгрии к югу от Триеста, на Истрийском полуострове. Артифони организовал всё, что нужно, и вернулся в Триест. Джойс немедленно явился на встречу, сумел понравиться Артифони, который был социалистом и в нем увидал что-то бунтарски родственное. Правда, он уже назначил в Пулу одного англичанина, Эйерса, но решил, что может использовать другого. Конечно, холостякам оказывалось предпочтение, и Джойс сказал, что не женат, что формально было правдой, но добавил, что э-э… путешествует с молодой женщиной. Артифони мягко посоветовал во избежание осложнений везде в бумагах указывать «муж» и «жена». Он съездил в Пулу (за 150 миль) и дал в «Джорналетто ди Поло» объявление о предстоящем прибытии м-

ра Дж. Джойса. По какой-то причине его наградили еще гипнотическим для итальянцев титулом «Dottore di Filosofia». Артифони встретил судно, на котором они приплыли, улыбнулся им, замученным переездом и качкой, и надменный Джойс со стеснительной Норой сошли по трапу. Величие картины портил грязный чемодан, бугрившийся и выпускавший наружу края заношенной одежды.

Пула 1904 года была, как и многие города Адриатики, сращением провинциального городка, оживленного порта и античных развалин. По легенде, ее основали колхи, которые гнались за Ясоном и Медеей, укравшими золотое руно. Гавань ее была чрезвычайно удобной, а многовековые усовершенствования превратили ее в идеальное место для военно-морского арсенала и судоремонтных верфей. У причалов стояли военные суда, торпедные катера, а в городе то и дело попадались морские офицеры и матросы. Город говорил на трех главных языках — итальянском, немецком и сербском, но Артифони в его школе надо было идти навстречу нуждам именно австрийских военных моряков. В те времена среди его учеников был и капитан-лейтенант Миклош Хорти, будущий диктатор Венгрии.

Норе Пула не нравилась — «чудн***а***я старая дыра». Все чаще она спрашивала Джойса, когда он закончит книгу, разбогатеет и увезет ее обратно в Париж. Она даже стала учить французский язык, чтобы этот замечательный момент не застал ее врасплох. Джойсу и самому Пула казалась «военно-морской Сибирью», а весь полуостров Истрия он описывал так: «Длинная унылая земля, врезающаяся в Адриатику, населенная безграмотными славянами, носящими красные шапочки и колоссальные штаны». Не лучше и сама Австрия: «Ненавижу эту католическую страну с ее сотней рас и тысячью языков, управляемую парламентом, неспособным вести никакую деятельность, и самым прогнившим королевским домом Европы».

Тем не менее педагогическая карьера Джойса складывалась успешно. За шестнадцать часов занятий с морскими офицерами ему положили два фунта в неделю, что выглядело очень прилично. Меблированная комната с кухонькой на третьем этаже дома по виа Гуилья, 2, почти рядом со школой, быстро обжилась, «горшки, сковородки и чайники» пошли в дело, и самой большой неприятностью казались кровожадные москиты.

Заместителем Артифони в Пуле был симпатичный человечек по имени Алессандро Франчини. Для отличия от множества однофамильцев он прибавил к своей еще и фамилию жены — Бруни. Он был великолепным и остроумным рассказчиком, город в его иронических монологах превращался в движущуюся

комедию со множеством причудливых персонажей, и Джойса очень тянуло к нему. Сближало их еще и то, что Франчини-Бруни в юности тоже уехал от своей флорентийской семьи. Жена его, миниатюрная молодая женщина с чудесным сопрано, должна была выбрать между браком с Франчини и карьерой певицы: муж запретил ей выступать. Они жили в Триесте, успели завести ребенка и в Пулу приехали тремя неделями раньше Джойса и Норы. На несколько лет Франчини-Бруни стали их самыми близкими друзьями, жены обменивались визитами, хотя Нора не знала итальянского, а синьора Бруни английского.

Потом Франчини вспоминал, что Джойс показался ему совершенно непонятным и даже абсурдным, словно созданным в противоречие всем законам природы. Джойс выглядел «хрупким и истеричным, только в силу законов тяготения паривший между грязью, в которой он барахтался, и утонченным интеллектуализмом, доходящим почти до аскетизма. Он безоговорочно принимал одновременное существование кролика и ястреба, солнца и навозной кучи».

Общим у них было и католическое образование с гуманитарным уклоном, у одного «Падри Скалопи», у другого иезуитская школа. Франчини не был вероотступником, но не возражал против неверия Джойса, и они часто обсуждали институт и ритуалы церкви. Терпим он был и к внебрачному сожительству коллеги, хотя Джойс ему об этом не говорил.

Поначалу Франчини забавлял итальянский язык Джойса, обильно использовавшего архаизмы. Когда он поправлял Джойса, тот азартно возражал, что учился «у Данте и Дино[43]». Франчини писал, что Джойс говорил на «мертвом языке, ставшем живым после присоединения к Вавилону живых языков Пулы, этой захолустной дыры». Скоро Джойс понял, что Франчини замечательно владеет одним из лучших диалектов итальянского, знаменитым тосканским, и как пурист, и как абориген — с местным говором, словечками и оборотами. Тогда он предложил уроки дублинского английского в обмен на тосканский итальянский. Франчини согласился, и скоро Джойс стал говорить почти безупречно.

Преподаватели в пульской школе Берлица держались вместе. Помощницей Франчини была фройляйн Амалия Глобочник, Джойсы ей нравились, она с удовольствием бывала в их крохотной квартире: «муж» при этом обычно сидел на кровати и писал. Джойс ходил в одном и том же костюме, Нора в единственном платье. Им случалось одалживать у нее парафин для лампы. Печки в комнате не было, и в декабре у них стало сыро, а потом холодно. Это не побеждало гостеприимства Норы, и

когда случались деньги, она по просьбе мужа пекла английские пудинги и угощала коллег. Фройляйн Глобочник описывает Джойса как любезного, но непроницаемого человека. Ярче всего было насмешливое презрение, с которым он рассказывал о священниках или об Ирландии — «острове святых и мудрецов».

Второй преподаватель английского, Эйерс, поначалу держался поодаль, но потом в компанию втянули и его. Он был хорошим пианистом, и временами в их компании случались вечера музыки и пения. Но Эйерс часто ссорился с фройляйн Глобочник и наконец перебрался из Пулы в Испанию. Были еще два преподавателя французского, Сольда и Жозеф Гюйо, дружелюбный, хотя всегда подвыпивший Маркварт, преподаватель немецкого, чью методичную преподавательскую манеру Джойс высмеивал в забавных четверостишиях. Но по какому-то наитию он начал обмениваться уроками и с Марквартом.

Труднее оказалось Норе Барнакл. Не то чтобы она хотела домой — просто не понимала, зачем она в Пуле. Тексты Джойса ее обескураживали: сама мысль о том, что предложения можно составлять по-разному, была для нее новой и в каком-то смысле неприятной, ведь это означало, что всегда остается то, что тебе не будет понятно. Джойс прочитал ей главу из своего романа. После этого в письме Станислаусу появились слова: «Мое искусство ей безразлично». Когда он копировал эпифании из записной книжки в свою новую главу, она бережливо отметила: «Сколько бумаги!»

Джойс многое изменил в Норе, но материал оказался непрост. Временами она бывала настолько твердым человеком, что у Джойса это вызывало самые разные чувства — от уважения до ярости. Ведь он окружал ее целиком, а она не поддавалась этой круговой атаке. Даже его блистательный интеллект и остроумие стали хоть что-то значить для нее много позже. Вряд ли она даже догадывалась о них тогда, и в Дублине и в Пуле. А вот Джойс чрезвычайно интересовался ею — временами складывается ощущение, что просто изучал, как антрополог, как зоолог, как психолог. Досадуя на ее невежество, как муж и педагог, он заносил открытое в рабочую книжку. Однако ее простодушию и порыву он тайно радовался. Однажды вечером в биоскопе, глядя, как на экране злодей толкает в реку ничего не подозревающую любовницу, Нора завопила: «Полиция, держите его!»

Джойсу она искренне говорила, что у него лицо святого и замечательный характер. А он был уверен, что у него лицо ирландского хулигана, и про свой характер он знал совершенно другое. Любовь? Глупость? Зоркость? Когда они мирились после

ссор, она говорила, что он ведет себя, как ребенок. Он был слегка потрясен, обнаружив, что она и сильнее, и увереннее его. Тем не менее ни один биограф не пытался опровергнуть то, что она стала и оставалась его единомышленницей — такой, о какой многие писатели могут только мечтать.

В канун Нового года Джойс, по-видимому, окончательно решает для себя, кто они друг другу: «О себе мне нечего добавить, кроме того, что, хотя я часто быстро теряю иллюзии, мне не удалось обнаружить никакой фальши в этой натуре, имевшей храбрость довериться мне. Этим вечером исполнилось три месяца, как мы отчалили от Норт-Уолл. Странно, что я до сих пор не оставил ее на улице, как мне советовало поступить множество мудрых мужчин. В заключение плюю на портрет Пия X».

Крепость их беззаконного союза словно подтверждала презрение Джойса к церкви.

Письма брата шокировали юного Станислауса: все чаще появлялись просьбы прочитать или попросить Косгрейва прочесть разные труды по акушерству и эмбриологии, аккуратно выписать требуемые сведения и прислать. Вопросы бывали очень специальные и с анатомическими подробностями — Нора была беременна, и Джойс унимал свою тревогу, собирая информацию. Условия были тяжелыми, даже опасными: в декабре Нора уже не могла переносить холод в комнате, денег на другую квартиру не хватало. Тогда Франчини радушно предложил место на втором этаже своего дома на виа Медолино, 7 (теперь 1). Там была печка и даже письменный стол. В середине января 1905 года они переехали и остались у Франчини до отъезда из Пулы.

Джойс испытывал и другую тревогу. Еще в ноябре он завяз в романе, долго пробовал варианты и вдруг начал чувствовать, что текст не так хорош, как ему казалось. Он вернулся к своему рассказу «Канун Рождества» и вдруг переписал его как «Канун Дня Всех Святых». Конечным стало название «Глина»[44], потому что он был о телах, еще не вдохновленных духом, о нулевом уровне ирландского сознания. Дядя Уильям Мюррей понемногу отошел во второстепенные персонажи, а главной героиней Джойс сделал дальнюю родственницу, работавшую в большой дублинской прачечной. Тональность рассказа сменилась — с иронии на тщательно скрытое сочувствие, даже умиление. Крошечная прачка Мария, недалекая почти до слабоумия, детским голоском поющая на семейном празднике одну из любимых ирландцами арий, — жертва все той же ирландской жизни. И даже в шуточном гадании ей выпадает земля — одновременно предсказание смерти. Уже на втором этаже дома Франчини Джойс дописал рассказ и отослал его брату, попросив

его отнести рукопись в «Айриш хоумстед». Получив отказ, он разозлился на Джорджа Рассела, которого счел главным виновником неудачи.

Пулу Джойс не любил, но ему там было совсем неплохо. Он поправился, отпустил красивые усы, с помощью Норы научился красиво укладывать волосы и, видимо, ощутил вкус к тому особому дендизму, который станет чертой его облика, своеобразным иконографическим паролем, так дивно выглядящим сейчас на фотографиях настоящего серебра и никак не поддающимся имитации… Для денди у него были чудовищные зубы, сгнившие настолько, что в Париже он не мог есть любимый за сытность и дешевизну луковый суп — горячая пища, попадавшая на разрушенную эмаль, заставляла его корчиться от боли. В Пуле он сумел отложить денег на приличного дантиста и починить несколько самых проблемных дырок. Сшил новый костюм. Взял напрокат пианино и восхищал друзей своим пением.

Но этому теплому мирку суждена была своя зима. Австрийская разведка обнаружила в Пуле шпионскую сеть, в которой главную роль играли итальянцы. Время было невоенное, но власти решили выдворить всех иностранцев из города. Влиятельные знакомства позволили Франчини отвоевать две недели на улаживание дел и сборы. Но Джойсу пришлось укладываться в пресловутые двадцать четыре часа. К счастью, буквально накануне Артифони предложил ему работу в триестском филиале Берлица.

Воскресным утром самого начала марта Джеймс и Нора отбыли туда, где им предстояло прожить почти десять лет и родить своих детей.

Глава одиннадцатая КВАРТИРЫ, СТРОКИ, МНОГОРЕЧЬЕ

Civilisation is hooped together [45].

В первый приезд Джойс, собственно, Триеста толком и не видел. Поэтому теперь он мог полюбоваться им в полной мере.

Триест — еще одна римская колония с длинной и славной историей. Сейчас это итальянский город на границе со Словенией, но итальянским он стал только в 1920 году по Рапалльскому договору. Когда в нем появились Джеймс и Нора, он принадлежал Австро-Венгрии и был четвертым из ее крупнейших городов.

От холмов Карсо по множеству террас город спускался к гавани. Читта-Веккиа, старая часть города с невысокими каменными домами и упоительно путанными, кривыми и узкими улочками, над которой вставал собор Сан-Джусто, Святого Юста, строившийся с IX по XIV век, была местом для прогулок и созерцания. Джойс поселился в новой части, где была школа. В 1905 году развернулась масштабная перестройка города. Порт был забит кораблями, на рейде ждали своей очереди сотни других, парусные лодки и небольшие суда лавировали по ветру и против. Джойсу было интересно разглядывать носовые скульптуры парусников, орнаменты и роспись бортов; во всем было то смешение западного и восточного начал, что Триест сохранял до сих пор. По улицам шагали мужчины и женщины в европейской одежде, а среди них совершенно естественно двигались люди в греческих, турецких, албанских национальных костюмах. Заходил Джойс и в православную греческую церковь, чтобы сравнить службы; а потом писал, что по сравнению с католическим ритуал кажется любительством.

Порт Триеста был одним из самых важных для Европы, город тоже. С ним связаны и литературные легенды — например, о Данте, посетившем замок Дуино. «Дуинские элегии» Райнера Марии Рильке написаны в то же время, когда Джойс жил там, — правда, Рильке писал их в новом замке, рядом с руинами средневекового. Замок Мирамар, перед которым неподвижно смотрят в вечность два сфинкса, связан с именем несчастного эрцгерцога Максимилиана, ставшего, на свою беду, императором Мексики. Джойс узнал о Мирамаре еще в Ирландии, читая Ибсена, описывавшего, как поезд вырывается из тьмы продымленных альпийских тоннелей на свет, к «красе юга,

чудесному мягкому светочу, предназначенному положить свою печать на все мое дальнейшее творчество, даже если это творчество не все будет красотой…».

Джойс испытал подобное же чувство. Юг унял его гневливость, ослабил интерес к политике и очень существенно изменил его литературные цели, особенно их ирландский сегмент — раскрытие вместо обличения. Тон «Стивена-героя» и первых рассказов «Дублинцев» устраивает его все меньше. Сентиментальность тут ни при чем — Джойс становится человечнее, но это другая человечность, не гоголевская, как в «Земле». Сам он вряд ли задумывался, что Адриатика так его изменит. Скорее наоборот, ему показалось, что Триест — это теплый Дублин, и сходство поначалу раздражало его. Одно завораживало его с самого начала — диалект. Дублинский выговор и словарь ясен и распознаваем. Говор триестинцев — это, собственно, венецианский диалект с сильными интрузиями словенского и более слабыми из хорватского, немецкого и венгерского. Его называют «триестино». Австрийцы, итальянцы, венгры, греки и все остальные говорили на нем со своими фонетическими особенностями, что рождало восхищавшие Джойса интернациональные шутки и каламбуры.

Еще одна черта роднит Дублин и Триест — борцы за независимость. Фении и ирредентисты перекликаются. Политический да и боевой опыт ирландцев крайне интересовал итальянских друзей Джойса: они видели в нем кого-то вроде соратника. Но после Пулы Джойс был осторожен и избегал любых мест, где его могли втянуть в разговор подобного рода. Три четверти населения города было итальянским, но с 1382 года власть в нем принадлежала австрийцам. Ирредентистов они терпели и пытались убедить, что всего, чего они добиваются, можно получить под эгидой империи.

Одним из лидеров движения был Теодоро Мейер, издатель вечерней газеты «Пикколо делла сера», сын мелкого торговца открытками, осевшего когда-то в Триесте. Мейер сделал позже внушительную политическую карьеру, став итальянским сенатором именно за заслуги в ирредентизме. Эллман пишет: «Ирония того, что ведущим итальянским националистом в австрийском Триесте оказался венгерский еврей, не прошла мимо Джойса, использовавшего внешность и происхождение Мейера как часть образа Леопольда Блума, также газетчика и также известного своим скромным вкладом в национализм». «Пикколо» Мейер открыл в 1881 году, сначала как одностраничный выпуск, но в 1905-м это была уже главная городская газета. Невозможно было, как когда-то Дефо, редактировать и издавать газету в

одиночку, поэтому Мейер нанял в редакторы Роберта Прециозо, щеголеватого венецианца, который немедленно стал одним из учеников Джойса.

Джойс, увлекавшийся тогда социализмом, легко знакомился с рабочими, моряками и грузчиками в кафе Читта-Веккиа и часто набирался с ними по вечерам. Джойса, как ни странно, интересовали люди. Знаменитая фраза, повторявшаяся в разных его интервью, короче всего выглядит так: «I never met a bore» — «Мне никогда не попадались неинтересные». Можно добавить «люди». Совсем недавно социалисты организовали в Триесте всеобщую забастовку, едва не обернувшуюся настоящим восстанием. Российская революция 1905 года поддержала «пар в котлах». Джойс жестоко спорил со Станислаусом, который не принимал социализма, и пытался объяснить ему, что исповедует прежде всего ненависть к любой тирании. Ему казалось тогда, что социализм даст художнику ту свободу, которая при капитализме с его денежными отношениями совершенно невозможна.

Но тирания церкви и всех императоров не так отражалась на Джойсе, как тирания Альмидано Артифони и его заместителя Луиджи Бертелли. Его жалованье составляло 45 крон. В Пуле это было бы состоянием, в Дублине — вдвое больше, чем он мог выжать из издателей и друзей. Но тут Джойсу оставалось только жить в долг, и часто он, возвращая занятые деньги утром, знал, что снова займет их вечером. Артифони и Бертелли были женаты, но бездетны, зрелище беременной Норы ужасало их, ибо вопросы продолжения рода Джойсов их не касались, а требования школы Берлица включали джентльменский облик и поведение педагогов. Костюм-то у Джойса был новый, но за версту отдавал дешевизной. Второй преподаватель английского, кстати, с сильным кокнейским выговором, тоже сделал ему замечание по поводу неджентльменского вида и посоветовал, если вкуса не хватает, одеваться только в серое — «всегда выглядит исключительно джентльменски». Замечаний самолюбивому Джойсу доставалось в изобилии.

То, за что ему нехотя прощалось многое, была его популярность как преподавателя, особенно такого, к которому шли богатые ученики — например, граф Франческо Сордина, богатый коммерсант, денди и лучший фехтовальщик города. Сордина рекомендовал умного молодого учителя своим друзьям, и Артифони был так рад прибавлению доходов, что начал уже переживать, как бы Джойс не ушел. Но, вместо того чтобы обласкать «звезду» и, скажем, прибавить ему жалованье, директор регулярно звонил ему и строго предупреждал, что при малейшей попытке взбунтоваться он будет немедленно уволен. А когда

Джойс пытался ответить, Артифони ехидно напоминал ему, что на его копии контракта нет печати школы.

В Триесте, с его могучей атмосферой наживы, Джойс решил не полагаться только на школу Берлица. Несколько сумасбродных проектов, родившихся тогда у Джойса, возвращались к нему всю жизнь. Первый заключался в смутном воспоминании Норы о том, что бабушка оставила ей по завещанию какие-то деньги, которые она так и не получила. Результат нулевой.

Второй — намерение получить концессию на продажу в Триесте знаменитых фоксфордовских твидов ручной выделки. Джойс отложил его, но ценил больше других и несколько раз пытался возобновить.

Третий — взять побольше уроков вокала и стать профессиональным тенором. Он даже познакомился с педагогом и композитором Джузеппе Синико, но вскоре уроки стали все реже и потом вовсе прекратились по всегдашней джойсовской причине.

Одним из самых замечательных был план победить в конкурсе головоломок лондонского журнала «Айдиэз» — его одобрил даже Джойс-старший. По своей обычной подозрительности Джеймс кроме конверта с ответами послал Станислаусу заказное письмо со всеми печатями, где были копии ответов. Станислаус получил пакет вовремя, а ответы опоздали ровно надень, и вся работа пошла прахом.

По письмам тех лет видно, что Джойс активен, общителен и трудолюбив, но главное дело делалось в душе. Он не забывал прежних обид, и это помогало ему. Джойсу вообще несвойственно состояние умиротворенности. Он мчится от кризиса к кризису, от приступа к приступу. Некоторое время кажется, что Нора Барнакл только для этого ему и нужна. В плохом в общем-то фильме Пэта Мерфи «Нора» (2000), поставленном по крайне феминистской книжке Бренды Мэддокс «Нора: Подлинная жизнь Молли Блум» (1988), есть по крайней мере одна правда. Джойс мучил Нору, чтобы мучить себя, и чем дальше от нее он оказывался, тем более жестоким было это мучительство для обоих.

Джойс ненавидел квартирных хозяек. Почти через месяц их выставили с первой триестской квартиры на пьяцца Понтероссо, потому что владелица не терпела детей. Фобию Джойса не ослабило даже знакомство с добродушной синьорой Мойзи Канарутто, сдавшей им жилье на третьем этаже дома № 31 на виа Сан-Николо, в двух шагах от школы Берлица. Матрону больше впечатлили учительское звание и репутация Джойса, чем живот Норы.

В апреле они переехали туда, и Джойс погрузился в новый

невроз. Несмотря на отчаянную переписку с более или менее осведомленными друзьями и знакомыми, он ничего не знал о беременности и том порой невыносимом состоянии, в котором находится беременная женщина. Нора была уверена, что ее здоровье серьезно подорвано погодой Триеста, и Джойс тоже начал в это верить. В Пуле ее мучил холод, в Триесте чудовищная сорокаградусная жара, усиленная борой, знаменитым ветром, который удостоен в городе особого музея. Она сутками лежала без сил. Ей противно было готовить в чужой кухне, так что им приходилось обедать и ужинать в городе. Тамошнюю еду она не переносила, и расходы становились жуткими. Даже Джойса волновало, что деньги приходится занимать по нескольку раз в день. Сами выходы в город были целой проблемой. Нора к лету знала десятка три слов на триестино, так что сама она не могла ничего, а триестинки с презрением оглядывали ее распухший нос, грузное тело и бедное платье.

Она подолгу плакала, иногда не разговаривала по целым дням. А когда говорила, то Голуэй звучал в каждом слове. Увидев статью Джойса в «Ти-Пиз уикли», спрашивала: «Это про того Ибсена, с которым ты знаком?» — или рассказывала, что курица домохозяйки несет такие чудные яички… Джойса это и забавляло, и раздражало. Он всерьез боялся, что она такой и останется.

Вдобавок он сам начал регулярно напиваться по вечерам и возвращаться поздно ночью. А однажды не пришел совсем. Нора упросила Франчини поискать его, и Джойс обнаружился в сточной канаве рядом с любимым кафе. Он пил еще и оттого, что боялся, что Нора просто не сможет жить тут. Он помнил, как легко пошла она на отъезд с ним, не имея никаких надежных гарантий, как сохранила его втайне даже от самых близких людей. Теперь, казалось ему, она надломилась, и лучше вернуть ее туда, где она сможет жить жизнью, от которой еще не успела отвыкнуть. Одновременно Джойс горестно пишет, что Нора явно не сможет в одиночку справляться с трудностями и соответствовать тому, что в Дублине считается моралью. Но одно Джойс не устает повторять: Нора и их будущий ребенок — это «самые важные предметы, занимающие мои мысли». Тем не менее он сомневается, что, хотя Нора почти сумела избавить его от легкомыслия и безответственности, это состояние удастся закрепить. Но опять — он хочет всеми силами избежать того ужасного равновесия, которое тетя Джозефина именовала «обоюдной терпимостью», в его понимании — безразличия. «Теперешняя абсурдная жизнь больше невозможна для нас обоих…»

Двадцать седьмого июля 1905 года Джойс, к счастью, вернулся из кафе рано и был достаточно трезв, чтобы обнаружить, что у Норы начались боли. Джойс предположил, что она съела что-нибудь не то, и позвал квартирохозяйку, которая сразу же распознала роды. Повитуха побоялась не справиться, и Джойс помчался за доктором Синигалья, одним из своих учеников. Квартирохозяйка усадила Джойса ужинать со своей семьей и в девятом часу вернулась, улыбаясь и кивая.

Мальчик родился своевременно — Джойс просто обсчитался на месяц. Когда он взял младенца на руки и неумело агукнул, то изумился до немоты — ребенок был спокоен и счастлив. Телеграмма Станислаусу обошлась тремя словами: «Родился сын Джим».

Новость мгновенно облетела всех родственников, знакомых и друзей в Дублине. Косгрейв как бы шутя продолжил телеграмму: «Мать и бастард порядке». Шутка скверная, но в джойсовском духе. Она вполне могла бы попасть в одну из его знаменитых записных книжек. Позже она легко включилась в мифологию Джойса и очень долго гуляла по Дублину. Дошла она и до Джойса — один из персонажей «Изгнанников» печально вспоминает о дублинском скандале вокруг его незаконного дитяти. Подробности родов Джойс описал в очередном письме брату и попросил его занять у Керрана фунт стерлингов, чтобы оплатить расходы по появлению племянника.

Разумеется, никакого крещения не предполагалось. Через два дня отец удовлетворенно заметил, что мальчик унаследовал голосовые связки отца и деда. Сходство с его ранними фото было тоже заметно. Мальчика решено было назвать Джорджо. Джойс известил всех, кого это касалось, что считает любого ребенка после достижения совершеннолетия вправе поменять данное ему родителями имя. Родительство, добавлял он, не более чем юридическая фикция. Событие одновременно перепугало и обрадовало его — много лет спустя он скажет сестре Еве, что самое важное, что может произойти с мужчиной, это рождение его ребенка. В одной из его парижских записных книжек приведена цитата из Аристотеля: «Самое естественное действие для живых существ, которые созрели, это производить другие, подобные себе существа, и так по возможности участвовать в вечном и божественном».

Дублинские приятели не представляли, насколько их бывший соратник увлечен отцовством, но Гогарти, к примеру, был тронут самим фактом и даже понадеялся на примирение. Редкое по мягкости (он искренне просил прощения за свою грубость по отношению к Норе) и юмору письмо Косгрейва донесло это

известие:

«Он (Гогарти. — А. К.) чрезвычайно уверен в успехе ménage à Trieste[46], городе Мужа Печалей».

Отношения с Гогарти — очень непростая часть биографии Джойса. В них перемешались литературное и глубоко личное, маниакальность и высокие требования. Гогарти не представлял, как твердо решил Джойс быть с ним в ссоре, даже в разрыве. Случай в башне Мартелло стал для Джойса больше чем грубостью: он счел его символичным настолько, что в романе Стивен готовится покинуть Ирландию после этого выстрела. И Станислаус, и Косгрейв знали, что Гогарти уготована судьба дантовских врагов в «L'Inferno». Косгрейв говорил Стэнни, что не хотел бы быть на месте Гогарти, когда его брат дойдет до эпизода в башне. «Слава богу, я его никогда не пинал в зад или что еще».

Джойс всю жизнь будет воспринимать литературу как войну во всем ее разнообразии — с героизмом, гнусностью, мародерством, партизанщиной и выживанием. В одном из писем он приводит странное, любопытное сравнение «Стивена-героя» с… «Героем нашего времени»: «Единственная такая же книга из тех, что я знаю, это „Герой нашего времени“ Лермонтова. Конечно, моя намного длиннее, а герой Лермонтова — аристократ, усталый человек и храбрый зверь. Но есть сходство в целях, названии и порой в горьких лекарствах. В конце книги Лермонтов описывает дуэль между героем и Г. (фамилию Грушницкого Джойс, очевидно, забыл. — А. К.), где Г. убивают и он падает в пропасть на Кавказе. Прототип Г., уязвленный сатирой автора, вызвал Лермонтова на дуэль. Дуэль происходила на краю обрыва, на Кавказе, как и описано в книге. Можно вообразить, какие мысли появились у меня».

Вряд ли стоит описывать известный поединок Лермонтова с Мартыновым — по одной из версий, просто доведенным до исступления насмешками жестокого гения. Дуэль Гогарти и Джойса оказалась беспощадной, хотя и бескровной, но растянулась она, подобно описанной у Конрада, на долгие годы, и наказание вряд ли было равно преступлению.

Однако до эпизода в башне оставалось прописать многое — имеющийся текст заканчивался на университетской жизни Стивена и ее завершении. К 18 марта в нем было 18 глав, к 4 апреля — 20, к 7 июня — 24 главы. Последняя описывала предложение, которое Стивен делает Эмме Клери — переспать с ним. Джойс гордился тонкостью, с которой сделан этот фрагмент. Готовый текст он послал брату и настрого велел показать только Керрану и Косгрейву, и когда Керран дал рукопись Кеттлу, Джойс, узнавший об этом от Станислауса, тут же приказал

отобрать ее. Не то чтобы он не доверял Кеттлу, сказал он, но у Кеттла полно друзей, которым доверять нельзя. Эллман пишет: «Он наслаждался, строя заговоры против заговорщиков». Напомним, что первые внятные законы об авторском праве появляются в Англии лишь в 1988 году — до того действовали законы, основанные на так называемом «статуте королевы Анны», полностью именовавшемся «Акт о поощрении учения через распространение авторских копий или покупателей оных печатных книг в пределах означенного времени». Джойс боялся, что не сможет защитить свою интеллектуальную собственность, что и подтвердилось в будущем.

Внутри этой работы он мог еще заканчивать «Дублинцев». К началу мая он переписал заново «Несчастный случай»[47], в июле уже написал «Пансион» и «Личины», в сентябре «День плюща», «Встречу» и «Мать». В октябре были готовы «Аравия» и «Милость божия». Еще в июле, подсчитав, что может скоро завершить сборник, он объявил в переписке, что продолжит его следующим — «Провинциалы». В «Портрете художника» и «Стивене-герое» Джойс писал, что раскрытие личности требует такого же внимания к ее детской поре, как и ко времени полного сложения. В «Дублинцах» он говорит не только о людях — они еще и клетки огромного странного существа, ирландского города, и все четыре поры его жизни Джойс представляет в пятнадцати рассказах, начав с детства и завершив «Мертвыми».

«Рассказы чередуются так. „Сестры“, „Встреча“ и еще один („Аравия“. — А.К.) — это истории моего детства; „Пансион“, „После гонок“ и „Эвелин“ — рассказы о юности; „Глина“, „Личины“ и „Несчастный случай“ — рассказы о взрослой жизни; „День плюща“, „Мать“ и последняя вещь сборника, „Милость божия“ — рассказы о жизни дублинского общества. Если вспомнить, что Дублин был столицей тысячи лет, что это „второй город“ Британской империи, что он в три раза больше Венеции, покажется странным, что еще ни один художник не явил его миру».

Не в первый раз становится жалко, что в английском языке слова «дублинец» и «лондонец» пишутся с прописных, а в русском — со строчных.

Двойственное отношение к Дублину — один из ключей к творчеству Джойса. Он задает вопрос: неужели не найдется полудюжины талантливых и упорных людей, которые смогут сделать Дублин тем, чем благодаря Ибсену стала Христиания? Два самых жестоких его рассказа, «Пансион» и «Личины», сперва принесли ему странное горькое удовлетворение. Но позже он винил в их беспощадности триестскую жару и ветер: «…многие из

ледяных ужасов „Пансиона“ и „Личин“ были написаны, когда пот катился по моему лицу на носовой платок, накрывавший воротничок». Воротничок был хоть кое-как, но накрахмален прачкой, это стоило денег, и нельзя было дать трудовому поту испортить его.

Работая над «Дублинцами», Джойс пытается предсказать судьбу книги. Она интересует его не из тщеславия; он видит ее и себя как часть огромного и меняющегося целого — Искусства. «… Возможно ли, чтобы писатели были всего лишь развлекателями?.. Бесспорно, „Дублинцы“ выглядят написанными хорошо, но многие могли сделать такое же. Я не чувствую награды в ощущении преодоленных трудностей. Мопассан отлично пишет, но боюсь, что мораль его стерта. Дублинские газеты будут отвергать мои рассказы, как карикатуры на дублинскую жизнь. Верно ли это? Временами дух, направляющий мое перо, кажется мне таким вредным, что я почти готов признать правоту дублинских критиков. Но все эти „за“ и „против“ я в данном случае обязан запереть в своей груди. Хотя по-прежнему не считаю современную ирландскую литературу ничем, кроме дурно написанной, морально невнятной, бесформенной карикатуры».

Крайне интересно, что «Личины» Станислаус расхвалил как овладение Джойсом «русской способностью уводить читателя в путешествие от сознания к сознанию (intercranial journey)». Джойс был польщен, но тут же, как обычно, принялся выяснять, чем он, собственно, так польщен:

«Твое замечание… заставило меня задуматься, что, черт возьми, подразумевается, когда говорят „русское“. Возможно, ты имеешь в виду некую честно грубую силу письма, но из того русского, что я прочел, это не кажется исключительно русской чертой. Главное, что я обнаружил почти во всех русских, это четкий инстинкт кастовости. Конечно, я не согласен с тобой касательно Тургенева. Он не кажется мне намного превосходящим Короленко (ты читал что-нибудь его?) или Лермонтова. Он немного скучен (и неумен), а временами театрален. Думаю, что многие восхищаются им, потому что он „джентльменист“, также, как многие восхищаются Горьким потому, что он „неджентльменист“. Кстати, о Горьком — что ты о нем думаешь? Он очень популярен у итальянцев. Что до Толстого, и тут я с тобой не согласен. Толстой — великолепный писатель. Никогда не бывает скучен, туп, утомителен, педантичен, театрален. Все остальные ему по плечо. В качестве христианского святого я его не воспринимаю. Я считаю, что он обладает подлинно духовной природой, но я подозреваю, что он говорит на самом лучшем русском с санкт-петербургским акцентом и

помнит, как звали его прапрадедушку (я обнаружил, что это лежит в основе феодального искусства России)».

Создавая новую даже для себя литературу, чувствуя, что решает задачи, новые для ирландской и даже английской словесности, он не переставал думать над проблемой, неспособной отбить желание работать лишь у очень мощных натур: кто сможет издать написанное им. Размышления эти оставались без ответа девять лет. Поначалу Джойс решил, что дело только в нем — «я не могу писать, не оскорбляя людей». Но именно жесткий натурализм его рассказов скреплял талант и материал. Прежде чем послать их Гранту Ричардсу, Джойс тщательно выверил все детали. Станислаус выяснял, могут ли священника хоронить в облачении, как отца Флинна из «Сестер»; могут ли муниципальные выборы проходить в октябре; относилась ли полиция на станции Сидни-Пэрэйд к дивизиону «Д», можно ли при несчастном случае вызвать городскую скорую на станцию — для «Прискорбного случая»; через государственный или частный подряд снабжают полицию продовольствием — «После гонок» и т. д. Автор поясняет, что книга была написана «по большей части в манере скрупулезной мелочности», оттого и «особый запах распада, который, надеюсь, поднимается над моими рассказами».

Разумеется, поднимается, но в «Дублинцах» главное не это, как и не желчный юмор. Одна из главных драм внутренней жизни Джойса-писателя в том, что он очень быстро перерастал написанное им же. Ничто в жизни не существует в клинически чистом виде, и зрелость автора видна даже в небольшом эпизоде «Аравии», где мальчика, разрываемого «болью и гневом», вдруг привлекает кокетливая болтовня юной продавщицы с двумя кавалерами и вся невыносимость происходящего странным образом смягчается мелодикой дублинской речи… В «Прискорбном случае» мистер Даффи, живя в Дублине, эмигрирует в комнату пригородного пансиона, зная, что он, как все дублинцы, «изгнан с праздника жизни». Жалость, которую Джойс испытывает к ним и очень редко выпускает на поверхность, помогает отразить этот тоскливый голод, мучающий в Дублине всех.

Он закончил «Камерную музыку» и «Дублинцев». Правда, ко второму изданию он добавит еще три рассказа, в том числе и «Мертвых». Он уже написал пятьсот страниц «Стивена-героя», изрядно продвинулся в немецком и датском, одновременно «исполняя непереносимые обязательства своего положения и надувая двух своих портных». Давление мыслей о том, что он единственная опора ничего не умеющей женщины и младенца,

толкнуло его в новые запои; но внутренне он все равно старался найти точку опоры и вынести всё.

Такой опорой или важнейшей ее частью был брат. Станислаус мог быть редким занудой, они с Норой не любили друг друга, но он с детства слушал и понимал Джеймса, и критика его была критикой любви. Еще осенью 1905 года Джойс предложил брату поселиться вместе. В школе Берлица появилась вакансия, уехал второй преподаватель-англичанин, Артифони искал замену, тем более что холода влекли больше учеников к теплу класса. Нужно было немедленное согласие Станислауса или его отказ.

Двадцатиоднолетнему юноше решиться было нелегко. Дублин он ненавидел, однако не был уверен, что настолько сильно. Однако дальнейшее вряд ли сулило что-то кроме места клерка шиллингов на 12–15 в неделю, да еще пришлось бы содержать на них сестер, и даже при этом ему не хотелось оставлять их. Но то, что предстояло ему в Триесте, пленяло неизвестностью, да и преподавать английский было наверняка не так унизительно, как с университетским дипломом заполнять ведомости. Ему было понятно, что брат распорядится и его деньгами, и его способностями, но место, где был Джеймс, было и его местом. Джойс перестал донимать его уговорами, но Станислаус и сам был почти готов к отъезду. Позже он чаще утверждал, что прежде всего хотел помочь старшему брату, но даже самые щадящие предположения не убеждают, что он мог сделать карьеру в Дублине. Скорее он хотел быть спасенным и спасался.

Как только решение было принято, Джойс обрушивает на брата десятки наставлений: как экономнее всего телеграфировать о приезде, как одеться, как разослать наивозможно точно деньги в промежуточные пункты. Вооруженный этими знаниями, Станислаус отбывает из Дублина 20 октября 1905 года.

Глава двенадцатая БРАТ, ИЗДАТЕЛИ, ВИНО

I am haunted by the numberless
island, and a many a Danaan shore…[48]

До Триеста добираться пришлось несколько суток. Свирепая экономия переросла в морскую болезнь на переправе через Ла-Манш, отсиженные ноги и ломящую спину из-за сидений в немецких и австрийских вагонах третьего класса и многое другое, столь же неромантичное.

Обоснованно считая, что на перроне его никто не встретит, Станислаус за десять дней поужинал всего дважды — парой чашек кофе, яичницей и, едва не пробив брешь в бюджете, кружкой пива. Но Джеймс встретил его на вокзале, обнял и произнес в общем-то двусмысленный комплимент: «Ты так изменился, что на улице я бы прошел мимо».

Брат, одетый согласно предписаниям Джеймса «респектабельно», выглядел зрелым мужем. В двадцать лет он старался вести себя как сорокалетний, и до известной степени это ему удавалось. Сдержанные манеры, невысокая широкоплечая фигура вызывали то впечатление устойчивости, которого Джойсу, высокому, узкоплечему, нервному, всегда недоставало. Позже, когда Станислаус из-за своих резких высказываний попадал в неприятности сначала в империи, а потом при Муссолини, друзья сравнивали его с Катоном. Для своего разгульного брата-Моцарта он стал добровольным стражем и необъяснимым контрастом.

Однако под солидным обличьем он еще долго оставался мальчишкой — встревоженным, выдающим неуклюжесть за мужественность, томящимся по сочувствию и признанию, интеллектуальному равенству, которых брат ему предоставить не мог.

Едва успев разместиться в комнатке, которую отвела ему добросердечная синьора Канарутто, Станислаус открыл дверь брату, заглянувшему посмотреть, как он устроился, и заодно известить его, что у них с Норой один чентезимо на троих, так что не осталось ли у него денег?.. На следующий день Джойс-младший заступил на должность в «скуола Берлиц», жалованья положили ему 40 крон, что равнялось 33 с половиной шиллингам в неделю. Он согласился, что Джеймс может использовать его жалованье на домашние расходы, и несколько недель оставался без денег, как только они выходили из кассы. Чтобы упростить процедуру, Джеймс просто подписывался в расходной книге за Стэнни и получал его деньги.

Прибавив это к 42 кронам Джеймса, они получали три фунта восемь шиллингов четыре пенса. Очень и очень приличная сумма, если тратить ее обдуманно, чего с Джойсом никогда не случалось. Ужины, пусть и в дешевом ресторанчике, где встречались местные социалисты, покупка книг, вина, пусть опять недорогого, и вернулся баланс на грани бедности — очевидно, в, давно знакомом состоянии Джойс чувствовал себя увереннее. Он одолжил у Станислауса брюки и обжился в них; Стэнни поначалу считал подобные веши нормой, затем стал чувствовать недовольство и под конец уже серьезно оскорблялся. Джеймс явно был уверен, что незачем устанавливать пределы самопожертвования ради гения, особенно ради семьи гения. Уважение и преданность Станислауса прорастали шипами возмущения и страданий.

Семейная жизнь вчетвером оказалась еще тяжелее, чем втроем. Они начали серьезно раздражать друг друга. Пьянство Джеймса отражалось на всех. Нора и Франчини-Бруни обрадовались было приезду Стэнни, потому что он теперь по вечерам стоически разыскивал брата и приволакивал его домой, хотя сначала должен был обойти все рабочие кабачки Читта-Веккиа. Для Джойса приезд брата не обернулся чудесным избавлением, скорее наоборот — он чувствовал, что вот-вот все уныло наладится и успокоится и та сеть, от которой он увернулся в Ирландии, вяжется теперь им самим для себя самого. Странно — ту же тоску, хотя и без семьи, описывает Стендаль, назначенный французским консулом в Триесте в 1831 году.

Когда же все было нормально, Станислаус томился, глядя на Джойса, Нору и Джорджо. Открытка, посланная им Кэтси Мюррей, описывала, как ему снова хочется услышать печальную сирену маяка Пиджн-хауз в туманную ночь. Больше всего его заботило то, что Джеймс почти перестал с ним говорить. Джеймс тоже писал тете Джозефине, что он, как и Ибсен, собирается уйти от жены, но скорее затем, чтобы многоопытная миссис Мюррей переубедила его — письмо отправлено 4 декабря через сутки после высылки «Дублинцев» Гранту Ричардсу для прочтения. Как это часто бывает, и не только с Джойсом, выписанное намерение стало блекнуть, успокаиваться и успокоилось совсем. Это был первый из двух серьезных кризисов его супружеской жизни.

Норе мог быть предъявлен очень длинный список обвинений — от равнодушия и приравнивания его к другим мужчинам до невежества и безвкусицы. С некоторым ошеломлением Джойс разглядел, что вместо этого рядом «совершенно здравомыслящая полностью аморальная оплодотворимая недоверяемая очаровательная трезвая ограниченная расчетливая равнодушная

Weib[49]. Ich bin das Fleisch das stets bejaht» [50].

Вокруг этой квазицитаты не первое десятилетие толпятся джойсоведы и особенно джойсоведки. По крайней мере две объемистые монографии построены на ее толковании. Если бы сохранились мужские артикли, которые нетвердо еще знавший немецкий Джойс поставил сначала в рукописи, трудов было бы еще больше — открывается простор для толкований. Считается, что это один из ключей к женскому образу в творчестве Джойса. Но сейчас мы воспользуемся ею лишь как иллюстрацией.

Труднее всего было вынести равнодушие. Но Джойс явно не понимал пока и другого: любовь и свобода могут переходить в куда менее блистательные формы дома и семьи. Они находят проявление и там, где принять и понять их можно лишь при развитой душе и немалом интеллекте. Станислаус не понимал этого тоже, но принял удар на себя — на него жаловались и Джеймс, и Нора.

В январе 1906 года Франчини-Бруни предложил поселиться всем вместе и таким образом снизить расходы. На сбереженные деньги можно было обзавестись хоть какой-то мебелью, да и жить с семьей Франчини было веселее. 24 февраля Джойсы и Франчини перебираются на виа Джованни Боккаччо, 1, на окраину города, что, как ни странно, оказывается довольно удачным шагом. Правда, Джойсы по-прежнему ужинают не дома и иногда утаскивают с собой Франчини, которые сами не решались позволить себе такое мотовство. Джеймс все еще порой ускользал от Станислауса и напивался; Стэнни с омерзением разыскивал его и волок домой. Джойс во все горло распевал итальянские песни и особенно песенку болонских запивох: «Потерял ключи от дома, от парадной двери… Повтори-ка литр этого, получше!..» Кстати, и у Блума, и у Стивена тоже не будет ключей от домов, где они не хозяева — во многих смыслах сразу.

Временами Станислаус, разъярившись на Джеймса, упорно занимавшегося саморазрушением, втаскивал его во двор и начинал лупить, а Франчини кричал ему: «Не надо! Это бесполезно!» Однако со временем Станислаус научился сдерживаться: просто приволакивал брата домой и молча сгружал на супружеское ложе.

Чтобы как-то ослабить вдвойне мучительное чувство, которое не сравнить с классической ностальгией, Джойс устраивал совершенно цирковые забавы. Франчини, худенький и малорослый, с хохотом укладывался в коляску Джорджо и начинал вопить «уа! уа!», изображая младенца, а подвыпивший Джойс катал его по дворику и комично уговаривал не плакать. Их супруги и Станислаус терпеливо наблюдали, но иногда и

смеялись. Или Джойс навещал таверну, которую держал сицилиец, у, которого была вытянута и искривлена шея, а одну ногу он подгибал к колену другой, отчего Джойс прозвал его Il Cicogno, «Аист». Джойс его тоже очень забавлял, потому что рассказывал ему фантастические истории об Ирландии, особенно в подпитии. Он пил не так много, просто снимал запрет с веселья.

Сложности с Норой дополняли трудности, накапливавшиеся в работе над своими текстами. «Камерная музыка» переделывалась несколько раз. Затем Грант Ричардс умудрился потерять рукопись и запросил у Джойса вторую копию — только затем, чтобы вернуть в мае с предложением напечатать сборник за счет автора. Комментарии не нужны. Джон Лэйн из «Бодли Хед» вернул ее в июне, Хайнеманн в июле, Констэйбл в октябре. С «Дублинцами» все выходило иначе: рынок рассказов и новелл был чуть благоприятнее, и Джойс в декабре послал рукопись Гранту Ричардсу, надеясь на успех: с берегов Адриатики редко приходят сборники под названием «Дублинцы». Заинтригованный Ричардс просмотрел ее лично, с одобрительным отзывом передал ее редактору Филсону Янгу, и тот согласился, после чего 17 февраля 1906 года прислал Джойсу подписанный контракт на март. Около месяца Джойс блаженствовал. Ричардс поинтересовался его жизнью, и Джойс, едва скрывая нетерпение, ответил ему:

«Я преподаватель английского языка в школе Берлица в Триесте. Провел здесь шестнадцать месяцев, за каковое время изучил деликатную обязанность жить и поддерживать две других доверившихся мне души на годичное жалованье в 80 фунтов. Нанят обучить как можно быстрее английскому языку молодых людей этого города безо всяких задержек на элегантности и с получением взамен десятипенсовика на расходы за каждые шестьдесят минут работы. Не могу не упомянуть, что обучаю также баронессу. Перспективы — шанс получить за свою книгу или книги достаточно, чтобы побудить меня возобновить свою прерванную жизнь. Надеюсь, эти детали не утомили вас так, как они утомили меня. В любом случае я предоставил их вам только потому, что вы спросили о них».

В то же время 22 февраля он посылает Ричардсу еще один рассказ, «Два рыцаря», предназначенный усилить ощущение катастрофы. Ричардс, не удосужившись прочесть рассказ, отослал его в типографию, а типограф возразил да еще отметил сомнительные и непристойные, с его точки зрения, места в других рассказах. Ничего не подозревающий Джойс тем временем дописывал «Облачко», готовясь и его отослать Ричардсу, когда тот 23 апреля коротко известил, что в связи с возражениями типографа необходимо внести исправления в текст.

По английским законам того времени изготовитель предосудительной продукции подлежал тому же судебному преследованию, что и издатель. Джойс писал Ричардсу: «Ни в одной цивилизованной европейской стране типографу не позволяется открывать рот». Но Ричардс не мог позволить себе процесс. Он только что прошел банкротство, едва вернулся к издательской деятельности, фирма была зарегистрирована на имя жены. Любое разбирательство кончилось бы для него плохо. Книга могла быть отвергнута, и Джойс попытался избрать другую тактику. Против чего возражал типограф? «Его шокировала маленькая золотая монетка в предыдущем рассказе или тот „кодекс чести“, по которому живут два рыцаря? Ничего, что могло бы шокировать его в этих двух моментах, я не вижу. Его представление о рыцарстве, возможно, сложилось при чтении романов Дюма или на романтических пьесах, показывавших ему кавалеров и дам в полной экипировке».

Он принял три поправки к «Личинам», но язвительно написал Ричардсу:

«Его пометки к „Личинам“ заставляют полагать, что в нем есть кровь священника: нюх на аморальные аллюзии, конечно, крайне остр. Мне абзац кажется настолько же невинным, насколько и сообщения о разводах в „Стандард“. Легче понять, почему он отметил второй отрывок, и очевидно, за что третий. Но я бы снова отослал его к почтенному органу, репортерам которого разрешено говорить впрямую даже о таких интимных вещах, какие я, бедный художник, могу только предполагать. О одноглазый типограф! И почему он опустил свой синий карандаш, исполненный Духа Святаго, на эти отрывки и позволил своим компаньонам печатать сообщения о разводах и издевательствах!»

Джойс пытается убедить Ричардса «стать пионером в деле изменения английских вкусов». Он пишет ему, что этот процесс может начаться в Англии и охватить другие страны Европы, как это было во времена Чосера. В Викторианскую эпоху такие же издатели отвергали Джорджа Мура, Томаса Харди и даже безобидного Артура Пинеро с его «Второй миссис Тэнкерей» (1893). «И если перемены должны произойти, я не вижу, почему им не начаться сейчас».

Ричардс, конечно, не сдался; он еще и настоял на собственном возражении против употребления слова bloody в «Милости божией». Большинство современных переводчиков с налету переводят это слово как «кровавый», но, заглянув в словарь, видят множество вариантов[51]. Слово это в общем относится к табуированным — «чертов», «чертовский»,

«проклятый», даже «паршивый», — но в определенном контексте может означать просто «очень» и усиливать значение эпитета. Джойс неосторожно указал, что это же слово имелось в уже одобренных рассказах и никого не взволновало. Соглашаясь изменить два первых употребления, он категорически отказывался убирать третье.

«Слово это — самое точное выражение из использованных мной, и по моему мнению, единственное в английском языке, способное создать для читателя тот эффект, который я хочу создать. Ведь вы-то сами это видите? А если слово появляется в книге однажды, оно может появиться и трижды. Не смешно, что моя книга может быть не напечатана, потому что содержит одно это слово, не скверное и не богохульное».

Спрашивая Ричардса, почему тот не возразил против «Встречи», где мальчишки-школьники встречают пожилого педофила, Джойс добился лишь того, что типограф конечно же попросил его убрать рассказ из сборника. Джойс разъярился до самозабвения. Ему все это не казалось «лишь деталями» — в таких коротких рассказах одно слово может быть сердцем текста. А снятие целого рассказа могло сделать весь сборник холодной кашей без соли:

«Моменты, на которые я не согласился, это скрепы, удерживающие книгу как целое. Если я уберу их, что станет с целой главой моральной истории моей страны? Я сражаюсь за то, чтобы оставить их, потому что верю — создание моей главы моральной истории точно в том виде, в каком я ее создал, было моим первым шагом в духовном освобождении моей страны».

Чем больше Джойс уступал, тем больше от него требовали — снять «Двух рыцарей», выправить «Сестер», убрать злосчастное bloody, переделать эпизод в «Личинах»… Переписка с Ричардсом имела то следствие, которое мы будем наблюдать в Джойсе и далее при сходных трудностях — она утвердила его убежденность в собственной миссии и уничтожила его сомнения. Ричардсу он иронически заявил, что не виноват в том, «что вонь зольных ям, гнилой травы и отбросов клубится в моих рассказах. Я всерьез уверен, что вы задержите ход цивилизации в Ирландии, лишив ирландский народ возможности хорошенько разглядеть себя в моем, прекрасно отполированном зеркале».

В июне Ричардс согласился на включение «Двух рыцарей», если Джойс согласится на другие поправки, и 9 июля тот отослал всю пересмотренную часть. «Сестры» переработаны, добавлено «Облачко», пять из шести bloody убраны, переписаны «Личины». Назревали перемены, Джойса они только раззадоривали — жизнь есть трагедия, ура, а тут еще настали знакомые и привычные

финансовые сложности.

Огорченный Артифони предупредил братьев Джойс, что в летние месяцы школа не сможет позволить себе двух преподавателей. Джеймс, просмотрев объявления в римской «Трибуне», отыскал вакансию клерка с хорошим знанием разговорного итальянского для банка «Наст-Колб и Шумахер» и тут же, в начале мая, написал письмо с предложением услуг. Опыта у него не было, техника добывания денег из знакомых не годилась для финансиста, но он полагался на некоторые представления, полученные в работе переводчиком для коммерсантов, а цветистую рекомендацию написал ему его ученик Прециозо, редактор «Пикколо делла сера». Джойс приложил также то самое рекомендательное письмо Тимоти Харрингтона, лорд-мэра Дублина, написанное еще в 1902 году перед отъездом в Париж. Месяц ушел на переговоры, и он получил наконец приглашение с двухмесячным испытательным сроком, начинавшееся с 1 августа. Жалованье было повыше триестского — 12 фунтов 10 шиллингов в месяц.

Оставалось заплатить и не заплатить некоторые долги, включая квартплату Франчини и взятый под жалованье аванс в 30 крон, но о них согласился позаботиться Станислаус. Мебель, купленную в рассрочку за 120 крон, удалось вернуть продавцу, а Стэнни спал на полу, покуда не приобрел другую кровать. Но ценнее всего было то облегчение, которое Джойс испытывал, срываясь с места, и то убеждение, что в Риме его догонят слава и деньги. Увязав скудные пожитки, с некрещеным Джорджо на руках Джойс и Нора отправляются в Вечный город.

Глава тринадцатая ИТАЛИЯ, КЛЕРК, ПОБЕГ

I see my life go drifting like a river
From change to change…[52]

Лучше всего Джойс писал, когда у него было для этого меньше всего времени.

Не важно, как скоро ему надоест быть банковским клерком, — была нужна перемена места и участи. Что он и Рим смогут дать друг другу? Как пишет Эллман, «разочароваться в Риме — судьба куда величавее, чем разочароваться в Триесте».

Сорок два года назад в Риме переживал изгнание Ибсен, думавший здесь о Норвегии. Но у Ибсена имелась пенсия, пусть небольшая, и он мог спорить с друзьями, что достойнее: наняться в клерки или проглотить ключ от двери и умереть за ней от голода. В этом было некое свирепое кокетство. Джойс открывает дорогу многим английским и американским писателям — стать римским клерком и жить по крайней мере внешне римской жизнью.

Семья совершила новое путешествие, из Триеста в Фиуме, затем ночным пароходом до Анконы, на палубных местах. В Анконе Джойса за час надули трижды, и он описал ее потом как «мерзкую, словно гнилой огурец, дыру… какую-то ирландскую в своем тусклом, тощем, нищенском уродстве». От пирса им пришлось еще три мили ехать до вокзала и садиться на поезд, который 31 июля доставил их в Рим. Временно Джойс поселился на третьем этаже дома по виа Фраттина, 52.

Потом он вдоволь поиздевался над «вечно вечным городом», и в «Улиссе», и в «Поминках по Финнегану» не преминул пройтись по Йетсу с его любовью к столице столиц. Но был и тронут, увидев в первый же вечер дом, где Шелли написал «Ченчи», да и сами великолепие и легкость Рима не могли не очаровать художника. Однако благоговеть перед городом Джойс перестал очень быстро; жаль, что он не написал антипутеводитель по нему — выразил бы непривычные чувства. Тибр его ужасал, он привык к рекам поуже, вроде Лиффи, современную часть города и его управителей он полагал одинаково скучными, но и древняя, как он скажет потом Франчини, напоминала ему кладбище: «Мертвые цветы, развалины, кучи костей и скелеты». Даже Колизей не вызывает у него никакого восторга. Усугубляло его желчность «мерзостное изобилие» английских туристов. Когда Джойс с женой и сыном побывали в Колизее, скорее по обязанности, чем из интереса,

Станислаусу было описано, как то и дело рядом возникали молодые люди в саржевых костюмах и соломенных шляпах, восторженно и косноязычно, с густым кокнейским выговором цитировавшие известную фразу Беды Достопочтенного: «Покуда Колозей стоит, стоит и Рррым! Когда Колозей паааадет, паааадет и Рррым! А когда Рррым паааадет, паааадет и мир!» Он готов был признать величие Рима цезарей, но папский Рим был ничем не лучше Дублина или Триеста. «Оставим развалины гнить». Римскую прозу Генри Джеймса он обозвал «жидким чаем» за то, что до автора не донеслась кладбищенская гниль города. После экскурсии по Форуму он записал, что Рим похож на человека, зарабатывающего на путешественниках, обозревающих труп его бабушки…

Первого августа Джойс прошел краткое интервью в банке на углу виа Санто-Клаудио и пьяцца Колонна. Шумахер, который был еще и консулом Австро-Венгрии, принял его вполне доброжелательно. Спросил Джойса о возрасте, родителях, друзьях семьи, в первую очередь о лорд-мэре Дублина. Удовлетворенный ответами, Шумахер выдал ему 65 лир в счет его первой месячной зарплаты, 250 лир.

Штат банка составляли 50–60 человек. Владельцев было четверо — сам Шумахер, его седовласый брат, вечно затыкавший ручку с пером за ухо, и двое Наст-Колбов, дряхлый отец и сын, быстрый, деловитый, очень похожий на Керрана. Собратья-клерки раздражали его с первой же секунды. У них вечно было что-то не в порядке с гениталиями или с анусом, и они торопились детально посвятить нового человека в эту проблему. Даже натуралист ирландской складки не мог выносить это бесконечно. Его раздражали их имена, он переделывал их самым обидным образом и тихо ярился, когда они подолгу обсуждали, кто сдвинул с места перочистку.

Почти месяц он вел переписку. Работа была тяжелая и скучная, от двухсот — двухсот пятидесяти писем в день, рабочий день с половины девятого до половины восьмого, а иногда и дольше, и двухчасовой обеденный перерыв. Изнашивались брюки — сзади на них были две обширные заплаты, и для сокрытия их Джойсу приходилось носить форменный фрак даже в августовский зной. Но когда его перевели, получать по чеку приходили важные лица, и Джойсу пришлось потратиться на новые брюки.

Жалованье в банке выдавали помесячно, и никакой возможности перехватить, как в школе, не было. С деньгами Джойс обращаться не умел, за десять дней аванс был растрачен, и пришлось просить о помощи Станислауса. Мало того что брюки

мгновенно пронашивались, но римские воздух и вода, которые Джойс считал оздоровительными, вызывали чудовищный аппетит. Кафе «Греко», «Амьель», «Байрон», «Теккерей», «Ибсен и К°»; счет подавали на английском, английские газеты были почти свежие, цены умеренные, но — денег все равно не было. Станислаус был взбешен. Он платил одним кредиторам брата, отбивался от других да еще должен был жить сам. Джеймс старался помогать ему, детально расписывая, как с кем себя вести. Портным сообщать, что он переехал в Эдинбург или Глазго. Докторам — передавать римский адрес и его благодарность. От Франчини дождаться требования квартплаты, а тогда отказаться платить, дескать, по долгам брата не отвечаю. Брата сеньоры Канарутто надо уговорить заплатить хоть часть вложенных в мебель денег. И так далее.

Две недели Станислаус не высылал ничего, и Джеймс вдохновенно описывал голодающих жену и малютку, которого дядя очень любил. Станислаус боролся, но, как всегда, проиграл. Одним из могучих аргументов стал довод Джеймса, что при взгляде на его изношенную одежду в банке начинают полагать, что у него есть тайные пороки. Ему решительно необходим костюм. Станислаус отвечал, что он сам живет на хлебе и свиных ребрах, которые жарит дома. Деньги он все-таки выслал, но написал, что думает о возвращении в Дублин. Джеймс назвал это глупой причудой и велел требовать у Артифони плату вперед. Директор конечно же отказал.

Джойс попытался занять денег у английского консула в Риме, который оценил его способность убеждать всего в 50 лир. Надо было искать работу. В «Трибуне» ему попалось объявление об уроках английского, и вечерами он стал снова преподавать. Нора уходила с Джорджо в кинематограф и ждала его до десяти, когда они наконец могли поужинать. Второе объявление было удачнее — в ноябре он стал учителем в школе «Эколь де Ланг». Однако прибавка не слишком помогла; он по-прежнему обещал брату, что это последний трудный месяц, но следующий опять оказывался трудным, хотя и снова последним. Скоро, сулил Джеймс, он найдет деньги, чтобы помочь Стэн-ни переехать в Рим. Станислаус сердито предположил, что он опять пьет, но Джойс решительно отрицал это. Но, без сомнения, деньги утекали именно в кассы римских остерий, и вел себя Джойс, как в Триесте, с той разницей, что приводить его домой было некому.

Наблюдавшая это квартирохозяйка, синьора Дюфур, в ноябре подняла плату, полагая, что постоялец съедет сам, но он не съехал, и тогда она официально известила его об отказе от дома. Джойс считал, что его пугают, но в декабре оказался на улице.

Ночью ему пришлось нанимать грузовик, везти семью и вещи под дождем в ближнюю гостиницу, где мест не было, затем в другую, где они пробыли четверо суток. Выселили их в пятницу, и весь уик-энд Джойс пробегал по городу в поисках комнаты и ничего не находил: одни были слишком тесными для троих, другие слишком дорогими, третьи сдавались только холостякам, в других не было кухонь. 8 декабря он снял две крохотные комнатушки на пятом этаже дома 51 по виа Монте Брианцо. В квартире оказалась только одна кровать. Для Норы и Джеймса, привыкших спать раздельно, это оказалось проблемой; решать ее пришлось традиционным способом — они легли «валетом». В «Улиссе» так же будут спать Блум и Молли.

Такое начало римской жизни любви к итальянцам Джойсу не добавило. Письма изобилуют гневными описаниями — ему казалось, что в Риме нет ни одного приличного кафе даже по сравнению с Триестом. Когда почтовый чиновник отказался выдать ему телеграфный перевод от Станислауса, потому что у Джойса не было с собой паспорта, он взбесился: «Видит Бог, Россини был прав, когда снял шляпу перед испанцем за то, что тот избавил его от позора быть последним в Европе!» Италия и итальянцы очень быстро перестали связываться в его сознании с Данте и Микеланджело. Позднее в «Улиссе» простодушный Блум с восторгом комментирует разговор итальянцев-возчиков — «прекрасный язык» и «bella poetria»[53], а прислушавшийся Стивен желчно сообщает, что они бранятся из-за денег, да еще с матом.

Рим был ему неприятен еще и потому, что он там ничего не смог написать. Отделал «Печальный случай», который он считал самым слабым из «Дублинцев», «После гонок», порылся в библиотеках, уточняя дату Ватиканского собора 1879 года, обсуждавшегося в «Милости божией». В римских записях Джойса есть названия рассказов «Улица», «Месть», «У залива», «Катарсис», которые он никогда не написал. Объясняя почему, Джойс приводит очень любопытные доводы: во-первых, он был слишком холоден, а во-вторых, недостаточно был занят собой. Ибсен в Риме, писал он, был «эгоархом», а его самососредоточенности явно не на пользу отвлечение на жену и сына.

Но были и другие планы. Один конспект, упомянутый в письме Станислаусу от 30 сентября, назывался «Улисс». Ироничный, суховатый, жесткий, с прототипом главного героя, смуглолицым дублинским евреем по фамилии Хантер, о котором сплетничали, что он рогоносец. Интерес Джойса к евреям растет по мере того, как он осознает, что оказался в таком же положении в Европе, как они в «сем христианнейшем из миров». Он разбирает анекдотический процесс о разводе жены-христианки с

85-летним евреем, которому предъявлено не меньше обвинений, чем Блуму и Ирвикеру; отмечает факт о еврейском происхождении Георга Брандеса; интересуется антисемитскими теориями Ферреро. Непривычно долго обдумывая этот рассказ, Джойс пока так и не двинулся дальше названия.

Со вторым дело пошло иначе. Это были «Мертвые». Редкая для Джойса интонация печали, прощения, лиричности уравновешивается беспощадной и в чем-то самокритичной для автора рефлексией главного персонажа, Гэбриела Конроя. В одном из писем Джойс даже утверждает, что Ирландия куда цивилизованнее многих европейских стран, потому что не обзавелась такой бюрократией. «Иногда при мысли об Ирландии мне кажется, что я бывал ненужно жесток. Я не воспроизвел (по крайней мере в „Дублинцах“) очарования города, потому что никогда нигде его и не чувствовал после отъезда, разве что в Париже. Я не воспроизвел его причудливого островитянства и гостеприимства. Последняя „добродетель“ отсутствует где-либо еще в Европе. Я был несправедлив к его прелести: он куда естественнее в своей красоте, чем то, что я видел в Англии, Швейцарии, Франции, Австрии или Италии. И вместе с тем я знаю, как бесполезны эти мысли, ибо реши я переписать книгу, как предлагает Г. Р. (Грант Ричардс. — А. К), „в другом смысле“ (где он, черт возьми, берет эти бессмысленные фразы?), я уверен: то, что ты зовешь Святым Духом, останется в чернильнице, а извращенный дьявол моей литературной совести опять усядется на мое перо. Помимо всего, „Два рыцаря“ — с их воскресными толпами и арфой на Килдэр-стрит и Линэхэн — это пейзаж Ирландии».

В конце сентября Ричардс написал, что не может сейчас напечатать «Дублинцев», но хотел бы издать его автобиографический роман, а уж потом сборник.

Джойс отправился к британскому консулу за адресом надежного юриста, с которым впоследствии советовался о нарушении Ричардсом контракта. Адвокат подсказал ему снова написать Ричардсу, но тот в середине октября повторил свое предложение, невзирая на несогласие Джойса. Обозленный Джойс уступил «Двух рыцарей» и «Облачко», два абзаца в «Личинах» и «Милости божией», лишь бы Ричардс взял книгу, но все было тщетно. Адвокат, Сент-Ло Мале, решил обратиться в Общество авторов — узнать, не помогут ли они чем безвестному молодому литератору.

В общество сначала пришлось вступить — членский взнос одна гинея — и узнать, что они ничего не могут сделать. Еще один фунт стоило с помощью Мале составить до суда

официальное письмо Ричардсу, со ссылками на все полагающиеся законы. Джойс в ноябре предложил сборник Джону Лонгу. Он не занимался больше ничем и, хотя Стэнни уговаривал его продолжать работу, отвечал: «Я уже достаточно написал, и прежде чем сделаю что-то еще в этом направлении, я должен увидеть хоть какую-то причину, ради чего. Я не литературный Иисус Христос». Глубоко недовольный собой и другими, он решил переделать и «Камерную музыку» так, чтобы она стала жестче и язвительнее, и Джойс, не слишком веря в ответ, написал о ней Артуру Саймонсу, который, собственно, и свел его с Ричардсом. Они не общались с тех пор, как Джойс прислал ему экземпляр «Святой миссии». Но ответ пришел, быстрый и щедрый. «Дублинцев», считал Саймонс, нужно положить на алтарь, уступив Ричардсу во всем, в чем можно. А стихи отдать Элкину Мэтьюсу для массовой серии «Гарланд» («Гирлянда»), Обрадованный Джойс согласился, и Саймонс написал Мэтьюсу, что он может получить «книгу стихов, самого подлинного лирического качества из всех, что мне приходилось читать в новых работах за многие годы… Она называется „Книга тридцати стихов для влюбленных“, и стихи почти елизаветинские по свежести, но совершенно оригинальные. Написаны молодым ирландцем Дж. А. Джойсом. Он не из кельтского движения, и хотя Йетс признает его дарование, он во многом его противник, потому что Джойс это движение критикует».

Мэтьюс заинтересовался, и Джойс подготовил рукопись к отправке. Как порой бывало, он изображал полное равнодушие к ее судьбе. «Страница „Облачка“ доставляет мне большее наслаждение, чем все мои стихи…» Читал и решал Мэтьюс долго, лишь 17 января прислал довольно жесткий контракт: по нему автор не мог рассчитывать на роялти, но Мале с обычным своим здравомыслием посоветовал соглашаться. В феврале пришли гранки.

«Книга мне не нравится, — писал Джойс, — но пусть ее напечатают и пошлют к черту. Хотя все-таки это книга молодого человека. Так я себя ощущал. Конечно, это не сборник любовных стихов, так мне кажется. Но некоторые из них достаточно милы и могут быть положены на музыку. Надеюсь, кто-нибудь так и сделает, тот, кто знает старинную английскую музыку не хуже меня. Кроме того, они не претенциозны и обладают некоторой грациозностью. Сохраню экземпляр и над каждым заглавием надпишу адрес или улицу, чтобы, если открою эту книгу, сразу припомнить места, где я сочинял эти песни».

В Риме у Джойса появилась привычка уходить из дома очень рано и сидеть в кафе с книгой до ухода в банк. Он читал все, что

мог достать, и в письмах Станислаусу оттачивал свое критическое мастерство, не стесняясь ничем, но в то же время стараясь снова и снова уяснить для себя, что в мировой литературе для него свое, что чужое, жестко вычленяя цели, стиль и точность работы автора. В августе 1906 года он прочел итальянский перевод «Портрета Дориана Грея»: «Разумеется, Уайльд преследовал и добрые намерения — некое желание явить себя миру — но книга загромождена ложью и эпиграммами. Если он и вправду осмелился развить в ней какие-то аллюзии, то она должна была быть лучше. Подозреваю, что он сделал это в книгах, напечатанных частным образом».

«Записки охотника» Тургенева, восхитившие Станислауса, его не тронули — правда, читал он их во французском переводе. С интересом Джойс прочел «Себастьена Рока» Октава Мирбо, где его восхитили и мрачность в изображении жизни иезуитского коллежа, и стиль — «трудно преуспеть во Франции, где почти каждый так хорошо пишет…». Той же оценки удостоился «Кренкебиль» Анатоля Франса, которого Джойс полюбил навсегда. Читает он и Гауптмана, которого считает обладателем тайны художника, и в каждой новой пьесе (в тот раз это была «Роза Бернд») пытается эту тайну отыскать. Гауптман удостоился от него величайшей джойсовской похвалы — «пока я не нахожу в нем ничего от шарлатана».

При этом обильном чтении он продолжает терзать тетушку Джозефину просьбами о присылке всего печатного, что имеет отношение к Ирландии, прежде всего газет, но также книг и журналов. Его по-прежнему завораживает древняя Ирландия, он замышляет какой-то текст на эту тему. Выпрашивает карту Дублина поподробнее и книгу Гилберта «Исторические и муниципальные документы Ирландии», фотографии и открытки с видами страны. Из доходившей ирландской прессы он с неудовольствием узнавал, что Кеттл, Шихи, Скеффингтон и Гогарти становятся все популярнее и значительнее. Последний всё делал попытки примириться с Джойсом, а тот всё отбивал их. Гогарти расспрашивал Чарльза Джойса о делах Джеймса и об отношении к нему, Гогарти, и даже что о нем, Гогарти, думают прочие члены семьи. После этого разговора Гогарти написал Джойсу умиротворительное письмо с предложением забыть старое, бросить раздоры, но Джойс ответил, что такое «не в его власти». Тогда Гогарти, который только что женился, написал Джойсу в Рим, и Джойс опять ему отказал, хотя и формально вежливо добавил, что они могут встретиться в Италии.

Из Нью-Йорка, где молодая чета вкушала медовый месяц, Гогарти радостно ответил, что будет счастлив принять любезное

приглашение Джойса, но заметил, что ему кажется, он будет гораздо счастливее видеть Джеймса, чем Джеймс — его, но ему «тяжко по мертвой руке тосковать, слышать голос, которого нет»[54]. Уместно заметить, что Джойс никогда не прекращал этого подобия отношений — по каким-то джойсовским склонностям он не давал этой ране зажить.

Гораздо мягче он был с Томасом Кеттлом, ставшим, к слову, членом парламента. Однако и с ним Джойс не помирился до конца. Собственно, ему претили не сами его бывшие друзья, но мужчины как интеллектуальные партнеры: «Им, оказывается, тяжко понять меня и невозможно со мной ладить, даже когда они кажутся хорошо снаряженными для этого дела. С другой стороны, две куда более скудно снаряженные женщины, тетя Джозефина и Нора, кажутся способными воспринять мою точку зрения, и если даже они не ладят со мной, как могли бы, то им определенно удается сохранять определенную лояльность, что весьма похвально и приятно. О тебе я, конечно, не говорю. По всем предметам, исключая социализм (который тебе безразличен) и живопись (которая мне неведома), — у нас общие или сходные мнения». Станислаус пытался убедить его, что Кеттл — мыслящий политик, но Джеймс вдруг совершенно отказался от парламентаризма и углубился в Шинн фейн, то есть перешел на сторону Артура Гриффита. Тут явно был отголосок неизживаемой поглощенности Парнеллом, который не смог сделать парламент инструментом прогресса, что вряд ли удалось бы и Кеттлу. Но газета Гриффита «Юнайтед айришмен» была тогда лучшей в Ирландии.

Джойс писал о Гриффите, что это единственный человек, пытающийся сделать Ирландию полноценной страной. Шинн фейн добивалась экономической и политической независимости точно так же, как он добивался в своем самоизгнании независимости художника и самого искусства. Социалистические восторги его подкрепились конгрессом в Риме и другими акциями социалистов Италии. То были яркие праздники с изобилием алых знамен, оркестров и пылких ораторов. Социализм был невероятно популярен среди итальянской интеллигенции — как молодой, так и вполне зрелой. Социалистами были выдающийся психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо, писатель Эдмондо де Амичис, философ-марксист Антонио Лабриола, молодой, талантливый и злой репортер Бенито Муссолини и множество других. Но про свой социализм в конце концов Джойс грустно скажет, что да, он слишком неустойчив и плохо сформулирован…

В то время Сингу пришлось пережить громкий скандал по поводу «Молодца с Запада», и даже не в газетах, а в самом театре

«Эбби» — из-за фразы: «И все девушки Мэйо постояли передо мной в одних сорочках!» Джойс бесстрастно заметил: «Чудное видение». А давний полуприятель Падрайк Колум, доставленный в участок в пьяном виде, голосил: «Такая клевета на невиновного — оскорбление для всей Ирландии!» Национальный позор был приравнен к 40 шиллингам или двум неделям за решеткой. Джойс с удовольствием прочитал об этом в «Дейли мейл», но, к удивлению Станислауса, принял сторону националистов против сотоварища-литератора. Как кельтская богиня Морриган, Джойс питался раздорами и скандалами — в них он видел испытание для человеческого духа и горестно радовался, когда испытание оказывалось непосильным.

К Йетсу он теперь не испытывал никакой симпатии — «утомительный идиот», «лишенный связи с ирландским народом». Неохотно признавал Синга — «этот по крайней мере может поймать их за уши». Брату он писал: «Чувствую себя человеком в доме, который слышит скандал на улице и крики знакомых голосов, но не может выглянуть и узнать, что, черт подери, происходит. Это отвлекает меня от рассказа, который я собирался написать», — то есть от «Мертвых». Станислаус, которому не слишком нравился Колум, на этот раз обозлился и на брата, не понимая, что Джеймс отрицает не столько личности, сколько то, что они для него воплощают.

Часть объяснения заключалась в том, что Джойс пил все чаще и больше и угрюмая раздражительность между выпивками, классическая черта алкоголиков, накладывалась на всё. Обдумав свою жизнь и будущее, он решил, что и работа в банке, и сам Рим более невыносимы. Следовало решить, писатель он или уныло благопристойный обыватель. Конечно, ему придется искать попутный заработок. Но нынешний статус «означает моральное уничтожение». Вот уже несколько месяцев он не писал ни строчки и даже чтение требовало небывалых прежде усилий. «На театр Господа Бога я смотрю глазами моих сотоварищей, клерков, поэтому ничто не удивляет, не трогает, не восхищает и не отвращает меня». Равнодушие могло означать отстраненность художника, но Джойс чувствовал — это омертвение, крепнущая кома, одичание.

С уже привычным восторгом крушения он известил банковское начальство, что увольняется в конце февраля. Проработал он на самом деле всю первую неделю марта. Письма разнообразным агентствам Франции и Италии были отосланы. Джойсу хотелось попасть в город без туристов, и поначалу ему показалось, что это может быть Марсель. Порт, солнце, старый город… Банк опротивел ему окончательно. И все же ка-кой-то,

пусть призрачный, деловой и коммерческий опыт ему удалось собрать. Он надеялся на портовые конторы. Но услуги его никому не требовались.

В середине февраля Джойс договорился с домохозяйкой, что останется еще ненадолго, и тут же написал Станиславусу, что решил вернуться в Триест, к Берлицу. Станислаус был в ужасе: он только что сходил к Артифони выяснить, собирается ли тот сдержать слово, данное Джеймсу перед его отъездом в Рим — что если он захочет вернуться, то всегда может рассчитывать на прежнюю позицию… Артифони с наслаждением отказал. И теперь Станислаус заклинал брата держаться Рима — в Триесте еще хуже. Но Джойс ответил, что если в школе нет вакансий, то он снова возьмется за уроки. Станислаус предупредил, что их скорее всего не найти. Это не остановило Джеймса. Пусть город напоминал ему обо всем тяжелом, что связано с «Дублинцами», там есть два по-настоящему понимающих его человека.

Мучила простуда, подхваченная коварно мягкой римской зимой; он сатанел из-за отказа Джона Лонга издать «Дублинцев», Нора изводила его разговорами о более комфортабельной жизни, последняя попытка найти место в Марселе не кончилась ничем. «Рот мой полон гнилых зубов, а душа — сгнивших амбиций…» В довершение всего Нора забеременела. Постель бедным вместо оперы, говорят в Риме. У него хватает духа шутить над собой: «Эглинтон был уверен, что я вернусь в Дублин попрошайничать, Бирн — что стану горьким пьяницей, а Косгрейв — что нимфоманом. Увы, джентльмены, я стал банковским клерком. Сейчас я думаю, что это хуже, чем предрекали все трое пророков». Но Стэнни он писал: «Еще немного такой жизни, и пророчество Бирна сбудется».

Несколько оттяжек не ослабили решительности Джойса, а отъезд получился совершенно феерическим. Вечером он напился с двумя почтовыми служащими и отправился с ними на танцульки, где неосторожно дал им заглянуть в свой бумажник. За день до этого ему выдали расчет — 200 крон. Собутыльники пошли за ним, оглушили и забрали деньги. Полиция арестовала бы его, но в толпе оказались люди, знавшие «синьора Джойса» и доставившие его домой, совсем как в конце 15-го эпизода «Улисса», «Цирцея». По счастью, дома оставалось несколько крон, Джойс протелеграфировал брату о возвращении, затем усадил Нору с Джорджо в поезд и покинул Рим.

Глава четырнадцатая «МЕРТВЫЕ», КНИГА, ИРЛАНДИЯ

… That sang, to sweeten Ireland's wrong…[55]

Рим дорого обошелся душевному состоянию Джойса, но он и был писателем, который не может писать в состоянии умиротворенности и согласия с самим собой. Собственно, таких писателей нет.

Все же Вечный город заплатил ему за унижения и разлад. Именно там Джойс осознал до конца, что изменилось в его отношении к Ирландии и остальному миру. Воплощением этой перемены стал один из самых необычных его рассказов — «Мертвые» («The Dead»). Долго созревавший в нем рассказ окончательно оформился в Риме, среди всех неудач, озлобления и колебаний. Какая-то часть души Джойса вырабатывала странный свет, которым наполнен рассказ, не складывавшийся, пока Вечный город не остался позади.

В нем срастаются две жизни — истории трех поколений семьи Джойсов и происшествие в Голуэе 1903 года. Юноша Майкл Бодкин ухаживал за Норой Барнакл, но заразился туберкулезом и слег. Вскоре после этого Нора собралась в Дублин, и Бодкин сбежал из больницы, чтобы спеть ей на прощание, стоя под яблоней у ее окна. Ночь была холодная, ветреная и дождливая. В Дублине Нора узнала, что Бодкин умер, и когда она встретила Джойса, то поначалу он привлек ее, как она потом говорила сестре, именно сходством с Бодкином. А Джойс охотился за деталями, как кошка за крысами, и выспрашивал Нору обо всем, что она могла рассказать. Сперва его задело, что она интересовалась еще кем-то до него, а потом злило, что ее сердце может тронуть еще что-то, даже если это жалость к мертвому мальчику. Ревнивцу Джойсу было почти все равно, что это всего лишь маленькая могила на маленьком кладбище Отерарда, и он то и дело жаловался тете Джозефине Мюррей, что Нора видит в нем другого человека. Когда они первый раз уже осели в Триесте, Джойса снова начала мучить эта тема.

Неотступность мертвецов занимала его мысли в Дублине, таком же католическом городе, как Рим. Живым было куда труднее в нем, чем мертвым — они процветали. И Дублин, казалось, похороненный в памяти, воскресал и царил в его мыслях. В «Улиссе» Стивену мерещатся мертвецы, встающие из

могил и высасывающие из живых радость жизни. Его воображение сплетает воедино брачное ложе, смертное ложе и ложе родов. И смерть приходит, «бледный вампир, буря в очах, ее паруса-крылья летучей мыши кровавят море, рот целует рот…». Жизнь и смерть могут нести нас одновременно, в одной реке.

За полгода римской жизни Джойс почти выдумал рассказ. Скандал вокруг театра «Эбби» и «Удальца с Запада» отвлек его ненадолго; Синг последовал совету Йетса, который отверг Джойс, — искать вдохновения у ирландского народа, и отправился на Аранские острова. Рассказ отзывается и на это: мисс Айворс, решительная веснушчатая националистка, с заколкой-эмблемой Ирландии (такие носили сторонники Ирландского возрождения) обвиняет героя в англофилии и буквально настаивает, чтобы он совершил экскурсию на место действия «Скачущих к морю» Синга, но добивается от него яростного ответа: «Сказать вам правду… мне до смерти надоела моя родная страна!» Для Джойса, в отличие от героя, такой ответ ничего не решал.

Рассказ начинался сценой рождественской вечеринки и заканчивается трупом, то же переплетение, что в «Поминках…» — «плясабельный» и «погибельный»[56]. Джойс писал Стэнни, что гостеприимство и островной характер Дублина — черта, которой он больше не встречал нигде в Европе, поистине добродетель, которой он еще не воспроизвел. «Мертвые» согреты этой любовно переданной щедростью и весельем. Застольная речь Гэбриела Конроя, «небольшой клочок бумаги в жилетном кармане», демонстрирует чистейший образец этого жанра — речи для благопристойного ирландского застолья, потому что есть еще неблагопристойные, в изобилии представленные уже в «Улиссе». В ней есть отсылки к греческим мифам, солидные комплименты, приятное красноречие, хвала ирландскому гостеприимству и открытости. «С каждым годом я все больше чувствую, что среди традиций нашей страны нет традиции более почетной и достойной уважения, чем традиция гостеприимства. Изо всех стран Европы — а мне пришлось побывать во многих — одна лишь наша родина поддерживает эту традицию. Мне возразят, пожалуй, что у нас это скорее слабость, чем достоинство, Но даже если так, это, на мой взгляд, благородная слабость, и я надеюсь, что она долго удержится в нашей стране…не умрет среди нас традиция радушного, сердечного, учтивого ирландского гостеприимства, которую нам передали наши отцы и которую мы должны передать нашим детям».

Это не только пародия на собственную саркастическую и язвительную манеру Джойса, но и придуманный им способ

смягчать сказанное прежде. Он и внешность Конроя конструирует в полном контрасте со своей собственной — упитан, высок, румян, гладко выбрит, глянцевитый зачес, отличный костюм… Весь отбор деталей «Мертвых» нацелен на то, чтобы выявить мучающее автора. Место действия пришлось поменять, так как рождественская вечеринка в полунищем доме досталась «Стивену-герою» — на ней тоже вспоминают об умершем. Джойс выбирает дом своих бабушек-теток миссис Каллахэн и миссис Лайонс, куда все взрослые и взрослеющие Джойсы приходили каждый год, и Джойс-отец, как и Конрой, мастерски разделывал гуся, а речь героя — точная имитация его красноречия.

В рассказе хозяйки — старые девы, у них другие имена, но остальные гости довольно узнаваемо сконструированы из авторских воспоминаний и впечатлений детства. Фредди Малине сделан из сына миссис Лайонс, Фредди, владельца магазинчика открыток, но размещено предприятие на менее фешенебельной улице, чтобы Гэбриел обоснованно мог ссудить ему соверен. Осипшего и капризного тенора д'Арси создает из рассказов отца о М'Гакине, ведущем теноре оперной труппы Карла Розы, неуверенном и оттого неудачливом.

Даже персонажей под своими именами Джойс бестрепетно делал своей собственностью и гражданами своего Дублина.

Сотворение Гэбриела Конроя — процесс куда более сложный, хотя исходная сюжетная точка, ревность к умершему поклоннику, собственная — джойсовская. Джойс всегда упивался мученичеством преданного, отравой предательства: по свидетельству Дж. Прескотта, слово betrayal[57] то и дело всплывало в его речи. Стивен Дедалус, Блум, Ричард Роуан, Ирвикер — все они преданы и все мучаются этим слабым, но неотвратимо восходящим к сердцу ядом.

Те же муки переданы и Гэбриелу. Письмо, написанное жене («Почему все эти слова кажутся мне такими тусклыми и холодными? Не потому ли, что нет слова, достаточно нежного, чтобы назвать тебя? Как далекая музыка, дошли к нему из прошлого эти слова, написанные им много лет тому назад»[58]) — дословная цитата из письма Джойса Норе — 1904-й. Конрой, как и Джойс, пишет рецензии и обзоры для «Дейли экспресс», за что его высмеивает патриотка мисс Айворс, прототип которой — одна из сестер Шихи, Кэтлин, носившая такую же патриотическую булавку и патриотический лифчик. Даже очки и набриолиненный прямой пробор у него от тогдашнего Джойса, и то, что он куда лучше одет и ссужает золотые, а не одалживает по шиллингу, ничего не меняет: мука и просветление, к которым Конрой возвращается, — это путь самого автора.

Теперь у Джойса были и рождественский ужин, и гости, и то о себе, что накопилось за эти годы. Праздник, яркий свет, сытная еда, смех и выпивка — Джойс подробно и даже торжественно описывает тройной ряд бутылок на крышке рояля, среди которых меньше всего минеральной воды в «белом с косыми зелеными перевязями». Но улицу медленно засыпает снег, и из праздничного покрова он оборачивается чем-то иным: на нем, как на бумаге, выписываются страхи и ревность Конроя, нелепая ревность и ужас, когда «против него вдруг встало какое-то неосязаемое мстительное существо, в своем бесплотном мире черпавшее силы для борьбы с ним». Гэбриел начинает осознавать всю мелочность своих претензий, свою уязвимость и слабость. Щедрый гость, каким он себя видит в самом начале, ранен горькой репликой служанки — а он-то думал, что в этом доме все счастливы. Затем от этого образа откалывается осколок за осколком, и вот уже почти невозможно вспомнить так тщательно отточенную застольную речь, и красавица жена все же «деревенская красотка» с запада… В сознании самого Гэбриела запад Ирландии — воплощение темноты и жестокого примитивизма, и ощущение не покидает его весь рассказ, потому-то он так болезненно реагирует на приглашение мисс Айворс съездить на Аранские острова. Дикость, грязь, нищета, холод и сырой туман — все то, что он вытеснял из себя поездками в Европу, где пьют вино и носят хорошо скроенные макинтоши.

Гэбриелу неприятно и то, что он способен испытывать такие чувства, но он не хочет от них избавляться. Гости расходятся. Где-то далеко в доме осипший и неуверенный голос выводит простенькую ирландскую песню — Бартелл д’Арси и не выдерживает молчания и, в пальто, в калошах, подняв крышку рояля, подбирает аккомпанемент для «Девушки из Огрима».

Огрим — жалкая деревушка на западе Голуэя. Тем не менее начинается песня строками: «Я дочь короля, прибредшая из Каппакина в поисках лорда Грегори, помоги мне Бог найти его, а дождь хлещет на мои золотые волосы, роса оседает на мою кожу, и дитя мерзнет в моих руках, лорд Грегори, впусти же меня». Соблазнитель-аристократ и деревенская девочка-мать оказываются здесь рядом, но Конроя задевает не простенький текст, а то, как слушает песню его жена. «Он спросил себя, символом чего была эта женщина, стоящая во мраке лестницы, прислушиваясь к далекой музыке…» Джойс услышал эту балладу от Норы, и хотя поначалу собирался промодулировать рассказ стихотворением Мура, ощутил, что «Девушка из Огрима» ближе — запад, Голуэй, дождь, бесприютность тоньше сплетались с больным мальчиком, в ледяной ливень пришедшим под окно

Гретты спеть ей прощальную серенаду.

Конвей и Гретта приходят в отель, но вместо маленького любовного праздника получается тяжелый и печальный разговор о мертвом возлюбленном и памяти о нем. Муж впервые узнает о юном возлюбленном; Джойс очень интересно поменял его имя — Майкл Бодкин[59] — на Майкла Фюрея. Вспоминается архангел Михаил, а новая фамилия перекликается с «fury», яростью, страстью, той, которая осталась в прошлом и которой нет в чинном Дублине. Гэбриел старается хотя бы иронией ослабить это воспоминание — ну как же, мальчик-газовщик и он, учитель языка (еще одно сходство — профессия Джойса)… «Отчего же он умер таким молодым, Гретта? От чахотки?» Но Гретта, помолчав, отвечает: «Я думаю, что он умер из-за меня». Презираемый Джойсом У. Б. Йетс в прославленной «Графине Кэтлин» (1902) написал эпизод, где старуха-Ирландия поет песню о златовласом юноше, повешенном в Голуэе, а на вопрос, отчего он погиб, отвечает: «Он погиб от любви ко мне; многие мужи погибли от любви ко мне».

Русские переводы «Дублинцев», к сожалению, упрощают оттенки и нюансы мысли Джойса, обедняют те ощущения, которые он делает великой литературой. В последней фразе «Мертвых» исчезла та часть фразы, где говорится, что Гэбриел «слышит, как тихо ложится снег на вселенную и как тихо, словно приход их последнего завершения, ложится он на всех живых и мертвых». Подстрочнику тоже нелегко передать всю глубину этого строя души, но то, что Гэбриел утончившейся душой слышит почти несуществующий звук, то, что снег не забвение, а единение, — такие краски терять просто жаль.

Герой не собирается оставить мир — он просто «curvata resurgo», выправляет согнутое, и расстается с тем, чем раньше гордился, что считал своим отличием: разве что в этом случившееся подобно смерти. Как юноша Майкл, Гэбриел жертвует собой, и изображение этого самоотказа Джойс собирает из «лысых холмов», «покосившихся крестов», «терна»… Мальчику он завидует именно потому, что тот сумел пожертвовать собой из-за любви, с христианством не имеющей ничего общего. Но и Гэбриел умирает за Гретту — он убивает в себе всё, что разделяло его и аранских крестьян, и даже гостей вечеринки, тайное превосходство над которыми должно было помочь вытерпеть всю ее скуку. Они оба оставили далеко позади юность, свежесть, страсть, и Гэбриел тоже «агнец, закланный на алтаре», на ее алтаре, но и она тоже сгорела на его алтаре, и он не чувствует сожаления — только нежную жалость.

Гэбриел, который презирал собственную страну, заплатил ей

дань, о которой не узнает никто; она больше, чем та, которая отлилась в его застольной речи. Уверенность в том, что достойная жизнь возможна лишь за пределами Ирландии, отрезана чувством связи, принятия, даже восхищения пусть не всей страной, но той частью, которая больше всего Ирландия, жизнью, которую она ведет. Тут всё напряженнее, огненнее, и земля побеждает его, солидного, уверенного, интеллигентного. В «Портрете…» Стивен Дедалус, безоглядно покинувший национализм, мучительно оправдывает себя тем, что уходит в самоизгнание затем, чтобы вернуться с даром — новым сознанием народа.

Как это часто бывало в жизни Джойса, ему не пришлось выдумывать завершение «Мертвых». Подобно Стендалю, он «брал свое добро везде, где его находил», и нашел его в другой книге ирландского автора, которую читал в юности, расхвалил в «Дне толпы» и перечитал в 1907 году, согласно помете на его экземпляре. В ней жених перед самой брачной ночью узнаёт, что оставленная им когда-то девушка покончила с собой. К несчастью, об этом узнаёт и невеста. Она не может позволить мужу даже поцеловать себя, он мучается раскаянием, все испорчено, и заплаканная новобрачная наконец засыпает, а муж (тут начинается почти буквальное фабульное сходство) подходит к окну и смотрит, как занимается грустный серый рассвет. Жизнь кажется мужу полной неудачей, и к тому же он с ужасом осознает, что убившая себя возлюбленная была страстнее и привлекательнее его жены… И он решает, что воздаянием будет посвятить себя жене, сделать ее жизнь счастливой. Вот тут и начинается типично джойсовская смена акцентов и перестановка мебели. Мертвая возлюбленная/возлюбленный, муж, подавленный ощущением неудавшейся жизни, смирение перед лицом вечной правды, решимость принять жизнь в ее неумолимости одолжены у «Тщетного богатства» Джорджа Мура (1895).

«Мертвые» неожиданно стали осевой вещью в творчестве Джойса. Тема обманутого мужа есть во всем, что им написано, и только в этом рассказе из нее вырастают иной вывод, иные ощущения, сознание взаимной зависимости мертвого и живого. Упомянув об этом впервые еще в 1902-м, в эссе о Мэнгане, Джойс развивает эту мысль в «Дублинцах»; первый рассказ книги о том же, как и «Несчастный случай», но куда ближе к ней «День плюща», где разговор живых, к чему бы ни переходил, неминуемо вьется вокруг смерти. Кто-то из университетских приятелей на его реплику о том, что смерть есть лучшая форма жизни, ядовито заметил, что в таком случае отсутствие есть лучшая форма

присутствия, не зная, что для Джойса это не вовсе абсурд. Два эти рассказа связывает персонаж, который не появляется и не появится, потому что мертв, но споры и переживания из-за него живее всех живых.

Джойс признавался Станислаусу, что идея «Дня плюща» заимствована у Анатоля Франса, из знаменитого «Прокуратора Иудеи». Там Понтий Пилат, элегантный, усталый, насмешливый, рассуждает с друзьями о том, что происходило в Иерусалиме тогда, и никто не вспоминает одно-единственное имя. Когда в конце беседы Пилата вдруг спрашивают, помнит ли он человека по имени Иисус из Назарета, он совершенно честно отвечает: «Иисус? Иисус из Назарета? Нет, не могу такого припомнить…» Но отсвет этого человека лежит на всем, о чем они говорили, и без него беседа не имела бы никакого значения. У Джойса это Парнелл и Майкл Фьюри.

В «Улиссе» призрак матери не оставляет сознания Стивена, призрак сына то и дело встает перед Блумом. «Поминки по Финнегану» — тончайшее сращение умершего и живого; там Анна Ливия Плюрабель, женщина — река жизни, текущая к океану-смерти, чтобы исчезнуть в нем, не исчезая, просто пресная вода становится горькой солью. Но ведь океан ее и породил, из рожденных над ним туч пролилась ее прозрачная плоть, океан и муж ее, она отдается ему. Так же и Гэбриел ищет то, что породило его, — в них одна печаль и усталость. Волны Шэннона для него мутны и буйны, Анна Ливия видит холодный и безумный океан. И в «Поминках…» она обручается не только с любовью, но и с гибелью.

Джойсу всего двадцать шесть, но он пишет рассказ, достойный очень взрослого и зрелого мастера. Он уже оправдал для себя бегство от Ирландии, но куда он бежит и зачем, вряд ли ясно до конца ему самому. В «Русских сказках» Горького мудрый пристав советует барину, имеющему проблемы с идентификацией; «Потритесь вы об инородца!» Изгнание, вернее, самоизгнание, окончательно сделало Джойса дублинцем. «Мертвые» написаны о том, что это такое — быть ирландцем без Ирландии.

Глава пятнадцатая ОРАТОР, ЖУРНАЛИСТ, ПОЭТ

I hunger to build them anew…[60]

Первые годы вдали от Ирландии Джойс как будто оттачивал способность падать от любого толчка и превращать любое мелкое осложнение в сокрушительную катастрофу. Никто не осмеливался предположить для Джойса оптимистического будущего; он словно делал все, чтобы оправдывать худшие прогнозы. Однако в «Улиссе» Блум, пронаблюдав, как Стивен Дедалус попадает в одну за другой в любые возможные передряги, выносит неожиданный вердикт: «Уверенность в себе, равные и противоположные силы саморасточения и самососредоточения».

В Триесте его не ждало ничего хорошего. Станислаус несколько раз писал ему, что в школе Берлица его даже не хотят видеть, Артифони ему помогать не собирается, да и он, родной брат, вот-вот сорвется из-за постоянных требований денежной помощи. Но Джойсу как будто не было до этого ни малейшего дела. Он словно не замечал бедности и падений, в которой тонула его жизнь. Какие-то литературные боги хранили его там, где другие, куда более благополучные, погибали. Именно такое чудо случилось в Триесте.

7 марта 1907 года Станислаус, встревоженный двумя подряд телеграммами, что его брат возвращается в Триест ночным поездом вместо дешевого каботажного пароходика, помчался на вокзал. Он упустил Джеймса, и тот нашел его сам — изрядно пьяный, заносчивый и требовательный. В кармане у Джеймса была одна лира — десять пенсов или около того, что было определенным прогрессом: когда Стэнни приехал в Триест, брат встречал его с одним чентезимо. Джеймс совершенно в манере будущих «Поминок…» сказал: «Мы в дыре. Сделай что-нибудь. Найди». Стэнни принялся объяснять, что все очень плохо, что этим летом ни у кого не было уроков, но Джеймс рассмеялся и сказал: «У меня есть ты!» Эллман замечает, что если бы Станислауса не существовало, Джойс бы выдумал кого-нибудь вроде. Но тут Джойс почувствовал, что брат не верит в его способность выворачиваться из трудных положений, и начал творить чудеса.

Франчини, которому он был изрядно должен, тем не менее приютил его у себя на несколько дней. Артифони был ни к чему

второй преподаватель английского, но еще меньше ему нужен был независимый конкурент, оттягивающий клиентуру — особенно престижную, вроде графа Сордина, барона Ралли, того же Роберто Прециозо, который был предан прежнему учителю. Поэтому Джойсу предложили пятнадцать крон в неделю, за шесть часов преподавания, и он мгновенно согласился: это куда лучше, чем протирать штаны в банке, а перед натиском его попрошайничества пал даже Артифони. Работа выглядела сомнительной и недооплачиваемой, но пока Джойса это не волновало. Все его прежние ученики были рады ему, Прециозо тут же заказал ему серию статей о том, что такое империя для Ирландии. Читатели «Пикколо делла сера» обречены были сделать вывод, что мерзости империи в Триесте и Дублине одинаковы. А Прециозо пообещал ему заплатить по особой ставке — он же оказался чем-то вроде иностранного корреспондента.

Джойс, польщенный возможностью продемонстрировать свой изысканный итальянский, первую статью сделал уже через неделю, вторую в середине мая, третью в сентябре. «Я вряд ли Иисус Христос, как я когда-то сладко мечтал, но думаю, что талант к журналистике у меня все же есть», — говорил он Станислаусу. В начале «Улисса» Стивен говорит, что, как ирландец, он служит двум господам — английскому и итальянскому языку. Но Британской империи и Ватикану в первых двух статьях приходится очень несладко. Третья, «Ирландия у черты», появилась через четыре месяца, и в ней досталось уже ирландцам — за то, что они воюют сами с собой, а не с английским угнетением. Газеты Англии писали о так называемых «актах аграрного терроризма», когда судили крестьян, не способных объясниться по-английски, а суд и ленивые переводчики не пытались даже вникнуть в их объяснения и честно пересказать случившееся. «Фигура косноязычного старика, обломка не нашей цивилизации, глухого и немого перед своим судьей, — вот символ Ирландии у черты общественного мнения». Аграрные преступления, хотя и нечастые, были актами последнего отчаяния. Что бы ни старались выставить читателю британские журналисты, Ирландия не была страной дикарей и хулиганов, пусть даже само это слово тамошнего происхождения.

Очерки Джойса сделали ему некоторое имя, во всяком случае в Триесте. Ученик Джойса, «дотторе» Аттилио Тамаро, впоследствии автор националистической истории Триеста, предложил ему три публичные лекции об Ирландии в Народном университете. Джойс немедленно согласился. Первая лекция, 27 апреля 1907 года, называлась «Ирландия, остров святых и мудрецов»; Джойс и так редко говорил экспромтом, но тут он из

боязни ошибок написал и тщательно выправил полный текст лекции на итальянском.

Лекция оказалась неожиданно менее жесткой, чем от него ждали. Собственно, так Ирландию вполне заслуженно именовали еще в Средние века, поэтому Джойс делал акцент на том, что британское владычество растлило народ, извратив его лучшие качества, отшлифованные неустанным духовным трудом: «Преобладающие экономические и политические условия не позволяют развиваться индивидууму. Душа страны ослаблена бесполезной борьбой и нарушенными договорами, индивидуальная инициатива парализована влиянием и ограничениями церкви, тогда как тело сковано полицией, налоговым ведомством и армией. Никто, обладающий самоуважением, не остается в Ирландии, но бежит оттуда, как будто страна вот-вот переживет пришествие Юпитера гневного…» Джойс не кровожаден, однако попов и королей Ирландии не надо: «Может быть, со временем начнется постепенное пробуждение ирландского сознания, и может быть, после четырех-пяти столетий пребывания пищей для червей мы увидим, как ирландский монах отшвыривает прочь рясу, сбегает с монахиней и громко провозглашает конец согласованному бреду, который был католицизмом, и начало бреду несогласованному, которым является протестантизм».

Надежд на немедленное устранение британской власти он не питает: «Ирландии достаточно двусмысленностей и взаимного непонимания. Если она хочет поставить пьесу, которой мы так долго ждали, то пусть на этот раз она будет цельной, законченной и определенной. Ирландским постановщикам стоит посоветовать то же, что советовали не так давно нашим отцам — торопитесь!.. Уверен, что по крайней мере я никогда не увижу, как взовьется занавес, потому что уже отбыл с последним поездом».

Озвучивание своего неприятия ирландских несуразиц, как ни странно, помогло ему сохранять накаленно-живую связь с родиной. То, что отозвался отец, его только обрадовало. Джон Джойс шумно возмущался побегом сына с невенчанной женой, но постепенно ощутил, насколько приятнее прощать. Еще в Риме он поздравил сына с Рождеством и, чтобы закрепить отношения, попросил фунт на праздники. Фунта у сына не нашлось, и вечно дающему Станислаусу пришлось раскошелиться еще и на отца — понятно, выслав фунт в Рим, чтобы Джеймс мог послать его в Дублин… Они обменялись гордо-ворчливыми и ирландски-красноречивыми письмами, и здесь Джеймс уже сам по мелочи наскреб фунт, чтобы подтвердить свою сыновнюю снисходительность: это было крайне важно для него.

И тут вышла первая настоящая книга Джеймса Джойса.

В конце марта из Рима в Триест пришла посылка, отправленная Элкином Мэтьюсом из Англии. Там были гранки «Камерной музыки». Джойс тщательно выправил их и отослал обратно, а потом вдруг заволновался о качестве стихов. Станислаус вспоминает, что в начале апреля Джеймс не шутя собрался на почту, давать Мэтьюсу телеграмму об отказе издавать книгу. Брату стихи нравились, он долго отговаривал автора, но тот был неумолим. Стихи были о любви, а он, Джеймс Джойс, никогда любви не знал. Никаких подделок, литература и без него изолгалась! Наконец Стэнни убедил Джеймса все же издать книгу. Даже если она — ложь, то потом он сможет опубликовать правду. Время показало, что, как в известном анекдоте, Джеймс был тоже прав: «Камерная музыка» все больше выцветает на фоне остальных его книг.

Артур Саймонс сдержал слово и опубликовал рецензию в майском номере «Нэйшн». Там написано, что это чистая поэзия, не принадлежащая ни к одной школе, каждое стихотворение — «миг остановленной вечности». Стихи тонки и музыкальны, однако «несут то и дело возникающий укол прозы, как у Рочестера, придающий чувственности оттенок язвительности».

Дублинские друзья обошли сборник почти полным молчанием — откликнулись лишь Томас Кеттл в «Фрименз джорнел», Артур Клери в «Лидер» да какой-то несуразный аноним. Почти двадцать лет эти отзывы оставались единственными упоминаниями о нем в дублинской прессе.

Денег ему книга не принесла — роялти выплачивались только после продажи трех сотен экземпляров, а к июлю 1908 года из тиража в 507 экземпляров разошлось только 127. Правда, стихи уже ложились на музыку, ими заинтересовались такие известные тогда музыканты, как Джеффри Молино Палмер, написавший музыку к 32 из 36 его стихотворений. Собственно, Палмер вернул Джойсу высокую оценку стихов и стал одним из очень немногих, кому Джойс был благодарен; когда еще совсем молодого Палмера начинает мучить рассеянный склероз, Джойс поддерживает с ним связь и часто пишет ему.

Первая скромная удача не улучшила и его отношения к Триесту — его снова терзало разочарование. Не удалось убедить «Коррьере делла сера» послать его корреспондентом в Дублин, на выставку; в июле он пишет в Колонизационное общество Южной Африки, но и там нет вакансий. Ему было все равно куда уезжать, в Индию или Белуджистан. Сам факт, что это невозможно, болезненно раздражал. К тому же у него начались приступы ревматизма, обострившиеся в середине лета. Вполне возможно,

что это были последствия романтических ночлегов в римских и триестских канавах. Пришлось лечь в больницу и пролежать там до сентября. Джойс рассказывал биографам, что Норе приходилось брать стирку, чтобы прожить, но Станислаус куда достовернее описывает, как снова тащил семью на себе. Артифони даже навестил Джеймса и пообещал оплатить больничные счета, однако списать долги, в которые залез Станислаус, отказался. Через несколько дней после госпитализации мужа у Норы начались схватки, ее пришлось везти в ту же больницу, и 26 июля 1907 года в палате для бедных, «почти на улице», говорила Нора, появился второй ребенок Джойса — девочка. Назвали ее Лючией, но так как был день святой Анны и мать Норы тоже звали Анной, она получила и второе имя. При выписке Норе выдали 20 крон — на бедность.

Девочка войдет в жизнь Джойса так глубоко, как он и представить себе не мог. Но первые дни ее жизни были тяжелы для всех — больной Джойс, разозленный Стэнни, едва оправившаяся Нора, кормившая непрерывно вопящую Лючию, и совершенно неугомонный Джорджо. Когда отец семейства выписался, в школе были два новых преподавателя, немец и француз, и Станислаусу категорически отказали в авансах. Джойс тут же решил оставить Берлиц и уволился без всякого предупреждения. Теперь он полностью ушел в частное преподавание, брал по 10 крон за урок (Артифони платил три), и Станислаусу приходилось трудно еще и здесь — он не мог уйти из-за долгов и щепетильности. Когда у него спрашивали адрес замечательного преподавателя, синьора Джакомо, он печально отвечал, что, как сотрудник школы Берлица, не имеет права говорить… Правда, в сентябре — октябре у Джойса было всего трое учеников, и пришлось сильно сократить расходы, до того как Стэнни отработает долги.

Но тут на помощь решил прийти Оливер Гогарти, который, как врач, очень озаботился известием о ревматизме Джойса. Перевод на фунт стерлингов был первым подспорьем, а осенью Гогарти приехал в Вену закончить медицинское образование и оттуда написал Джойсу. Ответ был неожиданно дружеским, и 1 декабря Гогарти пригласил его с собой в Афины и Венецию, потом на неделю в Вену, а затем вообще предложил поселиться там. В этом городе его уже ждали ученики. Джойс долго обдумывал предложение, но уступил доводам брата и отказался. Силы понемногу возвращались, и Джойс работал над рукописями. Болезнь часто дает возможность подумать и накопить нетерпение. Он педантично расписал свою литературную жизнь на несколько лет вперед. «Мертвые» были почти закончены, и финал с его

усталостью, опустошенностью, тоской в немалой мере окрашен недугом автора. После этого он собрался полностью переписать «Стивена-героя», убрав первые главы, и начать с того, как герой по имени Дали идет в школу; вся книга должна была уместиться в пять длинных глав. Тут Джойс наконец нащупал всю конструкцию книги. В конце ноября он переписал начисто первую главу и до апреля 1908 года завершил третью.

Его проза стала насыщенной и сосредоточенной — в «Стивене-герое» он грешил многословием. Работа оказалась затягивающе новой для самого автора, он нащупывает стиль, какого в ирландской литературе прежде не было, но одновременно тягостно уверен, что никогда эту книгу не издаст. Уже тогда Джойс предвидел обвинения в непристойности и даже судебное преследование.

В конце осени его дневники и заметки все чаще несут следы обдумывания замысла, который станет «Улиссом». Собственно, рассказ уже был придуман и продуман, и все же Джойсу хотелось написать ирландского «Пер Понта». Станислаус в разговоре предложил сделать из романа комедию — в средневековом, дантовском смысле, но Джойс отказался. Что он, собственно, имел в виду и какого Пера Понта он хотел создать — остается неясным. Затем является другая ремарка — об ирландском Фаусте. Разговор опять заходит об автобиографии, и Джойс взрывается, когда ему говорят, что автобиография писателя должна говорить о его психологии: «Психологи! Как может знать человек о том, что происходит в его собственной голове?»

Все это — беседы, ссоры, обсуждения, саркастические разборы ирландской и прочей книжной продукции — было верхушечной частью непредставимо гигантской работы, кипевшей в Джойсе трезвом и пьяном, больном и здоровом, пишущем, читающем, преподающем. Трудно представить таким тиглем банального молодого человека в шляпе и очках, угрюмо торопившегося на очередной урок. Бурлившее в тигле оказалось неслыханным сплавом изо всего, что возможно в человеческой жизни.

Разговоры о романе сплетались чаще на основе драмы, чем на прозаическом фундаменте. Джойс часто бывает в театре. Франчини, рецензентствовавший для «Коррьере делла сера», снабжал его контрамарками. Ему посчастливилось видеть Элеонору Дузе в «Привидениях» Ибсена, и он восторженно сравнивал ее с ролью в «Мертвом городе» д'Аннунцио, виденном в Лондоне еще восемь лет назад. «Там, дома, и представить не могут, что бывают такие актеры!» — кричал он на весь театральный зал, глядя на Эрмете Дзаккони в «Нахлебнике»

Тургенева. Триестинцы даже любовались его бушеваниями. Театр не поменял его отношения к Шекспиру. Ранее Джойс отвергал «Макбета» с его фантастикой и несообразностями, теперь он принялся за «Гамлета». В Триесте гастролировал Томмазо Сальвини, и даже его могучая трактовка Гамлета вызывает ярость у Джойса. Ему претит, что безумие Офелии лишает силы всю историю датского принца, сентиментализируя ее, что мерзость Клавдия, укрепляющая ненависть Гамлета, никак не рисуется драматически и принимается скорее на веру. Нет, утверждает он, Ибсен куда лучше — он хотя бы настаивает, что мы живем в бесконечном повторении одной и той же драмы и четыре-пять персонажей исчерпывают ее целиком. Эллман замечает, что, как многие большие художники, Джойс искал у других больших художников главным образом подтверждения своей духовной истории.

Подтверждением было и то, что театр «Эбби» все воевал против Синга. Но если поначалу Джойс злорадствовал, видя, как запутались Йетс и его соратники, то сейчас он с небывалой скромностью признает: «Искусство Синга куда оригинальнее моего». Перечитав в 1908-м «Скачущих к морю», он уговорил своего приятеля и ученика Никколо Видаковича помочь перевести эту вещь на итальянский. Будущим переводом заинтересовался талантливый актер и продюсер Альфредо Сайнати из итальянской компании «Гран гиньоль», и все бы хорошо, но Синг умер в 1909 году, а наследники почему-то не дали согласия.

Срывались и другие проекты. Издание «Камерной музыки» никак не отразилось на «Дублинцах»: в ноябре 1907 года Элкин Мэтьюс отверг второй вариант рукописи, но предложил ее дублинскому издательству «Маунсел и К°». Исполнительным директором его был старый приятель и кредитор Джойса, Джордж Робертс, который еще в 1905-м собирался издавать юного гения, но популярное английское издательство было, разумеется, куда лучше провинциального ирландского, да и читатели там были другие. Джойс написал в «Хатчинсон и К°», но там посоветовали даже не ходить на почту. Издательство «Олстон Риверс» отклонило ее в феврале 1908-го, «Эдвин Арнольд» — в июле. Джозеф Хоун, главный редактор «Маунсел», официально предложил ему прислать рукопись, но Джойс тянул с отправкой до следующего года.

Житейские проблемы бодро смешивались с творческими. Снова потребовалась квартира. От Франчини семья перебралась в комнаты по соседству, куда ради экономии переехал и Станислаус… Неудобства были тоже традиционные — чтобы попасть к себе, Джеймс и Нора проходили через комнату Стэнни.

Когда Джеймс, шатаясь, возвращался из кафе, то непременно будил брата, который тут же закатывал ему жестокий скандал. «Ты что, хочешь ослепнуть?! — кричал он. — Хочешь болтаться с собакой-поводырем?!» Из следующей комнаты откликалась Нора: «Да, иди и напейся! Это все, на что ты способен. Говорил мне Косгрейв, что ты псих. Клянусь, что завтра же твои дети будут окрещены!» Такой угрозы Джойс вынести не мог даже пьяный. Ярость брата, презрение жены и собственный страх, что алкоголь усугубит проблемы со зрением, начавшиеся после приступа ревматизма, заставили его 12 февраля 1908 года торжественно отказаться от спиртного. Нельзя сказать, что Джойс безупречно держал слово. Британские военные моряки пригласили компатриотов на линкор, щедро угостили и Джойса вернули домой в полной бессознательности. Но в мае он перенес сильное воспаление радужной оболочки, напугавшее его так, что он бросил пить надолго.

Зато нашлась квартира: просторная, на втором этаже дома 8 на виа Скусса, но за нее потребовали залог в 25 фунтов стерлингов. Ученик по имени Этторе Шмиц предложил ему 200 крон, все, что у него было, ученик-грек, торговец фруктами, тоже собрался помочь, но у Станислауса был богатый клиент, часто предлагавший помощь, и в этот раз Джеймс вынудил брата принять 600 крон от его щедрот. Но их не выпускала квартирохозяйка, требовавшая уплатить долг или отдать взамен мебель. Нора со всеми этими треволнениями выкинула трехмесячный плод, что ее не слишком огорчило, однако Джойс долго и внимательно рассматривал мертвый эмбрион, которого воскресит в тоске Блума по Руди, потерянному сыну.

Учеников летом практически не было, и Джойсу пришлось задуматься о других способах заработать на жизнь — он предложил себя фирме знаменитых донеголских твидов в качестве комиссионера в Триесте, снова начал заниматься вокалом. Решил искать вакансию на государственной службе. Всерьез обсуждал со Станислаусом шансы получить в Королевском университете трехлетнюю стипендию по итальянской литературе. Тем временем что-то начало получаться с намерением Джойса отослать Джорджо и Станислауса на лето 1909 года в Дублин. Маргарет, ведущей дом отца, он пообещал оплатить дорогу брата и сына, а также их содержание. В конце письма он благодарит сестру за вопрос о здоровье и пишет, что ревматизм отступил и теперь он больше напоминает заглавное «S», чем заглавное «Z». Станислаус в ответ на предложение спросил, почему с Джорджо должен ехать не отец, а дядя.

Осенью 1908-го переезд на новую квартиру едва не сорвался

— Джойс застрял между старой хозяйкой и новой, да еще Станислаус не выдержал и устроил скандал. Джойс хотел, чтобы он не торопился возвращать 400 крон, взятые у ученика, а брат решительно отказался злоупотреблять доверием благодетеля. Тогда разъярился Джеймс и предложил ему убираться, что и было сделано с криками и грохотом. Стэнни отыскал квартиру на виа Нуова, 27, куда затем явился Джеймс — извиниться и признать, что они с Норой погорячились… Примирение состоялось, но проживание осталось раздельным.

В марте 1909 года они наконец переехали. Станислаусу тоже вышло воздаяние: Артифони предложил ему занять место исполняющего обязанности директора «Скуола Берлиц», потому что прежний завалил всю работу. Мученичество Станислауса возобновилось: работа была тяжелой и прибавка в четыре фунта не делала ее привлекательнее. Впрочем, Триест ему все равно нравился. А вот Джеймса он разъярял, и прежде всего потому, что он связывал город и свое затянувшееся неписание. Три первые главы «Портрета…» лежали в папке, пятнадцать первых лет жизни и вспышка благочестия были описаны, дальше все было намного сложнее, и писать об этом надо было не теряя, важным и смыслонесущим казалось всё.

На помощь пришел один из учеников, упомянутый ранее Этторе Шмиц, сорокавосьмилетний тогда, успешный менеджер компании, производившей антикоррозийную краску для судов, имевшей фабрики в Триесте, Мурано, Вене, Риге и даже в Лондоне. Из-за лондонских контактов Шмиц решил заниматься английским и познакомился с Джойсом. Его жена Ливия тоже решила брать уроки. В конце 1907 года Джойс прочел им только что законченных «Мертвых». Синьора Ливия, которую считают одним из прототипов Анны Ливии Плюра-бель, в восхищении собрала в саду их виллы букет цветов и подарила их Джойсу. А сам Шмиц признался, что поглощен литературой, и даже напечатал два романа, полностью провалившихся у публики. Первый, «Одна жизнь», под псевдонимом Этторе Самильи, а второй, «Дряхлость», под именем Итало Звево. Этот псевдоним намекал на его происхождение от отца, австрийского немца, и матери, итальянской еврейки; он означал на диалекте «италонемец». Но сам он говорил, что выбрал его из жалости к «одинокой гласной, окруженной шестью согласными в имени Шмиц». Джойс попросил оба романа и унес их с собой, скорее из вежливости и ядовитого любопытства, чем из подлинного интереса. Но его ждало открытие. Шмиц оказался талантлив. Мягкая и печальная ирония, совершенно отличная от джойсовской, но прекрасно выписанная, достоверно переданный

триестинский колорит, имена-фамилии и словечки на арго. То, что так заинтересовало Джойса, возмущало итальянских критиков-пуристов. Когда на следующий урок он возвращал книги Шмицу, то поинтересовался:

— Вам известно, что вы писатель, которым незаслуженно пренебрегли? В «Дряхлости» есть куски, которых не улучшить даже Анатолю Франсу.

Потрясенный Шмиц забыл об уроке и завтраке, утащил Джойса в город и несколько часов, бродя по Триесту, они говорили о своих взглядах на литературу. До своей гибели в 1928 году он написал по крайней мере один несомненный шедевр — трилогию «Самопознание Дзено», именно потому, что стал по-другому воспринимать свою работу. Он был старше Джойса почти на 20 лет и обладал способностью, которой тот был практически лишен, — дружить. Шмиц был одинаково внимателен и к друзьям, и к своим рабочим, на любой вечеринке или приеме вокруг него быстро собиралась маленькая толпа, собственно, талант его и уходил на развлечение друзей великолепными афоризмами и анекдотами. Очевидно, после обидного провала его первых книг Шмиц прятал свои литературные амбиции в такие нарядные коробочки. Жена его, Ливия Венециани, была богата и красива и исповедовала католицизм. Интерес Шмица к иудаизму давно угас, но в течение нескольких лет именно он был для Джойса, пока тот писал «Улисса», главным источником сведений о еврействе.

Шмиц оставил запись о своем друге-учителе — еще и потому, что тот сам попросил его об этом. Такое домашнее задание по английскому языку.

«М-р Джеймс Джойс, описанный его преданным учеником Этторе Шмицем.

Когда я вижу его идущим по улице, мне всегда кажется, что он наслаждается досугом, полным досугом. Никто не ждет его, и он не хочет достигнуть цели кого-нибудь встретить. Нет! Он идет, чтобы остаться с собой. Он также не прогуливается ради здоровья. Он идет потому, что его ничто не останавливает. Я думаю, что, если он встретит на своем пути высокую стену, его это не потрясет. Он просто сменит направление, и если новое окажется несвободным, он снова сменит его, колеблясь только натуральными движениями тела, а ноги его будут двигаться безо всяких усилий ускорить (убыстрить) его шаги. Нет! Его шаг — подлинно его шаг, и ничей больше, и его нельзя ни замедлить, ни сделать быстрее. Все его тело спокойно, как у спортсмена. Если двигается, то как у ребенка, ослабленного любовью родителей. Я знаю, что жизнь была не такими родителями для него. Она была

самой плохой, и все равно мистер Джеймс сохранял внешность человека, который считает все вещи точками света, вспыхивающими для его удовольствия. Он носит очки и поистине использует их без перерыва с раннего утра до поздней ночи, когда он просыпается. Может быть, он видит меньше, чем это предполагает его внешность, но он выглядит как существо, которое двигается, чтобы видеть. Конечно, он не может драться и не хочет. Он идет сквозь жизнь, надеясь не повстречать плохих людей. Я сердечно желаю ему не встретить их».

За домашнее задание можно поставить твердую «пятерку». Хотя о некоторых определениях приходится напряженно догадываться или даже оспаривать их: мистеру Джойсу нравилось встречать плохих людей. Они оправдывали его уверенность в несовершенстве мира и были очень, очень интересны.

В мае «Пикколо делла сера» напечатала очерк Джойса об Оскаре Уайльде — это было связано с постановкой «Саломеи» Рихарда Штрауса. «Саломея» даже в судьбе Уайльда занимает особое место: она была запрещена к показу в Британии на долгие годы, кайзер Вильгельм лично наложил вето на постановку оперы в Берлине, а совет директоров Метрополитен-опера после премьеры снял ее с репертуара. Триесту все они были не указ, и постановка состоялась с большим успехом. Джойс заново заинтересовался Уайльдом, пытался перевести на итальянский «Душу человека при социализме» и часто упоминал о нем. Уайльд интересовал его как родственная натура, человек, пытающийся увидеть красоту во всем, но сознающий, что он унижен и загнан. Гомосексуализм, за который Уайльда поносили и в конечном счете уничтожили, прочно опирался на английскую систему образования, и в «Портрете…» есть эпизоды, свидетельствующие об этом. Джойс подводит читателя к мысли, что Уайльд, хотевший радости и добра всем, предан, обесчещен и замучен, как Христос. И в этом он тоже видит их сходство. Ему пора было собираться в Иерусалим, проведать своих гонителей и предателей, увидеть, какой новый мятеж вызовет его появление и какой приговор изречет ему Ирландия. Пока что она безмятежно молчала.

Об этом он размышляет и пишет всю весну 1909-го, и единственный, кто выигрывает здесь, — замотанный Станислаус. Ему не придется везти Джорджо. Ему не придется даже тратиться — Джеймсу неожиданно заплатили вперед за год уроков, и они с сыном триумфально отбыли в конце июля на целых шесть недель.

Вряд ли Джойс предчувствовал в полной мере, чем обернется для него возвращение.

Глава шестнадцатая ПОБЫВКА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ПОЕДИНОК

Wrong of unshapely things is a wrong to great to be told[61].

Путешествие на запад началось. Чем ближе был Дублин, тем сильнее Джойсом овладевало прошлое. Нора просила свозить Джорджо в Голуэй, к ее родным, ему самому предстояло в Дублине множество встреч, и многие из них должны были состояться как бы впервые.

Королевский университет довольно быстро преображался в Национальный, и Джойс рассчитывал выяснить, сможет ли он получить место профессора. Ну и, разумеется, поговорить о «Дублинцах» в «Маунсел и К°», куда он отослал рукопись сборника. Ирландия никогда не внушала ему оптимизма, но не приехать было нельзя, в том числе и для того, чтобы получить новый толчок, поколебать или даже сломать гомеостаз.

Ирландское море они с Джорджо пересекли почтовым катером. От острова Холихед до Кингстаунского причала добрались 29 июля. С некоторой опаской Джеймс вез Джорджо прямо на Фонтеной-стрит, в обнищавший дом Джойсов, но был встречен прямо-таки по-библейски. Родня была удивлена, что он не привез и брата, но появление внука и племянника затмило всё. Джон Джойс настойчиво убеждал сына перебраться поближе и интересовался, что это он так грустен. Но сестра очень польстила ему, утверждая, что он выглядит «совершенно по-иностранному». И все сочли, что он очень исхудал.

Отец давно был готов сменить праведный гнев на милость к сыну-нечестивцу. Прогуливаясь, они зашли в деревенский паб, где в углу стояло древнее пианино. Джон Джойс уселся за него и тут же запел: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной, где так много светлых дней было в юности твоей…» «Узнаешь?» — спросил он. «Да», — ответил сын.

Очень скоро появился и Винсент Косгрейв, который известил Гогарти, немедленно приславшего Джойсу записку с приглашением пообедать. К записке прилагался шофер с машиной. Видимо, Джойс отказался, потому что в письмах и записях упоминается, как первая, случайная встреча с Гогарти на Мэррион-сквер. Жестокость и насмешливую враждебность он по-прежнему считал основой натуры Гогарти: ему казалось, что Оливер спаивал его, что он выгнал его из башни Мартелло.

Письма всех этих лет ничего не изменили — Джойс молча прошел мимо. Гогарти помчался за ним, ухватил за рукав и вдруг остановился, взглянул на Джойса уже глазами врача хорошей выучки и произнес: «Иисусе… Парень, да у тебя же тубер!» Чуть ли не силой он утащил Джойса в свой роскошный дом на Элайплейс, усадил в гостиной и, как писал гость, «принялся молоть вздор». Джойс рассматривал в окно прекрасный сад. Гогарти снова предложил съездить на машине в Эннискерри и пообедать втроем, с его женой. Джойс, по его словам, вежливо и спокойно отказался. Как и от грога, вина, кофе и чая.

Гогарти огорчал их разрыв, но еще сильнее его заботило то, что Джойс хотел написать о нем. Ирландские барды слагали воистину убийственные стихи о своих оскорбителях, а Джойс никогда не скрывал намерения описать случай с выселением. Наконец Гогарти, покраснев, спросил: «Ты и вправду хочешь, чтоб я убирался в ад и горел там?» Джойс ответил: «Я не питаю к тебе злобы. Думаю, в тебе есть хорошее. Мы, ты и я шестилетней давности — мертвы. Но я должен писать так, как чувствую».

Гогарти ответил: «Мне наплевать, что ты скажешь обо мне — пока это литература».

«Правда?» — спросил Джойс.

«Правда. Клянусь Иисусом. Может, мы наконец пожмем друг другу руки?»

Джойс ответил: «Я ценю это понимание» — и вышел.

Он хотел быть героем, без жестокости и сладострастия сражающим врага, — он им был. В его описании. Меньше всего следует подозревать Джойса во лжи и даже в приукрашивании события; он мог просто чуть-чуть подправить акценты. Вообразим на секунду, что Джойс отвечает нервно, срываясь и дергаясь, а Гогарти, наоборот, грустен и деликатен, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию. При том же диалоге мы получим совсем иную картину, которая, впрочем, ничего не меняет.

Гуляя по Дублину, Джойс, разумеется, то и дело встречал кого-то. Так он столкнулся с Фрэнсисом и Ханной Скеффингтон, которые тоже готовы были забыть давнюю ссору. И к ним он тоже отнесся сдержанно, также отказался от приглашения на ужин. Встреча с Джорджем Расселом и Эглинтоном проходила в сходном духе, и опять-таки дружелюбны были другие, а Джойс был колюч и замкнут. Рассел сказал ему, что он выглядит как бизнесмен. С Керраном состоялся напряженный разговор по телефону. Бирн уезжал в Уиклоу, но вернулся в Дублин, получив записку от Джойса. Они провели вместе хороший вечер дома у Бирна, играли с Джорджо, и Джойс опять взял свое: адрес Бирна, Экклс-стрит, 7, стал потом адресом Блума в «Улиссе». Томас

Кеттл, его главный ирландский рецензент, тоже отсутствовал, но обещал вернуться и повидать Джеймса. К тому же он собирался жениться на Мэри Шихи, тайной юношеской любви Джойса.

Все же неделя прошла достаточно приятно. Уютный бездельник Косгрейв был всегда к его услугам. Но Джойс, который всегда прекрасно знал, на кого обижен он, не всегда знал, кто зол на него. Видимо, Нора все же была больше чем хорошенькой горняшкой, и то, что она предпочла Джойса, тоже было больнее, чем удар по мужскому самолюбию. Потом Джойс вставил бывшего друга в книгу, да еще и под неприятной фамилией, а ведь тот просил этого не делать. Получилось что-то вроде семьи — любовница, сын, дочь. И в Триесте у него дела идут непонятно за счет чего… Косгрейву пока не везло ни в чем, и чуть покровительственная сдержанность Джеймса раздражала его, он старался пробить ее. Видимо, потому 6 августа и был затеян разговор о Норе.

Хорошо знающему Джойса человеку было нетрудно сыграть на его мнительности, недоверчивости и мучительной неуверенности — он-то ведал суть того, что Косгрейву казалось успехом. Вот и напоминание о том, что Нора виделась с ним через сутки, вдруг подняло бурю. Теперь, по словам Косгрейва, оказалось, что она не оставалась на те сутки в отеле весь вечер, а прогуливалась вдоль реки. В его сопровождении.

Джойс получил очень болезненный удар. На весах взлетали и падали два груза: доверие Норе, ее невинность и верность, и жуткая возможность предательства. Косгрейв засадил гарпун даже глубже, чем хотел. Дублин обострил старые страхи и подозрительность Джойса; Ричард в «Изгнанниках» говорит человеку, которого считает своим самым старым другом: «В самой глубине моего мерзкого сердца я жажду быть преданным тобой и ею… я жажду этого так страстно и подло, быть навсегда обесчещенным в любви и похоти, навечно остаться постыдной тварью и отстроить свою душу заново на руинах позора».

Письмо Норе он написал за час — несколько листов яростных обличений и горечи. Все кончено, в Голуэй он не поедет и Дублин покинет немедленно, не закончив ничего из начатого.

«Я услышал это лишь час назад от него самого. Мои глаза полны слез, слез печали и унижения. Мое сердце полно горечи и отчаяния. Не вижу ничего, кроме твоего лица и того, как оно запрокидывается навстречу другому. О Нора, пожалей меня за то, как я сейчас мучаюсь. Я буду плакать сутками. Разрушена вера тому лицу, которое я любил. О Нора, Нора, сжалься над моей бедной разрушенной любовью. Я не могу назвать тебя никаким другим нежным именем, потому что сегодня вечером узнал, что

единственное существо, которому я верил, не было мне верным.

О Нора, неужели между нами все кончено?

Напиши мне, Нора, во имя моей мертвой любви. Меня мучат воспоминания.

Напиши мне, Нора, я любил только тебя: а ты разбила мою веру в тебя.

Напиши мне, Нора».

Ночью он спал меньше часа. На рассвете бросился к столу и написал еще одно сумасшедшее письмо.

«О Нора! Нора! Нора! Я говорю теперь с девушкой, которую любил, у которой были рыже-каштановые волосы, которая вышла ко мне танцующей походкой и так легко забрала меня в свои руки, которая сделала меня мужчиной.

Я выеду в Триест, как только Стэнни вышлет мне деньги, и там мы сможем решить, как поступить лучше всего.

О Нора, надеяться ли мне еще на счастье? Или моя жизнь разрушена? Если я смогу забыть мои книги, моих детей и то, что девушка, которую я любил, оказалась лживой, видеть ее только глазами моей мальчишеской любви, я потеряю жизнь.

Каким старым и жалким я себя чувствую!»

Целый день он бродил по городу, а утром 8 августа написал Станислаусу, что уедет сразу, как только тот пришлет деньги. Но хранить тайну Джойс больше не мог. Вечером он кинулся к Бирну, никогда не обманывавшему его доверия, и выложил ему все. Со стонами и метаниями пересказал сказанное Косгрейвом, а Бирн ошеломленно разглядывал его. Наконец Джойс выдохся, и Бирн выложил свою версию. По ней, это был заговор Косгрейва против Джойса, а еще вероятнее — и Гогарти. Не сумев взять его уговорами, они попробовали наглую ложь и почти преуспели.

Как только речь пошла о заговорах, Джойс ожил. Теперь его было можно переубедить. Он устыдился своей легковерности — Иисусе, клюнуть на приманку Гогарти! Пережалеть себя! Устроить такую истерику в письмах!

Раскаяние не заставило себя ждать.

Нора уже получила все «вопли» Джойса и ходила оглушенная; несколько дней она не могла ничего написать, ручка валилась из рук, потом все же собралась с духом и ответила. Это странное письмо — в нем самоуничижение пронизано достоинством и наоборот. Да, он был настолько добр, что взял к себе невежественную девчонку. Да, у него есть все права отделить ее от себя. Да, он может поступать, как считает нужным. Присланное им она после долгих колебаний показала Станислаусу и совершенно неожиданно получила ободрение, поддержку и утешение. А ведь он всегда относился к ней с неприязнью, все

уменьшавшейся, но так и не исчезнувшей. Когда-то, еще в дублинской пивной, Станислаус встретил мрачного Косгрейва, и тот по секрету поведал ему, что пытался встрянуть между Джойсом и Норой, но безуспешно… Несколько лет Стэнни пытался осторожно убедить брата, что Косгрейв может быть тем самым «предателем», но держал данное слово и ни о чем не говорил открыто. Теперь он получил свободу от обещания и в своей обычной прямой и достойной манере написал Джеймсу всю правду. Получалось, что поражение потерпел Косгрейв и нанесла его Нора, и с этим унижением он существовал несколько лет, а затем попытался выместить его на удачливом сопернике. Шекспир на небесах рукоплещет и пьет заздравный кубок.

Правда, еще до письма брата Джойсу при помощи Бирна удалось вновь заняться делами в Дублине, 17 августа он пишет Станислаусу, что встреча с Хоуном и Робертсом прошла успешно: они согласились издать «Дублинцев» и предложили куда более интересные условия, чем выдвигал Грант Ричардс. Через два дня они подписали контракт.

С должностью преподавателя в Национальном университете получилось несколько хуже: курс коммерческого итальянского всего за сто фунтов в год, да еще с вечерними занятиями, и Джойс решил вместо этого просить место экзаменатора по языку, чем он мог заниматься, не выезжая из Триеста. Перевод «Скачущих к морю» на итальянский тоже не удавался, из-за упорного несогласия наследников Синга.

Нора не отвечала, ощущение вины и вспыхнувшая вновь привязанность терзали Джойса, и в день подписания контракта на «Дублинцев» он пишет ей:

«Моя милая,

я ужасно огорчен, что ты не пишешь. Ты не больна?

Я переговорил обо всем этом с моим старым приятелем Бирном, и он замечательно отстоял тебя и сказал, что все это „мерзкая ложь“.

Какое же я ничтожество! Но после такого я буду тебя достойным, дорогая моя.

Моя сестра Поппи завтра уезжает.

Сегодня я подписал контракт на издание „Дублинцев“.

Извинись за меня перед Стэнни за молчание.

Моя чудесная благородная Нора, я прошу тебя простить мое поведение, достойное презрения; но меня сводили с ума, моя любимая. Мы разрушим их трусливый заговор, любовь моя. Прости меня, обожаемая, ведь ты простишь?

Ну скажи мне хоть слово, милая, хотя бы не согласись, и я взмою ввысь от счастья!

Ты здорова, любимая? Ты не растравляешь себя? Не читай эти жуткие письма, что я написал. Я был не в себе от ярости, когда писал их.

Спокойной ночи, моя драгоценная.

Думаю, что ни один мужчина не может быть достоин любви женщины.

Моя чудесная, прости меня. Я люблю тебя, поэтому я и обезумел при одной мысли о тебе и этом обыкновенном бесчестном подонке.

Нора, милая, я смиренно прошу прощения. Обними меня снова. Сделай меня достойным себя.

Я еще добьюсь многого, и ты будешь рядом со мной.

Спокойной ночи, моя дорогая, моя драгоценная. Теперь перед нами открывается вся жизнь. Это был жестокий опыт, и теперь наша любовь будет нежнее.

Дай мне свои губы, любовь моя.

„Мой поцелуй подарит мир
И покой твоему сердцу.
Спи спокойно теперь,
Тревожное мое сердце“.

Джим».

Перемены должны были быть ознаменованы, и через два дня он пишет:

«Знаешь ли ты, что есть жемчуг и что есть опал? Когда ты впервые вышла, прогуливаясь, на меня из того чудесного летнего вечера, моя душа была красива, но бледной и бесстрастной красой жемчужины. Твоя любовь пронеслась сквозь меня, и теперь я ощущаю, словно мой разум стал опалом, он полон странных переливов и красок, теплого света и быстрых теней, прерывистой музыки… Сегодня я написал твоей матушке, но на самом деле я не хочу туда ехать. Они будут говорить о тебе и о вещах, неизвестных мне. Я в ужасе от того, что мне покажут твою детскую фотографию, а я подумаю: „Я не знал ее тогда, а она меня. Когда она утром бежала к мессе, то порой дарила долгие взгляды встречным мальчишкам. Другим — не мне“.

Прошу тебя, дорогая, будь со мной терпелива. Я абсурдно ревнив к прошлому».

Подозрения испарились, дух воспарил, письма Норе теперь были полны желания:

«Что может произойти между, нами? Мы страдали и были испытаны. Каждый покров стыда и робости, казалось, упал с нас. Увидим ли мы дома в глазах друг друга часы и часы счастья, которое ожидает нас?

Украшай свое тело для меня, любимая. Будь прекрасной и

счастливой, любящей и дразнящей, полной воспоминаний, полной жажды, когда мы встретимся. Помнишь три прилагательных, использованных мной в „Мертвых“, когда я говорил о твоем теле? Вот они: „музыкальное, странное, благовонное“.

Ревность все равно кипит в моем сердце. Твоя любовь ко мне должна быть яростной и жестокой, чтобы заставить меня забыть *окончательно*».

Он понимал, какой жестокой пробе подвергла их жизнь, но «из сильного вышло сладкое» — оказалось, что Нора тоже воспринимает их отношения как что-то особенное. Лучшего исцеления нельзя было придумать; во всяком случае, на этот раз.

Джойсу хватало проблем, но семья, как обычно, добавила своих. Сестра Маргарет, шесть лет тянувшая на себе дом, собралась в сестры милосердия новозеландского женского монастыря и должна была со дня на день уехать. Чарльз съехал, женился и теперь вкушал все прелести неудачного брака. С отцом еще жили пятеро сестер — Мэй, Эйлин, Ева, Флоренс и Мэйбл. Порыв жалости к ним вынуждал Джеймса хоть что-то сделать, хотя вряд ли он мог много, например, оплатить Эйлин уроки пения: у нее был голос, хотя и совершенно необработанный. Платить все равно пришлось бы пополам со Станислаусом.

И еще одну сестру он решил забрать с собой в Триест — сначала Мэйбл, потом Маргарет, но та отказалась в пользу Евы.

Сочли, что она, как более религиозная, сумеет благотворно повлиять на нечестивца-брата. Станислаус, как всегда, принялся отговаривать Джеймса, но Джеймс, как всегда, отмахнулся. Девочке удалили гланды перед отъездом, чтобы меньше простужалась. Станислаусу пришлось бегать по Триесту, подбирая квартиру повместительнее, одновременно выкраивая деньги на квартплату. Из-за оттяжек с выплатой брату жалованья Джойс искал себе дел в Дублине и не находил. Гастролировал Карузо, и Джойс предложил проинтервьюировать великого тенора на итальянском, однако все три дублинские газеты не проявили к этому интереса.

«Пикколо делла сера» получила от него предложение написать о премьере «Разоблачения Бланко Поснета» Шоу в театре «Эбби». Пьеса была запрещена на английской сцене, однако Йетс и леди Грегори выискали лазейку — на ирландские театры юрисдикция лорда-канцлера не распространялась. Им удалось отбить попытку вице-короля запретить спектакль. Через Станислауса Джойс договорился с Прециозо о статье, в азарте отпечатал себе карточки с надписью под своим именем «Piccolo della Sera, Trieste» и сумел произвести ими впечатление на

представителя «Мидленд рейлвей», оформившего ему бесплатный проезд в Голуэй с целью сбора материала для предполагаемой серии статей об Ирландии в итальянской прессе.

Премьера состоялась 25 августа. Спектакль заботил Джойса меньше, чем сам факт затрещины британской цензуре. В рецензии он обозвал Шоу «прирожденным проповедником», неспособным к «простому и благородному стилю» воистину современной драматургии. Но ему понравилась игра и сам факт, что он — репортер. В антракте ему встретился Юджин Шихи, который был похлопан по плечу тросточкой и сердечно поприветствован. Ему было загадочно сообщено, что «скоро будут интересные новости обо мне». После спектакля еще несколько журналистов узнали, что он послан в Дублин «Пикколо делла сера» для освещения премьеры. Но статью он сделал за вечер и тут же отослал Стэнни для Прециозо, чтобы избежать ненужных осложнений, а утром уехал с Джорджо в Голуэй.

По приезде он опасливо направил вперед мальчика, а сам подождал снаружи, но Барнаклы искренне обрадовались обоим. Дядя Норы, Майкл Хили, портовый чиновник, забрал их в свой дом на Доминик-стрит. Учтивый зять с аккуратными усиками быстро понравился всем, а Джорджо потешал родню, гоняясь за утками на дороге. На Огастин-стрит, где Нора жила прежде с бабушкой, Джойс пошел, чтобы увидеть ее комнату и то окно, под которым стоял ее любовник. Он притворился, что собирается купить дом, и осмотрел его весь. Сходил он также и к мемориалу Линча — не для того, чтобы почтить память губернатора, повесившего собственного сына, а чтобы окончательно дорисовать себе Косгрейва, навеки ставшего для него «Линчем». Несколько раз прогуливался по набережной с Кэтлин, сестрой Норы. Однако дольше всего он просидел на кухне дома 4 на Боулинг-Грин и говорил с миссис Барнакл о Норе. Она спела по его настоянию «Девушку из Огрима» с теми строками, которых Нора не помнила, теми, где лорд Грегори просит девушку сказать, кто она. «Если ты девушка из Огрима, как видится мне, скажи мне о первом залоге, которым мы обменялись… О, разве ты не помнишь ту ночь на пологом холме, когда мы встретились впервые, о чем я жалею теперь… Падал дождь на мои золотые пряди, и роса увлажняла кожу; мое дитя лежит, замерзая, в моих руках; лорд Грегори, впусти же меня…»

Пятого сентября он идет на прием в Грэшем-холл, скорее всего, в честь свадьбы Кеттла, где его представляют как будущего величайшего ирландского писателя. «Было так, словно страна и вправду взывала ко мне или выжидающе на меня смотрела. Но любовь моя, было и еще кое-что, о чем я думал. Я думал о той,

что взяла меня в руку, словно камушек, из чьей любви и присутствия я познаю тайны жизни». В «Изгнанниках» Ричард говорит Берте: «В твоем сердце есть что-то более мудрое, чем мудрость».

Нора с ее деревенской закалкой была для него воплощением Ирландии, как дворянка Мод Гонн для Йетса — он любил ее, но это была любовь и к тому, что она представляла собой, и даже больше:

«Верю — все благородное и возвышенное, глубокое и правдивое в том, что я пишу, исходит от тебя. Впусти меня в свою душу душ, и тогда я воистину стану поэтом своего народа. Так я чувствую, Нора, когда пишу. Скоро мое тело проникнет в твое. О, и моя душа сможет то же! Смогу я уместиться в твоем чреве, словно дитя, рожденное от плоти и крови твоей, напитаться от плоти твоей, уснуть в тайном теплом мерцании твоего тела!

Святая моя любовь, моя дорогая Нора. Может ли статься, что теперь мы вступаем в рай жизни нашей?»

Одно из самых эротических писем, написанных Джойсом Норе, ушло за 440 тысяч долларов на аукционе в Лондоне при стартовой цене 110 тысяч — покупатель остался неизвестным. Письмо в «Хайнеман» с предложением опубликовать «Дублинцев» уйдет всего за 32 тысячи.

До вступления в рай, по католическим воззрениям, оставалось еще чистилище. Деньги из Триеста не поступили до самого начала сентября, когда Станислаус наконец выслал 7 фунтов 5 шиллингов. Но Джойс к тому времени уже остался почти без денег, потому что купил Норе роскошную золотую цепочку с пятью подвесками слоновой кости почти вековой давности. А еще он заказал к ней крохотную табличку, на которой была выгравирована строчка из его стихотворения — «Love is unhappy when love is away»[62]. Пять подвесок символизируют пять лет «испытаний и непонимания, а пластинка, соединяющая цепочку, говорит о странной печали и муках, которые мы испытываем, когда разделены…». Когда цепочка была готова, Джойс разыскивал Косгрейва, чтобы показать ему, что он думает о его сплетне, но тот благоразумно скрылся.

«Спаси меня, моя истинная любовь! Спаси меня от скверны мира и моего собственного сердца!» — письмо от 3 сентября 1909 года.

Последние дни в Дублине совпали с немаловажным для Джойса событием. Патрик Дж. Мид, редактор «Ивнинг телеграф», одной из старейших дублинских газет, пригласил его в редакцию, где представил всему персоналу. Редакция «Ивнинг телеграф» и

ее огромное помещение, растянувшееся на целый квартал да еще имевшее общий выход с театром «Эбби», послужила впоследствии фоном и отчасти источником персонажей для эпизода «Пещера Эола» в «Улиссе». Но тогда Джойс вряд ли сознательно «отстреливал детали». Ему казалось лестно и полезно побывать там и завести знакомства. Газета одобрительно изложила его рецензию-статью о пьесе Шоу, и он был этому рад: отослал экземпляры многим дублинским знакомым, особенно тем, кто мог иметь отношение к экзамену на должность преподавателя Национального университета, Робертсу и самому Шоу, которого попутно спросил, не может ли он чем-нибудь посодействовать продвижению его «Дублинцев». Ну и, разумеется, в Триест, Стэнни, для отдачи Прециозо, Видаковичу и Шмицу.

Тут же случилась и свадьба Кеттла. Джойса там не было, но он послал жениху и невесте по экземпляру «Камерной музыки» и пригласил на медовый месяц в Триест, предварительно известив Нору. Ему удалось раздобыть немного денег и дать замученному Стэнни чуть выпрямиться под ярмом. Робертс согласился выдать три фунта в счет роялти от «Дублинцев», и Джойс небрежно заплатил за Евино удаление миндалин. К Бирну он зашел, чтобы еще раз поблагодарить его за участие, остался на ужин, а потом они славно и размягченно до трех часов утра бродили по любимым местам Дублина.

Забавы ради они взвесились на автоматических весах, потом пошагали обратно на Экклс-стрит, 7, где обнаружили, что Бирн потерял ключ. Ничуть не смутившись, он пробрался в дом через незапертую боковую дверь, а потом впустил своего друга через парадную. И опять — в «Улиссе» Блум возвращается со Стивеном на то же место, в тот же час, попадает в то же положение и так же решает проблему… Не пропадало ничего, полученное Джойсом от жизни, с ее подарками он обходился куда бережливее, чем с деньгами и карьерой.

Второй отъезд из Ирландии состоялся вечером 9 сентября, но уже с Евой и Джорджо, и в каюте первого класса, которую Джойс сумел совершенно авантюристически получить по своему репортерскому пропуску на премьеру. Из Лондона они отправились в Париж, где Джойс оставил сестру и сына в парке, а сам зашел в туалет, откуда вышел почти через два часа. Он с помощью служителя вытаскивал подаренное Норой кольцо, упавшее с его пальца в сток унитаза. Ева испытала в точности то же, что и Нора, пять лет назад ожидавшая Джеймса в парках то в Лондоне, то в Париже. Воссоединившись, они уехали в Милан. Оттуда Станислаус получил телеграмму обычного содержания, но разнообразия ради на англо-итальянском: «Domattina otto.

Pennilesse» — «Завтра восемь. Нищ».

Станислаус тут же выслал телеграфом деньги в Милан, директору вокзала, но Джойс опять продемонстрировал талант экстремального выживания в условиях, крайне далеких от природных: он убедил чиновника выдать ему билет под залог багажа, оставленного на хранение.

Поездка в Дублин, конечно, выглядит полной авантюрой и нескладицей, но только на первый взгляд, как и многое из сделанного Джойсом. Явно там набросаны первые линии «Изгнанников» и «Улисса», Гогарти делится на Бойлана и Маллигана, Нора становится Молли, а сам Джойс обретает Блумовы ощущения. В «Изгнанниках» друг добросердечно пытается помочь Роуану получить место преподавателя итальянского в университете, пишет о нем в газету и в то же время старается наставить ему рога. Добросердечность — от Гогарти, рецензия — от Кеттла, рога — от Косгрейва.

Много лет спустя Этторе Шмиц, посмотрев в Лондоне премьеру «Изгнанников», недоумевающе скажет: «Изгнание? Люди вернулись на родную землю!» — «Но разве вы не помните, — ответил Джойс, — как встретил в отцовском доме блудного сына родной брат? Опасно покидать свою страну, и еще опаснее туда возвращаться, к своим соплеменникам, которые при возможности вгонят вам нож в сердце…»

Эллман пишет: «В конечном счете Джойс жаждал заговоров и встречных заговоров, сложностей и встречных осложнений, которые он всегда умел найти или высмотреть в родном городе. Интрига была такой же сложной, как в ренессансных герцогствах четырнадцатого столетия, и вполне подходила разуму Дедала, творца лабиринтов».

Глава семнадцатая ДУБЛИН, ХУДОЖНИК, ИСТОКИ

Has a learning in his eyes not a poor
fool understands…[63]

Все книги Джойса — непрекращающийся разговор с собой, и первая неуходящая тема этого диалога есть Дублин, воспринимаемый им как живое существо. Тот же разговор вели Йетс, Арнольд, Вордсворт. Но Дублин не только тема: это еще и целая семья, связанная с ним родством, почти кровосмесительным. И в «Стивене-герое», и в «Портрете…», несмотря на гордо заявленное одиночество, рядом есть родные и друзья, с которыми сплетаются путаные и болезненные связи. Бунтарь никогда не бунтует в одиночестве — ему нужны среда и ее реакции, чтобы по ним замерить высоту своего мятежа. Ему нужны соратники, чтобы восторженно разделять. Ему нужно требовать все большей и большей преданности от них, чтобы изгонять их или, что еще упоительнее, прощать, когда становится ясно, что им за ним не угнаться, и что самое упоительное, чувствовать себя преданными ими… То есть у него имеется билет в Святую землю, но он требует депортации туда. Так или примерно так живет Джойс: гневно хлопнув дверью, он с улицы подкрадывается поглядеть в щель между занавесками. Связи ему были нужны самые тесные и ранящие, расстояние значение не имело, его знаменитые письма есть способ соединительной ткани. Стоит вспомнить, что в анатомии кровь считается ее разновидностью. Десятки писем в неделю текут в разные страны оттуда, где в данный момент находится Джойс. Ирландию он унес на подошвах башмаков, она была с ним в обличье жены, брата и сестры, которую он взял, чтобы триединство было полным — Жена, Юноша, Дева.

Знаменитая фраза Джойса не раз звучала в парижские годы в ответ на вопрос, вернется ли он в Ирландию: «А разве я оттуда уехал?»

Самые тесные связи у Джойса с детством. Громогласная бравада отца, неиссякаемое терпение и нежность матери. Даже из Парижа он у нее, а не у отца спрашивал совета и поверял ей свои замыслы. Отцу было невозможно даже просто довериться — он был ненадежен, капризен и болтлив, и это знали все. Отношения Джойса с матерью и к матери во многом определяют его отношения с Норой. Путаным и жестоким летом 1909 года он

слал ей письма, где видна его надежда восстановить часть души, утраченной с материнской смертью. Невероятно откровенно он уже (в приведенном выше письме) рассматривает их отношения как связь матери и ребенка, ибо отношения любовников кажутся ему слишком эгоистичными. Сам он явно готов и к роли младенца, и к роли матери. Мария Жола писала, что Джойс говорил о своем отцовстве, словно это материнство. А сам он замечал, что есть только два вечных образа любви — матери к ребенку и мужчины ко лжи. Разумеется, его желание связано и еще и с вечным его самоощущением слабого среди сильных. Дитя на руках у сильной женщины, «оленя ранили стрелой», тихий среди буянов, интроверт между экстравертами, Парнелл среди предателей, Иисус под бичами римлян.

Тепло и уютно в семье было тоже в самые ранние годы, и разрушение этого состояния у Джойса связано именно с отцом, с его неспособностью быть мужчиной, несмотря на бороду, лихость и изрядное число детей. Но и сам Джойс не слишком любил ответственность — вот только основа этой нелюбви была другая. В «Стивене-герое» о мистере Дедалусе сказано, что у него было то же отвращение к ответственности, что и у его сына, но без его отваги. Собственно, и с церковью он расстался еще и потому, что ирландский католицизм на редкость патерналистичен.

Одновременно это было испытание материнской любви на прочность — так он будет испытывать всех своих женщин, и тех, что любили его, и тех, кого любил он. Конечно, Мэй Джойс была огорчена, но не отказалась от него, хотя ее довольно скорая смерть могла выглядеть как следствие того, что проба вышла слишком жесткой. Нора, с которой он поделился своим горем, то ли в шутку, то ли всерьез назвала его «женоубийцей». Однако всю тяжесть предстоявшей участи она в 1904 году знать не могла. Ведь любовница Джойса должна была одновременно стать ему и матерью, и королевой, и даже богиней, чтобы быть достойной его преклонения. Но чтобы быть уверенным в ее любви, он хотел доказательств, что она принимает в нем даже самое худшее, и начал с того, что сделал ее женой и никак не узаконил их отношения. Опять-таки — и глубоко религиозная мать должна была признавать его сыном и любить, несмотря на отказ от законов Божиих.

Чего это стоило матери, мы уже знаем. Нора проверку прошла, очевидно, потому, что ее не слишком волновал статус: в среде, откуда она вышла, встречались и более жестокие варианты. И тогда он выбирает инструмент позазубреннее — сомнения в ее верности. В какой-то мере Джойсу было все равно, правда это или нет. Ведь если он возвел на нее поклеп и она оказалась чиста, ему

тоже выпадает дивная возможность покаяться…

Нора проходит и эту ордалию. Тогда Джойс начинает третью, длящуюся почти весь остаток их жизни вдвоем: признавать все его порывы, вплоть до самых причудливых, поверять ему все свои мысли, вплоть до самых потаенных, особенно смутительные. Она обязана раскрыть ему двери в жизнь своей души, чтобы он мог с предельной точностью вызнать, что такое женщина… И этот тест Нора прошла и проходила всегда. Джойсу было прощено всё. Даже те самые письма из Триеста, где покаянные были пламеннее обвинительных.

Однако в таком сведёнии, «жена — мать», ничего необычного не было — в психологической истории литературы мы найдем множество примеров. Джойс их как раз отодвигал друг от друга, делал их полюсами собственной натуры и искренне страдал от их несводимости. Нора давала ему то упоительное ощущение блудного сына, без которого он не мог, — любящего, страдающего и заставляющего страдать всех. В нем различали мальчишку, скрытого во взрослом, он говорил: «Она видит меня насквозь».

Как бы ни обходился Джойс с Норой — как с источником, соратницей, матерью, «живыми ножнами», богиней, — он знал и завидовал той редкой цельности, которой обладала Нора, нимало не задумывавшаяся о том, на что она разделена в себе самой. Однако ему казалось, что совершенная модель женщины — это самка Молли, в полусне думающая о Стивене то как о дитяти, то как о любовнике, или Анна Ливия Плюрабель, одновременно Река Мира и жена, вспоминающая, как страстно влюблена была она в своего мужа…

Прежде всего Джойс исследует СВОЕ душевное пространство, свою ментальность и все ее сплетения. Порождения этих начал он уносит в свои книги. Его представление об Ирландии, смесь горя и отвращения с яростью библейских пророков, будет сформулировано в «Портрете…», знаменитой максимой «Ирландия — старая свинья, пожирающая свой приплод», и себя, разумеется, он считал одним из перемолотых этими зубами. В одном из более поздних писем Джойс пишет, что «Дублинцы» не о том, «каковы они» в Дублине, а о том, «каковы мы»: «мы» непривлекательны: заносчивость, глупость, развращенность, комичность самого низкого разбора, но именно потому перехватывает горло от жалости и сочувствия. Если их нет в Ирландии, то пусть найдутся за ее пределами, у тех, кто увидит ее в этот беспощадный микроскоп, — не случайно лилипутов придумал англо-ирландец. Будет ли читатель способен, увидев неприкрашенную, малопривлекательную реальность, испытать

сострадание и «гнев за человека» — отлично, значит, он тоже прошел испытание. Жалость, на которую рассчитывает Джойс, особая: как пишет Эллман, в ее составе «яростная привязанность, понимание и насмешка».

«Дублинцы» написаны как бы в отсутствие автора, но его предпочтения и неприязнь все равно выступают, и везде мы находим присутствие Матери. Мать-устрашительница в «Пансионе» и «Матери»; мать-сочувственница в «Мертвых», обнимающая равно и живого мужа, и мертвого любовника, между которыми скоро уже не будет различия; в «Аравии» и «Дне плюща» одним из главных мотивов становится утрата любви и сочувствия матери. Не случайно Джойса впоследствии с одинаковой страстью будут и ненавидеть, и любить именно феминистки: он пишет именно о тех положениях жизни, где мужчины не выстаивают ни с какой помощью — в «Сестрах» брата не спасает даже вера, в «Облачке» жена делает неумолимый выбор в пользу ребенка, а не инфантильного мужа. Хотя жалость и поддержка — тоже их функция, но мужчины в «Дублинцах» на нее точно не способны, да и женщины тоже молят о сочувствии: «Эвелина», Гретта, навеки утратившая девичьи радости, обманутая девушка Корли в «Двух рыцарях», полуребенок Мария в «Глине». Женщинам — труды, мужчинам — спиртное, детям — мучения; таков мир «Дублинцев». В этот мир Джойсу приходится нырять куда глубже, чем позволяет его личный опыт, потому что «Портрет…» требовал более подробной реконструкции прошлого, изображения детства и юности как семени, которое прорастает зрелостью, не всегда привлекательной.

Следует помнить, что и сам «Портрет…» вырос из «Стивена-героя». Собственно, переработка одной книги в другую стала обычным для Джойса мучительным преобразованием слишком простой вещи в куда более сложную. Так он будет работать всегда, по принципу средневековых схоластов с их «Skotison!»[64]. В «Портрете…» Стивен излагает Линчу свою теорию творчества как «художественного зачатия, художественной беременности и художественных родов». А периоды эти соответствуют, по Джойсу, цельному пути — движению от лирического искусства к эпическому и драматическому:

«Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательных рода: лирику, где художник создает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредованном отношении к себе или другим; и драму, где образ дается в непосредственном отношении

к другим…

— Вот здорово, — сказал Линч, снова засмеявшись. — От этого воняет настоящей схоластикой.

— Лирический род — это в сущности простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре лирического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море… Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их такой силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника — сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме — это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено»[65].

Джойс не был бы собой, если бы его герой со смешанным выражением восторга и брезгливости не добавил бы:

«— Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти».

Циник Линч сардонически отвечает.

«— Что это на тебя нашло, — брюзгливо сказал Линч, — разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном, Богом покинутом острове? Неудивительно, что художник убрался то ли внутрь, то ли поверх своего создания, после того, как сотворил эту страну».

Но Стивен ему не отвечает, хотя, в сущности, это развитие его мысли. Он нарисовал не Бога-творца, но Богиню-родильницу. «В девственной утробе воображения мир становится плотью». Для Джойса это не совсем метафора. Станислаус записал, что в первых набросках «Портрета…» герой выводился чуть ли не из эмбриона с различимыми и развивающимися чертами. Нора,

беременная их первым ребенком, и тот невероятно детальный интерес к ее состоянию, сведения об этом, которые Джойс неутомимо собирал, — все это не просто медико-биологический курьез, а попытка врастать литературу в иную, чем эстетическая, систему представлений. «Портрет художника в юности» — рассказ о вынашивании души и мучительных ее родах. Роман начинается с изображения огромного отца, словно бы увиденного крошечным существом, едва разросшимся сперматозоидом, и заканчивается метафорическим отделением от матери, сначала описанием ссоры из-за неверия героя, а затем упоминанием предотъездных сборов, когда мать укладывает его вещи.

Душу окружает тело. А оно бурлит и сочится жидкостями, выделениями, секрециями — мочой, слизью, плодными водами, кровью, молоком. Низшие — не по качеству, по месту — стихии борются с высшими. С третьей главы плещут иные влаги — чаша Святых Даров, кровь Господня, в четвертой — воды Моря-Океана и только в пятой заговорит иная стихия — огонь, металл, воздух полета.

Постепенно, строка за строкой, эмбриональные и самые примитивные ощущения героя начинают меняться: вот проросло и забилось сердце, вот оно начинает говорить ему о девочке Эйлин, и почти одновременно складывается сексуальное предпочтение — плод обретает признаки пола. Вот формируется мозг, и с ним приходит постоянное мучительное чувство стыда за низменные, животные ощущения. Каждая глава заканчивается явлением новой влаги, размывающей и уносящей нанесенное прежними. И только с конца третьей главы меняется даже влага — чаша Святых Даров, кровь Господня. Глава четвертая заканчивается морем, то есть одной из величайших очищающих стихий — Океаном. И оно очищает для Стивена «заране избранную цель» — жизнь во всей ее прелести и телесности. Больше не надо плыть в потоке, пора воспарить, соединить собой «огромный равнодушный купол неба» и «ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь». Пятая глава о том, как душа копит силы и плоть мысли, которая будет питать ее в полете, — дневник Стивена рассказывает, как освобождается душа и даже выражающее ее слово меняется.

«Эмбриональность» повествования дает Джойсу возможность перестроить всю образную систему книги в этом ключе — беременность, вызревание, муки явления, как младенец движется сквозь родовые пути, так движется и Стивен: вперед, даже из благой теплой тьмы к мучительному, но свету. Все глубже и острее вкус бытия, все сложнее ощущения и переживания, — детская синестезия, мокрый поцелуй проститутки на языке, даже

не на губах, а после вино и опресноки причастия снова на языке. Но вот душа начинает высвобождаться из плоти, а затем из мягких и непреклонных удержаний религии. А когда она слышит зов искусства, высвобождение становится необратимым. Грехопадение оказалось искупимым, а художник, так же как и грешник, просыпается в Стивене через ощущение ужаса и последующего катарсиса. Теперь Стивен, собирая себя заново из тех же ощущений и переживаний, из измененных Джойсом подлинных событий, отказывается от католицизма — новое жречество намного упоительнее и куда ближе к настоящей вечности. Проповедь об уродстве греха в третьей главе преображается в проповедь о красоте и искусстве в пятой. Девочка, бредущая по воде, — один из самых пленительных женских образов мировой литературы, — это Дева его мира. Джойс многое убрал из того, что касалось телесности героя, усилив власть ума. Тюрьма разрушена, низменность существования непереносима, перерождение неизбежно.

Джойс наслаждался «энергией заблуждения», воспламененной его методом, воссоздания себя из матрицы-Матери. Герою начинает казаться, что у него другие родители, что он подкидыш или приемыш. «Улисс» будет куда более детальным и проработанным использованием метода: книга среди других планов будет повторять план-устройства человеческого тела. В «Быках Гелиоса» Дедалус опять становится эмбрионом, плодиком, но пародийно возрождается не к жизни, а к попойке. Примирение с Отцом в «Улиссе» происходит лишь потому, что Блум — полная противоположность реальному отцу Джойса. Но Блум к тому же еще и полностью порабощен Женщиной, под власть которой приводит и Стивена. В «Поминках по Финнегану» тела словно вывернуты наизнанку, их среды одинаковы, только они легко слипнутся в новую молекулу; не случайно в обычном человеческом обличье Ирвикер не может даже совокупиться с женой. Создание множества моделей семейных отношений, использование их как основы для более сложных построений, уничтожение их противоречий делало Джойса в собственных глазах более чем демиургом — «Создателем Вселенных» (О. Стейплдон).

Поразительное воображение и логика Джойса начинают входить между собой в намного более изощренные связи, чем ранее, в годы ибсеновских претензий, — случилось и продолжает случаться нечто вроде Пресуществления, когда вещественное становится косубстанционально не совсем или полностью невещественному.

Глава восемнадцатая НЕУДАЧНИК, СКАНДАЛИСТ, ВОИТЕЛЬ

A girl arose that had red mournful lips and seemed the greatness of the world in tears…[66]

Отношения Джойса и Норы становились все теснее — хотя, казалось бы, куда еще после стольких испытаний и двоих детей. Но даже после дублинской поездки оставались Джойсы, которые этого не приняли. Подарки, на которые он потратил деньги, взятые в счет гонорара за «Дублинцев», видимо, раздражали Станислауса так же, как разбуженная ностальгия по Ирландии. Но Джеймс говорил только о том, как принимали его и как он преуспел. «Неужели никто обо мне не спрашивал?» — наконец вылетело из Стэнни. «Почему, все, — ответил Джойс, — и передали много писем, только я их там забыл». Примечательно, что все это время Станислаус содержал Нору и Лючию, посылал деньги брату и племяннику в Дублин, нашел средства на их обратный путь, мирил брата и его невенчанную жену, улаживал конфликты между ними и квартирохозяевами.

Возможно, что все переросло бы в серьезный разлад, если бы Джеймс опять не уехал. Милая и терпеливая Ева Джойс почти сразу затосковала по Дублину, да так, что стало ясно — только домой. В Триесте ей нравилось лишь одно: изобилие кинематографов. В Дублине не было ни одного. Джойс мгновенно заболел этой идеей, своим новым деловым проектом; он отыскал компанию из четырех предпринимателей, успешных владельцев двух местных театров с пышными названиями «Эдисон» и «Американо», а также «Вольта» в Бухаресте. Люди были совершенно не кинематографические: глава, обойщик Антонио Мачнич, придумавший новый модный диван, двое других — Джованни Ребез, торговец кожей, и Джузеппе Карие, драпировщик. Единственным, кто что-то понимал в технике, был Франческо Новак, владелец велосипедной лавки. Джойс познакомился с ними через Николу Видаковича, иначе вряд ли они бы ему доверились.

Начал он с мимолетного замечания:

— Знаете, есть город, где полмиллиона жителей и ни одного кинематографа…

— Где это? — незамедлительно спросили его.

Но он отмолчался и лишь некоторое время спустя признался,

что речь идет об Ирландии. Тут же была добыта карта, и он показал, что кинотеатров нет ни в Дублине, ни в Белфасте, ни в Корке. Рынок совершенно девственный, захватить его можно было полностью, стать монополистами и выкачать все прибыли. Проект им понравился, но исполнение оставалось проблемным. И тут Джойс благородно предложил на время оставить свою работу в Триесте и побыть их представителем в Дублине — поискать годный зал, арендовать его и подготовить все прочее. Расходы вполне приемлемые: несколько фунтов на проезд в Дублин и поденное содержание в десять крон, около восьми шиллингов. Никакого капитала Джойс вложить не мог и на равную долю не рассчитывал. Однако ему приходилось оставить кормившую его работу и брать на себя риск начального периода; поэтому десять процентов показались партнерам вполне приемлемым вариантом.

С помощью Видаковича, практикующего адвоката, соглашение между пятью партнерами было подписано, и Джойс уехал в Ирландию. Он задержался ненадолго в Париже, намереваясь послушать хорошую оперу, но дисциплинированно проследовал в Лондон и снова при помощи карточки «Пикколо делла сера» получил в поезде купе первого класса. В Дублине он был 21 октября и с головой окунулся в поиск возможных размещений. Рядом с Сэквилл-стрит, одной из главных дублинских магистралей, был снят дом, у инспектора городских театров получено разрешение, и Джойс вызвал Мачнича, а сам принялся подсчитывать стоимость проводки и подведения электричества. Мачнич добирался долго, и владелец дома грозил сдать его другому, кто заплатит живые деньги. 50 фунтов, присланные компаньонами, утихомирили лендлорда, потом явились сами Мачнич и Ребез, которых Джойс поселил в отеле «Финнз», где Нора когда-то была горничной.

Развивая проект Джойса, они отправились посмотреть Белфаст. Обход прошел не слишком удачно, хотя Джойс успел посмотреть знаменитые ткацкие фабрики и позвонить Уильяму Рейнольдсу, положившему его стихи на музыку. Мачнич и Ребез дождались Новака, намеченного в управляющие дублинским кинотеатром, и киномеханика-итальянца. Задержка произошла из-за того, что регистратор, выдающий лицензии, отсутствовал. Пришлось съездить в Корк, на этот раз по-деловому, без экскурсий, что огорчило Джойса. На нем была переписка — с половины пятого утра он рассылал срочную корреспонденцию в Триест, Лондон и Бухарест, а в семь они уже мчались под моросящим дождем в Найтсбридж, к поезду на Корк. Осмотр занял «пять жутких часов», затем они отправились в Дублин, куда и вернулись в одиннадцать вечера. Почти два месяца Джойс

нанимал рабочих, заказывал мебель, сочинял афиши для открытия — а в промежутках, до трех ночи, писал роман.

20 декабря кинотеатр наконец открылся. Играл оркестр, публика аплодировала. Газеты были благожелательны, хотя репертуар первого сеанса был довольно странным: документальный фильм «Первый парижский приют для сирот», где показывали голых детей, французский фильм об отцеубийстве «Помпоньер» и «Трагическую историю Беатриче Ченчи», ренессансную историю об убийстве сестры братьями. Но показ прошел под аплодисменты. Репортаж «Ивнинг телеграф» был отправлен в Триест брату, чтобы он показал его Прециозо, а тому, в свою очередь, следовало написать об успешном прорыве триестинцев на мировой кинорынок и роли Джойса в этом предприятии.

Когда партнеры отбыли на родину, Джойс дождался получения лицензии и бросил синематограф на Новака, потому что задерживаться в Дублине не желал. Кроме того, у него была еще пара дел, коммерческий проект по импорту фейерверков, и старое предложение — агентство по импорту в Европу ирландских твидов ручной работы. На образцы Джойс прилично оделся и даже одарил кое-кого из триестских учеников.

В этот раз он повстречал мало знакомых. Столкнулся с Ричардом Бестом в кафе, с юным тогда Чарльзом Даффом, будущим автором книги «Джеймс Джойс для обычного читателя». Несколько раз виделся с Джорджем Робертсом, который намеревался успеть дать ему на просмотр гранки «Дублинцев», но не сумел, и вычитку пришлось отложить.

Поездки по делам «Вольты» были для Джойса не только сменой деятельности, но и новым эмоциональным и нравственным испытанием. В новой разлуке с Норой он вновь терзал себя и ее даже после их бурного примирения. К тому же перед отъездом она, не церемонясь, обозвала его «идиотом» за то, что он явился домой среди ночи и в соответствующем виде. За это Джойс наказывал ее ледяными открытками без писем. А потом обычный срыв. Письмо от 27 октября — поток ненависти к Ирландии и монолог об одиночестве и о том, как она вновь его предала:

«Не вижу ничего с любой стороны себя, кроме портрета священника, которому изменяют, слуг его и хитрой лживой женщины. Незачем мне приезжать сюда или оставаться тут. Если бы ты была со мной, я бы не страдал так.

…Я ревнив, одинок, недоволен и горделив. Почему ты не можешь быть со мной терпеливее и добрее? Тот вечер, когда мы вдвоем пошли на „Мадам Баттерфляй“, ты была со мной особенно

груба. Я просто хотел послушать эту прекрасную и нежную музыку с тобой. Я хотел, чтобы ты почувствовала, как плывет душа твоя, подобно моей, в истоме и вожделении, когда героиня поет романс о надежде во втором акте, „Un bel di“: „Однажды, однажды увидим мы, как поднимается столб дыма над дальним краем моря; а потом появится корабль“… Потом другим вечером из кафе я пришел в твою постель и стал рассказывать обо всем, что надеюсь сделать и написать в будущем, о тех беспредельных амбициях, которые на самом деле и есть движущие силы моей жизни. Ты не слушала меня. Знаю, было поздно и ты устала за целый день. Но мужчине, мозг которого в огне, просто необходимо рассказать кому-нибудь о том, что он чувствует. Кому я мог рассказать, кроме тебя?»

В постели с врагом; чувствуй, как я, думай, как я, изнемогай, как я. Острие поединка с миром сходилось для Джойса в упрямой и дерзкой ирландке, оказавшейся частью всей его жизни. Но он заключал и перемирия, чаще всего в том же самом письме:

«Моя любовь к тебе — скорее обожание…»

Куда было Норе понять эти резкие перемены тона, настроения и отношения? Она отвечала, что несчастна, что боится — он устал от нее. Он утешал ее, писал и говорил, что не надо сомневаться в нем. Что если он напишет что-нибудь утонченное или благородное, то лишь потому, что слушал у врат ее сердца… Писал, что ищет для нее соболью шубу. Через пару дней соболь превратился в серую белку, отделанную синим атласом, но пока дела в «Вольте» шли не настолько хорошо, чтобы купить и это. Затем Джойс отослал ей несколько пар перчаток и двенадцать ярдов донегольского твида — из агентских образцов. Но самым необычным подарком стала рукопись «Камерной музыки»: не бумага, а специально обрезанный пергамент, индийские чернила, на обложке инициалы «Д. Д.» и «Н. Б.» каллиграфически сплетены в сложный вензель. «Ты маленькая грустная бедняжка, а я чертовски меланхоличный тип, поэтому наша любовь кажется мне такой печальной. Не плачь об этом усталом юном джентльмене на фотографии (это было последнее дублинское фото Джойса. — А. К.). Дорогая, он не стоит этого».

Нора, возможно, радовалась этим изысканным подаркам, но ей мешали кредиторы, счета и особенно домохозяин, некто Шольц, решительно отказывавшийся быть снисходительным… Станислаусу под угрозой немедленного выселения через суд пришлось заплатить целых два фунта — все, что у него было. Теперь настала его очередь давать телеграмму о присылке денег.

Джойсу и хотелось бы явить себя новым человеком, но как

только весть о его деловых удачах разнеслась по Дублину, кредиторы стали в стойку. В списке тех, кто занимал и занял у него деньги, было около сорока человек. От некоторых Джойс спасался то в трамвае, то в пассажах. Тем не менее он цитировал слова Дидоны из «Энеиды»: «Non ignara mali miseris succurere disco»[67], которые в «Улиссе» произнесет уже как Стивен. К тому же возникла новая проблема: Джон Джойс после тяжелого конъюнктивита попал в больницу Джарвис-стрит, отчего все заботы о доме легли на Джеймса. Здешний домовладелец тоже грозился подать в суд и выселить их. Джойс иронично написал Станислаусу, что Рождество они встретят на улицах Дублина. Наскребя пяток шиллингов, он перевел их в Триест, а к Рождеству и Джойс-старший послал Норе несколько монет. Посылка с афишами «Вольты» должна была показать зловредному Шольцу и прочим кредиторам, что дела идут неплохо и им следует немного подождать.

Это помогло с кредиторами, но не с Норой. Ее душевное состояние ухудшалось. Она писала, что больше не может выносить разлуку пополам с угрозой выселения. Джойс ответил: «Ты пишешь, как королева. Пока я жив, буду помнить спокойное достоинство твоего письма, его печаль и презрение, и то крайнее унижение, которое испытал». Он предлагал ей оставить его, потому что он это заслужил — такое самобичевание одновременно делало его значительнее в собственных глазах. «Если ты оставишь меня, я буду вечно жить с памятью о тебе, святее, чем память о Боге. Я буду молиться во имя Твое». Однако Нора уже и сама взяла себя в руки. Следующие ее письма деликатнее и уравновешеннее. А Джойс пишет новое письмо, где говорит о ней в третьем лице, словно Рэли, обращающийся к Елизавете. Хотя речь о том, как он побывал в отеле «Финнз», устраивая своих партнеров:

«Очень ирландское место. Я так долго жил за границей и во стольких странах, что сразу чувствую голос Ирландии в чем угодно. Беспорядок на столе — ирландский, изумление на лицах — тоже, любопытные взгляды хозяйки и ее официантки. Чужая страна, несмотря на то, что я родился тут и ношу одно из ее древних имен… Бог мой, глаза полны слез! Почему я плачу? Потому, что так печально думать о ней, бродящей по комнатам, почти без еды, бедно одетой, простой и недоверчивой, всегда носящей в своем тайном сердце крохотное пламя, сжигающее тела и души мужчин… В ней я любил образ красоты мира, тайну и прелесть самой жизни, красоту и обреченность расы, породившей меня, образ духовной чистоты и жалости, в которые я верил мальчиком».

Ясно, что рождает лирику последних эпизодов «Портрета…»: «Тихая текучая радость разлилась в этих словах, где мягкие и долгие гласные беззвучно сталкивались, распадались, набегали одна на другую и струились, раскачивая белые колокольчики волн в немом переливе, немом перезвоне, в тихом замирающем крике; и он почувствовал, что то предсказание, которое он искал в круговом полете птиц и в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни, — стремительно и спокойно». Девочка на отмели становится для него образом всей прелести мира. В «Изгнанниках» лицо Берты — «цветок, но куда прекраснее. Дикий цветок, распустившийся в живой изгороди». В «Улиссе» Молли — «цветок с гор».

Джойс ликует по поводу очередного примирения. Письма — свидетельства того, как он разрывается между благоговением перед духовным обликом Норы и могучей плотской страстью. Снова он видит себя капризным ребенком, которого надо любить, но и наказывать обязательно надо. Эллман пишет о «стиле Верлена в тональности Мазоха». Он допытывается о мельчайших деталях ее встреч с молодыми людьми до него, при этом добавляя покаянно: «Господи помилуй, и ты можешь любить такую тварь, как я?..» Но и Нора писала ему письма пооткровеннее, чем Блум своей Марте Клиффорд.

Когда Джойс расплачивался с хозяйкой за триестинцев, он тайком попросил горничную показать комнату под крышей, где жила Нора: «Все мужчины скоты, дорогая, но во мне хотя бы порой просыпается что-то более высокое. Да, и я на секунду почувствовал огонь в душе, чистый и священный, который будет вечно гореть на алтаре сердца моей любви. Я мог бы преклонить колена перед этой маленькой кроватью и забыться в потоке слез. Слезы и подступали к глазам, когда я стоял, глядя на нее. Я мог бы преклонить колена и молиться там, как преклонились три царя с Востока перед яслями, где лежал Иисус. Они пересекали пустыни и моря и привезли свои дары и премудрость, чтобы встать на колени перед крохотным новорожденным ребенком, и я так же принес туда свои ошибки, причуды и грехи, жажду и вожделение, чтобы сложить их перед этой маленькой кроватью, в которой девочка мечтала обо мне».

На Рождество он присылает Норе тот самый пергаментный манускрипт — «в благодарность за твою верную любовь». В приложенном письме добавлено:

«…может быть, пальцы юноши или девушки (или детей наших детей) с уважением перевернут эти пергаментные листы тогда, когда двое любовников, чьи инициалы сплетены на обложке, уже давно исчезнут с земли. Ничто не останется,

дорогая, от наших бедных, томимых человеческими страстями тел, и никто не скажет, куда делись взгляды, которыми их глаза смотрели друг на друга. Я бы взмолился, чтобы моя душа влилась в ветер, позволь мне только Бог мягко овевать один странный, одинокий, темно-синий, омытый дождями цветок у дикой изгороди в Огриме или Оранморе».

Письма Джойса порой удивительно банальны, особенно те, что к Норе. Можно допустить, что он лучше знал адресата и его эстетические запросы. За два с половиной месяца разлуки он написал больше сорока писем, хотя у него начались неприятные проблемы со здоровьем, жестокий радикулит, ирит — воспаление радужной оболочки и боли в желудке. Сестры говорили, что Дублин с ним несовместим. Лицензию на кинотеатр им наконец дали, и Джойс готов был вместе с Эйлин «вернуться к цивилизации». Купив сестре пальто и перчатки, он выехал с ней из Дублина 2 января 1910 года. Остальных сестер он оставил тянуть на себе «жуткий дом» Джойсов. Глаза в этот раз болели намного сильнее, и по возвращении Джойсу пришлось отлеживаться почти месяц, пока Станислаус занимался домом и делами.

До февраля Джеймс не вставал, боли были острые и внезапные, глаза отекали, свет вызывал ломоту. Потом стало легче, но не Станислаусу. Джеймс за время бизнес-приключения усвоил совершенно аристократические привычки. Вставал поздно, после десяти, когда брат уже наспех позавтракал и убежал в школу. Нора подавала ему кофе и рогалики в кровать, где он и оставался, «окутанный собственными мыслями», почти до полудня. Иногда приходил портной-поляк, усаживался на кровать и горячо рассказывал что-то по-польски, а Джойс кивал и даже слушал. Затем он вставал, брился и усаживался за еще невыкупленное фортепиано. Временами его музицирование прерывал явившийся получить по какому-нибудь счету, и Джойс искусно вовлекал его в спор о музыке или политике, да так, что пришелец забывал о цели визита. Потом вмешивалась Нора, напоминавшая об уроке или ругавшая его за снова надетую несвежую рубашку. Потом в час дня ланч — Нора стала прилично готовить.

После ланча с двух до семи-восьми-девяти были уроки, когда дома, когда в «Скуола муниципале», когда в домах учеников. Порой это были совсем не барственные поездки — капитану Дехану он давал уроки у него на судне. «Джойс выходил из дома, шел через пьяцца Джамбаттиста Вико, спускался в тоннель Монтуцца, садился на электрический трамвай до Вольного порта, затем конкой до Пунто Франко, сигналил на судно, шлюпкой

добирался и поднимался на борт, посылал матроса за капитаном, находил тихое местечко для урока, давал его (капитан был невероятно туп), потом находил матроса, который доставлял его обратно к Пунто Франко, садился на конку до ворот Вольного порта, трамваем до входа в тоннель Монтуцца, проходил через него, потом через пьяцца Джамбаттиста Вико, и возвращался домой. За это дивное упражнение он получал что-то около тридцати пенсов» (из интервью Герберту Горману).

На уроках, как пишут въедливые биографы, Джойс курил длинные австрийские черутты, а в промежутках пил черный кофе. Иногда чай. По вечерам он снова давал уроки или играл, а пару раз в неделю ходил с Норой в оперу. Ева и Эйлин уводили детей в кино, иногда до одиннадцати вечера. Когда дети заканчивали ужинать, отец играл с Джорджо и укачивал Лючию, напевая итальянские колыбельные. По воскресеньям Ева и Эйлин исправно ходили в церковь — без Джойсов. Ева была потрясена, когда узнала, что Джеймс и Нора не венчаны. Девушка тут же принялась уговаривать их совершить церемонию, и если Нора не слишком противилась, то брат и слышать об этом не хотел. В Пасхальную неделю он вел себя еще более странно — доходил с ними до церкви, но оставался за углом, а когда они выходили, то не находили его. Все было очень просто: Джойс без памяти любил музыку литургии и мессы, стоял и слушал ее, а потом уходил, пока его не начали склонять войти внутрь. Эстетика одерживала верх над религией — по крайней мере так следовало думать.

Руководить «Вольтой» в Дублине из Триеста было проблематично, и Джойс запустил бизнес; но он запустил и «Дублинцев». Джордж Робертс до сих пор не прислал гранки. Быть может, он заподозрил — книга может принести куда больше хлопот, чем прибыли. Издатель с установившейся репутацией, а в будущем и муж родовитой и богатой женщины, он не хотел рисковать своим положением. Сплетни о книге уже гуляли по Дублину, и то самое давление, которое так ненавидел Джойс, нарастало. Ричардс уже тогда намекал на чрезмерность переписанного абзаца из «Дня плюща»:

«— Однако послушайте, Джон, — сказал мистер О'Коннор. — С какой стати мы будем приветствовать короля Англии? Ведь сам Парнелл…

— Парнелл умер, — сказал мистер Хенчи. — И вот вам моя точка зрения. Теперь этот малый взошел на престол, после того как старуха-мать держала его не у дел до седых волос. Он человек светский и вовсе не желает нам зла. Он хороший парень и очень порядочный, если хотите знать мое мнение, и без всяких глупостей. Вот он и говорит себе: „Старуха никогда не

заглядывала к этим дикарям-ирландцам. Черт возьми, поеду сам, посмотрю, какие они!“ И что же нам — оскорблять его, когда он приедет навестить нас по-дружески? Ну? Разве я не прав, Крофтон?

Мистер Крофтон кивнул.

— Вообще-то, — сказал мистер Лайонс, не соглашаясь, — жизнь короля Эдуарда, знаете ли, не очень-то…

— Что прошло, то прошло, — сказал мистер Хенчи. — Лично я в восторге от этого человека. Он самый обыкновенный забулдыга, вроде нас с вами. Он и выпить не дурак, и бабник, и спортсмен хороший. Да что, в самом деле, неужели мы, ирландцы, не можем отнестись к нему по-человечески?

— Все это так, — сказал мистер Лайонс. — Но вспомните дело Парнелла…

— Ради бога, — сказал мистер Хенчи, — а в чем сходство?

— Я хочу сказать, — продолжал мистер Лайонс, — что у нас есть свои идеалы. Чего ради мы будем приветствовать такого человека?»

В марте Джойс неохотно смягчил эпизод, и Робертс пообещал выслать гранки в апреле, а в мае напечатать книгу. Но заменил Джойс только «чертову старую стерву-мамашу» на «старуху-мать», а Робертс потребовал переписать весь диалог. Джойс отказался — никаких претензий к отрывку не было, пока Эдуард VII был жив, с чего это они возникли, когда король скончался?

Робертс не ответил, и Джойс счел себя вправе разорвать соглашение, хотя официально предупредил об этом и его, и Хоуна. Вместе со сборником рухнула и «Вольта». Возможно, Джойс управлял бы ею лучше, найди он в себе силы оставаться в Дублине. Кроме того, репертуар был переполнен итальянскими фильмами, в английских Новак не разбирался, и публика помаленьку перешла на привычные развлечения. Через отца Джойс пытался продать «Вольту» английской фирме «Провинциэл тиэтр компани», но Новак вышел на них раньше и вернул тысячу фунтов из тысячи шестисот. Джойс рассчитывал на свою долю, сорок фунтов, но партнеры решили, что он их не заработал.

Как раз перед продажей «Вольты» Станислаус и Джеймс поссорились особенно жестоко. Началось с пустяка. Джеймс попросил читательский билет брата, а тот огрызнулся, что никогда не получает обратно одолженного, и собрался уходить. Джеймс вставил ногу в дверь и не выпускал его, пока Станислаус не швырнул ему билет. Его выводило из себя и то, как быстро Ева и Эйлин усвоили образ жизни Джеймса и Норы. Сестры просили денег якобы для себя, а Джеймс оплачивал ими домашние

расходы. Ему не удавалось даже толком поесть, хотя он вносил деньги на еду, — в ответ на упреки сестры заявляли, что они сюда приехали не готовить для него. Как-то, пунктуально явившись к столу в полдесятого, Станислаус обнаружил, что вся семья разошлась по кино и театрам. Любой распорядок нарушался. При всем этом ему нравилась Нора, и ее полное равнодушие к нему было тоже оскорбительно.

Дневник Станислауса полон педантичных замечаний и сетований на свою жизнь. Он перестал давать его брату на прочтение, хотя раньше это было их обыкновением. Возможно, Джеймс читал его без разрешения, ибо раньше делал то же. Станислаус страдал, а Джеймс — наоборот. Подтверждалась уверенность в том, что люди друг для друга — демоны, что ими правят враждебность, ревность, взаимное тяготение при полном недоверии и обоюдной зависимости.

Станислаусу не хватало воли и твердости, чтобы взять ситуацию в свои руки. Вечером 10 июля он поклялся, что больше и близко не подойдет к этому дому. Джеймс попытался удержать его под предлогом позднего времени, когда Нора сказала: «Оставь его, пусть идет куда хочет». Откровенно говоря, ей казалось, что сорок фунтов от продажи «Вольты» дадут им возможность не нуждаться в занудном свояке. Но денег не было, и через несколько дней Ева написала Стэнни жалобное письмо, что они практически голодают. Джорджо, встретив его на улице, жаловался по-итальянски, что сегодня не ужинал и что в этом виноват дядя.

Джеймсу тоже приходилось несладко. Как только платили за уроки, весь гонорар уходил на провизию, но вместо нее Джойс мог вернуться с шелковым шарфом ручной работы для Норы, а ей хотелось только есть. В один из таких случаев она пригрозила вернуться в Голуэй и гневно уселась писать матери; Джойс заглянул через ее плечо и сказал:

— Если уезжаешь, то хотя бы пиши «я» как полагается.

— Не имеет значения! — отрезала Нора. Но затем гнев понемногу ушел на борьбу с орфографией, и письмо было порвано, как и множество таких же. Через несколько голодных дней Нора решила сдаться, и Джеймс отправился к брату, на виа Нуова, 7, но примирения не произошло. Станислаус обносился, и это было тем унизительнее, что незадолго до того он заплатил за одежду для Норы. Денег, которые они зарабатывали вдвоем, хватило бы на всех, если бы Джеймс не тратил так безоглядно. Бережливый и аккуратный, Станислаус ничего не мог поделать с остальной частью семьи. Ему удалось уговорить их перебраться в квартиру подешевле, на Баррьере Веккиа, где они и прожили

почти полтора года, а он сохранил за собой свою комнату.

Весь следующий год они были в разрыве. Наконец Джеймс написал брату холодную открытку о том, что собирается покинуть Триест. Произошел неприятный разговор об учениках, и Джойс ответил, что намерен сделать то же, что советовал в таких случаях Парнелл: «Отойти, если конфликт ниже моего достоинства, и оставить тебя и cattolicissime [68], сделать все, что можешь, с этим городом, открытым тебе семь лет назад моей (и Нориной) смелостью, куда ты и они покорно явились по моему зову из вашей предательской, голодной и невежественной страны. Мои срывы могут легко стать оправданием вашего поведения. Последняя попытка все упорядочить будет совершена мной с помощью продажи моего имущества, и половину вырученных денег я переведу на твой счет в банке Триеста, где их можно будет снять или оставить гнить, в зависимости от велений твоей совести. Надеюсь, что, когда я оставлю это поле, ты и твои сестры смогут, даже с вашими скромными средствами, поддержать традицию, заложенную мной, в славе моего имени и моей страны».

Теперь, когда с коммерцией не получилось, Джойс занялся «Дублинцами» с утроенной силой. В декабре 1910 года Робертс написал, что выслал гранки нового варианта «Дня плюща», что выход книги ожидается 20 января, но гранки так и не пришли, а вместо них прибыли две книги в подарок Джойсу и Джорджо. Выход «Дублинцев» снова отложили.

«Я слишком хорошо знаю традиции моей страны, чтобы удивляться, получив эти фи корявые строчки в обмен на пять лет непрерывного служения моему искусству и непрерывного ожидания, равнодушие и неверность в обмен на 150 тысяч франков континентальных денег, которые я направил в карманы голодных ирландцев и ирландок, с тех пор как шесть лет назад они меня выдворили из своих гостеприимных болот». Речь шла о сделках по экспорту твида. А Робертс опять потребовал переделок в злополучном «Дне плюща» — убрать все упоминания о короле. Дублинский адвокат сказал Джойсу, что следует уступить Робертсу, если он, Джойс, не собирается платить, как не проживающий постоянно в Соединенном Королевстве, сто фунтов за вчинение иска «Маунсел и К°». Контракт был нарушен, однако скорее всего дублинский суд оставил бы его иск без удовлетворения, если бы отрывок признали «любым образом оскорбляющим достоинство покойного короля».

Гнев Джойса, разумеется, отражался и на Норе. После одной особенно жестокой ссоры он схватил рукопись неоконченного «Портрета…» и швырнул в огонь. Эйлин, случайно вошедшая в

комнату, бросилась к камину и выхватила затлевшие бумаги, опалив себе пальцы. На следующее утро брат вручил ей «три куска разноцветного мыла и новые митенки». Там, сказал он благодарно, были страницы, которые нельзя было написать второй раз… Все же, пока «Дублинцы» не вышли, он не мог заставить себя всерьез приняться за «Портрет…», обгорелые, запачканные страницы которого были завернуты в тряпку и отложены.

На этом фоне начался новый виток отношений Джеймса и Норы. Несмотря на уверенность в ее верности, а может, именно из-за нее, Джойс начал ощущать особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как она нравится другим мужчинам — и ему тоже. Нора очень похорошела, округлилась, несмотря на постоянное недоедание, и держалась с величавой небрежностью, что заводило Джойса еще больше. Эта же черта потом будет с такой детальностью выписана в Блуме.

В его рабочих записях 1913 года есть строка, помеченная «Н. Б.» и фиксирующая цепочку ассоциаций: «Подвязка: драгоценная, Прециозо[69], Бодкин, бледно-зеленый, браслет, сливочные тянучки, лилия долины, монастырский сад (Голуэй), море». Напомним: Бодкин — тот самый мальчик, что ухаживал за Норой и умер после ее отъезда в Дублин: он дарил ей коробки сливочных тянучек. Прециозо — странное упоминание: один из близких триестских друзей Джойса, вежливый и галантный венецианец. Он помогал Джойсу в вечных поисках работы, печатал его статьи и щедро платил за них. Правда, с конца 1910-го по осень 1912 года «Пикколо делла сера» ничего джойсовского не печатает; возможно, автор снова и с удовольствием чувствует себя преданным и встраивает Прециозо в этот ряд. Все равно понятно только отчасти: Прециозо был женат на богатой и приятной женщине, обожал двоих своих детей, был элегантен, отлично одевался и пользовался успехом у женщин — правда, скорее по слухам. Довольно долго он заходил по вечерам навестить Нору и даже оставался поужинать. Норе льстило его внимание, она даже стала вместо стрижки делать прическу и похорошела еще больше — Туллио Сильвестри, который чуть позже напишет ее портрет, скажет, что она была самой красивой из всех его моделей. Но восхищение Норой у Прециозо было тесно связано с восхищением Джойсом: как и Шмиц, он сознавал его литературный дар, признавал его музыкальное дарование, что для итальянцев почти обязательное дополнение таланта. Можно предположить, что Прециозо сделал попытку перейти в иное качество. Фраза, которую он несколько раз повторил Норе, «Il sole s’e levato per Lei» [70], есть популярная часть итальянского

эротического кода, и когда Нора пересказала все мужу, он не на шутку встревожился, что не помешало ему после использовать речение и в «Изгнанниках», и в «Улиссе». Возможность адюльтера, что бы она ни значила для него в качестве материала, никак не забавляла его.

Он остановил Прециозо на улице и обрушился на него с обвинениями в осквернении дружбы и доверия. Сильвестри, оказавшийся рядом, рассказывал потом, как по лицу Прециозо бежали слезы стыда и гнева. Джойс не раз вспоминал потом об этих слезах. Бесчестный друг Ричарда в «Изгнанниках» был поименован Робертом (Роберто — первое имя Прециозо), и это еще милосердное воздаяние.

Но в случившемся был виноват и сам Джойс: ему еще случится очень болезненно путать слово и дело. Болезненно прежде всего для него самого.

Глава девятнадцатая ТРИДЦАТИЛЕТИЕ, НЕВОЗВРАЩЕНИЕ, СРАЖЕНИЕ

For words alone are certain good;
Song, then, for this is also sooth…[71]

В феврале 1912 года Джеймсу Джойсу исполнилось тридцать. Это не принесло ему никаких радостных перемен. Скорее наоборот — прежние неприятности усугубились, а новые радостно выпрыгивали «из форточек ада». Кое-как он наскреб денег за три месяца и несколько оттянул угрозу выселения. В марте удалось заработать лекциями в Народном университете, на этот раз курсом по английской литературе. Попытка стать учителем в итальянской средней школе разбилась о сопротивление бюрократов. Друзья-ученики принялись выбивать ему место в Высшей коммерческой школе. Там английский преподавал человек, собиравшийся уйти на пенсию, а Джойс тем временем занимал у брата на жизнь и собирался с духом для новой атаки на Робертса — «Дублинцы» не могли оставаться в письменном столе.

Нора затеяла переписку с голуэйской родней, очень скучала по ним, и Джойс решил отправить их с Лючией в Ирландию. А чтобы путешествие не оказалось слишком простым, Нора должна была задержаться в Дублине и переговорить о книге с Робертсом. Потом поехать в Голуэй и там попробовать уговорить дядюшку Майкла Хили дать денег на приезд Джеймса. Нора понимала, сколько раз ее спросят об отсутствии кольца на пальце, и просила Джойса разрешить хотя бы поносить его — для родни. Он решительно воспротивился, хотя сам в прошлый приезд скрыл их «позор» от миссис Барнакл.

Проводив жену и дочь, Джойс отправился к Этторе Шмицу, чтобы рассказать им с женой, какое наслаждение оставаться в мужской компании. Однако, не получив от Норы письма о прибытии в Дублин, Джойс мгновенно разъярился. Уговорив Шмица заплатить за дюжину уроков вперед, он собрался в Дублин и Джорджо, разумеется, взял с собой, а вот маленького, ужасно толстого, беспородного песика по имени Фидо оставил Шмицам. Песик сбежал почти сразу. Слуга, отправленный на поиски, сказал, что «он» разрешился дюжиной щенят.

Перед отъездом Джойс написал Норе свирепое письмо:

«Моя дорогая Нора! Оставив меня на пять дней без единого слова, ты царапаешь свою подпись на открытке с дюжиной других слов. Среди них — ни слова о тех местах Дублина, где я встретил тебя, которые имеют значение для нас с тобой. После твоего отъезда я нахожусь в состоянии бессильного гнева. Считаю всю ситуацию неверной и несправедливой.

Я не могу ни спать, ни думать. У меня болит бок. Прошлой ночью я боялся прилечь. Мне было страшно умереть во сне. Я трижды будил Джорджо, потому что боялся оставаться один.

Чудовищно даже выговорить, что ты забыла обо мне на пять дней и снова забыла о прекрасных днях нашей любви.

Сегодня я отбываю из Триеста, потому что боюсь оставаться здесь — боюсь себя. В Дублин прибуду в понедельник. Если ты забыла, то я нет. Я поеду ОДИН, чтобы встретить и увидеть образ той, кого я помню.

Можешь послать в Дублин телеграмму на адрес моей сестры.

Что Дублин и Голуэй в сравнении с памятью о нас?

Джим».

Письмо Нору озадачило, но и польстило ей. Она-то без затей прибыла на Уэстленд-Роу-стэйшен, где ее сердечно встречали сам Джон Джойс, Чарльз, Ева, Флоренс, и патриарх семьи рыдал, глядя на маленькую Лючию. Второй триумф она пережила, вселяясь в «Финнз» — полноправной гостьей в тот номер, где она когда-то убирала и перестилала. Ее муж вошел туда паломником, а она — победительницей в битве жизни. Робертса она нашла, но, на свою беду, привела туда Джона и Чарльза, и их бурное трио привело к тому, что Робертс официально назначил им встречу с предварительным звонком, ибо он «крайне занят». А на следующий день просто уклонился, и Норе пришлось оставить дело на Чарльза. Из Голуэя она наконец написала: «Дорогой мой Джим, как я уехала из Триеста, я все думаю про тебя, как ты там справляешься без меня и как ты вообще скучаешь по мне или нет. Я ужасно скучаю по тебе. Я совсем устала от Ирландии». Но к тому времени он уже ехал следом.

Джойс и Джорджо были в Лондоне 14 июля. Джеймс позвонил Йетсу. Он был на удивление любезен. Дублинская родня встретила Джеймса, зная, что он собирался искать работу для Чарльза, но Джойс решил прежде всего найти Робертса и дожать его. Робертс сдался. Но все вымарки должны были быть сделаны, хотя и пояснялись в специальном предисловии, а книга выходила под именем автора. Станислаус не раз предлагал брату найти деньги и отпечатать сборник за свой счет, но Джойс держался — и победил. Писатель — это тот, кого печатают, а не

тот, кто печатает.

Следующие три недели были голуэйскими каникулами. Довольная Нора писала Эйлин, что, несмотря на все их перебранки, Джеймс не может без нее и месяца. Он же с удовольствием отдыхал: греб, гулял, а как-то отмахал сорок миль на велосипеде. Боль в боку его не беспокоила. К слову, она предназначена была именно для Норы: всю оставшуюся жизнь он попрекал ею жену. Они побывали на Голуэйских скачках и вели себя, как Элиза Дулитл и профессор Хиггинс в еще неснятом мюзикле. А потом Джойс неожиданно поехал на велосипеде к Отерарду, где на маленьком деревенском кладбище был похоронен Майкл Бодкин, тот самый Норин возлюбленный. Рядом с его могилой обнаружилось надгробие с надписью «Дж. Джойс».

Так состоялось и завершилось путешествие на Запад, угаданное в «Мертвых». И на Аранские острова они с Норой тоже съездили; об этом в «Пикколо делла сера» вышли две статьи, не содержавшие никакой иронии и презрения к ирландской деревне. Разумеется, многое в его описании Арана идет от текстов Синга, он любуется местным диалектом, смакует обычаи и предания, и вообще это заметки внимательного и осведомленного, но туриста. Его умиляет, что священник ежегодно благословляет море и начало сельдевого промысла, что «Христофор Колумб открыл Америку последним», а первым ее открыл святой Брендан, который на несколько веков раньше отплыл с аранских берегов не на каравелле, а на лодке из кожи, вываренной в воске и натянутой на раму, связанную промасленными кожаными ремнями.

Пятнадцатого августа в голуэйский рай пришло неприятное письмо из Триеста: домохозяин извещал, что Джойсам придется съезжать через полторы недели. Станислаус, которому не выпало наслаждаться отпуском на исторической родине, был лишен иллюзий Джеймса по части закона. Поэтому он просто снял новую квартиру на виа Донато Браманте, 4, подешевле и почище, невдалеке от собора Сан-Джусто, и перевез туда вещи. Там Джойсы проживут все время, оставшееся им в Триесте.

Рукопись «Дублинцев» лежала в офисе издательства Робертса и никаких приключений не переживала. Хоун переадресовывал письма Джойса Робертсу, а тот уже научился отделываться от авторов. Теперь его волновала не аморальность — он-де не побоялся издать «Удальца с Запада» Синга, — а антиирландизм в стране, где иски за клевету есть национальный спорт. Ну, и есть глубоко личная причина: он пообещал своей невесте, что никогда в жизни не опубликует книгу, которая может нанести ущерб ее и

его репутации… Впоследствии Хоун предполагал, что Комиссия по бдительности, их главный заказчик и одна из активных ее участниц, леди Абердин, жена лорда-губернатора, давили на Робертса, но скорее всего тот мстил Джойсу за письма в газеты — они испортили ему репутацию и вызвали самые ядовитые насмешки дублинцев. Точно так же, бесконечными поправками, он терзал Йетса, леди Грегори, Стивенса и многих других. Сам Робертс удивлялся: «Отчего О'Флаэрти не здоровается со мной? Я же его никогда не печатал!»

Поиски печатника Робертс тоже хотел переложить на Джойса. Оставив экономии ради Нору и детей в Голуэе, Джойс мчится в Дублин, чтобы посоветоваться с отцовским приятелем Джорджем Лидуэллом, хотя тот специализировался по уголовным делам. Затем состоялся очень бурный разговор с Робертсом, который в ярости дважды убегал из кабинета. Он требовал все большего — вынуть «Встречу», убрать весь фрагмент о короле из «Дня плюща», замены реальных названий баров, компаний и фирм на выдуманные. Падрайк Колум, помогавший Джойсу, тыкал пальцем в гранки и издевательски невинно спрашивал: «Так это что, вся книжка про питейные заведения?..»

Во время очередной встречи Джойс предложил Робертсу подписать соглашение о выплате автором всей стоимости первого тиража, если книга будет арестована. Сумма для него была огромная — шестьдесят фунтов стерлингов. Но Робертс потребовал еще более несусветную гарантию: два гарантийных обязательства по тысяче фунтов стерлингов. Возмущенный Джойс заявил, что это совершенно не равно никаким потерям. Тогда Робертс сухо ответил, что книгу печатать не будет.

Кое-как справившись с собой, Джойс ушел в другую комнату отдышаться и подумать. Норе он потом написал: «Сидя за столом и думая о книге, которую я написал, о ребенке, которого вынашивал годы и годы во чреве воображения, как ты вынашивала ребенка, которого любишь, и как я вскармливал ее день заднем в своем мозгу — я написал ему письмо».

В нем Джойс мучительно соглашался изъять «Встречу» из сборника, но на следующих условиях:

«1. Перед первым рассказом я помещаю следующее предупреждение:

Эта книга в данной форме является неполной. Состав книги… включает рассказ, озаглавленный „Встреча“, стоявший между первым и вторым рассказом этого издания.

2. Никаких изменений от меня больше не требовать.

3. Я оставляю за собой право опубликовать этот рассказ до или после издания книги в вашей фирме.

4. Вы напечатаете книгу не позже 6 октября 1912 года».

После долгих перебранок Робертс неохотно согласился передать это письмо своему лондонскому юристу. Джойс взыграл духом, но отец предупредил его, что Робертс будет искать другую отговорку. И оказался прав. Робертс получил от адвоката Чарльза Уикса, бывшего поэта школы Рассела, письмо, что предлагаемое согласие совершенно неудовлетворительно. Любой, кто назван в тексте своим именем, от бара до железной дороги, может вчинить иск. Джойс может уменьшить цифру гарантии до двух обязательств по 500 фунтов каждое, но это всё. Робертсу даже посоветовали объяснить Джойсу, что он может разорвать контракт по причине отказа в публикации, но сам подпадает под риск судебного разбирательства и что уже сейчас можно подавать на возмещение расходов Робертса.

Издатель коротко потребовал от Джойса «сделать существенное вложение для покрытия наших потерь».

В офисе Джойсу вручили письмо.

«Я прочитал его и вышел на улицу, чувствуя, как вся моя будущая жизнь ускользает из рук». Молодость, надежды, деньги — ничего этого больше не было. Больше часа он просидел на диване в офисе Лидуэлла, думая, где купить револьвер и «пропустить сквозь моего издателя немножко дневного света». Лидуэлл тоже встал на сторону Робертса. Джон Джойс, про себя считавший «Дублинцев» «мерзким изделием», подбивал сына искать другого издателя. Заложив часы и цепочку, чтобы хватило на жизнь, Джойс отправился к Робертсу — сделать последнюю попытку. Выслушав его объяснения, тот хмуро пообещал снестись со своими адвокатами снова. А Станислаус 25 августа вдруг прислал из Триеста телеграмму: «Приезжай немедленно». Но Джойс не обратил на нее внимание. Он нашел стряпчего по фамилии Диксон, который, выслушав его историю, сказал:

— Жаль, что вы не используете свои несомненные дарования для иных целей, чем писать книги вроде «Дублинцев». Почему бы вам не воспользоваться ими для улучшения вашей страны и народа?

Джойс ответил очень странно:

— Я, видимо, единственный ирландец, пишущий передовицы для итальянской прессы. И все мои статьи в «Пикколо делла сера» — об Ирландии и ирландском народе. И я был первым, кто открыл для Австрии ирландские твиды, хотя это совершенно не мое занятие…

Джойсу уже приходится отвечать на такие обвинения, косвенные и прямые. И он уже знает ответ. Унылые попреки Кеттла и Диксона только раззадоривают его — он твердо решает

взять роман под уздцы и вести его дальше, до финала — «отковать в кузнице моего духа несозданное доныне сознание моего народа».

В письмах этого времени Джойс демонстрирует феноменальную стойкость и самоуверенность, которыми можно только любоваться. Ему не страшно то, что сборник рассказов, воплощающих Ирландию, может не выйти на родине; он уверен, что создаст новые оценки и критерии, которые рано или поздно покорят и ирландскую культуру.

С Джеймсом Стивенсом, которого даже Джойс считал «ровней мне, новейшим ирландским гением», он повстречался на Доусон-стрит во время своих скандалов с «Маунсел и К°». Их познакомили и тут же оставили одних. Потом Стивенс вспоминал:

«Тут Джойс пробудился: он сдержанно влился в разговор. Повернув ко мне свой подбородок и очки и отвернув их от меня, доверительно поведал мне, что читал мои книги и что я грамматически не знаю разницы между запятой и точкой с запятой, что мое знание ирландской жизни не католично и, следовательно, отсутствует и что мне следует бросить писать и выбрать более перспективную профессию, скажем, чистку обуви. Я доверился ему, в свою очередь, что не читал у него ни слова и что, если небо оставит мне хоть немного мудрости, никогда не прочту, разве что мне закажут сокрушительную критику.

Мы гордо покинули Пэта Кинселлу; вернее, покинул он, а я семенил следом. Джойс поднял свою шляпу на очень иностранный манер, и я заметил: „Вам следует написать на своем стяге и на своей тетрадке: ‘Наслаждайся и будь мерзок’“. — „Ага“, — сказал Джойс, и мы пошли каждый своей дорогой…»

30 августа Робертс потребовал, чтобы автор заменил целый фрагмент в «Милости божией», три абзаца в «Дне плюща», часть «Пансиона» и все имена собственные, а Джойс отказался менять что-либо, кроме имен. Артур Гриффит написал ему, что Робертс ведет себя так всегда и это может тянуться годами. 5 сентября Робертс написал, что Джойс может выкупить оттиски «Дублинцев» за тридцать фунтов, и Джойс согласился при условии, что заплатит из Триеста. Хитростью он выманил у Робертса комплект гранок, и очень вовремя — теперь заупрямился печатник, Джон Фолконер. Он заявил, что непатриотичные тексты печатать ни за какие деньги не станет.

Джойс встретился с ним и попытался уговорить — бесполезно. В дом миссис Мюррей, где они остановились, он вернулся совершенно подавленным. Тетушка приготовила ему ужин из любимых блюд, но он сразу прошел наверх, уселся за

пианино и запел, аккомпанируя себе. Изумленная Нора осталась внизу и сидела там, пока тетушка Мюррей не прикрикнула на нее:

— Немедленно иди к нему! Ты что, не понимаешь, что ему никто больше сейчас не нужен?

Так оно и было — и музыка, и «Дублинцы», и «Портрет…», и «Улисс», и «Поминки…» делались для нее. И уже потом для всех остальных.

11 сентября все оттиски были уничтожены. Джойс записал, что сжег их; Робертс, которому следует верить больше, потому что он стремился соблюсти процедуру, утверждал, что они были порезаны специальным резаком и затем перемолоты в пульпу. Джойсу больше незачем было оставаться в Дублине, и тем же вечером все они уехали.

В Лондоне он последовательно предложил книгу «Инглиш ревью», «Миллз энд Бун» и еще нескольким издательствам. Безуспешно.

Мюнхенский поезд вез их в Германию, Нора и дети спали, а Джойс писал новый памфлет — «Газ из горелки», или как свободно перевела это название В. В. Ивашова, «Зловонное шипение». «Святая миссия», первый его памфлет, был иносказательным, персонажей приходилось угадывать, хотя и без особого труда, но во втором он даже не попытался кого-нибудь скрыть.

Написан он был от лица персонажа, двуедино составленного из Робертса и печатника Фолконера. Больше всех досталось самой Ирландии, жеманной, лицемерной, доверяющей тупым, опасливым и бездарным мерзавцам, которые даже расписание поездов не могут напечатать разборчиво.

Размножил он памфлет уже в Триесте, 15 сентября, и отослал Чарльзу, доверив ему распространение среди знакомых и, разумеется, персонажей. Случайно или намеренно его прочел Джойс-старший и устроил скандал; назвал автора негодяем без малейшего проблеска джентльменства — в себе на этот счет он никак не сомневался. Чарльз вынужден был исполнить настойчивую просьбу старшего брата втайне от отца.

Так закончился последний приезд Джойса на историческую родину.

«Оказалось трудно прийти к иному заключению, чем это — существовало намерение измучить меня или, если получится, придушить навсегда. Но в этом они не преуспели».

С 1909 по 1912 год он не испытал на дублинских мостовых ничего, кроме враждебности, подлости и расчетливого унижения. Джойс ощущал необъяснимый страх, что в следующий раз его

просто сведут с ума. Все личные ссоры и конфликты ему, словно Блейку, казались проявлениями чего-то более значительного и потаенного. Непрощение Джойса было еще и отчаянной самозащитой. Дважды потом его приглашал в Ирландию Йетс, один раз для избрания в Ирландскую литературную академию — он вежливо отказался и даже отослал обратно все прилагавшиеся документы. Он постоянно примерял на себя эпизод с Парнеллом — ком негашеной извести, брошенный в лицо «благодарными» земляками.

Теперь он возвращался домой только в памяти и воображении. Он одновременно держался на удалении от Дублина и шел тенью за своими героями. Вторая Ирландия, как сказали бы сейчас, виртуальная, кристаллизовалась в его сознании, и третью нес с собой каждый из его персонажей.

Глава двадцатая ЭЗРА, ГАРРИЕТ, ТОМАС

And, what to me was burden
without end,
To him seemed easy…[72]

Вернувшись в Триест, Джойс приободрился — скорее всего, потому, что ощутил себя властным над реальностью, и как художник и как обыватель.

Кредиторов удалось приструнить. Кому-то было объяснено, что лучше получить часть, чем ничего, кому-то заплачено с помощью обиженного, но безотказного Станислауса. Остальными Джойс искусно манипулировал, используя накопленный опыт, и мчался, как говорят альпинисты, оседлав лавину. Среди его счетов и свидетельство об оплате за реставрацию и пересылку семейных портретов. Похоже, Джойс не очень доверял отцовскому пиетету перед фамильными ценностями и помнил, как хорошо в этой семье знают дорогу к ломбарду. Ученики имели случай любоваться портретами все то время, пока Джойс снимал квартиру на виа Донато Браманте, 5. Гости благоговели, но домовладельцы по-прежнему скандалили. Да и образ жизни Джойса был не самым респектабельным, во всяком случае, с точки зрения лендлорда.

Должность в Высшей коммерческой школе чуть облагородила его распорядок. По утрам он преподавал, а после обеда работал с частными учениками, которых стало больше из-за его нового статуса: даже его непунктуальность и причудливые методики вызывали умиление и восторг. Он терпеть не мог заниматься начальными стадиями учебы, ставить фонетику, основы синтаксиса и прочее. Проскочив первые берлицевские упражнения, Джойс, как правило, усаживал ученика за «Жизнь Джонсона» Босуэлла и не столько читал с ним, сколько беседовал.

Он сидел на одном из своих псевдоскандинавских стульев, нога заплетена за ногу, в желтых от табака пальцах дымящаяся «вирджиния». Если ученик попадался начитанный и достаточно интеллигентный, наподобие Паоло Кацци, популярного триестинского адвоката, разговор мог перейти на что угодно и завершиться когда угодно. Чаще всего они спорили о томистской морали, но Кацци, изучавший философию Джамбаттисты Вико, обрадовался, узнав, что наставника тоже крайне интересует великий интерпретатор истории. Кацци уже прочитал «Пять лекций о психоанализе» Фрейда и увлеченно спорил с Джойсом

об оговорках и их возможном значении. Джойс считал, что Вико предвосхитил Фрейда.

Джойс давал уроки также четырнадцатилетней сестре Кацци Эмме и двум ее подругам, обожавшим его. Часто строгая муштра сменялась перелетом к роялю, и все хором распевали «Мистера Дули» или что-нибудь еще. Или затевалось соревнование на лучшую имитацию батмана примы-балерины Ковент-Гардена — и Джойс, худой и гибкий, всегда выигрывал. Пренебрежение чопорной педагогикой рождало к нему то доверие учениц, которого лишены были даже их родители.

Эмма однажды рассказала ему, что делает из сушеных листьев розы сигареты, которые тайком покуривает. Джойс, искавший замену табаку — он боялся, что это одна из причин ухудшения зрения, — попросил одну на пробу. Затянувшись несколько раз, он похвалил Эмму — вкус природы, сказал он, свежего сена, животных, навоза…

Заканчивались уроки общим съезжанием по перилам: Джойс — впереди, ученицы с визгом и хохотом — за ним. Но как-то раз синьора Кацци увидела это, и уроки сразу же прекратились.

Ученики у Джойса были весьма колоритные, и судьба их оказывалась порой весьма нетривиальной. С Борисом Фурланом, будущим известным югославским политиком, он спорил о Шопенгауэре и Ницше, которым противопоставлял все того же Фому Аквинского. Джойс говорил, что читал его на латыни по странице в день. Именно у него он научился тому, что мораль не есть принятие героических решений. Порой труднее попросить, чем атаковать. Фурлан наслаждался такими спорами, но потом стыдливо признался, что ему нужнее технический английский…

Почти естественным компонентом учительской профессии является эротика. Учителя влюбляются, порой вполне платонически, порой нет, учительницы — реже. Влюбился и Джойс. Амалия Поппер была дочерью богатого местного коммерсанта Леопольдо Поппера. Потом станет ясно, что Джойс вплавит и ее в удивительный слиток Молли Блум, но сейчас его не только мучают умиление и вожделение — он еще и забавляется полной несуразностью своего увлечения. Амалия грезится ему иудейской воительницей, делающей его своим белым рабом-кельтом.

Много лет спустя рукопись, в которой он излил свое тогдашнее ощущение, будет обнаружена. Каллиграфически выписанная, она озаглавлена «ДЖАКОМО ДЖОЙС». Откровенность, с которой он дает герою свою фамилию, — ловушка для простака. Как замечает Е. Гениева, здесь ироническое, подчеркнуто деромантизированное изображение

героя сильнее, чем даже в «Портрете…», и создавать дистанцию между собой и персонажем Джойс учится у Лермонтова. Пришло время «горьких лекарств и едких истин», «безжалостной иронии, которая напоминает мою». Да и имя — тоже не просто перевод на итальянский: «Джакомо» — это почти всегда намек на Казанову, великого любовника и посредственного писателя.

Рукопись сделана по законам музыки, и уж во вторую очередь по законам прозы. Сам графический рисунок страницы напоминает нотный лист — абзацы и отдельные предложения разбросаны по нему, и предложения кратки, словно раздельные аккорды.

«Кто? Бледное лицо в ореоле пахучих мехов. Движения ее застенчивы и нервны. Она смотрит, в лорнет. Да: вздох. Смех. Взлет ресниц.

Паутинный почерк, удлиненные и изящные буквы, надменные и покорные: знатная молодая особа.

Я вздымаюсь на легкой волне ученой речи: Сведенборг, Псевдо-Ареопагит, Мигель де Молинос, Иоахим Аббас. Волна откатила. Ее классная подруга, извиваясь змеиным телом, мурлычет на венско-итальянском. Это культура! Длинные ресницы взлетают: жгучее острие иглы в бархате глаз жалит и дрожит.

Высокие каблучки пусто постукивают по гулким каменным ступенькам. Холод в замке, вздернутые кольчуги, грубые железные фонари над извивами витых башенных лестниц. Быстро постукивающие каблучки, звонкий и пустой звук. Там, внизу, кто-то хочет поговорить с вашей милостью.

Она никогда не сморкается. Форма речи: малым сказать многое.

Выточенная и вызревшая: выточенная резцом внутрисемейных браков, вызревшая в оранжерейной уединенности своего народа.

Молочное зарево над рисовым полем вблизи Верчелли. Опущенные крылья шляпы затеняют лживую улыбку. Тени бегут по лживой улыбке, по лицу, опаленному горячим молочным светом, сизые, цвета сыворотки тени под скулами, желточно-желтые тени на влажном лбу, прогоркло-желчная усмешка в сощуренных глазах»[73].

Читателю этот полудневник, полуповесть открылся только в 1968-м, когда Ричард Эллман выкупил его у оставшегося неизвестным коллекционера. Джойс не предназначал эти шестнадцать рукописных страничек для открытого чтения, хотя название рукописи написано чужим почерком. Джойса позабавила эта версия, и он оставил ее.

«Покой середины пути, ночь, мрак истории дремлет под луной на Пьяцца дель Эрбле. Город спит. В подворотнях темных улиц у реки — глаза распутниц вылавливают прелюбодеев. Пять услуг за пять франков. Темная волна чувства, еще и еще и еще.

Глаза мои во тьме не видят ничего, любовь моя. Еще. Не надо больше. Темная любовь, темное томление. Не надо больше. Тьма».

Исследователи считают «Джакомо Джойса» любовной поэмой в прозе; Джойс, который всегда считал себя аватарой Шекспира, отыскал свою «Темную леди». Он видит ее во сне, он видит ее наяву, и особенной разницы тут нет:

«Она поднимает руки, пытаясь застегнуть сзади черное кисейное платье. Она не может: нет, не может. Она молча пятится ко мне. Я поднимаю руки, чтобы помочь: ее руки падают. Я держу нежные, как паутинка, края платья и, застегивая его, вижу сквозь прорезь черной кисеи гибкое тело в оранжевой рубашке. Бретельки скользят по плечам, рубашка медленно падает: гибкое, гладкое голое тело мерцает серебристой чешуей. Рубашка скользит по изящным из гладкого, отшлифованного серебра ягодицам и по бороздке тускло-серебряная тень… Пальцы, холодные, легкие, ласковые… Прикосновение, прикосновение.

Безумное, беспомощное слабое дыхание. А ты нагнись и внемли: голос. Воробей под колесницей Джаггернаута взывает к владыке мира. Прошу тебя, господин Бог, добрый господин Бог! Прощай, большой мир!.. Ведь это же свинство.

Огромные банты на изящных бальных туфельках: шпоры изнеженной птицы.

Дама идет быстро, быстро, быстро… Чистый воздух на горной дороге. Хмуро просыпается Триест: хмурый солнечный свет на беспорядочно теснящихся крышах, крытых коричневой черепицей, черепахоподобных; толпы пустых болтунов в ожидании национального освобождения. Красавчик встает с постели жены любовника своей жены; темно-синие свирепые глаза хозяйки сверкают, она суетится, снует по дому, сжав в руке стакан уксусной кислоты… Чистый воздух и тишина на горной дороге, топот копыт. Юная всадница. Гедда! Гедда Габлер!

Она идет впереди меня по коридору, и медленно рассыпается темный узел волос. Медленный водопад волос. Она чиста и идет впереди, простая и гордая, и так шла она у Данте, простая и гордая, и так, не запятнанная кровью и насилием, дочь Ченчи, Беатриче, шла к своей смерти»:

…Мне
Пояс затяни и завяжи мне волосы

В простой, обычный узел.

В возлюбленной есть все: от того, что можно любить, до достойного отвращения, и часто это одни и те же вещи — «тонкие томные тайные уста: темнокровные моллюски». Ее ирредентизм, национализм триестского разлива, смешит его — «любишь свою страну, когда знаешь, что это за страна». Как в шекспировской драме, выплывает на страницы отец — «лицо пожилого мужчины, красивое, румяное, с длинными белыми бакенбардами, еврейское лицо поворачивается ко мне, когда мы вместе спускаемся по горному склону». Из одной его фразы: «Дочь моя восторгается учителем английского языка» — Джойс создает полифонический, спектрально-аналитический комментарий: «О! Прекрасно сказано: обходительность, доброта, любознательность, прямота, подозрительность, естественность, старческая немощь, высокомерие, откровенность, воспитанность, простодушие, осторожность, страстность, сострадание: прекрасная смесь». В нем столько же любования, сколько и язвительности.

Двадцать пятого ноября 1913 года Джойс читает в Народном университете курс из десяти лекций о Шекспире. Народу собирается много, он не видит Амалию, но знает — она здесь: «Гамлет, вещаю я, который изысканно вежлив со знатными и простолюдинами, груб только с Полонием. Разуверившийся идеалист, он, возможно, видит в родителях своей возлюбленной лишь жалкую попытку природы воспроизвести ее образ… Неужели она не замечала?»

Он думает о ней постоянно, мотаясь по городу, ведя занятия. Даже случайный визит на еврейское кладбище — строчка в рукописи: «Трупы евреев лежат вокруг, гниют в земле своего священного поля… Здесь могила ее сородичей, черная плита, безнадежное безмолвие. Меня привел сюда прыщавый Мейсел. Он там за деревьями стоит с покрытой головой у могилы жены, покончившей с собой, и все удивляется, как женщина, которая спала в его постели, могла прийти к такому концу… Могила ее сородичей и ее могила: черная плита, безнадежное безмолвие: один шаг. Не умирай!»

«Не умирай!» Он молится за нее своей молитвой и призывает свое «чудовищное везение» помочь ей, когда она попадает на хирургический стол, и входит вместе с ножом хирурга во внутренности любимой, тут же обвиняя Бога в похоти, в невыразимом по жути соитии. Аппендикс был удален без проблем, и уроки продолжились.

Почти все стихи, написанные за четыре года (1912–1916), так

или иначе связаны с Амалией Поппер. Бедняжке Лючии она подарила цветок, и Джойс из этого создает одно из лучших своих стихотворений.

ЦВЕТОК, ПОДАРЕННЫЙ МОЕЙ ДОЧЕРИ

Хрупка белая роза и хрупки
Ее руки, что дарят (цветок)
Чья душа увяла и выцвела более
Чем тусклая времени волна.

Розохрупкая и прекрасная — однако самое хрупкое
Безумное чудо
В нежных глазах, что ты прячешь,
Моя синевенная дочь[74].

«Цветок, что она подарила моей дочери. Хрупкий подарок, хрупкая дарительница, хрупкий прозрачный ребенок».

«Ночная песня» — стихотворение, в котором Амалия и Париж сплетаются воедино. И следом за ним появляется восьмистишие, навеянное гребными гонками, где участвовал Станислаус. Приближаясь к острову, гребцы по традиции начинали петь арию из «Девушки с Запада» Пуччини, где последняя фраза была «e non ritomero piu»[75]; ее и обыграл Джойс.

ГЛЯДЯ НА ЛОДКИ В САН-САББА

Я слышал, как их юные сердца выкрикивают
Любовь над сверкающими веслами,
И слышал, как травы прерий вздыхают:
И никогда не возвращаться, никогда!

О сердца, о вздыхающие травы,
Тщетно оплакивать стяги, развевающиеся под ветром любви!
Никогда буйный ветер летящий
Не вернется, никогда не вернется.

Станислаусу он отослал это стихотворение с эпиграфом из Горация — «Quid si prisca redit Venus?»[76] Разумеется, оно не о спорте. Так же, как и в стихотворении о цветке полно аллюзий с Суинберном, здесь просто слышна интонация Теннисона из хрестоматийного «Бей, бей, бей…». Джойс понимает, что его любовь обречена. Они никогда не видятся наедине, ему никогда не удавалось поговорить с ней о своем чувстве и услышать от нее

хоть что-нибудь в ответ. Он показал ей фрагмент «Портрета…» — «эти бледные бесстрастные пальцы касались страниц, отвратительных и прекрасных, на которых позор мой будет гореть вечно». И она находит способ сказать ему, что «будь „Портрет художника“ откровенен лишь ради откровенности, она спросила бы, почему я дал ей прочесть его…». И он горестно-иронически приписывает: «Конечно, вы спросили бы! Дама ученая».

Все это тянется до лета 1914 года. «Голос мой тонет в эхе слов, так тонул в отдающихся эхом холмах полный мудрости и тоски голос Предвечного, звавшего Авраама. Она откидывается на подушки: одалиска в роскошном полумраке. Я растворяюсь в ней: и душа моя струит, и льет, и извергает жидкое и обильное семя во влажный теплый податливо призывный покой ее женственности… Теперь бери ее, кто хочет!..»

В рукописи есть латинская цитата из Евангелия от Иоанна: «Non hunc sed Barabbam!!»[77] Эллман объясняет ее так: «Как ее предки перед Пилатом, она предпочитает Варавву Христу». Его попытка объясниться натыкается на бесповоротный отказ, и в следующий его визит она словно обнесена стеной: «Запустение. Голые стены. Стылый дневной свет. Длинный черный рояль: мертвая музыка. Дамская шляпка, алый цветок на полях и зонтик, сложенный. Ее герб: шлем, червлень и тупое копье на щите, вороном». С жестокой насмешкой Джойс добавляет: «Посылка: любишь меня, люби мой зонтик».

Она исчезла из жизни Джойса, выйдя замуж за весьма положительного негоцианта и переехав во Флоренцию. В 1933 году она письмом испросила разрешения перевести на итальянский «Дублинцев», но, видимо, не справилась с работой.

Для Джойса это был не только флирт и не просто рукопись. Происходившее с ним и в нем все настойчивее требовало выражения, и существовавший литературный арсенал предлагал ему только части, пригодные для новой машины, а недостающее предстояло выточить самому. Тетрадка с «Джакомо Джойсом» оказалась не только лирическим дневником совершенно невозможного увлечения, обреченного на ничто. За много лет он впервые был так душевно разбужен, и особенно важно, что это произошло на фоне пережитого в Дублине крушения. Текст, совершенно очевидно, является одной из первых связных проб того стиля, что скрепит его «магнум опус» — «своеобразного переплетения „старой“ манеры писателя — витиевато-усложненных конструкций множественных повторов „Портрета…“ — и манеры новой, той, что будет характерна для „Улисса“. Эту новую манеру определяют быстрые, стенографически лаконичные фразы, в которых неожиданные сочетания и сопоставления слов

порождают не менее неожиданные образы» (Е. Ю. Гениева). Не случайно именно сейчас Джойс опять начинает писать стихи; а ведь он ответил композитору Джеффри Молино Палмеру еще в 1909-м: «Вряд ли я снова начну писать стихи, разве что с моим мозгом случится что-то совсем непредвиденное…»

Предвидение «новой манеры» для Джойса — не просто смена одной техники на другую; между этих строк сгорает одна судьба и начинается другая, хотя вряд ли это связано только с Амалией Поппер: «От странного имени старого голландского музыканта становится странной и далекой всякая красота. Я слышу его вариации для клавикордов на старый мотив: молодость проходит. В смутном тумане старых звуков появляется точечка света: вот-вот заговорит душа. Молодость проходит. Конец настал. Этого никогда не будет. И ты это знаешь. И что? Пиши об этом, черт тебя подери, пиши! На что же ты еще годен?»

Скандал с Робертсом его ошеломил, но не сломал. Рукопись была послана молодому издателю Мартину Секеру, пару лет с успехом издававшему зарубежных авторов, но напечатавшему и Комптона Макензи, и Альфреда Дугласа. Одновременно Джойс пишет Йетсу; среди переписки по переводу «Графини Кэтлин» он добавляет: «Вы оказали бы мне огромную услугу… надеюсь, также и услугу литературе нашей страны». Секер книгу не взял. Джойс пишет Элкину Мэтьюсу и предлагает взять на себя типографские издержки, даже «авансом». Отклонено. В 1913 году Джойс уже увлечен одинаково сильно и Амалией, и накоплением материала для «Портрета…» и того, что будет «Улиссом», поэтому рукопись дожидается нового странствия в почтовом мешке, а он тем временем печатает стихотворение о гребцах в «Сатердей ревью». Осенью вдруг пришло письмо от Гранта Ричардса, которого, похоже, мучила совесть — ему снова понадобилась рукопись «Дублинцев».

Второе письмо было от Эзры Паунда. Тогда для Джойса это был едва запомнившийся американский приятель Йетса. Сам листок вдруг повеял чем-то теплым и дружественным — Паунд называл это потом «созданной личностью». Паунд писал, что слышал о нем от Йетса, что впервые пишет кому-то не из своей среды и что хочет знать, не нужна ли ему работа. Есть два не слишком денежных английских журнала, «Эгоист» и «Церебралист», и два более почтенных американских издания — «Смарт сет» уже знаменитого к тому времени Генри Льюиса Менкена и «Поэтри» Харриет Монро. Ему неизвестно, что Джойс теперь пишет и чем они могут быть полезны друг другу, и что скорее их объединяет пара-другая ненавистей, но это довольно сомнительная скрепа…

Еще до того, как Джойс ответил, Паунд написал снова. Йетс отверг «Я слышу: мощное войско штурмует берег земной…»[78], что его поразило, и он хочет поместить стихи в свою антологию «Имажисты» за гонорар. Польщенный Джойс с энтузиазмом взялся за первую главу «Портрета…», закончил ее, добавил к ней «Дублинцев» и в середине января отправил Паунду. Тот ответил немедленно. В прозе он ничего не понимает, хотя роман явно будет отличным, сравнимым разве что с Генри Джеймсом, Хадсоном и кое-чем у Конрада. Поэтому он послал все в «Эгоист». Там будут, как он выразился, «телиться» от языка Джойса, но Паунд считал, что сумеет убедить редактора. Еще через неделю он сообщил, что «Дублинцы» очень хороши. Возьмет ли их Менкен в «Смарт сет», пока нельзя сказать, но «Встречу», «Пансион» и «Облачко» он ему выслал. Нет ли у Джойса еще стихов, особенно близких по настроению к «Я слышу»? Их можно бы сразу дать в «Поэтри», они хорошо платят. Паунд жаждал быть открывателем, а Джойс — быть открытым.

Эзра Паунд был странной, но вполне современной фигурой. Его репутацию поэта не изменили впоследствии даже вполне скандальное сотрудничество с итальянским фашистским режимом и двенадцать лет психушки. Он так же, как и Джойс, презирал б***о***льшую часть тогдашней литературы и литераторов и рвался все изменить. Он искал и умел находить соратников, у него были вкус и желание нового. И Менкен, и Монро прислушивались к его рекомендациям. Даже влиятельные английские литераторы попадали под его неукротимое обаяние. Форд Мэдокс Форд и тогдашняя редакция «Эгоиста» были его друзьями, и во Франции у него были товарищи по оружию — Анри Деврэй, издатели и редакторы «Меркюр де Франс». Он был живым каналом литературного обмена между Старым и Новым Светом — первоклассные американские авторы, будущие классики, становились едва ли не популярнее в Европе, чем на родине. Марианна Мур, Хемингуэй, Уиндем Льюис, Ричард Олдингтон, даже Рабиндранат Тагор — во всех в них он принял самое горячее участие.

В Лондон Паунд перебрался из Венеции, где издал тощую книжку романтических стихов, мало кем замеченную. Ему самому в это время приходилось очень глубоко переделывать себя и свою поэтическую сущность, но его поразительной энергии хватало на всё. Он обожал Йетса, подружился с ним, стал его секретарем и даже взял в жены дочь его бывшей любовницы. Полиглот, увлеченный Китаем и Японией, он читал и писал стихи на всех языках и переводил со всех; правда, в названии своей главной книги он умудрился увековечить грамматическую ошибку, но

итальянскую, а не английскую[79]. С Йетсом они увлеченно пытались сделать друг из друга то, чего хотелось каждому, Паунд заинтересовал великого мистика японской драматургией и театром, а тот, в свою очередь, сумел подарить ему очарование трансцендентного. Имажизм переставал увлекать Паунда, он собирался стать вортисистом — это течение требовало более жестокого, почти пластического объективизма, и он выработал его для себя скорее под влиянием друзей-скульпторов, Анри Годье-Бреска и Уиндема Льюиса. Он жадно выискивал все новое во всем, и прежде всего в искусстве, и стал чем-то вроде нервного узла всей тогдашней новой эстетики; Паунд приобретал картины и скульптуры новых художников и напористо уговаривал богатых приятелей делать то же, многие из них беспрекословно учились у него смотреть, читать и думать — или по крайней мере повторять за ним.

В 1913 году он едва ли не первым оценил фермера-неудачника и школьного учителя Роберта Фроста, но в своем реформаторском порыве так насел на него, воспитывая и наставляя, что Фрост в конце концов сбежал из Лондона. Теперь он открыл Джойса и почти тут же отыскал скромного американца, изучавшего философию в Оксфорде, по имени Томас Стернс Элиот. Тихо и неотступно создавал он совершенно необычную поэзию, воистину слово нового века. Знакомство с новыми авторами и беспрерывное чтение преображали и его самого — от старомодного романтизма, подражательного труверства почти ничего не осталось. «Портрет…» явился вовремя: Паунд увидел, как сплетаются воедино самый неумолимый объективизм и самый откровенный лиризм, насколько разным и изощренным может быть сочетание реализма и символизма. Когда в 1920-м он писал свою огромную поэтическую автобиографию «Хью Селвин Моберли», он даже не пытался скрыть стремления быть таким же настойчивым в отступлениях и возвращениях к герою, в пересечении современности и классического наследия. Но его герой — это элиотовский Альфред Дж. Пруфрок, только еще молодой и в общем-то неуязвимый обыватель-мимикридон, а не мучительно обретающий себя юный художник.

«Эгоист» был абсолютно верно угадан Паундом как то место, где Джойса напечатают. Дора Марсден, умная, красивая, прекрасно образованная женщина, выпускница Манчестерского университета, была редактором этого журнала, до того успев побыть известной феминисткой и основательницей двух изданий — «Фривумен» и «Нью фривумен», где ее соредактором была известная писательница и журналистка Ребекка Уэст, любовница Герберта Уэллса и Чарли Чаплина. Издание скоро отошло от

феминизма и сосредоточилось на проблемах освобождения человеческого духа без учета половой принадлежности. Уэст покинула журнал, поспорив с Дорой Марсден, и та ввела в круг соратников Эзру Паунда, а потом доверила ему весь отдел литературы. Он и настоял на том, чтобы журнал изменил название. Ричард Олдингтон, Аллен Апвард, Реджинальд Кауфман и Хантли Картер с его подачи написали редактору общее письмо с просьбой найти название, которое больше отвечало бы характеру издания — борьбе за индивидуальность обоих полов в любой сфере жизни. Как почитательница Беркли, Дора выбрала «Эгоист». Право на передовицы она оставила за собой, ибо оно давало ей возможность направлять «исследование глубин человеческой природы» и считать проблему пола универсальным порождением вселенной. Редактура мало-помалу перешла к другим: Ребекку Уэст сменил Ричард Олдингтон, заместителями редактора стали американцы Хильда Дулитл и Т. С. Элиот. Паунд по-прежнему пользовался влиянием, но главная функция в июне 1914-го перешла к Гарриет Уивер, до тех пор директору издания. Она станет одной из ключевых фигур в жизни Джойса и останется ею до самого появления «Поминок по Финнегану».

Гарриет Шоу Уивер была дочерью врача из чеширского городка Фродшем, а в пятнадцать лет она переехала в Хэмпстед. Джойс поинтересовался с надеждой, нет ли в ней ирландской крови, и она печально ответила: «Боюсь, я безнадежная англичанка…» В 1913-м ей был тридцать один год, строжайшее квакерское воспитание определило почти всё, включая даже внешность, — Вирджиния и Леонард Вулф в своих параллельных дневниках дружно описывают серую мышку в сером костюме и серой блузке со скромнейшими кружевами. Тем невероятнее все то, что она сделала для авангардного журнала и его достаточно нескромных авторов. Оставаясь любящим и верным членом семьи, она на редкость полно отделила себя от их воззрений и нравов. Сперва она стала убежденной феминисткой. Взяв на себя деловую сторону издания, она понемногу стала отвечать за всё, включая проблемы с властями, и делала это безупречно и серьезно.

«Портрет художника в юности» был анонсирован «Нью фривумен» в декабре 1913 года как глубокое исследование творческой личности: «Сумев привыкнуть описывать человека не в терминах его физической природы, а так, как он себя чувствует, мы сумеем и разбить наконец мертвящий контекст единообразия». Первую главу Дора Марсден прочитала и согласилась печатать «Портрет…» с продолжениями. На день

рождения Джойса, 2 февраля, что всегда казалось ему добрым предзнаменованием, пришелся первый выпуск. А в промежутке Паунд напечатал в январском выпуске статью «Странная история», где рассказал историю терзаний «Дублинцев» и то, как Джойс просил помощи у ирландской прессы в августе 1911-го.

Интерес и поддержка «Эгоиста» вернули Джойсу уверенность и напор. В январе 1914 года он снова пишет Гранту Ричардсу и настойчиво предлагает ответить на свое недавнее письмо с вопросом о судьбе сборника. Через четыре дня пришло письмо Ричардса — он согласился напечатать «Дублинцев».

Так настал перелом в литературной судьбе Джеймса Джойса, которому придется прожить одну из самых тяжелых писательских жизней и явить при этом поучительную твердость и мужество, а также редкую способность ломать отношения именно с теми, кто делал для него больше всех.

Контракт был не слишком выгоден: за первые 500 экземпляров — никаких роялти, 120 экземпляров автор выкупал сам, но Джойс не стал вникать в тонкости. Ему казалось куда более важным сохранить свою пунктуацию, но когда Ричардс не согласился, он уступил и в этом. Первые гранки пришли в конце апреля, и Джойс очень быстро проработал их, вернув вместе с копиями газетных рецензий на «Камерную музыку» — маркетинговый прием, которым он воспользуется еще не раз. К сожалению, не удалось получить предисловия Элисон Янг, и издать книгу в мае, «счастливом месяце» Джойса, тоже не удалось: она вышла только в июне, тиражом 1250 экземпляров.

Книга вышла, твердыни не рухнули, по улицам Дублина не маршировали гневные ревнители нравственности. Рецензии были вполне приличные — самым ужасным, в чем обличали Джойса, был цинизм или отсутствие идеи, Эзра Паунд в «Эгоисте» от 15 июля возвестил возвращение стиля в ирландскую литературу, а Джеральд Гулд в «Нью стейтсмен» возглашал появление гения, хотя и слишком стерильного. Джойс регулярно посылал обозревателям благодарственные письма, не столько из признательности, сколько из желания «глубже впечатать свое имя в их память» (Р. Эллман). Ричардс даже был доволен, что сенсация оказалась такой скромной.

Первая мировая война властно вмешалась в литературную жизнь Джойса, как и Вторая, которая практически отменит все усилия по продвижению «Поминок по Финнегану». К маю 1915-го, когда сотни тысяч британцев уже пали на полях сражений, было продано всего 379 экземпляров — вместе с теми ста двадцатью, которые по контракту выкупил автор. Джойс был расстроен, однако Ричардс утешил его, сказав, что в войну продаются

успешно лишь патриотические песенники.

«Эгоист» не отказался от «Портрета…» даже по такой грандиозной причине, и Джойсу пришлось налечь на работу. Глава за главой он отсылал рукопись Паунду, а тот передавал их в редакцию; их печатали вставками по 12–15 страниц. Появление романа Паунд считал gloire de cénacle[80], и с ним единодушны были остальные, включая Форда, Льюиса и Олдингтона; он непрерывно занимался делами Джойса, подключив на случай обвинений в непристойности Фрэнка Харриса. Изменились и многие намерения по части завершения романа. Характер героя стал богаче: например, у Стивена появляется чувство юмора, которое раньше дремало, и к концу текста всё достовернее — это не просто юность. Это юность гения.

Опасаясь потерять шанс, Джойс усиленно работает над рукописью и с ноября пересылает куски в «Эгоист». Отправлять приходилось через посредника — почтового сообщения между Британией и Австрией уже не было. Тесть Шмица, Бруно Венециани, имел в Мурано фабрику красок и помогал переправлять корреспонденцию. Последние страницы пятой главы попали к Паунду лишь в конце июля 1915 года, судя по тому, что в августе он пишет Джойсу о только что прочитанном «великолепном завершении» и что «готов использовать самые безумные гиперболы». Книга крепкая, совершенная, устойчивая, сравнимая с Харди и Джеймсом, являющая высокую ценность.

Джойс любил внимание, но важнее было то, что теперь он был не писателем из Триеста, а международным литератором, что он вошел в английскую словесность и что им заинтересовались и друзья, и враги. Осуждение, похвала, иронические разборы, полное отрицание — все равно, лишь бы не неизвестность. Теперь, когда с ним были Паунд и Гарриет Уивер, он сумел не только закончить «Портрет…», но и начать «Изгнанников». И в папках набиралось все больше и больше заметок, вырастающих в книгу, не похожую ни на что из написанного прежде.

Первые заметки к «Изгнанникам» ноября 1913 года о возвращении на родину, дружбе, измене совпадают с теми, что разрабатываются в новом романе. Джойсу интереснее ощущения и состояние мужа, а не любовников: только что прожив заново жизнь юного Стивена и как бы завершив ее, он именно в муже-персонаже мог ощутить свою теперешнюю зрелость. Антагонистов он находит легко; в «Изгнанниках» он мстительно переодевает в обманувшего доверие Роуэна — и Роберта Хэнда, и Гогарти, и Косгрейва, и Кеттла, и Прециозо. Пережитое воплощается в грустную мысль: друг — это тот, кто хочет завладеть твоими мыслями, потому что закон запрещает ему завладеть твоим телом

и телом твоей жены, а доказать, что он твой ученик, может, только предав тебя.

При всем интересе Джойса к театру, «Изгнанники» — его единственная пьеса[81]. Несомненно могучее влияние Ибсена и в теме, и в композиции, и в стиле.

Джойс утверждал, что эта пьеса не о супружеской неверности, но об изгнании, однако среди ключевых линий — встреча Ричарда и Роберта, друзей детства, встретившихся спустя девять лет и до сих пор враждующих из-за привязанности одной и той же женщины. Кипит стихия зависти и предательства, хрипит шекспировское «чудовище с зелеными глазами». Берта, загадочная жена Ричарда, и есть женщина, которую Роберт до сих пор желает. Он даже проговаривается, что она стала в девять раз красивее за девять лет, прожитых с Ричардом в Италии. Все происходит за несколько дней. Берта, рассудительная красавица в лавандовом платье, оказывается меж двух свирепеющих соперников. В самой темной части своей натуры Ричард хочет быть преданным ею, «тайно, подло и коварно». Он подталкивает ее к свиданию, которое назначает ей Роберт, чтобы убедиться, насколько верны его сомнения. А Роберт уверяет ее, что муж желает избавиться от всех цепей мещанских условностей.

«Мышеловка в трех актах», говорил о ней Джойс. Если так, то кошкой здесь должна быть Берта; но она опровергает эти ожидания — в ней нет ничего от Гедды Габлер, она не интриганка, она не будет натравливать их друг на друга, скорее наоборот — ей верится, что она может снова сблизить их, ее ум, говорит Джойс, «как морской туман». Поединок Ричарда и Роберта неожиданно рассказывает о чести и достоинстве Берты.

В записях к пьесе сказано, что Ричард желает дать Берте свободу, но не может ожидать, что результатом ее обретения окажется супружеская верность. Может статься, что она как раз не сможет примирить их или развязать этот жестокий узел. Но для нее свобода совсем не то, что для Ричарда: не расставание, а сознательное укрепление союза. Она ждет от него хотя бы намека на то же, но он порабощен собственной уверенностью, что не может властвовать над другим человеком. Именно такая любовь к жене удерживает его от решительных действий. Именно поэтому он создает ситуацию, в которой будет только страдать.

Ричард изгоняет себя из любви, Роберт — из собственной чести, Берта — из уверенности в муже и супружестве. Это, как пишет Эллман, метафизическое возвращение, оборачивающееся метафизическим изгнанием.

Но большая часть критиков прочитала пьесу как рассказ об эротомане и вуайеристе. Странно было бы ожидать другого. Не

успели «Изгнанники» появиться в печати, их дружно признали «грязью». Почти всему, что напишет Джойс впоследствии, достанется тот же ярлык.

Глава двадцать первая ОДИССЕЙ, «УЛИСС», ПОТОК

Before me floats an image, man or shade,
Shade more than man, more image than a shade…[82]

Слова «Улисс» и «Джойс» в обыденном интеллигентном сознании сплетены навечно. Это не всегда означает, что оно представляет себе их значение. 1907 год — самые ранние упоминания об «Улиссе» или прото-«Улиссе» в записях Джойса. Видно, как растут и усложняются его представления о методе, границах и полноте замысла. То, что всерьез пробуется в «Портрете…», что напряженно звенит в горестно-насмешливом «Джакомо Джойсе», прорастет невероятной красоты и сложности онтогенетическими конструкциями «Улисса».

В записях 1914 года он пробует все более странные приемы — Дюжарден, некогда поразивший его, уже выглядит бледнее. Повествователь Флобера станет Господом Богом и исчезнет, не исчезая, но ему нужны особая техника, новый стиль или даже, как назвал его Элиот, «антистиль».

«Улисс» принято считать высшим воплощением так называемого внутреннего монолога или «потока сознания», в свою очередь являющихся результатом более ранних экспериментов, и не только литературных. Одним из первых воспользовался им Лоренс Стерн — он создал повествователя, говорившего именно так. Старший брат писателя Генри Джеймса, замечательный американский психолог Уильям Джеймс еще в 1890 году писал:

«В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. *Непрерывным* рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую перемену в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение „*сознание непрерывно*“ заключает в себе две мысли:

1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временно*м*у пробелу и следующие за ним, как части одной и той

же личности;

2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко».

«Поток сознания» понадобился литературе XX века прежде всего затем, чтобы рассказать о составе и состоянии личности. И Джойс стремительно проделал путь, новый даже по сравнению с недавно явившимися новациями. Генри Джеймс исследовал перемены в морали человечества; Джеймс Джойс исследовал сам характер, синтезируя его по переменам, мельчайшим деталям и признакам и не давая ему проявляться во вспышках и взрывах, которые разрешал своим персонажам в «Дублинцах» и «Портрете…». Это был скорее путь драмы — его повествователи сами движутся сквозь мир, взаимодействуют с ним, но их собственные переживания и мыслетечения задевают его лишь краями. Персонажи, особенно говорящие в романе, настолько обособленны, что введение Джойсом внутреннего монолога восхитило читателя той иллюзией свободы проникновения в мысли другого, которую до совершенства доводит все же он. Хотя Джойс никогда не скрывал, как тщательно он изучал Дюжардена, Джорджа Мура, Толстого и все доступные примеры, включая дневник собственного брата.

Особенно сложны отношения Джойса с кумиром модернистов Зигмундом Фрейдом. Он забавляется теорией словесных ассоциаций: сами его записи часто именно цепочки слов, оси эпизодов. Он ищет в этих записях ключевые слова, действенные повторы, способные остаться в памяти как простой звук. Самый первый внутренний монолог у Джойса, по мнению Эллмана, вмонтирован уже в конец «Портрета…», но пока еще декорирован под фрагменты дневника Стивена. А одна из первых попыток — это все же финал «Мертвых», где Гэбриел говорит с собой, глядя на спящую жену. Оба они словно бы не находят никого, с кем еще можно говорить на этой земле, — Стивену перестал отвечать Крэнли, Гэбриелу — спящая жена. Но в «Улиссе» Джойс полностью отказывается от дневника-приема, у мыслей героев больше нет и этого подобия контроля, они мечутся, выбирая любое направление.

Еще один элемент построения мира, по Джойсу, — это противопоставление факта мифу. Сама конструкция имени персонажа — Стивен Дедалус — является производным от такого столкновения. К ней можно добавить множество других примеров — Голгофу в конце «Мертвых», «духовного бухгалтера» в «Милости божией», постоянное сравнение героев «Изгнанников» с библейскими персонажами, но допускаются и сравнения другой мифологии: Ричард и Роберт обыгрываются как Захер-Мазох и

маркиз де Сад…

В «Улисс» вживлена не только гомеровская и постгомеровская схема — главный герой не только Дедал, но и Икар, не только Гамлет, но и сам Шекспир, не только Иисус, но и Люцифер. Джойсу нужен герой-недохристианин, а еще лучше — язычник, при этом симпатичный читателю. Ему предстояло быть чужаком в городе католиков, но при этом быть его порождением. И Джойс начинает планомерно собирать все, что сделает Улисса дублинцем и не сделает чужим остальному миру. Стивен пока молод и мучительно незрел. Воплощением зрелости будет Леопольд Блум. Они — единство противоположностей, космическая семья, и Джойс все время подчеркивает то умиленное отцовство, что испытывает Блум по отношению к Стивену.

В «Портрете…» герой — матрица, вбирающая элементы, создающиеся и пересоздающиеся. В «Улиссе» Стивен и Блум сталкиваются с одними и теми же положениями и мыслями, и это даже не спор, а нескончаемое сопоставление сложившегося и складывающегося. Они движутся по одним и тем же улицам, но в разное время, думают об одних и тех же вещах, но по-разному, хотя и почти одновременно. Они проживают те же эпизоды — но один проще и яснее, другой глубже, сложнее и путанее, как в «Цирцее». А Мир-Дублин поставляет обрамление, тело, в каждом органе которого они побывали, как эритроциты; но один день возвращает их к сумраку, к теплой тьме, сплетающей всё, к монологу Молли Блум обо всем сразу. «Ночной разум» — называет его один из джойсоведов.

Разумеется, книга Джойса не была коранническим озарением. Писательская работа его в высшей степени технична и структурна, он готовит все по мельчайшим слагаемым. Однако лучшее, говорил он, «приходит в письме». Путешествие современного Улисса должно было совершаться через Дублин, и так же, как Улиссу, ему предстоял ряд событий, мест и встреч. Все гомеровские элементы преображались до неузнаваемости: Циклоп становился двуглазым, но тупым и невыносимым шинфейнером-Гражданином, Цирцея — бандершей. Связи, выплетенные текстом, были уже новыми и независимыми. Кроме Гомера, в создание Дублина вовлечен и Данте: Джойс помнит, что именно за создание троянского коня Одиссей попадает в ад; правда, опять-таки знаменитое сооружение преображается в «темную лошадку» на скачках и неприятности из-за нее. Сигара, которую, по предположению С. Гилберта, Блум выставляет перед собой, удерживая напирающего Гражданина, есть аналог раскаленного кола, которым ослепляют Циклопа. В

Национальном музее Блум похотливо разглядывает статую Афины Паллады, в легендах постгомеровского цикла украденную Одиссеем.

Вышучивание Гомера — далеко не единственная цель «Улисса», и многие травестии и насмешки совсем не так просты. Сигара за четверть шиллинга уравнивается с героическим колом, то есть заостренным и обожженным бревном; но это демонстрация того, что в безгеройном мире свой героизм, и Блум точно так же справляется со своим чудовищем, как Улисс — со своим. Несильный и добродушный Блум одерживает те же победы, что и мускулистый выученный воин, только безоружным — от Улисса у него ум, изобретательность, наблюдательность и человечность. Улисс истребляет женихов сознательно, жестоко и неумолимо, но в его мире он обязан вынудить себя к этому. Блум побеждает, возможно, даже и не зная об этом: его блудливая, неверная, ленивая «Пенелопа» ткет невидимое покрывало из воспоминаний, реплик, язвительных замечаний, но первая нить в этом полотне его. И последняя тоже его — все остальные «женихи», включая Буяна Бойлана, остаются за каймой.

У Данте одолжена и еще одна линия. В XXVI песне «Ада» Улисс говорит: «Ни нежность к сыну, ни перед отцом/Священный страх, ни долг любви спокойной / Близ Пенелопы с радостным челом /Не возмогли смирить мой голод знойный / Изведать мира дальний кругозор / И все, чем дурны люди и достойны»[83]. Та же неутолимая жажда жизни, «голод пространства», звучат в последних словах Стивена в «Портрете…» — «Приветствую тебя, жизнь!» Однако мир, который способен объять Блум, просторнее: его дотошность, его неуемное любопытство, способность упиваться деталями мощнее, чем у Стивена. Юный Стивен, как и Улисс, жесток — по-своему, беспощадностью художника, Стивен «Улисса» научился пренебрегать близкими и мучиться этим. Блум добр.

Эзра Паунд считал, что Улисс в романе — чистая условность, способная придать хоть какой-то скелет практически бессюжетному роману. Джойсу она дает возможность раскрыть еще что-то и в Блуме, и в Гомере, и в самом бытии. Блум — обыватель, но не вульгарный. Средний человек в Ирландии — это чудак; Джойс считал, что он к тому же наделен неповторимой душой. Блум создан из слияния особенных гастрономических пристрастий, сексуальных странностей, необычных интересов и влечений. Но Джойс скорее всего ответил бы — а у кого они обычные? Высвечивается скрываемое, неуродливое, но то, о чем человек любого пола говорит краснея; оно безобиднее пороков, но чуть крупнее прегрешений. Г. Дж. Уэллс, эстетически

противостоявший Джойсу буквально во всем, написал о том же печальную юмореску «Страшный суд».

При всем этом задуман Блум самодостаточным. Он видит все, что и заурядный человек, но глубже и с большим числом ассоциаций. Превозносить его Джойс не собирается, но это одна из самых гуманных вариаций Среднего Человека в мировой литературе. Олдос Хаксли утверждал, что Джойс вычитал где-то этимологию греческого варианта имени Одиссея — Oitus — никто и Zeus — бог. Не вдаваясь в подлинность факта, отметим, что Джойс всемерно старается нарастить значительность своего Странника. Блум никто — без профессии, в разлуке со всей семьей, никакого воздействия на окружение — но он несет в себе бога. Разумеется, не христианского, хотя Блум принадлежит к двум христианским конфессиям сразу. И никакого другого бога Блум себе не выбирает: в заметках Джойс копит доказательства того, что бог Блума есть единение со всеми другими существами. Мучительное ощущение этого единства, достающееся Гэбриелу Конрою через кризис и едва не сломавшее его отношения с женой, довлеет Блуму просто и естественно — с рождения, с осознания себя. Фамилия, выбранная Джойсом для героя, обычная и на идиш означает «цветок», но Блум так же един и так же состоит из множества тончайших слоев, как бутон. Срастание тривиального с необычным — очень важная черта поэтики Джойса.

Стивена Джойс набирал из другого материала. В «Улиссе» этот персонаж — свидетельство того, что между художником и его мировидением расхождения нет. Участвуя в дискуссии о Шекспире, Стивен воссоздает его жизнь на основе написанного им или тем, кто им был. Из «Венеры и Адониса» он выводит факт соблазнения Энн Хэтэуэй юного поэта, из «Ричарда III» — измену Энн с его двумя братьями, Ричардом и Эдмундом, потому что их имена достаются в его пьесах негодяям; поздние пьесы, вроде «Зимней сказки», свидетельствуют, что рождение внучки примиряет его с жизнью… Что-то похожее прозвучит в «Черном принце» Айрис Мердок, где герой издевательски толкует наивной студентке «Гамлета», но монтируя уже психоаналитические штампы.

Джойс воспринимает то, что видит Стивен, намного серьезнее, чем сам Стивен. «Улисс» должен раскрыть более откровенную картину жизни Дублина, он намекает на то, что истинно. В книге все связано с живым и существующим — не имя, так адрес, не адрес, так привычное словечко или цвет усов. В «Поминках по Финнегану» говорится, что Шем Пенман, словно паук, «изготовил из своего небожественного тела это

ненеопределенное количество непристойного веществадела» и «этой двойной краской… написал каждый квадратный дюйм единственного бумацкого колпака, доступного ему — собственного тела…». Джойс как бы говорит, что нынешний художник не Бог-творец, а скорее каракатица, поставляющая сама себе чернила.

«Дочери памяти», изгоняемые Уильямом Блейком из своего дома, получили постоянную работу у Джойса, хотя он говорит о них неуважительно. Всё в его мире будет сотворено из насущного материала, у всего будет двойник за пределами книги, и даже не один — он пользовался всем, что помнил сам и что могли помнить другие. Многое из изображенного в «Улиссе» анекдотично в строжайшем смысле этого термина. Рассказы отца, истории, циркулировавшие в городе, воспроизводились целиком или сплетались из обильного знания городских чудаков, шутов и дураков. К примеру, общеизвестен был профессор Маджинни, угрюмый и пожилой учитель танцев с улицы Норт-Грейт-Джордж. Издали его узнавали по костюму: фрак и темно-серые брюки, шелковый цилиндр, белоснежный воротничок с отогнутыми уголками, гардения в петлице, гетры на семенящих ногах, жеманный шелковый зонтик с серебряным наконечником в руке. Еще имелась миссис Макгиннесс, величавая кассирша ломбарда, и «Эндимион» О'Фаррелл, таскавший повсюду две сабли, удочки и зонтик; в петлице у него болталась красная роза, а на голове котелок с большими дырками для проветривания. Он был сыном пивовара; говорили, что в детстве он упал в чан с пивом и так и не оправился от ужаса.

Потом был одноногий нищий по прозвищу «Дрозд», распевавший песенки и втихомолку ругавшийся, когда ему не подавали за это.

У Джойса и членов его семьи было множество других знакомых и памятных личностей, вошедших в картотеку материалов «Улисса». Молли Блум не соглашается петь с Кэтлин Кирни: это имя последовательно преобразилось через несколько правок из Олив Кеннеди, значащейся в программе концерта 1902 года, где пел Джойс. Другие имена, всплывающие в сонном потоке мыслей Молли, тоже растут из реальности.

Даже кличка собаки, чье фото кажется Герти Макдауэлл чудным элементом обстановки ее будущей гостиной, и то от Мюрреев — «фотография Гарриоуна, собачки дедушки Гилтрапа». Некоторых персонажей Джойс воскрешает — Ссыкун Дафф, хулиган, болтавшийся у рынков и подрабатывавший чисткой лошадей, пока их хозяева выпивали. Полицейские забили его насмерть еще в 1892-м, но Джойс в «Циклопе» доверяет ему быть

чем-то вроде сорассказчика у одного из самых омерзительных персонажей, Гражданина, которому великодушно дарится и Гарриоун.

Натурализм Джойса в «Улиссе» весьма относителен: множество явлений, персонажей, сюжетных нитей введены как бы в подражание самой жизни — мелькают, как пейзажи в окне вагона, но вы никогда не узнаете зачем и никогда не выйдете на этих станциях. Или для этого нужны усилия опытного комментатора. По пути на похороны Падди Дигнэма скорбящие видят Рейбена Дж. Додда, и Дедалус-отец бормочет: «Чтоб ему дьявол хребет переломил…» Даже если не знать, что Додд ссудил деньги Джойсу-старшему, а потом добивался их отдачи, что-то в характере старшего Дедалуса все равно высвечивается.

В «Цирцее» Бык Маллиган среди разгульных плясок с проститутками вдруг возглашает: «Маллиган встречает скорбящую мать!» В Дублине была популярна история о том, как Гогарти, возвращаясь домой поздно вечером после занятий, с трудом взбирался по лестнице своего дома на Ратленд-сквер, возглашая на каждой площадке названия остановок-станций крестного пути — «Врата святого Стефана!.. Церковь Бичевания!..» и т. д. Когда обеспокоенная мать открыла ему двери, он прорыдал: «Гогарти встречает скорбящую мать!..»[84]

Когда Стивен упоминает «одиннадцать Тинэйхили» и «одиннадцать верных мужей Крэнли из Уиклоу, что освободят свою отчизну», — это реплика Джорджа Клэнси о том, что двенадцать решительных людей могут спасти Ирландию, и Бирн-Крэнли отвечает, что ему кажется, двенадцать таких мужчин есть в одном графстве Уиклоу. Извлечение ссылок такого рода могло бы заполнить (и заполнило) жизнь целого поколения джойсоведов.

«Цирцея» — ярчайший пример того, как Джойс предоставлял новую возможность прочтения факта. Гомеровская Цирцея превращает мужчин в животных, а Одиссея искушает своей роскошной плотью, особенно после того, как он нашел способ устоять перед ее колдовством. Пещера Цирцеи не может быть не чем иным, как кварталом красных фонарей Дублина, Найттауном. «Реальный план весьма основателен, хотя „Цирцея“ — самый ирреальный из эпизодов», — замечает С. С. Хоружий в своем прекрасном комментарии к русскому переводу романа.

Джойс знал этот район не хуже редакций и библиотек, он никогда этого не скрывал, но концентрация реалий слишком высока для одного личного опыта. Слово Nighttown взято из словаря прессы, хотя в обиходе звучало «Монто», от Монтгомери-стрит. В «Encyclopaedia Britannica» 1885 года Монто названо

«худшей из трущоб Европы». Борделями была занята главным образом Мекленбург-стрит, название менялось дважды, но содержимое — нет, до совсем недавнего времени. Дома стояли с XVIII века, хотя некоторые к 1900 году уже стали просто доходным жильем, но многие еще исполняли прежнюю функцию — с роскошными хозяйками, выряженными работницами, выбирающими клиентами. Неделя Конской ярмарки для Монто была особенно урожайной. Толпы приезжих и коммерсантов, жучков и туристов, шулеров и просто любопытствующих жаждали всех возможных впечатлений. Доблестные британские офицеры прибывали поротно, и профессионалки Монто рассовывали свои карточки в их толпе. Девицы приезжали к скачкам на дешевых извозчиках, а затем целые караваны закрытых кебов снова тянулись к Монто. «Мягкий бизнес» очень поддержала Англо-бурская война. В 1902 году Территориальный ирландский кавалерийский батальон вернулся из Южной Африки и одна из газет опубликовала акростих, где сентиментально воспевалось возвращение героев, но шифровалась фраза: «Шлюхам будет работа». Такого оскорбления национальной гордости газете не простили. Кстати, стих приписывали Гогарти, тогда еще студенту.

Джойс впервые сводит Блума и Стивена не в дешевых борделях возле Мэббот-лейн; там паслись в основном пьяные и драчливые «Томми Аткинсы». Там за благочестивыми картинками, висевшими на стенках, обычно держали хороший кусок свинцовой трубы на случай неприятностей. Джойс попросил одного из своих посетителей в 1930-х годах сверить полный список имен и адресов жителей Мекленбург-стрит. Дама с чудной фамилией Лоулесс[85] жила в доме 4, ее соседка, в доме 5, была миссис Хэйс, рабочее амплуа — зрелая матрона. Главные заведения стояли в начале улицы. Когда Блум разыскивает Стивена у Беллы Коэн (82), он сначала по ошибке стучит в номер 85, и ему отвечают, что это дом миссис Мак. Миссис Мак держала два дома, 85 и 90, отчего весь квартал иногда называли «Мактаун».

Белла Коэн была старше миссис Мак, и в 1904-м либо уже ушла из бизнеса, либо умерла, но Джойс воскресил ее — она была важной частью еврейской линии романа. Вряд ли ее «девочки» отличались от современных профессионалок. Флори Талбот — это, скорее всего, Флери Кроуфорд. Эллман приводит анекдот, когда отец Флери, канцелярист в Комитете образования, ответил священнику, увещевавшему его вмешаться в судьбу дочери: «Девочка, похоже, собой довольна, и кроме того, мне от нее доход». Китти Риккетс очень похожа на популярную дублинскую проститутку Бекки Купер. Популярность ее основывалась не

только на ее дарованиях; она была по-своему чудаковата — любила делать юным клиентам подарки деньгами или одеждой и не заламывала цены. Долго распевалась песенка о том, что «итальянки — чудо, француженки — охочи, но шиллинг на Бекки — цена роскошной ночи». Джойс использовал имя еще одной дублинской секс-знаменитости, Мэй Оублон, в «Поминках по Финнегану», где весь Дублин — «одоублонен».

В «Цирцее» Джойс, видимо, пытается соотнести Блума и Стивена на уровне подсознания и объяснить, почему линия «отец — сын» ведущая. Оба они разделяют ту часть бытия, где не могут быть активны. Мирный и умеренно порядочный Блум на свой деликатный и тихий лад борется с узколобостью, результатом страха и жестокости. Стивен в «Портрете…» начал то же сражение и ведет его до сих пор. «Цирцея» — это изобилие красок, событий, шоковых эпизодов, требуется огромное усилие, чтобы осознать, что ханжеству и ограниченности Блум и Стивен сопротивляются интеллектуально, а не телесно; и тогда ошеломительный и на первый взгляд совершенно неуместный эпизод с библиотекой становится понятен. Уже упомянута фиксация Джойса на Шекспире и особенно на «Гамлете»: Стивен утверждает там, что Шекспир отождествляет себя не с Гамлетом, а с отцом Гамлета. Поскольку Стивен во многих отношениях напоминает и Гамлета и Шекспира, это утверждение может показаться сомнительным. Но оно соответствует представлению Джойса о темпераменте художника и идеале человека. Эллман пишет: «Джойс, Стивен, Блум разделяют философию пассивности в действии, энергии в мышлении и стойкости в убеждениях. Гамлет, с другой стороны, является героем трагедии о мести; намеренно или нет, но он убивает и вызывает смерть».

Здесь Джойс не соглашается с Шекспиром, и поэтому он соотносит Шекспира с жертвой, а не с сыном-мстителем. Художник выносит зло, а не творит его. «Лично я ненавижу действие», — говорит Стивен драчливым английским солдатам. В силу этой позиции он член «семьи Блума», гигантской метафоры, объемлющей весь «Улисс». То же самое Блум пытается сказать в «Циклопе» Гражданину. «„Но все это бесполезно, — отвечает он. — Сила, ненависть, история, все эти штуки. Оскорбления и ненависть — это не жизнь для человека. Всякий знает, что истинная жизнь — это совершенно противоположное“. — „И что же?“ — спрашивает его Олф. „Любовь, — отвечает Блум. — Я имею в виду противоположное ненависти“».

Джойс так настойчиво подбирает физические, этнические, эмоциональные различия между Стивеном и Блумом, что их духовное родство становится тем более очевидным. Тут Джойс

берет в помощь сразу двух литераторов, хотя и их безжалостно пародирует. Первый — любимый им Уильям Блейк, второй — скандально знаменитый Леопольд фон Захер-Мазох, написавший несколько романов, хотя увековечил его имя только один — «Венера в мехах» (1870). Часть его сюжета автор испытал на себе, женившись на поклоннице, вздорной, тщеславной и похотливой, едва не уничтожившей его писательскую карьеру, заставившей ввести ее в литературу и бросившей его, как только он стал литературным поденщиком. Писатель даже заключил с ней письменный договор о рабстве, где было подробно оговорено, как и за что она имеет право его наказывать. Он еще успел узнать о том, что известный австрийский психиатр Рихард Крафт-Эббинг описал этот вид психического отклонения и назвал его «мазохизм», но вряд ли был этому рад.

«Венера в мехах», которой тайно и явно зачитывалась половина тогдашнего читающего мира, рассказывает о юноше Северине, упоенно унижающем себя перед своей любовницей Вандой фон Дунаевой, красивой и богатой, но пока только еще любопытной женщиной. Он соблазняет ее на жестокость по отношению к себе, и она становится все более изощренной, пытая его и психологически превращая его в слугу, а затем в финале отдает его, связанного и беспомощного, в руки своего любовника, зверски хлещущего Северина. В романе Северин излечивается, но не до конца — «истинно любить можно лишь то, что стоит выше нас — женщину, которая подчиняет нас красотой, темпераментом, умом, силой воли».

«Les belle dammes sans mercie», являющиеся Блуму в воображаемой оргии-трибунале, обвиняют его в немыслимых и нелепых извращениях, готовясь так же извращенно за них покарать. Миссис Йелвертон Барри (фамилия взята у почтенного ирландского юриста) и г-жа Беллингем (настоящее имя) были известными любительницами мехов, как и мазоховская Ванда. Миссис Йелвертон обвиняет Блума в том, что он «изменил почерк на детские каракули и подписался Джеймс Розголюб». Леди Беллингем — что Блум, карикатурно искажая муки Северина, назвал ее «Венерой в мехах, и уверял, что ужасно сочувствует моему продрогшему выездному лакею Палмеру, хотя тут же признавался в зависти к его шапке-ушанке и овчинному тулупу». В романе Захер-Мазоха Ванда поначалу не слишком интересуется странными домогательствами странного любовника, но постепенно отравляется ими. «Вы разрушили мое воображение и воспалили мою кровь, — говорит она ему. — Опасные возможности дремали во мне, но вы были первым, кто пробудил их». Баронесса Мервин Толбойз выставит его почти клоуном в

«Улиссе»: «Ты разбудил яростную тигрицу в моей душе!.. Этот плебейский Дон Жуан следил за мной, притаившись за кебом, а потом прислал мне в двойном конверте неприличную фотографию, из тех, что продают на парижских бульварах из-под полы… он уговаривал меня делать то же самое, предаваться греху с гарнизонными офицерами».

Северин просит разрешения надеть туфли своей любовнице, и его бьют ногами за то, что он делает это слишком медленно. Блум, дрожа, шнурует ботинки Белле Коэн и сладостно ждет, когда она начнет его пинать. Белла страшнее и отвратительнее Ванды, но восхищается ею Блум точно так же, и — классический жест «Венеры в мехах» — Белла, как и Ванда, ставит ногу на шею лежащего Блума. Северин добровольно отдает себя в рабство Ванде, Блум вместо письменного договора «покорно лепечет»: «Клянусь, я никогда не посмею ослушаться…»

Как Северину, ему приходится впустить в дом нового любовника Беллы, Буяна Бойлана. Сцена купания Ванды, при котором присутствует Северин, отражается в нескольких эпизодах «Улисса». Эпизод, когда Ванда в кульминационной сцене романа убеждает Северина, что наконец полюбила его, и он в экстазе дает привязать себя к столбу, а затем оказывается жертвой ее нового возлюбленного и удостаивается беспощадной порки, превращается в скандальное, с притворной яростью, выдирание волос у Блума. Мраморная статуэтка, которую Блум несет домой под дублинским дождем, — «каменно-холодная и чистая» алебастровая копия Венеры, которой молится Северин.

Версия Захер-Мазоха у Джойса — абсолютно фарсовая; все мазохистские фантазии Блума разыгрываются на границе творческого воображения и подсознания. Но Блум осуждает себя не за порногрезы, а за то, что ему кажется, что они произошли в реальности. Осуждение себя, своей слабости и потворству греху, осквернению, осознание себя «червем в розе», улегшимся «в хлеву среди свиней», — здесь возникают классические мотивы Блейка. В финале «Цирцеи» Стивена задирают и бьют два пьяных солдата, которые Блейка не знают, но перевранную Стивеном фразу из «Пророчества Мерлина» — «но вот тут я должен убить священника и короля» — улавливают: «Ты чего говорил про моего короля?» Джойс явно опирается на инцидент из биографии Блейка, когда тот выставил из своего сада двух рядовых, кричавших, что с солдатами его величества нельзя так обращаться. По легенде, Блейк ответил: «К черту вашего короля!» — после чего едва отделался от обвинения в государственной измене. В «Поминках по Финнегану» солдат станет трое и они также прицепятся к Ирвикеру.

Толкуя эти эпизоды по Блейку, мы видим прославление отречения от грубой телесности. Поражение телесной силы и победа духа приводят к очищению и перерождению и Стивена и Блума. Их очищает любовь. Мало что так наполняет «Улисс», как тема любви — семейной, родительской, детской. Молли Блум без конца вспоминает свитерок, который она вязала для своего первенца Руди, не прожившего и двух недель. Суровость Стивена, отказывающегося от своей семьи, становится умилением, когда он застает сестру за чтением курса французского, его раскаяние — от того, что в ужасе он кричит ругательства чудовищному призраку матери.

У Блума призрак совсем иной — среди фантастического разгула «Цирцеи», над избитым Стивеном, бормочущим стихи Йетса, Блум вдруг видит своего неродившегося сына: «Безмолвен, бдителен и задумчив, стоит он на страже, приложив пальцы к губам в жесте тайного наставника. На темном фоне стены медленно возникает фигурка, волшебный мальчик лет одиннадцати, подменыш, похищенный феями; он в итонской курточке и хрустальных башмачках, на голове небольшой бронзовый шлем, в руке книга. Он беззвучно читает ее справа налево, улыбаясь, целуя страницу.

Блум (пораженный, зовет беззвучно). Руди!

Руди смотрит в глаза Блума, не видя их, и продолжает читать, улыбаясь, целуя книгу. Лицо его покрыто нежным румянцем. Пуговицы на одежде алмазные и рубиновые. В левой руке он держит тонкую палочку слоновой кости с лиловым бантиком. Белый агнец выглядывает из его жилетного кармашка».

Завораживающим свиданием отца с выращенным в воображении ребенком заканчивается буйная фантасмагория «Цирцеи».

Сказочная фигурка волей Джойса объединяет многие символы и ощущения: умиление отца, тихое отдаление ребенка, драгоценности на одежде цвета крови и слез и т. д. Руди объединяет Молли и Блума в одном печальном и теплом воспоминании, как бы продолжая память Блума о его отце, покончившем с собой[86]. Блум испытывает еще большую печаль, перебирая и составляя в памяти куски изорванного письма, найденного у отцовской кровати: «Моему дорогому сыну Леопольду. Завтра будет неделя, как я получил… Леопольду незачем быть быть… с вашей дорогой матушкой… не терпеть больше… к ней… для меня все… будь добр к Атосу, Леопольд… дорогой мой сын… всегда… меня… Das Herz… Gott… Dein[87]…» Отцовство мощно заявлено в романе и выглядит куда более могучей страстью, чем половое чувство.

Из внутренней жизни Блума ни на секунду не исчезают дочь и жена. В эпизоде со слепым юношей Блум не просто следует общепринятым нормам — он сострадает ему, даже в тот короткий отрезок времени, когда их сводит судьба. Жертвуя в пользу детей скончавшегося приятеля, Блум вносит больше, чем может позволить себе. Отцовское чувство к Стивену ведет его следом за ним, чтобы спасти его, пытаться не дать ему перебрать, накормить его, спасти от «бобби» и даже увести его к себе домой, в самое защищенное и естественное для человека убежище. Стивен не останется с Блумом. Отчуждение, ставшее нормой, не победить за сутки; но даже такая нестойкая молекула стягивается для того, чтобы подтвердить необходимость возвращения друг к другу. Блум и Стивен созданы как бы дополняющими друг друга: здравомыслие и терпимость Блума необходимы отточенному и нервному интеллектуализму Стивена.

В «Итаке» Блум ведет Стивена на Экклс-стрит, они без умолку говорят, и Джойс с насмешливой педантичностью указывает, как расходятся их убеждения. Стивен открыто не соглашался с мнением Блума относительно важности диетического и гражданского самоусовершенствования, Блум же не соглашался молча с постулатом Стивена относительно вечного утверждения человеческого духа в литературе. Несогласие Блума лишь проверяет на прочность одно из самых неотступных утверждений Джойса, скрепляющее все его тексты. Эллман пишет: «Неслучайно, весь „Улисс“ завершается могучим „ДА“ — утверждением, а не „всхлипом“, которым почти в то же самое время Элиот заканчивает „Бесплодную землю“».

Один из вечных вопросов к Джойсу всегда был о его отношении к евреям. Прямые и косвенные признания Джойса, в том числе сделанные Фрэнку Бадгену, говорят, что Блум, оседлый, семейный и солидный, несет и приметы вечного странника, вечно гонимого, вордсвортовского «Wandering Jew»[88]. «Я иногда думаю, что в отказе принять христианство была героическая жертвенность. Взгляните на них. Они лучшие мужья, чем мы, лучшие отцы и лучшие сыновья». А в другом месте он говорит: «Еврей — одновременно и царь и первосвященник в своей семье».

Нет сомнений — Джойс сделал «Порядочного Дублинца» евреем, вполне равнодушным и к протестантизму, и к католицизму, еще и из сатирических побуждений, из вечного желания бросать вызов. Разумеется, он помнил дело офицера-еврея Дрейфуса, выставленного шпионом, чтобы прикрыть его начальника, графа Эстергази: Джойс приехал в Париж вскоре

после смерти Эмиля Золя, взбудоражившего полмира своим памфлетом «Я обвиняю» и затем так загадочно погибшего. Анатоль Франс, живой классик и один из лидеров общественной жизни, одним из первых подписал открытое письмо президенту, а на похоронах Золя произнес яркую речь. Дублин 1903 года, как раз когда приехал Джойс, бушевал редким вообще-то для Ирландии антисемитизмом: в Лимерике бойкотировали торговцев-евреев и не обошлось без насилия.

Джойс не был ни интернационалистом, ни филосемитом. Доброта и благородство Блума даны в снижающей манере: они будничны, неярки, да и умиляться ими чрезмерно невозможно — он выкрест, перекати-поле, тайный эротоман и одновременно рогоносец. Оспариваются общеизвестные еврейские добродетели: обособленность они избирают сами, чтобы сохранить исключительность, тесные семейные узы есть лишь следствие ее и т. д. Но Джойс опыт и трагедию Блума воссоздает из своего собственного материала: Блум, по наблюдению Эллмана, живет в «концентрированной джойсианской атмосфере», сходной до деталей. И у Джойсов, и у Блумов была акушерка, миссис Флеминг. Джойс родился на Брайтон-сквер, Блумы живут там после свадьбы. В «Бельведере» Джойс играет в инсценировке рассказа Томаса Энсти «Наоборот, или Урок отцам»; в ней же играет и Блум, правда, другую роль. Библиотекой на Кэйпел-стрит пользуются и Джойс, и Блум. Оба восхищаются Байроном, и Блум пытается приохотить к нему Молли. Совпадает далеко не всё, но сам факт отождествления крайне интересен.

Способность Джойса к самоиронии замечательно проявилась в зеркальности эпизодов с девочкой на берегу из «Портрета…» и «Навсикаи», где подглядывание Блума за Герти Макдауэлл пародирует упоение Стивена явившимся ему «гением чистой красоты». Яростное отвращение, в раскаянии испытываемое героем «Портрета…», слабее, но постояннее возникает во многих блумовских моментах «Улисса». Репертуар предполагаемого турне Молли по английским курортам — почти буквальное воспроизведение намерения Джойса, даже неповинный Доулэнд попал туда. Техника самоосмеяния, комического преувеличения собственных слабостей — один из любимых приемов Джойса: он перенесет его в «Поминки по Финнегану» и сделает доминантой образа Шема.

Однако Блум не Джойс, равно как и Стивен не Джеймс. Один из наиболее вероятных его прототипов — триестинец Теодоро Майер, другой — его земляк Этторе Шмиц. В дневнике Станислауса есть фраза о том, как Шмиц полушутя просит поделиться всеми ирландскими тайнами, потому что на

множество вопросов о еврейских он Джойсу ответил. Между Шмицем и Джойсом, как подсчитал Гарри Ливайн, почти та же разница в годах, что у Блума со Стивеном; Шмиц от Блума отличается во многом, но он тоже был женат на католичке, тоже взял другое имя (пусть всего лишь псевдоним, но Итало Звево почти вытеснил Этторе Шмица), и его благодушная ирония очень напоминает иронию Блума. Джойс терпеть не мог потроха, а Шмиц, как Блум, их обожал. Выцеживая из их жизней мельчайшие частицы сходства, Джойс творил из них прочные осадочные породы.

Джойс много раз выспрашивал Станислауса, а потом и тетю Джозефину Мюррей о человеке по имени Хантер, спасшем избитого Джеймса, как Блум Стивена. Блум — рекламный агент получает свою работу от персонажа рассказа «Милость божия» Ч. П. Маккоя, он одновременно мелкий клерк в «Мидленд рейлвей», сборщик рекламных объявлений для «Айриш таймс» и «Фрименз джорнел», получающий комиссионные за заказы на доставку угля, частный детектив, клерк в офисе заместителя начальника полиции и секретарь коронера Дублина. Его жена поет сопрано и обучает детей музыке за небольшие деньги. В свою очередь, у него есть прототип, Чарли Чанс, жена которого пела в концертах, и тоже сопрано, под сценическим именем Мари Талон. Из этих частиц собирает Джойс своего героя, и правдоподобие мощно притягивает их друг к другу.

Имя дублинского «Одиссея» — тоже результат продуманного отбора.

Отца триестинской любви Джойса Амалии Поппер звали Леопольд, а фамилию Блум носили несколько дублинских еврейских семей. Один из Блумов принял католичество, чтобы жениться на ирландке; у них было пятеро детей, в том числе сын Джозеф, известный остряк, унаследовавший профессию и практику отца. Джойс намеренно смешивает Блума-стоматолога с Леопольдом-фабрикантом и дает Леопольду один из старых адресов Джозефа Блума. Был и другой Блум, убивший в начале прошлого века девушку, работавшую с ним в фотоателье. Он хотел вынудить ее к двойному самоубийству; однако после того, как убил ее, себя только ранил и написал на стене кровью «ллубовь» (LLUVE). Его освободили как психически больного, подержали в лечебнице, затем он куда-то уехал. Дочь Блума Милли — ученица в таком же фотоателье, но в Муллингаре, и там Джеймс с отцом фотографировались в 1900 и 1901 годах.

«Мадам Мари Талон» по инициалам полностью совпадает с «Мадам Марион Твиди», псевдонимом Молли Блум. Сходство с Чансами Джойс все же тщательно скрывает, давая им другое имя,

придумывая профессиональное соперничество между Молли и миссис Маккой. В Триесте он знал торговца фруктами Николаса Сантоса, с которым продолжал знакомство в Цюрихе. Его супруга, пышная и соблазнительная дама, боялась утратить цвет лица, отчего почти не выходила из дома и усердно изобретала всяческого рода кремы и косметические маски. Джойсы не сомневались в ее вкладе в образ миссис Блум. Молли вобрала в себя и черты Амалии — месть это или не месть, не имеет значения. Испанский стиль и курение, скорее всего, от дочери Мэта Диллона, старого друга семьи — после поездки в Севилью она восторженно усвоила эти привычки.

Так складывалась внешность Молли. Но самое важное, ее ум и характер, Джойс не искал — прототип был рядом, и Джойс разрабатывал месторождение порой на истощение. Нора Барнакл была сущей сокровищницей крепких и язвительных словечек, Джойс наслаждался этой ее способностью не меньше, чем Блум, но, разумеется, небескорыстно. Нора, как и Молли, не страдала чрезмерной интеллектуальностью; она также была привязана к своему мужу, но без преклонения и умиления. Позже в интервью Кароле Гьедон-Велькер Нора Джойс сказала: «Я не знаю, гений ли мой муж, но я уверена в одном — таких больше нет».

Монолог Молли не только классическая иллюстрация «потока сознания» — он течет и в Блуме, и в Стивене, но это еще и ироническое напоминание о Нориной манере письма, обильно представленной в их переписке. Впрочем, Нору это совсем не заботило.

Что гораздо серьезнее для Джойса, так это засевшая с первых лет совместной жизни тревога после известной фразы Норы о том, что она не видит разницы между ним и другими юношами. Блуму тяжело признавать это в жене, но без этого ослепительного любвеобилия и она не Молли. В полусонном бормотании появляется один мужчина за другим, и все они только «он», разница между ними бывает заметна лишь случайно. Ее муж, ее прежние любовники, и среди них тот, сменяются в ее грезах безо всякой логики.

Однако при всем при этом Молли чувствует — Блум не такой, как «они» все, как бы восхитительны «они» ни были. С. С. Хоружий пишет: «Сакраментальное убеждение „каждая готова с любым“ проходит сквозь весь роман как кредо Блума и его автора, и в знаменитом лирическом финале, целуя суженого и решая связать с ним судьбу, девушка вовсе не думает: „Я не могу без него“… тянет сказать, что (это] — конечно же, голос патологической ревности (или непроходимой пошлости!). Но в этих вещах над нами всеми слишком довлеет личный склад,

личный опыт, и „объективность“ в принципе невозможна». Фрэнку Бадгену Джойс сказал, что Молли создана представлять «совершенно здоровую, упитанную, аморальную, плодовитую, ненадежную, очаровательную, проницательную, ограниченную, расчетливую, равнодушную Weib[89]». Компоненты этого сплава Джойсом явно хорошо проверены на себе.

Молли не поняли очень многие и до сих пор понимают не все. Изобильный и прославленный монолог не раз привлекался в качестве примера вершины половой распущенности. Феминистки и феминисты нередко разбирают (или даже не разбирают) его как верх жестокой, несправедливой и мизогинной вивисекции. Но в замечательных комментариях того же С. С. Хоружего, видимо, подведен вполне надежный итог этих дискуссий: «Реконструкции невозможно отказать в острой наблюдательности, роскошном богатстве деталей, создании впечатляющего образа. Тут спорить не о чем. Но спорят, и очень спорят, о другом: что же за образ перед нами? Какая-то женщина, какой-то из женских типов — или же нечто большее: сама Женщина, сама женская природа в ее всеобщности и полноте? Джойс, не вступая в споры, тем не менее допускал исключительно второе. Он был категорически, безоговорочно и непоколебимо убежден в том, что в своей Пенелопе раскрыл истинную душу, истинную натуру женщины как она есть, раскрыл само женское начало, сакраментальное Ewig Weibliche[90]. И когда не раз в его присутствии сами женщины говорили, что Молли отнюдь не представляет их всех, он только хитро и снисходительно посмеивался. Он знал лучше».

У Молли есть любовники, пусть и всего двое, и принимает она их нечасто, но адюльтер есть адюльтер. Однако Блум не является образцом сексуальной мощи, и молодая женщина за одиннадцать лет в браке получает в постели не слишком много. Льется сонная, полусвязная, мерцающая речь, почти вся из воспоминаний о прежних любовниках, и вот тут первый сюрприз — их совсем не так много, и увлечения эти не так сказочны и блистательны, как предполагает миф. Из романа Марселя Прево «Les Demi-vierge» (1895) пришло это выражение — «полудевственница»: девушка, анатомически целомудренная, но узнавшая другие способы наслаждения. Такой она выходит за Блума, и в этом есть своя прелесть. Молли, видимо, скорее воображает возможное, чем вспоминает совершенное. Земная ипостась ее вполне основательна — она не только любовница, но мать двоих детей, девочки и мальчика, того самого, который грезится Блуму. Но и как любовница она не всеядна: даже Буян Бойлан кажется ей грубым животным с членом наперевес, нажравшимся устриц, как афродизиака, мужское тело для нее

жестокий инструмент, приносящий страдания и после соитий — в муках вынашивания, деторождения, выкармливания, потери ребенка. Не отвергая мужчину, терпеливо принимая плотскую связь, Молли с множеством уверток и оговорок признает те же ценности, что и Блум со Стивеном, — превосходство мысли над плотью, необходимость человеческого достоинства, благо семьи. В сравнении со всем этим, по мудрому определению Эллмана, «мужественный Бойлан не что иное, как оболочка, в то время как гораздо менее мужественный внешне Блум есть, со всеми его недостатками, мужчина умом и телом».

Но и Бойлан в романе не просто эро-комический персонаж — он словно искаженное отражение героя, бравый и безмозглый, обаятельный по-своему. Джойсу нужны и такие: в «Поминках по Финнегану» рядом с мудрецом и смиренником Шемом непременно должен быть и раблезианец Шоун. Прототипы Бойлана во всем противоположны и Блуму, и Стивену — в одежде, поведении, привычках и вкусах, словаре и манере речи. Основные сведения о Бойлане: сын конского барышника, поставлявшего лошадей британской армии, да еще во время Англо-бурской войны; завзятый щеголь, лучшая соломенная шляпа Дублина; менеджер профессионального боксера.

Лошадиный барышник с Айлэнд-бридж — это Джеймс Дэли, но был и другой лошадник в 1890-х по фамилии Бойлан и даже по прозвищу не то Буян, не то Брехун, не то Б… — ну, словом, дефлоратор. Внешность Джойс позаимствовал у другого человека, но по характеру он явно не подходил, скорее по занятиям. Как ни странно, лихость и беззаботность Бойлана очень напоминают Прециозо. Джойс любил наделять приметами обидчиков отрицательных или сомнительных персонажей. Настоящее имя Бойлана, Хью, скорее всего, взято у сокурсника Джойса Хью Бойла Кеннеди, впоследствии главы Верховного суда — кто же в Ирландии любит судей?

День «Улисса», 16 июля, Джойс выбрал потому, что это день его первого свидания с Норой Барнакл. Ему удалось раздобыть экземпляры дублинских газет этого дня.

Самое упоительное воспоминание Блума — его признание Молли в любви среди цветущих рододендронов на берегу Дублинского залива, у крошечной рыбачьей деревушки Хоут; но и монолог Молли заканчивается тем же воспоминанием, и знаменитое «да» прозвучало именно в нем. То, что движет солнце и светила, не дает остановиться и миру Джойса. Повседневная жизнь также насыщена радостью и благоговением, как шествие Данте и Вергилия от ада до рая.

Трех лишь отчасти символических фигур Джойсу хватает,

чтобы выразить главное — простая доброта непобедима, наглая и чванливая сила отступает перед ней. И Маллиган, и Бойлан, и Гражданин обвиняются Джойсом именно в этом: они жестоки, грубы и самовлюбленны. В душе Молли стекаются все течения этого мира, она — Душа — удерживает и направляет их, и побеждает тоже — Душа.

Вряд ли в 1914 году автор ясно представлял себе будущую книгу, но то, что работа будет долгой, он уже видел. Мужество, с которым Джойс решается на нее, вызывает глубокое уважение. Мужество, которое потребовалось, чтобы вписать в нее все, что он узнал о Дублине и Триесте, удваивает эту признательность. Джойс решается на нее во имя человечества.

Глава двадцать вторая ВОЙНА, ИЗГНАНИЕ, ДРУЗЬЯ

When time began to rant and rage… [91]

Первая мировая война ударила и по писателям, жившим за границей.

Джойса она в изрядной мере застала врасплох. Он только что закончил «Портрет художника в юности», начал «Изгнанников» и собирал заметки для «Улисса». Когда 28 июля 1914 года Австрия объявила войну Сербии, он с Джорджо поспешил к британскому консулу, но получил заверения, что никаких оснований для беспокойства нет. Затем он зашел к Борису Фурлану, жившему рядом с итальянским консульством, чтобы посоветоваться. Фурлан как раз был настроен весьма пессимистично, предполагая, что война затянется надолго, но Джойс поделился услышанным в консульстве и настойчиво успокаивал себя, когда вдруг толпа окружила консульство и люди рванулись к флагштоку, чтобы сдернуть флаг Италии. Почти немедленно перед консульством выстроился взвод солдат.

Перепуганный Джойс схватил Джорджо на руки и бросился прочь.

Тяжелее всех из Джойсов пришлось Станислаусу. Теперь это убежденный ирредентист, антиклерикал, либерал и страстный поклонник Гарибальди, критик Священной Римской империи и империи Ватикана; война не сделала его осторожнее, и нашлись люди, обратившие внимание властей на его едкие замечания. Но Станислаус даже отправился с приятелем в турне по линии укреплений Триеста. 9 января 1915 года он был задержан и направлен в австрийский лагерь для интернированных — до самого конца войны.

Джеймса Джойса не тронули и даже оставили в Scuola di Commercio, а Джоакино Венециани взял его вести коммерческую переписку на своей фабрике красок. К нему перешли ученики Станислауса и среди них молодой триестинец Оскар Шварц, такой же скептик, как и Джойс. Но Шварцу его учитель показался еще более странным, особенно после первого урока на виа Донато Браманте.

Длинная комната с множеством стульев, пианино, дымок тлеющих благовоний, а на столике для чтения, сделанном в стиле церковных подставок под книги, лежит переплетенный в пергамент, наподобие молитвенника, экземпляр «Камерной

музыки» — тот самый, который Джойс еще в Дублине заказывал для Норы. Вместо икон висели фото нескольких скульптур Ивана Мештровича с прошлогоднего венецианского биеннале. Джойс вырезал их из каталога, заказал рамки и остекление, наклеил собственноручно выписанные названия. На одной была крестьянка с вздутым животом, лицо искажали родовые муки, с жидких волос сползал растрепанный парик. Под снимком была надпись «Dura Mater» — «Упорная мать». На второй мать с исхудалым младенцем у обвислой груди — «Pia Mater», «Скорбящая мать». Третья изображала статую уродливой старухи, и на этой раме Джойс вырезал строку из пятой песни дантевского «Ада»: «А там Елена, тягостных времен/ Виновница…»[92] Шварц возмутился:

— И это Елена?

Джойс со смехом посчитал ему, сколько лет Елена прожила с Менелаем, прежде чем сбежала к Парису, сколько провела в Трое, а потом снова в Спарте, у Телемаха, и подвел итог чудовищной цифрой возраста Елены, когда ее в аду встречает Алигьери. Шварц упрямился:

— И все равно она остается навечно прекраснейшей из женщин, которой восхищались старцы у врат! Вы убили Елену!

Джойс, заливаясь хохотом, повторял: «Убил Елену! Убил Елену!» Впоследствии его точно так же обвинят в «убийстве» Улисса и Пенелопы. Но пока его забавляло и то, что своих учеников Станислаус учил по «Дублинцам». Он перевел их на «Гамлета».

На уроках и после них, за графином белого в траттории «Бонавиа» Джойс с учениками разговаривал о многом и бывал резок и непримирим. Терпеть не мог Вагнера и повальной моды на него, говорил, что от творца «Нибелунгов» несет дешевой сексуальностью, и хвалил Беллини. Оспаривал и мнение об итальянском как о лучшем языке поэзии — слишком грузен, слишком часто использует свои семь гласных подряд. Лучше всего для поэзии английский: много гласных, много аллофонов, куда более тонкая инструментовка стиха. «Самый чудесный язык мира». Именно тогда он принес свое новое стихотворение, «Простое», посвященное Лючии. Шварц, увлеченный Бенедетто Кроче и его экспрессионизмом, сказал, что Джойс не прав, поясняя смысл, ибо стихотворение — это чистая музыка. Джойс выслушал его со вниманием и ответил: «Ты все понял». Много позже он так же будет отстаивать толкование «Поминок по Финнегану» как текстомузыки. Но разговор о психоанализе оказался менее удачным: Джойс решительно отказался признать правоту Фрейда и фыркал над «механической символикой». Зато

много раз обсуждалась тема национальных различий. Как-то раз Джойс соотнес семь смертных грехов с европейскими нациями. Обжорство досталось англичанам, гордыня — французам, гневливость — испанцам, похоть — почему-то немцам, а вот праздность, увы, — славянам. I «Итальянский грех? Алчность», — безапелляционно утверждал он. Столько раз его надували торговцы! Как безжалостно его обобрали в Риме! Как мучили его квартирохозяева из-за паршивых долгов! Но Джойс не обделил и соплеменников: им он отвел зависть. Шварц поинтересовался: а каков же тогда смертный грех евреев? Джойс поразмыслил и сказал:

— Пожалуй, ни одного или один, но смертный… Распятие Иисуса.]

Другим спутником Джойса в эти дни был художник Туллио Сильвестри, венецианец по рождению, у которого была мастерская в Старом городе. В 1913 году он написал портреты Норы, а затем и Джойса. Сильвестри был живым, неунывающим и вечно безденежным. Убежденный импрессионист, он не работал углем, не делал набросков, начиная сразу на холсте, и порой добивался поразительных результатов. Но чаще Сильвестри и Джойс пели и пили. Джойс был поражен талантом Сильвестри выбираться из самых тяжелых финансовых кризисов, а уж он и сам был в этом деле мастер; несколько раз, как писал Сильвестри, он просто отдавал ему все, что набиралось в карманах. Хотя Сильвестри очень изобретательно продавал свои картины, это скорее была игра с богатыми. Этторе Шмицу он принес загадочный пакет, сказал, что там пальто и ботиночки для дочери, и предложил ему посмотреть. В пакете оказалась последняя картина Сильвестри, которую Шмиц был вынужден купить. В августе 1914-го Сильвестри отчаянно искал деньги, чтобы уехать с семьей в Италию, и вечно нищий Джойс дал ему сто крон.

Италия вступила в войну в мае 1915-го. Джойса это не восхитило; «Зря итальянцы думают, что это будет кекуок[93] по Вене…» В злой шутке он обыграл маленький рост Виктора Эммануила и кайзера Вильгельма, потерявшего голос: «Это дуэль между человеком, которого не видно за двадцать шагов, и другим, которого не слышно на том же расстоянии».

Франчини приводит его слова: «Мои политические убеждения могут быть выражены одним словом: монархии, конституционные или неконституционные, мне омерзительны. Короли — шулеры. Республики — шлепанцы на любую ногу.

Временные режимы уходят, и скатертью дорога. Что остается? Можно ли надеяться на монархию милостью Божьей? Вы-то

верите ли в солнце грядущего?» Джойса война совершенно не интересовала, пока не стреляли рядом. Однако на нем она отразилась: большинство преподавателей были мобилизованы и многие ученики либо оказались на фронте, либо бежали в Италию. Сильвио Бенко со смехом вспоминал, как Джойс сказал: «Теперь все в Триесте знают английский, и мне пора двигать отсюда». Но заметных усилий на этот счет он не предпринимал, продолжая работать с пьесой, которую и закончил в апреле 1915-го, и уже был «Улисс»… Первые страницы третьего эпизода датированы июнем.

Война войной, однако литературная жизнь угасать не собирается. Эзра Паунд и «Эгоист» создали в Лондоне ажиотажный интерес к новому имени, и хотя злокозненный Грант Ричардс 18 мая опять решил не публиковать «Портрет…», Джойс уже меньше переживает такие афронты. 10 февраля он получил письмо от Дж. Б. Пинкера, литературного агента из Лондона, предлагавшего по просьбе Герберта Уэллса защищать интересы Джойса. Сам Уэллс еще в апреле писал, что он «испытывает безграничное восхищение» текстом Джойса, прочитанным в «Эгоисте». Как он потом объяснил, ему показалось, что Джойс преуспел в сохранении ценностей католического воспитания на «восхищение потомству». Джойс согласился подписать соглашение с Пинкером. Тот больше работал с его корреспонденцией по всяким мелким вопросам, которую Джойс вскоре начал педантично ему отсылать не вскрывая.

В Америке «Дублинцев» прочитал начинающий издатель Бенджамин У. Хюбш и возжаждал опубликовать их «как можно скорее». Чутье не подвело его, он стал одним из ведущих американских издателей Джойса, они дружили до самой смерти писателя. Хюбш был смел, откровенен и честен. Таких издателей Джойс еще не встречал. Правда, пока пришлось довольствоваться тем, что Генри Льюиса Менкена уговорили выпустить несколько рассказов в «Смарт сет» и заручиться его обещанием напечатать в майском номере «Пансион» и «Облачко».

В семье Джойса тоже происходили перемены. Эйлин была помолвлена еще в 1914 году с кассиром банка в Триесте, чехом Франтишеком Шауреком. Джойс предлагал подождать с замужеством, все-таки время военное, но Эйлин ждать отказалась.

12 апреля Джойс занимает у коллеги-германиста костюм поприличнее, который был ему явно велик, и исполняет обязанности шафера. Сестре он дает лишь один совет — не менять фамилию, потому что Шаурек и так по-чешски Джойс (выдумка чистейшей воды). Эйлин с мужем уехали в Прагу, где и оставались всю войну. Свою первую дочь они назвали именами

обеих героинь «Изгнанников» — Беатрис-Берта.

Триест оставался крайне проблемным городом, особенно после вступления Италии в войну. Итальянская диаспора была многочисленной, и власти опасались как «пятой колонны», так и просто беспорядков и саботажа; поэтому было принято решение о частичной эвакуации, под которое попал и Джойс, вынужденный как можно быстрее раздобыть паспорт у американского консула, представлявшего и британские интересы в Триесте. При получении документа Джойс отвечал так, что довел консула до гневного восклицания: «А вот я горд, что являюсь и британским консулом, представляющим интересы короля Англии!» Джойс презрительно ответил: «Британский консул не является представителем короля Англии. Он всего лишь чиновник, которому мой отец платит за мою безопасность…» Консул явно не знал о тонкостях отношений Джона Джойса с налоговым ведомством, отчего сдался и поставил визу. Кстати, Джойс и сам долго не платил в Триесте налогов, так как инспектор был его учеником и поклонником. Правда, когда его сменили, платить пришлось, и Джойс от злости бросил курить. И не курил, пока не сосчитал, что государство потеряло на его табачном акцизе столько же, сколько получило на налогах.

Теперь предстояло добиваться разрешения на выезд у австрийских военных властей и не попасть на нары к брату. Пришлось искать помощи у своих влиятельных учеников, барона Амброджо Ралли и графа Сордины. Австрийцы заверили, что Джойс не замечен ни в каких действиях против императора, препятствий при отъезде ему чинить не будут. Герберт Горман писал, что до самой смерти Джойс посылал обоим, Сордине и Ралли, на Рождество благодарственные письма, где всегда упоминал, что они, возможно, спасли ему жизнь. Станислаус же имел репутацию, которая не подпадала под военно-полевой суд, но и не предполагала свободы передвижения; даже такая протекция не могла ему помочь.

Библиотеку и обстановку Джойсу пришлось оставить. В конце июня он увез семью в Швейцарию. Поездка прошла куда приятнее, чем обычные джойсовские переезды, — таможенный офицер оказался его учеником и пропустил багаж под честное слово Professore, через швейцарскую границу поезд отправили после краткой остановки и все прочее.

Так Джойс оказался в стране, где он напишет свою величайшую книгу, где он проживет большую часть оставшейся жизни и куда вернется умирать.

Глава двадцать третья ЦЮРИХ, ПИСАТЕЛЬ, «ПОРТРЕТ…»

Get all the gold and silver that you can, satisfy ambition…[94]

Швейцария началась для него вполне благостно — никакого дантовского pane altrui[95], никакого ремарковского изгнанничества под кальвадос, по крайней мере снаружи. Цюрих принял человека с немалым опытом, растущей репутацией и колоссальной самоуверенностью. Даже изгнанником он был уже дважды, и Триест покидал с куда большим сожалением, чем Дублин, где прожил вдвое дольше. Впоследствии он не раз обрывал все разговоры о демократическом устройстве общества ядовитой ремаркой о том, что лучше всего ему жилось под австро-венгерской тиранией…

В Триесте Джойс-писатель напечатал «Камерную музыку», закончил «Дублинцев», переписал «Стивена-героя» в «Портрет художника в юности», написал «Изгнанников», начал «Улисса». Большая часть знакомств, поддерживавшихся в семье Джойса, была из триестинцев, и дома все время переходили с английского на триестино и обратно. Возможностью уехать в Прагу к Эйлин и ее мужу они не воспользовались, хотя австрийцы им это предложили. Но в Швейцарию Джойс собирался еще до знакомства с Норой. Война и возможное интернирование лишь обострили это намерение, хотя вряд ли он планировал именно Цюрих: как он писал мисс Уивер, это был просто первый крупный город после границы.

Как почти все новые места, Цюрих поначалу раздражал Джойса. Горы были слишком малы, чтобы порождать плодотворную клаустрофобию — «кусочки сахара», Нора злилась, что придется осваивать еще один язык, но ее умиротворяла стерильная чистота города, особенно по сравнению с безалаберным Триестом. Полицейский как-то остановил ее и велел поднять оброненный клочок бумаги. На Банхофштрассе, говорил Джойс, можно пролить суп и есть его с мостовой.

Возьмем цюрихский «Кто есть кто» за 1916 год: там он уже «преподаватель Scuola Superiore di Commercio, Триест, и писатель». Эзра Паунд с Уэллсом, мисс Уивер и молодые литераторы наращивают ему лондонскую известность. Самоизгнанничество, совпавшее с поступком героя «Портрета…», добавляет интереса, трудности обживания в Цюрихе на

расстоянии также романтичны. Практичный Майкл Хили, дядя Норы, крайне вовремя послал 29 июня Джойсу и Норе 15 фунтов; на эти деньги они продержались очень долго. Впоследствии он еще несколько раз повторял этот человеколюбивый поступок.

Йетс, и сам склонный помочь Джойсу, по настоянию Паунда стал хлопотать о гранте от Королевского литературного фонда. Эта частная организация была создана в 1790 году проповедником-диссидентом Дэвидом Уильямсом, другом Франклина и Гаррика, для поддержки неимущих авторов и помогала многим гениям английской литературы. Йетс писал члену правления фонда Эдмунду Госсе: «Я только что узнал, что Джеймс Джойс, ирландский поэт и романист, в высоком таланте которого я могу заверить вас, оказался в большой нужде из-за войны. Он преподавал английский язык в Триесте и в настоящее время прибыл в Цюрих. У него дети и жена. Если все так, как мне кажется, возможно ли выделить ему грант от фонда?» Выяснив детали у самого Джойса, Йетс описал их Госсе и настойчиво добавил: «Я верю — он станет гением».

Натиск соратников обернулся для Джойса грантом Королевского фонда — 75 фунтов, подлежащих выплате в рассрочку в течение девяти месяцев. Для него они были прежде всего неофициальным признанием его значения. Можно было надеяться на поддержку и в будущем. Намного легче стало писать эпизоды с Блумом, где должны царить умиротворение и просветленность. Триест с его проблемами, жена и дети, старые и новые счеты со Станислаусом, нескончаемые денежные сложности, как ни странно, создавали настрой, с которым отлично писать о своей молодости; с ним Дедалус прямо-таки срывался в свой дерзкий и безоглядный побег. Но теперь он не нуждался в таком бунтарстве: не Прометеи, Люциферы и Фаусты, по бессемейности отважные, непокорные сыновья, блистательные неудачники, занимали его отныне. Улисс, Данте, Шекспир, мужи и мужья, все равно — путешественники ли, изгнанники или главы рода. Как и вся Швейцария, Цюрих с его обывательскими добродетелями и солидным укладом не слишком радовался наплыву беженцев, но понимал выгоду от них и от войны. Здесь хорошо было писать об Улиссе; он словно сам оказался в царстве Калипсо. Джойсу было тридцать четыре, почти mezzo camin[96], с которого Данте начинает «Ад», и он не стеснялся напоминать об этом устно и письменно, а цюрихские годы только подтвердили это.

Итальянцы и австрийцы, а затем и греки быстро отыскали Джойса в Швейцарии. С некоторыми из них он подружился. Оскар Шварц, его ученик в Триесте, дал ему рекомендательное письмо к

молодому человеку по имени Оттокаро Вайс, и Джойса ужасно забавляло, что «Черный» (Schwarz) представляет его «Белому» (Вайсу), но в конечном итоге это оказалось полезным для «Улисса». Триестинец Вайс приехал изучать политическую экономию в Цюрихском университете, тогда ведущем в Швейцарии. Высокий, красивый, добрый молодой человек, он великолепно разбирался в музыке и хорошо знал литературу. Его брат, доктор Эдуардо Вайс, был одним из учеников Фрейда и первым психоаналитиком Италии. От своего брата и от знакомого ему доктора К. Г. Юнга Вайс усвоил основы психоанализа. Джойс ими пренебрегал, но не отрицал возможной пользы. С Юнгом ему в будущем придется встретиться не раз, и совсем не по литературным вопросам.

Они жили по соседству, начали вместе посещать оперы и концерты, и Вайсу удавалось проводить Джойса по студенческому билету. Дома Джойс завораживал Вайса своим прекрасным голосом, но возмущал жутким аккомпанементом, то на гитаре, то на старом, ужасно расстроенном пианино. Он, видите ли, обожает Верди, а еще может буквально упиваться единственной фразой, скажем, «Addio! del passato bei sogni ridenti»[97] из «Травиаты», повторяя ее раз за разом. Джорджо заставляли петь чистым детским голоском одно слово «ri-i-i-i-denti». Иногда Джойс читал литанию Пресвятой Богородицы, заветную молитву Стивена Дедалуса в «Портрете…» — «Rosa mystica, ora pro nobis; Turris Davidica, ora pro nobis; Turris ebumea, ora pro nobis»[98], — умильно пришепетывая. Кстати, один из популярных портретов Джойса, знаменитое фото с гитарой, тоже сделал Вайс.

Они часто говорили о политике (тут Йетс ошибся) и, разумеется, литературе. Вайс пересказал Джойсу знаменитую гипотезу Монтескье, что политические установления порождаются местными условиями, но Джойс ко всем таким утверждениям относился одинаково скептически, хотя упоминает их в «Улиссе» и «Поминках по Финнегану». От Вайса Джойс узнал о книгах Готфрида Келлера, по мнению Оттокаро, помогающих лучше понять славных жителей Цюриха. Джойс не слишком восторгался Келлером, но в одном из критических отзывов «Зеленого Генриха» сравнивали с «Портретом…», он заинтересовался, а затем даже перевел несколько стихотворений Келлера на английский. Однако тогда он не интересовался немецкой литературой; даже Гёте был для него «нудным служащим».

Вайс познакомил Джойса с Рудольфом Гольдшмидтом, зерноторговцем, а Гольдшмидт ввел его в круг своих друзей. Эти люди были богаты, и они охотно согласились брать уроки

английского у Джойса, некоторые — просто потому, что это был способ помочь ему, не задевая его достоинства. Вообще-то Джойс считал, что его достойна любая помощь и скромность тут ни причем. В ноябре 1915 года Джойс подписывает экземпляр «Дублинцев» Гольдшмидту «с благодарностью». Замечательные ученики — они то и дело платили за уроки, которых никогда не брали, и Клод Сайкс позже заметил, что Джойс иногда юмористически возмущался, если ученик настаивал на занятиях. Отношения учителя и ученика часто превращались в дружбу, как с Виктором Саксом, Эдмундом Браухбаром и Жоржем Бораком. Со всеми тремя Джойс далеко заходил во время уроков. Саксу однажды предложил написать лимерики и помог ему двумя своими:

Жил-был юный и галантный Сакс,
Что был подвержен аллергии на пыльцу
В самое лучшее время года,
Когда прелестный купидон
Укладывает на спины и женщин, и дев.

Второй вышучивал двойственность австро-венгерской монархии:

Вот монарх, что не знает покоя,
Потому что штанов на нем двое.
Все там чешется — страх
В этих плотных штанах;
Знает лишь Бог, как он терпит такое.

Браухбар четверть века спустя станет одним из поручителей, чтобы Джойс и его семья после начала Второй мировой войны смогли вернуться в Цюрих из оккупированной Франции.

Две другие ученицы Джойса, сестры Ольга и Вела Близнаковы, приехали в Цюрих из Триеста почти следом за ним. Их отец, Марко Близнаков, болгарский консул в Триесте, не мог оставаться на австрийской территории, а его жена была к тому же сестрой синьоры Шмиц, и Джойс часто видел их раньше. Он с юмором рассказал Вайсу, как Марко взял десятилетнего сына Бориса в деревню вблизи Триеста и поил пивом, пока того не затошнило. Затем он привез мальчика домой и с гордостью сообщил разъяренной семье, что наглядным уроком навсегда спас его от опасности стать пьяницей. Теща, синьора Венециани, подлинная глава семьи, ругала Марко отборными триестинскими

словами. В «Улиссе» этот педагогический акт приписан Блуму.

Велу и Ольгу, красивых девушек, забавлял их новый учитель. Он был раскован, двигался, будто скелета у него не было, жал руку, словно его пальцы были из воска. Одевался почти элегантно, правда, никогда не носил полный костюм — пиджак от одного и брюки от другого. Когда он болел, Нора не могла уговорить его умыться или побриться, поэтому однажды, когда Вела Близнакова пришла навестить их, Нора попросила ее сказать ему об этом, думая, что ее прелестное личико устыдит его. Джойс дал Веле слово бриться и мыться еще за день до уроков и даже временами держал его. На занятиях с сестрами Близнаковыми Джойс говорил об английской и итальянской литературе, а порой переходил к политике, в особенности ирландской. Ирландия пожирает своих детей, говорил он. Иногда Джойс привозил рукопись «Улисса» и читал им по нескольку страниц, но пропускал предложения или целые абзацы, говоря: «Это не для девочек». Таким образом, историю цензуры романа начал сам автор.

Между тем всегдашние проблемы вновь поднимают головы. Даже гранта КЛФ вкупе с платой за частные уроки оказывается мало, и Джойсу приходится искать новую работу. Несколько попыток срывается. Но в конце 1915 года в Цюрихе появляется венский антрополог, профессор Зигмунд Файльбоген. Чтобы популяризовать свои идеи о человеческой общности, на деньги какого-то американского фонда он собрался издавать двуязычный англо-немецкий журнал «Интернэшнл ревью». Джойс был нужен Файльбогену как переводчик, но заинтересовал его и сам по себе. Получив первую рукопись, издатель разговорился с этим худым и жестким человеком, говорившим скупо и резко, замкнутым и неохотно отвечающим. Но разговор перешел на любимого обоими Ибсена, и Джойс стал горячо доказывать превосходство норвежца над Шекспиром, чем разрушил облик угрюмого меланхолика. Файльбоген был покорен, и Джойс несколько месяцев проработал на журнал, делая безупречные переводы, разве что по рассеянности упуская фразу или абзац. Однако журнал был обречен: в нем слишком часто развенчивались жуткие истории о военных зверствах обеих сторон и анализировались проблемы поведения человека на войне, чей бы флаг он при этом ни защищал. Немцы, кстати, позволили свободное распространение журнала на территории Германии, а вот английские и американские власти сочли его враждебной агитацией, и меньше чем через год журнал закрылся. Однако Джойс по-прежнему часто встречался с Файльбогеном, который ему нравился, и другим издателем, поэтом Феликсом Бераном.

В Швейцарии Джойс старался оставаться вне политики, неохотно говорил о войне, соглашаясь с Йетсом: «Наверное, в такие времена / Поэту лучше просто помолчать». Но порой он изменял мудрому правилу. Оттокаро Вайс обсуждал при нем теорию Фрейда, что юмор — способ разума находить краткий путь для высвобождения подавленного чувства, Джойс весело ответил: «Ну, это неверно хотя бы в одном случае». И тут он пересказал историю, услышанную от своего отца, об ирландском солдате Бакли и русском генерале, которая упомянута в «Улиссе» и пронизывает «Поминки по Финнегану». Бакли во время Крымской войны взял на мушку русского генерала, но когда он разглядел его золотые эполеты и дивные ордена, то не смог выстрелить. Собравшись с силами, он вскинул ружье, но именно тут генерал спустил штаны и уселся облегчиться. Противник в таком беспомощном положении снова обескуражил Бакли. Но когда генерал приготовился завершить дело комком мягкого торфа, Бакли потерял все уважение к нему и выстрелил. Вайсу это не показалось смешным, но Джойс рассказывал случай друзьям, убеждая, что это своего рода архетип. Когда он работал над «Поминками…» и пересказал анекдот Беккету, тот счел его еще одним оскорблением Ирландии. Джойса это и убедило: он налег на эпизод и в конечном счете сделал Бакли, оскорбленного как раз недолжным использованием торфа, дорогого каждому жителю Эрина, воплощением простого ирландца, не сробевшего перед имперским величием.

Война не оставляла его в покое и тут. В конце 1915 года его друг Вайс был призван в армию, и до самого перемирия они не виделись. Случились и более трагические события. Восстание в Дублине на Пасху 1916 года было коротким, но кровавым. Посадить на ирландский трон принца Йоахима Прусского не удалось, поддержка немцев и ирландцев-военнопленных, на которую рассчитывал один из руководителей восстания сэр Роджер Кейзмент, провалилась. Немецкий транспорт с оружием и боеприпасами перехватили англичане, а Кейзмент, мчавшийся в Дублин с целью задержать восстание, был арестован разведкой. Позже его лишили титула и повесили по приговору суда. Вряд ли Джойса особенно потрясла казнь Патрика Пирса, поэта, лидера «Ирландских добровольцев» и его первого учителя гэльского — он не любил его как человека. Но вот известие о нелепой смерти Фрэнсиса Шихи-Скеффингтона, с которым они публиковали «День толпы» в 1902-м, было вынести намного тяжелее.

Джойс горестно следил за событиями — восстание он считал совершенно бесполезным, но и положение страны было недопустимым. Отношение к Ирландии стало еще сложнее. Когда

англичанам пришлось отказаться от мобилизации в Ирландии, он говорил друзьям: «Erin go bragh!»[99] — и предсказывал, что когда-нибудь он и Джорджо вернутся и наденут «шэм-рок» — эмблему свободной Ирландии. Но пришел спад, и когда его спросили, верит ли он в появление независимого государства, Джойс ответил: «Чтобы я мог объявить себя его первым врагом?» Неужели он не хочет умереть в Ирландии? Джойс ответил и на это: «Пусть лучше Ирландия умрет за меня». Мучимый горем и злостью, он отказался от предложения редактора газеты «Журналь де Женев» Фанни Гильерме написать об ирландских событиях под нелепым предлогом: «Je n'écris jamais d'articles»[100].

В сентябре 1916 года Томас Кеттл, муж Мэри Шихи, был убит в бою, находясь в британской армии во Франции. Он пошел добровольцем, решив, что Ирландия за помощь в войне получит от Англии свободу. Джойс сразу пишет миссис Кеттл странно официальное — ведь они были знакомы много лет — письмо с соболезнованием:

«Зеефельдштрассе, 54, Цюрих, Швейцария.

Уважаемая госпожа Кеттл,

сегодня утром с глубоким сожалением я прочитал в „Таймс“, что мой давний школьный друг и однокурсник лейтенант Кеттл был убит в бою. Я надеюсь, что вы не сочтете это вмешательством в ваше горе и примете от меня слова искреннего соболезнования. Я помню с благодарностью его доброжелательность и любезное дружелюбие, когда я семь лет назад был в Ирландии. Могу ли я просить вас также передать вашим сестрам (адреса которых я не знаю) мое сочувствие потерям, понесенным ими? Я горевал, узнав, что так много несчастий выпало вашей семье в эти черные дни. Поверьте, дорогая миссис Кеттл, что я остаюсь искренне вашим Джеймсом Джойсом 25 сентября 16 г.».

Но Джойс писал не только эти письма. Больше всего сил уходило на три проблемы. Первой оставались «Дублинцы». За весь 1914 год Ричардс продал 499 экземпляров. Джойс возлагал большие надежды на увеличение дохода от книги и тормошил Пинкера получить отчет о продажах. Но по нему выходило, что в первые шесть месяцев 1915 года было продано только 26 экземпляров, в следующие шесть месяцев еще меньше, а в последние полгода только семь. Джойсу оставалась лишь слава — до денег было по-прежнему далеко.

Вторая цель — добиться издания «Портрета…» книгой. Последняя часть появилась в сентябрьском выпуске «Эгоиста», но уже запахло первыми сложностями. Джойс получил январский выпуск 1915 года в июле 1916-го — его задержала военная перлюстрация — и разъярился, увидев, что в тексте пропущены

целые фразы. Мисс Уивер объяснила ему, что причина не в небрежности, а в брезгливости печатника. Когда типограф начал делать то же самое с августовским набором, она разыскала нового. Джойсу оставалось быть благодарным за эту и другие услуги, и 28 августа он пишет ей: «Так как это будет последняя часть моего романа, я чувствую, что должен вас искренне поблагодарить за интерес, который вы проявили к моему труду, и за хлопоты по защите моего текста. Я очень благодарен вашему журналу и вашим сотрудникам и надеюсь, что ваша карьера обретет процветание, когда эти скверные дни уйдут в прошлое».

Журнальная публикация «Портрета…», казалось, должна была помочь книжной, но этого не случилось. Ричардс отказался выпускать книгу, утверждая, что во время войны невозможно рассчитывать на интеллигентную аудиторию. Пинкер, сочувствуя Джойсу, предложил роман в июле Мартину Секеру, предупредив, что это будет первоначальный текст, а не тот, подчищенный, что используется в «Эгоисте». Когда его вернул и Секер, Пинкер предложил его Дакворту, продержавшему рукопись несколько месяцев. Становилось ясно, что английские издатели не слишком рвутся печатать Джойса, и он предложил Пинкеру поискать издателя в Париже, что позже он будет делать и для «Улисса». Когда ничего не решилось и в ноябре, он попросил Артура Саймонса, но и тот не смог помочь. Мисс Уивер, со своей обычной щедростью, сделала неожиданное предложение. 30 ноября она сообщила, что, если ей удастся убедить редакционный совет сделать нечто беспрецедентное в истории «Эгоиста» и не будет обычного издателя, «Эгоист» попытается опубликовать «Портрет…» книгой. Джойса это отчасти успокоило: 6 декабря он написал ей благодарственное письмо, где заметил с горечью: «Я никогда не получал никаких денег ни от одного из двух моих издателей, и мне не нравится перспектива ждать еще девять лет с тем же результатом. Я пишу роман „Улисс“ и хочу опубликовать остальные книги, чтобы забыть о них раз и навсегда, потому что переписка об их издании слишком утомительна для моей (крайне ленивой) натуры». 14 января мисс Уивер отослала Джойсу 50 фунтов, в уплату за право использования «вашей чудесной книги» «Эгоистом» в течение двух предыдущих лет.

С той же настойчивостью и с теми же результатами Джойс занимается публикацией и постановкой «Изгнанников». Рукопись была захвачена в Цюрих, и он писал Пинкеру 17 июля, что только что перепечатал ее и будет отправлять ему в три приема, по одному акту, опасаясь потерять при пересылке. Паунд уже прочитал пьесу и считает, что она «захватывающая», но «совсем не так сильна, как „Портрет…“». Он не уверен, что она подойдет

для сцены, но в начале октября написал доброжелательную статью о пьесе для чикагского журнала «Драма», принявшего статью для февральского выпуска, но отвергшего саму пьесу несколько месяцев спустя. Паунд также обратился к менеджеру американского театра Сесилу Дорриану, восхитившемуся «Изгнанниками», но не решившемуся их ставить. Джойс предложил пьесу Йетсу и театру «Эбби», но Йетс, даже соблазненный перспективой потрясти зрителя, все же помнил, что такое ирландский зритель: «Я не рекомендую вашу пьесу Ирландскому театру, потому что она является одним из видов произведений, которые мы никогда не играли хорошо. Она слишком далека от народной драмы, да и в настоящее время мы не играем хорошо даже народной драмы… Я прочитал вашу пьесу некоторое время назад и помню не очень ясно, — все же я думаю, она искренна и интересна, хотя не могу привести подробную стоящую критику произведения… Но мог, пока читал. Я не думаю, что она так же хороша, как „Портрет художника в юности“, его я читал с большим волнением и многим рекомендовал. Думаю, „Портрет“ — нечто очень новое и очень мощное. Эзра говорит мне, что работаете над чем-то новым, и этой книги я жду с нетерпением».

В начале ноября 1915 года Джойс попросил Уильяма Арчера помочь, но Арчер уезжал из Лондона и пообещал прочесть пьесу по возвращении. Следом Джойс написал мрачное письмо Майклу Хили, который сразу же отправил ему девять фунтов и ободрительную записку. Джойс написал ему благодарственное письмо, где подробно отчитался, как были потрачены эти деньги. Нора купила много вещей из шерстяной фланели и другой одежды, которая была нужна детям в таком климате, и шляпу, выбранную наконец из нескольких ей показанных. Теперь все Джойсы были достаточно хорошо защищены от холода.

О своем будущем он опять начинал высказываться с крайним скепсисом:

«Если бы я мог найти сейчас того, кто является покровителем литераторов, то сурово напомнил бы ему, что я существую; но я понимаю, что последний святой, который занимал этот пост, подал в отставку от отчаяния и никто другой не возьмет этот портфель».

Итак, 1915 год закончился ничем, но 1916-й сулил перемены.

Переписка с Пинкером, мисс Уивер и Паундом ободряла, но были и разочарования. Дакворт отклонил «Портрет…». Тем временем Джойс получил от Уивер аванс 25 фунтов и поручил Пинкеру переслать книгу ей и безоговорочно принять любые ее условия. Но тут явилось новое препятствие: семеро типографов

один за другим, встревоженные недавним обвинением против «Радуги» Д. Г. Лоуренса, отказались печатать текст Джойса в его нынешнем виде. Паунд выдвинул фантастическое предложение: «Если все печатники откажутся… я думаю, что на месте удалений останутся крупные пробелы. Тогда удаленное можно размножить комплектами (не под копирку, а другим образом) в типографии, на хорошей бумаге, и в таком случае я буду сам вклеивать их. Покупателю можно предложить купить книгу со вставками или без них, и авторское право не будет нарушено при печати. То есть реставрация сделана отдельно, частным образом и книга без них законно опубликована. И черт побери цензоров».

Скоро Паунд предложил вещь более реалистичную: напечатать книгу в Нью-Йорке. Там работал новый издатель, Джон Маршалл, опубликовавший одного из известнейших американских модернистов Альфреда Креймборга; он собирался издать книгу и самого Паунда «Это поколение». Паунд посоветовал ему выпустить книгу Джойса, в случае необходимости за счет своей. Мисс Уивер сможет потом импортировать экземпляры из Штатов в Англию. Поначалу Маршалл пылал энтузиазмом, но в конце концов не напечатал ни Джойса, ни Паунда. В июле 1916 года Джойс написал мисс Уивер, что «Изгнанники» и «Портрет…» слегка продвинулись: «Есть надежда, что пьеса будет поставлена „Стейдж сосайети“ в Лондоне. Машинописная версия есть в Нью-Йорке, Чикаго, а на итальянском языке она имеется в Риме или в Турине. Я предложил ее здесь и в Берне, но они говорят, что это слишком смело (gewagt). Мои рукописи разбежались, как овечки у Бо-Пип, но я надеюсь, они так же вернутся домой, как сделали те».

Наконец 19 июля мисс Уивер смогла сообщить встревоженному пастырю, что книга будет напечатана, но не у Маршалла. Б. У. Хюбш, обнадеженный обещанием мисс Уивер принять 750 экземпляров для английских продаж, решил привезти ее в Нью-Йорк. В конце октября были подписаны все документы.

Все тот же Паунд, узнав, что Йетс был пенсионером по цивильному листу и получал эту пенсию, спросил его, не может ли кто-нибудь похлопотать за Джойса. Пенсионеры цивильного листа — это обычно люди с крупными заслугами и талантами, а также их родственники, оставшиеся без средств. Йетс ответил, что для такой пенсии необходим парламентский грант, но премьер-министр имеет право предоставить список для цивильного листа просто по своему усмотрению. Паунд добился приема у леди Кьюнард и убедил ее показать книги Джойса секретарю Асквита Эдварду Маршу. Тот был приятно удивлен, но написал Йетсу и

Джорджу Муру, чтобы заручиться и их мнением. Йетс, кротко сносивший повинность писать рекомендации для Джойса, ответил, что работа Джойса «отличается любопытным напряжением мысли» и что Джойс «такой человек, которому приятно помочь». Мур ответил антиирландской тирадой, вскользь упомянув о «неприятной репутации», которую Джойс имел в Дублине. Вопреки логике письмо завершалось фразой: «Уверен, что с литературной точки зрения Джойс заслуживает помощи».

В августе премьер-министр предоставил Джойсу сто фунтов пенсии по цивильному листу — кстати, по нему же оплачивают содержание королевской семьи. Джойс письмом благодарил Йетса, а Паунда назвал «чудотворцем»: «…Я надеюсь, что теперь, наконец, мои дела могут начать идти чуть более гладко, ибо, по правде говоря, это очень утомительно ждать и надеяться на протяжении стольких лет». Однако он понимал, что «королевская щедрость», хотя и не выдвигавшая обязательств, подразумевает своего рода долг перед Англией, который он, как будет ясно, выплатит позднее с огромными процентами. Из других источников пришли суммы поменьше — 25 фунтов отправлено анонимно (от Паунда) и два фунта в неделю в течение тринадцати недель от «Общества авторов», также по инициативе Паунда. Общество потом продлит субсидию еще на три месяца.

Дальше будут новые осложнения, скандалы и препятствия. Уже в конце октября Джойс страдал от приступа глубокой депрессии, но его упорство, из-за которого Паунд обратился к нему в одном письме «уважаемый Иов!», было несокрушимо. И вот Хюбш выпустил в декабре американское издание «Дублинцев». Частично был использован набор, отвоеванный у Ричардса. Затем там же 29 декабря самым первым из всех последующих изданий вышел «Портрет художника в юности». Трудности Джойса на этом не закончились и не могли — нрав и обстоятельства этого не предполагали. Джеймс Уистлер назвал свою биографию «Изящное искусство создавать себе врагов». Все же несколько лет Джойс создавал их сам, и особенно в отношениях с людьми, которые столько помогали ему и его книгам.

Глава двадцать четвертая ЖИЛИЩА, СЦЕНА, СЛЕПОТА

For somebody hit hatred and hope
and desire and under my feet…[101]

Цюрих среди прочего оказался для Джойсов новым упражнением в квартирных переездах, сравнимых с первыми триестинскими годами.

В июне 1915 года сразу после приезда Джеймс с Норой ненадолго останавливаются в гостинице «Хоффнунг». Растроганно оглядывают знакомый холл и ресепшен красного дерева. Тут они, молодые и отчаянные, также ненадолго в 1904-м остановились после побега из Дублина…

Пару недель они жили в двухкомнатной квартирке почти без мебели, на Райнхардтштрассе, 7. Они надеялись вернуться в Триест, в квартиру с обстановкой, и новой обзаводиться не собирались, а местные квартирохозяева не утруждали себя заботой об интерьере. В октябре была квартира на третьем этаже на Крейцштрассе, 10. В марте 1916-го они переехали снова на Зеефельдштрассе, 54, где у них были кухня, гостиная и две спальни, одна совсем крохотная, — 40 швейцарских франков ежемесячно. Квартира им не нравилась, но лучшая была не по карману.

Теперь Джойс жил так беспорядочно, как ему хотелось. Допоздна сидел в кафе и ресторанах, вставал чуть ли не в полдень. Изредка давал уроки и все остальное время работал над «Улиссом». Попытки пристроить «Изгнанников» и вечерние компании скоро сделали его заметной фигурой цюрихского мирка. В ресторане «У Красного креста», неподалеку от Зеефельдштрассе, раз в неделю собиралась компания, с невеселой иронией звавшая себя «Club des Étrangers» — «Клуб иностранцев». Джойс был близок с ними, особенно с греком Полем Фокасом. Среди них был и поляк Чернович, владелец табачной лавочки, виноторговец Пауль Видеркер и немец Маркиз, певший в хоре. Через клуб Джойс даже находил учеников — с некоторыми из них, как водится, завязывалась дружба. Пауло Руджеро служил в банке и был славным, скромным человеком; таким же он считал и Джойса. Говорили по-итальянски и немного по-гречески, которого Джойс нахватался в Триесте, а Руджеро жил несколько лет в Греции. Джойса огорчало незнание древнегреческого, да и с остальными языками он сражался как лев, и этимологические

размышления были их любимыми темами. Ему уже была известна новая тогда гипотеза Виктора Берара о семитских корнях Одиссея, и о том, что все топонимы поэмы прослеживаются в древнееврейском, который родствен «койне». Клуб полюбил Джойса и сочувственно следил за его жизнью. Они знали о его неприятностях с издателями и подбадривали его на всех языках, они ругали театры, упускающие замечательную пьесу. Но большей частью он был весел, «джойсовиден» и считался отличным собутыльником. Громко хохотал и весело пел: «Уезжаю в Нью-Йорк-сити, но к тебе вернусь, вернусь!» Если не было дам, он затягивал крайне неприличную французскую песенку о старом кюре, который любил ботанику и кюль-кюль-кюльтивировал нежные цветочки[102].

Руджеро помог Джойсам сменить скверное жилье на Зеефельдштрассе и поселил их в прежней квартире своего отца на той же улице, но она была на третьем этаже большого дома и куда просторнее. Зато и дороже — 120 франков в месяц. В двух больших комнатах окнами на улицу можно было разместиться поудобнее, однако имелись и минусы. Две комнаты были частью пятикомнатной квартиры, где жил другой съемщик, а вход был только один. Но жилец этот был Филипп Жарнак, секретарь и капельмейстер Ферручо Бузони, знаменитого тогда композитора, пианиста и дирижера. По утрам в тишине он обычно сочинял музыку, и вдруг за стеной начал раздаваться громкий тенор, временами фальшививший и не умолкавший очень долго. Жарнак оценил достоинства голоса, но нашел его совершенно необработанным, а сопровождение на расстроенном пианино было просто мучительным. Протерпев сколько мог, Жарнак в отчаянии наведался к соседу. Джентльмен, однако, внял и пригласил войти. После разговора юный композитор написал Джойсу письмо, которое выражало восхищение умом и эрудицией соседа, а также приносило извинения за обстоятельства, предшествовавшие беседе. Он надеялся на будущую дружбу, что и состоялось. На следующий год они разъехались, отчего дружба лишь окрепла. Вкусы их были полностью противоположны: Доницетти и Беллини, обожаемые Джойсом, для Жарнака были безнадежно старомодны. Но скептицизм и знания Джойса поражали его и казались загадочными.

Бузони, с которым Филипп попытался свести Джойса, ему не понравился — впрочем, взаимно. Он воспользовался своим любимым трюком: когда хотел создать у собеседника невыгодное о себе впечатление, то начинал доказывать, как плох Шекспир-драматург и как дивен Шекспир-поэт. Бузони ответил презрительной репликой: «Вы отказываете ему в большем и

одариваете меньшим…»

Климат Цюриха, сырой и туманный, Норе и Джойсу не нравился, но город их привлекал. Там было полно иностранцев: спекулянты, шпионы, политические изгнанники и разноязыкая богема. В Цюрихе родился сюрреализм — Тристан Тцара, Ганс Арп и компания были завсегдатаями «Кафе Вольтер». Джойс часто захаживал в кафе «Одеон», где бывали русские, и наверняка видел коренастого рыжего человека, жестоко споривщего со спутниками. 9 апреля от цюрихского вокзала отошел поезд с тридцатью двумя русскими политэмигрантами, которых ждал на немецкой пограничной станции Готтмадинген поезд с запломбированным вагоном, доставивший в Россию Ленина со товарищи в сопровождении швейцарского социалиста Фрица Платтена и двух офицеров германского Генштаба. Тогда на это никто не обратил внимания, и Джойс тоже.

Для него куда важнее было, что в его жизни появился маленький человечек, назвавшийся Жюлем Мартеном и предложивший заняться кинопроизводством. Джойс, до сих пор переживавший неудачу с кинематографом «Вольта», заинтересовался — ведь Мартен предложил ему отполировать сценарий, называвшийся «Вино, женщины и песня», а он, Мартен, займется группой и актерами. Джойс внимательно просмотрел сценарий, «свадебным генералом» которого его хотели сделать. Мартен собирался снимать не только актеров, но и богатых дам в собственных ослепительных нарядах, мехах и драгоценностях, чье тщеславие побудит их платить за участие в съемках или даже учиться в студийной «Киношуле». Собственно, для этого и фильм не был нужен. Он расспрашивал Руджеро, не может ли тот поспособствовать в получении банковской ссуды. Тот ответил, что сначала нужно открыть кредит. Мартен удивился — зачем ему кредит, ему просто нужны наличные! И тут Руджеро спросил Джойса, как ему следует относиться к Мартену. Джойс, великий мастер занимать без отдачи, почуял родственную натуру и тут же ответил: «Не вздумайте ему ничего ссужать!»

Мартен успел к этому времени напечатать объявления о кастинге; среди откликнувшихся был профессиональный актер Клод У. Сайкс, он подрабатывал уроками английского, но мечтал вернуться на сцену. Опытный Сайкс не купился ни на кинопробу, якобы устроенную Мартеном, ни на поздравления по случаю успешного прохождения отбора и тут же спросил о сценарии. Уклончивый ответ, что сценарий на доработке у замечательного, но очень неторопливого писателя, его не устроил. Выудив из Мартена адрес Джойса, Сайкс решил встретиться с ним. Собственно, он его уже видел в читальне за английскими

газетами и слышал, что это очень умный и даровитый человек. Встреча состоялась, Сайкса приняли вполне благожелательно, Джойс показал ему сценарий, и они пришли к выводу, что это чудовищная нелепица, из которой ничего нельзя сделать.

Но знакомство не прервалось. К тому же миссис Сайкс, по сцене Дэйзи Рэйс, написала очень интересную монодраму с героиней по имени Джойс. А Джеймс верил в приметы. Безумно рада была и Нора: можно было поговорить по-английски с женщиной, да еще славной и понимающей. Мужья часто обсуждали свою работу, и Джойс рассказал Клоду о своей теории семитского происхождения Одиссея, а Клод, в свою очередь, ссудил ему книгу Карла Бляйбтроя о том, что подлинным автором пьес Шекспира был граф Рэтленд. Джойс вернул книгу без единого отзыва, но разыскал Бляйбтроя, жившего в Цюрихе, свел с ним знакомство и выспрашивал у него всяческие подробности. Бляйбтрой упомянут в «Улиссе».

Цюрих по иронии судьбы во время войны стал мировым театральным центром. Кто только не приезжал туда; именно здесь Джойс встретил Макса Рейнхардта и увидел его версии «Сна в летнюю ночь», «Пляски смерти» и «Сонату призраков» Стриндберга, «Агамемнона» по Эсхилу, «Смерти Дантона» Бюхнера. Стриндберг, в то время считавшийся ровней Ибсену, ему не нравился — «за истерическими беснованиями нет никакой идеи». Однако спектакли он посмотрел все.

Деньги еще были, квартира пока не стесняла, но тут Джойсу пришлось испытать один из самых тяжелых для писателя ударов — у него жестоко обострились болезни глаз. Ирит, воспаление радужной оболочки, развился в синехию, сращение радужки с хрусталиком, а к ним добавилась еще и глаукома. Среди болезней, которые ведут к слепоте, она едва ли не первая. Подкрадывается почти незаметно, «бессимптомно», говорят врачи. Первый приступ был у Джойса сразу после нового переезда на Зеефельдштрассе, а за ним случился второй, долгий и мучительный. Он винил в этом что угодно, включая погоду, мучился болями, но оперироваться отказывался. В июне 1917-го он писал мисс Уивер, что чувствует себя лучше, хотя и лечится, но это была чистая бравада. Сильвии Бич потом, в Париже, он даже гордо говорил, что и у Афины была глаукома — все говорят о ее «серых глазах». Понемногу он опять стал читать и писать, временами снимал темные очки, но врачи, словно полиция, взяли с него обещание не уезжать — рецидив мог случиться в любое время. Заниматься «Улиссом» столько, сколько требовалось, Джойс тоже не мог, но упорно записывал хотя бы по нескольку строк. Затем его уложил острый тонзиллит, и доктора

посоветовали ему перебраться в итальянскую Швейцарию, где климат мягче.

В этих болезнях было только одно, всем известное преимущество: Джойс, как ребенок, наслаждался волнениями и заботой близких. Теперь он вынужден был из-за глаукомы оставаться в затемненной комнате, где принимал гостей. Однажды в такой день у двери раздался звонок и почтальон вручил ему заказное письмо. Джойс ощупал конверт и попросил гостя, поэта Феликса Берана, вскрыть его и прочесть. Оно было от юридической фирмы и оповещало Джойса, что некий поклонник его творчества, пожелавший остаться анонимным, поручил им высылать ему чеки на 50 фунтов в течение мая, августа, ноября и февраля 1918 года, что в сумме составит 200 фунтов стерлингов. Фирма надеялась, что он примет этот дар и не потребует выяснять, кто даритель.

Джойс послал юристам свои книги с благодарственными надписями. Взамен пришло письмо о том, что эта поддержка будет продолжаться до конца войны, пока он окончательно не устроит свои дела. Солиситор также намекнул на то, что его благодетельнице чрезвычайно близко то, о чем он пишет в своих книгах, «его проникновенный дух, жгучая правда, сила и удивительная проницательность…». Значит, это была именно женщина.

Эзра Паунд отыскал ему еще одного мецената. В марте 1917 года Джон Куинн, нью-йоркский адвокат и любитель искусств, купил у него рукопись «Изгнанников», а также написал хвалебную рецензию на «Портрет…» для майского выпуска «Вэнити Феар». Тем временем Гарриет Уивер получила от Хюбша рукопись «Портрета…» и в феврале отпечатала 750 экземпляров английского издания, которое попросила отрецензировать Герберта Уэллса. Уговоры его подруги Ребекки Уэст сделали свое дело, и Уэллс опубликовал в «Нэйшн» очень одобрительный отзыв. Стивен Дедалус абсолютно реален и трагически схож с испытывающим такие же ограничения большинством ирландцев. Рождественский ужин даже Стерн не сумел бы описать лучше, а в целом это крайне примечательный роман, воплотивший отборную и неподдельную реальность. Уэллсу не понравились только некоторые обстоятельства, и среди них свифтовская поглощенность э-э, человеческими выделениями. На это Джойс ехидно заметил, что сограждане Уэллса, конечно, везде носят с собой ватерклозеты.

Неподписанная рецензия в «Таймс литэрари сапплемент» о «буйной юности, буйной, как юность Гамлета, полной дикой музыки» была работой Артура Клаттон-Брока, приятеля мисс

Уивер, от нее узнавшего про Джойса. Дора Марсден рецензирует книгу в «Эгоисте» с интересными деталями о ходе публикации, подсказанными той же мисс Уивер. Не без этих усилий 750 экземпляров разлетелись еще до конца весны. Джойс был очень доволен собой, но иронизировал и над удачей, сочиняя насмешливые лимерики:

Жил бездельник по имени Стивен,
Был он юн, странноват и наивен,
Процветал он что надо
В вони жуткого ада,
В который даже готтентот не поверил бы.

Несмотря на отличные продажи и поддержку меценатов, Джойс боялся нужды — переводил, писал рецензии, несмотря на то, что был не слишком внимательным критиком. Долго читал двухтомный роман и возмущался непонятностью, прежде чем сообразил, что читает второй том. «Изгнанники» все скитались от театра к театру. «Стейдж сосайети» получило их от Пинкера 27 января 1916 года, а 11 июля 1917-го отвергло. Затем они попросили пьесу опять и снова колебались, когда Джойс попросил Пинкера забрать ее. «Старейшина» общества Стердж Мур, попытавшийся переубедить соратников, был на его стороне, но большинство в труппе было категорически против «Грязного и Больного», как ее назвал один из актеров. В одном из писем Джойс утверждал, что пьесу приняли, но ставить не стали по настоянию Бернарда Шоу, нашедшего драму непристойной. Йетс был бессилен, Уильям Арчер просто ничего не сделал. А вот Мур начал понемногу разрушать стену.

Сколько бы сил ни тратил Джойс на хлопоты о своих старых книгах, новая затягивала его все глубже. Один из его учеников, Жорж Борак записал в дневник разговор, состоявшийся 1 августа 1917 года в кафе «Пфлауэн». Там Джойс сказал очень много из того, что проясняло замысел и даже построение романа.

«Одиссея», утверждал он, грандиознее, объемнее и человечнее, чем «Гамлет», «Дон Кихот», «Божественная комедия» и «Фауст». Фауст неприятен противоестественностью омоложения старика, Данте быстро утомляет — это все равно что наблюдать за «путем небесным солнца». Все самое прекрасное и человечное сосредоточено в «Одиссее». Джойс проходил Троянскую войну в школе, когда ему было двенадцать, и честно признался, что Улисс ему запомнился только своим предельным натурализмом. Когда он писал «Дублинцев», то намерен был назвать сборник «Улисс в Дублине», но передумал. А в Риме, дописав «Портрет…» уже

наполовину, понял, что за ним должна последовать «Одиссея», и начал «Улисса». Теперь, в середине пути, Джойс твердо считал Улисса самым человечным персонажем всей мировой литературы: он не хотел идти на Трою; он знал истинную причину войны — месть за обиду Менелая была только предлогом для греческих торгашей, искавших новые рынки. Когда за ним явились посланцы, он пахал, но ему пришлось притворяться безумным тут же, на поле. Тогда хитрые и недоверчивые греки положили перед плужной упряжкой его двухлетнего сына. Проследите за красотой мотивации: во всей Элладе один-единственный противник войны, и он как раз отец. Перед Троей герои проливали кровь просто так. Они хотели длить осаду — Улисс возражал. Он и придумал уловку с деревянным конем. После Трои — уже никаких упоминаний об Ахилле, Менелае, Агамемноне. Лишь один человек не забыт: его путь героя только начался — это Улисс.

Борак очень подробно записывает дальнейшую речь Джойса: «Потом возникает мотив странствий. Сцилла и Харибда — какая восхитительная парабола. Улисс также прекрасный музыкант; он хочет слушать и должен слушать, и он велит привязать себя к мачте. Здесь тема художника, готового пожертвовать жизнью, но не своим интересом к искусству. Отсюда его утонченный юмор с Полифемом — „меня зовут Никто“. На Наксосе пятидесятилетний старик, возможно, уже лысый, с Навсикаей, девочке едва семнадцать. Какая дивная тема! А возвращение — как это глубоко человечно! Не забывайте такую черту, как щедрость, в беседе с Аяксом в мире мертвых и много других отличных штрихов. Я почти боюсь браться за такую тему; она всеобъемлюща».

Все это говорилось завораживающе, гипнотично — Джойс, когда хотел или был увлечен, мог удержать любую аудиторию. Описание Улисса, созданное им, было абсолютно созвучно душам слушателей: миролюбец, художник, отец и странник. Эта жизнь совпадала с их собственными во многом.

Август 1917 года Джойсу пришлось провести в Локарно: Нора все хуже переносила климат Цюриха. Сначала уехала она и дети, и на телеграмму Джеймса с вопросом о самочувствии пришло жизнерадостное «Benissimo». Джойс послал ей в подарок роман Захер-Мазоха, притворное восхищение которым демонстрировали они оба. Однако возвращаясь домой, он испытал такую боль, что минут двадцать не мог тронуться с места — приступ глаукомы. Неделю спустя Джойсу сделали первую иридоэктомию — удаление фрагмента пораженной радужной оболочки правого глаза. Операция прошла успешно, и все равно изнервничавшийся Джойс слег; даже Нору, вернувшуюся из Локарно, не пускали к нему. Кровь из шва просачивалась в глаз и ухудшала зрение.

Однако в Локарно Джойс все равно уехал. Хюбш прислал ему 54 фунта как аванс в счет роялти, а анонимный благотворитель из Лондона — 50 фунтов. В октябре Пауло Руджеро проводил семью на вокзал и хохотал, глядя, как они бегут за тронувшимся поездом.

Мягкий климат и в самом деле изменил многое к лучшему. Джойс обдумывал шансы поселиться в Локарно, гулял и осматривал город, но постепенно он стал ему приедаться. Ему, собственно, было все равно где жить, было бы место и время писать. Но скуки он тоже терпеть не мог, а Локарно, да еще не в сезон… Они сменили пансион «Вилла Росса» на «Дахайм», но Джойс зачастил в Цюрих — по печальному поводу. Жюль Мартен оказался в тюрьме, какая-то из его акций нарушила закон. Джойс забирал у него письма семье, не знавшей, где их сын, а Мартен весело рассказывал ему, что набрал материал для отличной комедии. С помощью голландского консула Мартена удалось перевести из камеры в госпиталь, где он вырезал для Джойса шкатулку в виде семейной Библии с надписью на корешке: «Джеймс Джойс. Мой первый успех». Шкатулка предназначалась для будущих крупных гонораров, а непосвященные должны думать, что это книга. Жюль Мартен оказался Джудом де Фрисом, сыном крупного амстердамского гинеколога — возможно, Джойса это даже позабавило.

В Локарно он сумел закончить первые три эпизода нового романа, «Телемак», «Нестор» и «Протей», начинавшегося со знаменитой фразы «Неотменимая модальность зримого». Один за другим он высылал их Клоду Сайксу, согласившемуся отпечатать их, если Джойс отыщет ему пишущую машинку. Она отыскалась в конторе Рудольфа Гольдшмидта, зерноторговца, сотрудничавшего также с организацией, поддерживавшей подданных Австро-Венгрии, проживавших в Швейцарии. Он с удовольствием помог, а Джойс в благодарность написал довольно обидную песенку про Гольдшмидта, который, как все умные маленькие Гольдшмидты, предпочел штемпелевать письма, чем быть застреленным в вонючем окопе, «господи помилуй — доннерветтер…».

Между серединой ноября и началом января Сайкс получил все рукописи, с сотней поправок и дополнений, да еще следом за каждым эпизодом летели письма с дополнительными исправлениями и вставками. Джойс делал записи на обрывках бумаги, которые рассовывал по карманам, закладывал в книги, прижимал их всякими безделушками, а когда находил, кидался вносить в текст. Чтобы Сайксу было не так досадно, прилагались открытки с забавными лимериками. Еще забавнее были рассказы о том, как Нора не умеет писать письма: «Моя жена сказала

сегодня утром: я должна написать мистеру Сайксу. И она напишет — еще до Рождества». Это было написано в октябре. В декабре сообщается, что «моя жена мобилизуется для написания письма мистеру Сайксу». Но следующее письмо уже совсем не шуточное: Норе все тяжелее в Локарно, плохая погода нашла их и тут, метель, а затем землетрясение окончательно укрепили намерение вернуться в Цюрих. В январе 1918 года, проведя в Локарно всего три месяца, Джойс уехал.

Нора призналась Дэйзи Сайкс, что безумно рада самой возможности с кем-то поговорить. «В „Дахайме“ Джим со мной не разговаривал, — сказала она, — а у остальных был туберкулез». «Туберкулез» у нее означал то же самое, что «нервное расстройство» у Джойса, то есть что угодно. На новой квартире на Университатштрассе, 38, Джойс опять с головой ушел в «Улисса». Три эпизода были отработаны до пригодности к публикации, и Джойс, как всегда, приготовился вести сложные переговоры.

Но когда он написал мисс Уивер и Паунду, что хотел бы печатать новую книгу выпусками, как «Портрет…», «Эгоист» с радостью согласился — ему сразу предложили 50 фунтов за авторские права. Обрадованный Паунд получил сразу три первых эпизода и, прочитав первый, он написал Джойсу на якобы американском жаргоне: «Ето, мистер Жойс, поклянус, вы дьявольски атличный писатель, ну прямо поклянус… И я поклянус, што ваше изделье крутая литаратура. Я вам говорю, а уж я-то вьезжаю…» Переходил он из «Поэтри» в «Литтл ревью», к Маргарет Андерсон и Джейн Хип, которые собирались печатать еще и самую авангардную прозу. Дамы тут же заинтересовались Джойсом, но Паунд не связал их с ним — Джойс был его сокровищем, частной собственностью, и ничьим больше. Автор сам в феврале прислал им рукопись. Маргарет Андерсон разрезала пакет, вынула стопу машинописных листов и наудачу выдернула один: «Неотменимая модальность зримого. Хотя бы это, если не больше, говорят моей мысли мои глаза. Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей: всех этих водорослей, мальков, подступающего прилива, того вон бурого сапога…»

— Это самое прекрасное, что я когда-либо читала! — воскликнула она. — Мы напечатаем это даже ценой наших жизней!

«Телемакиаду» начали печатать в мартовском выпуске «Литтл ревью», сумев обойти цензуру. Но критики сразу же накинулись на язык первого эпизода, и Паунду пришлось выбросить несколько строчек из следующих глав, о чем он покаянно писал автору. Джойс, однако, не стал возражать — он знал, что не позволит ни одного исключения, когда роман будет готовой

книгой. Ему куда важнее было то, к чему будут готовы читатели, и он искал их. Норе зачитывались целые куски, но она тоже сочла язык омерзительным, и огорченный Джойс попытался добиться одобрения у Дэйзи Сайкс.

А в феврале труды Джойса прервал неожиданный, но приятный визит. Еще на Зеефельдштрассе он как-то пел за работой, и в дверь постучали. Жарнак съехал, и его комнаты сняла Шарлотта Зауэрман, первое сопрано Цюрихской оперы: она пришла не просить прекратить пение, а как раз потому, что ей понравился голос. Несколько раз они спели дуэтом, и Шарлотта предложила найти ему работу в театре, но Джойс сразу же отказался. Сказал, что попытался петь профессионально, но это оказалось никому не интересно. В этот раз Шарлотта среди прочего поинтересовалась, есть ли у него черный костюм. Костюма не было, но он спросил, в чем дело. «Может, скоро понадобится», — загадочно ответила она. «Ну, если так, то одолжу», — неуверенно согласился Джойс. Через пару дней, 27 февраля 1918 года, его пригласили письмом к управляющему цюрихского Эйдгеноссише-банк. Джойс одолжил черный костюм и отправился туда. Управляющий принял его крайне сердечно и объяснил, что клиент их банка, очень ценящий творчество мистера Джойса, знает о его тяжелых обстоятельствах и желает назначить ему что-то вроде стипендии. Ему открыт кредит в 12 тысяч франков. Ежемесячно он будет получать по тысяче франков.

Еще один неизвестный доброжелатель дарил ему теперь полторы тысячи франков в месяц. Открыть имя благодетеля управляющий категорически отказался — служебный долг. Но после банка Джойс позвонил Шарлотте, пришел к ней и уговорил ее назвать фамилию учредителя стипендии. То есть учредительницы — миссис Гарольд Маккормик. Богатая, овдовевшая, скучающая, она жила в Цюрихе с довоенных времен, очень серьезно поддерживала психиатра Карла Густава Юнга, покровительствовала многим писателям и музыкантам. Джойс нанес ей визит и искренне поблагодарил. Она отвечала с чарующей простотой:

— Я ведь знаю, что вы великий художник.

Друзья были рады за него, но Джойс, оправившись от первого потрясения, отвечал в своей обычной манере: «Давно было пора». Как всегда, когда появлялись деньги, он отказал нескольким ученикам и стал чаще появляться в «Пфлауэне». Клод Сайкс предложил ему найти средствам лучшее применение: создать труппу и играть на английском. Генеральный консул пообещал ему полуофициальную поддержку за популяризацию английской культуры, и они решили, что Сайкс будет директором и

режиссером, а Джойс с его опытом общения с банкирами, киномагнатами и торговцами твидом — управляющим предприятием, компанией «Инглиш плейерс». Грант от казначейства предполагал, что грантополучатель должен быть благодарен отчизне, и Джойс выбрал такой способ. К тому же он давал шанс наконец поставить «Изгнанников», уже внесенных в репертуар.

Первая постановка должна была привлечь как можно больше публики, а такое под силу скорее комедии; и Сайкс предложил «Как важно быть серьезным» Уайльда. Ирландец, открывающий новый театр, — такую идею Джойс только поддержал. «Пусть это всего лишь ирландская булавочка, она важнее, чем целый английский эпос». Как видно, Джойс не слишком заботился о пробританских симпатиях швейцарцев, но в остальном он проявил завидную энергию: убедил нескольких профессиональных актеров согласиться на маленькое жалованье, пообещав, что оно будет расти вместе с ростом театра. Ученики, их друзья и родственники накупили билетов, резонно рассматривая спектакль как дополнительное учебное мероприятие. Пришлось нанести визит и Энтони Перси Беннету, генконсулу Великобритании, раздраженно попенявшему Джойсу, что тот не явился сразу и не предложил родине свои услуги. На его высокомерие и попреки Джойс ответил колкостью, да такой, что Беннет сразу притворился, что ищет какую-то бумагу, и в поисках дошел даже до мусорной корзины. Разумеется, потом Джойс не обошелся без ядовитого лимерика, разлетевшегося по цюрихским англичанам:

Беннет, севший на консульский стул,
Мордой то ли шакал, то ли мул,
И для этой скотины
Намордник из мусорной корзины,
Когда он встает пореветь в сенате.

Прикончит он Беннета в «Улиссе», но сейчас надо было заручиться его поддержкой для «Инглиш плейерс». И он ее настойчиво добивается.

В Цюрихе было не так много актеров-англичан, хотя там жила сейчас известная актриса Эвелин Коттон и несколько других — например, Тристан Раусон, красавец-баритон из Кельнской оперы, не игравший в драме, но достаточно артистичный. Его сумели натренировать на роль Джона Уортинга. Мало-помалу он стал премьером труппы. Сесила Палмера уговорили на роль швейцара, а для мисс Призм нашлась способная любительница по имени

Этель Тернер. Но на роль Элджернона Монкрифа пока не было никого. В консульстве Джойсу встретился клерк Генри Карр, канадец, высокий и симпатичный, по ранению уволенный из армии, тоже актер-любитель, и труппа решила попробовать его. Репетиции начались в апреле, длились всего две недели. Жюля Мартена пристроили суфлером, но Сайкс потихоньку его выставил.

Для премьеры Джойс арендовал здание театра на Пеликанштрассе на вечер 29 апреля, а Руджеро согласился стать билетером. Профессионалы согласились на тридцать франков, любители играли бесплатно, но получали по просьбе Сайкса десять франков на трамвай — ездить на репетиции. Карр при всем своем занудстве оказался очень неплох, чрезвычайно увлекся ролью и даже купил себе для спектакля новые брюки, «борсалино» и пару желтых перчаток. Сыграл он даже с некоторым блеском, в антракте польщенный генеральный консул поздравил Джойса, а на финальной овации Джойс встал и прокричал: «Ура Ирландии! Бедняга Уайльд ирландец, как и я!» Полный зал был следствием его усилий, и труппа получила доход. Но когда Джойс вручал каждому исполнителю конверт с оговоренной суммой, Карр вдруг разобиделся. Хотя все было решено уже давно и все были согласны, он вдруг потребовал надбавку за восхитительную игру. На банкет труппы он не остался, сославшись на нездоровье, и утром явился к Сайксу жаловаться. Среди претензий оказался и счет на одежду, купленную для выступления.

Джойс, узнав об этом, разъярился не на шутку, и это было совсем не ко времени — труппа получила приглашение на гастроли во французской Швейцарии. Сайксу пришлось уговаривать его не поднимать шума хотя бы несколько дней. Но Джойс продержался только до следующего утра. 1 мая 1918 года он явился в консульство и с подчеркнутой вежливостью осведомился, где деньги за билеты. Все участники распространяли билеты, и Карр взялся продать 20 штук, но сбыл только 11. Он отдал Джойсу 15 франков и сказал, что за остальные ему еще не заплатили. Взамен Карр потребовал 150 франков за костюм, а Джойс ответил, что костюм куплен вовсе не для спектакля и что его, Карра, участие в постановке уже само по себе дело чести для британского подданного. Карр сорвался: обозвал Джойса хамом, сказал, что тот его надул и присвоил выручку, что он мошенник и что если он не уберется, то Карр его спустит с лестницы. Джойс не ожидал такой бури чувств и смог промямлить только, что считает недопустимыми такие выражения в устах государственного служащего.

Но через пару часов его уже трясло от возмущения, и он написал два письма: одно генконсулу Беннету, другое в цюрихскую полицию. В первом он настаивал на увольнении Карра из консульской службы, а во втором сообщал полиции о его угрозах. Сайкс, решивший накануне, что успокоил Джойса, был ошеломлен. Беннет, разумеется, принял сторону Карра и очень недвусмысленно дал понять Сайксу, что если он будет продолжать общаться с Джойсом, то официальной поддержки «Плейере» не видать. Оказавшись перед жестким выбором, Сайкс решил остаться с Джойсом. С помощью адвоката Гольдшмидта Конрада Блока Джойс вчинил Карру два иска: первый по поводу 25 франков за билеты, а второй — за клевету. Карр, в свою очередь, предъявил претензии на 450 франков, свою долю в чистой прибыли труппы. Если бы ему отказали, у него был наготове второй иск, по поводу 300 франков за участие в спектакле и все тот же костюм.

Продолжение театра другими средствами: вкус к сутяжничеству у Джойса всегда имелся. Поединок с властью, да еще представленной английским чиновничеством. Наверняка он понимал всю комичность и абсурд этой батрахомиомахии[103], однако не собирался останавливаться и весь остаток цюрихского периода вел эту маленькую войну. В «Дне толпы» девятнадцатилетний Джойс писал: «Ни один человек не возлюбит правды или красоты, пока не возненавидит большинство». Даже в мелочах он продолжает держаться этого убеждения.

Глава двадцать пятая БАДГЕН, «УЛИСС», ПОЕДИНОК

> *By the help of an image I call to my own opposite, summon all that 1 have handled least…*[104]

Один из самых близких и терпеливых друзей Джойса — он не сумел поссориться с ним до самой своей смерти — появился у него в Цюрихе. Английский художник Хорэс Тейлор давал ужин по случаю выставки живописи Великобритании, и Джойса познакомили с его приятелем Фрэнком Бадгеном. Поначалу Джойс дичился и был замкнут: Фрэнк обмолвился, что работает в министерстве информации, занимавшемся пропагандой в нейтральных странах, а оно было рядом с консульством — уж не шпионить ли его прислали? Так же неожиданно Джойс поменял угрюмость на лучезарность и общительность.

Много лет спустя он признался Бадгену, что вдруг разглядел, как тот походит на его любимого спортсмена, знаменитого крикетиста Артура Шрусбери. Бадген был добр, миролюбив и интеллигентен, и трудно было поверить, что он не получил никакого формального образования, рано ушел в море, но в плаваниях читал и учился. Литература и философия занимали его, он был умен и восприимчив, обладал широкими взглядами, и новаторство Джойса давно привлекало его, как высокоодаренного читателя. Уйдя из матросов, он некоторое время работал на почте, а затем перебрался в Париж учиться живописи и для заработка позировал известному скульптору Августу Зутеру. Война застала Бадгена в Швейцарии, и министерство наняло его для своих целей. Он, впрочем, рассматривал это как счастливое подспорье для продолжения занятий.

Джойс для него и его друга Пауля Зутера, брата скульптора, был долгое время загадкой. Он мог неожиданно прервать субботнюю прогулку по чинной и людной Банхофштрассе импровизированным танцем (не случайно исследователи сравнивают Джойса и Андрея Белого — они похожи даже в этом). Длинные худые ноги и руки, узкие брюки и просторный пиджак, крошечная шляпа и щегольская трость придавали действу характер эксцентрического комедийного номера, какими тогда еще перемежались акты театральных спектаклей. Порой он так же неожиданно останавливался и принимался рассматривать толпу прищуренными глазами, напевая при этом мессу Палестрины.

Или громогласно разбирал недостатки «Страстей по Матфею» Баха, свалившего, по его мнению, все Евангелия в одну кучу: «Это все равно что перемешать Шекспира с Достоевским!»

Интереса к другим видам искусства Джойс не разделял: его не интересовала живопись, он не слишком восхищался современной скульптурой. Но он честно пытался понять механизм воздействия того, что не связано со словом и звуком. Одно из самых любопытных его высказываний на этот счет объединяет презрение Джойса к женщинам и живописи. Он спросил Пауля Зутера, знает ли он, как отличить женщину, которая хоть на что-то годна. Зутер признался, что нет. Ведите ее в картинную галерею, сказал Джойс, и разъясняйте ей смысл картин. Если она, не утерпев, пустит ветры, то все в порядке.

Однажды он потащил их в антикварную лавку, где выставили деревянную статуэтку Троицы: Бог Отец и Бог Сын выглядели ровесниками, носили реденькие бородки и очень походили на Джойса без очков. Джойс утверждал, что это и есть подлинное чудо зачатия. Потом он купил омерзительную фигурку из позолоченного гипса, женщину, раскинувшуюся в кресле, с котом, лежащим у нее на плечах и шее. Невзирая на негодование друзей, он установил ее под большой фотографией кого-то из триестинцев[105], послужившего ему моделью для Блума. Рядом висело фото статуи Пенелопы, глядевшей на собственный воздетый указательный палец. Джойс любил спрашивать зрителей, о чем она думает. Бадген считал, что она перебирает достоинства женихов, Зутер — «не дать ли им еще недельку?». А Джойс говорил, что она пытается вспомнить, как выглядел Одиссей — ведь фотографий тогда не было.

Бадген показал ему скульптуру Зутера-старшего, для которой он позировал. Огромное изваяние на Ураниабрюке, с длинной бородой и молотом, изображало воплощение труда. Ирония была в том, что Фрэнк мог служить воплощением чего угодно, только не трудолюбия. Джойс часто говорил друзьям, особенно в его присутствии: «Пойдем полюбуемся на Фрэнка» — и порой исполнял перед ним танец языческого почтения.

Ритуальному осквернению часто подвергалось ненавистное консульство. После закрытия ресторанов Бадген часто приглашал Джойса и Зутера в офис коммерческого отдела, где они рассаживались на ковре и читали стихи. Джойс — Верлена, «La lune blanche»[106] и «Il pleure dans mon cœur»[107], Пауль — «Les roses étient toutes rouges»[108], которые Джойс считал совершенством, хотя и спрашивал с типично джойсовским педантизмом, в котором часу дня розы слишком алы, а хмели слишком черны, причем одновременно. Немецкоязычная поэзия

не слишком его интересовала, кроме разве что одного стихотворения Феликса Берана «Жалоба женщин» — «Und nun ist kommen der Krieg der Krieg…»

И вот идет война война
И вот идет война война
И вот идет война Война
И все вы солдаты
И все вы солдаты
И все вы солдаты
Солдаты
Солдаты должны умирать
Солдаты должны умирать
Солдаты должны умирать
Умирать должны они
Кто же будет целовать
Кто же будет целовать
Кто же будет целовать
Эту белую плоть мою

Слово «плоть» (Fleisch), вспоминал Бадген, страшно его возбуждало — это звук, сам по себе создававший ощущение целостного, плотного тела… Он говорил о пластичном односложном слове, как скульптор о качестве камня.

Ему доставляло удовольствие развенчивать любые проявления романтизма; когда при нем говорили, скажем, о сердечной привязанности, он мог съязвить: «Привязанность коренится значительно ниже…» Когда вечеринка разогревалась, Бадген мог припомнить матросское прошлое и спеть что-ни-будь. Джойс был в восторге от песенки про «Веселого лудильщика», который, оставаясь без работы, «продавал свой мясной топорик»… А потом отправился в Каслпул с паяльником и ножовкой и прочим, по дороге повстречал веселую пожилую даму, спросившую, не поработает ли он на ней рашпилем. Зутеру казалось, что Джойс смаковал непристойности, словно конфеты, но при этом сурово утверждал, что такие песни могут послужить основой для первичного сексуального просвещения…

Пиком веселья стал «индийский танец живота», исполненный Бадгеном на сейфе, которому вторил Джойс, не рискнувший уйти с ковра. Никто не волновался, ждут ли его дома. Утром на службе Фрэнк ожидал разноса, но, к его удивлению, никаких следов загула не осталось — привратник добросердечно прибрал за ними. Однако большие ножницы для вырезок из газет исчезли бесследно. Джойс просто сунул их в карман и унес домой. Что он

готовился ими резать, осталось для истории неизвестным. Консульство тоже не хватилось имущества, пока Джорджо не принес их и не вернул Британской империи.

Эскапады трех друзей участились, и Нора опять принялась скандалить, утверждая, что они спаивают Джойса. Бадген, очень привязавшийся и к ней, пригласил Нору обсудить вопрос вместе. С видом самой королевы Виктории она прошествовала в кафе, где они собрались, и принялась их отчитывать. Пока они оправдывались, вошла проститутка, что разозлило Нору еще больше. Тем не менее трем искусным полемистам, среди которых были пропагандист и литератор, удалось уговорить ее остаться. Вечер прошел так, что после этого она стала гораздо благосклоннее к Фрэнку и Паулю. Но не к Джойсу. Однажды, в отчаянии от его непрекращающегося пьянства, она сообщила, что изорвала его рукопись. Протрезвел Джойс мгновенно. Правда, пока не убедился, что рукопись цела. Бадген и Зутер-младший видели, что Нора обращается с мужем, словно с ребенком, играющим в недозволенную игру. Когда однажды они пришли к нему, Нора заявила им, что ее муж пишет книгу, и чтобы это понял даже Зутер с его слабым английским, добавила, что «das Buch ist ein Schwein»[109] — ее немецкий был ничем не лучше. Терпеливо улыбавшийся Джойс показал им «Перл роман», слезливый журнальчик из станционных киосков, и сказал: «Моя жена читает вот это…»

Еще раньше он говорил Бадгену:

— Приходили гости, и зашел разговор об ирландском уме и юморе. И тогда моя жена сказала: «Какой еще ирландский ум и юмор? У нас есть дома хоть одна книжка с ними? Я бы прочла пару-другую страниц».

Джойса всегда возмущало ее полное равнодушие к тому, что он пишет. И тому же Бадгену он описал это так:

— Ведь я знаю, что я личность. Я обладаю влиянием на людей, находящихся рядом, знающих меня, на моих друзей. Но личность моей жены — полное отрицание любого моего влияния.

Возможно, именно по этой самой причине Нора полностью устраивала Джойса.

Неумеренность его она терпела и срывалась лишь тогда, когда его слабости принимали угрожавшие ему самому размеры. Детям и ей Джойс был предан полностью. Особенно он любил Лючию и баловал ее до полной испорченности. Нора обращалась с ней куда суровее, Джорджо и Лючии перепадало шлепков и подзатыльников, хотя никогда без причины. Джойс детей не наказывал — порки времен Клонгоувза оказались слишком сильным впечатлением.

— Детей воспитывают любовью, а не наказаниями, — говорил он.

Сын становился высоким и симпатичным подростком, побеждал в плавании и забегах на две мили и обнаруживал неплохие вокальные данные. Джойс, приглашая гостей, неизменно говорил: «Приходите пораньше, услышите, как Джорджо поет». Как и отец, он любил Верди, разучил арии из «Трубадура» и «Риголетто», но читать — читать он не любил. Однажды Джойс спросил Сайкса:

— Что мой сын делал, когда вы вошли?

— Читал, — ответил Сайкс.

— Мой сын — и с книгой?! — изумился Джойс.

Одноклассники с ним отлично ладили. Один из них, впоследствии знаменитый летчик Уолтер Акерман, прозвал его «Англичанин», но Джорджо гордо утверждал, что он — ирландец. Когда он сказал, что его отец писатель, его спросили, что за книгу он написал, и Джорджо ответил, что он пишет ее уже пять лет и будет писать еще десять или около того. Тогда его спросили, чем отец зарабатывает на жизнь. Джорджо ответил, что, когда деньги кончаются, отец пишет в Англию и получает пару сотен фунтов от какого-нибудь лорда.

О чем бы ни говорил Джойс с друзьями, он непременно сворачивал к книге, которую пишет. Нора, видя, как они слушают его, решила, что в его писанине все-таки что-то есть. Джойс беззастенчиво эксплуатировал внимание и интерес Бадгена: уже во вторую их встречу Джойс поведал ему, что пишет книгу, где в восемнадцать часов уместится вся жизнь современного человека. «Вы ведь много читаете, мистер Бадген, вспомните персонаж любого писателя, обладающий такой многосторонностью!» Кандидатура Христа не прошла. «Он был холостяк и никогда не жил с женщиной; а это одна из самых трудных вещей, выпадающих мужчине». Фауст не подошел тоже — «Он неполон как человек. Он вообще не человек. Старик это или юноша? Где его семья и дом? Никто не знает. Он неполон, потому что не бывает один. Вокруг него вечно вьется Мефистофель…»

Бадген спросил, не Улисс ли это?

«Да, — ответил Джойс. — Безвозрастный Фауст — не мужчина. Но вы вспомнили Гамлета: он человек, но он только сын. Улисс тоже сын Лаэрта, но отец Телемаху, муж Пенелопы, любовник Калипсо, товарищ по оружию многих греков в Троянской войне, царь Итаки. Пройдя через множество испытаний, он преодолевает их все благодаря мужеству и мудрости. Он никогда не поднял бы оружия против Трои, но греческий мобилизационный чиновник оказался хитрее и, когда

Одиссей, притворяясь безумным, пахал бесплодные пески, уложил перед плугом его младенца-сына. Но взяв оружие, сознательный противник войны идет до конца. Когда остальные хотят снять осаду, он настаивает продолжать ее, пока Троя не падет».

Джойс продолжал: «Однако история Одиссея не кончается с концом Троянской войны. Она лишь начинается, когда другие греческие герои могут до конца жизни пребывать в покое и благоденствии. И вообще он был первым джентльменом Европы. Вынужденный выйти навстречу юной царице нагишом, он прикрыл водорослями некоторые части своего просоленного, искусанного крабами тела. Он был изобретателем. Танк — его изобретение. Деревянный конь или железный ящик — неважно; это все равно оболочка, скрывающая вооруженных солдат».

Гомера и его мир Джойс обсуждал с друзьями почти ежедневно, отыскивая соответствия тому миру, который строил сам. Его долго зачаровывал образ Симплегад, сталкивающихся скал, между которыми должны были пролетать семь голубей, несущих Зевсу амброзию, и шестеро успевали пролететь, а седьмого скалы непременно убивали, а Зевс его милосердно воскрешал. Правда, по другой версии мифа, просто заменял. Зутеру он говорил, что у него в романе подобие голубя — комок бумаги, выброшенный Блумом в Лиффи и благополучно проплывающий между Северной и Южной стенами. Джойс любил снижать даже Гомера, перед которым благоговел. Обтрепанные юбки и сбитые туфли барменш спрятаны за стойкой, как хвосты сирен в воде. И так далее. Даже если такие повороты подсказывали ему другие, Джойс делал из них уникальные по самостоятельности и насыщению эпизоды. Пачка самодельных карточек, которые перекочевывали в брючные карманы, когда исписывались, и потом, обтрепанные, ложились на стол как основа для текста. Исписав обе стороны карточки, он принимался писать поверх текста, по диагонали, что угодно и о ком угодно, потому что в его гиперромане действующим лицом мог стать любой человек. Мощная лупа помогала ему развить одно-два слова во фразу или даже эпизод.

Несмотря на тяжелое похмелье, Джойс работал каждый день, и в «Инглиш плейерс» тоже. То, что они продолжали существовать, несмотря на враждебное теперь отношение консульства, очень заботило его. Сайкс готовился закрепить успех постановкой «Магии» Честертона с участием двух новых актеров, англичанина и американца. Но после успешных репетиций они внезапно ушли из труппы — им явно разъяснили, чт***о*** именно в интересах Британии и Соединенных Штатов, а чт***о*** нет.

Несгибаемый Сайкс подобрал репертуар из трех одноактных пьес: «Двадцать фунтов за погляд» Барри, «Скачущие к морю» Синга и «Смуглую леди сонетов» Шоу. Джойс мало интересовался Барри, считал Шоу жуликом и Синга — прилежным этнографом. Однако в этой пьесе он убедил сыграть маленькую роль Нору. Она раньше не играла, даже в школьных постановках, и поначалу робела, но понемногу ее контральто, позолоченное голуэйским акцентом, набирало силу и уверенность. Другие актеры имитировали ее манеру и аранский выговор, уточнявшийся Джойсом.

Репетиции шли, но тут на сцену явился прежний актер — воспаление сетчатки. На этот раз поражены были оба глаза: Джойс почти не видел. Предыдущая операция глаукомы не остановила процесс, рецидив был особенно не к месту, потому что 25 мая 1918 года наконец были напечатаны «Изгнанники» сразу Ричардсом в Англии и Хюбшем в Америке, а боль и угроза слепоты отравили торжество. К этому добавились неутихающий гнев на Карра и предварительное слушание по иску к нему. Адвокат Карра известил Джойса, что его клиент готов снять свои претензии, если ему выплатят потраченное на костюм, и что он отрицает грубые ругательства в адрес Джойса. Адвокат Джойса Конрад Блох, в свою очередь, прислал суду список свидетелей, которые должны быть вызваны для подтверждения факта ругательств и угроз. Там были имена Беннетта, Смита и Ганна.

Тут же пришло и письмо от консула, где прозрачно намекалось, что если он не подаст заявление о зачислении в армию, то попадет в «черные списки». Он ответил коротким и официальным письмом:

«Джеймс Джойс шлет наилучшие пожелания Генеральному консулу Великобритании и возвращает документ, присланный ему по ошибке».

Теперь он ненавидел британцев так, как никогда прежде. Вместо «Нойе цюрхер цайтунг», поддерживавшей союзников, покупал прогерманскую «Цюрхер пост». Во всеуслышание выражал радость по поводу трудностей, возникших у Британии с Ирландией. Даже успех постановки «Инглиш плейерс» и роль, отлично сыгранная Норой, не успокоили его. Чиновники консульства бойкотировали спектакль. Смит и Ганн тоже отказались явиться: формально они должны были только распространять билеты и пропагандировать культуру Великобритании. Беннетт прислал официальное письмо, что не может быть свидетелем, потому что не присутствовал при ссоре. Суд послал его заявление на экспертизу в Берн, министерству юстиции, и на удивление быстрое решение было вынесено не в пользу Беннетта. Слушание по первому иску, о деньгах за билеты,

было назначено на 8 июля, но Джойс попросил о переносе — жестокий приступ ирита почти лишил его зрения. Операция по поводу глаукомы не остановила рецидива, но Джойс, едва ему становилось хоть чуточку легче, работал над «Улиссом» — надо было уложиться в сроки, оговоренные с «Эгоистом». Когда боли ослабли, Джойс вместе с труппой уехал в Лозанну. Теперь у них был новый Алджернон, Чарльз Паси, успешно выступивший с ними в Женеве, Интерлакене и Монтре. До нового приступа болезни в сентябре — октябре Джойс успел очень много: поразительно, с какой неотступностью он с марта 1918-го по декабрь 1920-го раз в один-два месяца публикует по главе нового романа.

Несмотря на растущую угрозу судебного преследования, «Литтл ревью» печатает его текст. Эзра Паунд каждый раз уговаривает его учесть требования закона и убрать «избыточную грубость». Хотя он был предан Джойсу и неотступно боролся за его литературную судьбу, Паунду нелегко было до конца принять его «арстетику»[110]; но он с грустной иронией утешал Джойса, что его текст обязательно когда-нибудь выйдет в невычищенном виде, «на болгарском или новогреческом». Однако роман заметили, критики все чаще упоминают его в обзорах, и вот уже Томас Стернс Элиот пишет о новой вещи Йетса, добавляя, что «грубость и эгоизм оправданы лишь высочайшей художественной обработкой, как в последней книге мистера Джеймса Джойса». Паунд писал, что Блум — достойный ответ критикам, считавшим, что на перенасыщенном автобиографией автора юном Стивене все закончилось и второго самостоятельного характера Джойсу уже не создать.

Печатника, чей суровый пуританский взор не оскорбил бы слог Джойса, все не находилось. Наборщика для предполагавшегося сериального издания искали до самого начала 1919 года, когда неустрашимая мисс Уивер отыскала наконец типографа, но лишь для «Нестора», «Протея», «Калипсо» и «Блуждающих скал». Начались переговоры об издании романа книгой; через Пинкера об этом сообщили Джойсу. Он ответил, что рад, но уверен — это, скорее всего, «дар данайцев». Разговоры велись еще в марте 1918-го, но более или менее основательную форму приняли в июне, когда, по версии Эллмана, Роджер Фрай посоветовал мисс Уивер позвонить Леонарду и Вирджинии Вулф и предложить им напечатать книгу в их новом издательстве, «Хогарт Пресс». Но в дневниках Леонарда и Вирджинии упоминается предложение их близкого друга Элиота принять мисс Уивер, как раз для разговора об издании нового романа Джойса. Дата дневниковой записи о ее визите — 14 апреля 1918

года.

Она приехала на чай, пишет Леонард Вулф, и привезла с собой огромный сверток в плотной коричневой бумаге, перевязанный джутовым шпагатом. Вулф, очевидно, слегка преувеличивает, потому что к апрелю Сайкс отпечатал только четыре первых эпизода и, возможно, пятый, «Лотофагов». «Она оставила рукопись нам, и мы уложили этот кусок динамита в верхний ящик комода, стоявшего в гостиной, пообещав ей прочесть его, и если мы решим, что это хорошо, то попытаемся найти для него печатника и издать у нас. В моем дневнике это было набросано так: „Мисс Уивер чай о книге Джойса и ‘Эгоисте’, очень мягкая голубоглазая продвинутая старая дева“».

Удивление, которое продолжают вызывать и сама мисс Уивер, и ее работа в «Эгоисте», Вирджиния Вулф, описывавшая тот же эпизод, выразила в своей манере: «Аккуратное серое платье облегало и тело и душу; серые перчатки выровненно лежали возле тарелки, символизируя домашнюю прямоту; ее застольные манеры могли принадлежать хорошо воспитанной курице. Вести разговор не удавалось. Возможно, бедную женщину придавливало сознание, что мы сочтем содержимое коричневого свертка, полностью совпадающим с ее внутренним содержанием. Но как она тогда вообще могла войти в контакт с Джойсом и остальными? Как их скверна могла найти выход сквозь ее уста? Одному Богу ведомо. Она некомпетентна с деловой точки зрения и не понимает, какие меры следует принять. Мы оба взглянули на рукопись, как бы пытаясь оживить выражение наших лиц, но одинаковым образом. С тем она и отбыла».

Оставим на совести миссис Вулф эту оценку, тем более что супруги попытались честно выполнить взятое на себя. Прочитав роман, они решили публиковать его даже как часть, но встала та же проблема — где найти печатника. Лучшие типографы Англии с первого взгляда отказались и пояснили, что попадут под суд вместе с издателем. В 1919 году Вулфы все же вернули рукопись мисс Уивер. А когда они купили свою печатную машину, судьбы их уже разошлись далеко и Джойс был связан другими обязательствами.

Он продолжал надеяться на постановку «Изгнанников», о которой критика отзывалась весьма доброжелательно. «Таймс литэрари сапплемент» напечатала большой и хвалебный разбор Артура Клаттон-Брока, Десмонд Маккарти одобрил пьесу в «Нью стейтсмен», и приятель Джойса Сильвио Бенко поместил статью о ней в триестском журнале «Умана». Труппа в Дублине едва не поставила ее. В «Инглиш плейерс» некому было играть Ричарда Роуэна — Сайкс не мог одновременно играть главную роль и

режиссировать. Он даже предложил ее Джойсу, но тот отказался: слишком тесной была связь автора с героем, чтобы обнажать ее на публике и в роли. Очень заинтересовался пьесой Стефан Цвейг, предложивший ее переводчице Ханне фон Меттал и позже способствовавший ее постановке в Мюнхене. Он написал Джойсу теплое и дружеское письмо, попросив о встрече. В печальной книге «Вчерашний мир» (1942) он отвел Джойсу целую страницу, начав ее вполне объяснимо: «Наиболее привлекали к себе мое внимание — словно меня уже коснулось предчувствие собственной будущей судьбы — люди без родины или, того хуже, те, кто вместо одного отечества имели два-три и по-настоящему не знали, кто к кому принадлежит. В углу кафе „Одеон“ обычно в одиночестве сидел молодой человек с маленькой каштановой бородкой; острые темные глаза за чрезвычайно толстыми стеклами очков; мне сказали, что это очень талантливый английский писатель. Когда через несколько дней я познакомился с Джеймсом Джойсом, он резко отверг всякую принадлежность к Англии. Он — ирландец. Хотя он и пишет на английском языке, однако думает не на английском и не желает думать на английском.

„Мне бы хотелось иметь язык, — сказал он мне тогда, — который стоит над всеми языками, язык, которому служат все другие. На английском я не могу выразить себя полностью, не придерживаясь тем самым какой-либо традиции“. Я это не совсем понимал, потому что не знал, что он уже тогда писал своего „Улисса“; он одолжил мне лишь свою книгу „Портрет художника в юности“, единственный экземпляр, который у него был, и маленькую драму… которую я тогда даже хотел перевести, чтобы помочь ему. Чем больше я узнавал его, тем больше он меня поражал своим фантастическим знанием языков; за этим круглым, крепко сбитым лбом, который при свете электричества светился, точно фарфоровый, были спрессованы все слова всех языков, и он играл ими по очереди самым блистательным образом. Однажды, когда он спросил меня, как бы я передал по-немецки одно мудрое предложение в „Портрете художника“, мы попытались сделать это вместе на итальянском и на французском; на одно слово он находил в каждом языке четыре или пять, включая диалектные формы, и знал все оттенки их значения до мельчайших нюансов. Какая-то нескрываемая печаль почти не оставляла его, но я думаю, что это чувство было именно той силой, которая способствовала его духовному взлету и творчеству. Его неприязнь к Дублину, к Англии, к определенным людям приняла в нем форму движущейся силы, реализующейся в его писательском труде. Но он, казалось, лелеял этот свой

ригоризм; никогда я не видел его смеющимся или просто веселым. Всегда он производил впечатление затаившейся мрачной силы, и когда я его встречал на улице — узкие губы плотно сжаты, и шаг всегда тороплив, словно он куда-то спешит, — то я еще сильнее, чем в наших беседах, ощущал стремление его натуры защититься, внутренне изолироваться. И позднее я нисколько не был удивлен, что именно он написал самое сиротливое, самое „обездоленное“, словно метеорит, стремительно ворвавшееся в наше время произведение»[111].

«Инглиш плейерс» в сентябре начал новый сезон комедией Шоу «Профессия миссис Уоррен», запрещенной в Англии. Через две недели состоялась первая судебная битва Джойса и Карра, где суд признал требование Джойса о 25 франках совершенно законным и отверг встречный иск Карра о жалованье и возмещении расходов на основании того, что он соглашался играть бесплатно и его покупки не были сценическими костюмами, а были обычной одеждой для дальнейшей носки. Карру присудили еще и уплату 39 франков судебных издержек наряду с выплатой Джойсу 60 франков за беспокойство и расходы. Джойс воспел эту победу в песне на известный мотив «Долог путь до Типперери»: «ГК (генконсул. — А. К.) не литерэри!»

Приехал как-то ирландец один в ревматический Цюрих,
И так как город был довольно скучен, решил, что устроит

представление,
Чтоб все немецкие пропагандисты лопнули от злости,
Но тупой британский филистер изгнал Оскара Уайльда еще раз.

Припев:

О, ГК совсем не литерэри,
А его прислужники скоты.
Все ГК так же литерэри,
Как большая куча сыромятных башмаков.
Мы заплатили все издержки,
Как знает добрая швейцарская публика,
Но будь мы прокляты, если заплатим за
Пижонские штаны рядового Карра!

Далее следуют еще два таких же милых куплета. Джойс и тут оказался предельно внимателен к деталям: Карр всюду представлялся офицером в отставке, но комиссован был всего-навсего рядовым.

У Жоржа Борака есть запись о том, что говорил Джойс за несколько дней до суда, 21 октября 1918 года. Как художник, он не признает ни малейшего смысла в политическом конформизме. Стоит подумать, что итальянский Ренессанс дал миру величайших творцов. В Талмуде сказано: «Мы, евреи, подобны оливе: отдаем наше лучшее, когда сокрушены, когда рушимся под тяжестью нашей листвы». Материальная победа есть гибель духовного превосходства. Ныне мы видим в древних греках наиболее культурную нацию. Но если бы Греция-государство не пало, кем стали бы греки? Колонизаторами и торгашами. Джойс пояснил, что как художник он против любого государства. Конечно, должно признать, что все его действия так или иначе контактируют с институтами. Государство концентрично, человек эксцентричен. Так и возникает вечная борьба. Монахи, холостяки, анархисты — все это одна категория. Естественно, он не может одобрить революционера, швыряющего бомбу в театре, чтобы убить царя и всех его детей. С другой стороны, разве государства ведут себя лучше? Ведь они топят мир в крови!

Джойс говорит об этом, столкнувшись с государственной машиной по такому, казалось бы, тривиальному поводу. Но малую победу одержать гораздо труднее, чем большую, и не стоит забывать, что все происходит в военное время, когда насилие узаконено — да и в королевском суде для Джойса все обернулось бы совсем иначе.

Воодушевленный «Плейерс» начал репетицию пьесы, выбранной Сайксом, — «Престольные в Хиндле» Стэнли Хоутона. Джойс считал ее рядовой коммерческой продукцией и, очевидно, был прав: ослабленная версия ибсеновского театра, вполне проблемная, но не слишком ранящая. Забегая вперед можно сказать, что у нее была долгая и успешная жизнь, четыре экранизации, две «немые» и две звуковые, ее смотрят до сих пор, и Хоутона она отчасти обессмертила. Но война вмешалась и тут. До ноябрьского перемирия оставалось совсем немного, когда в Германии началась революция: пожар докатился до Швейцарии и обернулся всеобщей забастовкой. Кантональное правительство немедленно поделило Цюрих на участки и ввело туда горных стрелков, которые не любили горожан и могли навести порядок ценой их жизней. Репетиции проходили на квартире миссис Тернер допоздна, и возвращаться приходилось пешком, через злые и усталые патрули. Вдобавок началась эпидемия той самой

загадочной и свирепой инфлюэнцы, что убила во всем мире куда больше людей, чем мировая война. Убила она и одного из актеров. Постановка была отложена до декабря, убытки для маленькой труппы оказались значительными, и Джойс предложил вместо чисто английского репертуара многоязычный: взять три одноактные пьесы на итальянском, французском и английском. В декабре они все-таки сыграли спектакль, и в дивертисменте Джойс за занавесом спел «Неверного любовника» Джованни Стефани под гитару своего друга Руджеро.

Но скандал с Беннетом продолжался, и Джойс ввел в бой тяжелый калибр: он написал письмо о помощи самому премьер-министру Ллойд Джорджу. Секретарь премьера очень вежливо пожелал «Инглиш плейерс» всяческих успехов, но умолчал о прочем. Тогда Джойс написал сэру Хорэсу Рамболду, британскому министру в Берне, и пожаловался, что генеральный консул демонстративно бойкотирует их спектакли с мая этого года, оскорбительно пренебрегая самоотверженными усилиями подданных его величества. Ответа не было и оттуда. Второй иск к Карру тоже прошел скверно: он уехал из Швейцарии, и Джойс остался без решения. В декабре адвокат Джойса попросил переноса предварительного слушания, назначенного на следующий день, но юрист Карра настаивал. Смит заявил, что не слышал, как Карр произносил вмененные ему в вину слова. Сайкс настаивал на джойсовской версии ссоры, но Веттштейн без труда выяснил, что его при скандале не было. Роусон подтвердил, что Карр приказал ему выставить Джойса из консульства, но не мог точно сказать, какие эпитеты достались писателю. Дело выглядело очень неубедительным, адвокат советовал Джойсу забрать иск. Тот отказался.

Однако он понимал, что для труппы его присутствие может обернуться неприятностями; поэтому Джойс официально покинул ее, чтобы дать им возможность восстановить отношения с консульством. Вместе с ним «Инглиш плейерс» покинула удача: новый директор не сумел наладить дело, примирения не случилось, денежные проблемы росли. Но судьба послала Джойсу новый интерес, совершенно отвернувший его от прежних сложностей.

Глава двадцать шестая ВЛЮБЛЕННЫЙ, СКАНДАЛИСТ, «ИЗГНАННИКИ»

But loved has pitched his mansion in
the place of excrement…[112]

Среди всех событий декабря 1918 года было еще одно, мало кому поначалу известное.

Осенью Джойс переехал на Университетштрассе, 29, и теперь возвращался из кафе пешком на новую квартиру. Невдалеке впереди шла молодая женщина. С прямой спиной, высоко держа голову, она едва заметно прихрамывала. Когда она повернула к подъезду, Джойс увидел ее лицо. Потрясение, испытанное в этот миг, было сродни тому, что он придумал для Стивена Дедалуса в «Портрете…». И причины были те же. Молодая женщина показалась ему той самой, что бродила в ручье на берегу Ирландского моря, ее он сделал воплощением красоты мира, «языческой Марией». Изумление сменилось ликованием: Джойс был суеверен, талисманами для него были и предметы, и люди. Совпадение не могло быть случайностью: оно было даром. Страсть, мгновенно вспыхнувшая в нем, тоже была подарком — от капризной судьбы.

Она жила по соседству, на Кульманштрассе, и он принялся выслеживать ее со всем пылом влюбленного художника. Девушка заметила это, но притворилась, что не видит поклонника. Потом пришло письмо на французском — пылкое, изысканное, настойчивое. Французский у Джойса был получше немецкого, и на нем он просил перестать пренебрегать им, признавался, что даже не знает ее имени, но она невероятно похожа на девушку, которую он знал в Ирландии шестнадцать лет назад… Ему кажется, что в ней течет еврейская кровь, пусть даже это не так, «ведь Иисус выношен во чреве матери-иудейки». Что до него, то он писатель, и его жизнь и судьба на том же переломе, что и у Данте, начавшего «Божественную комедию», и у Шекспира, околдованного «темной леди сонетов», но он несчастен — ему надо видеть ее.

Казалось бы, других вариантов развития таких романов нет. Они либо трагедия, либо эротический фарс. Для Джойса смешались оба пути, и первый и второй.

Марта Фляйшман, швейцарка. Это третий человек с такой фамилией в его жизни, и всегда они что-то для него значили. По материнской линии она происходила из бернского дворянства и

гордилась этим. Отец был буржуа, и этим она не гордилась — более того, была крайне недовольна. Несколько лет назад она стала любовницей цюрихского инженера Рудольфа Хитпольда, и связь эта длилась до сих пор, вполне удовлетворительно для обеих сторон. Марта не работала, жила в квартире Хитпольда, много курила, читала дешевые романы и рассматривала себя в зеркало в разных нарядах. Ее мучило неутоленное тщеславие. Узнав, что Джойс весьма известен, Марта ответила ему, и так завязалась переписка, которую оба скрывали — он от Норы, она от Хитпольда.

Джойс был изыскан и романтичен; но письма старался подписывать так, чтобы подпись невозможно было опознать — латинские буквы заменял древнегреческими и т. д. Скорее всего, он забавлялся на свой обычный манер, пробуя выдумку для «Улисса». Отчасти Марта стала одним из прототипов хромоножки Герти Макдауэлл, за которой упоенно подглядывает Блум, отчасти — Марты Клиффорд, с которой у Блума роман по переписке, и он также пишет ей с греческими «е» вместо латинских. Видимо, влюбленность не мешала Джойсу понимать, что он уже не так молод и что в этой забаве изрядная доля горечи. В 1918 году он написал стихотворение «Банхофштрассе» — это название улицы, где за год до этого он был остановлен жестоким приступом глаукомы, который стал для него еще и печальным символом утраты юности и молодой любви.

> Глумливых взглядов череда
> Ведет меня сквозь города.
> Сквозь сумрак дня, сквозь ночи синь
> Мерцает мне звезда полынь.
> О светоч ада! светоч зла!
> И молодость моя прошла,
> И старой мудрости оплот
> Не защитит и не спасет[113].

Он старался увидеть ее на улице, в магазинах, подглядывал в окно гостиной, как она лениво разгуливает по комнатам. Второе письмо было мольбой о встрече. Жеманясь, она согласилась. Непохоже, что между ними произошло что-нибудь серьезное. Марта не слишком любила, когда до нее дотрагивались, отчего Хитпольд утешался еще с несколькими дамами. «Eine Platonische Liebe»[114], — кокетливо говорила она впоследствии о своей интрижке с Джойсом. Этой Навсикае нравится притягивать взгляды и возбуждать желания, но ни в чем большем она не нуждалась, да и Хитпольд был настороже, рисковать не стоило.

Так длилось до 28 марта 1919 года, когда он подарил ей немецкий перевод «Изгнанников». Возможно, ему казалось, что она заполнит место, оставшееся в его душе после Амалии Поппер.

В свой день рождения, 2 февраля, Джойс прислал Марте экземпляр «Камерной музыки», и со своего любимого места на улице наблюдал, как она, довольная, разрезает обертку и усаживается на диван читать. Поэзия должна была окончательно покорить ее. Самое странное, что это случилось. Марта дала ему знать о своем желании встретиться вечером, и этот вечер они провели в студии Фрэнка Бадгена, при ханукальных свечах. Потом они долго не виделись, хотя и продолжали писать друг другу.

Закончилось все неожиданно и комично. Явился Рудольф Хитпольд. Фотография демонстрирует самоуверенного человечка с щетинистыми усами, заметно ниже Марты, чьей прелести снимок, увы, не передает, а нелепый наряд еще и умаляет. В санатории она лечилась от «нервных приступов», а вернувшись, вдруг рассказала любовнику о своей тайной переписке и с рыданиями обвинила во всем Джойса. Бадгену Джойс послал конспект своей встречи с Хитпольдом: «Утром — грозное письмо от мистера Блюстителя. Сестрица умирает. М. в психиатрической клинике или Nervenanstalt, но нынче возвращается и угрожает самоубийством. Выдала ему всю нашу переписку. Гневные жесты в мою сторону. Я и не знал, что она вернулась, и не видел ее с самого праздника свечей. Ну, я встал и отправился в Логово Льва. Долгая беседа, где я применил всю утонченную человеческую дипломатию, добросердечие, взаимопонимание, кротость, которая есть отвага, все блистательные качества сердца и ума, которые столь часто… Результат — стасис: Waffenstillstand, вооруженное перемирие».

Несмотря на циничный тон, Джойс не забывал ни одной женщины, вызвавшей у него сильные чувства. Марта будет всплывать в его памяти и текстах до конца жизни.

На день рождения он получил и другой подарок. Второе слушание по делу Карра закончилось тем, что адвокат уговорил Джойса отозвать иск. При отсутствии свидетелей вряд ли можно было рассчитывать на благоприятное решение. Джойс потом жаловался, что Блох поддался британскому давлению, но тот на самом деле добился для него существенного снижения судебных издержек до 180 франков, хотя Джойс отказался платить и их. Так что дело осталось открытым.

Видимо, считает Эллман, когда, с одной стороны, его донимала Марта, а с другой — грозно воздвигался Карр, Джойс работал именно над «Сциллой и Харибдой». В нем он использовал

свои триестинские лекции о «Гамлете» и всё, что творилось вокруг них, добавив туда множество накопившегося в его непрестанном чтении. Скорее всего потому же сюда добавляется эпизод, которого у Гомера нет, зато он есть в «Одах» Горация — о Симплегадах, или Планктах, сталкивающихся скалах, через которые пролетают семь голубей, несущих Зевсу амброзию, один из которых непременно гибнет. Набрасываются «Сирены». Все это для того, чтобы изобразить Дублин куда полнее, чем это можно, сосредоточившись только на Стивене или Блуме.

Глаза то и дело болели, но Джойс не сдавался — он погрузился в несколько новых дел, требовавших немалой энергии и от более здорового человека. Например, убедил руководство городского театра поставить «Дидону и Энея» Перселла, но консульство теперь отказывало в одобрении всего, с чем было связано его имя. Тогда он предложил Сайксу добавить в репертуар «Вересковые поля» Эдварда Мартина. Он помнил пьесу еще по дублинской премьере 1899 года и считал ее в чем-то предшественницей «Изгнанников». Однако с всегдашним своим азартом уговаривал Сайкса уравновесить ее вещью, написанной в совершенно иной традиции, — «Землей желаний сердца», — хотя в труппе не было для нее достаточно актеров. Сайкс, повздыхав, принялся за «Моллюска» Хьюберта Генри Дэйвиса; ее Джойс считал дешевкой. Выражая свое презрение, он утащил посредине второго акта Фрэнка Бадгена в туалет и там выпил с ним. Он тяжело переносил упреки Норы, но отказаться от абсента не мог, хотя вина практически не пил. В январе 1919-го демобилизовался Оттокаро Вайс, и несколько вечеров прошли в веселом загуле.

А в апреле Джойс получил официальное извещение, что из-за неуплаты издержек по делу Карра суд открывает дело против него. Окончательно убедив себя, что это атака власти на художника, он решил сделать историю достоянием всего мира, для чего в апреле и мае написал Джеймсу Планкетту в британский МИД, Керрану в Дублин, двум делегатам ирландско-американской миссии в Париже, Хюбшу и Падрайку Колуму. Все письма под копирку подробно описывали ситуацию. Не говоря о деньгах впрямую, Джойс упоминал, что может стать беднее на десять тысяч франков. На деле было куда меньше — просто внушительная цифра придавала вес не таким уж серьезным обстоятельствам. Опытный Пинкер отказался подавать встречную жалобу, но встревоженный Колум и его жена принялись собирать деньги.

Пока Джойс ждал ответов или визита судебного пристава, ему удалось съездить на неделю в Локарно и найти очень нужный материал для «Сирен» и даже для едва начатой «Цирцеи». Ему

рассказали о баронессе Сен-Леже, которая жила и делала кукол на острове Изола да Бриссаго на озере Лаго-Маджоре. Дескать, она «бестрепетно похоронила» семерых мужей, но признавалась лишь в троих. Неопределенное происхождение, шумные оргии и пренебрежение общественным мнением снискали ей те самые прозвища — «Сирены» и «Цирцеи». Словно бы в подтверждение, стены ее дома были расписаны сценами из «Одиссеи», а в одной из комнат висел гобелен с вытканной греческой надписью: «Хороший друг и хороший враг». В ответ на письмо Джойса о разрешении увидеть росписи баронесса с любимой собачкой у ног пересекла озеро на маленькой лодке. Огромная соломенная шляпа украшала ее голову. Подплыв, она прокричала: «Вы англичанин?!» — «Нет, — отозвался довольный Джойс, — ирландец!» Их пригласили в дом, Бадген уселся рисовать эвкалиптовую аллею, а Джойс отправился смотреть фрески. Они разочаровали его полностью: волосы сирен словно уложены берлинским парикмахером, а изможденный Улисс сидел, бросив лук на землю. Впрочем, в сходном эпизоде Блум тоже вымотан и грустен.

Баронесса была уже стара, однако Джойс видел в ее доме сундук, набитый книгами об извращениях, а на виду лежали непристойные письма. «Следы многих лет бродяжнической и неудовлетворенной жизни, — сказала она. — Жизни моего любовника-грека». Фото своего Улисса она держала у кровати — красивый парень с черной подстриженной бородой и «диким взглядом откуда-то из-под кожи лица». Книги и письма, подаренные ему, Джойс забрал, с немалым интересом выслушал рассказы баронессы, но решил, что не сможет их использовать. «Писатель никогда не должен писать о невероятном, — говорил он впоследствии Джуне Барнс. — Это для журналистов».

На следующее утро в Локарно Бадген, проснувшись, нашел только записку от Джойса — он возвращался в Цюрих. Разозленный Бадген подхватил чемодан и кое-как догнал его. Оказалось, Нора прислала телеграмму: «Надеюсь ты здоров письмо от Монро клиент желает вложить 5000 фунтов 5 % военного займа в тебя сердечно поздравляю жди письма Нора Джойс». Это могло означать, что он стал богатым человеком, а могло — новую неудачу. Он написал адвокатам в Лондон, что знает, кто его благодетельница, и просил узнать, следует ли ему по-прежнему хранить ее анонимность. Ему ответили, что в этом нет нужды. Тогда он и написал мисс Уивер, что ему тяжело общаться через адвокатов и он хочет, чтобы она прочитала все слова благодарности и восхищения, которых достойна эта удивительная женщина. Как бы ни складывались потом их

отношения, она поддерживала его до конца его жизни, ничего не требуя, отказываясь от собственных замыслов, вознаграждая его за дар, не признаваемый пока остальными. Богатым она Джойса не сделала — для его родового дара проматывать все таких денег не существовало. Но он получил возможность быть бедным лишь по собственному желанию — чему и следовал красиво, изящно и решительно. Его похороны тоже оплатила она.

Теперь отдаленные последствия сутяжничества Карра могли его не волновать. Пристав уяснил, что собственного имущества почти нет, а мебель вся чужая. Он вознамерился забрать книги, но Джойс решительно воспротивился, заявив, что это его профессиональные принадлежности. Пишущую машинку он отстаивал еще решительнее, утверждая, что при такой болезни глаз она просто необходима. Пристав потребовал у «герра доктора» показать, сколько денег у него при себе. Из набранных по всем карманам 100 франков пристав конфисковал 50 и объявил дело закрытым.

Несколько дней спустя Колумы сообщили, что их приятель — миллионер Скофилд Тэйер, финансировавший знаменитый «Дайэл», узнал от них о его затруднениях и перевел ему телеграфом 700 долларов. Нора примчалась на репетицию «Инглиш плейерс» с этой новостью, Джойса начали поздравлять, а кто-то из актерских жен ехидно спросил: «Миссис Джойс, вы всегда вскрываете почту мужа?» Друг Тэйера, Д. С. Уотсон-младший, прислал 300 долларов, 200 из них Джойс отдал труппе на неотложные выплаты. А в июле они, как писал он Фрэнку, «были так добры, что приняли десять тысяч моих грязных франков с учетом моего прежнего хорошего поведения и незапятнанной репутации».

Беннета перевели в Панаму с повышением, Рамболда отправили послом в Польшу, но Джойс гордо считал это результатом своей отваги и несгибаемости. Много лет спустя группа оксфордских студентов пригласит Джойса выступить, и он позабавится, увидев среди подписей имя Ричарда Рамболда, сына сэра Хорэса. Приглашение не будет принято. В «Улиссе» появится сэр Хорэс Рамболд, предлагающий шерифу Дублина свои услуги в качестве палача — письмо содержит описание казней, в которых он оттачивал мастерство. Беннета и Карра он сперва сделал двумя солдатами, избивающими Стивена, но потом лишил их возможности бессмертия. «Циклопов», над которыми он сейчас работал, Джойс наполнил тем же неутихающим гневом. «Глава о циклопах, — писал он Бадгену, — будет любовно отлита в известной тебе форме. Фений… изливает свою душу о „саксо-ангелах“ в наилучшем фенианском стиле и с клоачной

поносительностью поминает их индустриальный строй…»

Лондонские соратники прочитали «Сирен» и слегка забеспокоились. В середине июня Джойс получил письмо от Паунда, где тот недовольно указывал на избыточную «арстетику» и спрашивал, нельзя ли перевести Блума в фоновые персонажи, а Стивена-Телемака выдвинуть вперед. Но Джойс ответил, что Стивен его больше не интересует, потому что он «обрел форму, которая не меняется». Паунд возразил, что «совсем не требуется менять стиль в каждой главе», но Джойс не собирался делать никаких уступок. В дневнике Жоржа Борака есть запись от 18 июня о прогулке и беседе, когда Джойс слегка оправдывается: «Я закончил „Сирен“ за несколько дней. Работа большая. Написал эту главу на технических возможностях музыки. Собственно, это фуга со всеми музыкальными обозначениями: piano, forte, rallentando и так далее. В ней возникает и квинтет, как в „Мейстерзингерах“, моей любимой вагнеровской опере… Но странное дело — после того, как я исследовал все возможности музыки, я, лучший ее друг, потерял к ней всякий интерес. Увидел все трюки и больше не могу ими наслаждаться».

Оттокаро Вайсу он читал кусок из «Сирен» незадолго до того, как они вместе слушали «Валькирий» Рихарда Вагнера. Как раз там, где Зигмунд поет свою знаменитую любовную песнь «Winterstürme wichen dem Wonnenmond», «Сменились месяцем сладким зимние бури», Джойс вдруг обернулся к Вайсу и пожаловался, что вдруг стал замечать дурной вкус этой оперы и, кроме того, ее неправдободобие: «Сможете ли вы представить себе, что этот дряхлый герой-германец дарит своей девушке коробку шоколада?» В антракте Вайс пылко отстаивал своего любимого композитора, а Джойс мрачно слушал и затем ответил: «А вы расслышали музыкальные эффекты в моих „Сиренах“? Они получше вагнеровских!» — «Нет», — ответил пораженный Вайс. Джойс повернулся к нему спиной и молчал весь остаток спектакля.

Однако этим не кончилось — Джойс теперь продолжал ссориться с музыкой в прозе. «Цирцея» пародийно перекликается с «Валькириями» эпизодом, где Стивен в борделе так же напыщенно воздевает облупленную тросточку, как Зигмунд вырывает и поднимает меч, всаженный Вотаном в дерево. Но Вотанов меч сияет, тогда как Стивен, испуганный призраком матери, с воплем «Нотунг!» обрушивает ударом трости газовую люстру, и «сине-багровое пламя конца времен вырывается вверх, и в наступившей тьме рушатся пространства, обращаются в осколки стекло и камень». И Газовая Струя громко возвещает: «Пфук!» Джойс высмеивает патетическую сцену, где Зигмунд

объясняет Зиглинде, почему он взял имя Вевальд, называет ее «Госпожа Допрос» — «Фрау Фрагенде». «Ноющий голод, женщин допросы нас в могилу сведут», — передразнивает он героическую лексику Зигмунда. А на концерте Ферручо Бузони он принялся шепотом объяснять Вайсу эротическую сущность каждого инструмента оркестра и довел до того, что тот громко расхохотался, к удивлению публики и возмущению Бузони.

Джойс ссорился со всем — друзьями, искусством, собственным здоровьем и даже погодой. И только со словом он всегда был в мире и военном союзе, в вечном походе против всех.

Бадген был единственным, кто восхитился «Сиренами». Мисс Уивер отозвалась о них весьма неопределенно и даже предположила, что«…на вашем слоге отразились все нынешние ваши неприятности; я имею в виду, что эпизод кажется мне не достигающим вашего обычного накала». Джойс ответил очень быстро:

«Дорогая мисс Уивер… вы написали мне, что последний отосланный эпизод кажется вам демонстрацией ослабления или некоего разжижения. Получив ваше письмо, я перечитал главу несколько раз. У меня ушло пять месяцев на ее написание, и всегда, когда я заканчиваю очередной эпизод, мой разум погружается в апатию, из которой, кажется, ни я, ни моя проклятая книга уже не выйдут. Мистер Паунд весьма поспешно известил меня о своем неодобрении, но я считаю, что его неодобрение основано на не совсем уместных представлениях и обязано главным образом разнообразию интересов его энергичной творческой жизни. Мистер Брок тоже написал мне, умоляя объяснить ему метод (или методы) моего безумия. Но они столь многообразны и меняются с каждым часом, от одного органа тела к другому, от эпизода к эпизоду, так что я, при всем моем уважении к его терпению критика, не смог и попытаться ответить…

Если „Сирены“ так неудовлетворительны, у меня мало надежды, что „Циклопы“ или более поздняя „Цирцея“ будут одобрены, и более того, для меня невозможно быстро писать эти эпизоды. Составные их части срастаются, только просуществовав друг с другом достаточно долго. Признаюсь, что книга эта чрезвычайно утомительная, но это единственная книга, которую я могу сейчас писать… Слово „опаляющий“ имеет для моего предрассудочного ума особое значение — не из-за какого-то качества написания или достоинства, но скорее из-за факта, что продвижение книги похоже на движение пескоструйного аппарата. Как только я упоминаю или включаю в него персонаж, я узнаю о его смерти или неудаче, и каждый последующий эпизод,

связанный с некой местностью или видом искусства (риторикой, музыкой или диалектикой), остается позади, как выжженное поле. После того как я написал „Сирен“, я не могу больше слушать никакой музыки…

В подтверждение сказанного ранее прилагаю только что полученную вырезку из дублинской газеты, извещающую о смерти одного из персонажей эпизода…»

Нечто вроде временной смерти постигло и «Изгнанников». Стефан Цвейг сумел убедить мюнхенский театр поставить пьесу с очень популярной немецкой актрисой в роли Берты. 7 августа должна была состояться премьера, Джойсу даже нашли деньги на поездку в Мюнхен, однако получить визу было невозможно. Вечер этого дня Джойс, Нора и Оттокаро провели в доме Арнольда Корфа, премьера театра «Пфлауэн», дожидаясь звонка из Мюнхена. Говорили, разумеется, о пьесе, и Вайс поинтересовался, почему Берта смачивает платок слюной, чтобы вытереть сыну лицо. Джойс ответил: «Потому что так же кошка делает с котенком. Отношения матери и сына одновременно естественные и животные».

Наконец пришла телеграмма из Мюнхена, извещавшая о неудачном спектакле. «Fiasco», — сказал Джойс. Назавтра газета «Мюнхнер нойесте нахрихтен» опубликовала грубую рецензию, закончив ее тонкой тевтонской шуткой: «И весь этот шум из-за ирландского рагу?» «Мюнхен-Аугсбургер абендцайтунг» одобрила диалектические тонкости пьесы и оригинальный психологизм, но высказалась, что пьеса не для массовой публики. Джойс пересказал все это Бадгену, а всем интересовавшимся знакомым коротко отвечал: «Провал». Пусть лучше они узнают это от него, чем из газет. Но веры в пьесу он не потерял. Мисс Уивер он написал, что на успех премьеры могло повлиять что угодно: плохая погода, политические новости. Пьесу в конце концов сняли, однако управляющий труппой написал Джойсу, что успех был и что они были счастливы поставить ее первыми. «Берлинер тагеблатт», «Воссише цайтунг» и «Нойе фрайе пресс» публиковали совершенно противоречивые рецензии. Главный исполнитель к тому же заболел (Джойс утверждал, что бедняга не вынес силы его строк), но пьесу обещали включить в осенний репертуар. А немецкие зрители — ну, они, вероятно, шли на ипподром, но ошиблись адресом.

Тринадцатого сентября 1919 года Джойс отсылает «Циклопов» Паунду. Летом он много думал о возвращении в Триест, ибо Цюрих становился все скучнее; беженцы разъехались, климат совсем не подходил для его здоровья и особенно глаз, жизнь дорожала, да и целых четыре года в одном месте для

Джойса было слишком долго. Он начинает собираться. Когда он помечает каждую свою книгу инициалами «I. I.» и укладывает в ящики, Джорджо вдруг протестует: «Не делай этого! Я же получу твои книги, когда ты умрешь, а на них уже твои инициалы!»

Тут подоспели новые неприятности — на сей раз из Англии. Секретарь Авторского общества написал «Инглиш плейерс» протест против постановки пьесы без согласия драматурга и без выплаты авторского вознаграждения. Драматургом, чьи права оказались нарушенными, оказался Джордж Бернард Шоу. «Плейере» играли его «Профессию миссис Уоррен», запрещенную в Англии за оскорбление общественной морали. Никаких актов, не разрешающих ставить эту пьесу в Европе, не существовало, в чем Джойс и предложил убедиться секретарю общества. Вдобавок Шоу написал, что лорд-канцлер позволил играть переработанную версию пьесы, которая была показана в Лондоне и могла быть представлена в Ирландии и других частях Британской империи, где у лорда-канцлера полномочий нет. Джойсу об этом сообщили, но он уже был меньше озабочен судьбой труппы и больше думал о возвращении к легкой жизни в Триесте.

Легкой она могла быть благодаря заботе Гарриет Уивер и щедрости миссис Маккормик. Но миссис Маккормик была весьма капризна, и в последний раз ее чрезвычайно рассердил отказ Джойса подвергнуться психоанализу у Юнга. Для Джойса это было немыслимо; на такую открытость он мог решиться только в литературе и для нее. Нору больше интересовало другое — какое белье может носить богатая и эксцентричная американка. Однако тут Джойс проявил поразительную неосведомленность.

Вряд ли его отказ был главной причиной разрыва с патронессой: грустнее всего, что он совпал с крушением дружбы с Оттокаро Вайсом.

В приближении отъезда они часто обедали вместе, а когда Джойс предлагал заказать бутылку белого получше, Оттокаро почти всегда отказывался, потому что не мог себе этого позволить. Однажды Джойс предложил платить за лишнюю бутылку и записывать ее в счет, чтобы потом Вайс мог возместить его расходы. Тот согласился, и несколько раз они с удовольствием пользовались этим маневром. Однажды утром, после приятного совместного вечера, Вайса разбудил почтальон со срочной открыткой от Джойса, извещавшего, что ему срочно нужны потраченные 50 франков. Не будет ли Вайс так добр немедленно перевести их ему? Накануне Джойс ни словом не обмолвился о такой нужде, и Вайс пренебрег указанной срочностью. Но все же встал, оделся и отправился в ссудную кассу Государственного банка, где заложил свои золотые часы и

отнес вырученные деньги Джойсу, прямо домой. Молча вручил и тут же ушел.

Несколько дней Вайс избегал Джойса и все же решился на встречу. В кафе «Пфлауэн» он обнаружил Джойса, Нору, Бадгена и итальянца Марио Ленасси за одним столом. Поздоровался с Джойсом, и Джойс ответил. Остальные молчали и выглядели обескураженными. Вайс уселся с ними, но ему не предложили вина, а на вопрос: «Что-нибудь случилось?» — не дали ответа. Он сам заказал стакан «Фандан де Сьон», но молчание длилось. Тогда он расплатился, встал и ушел. Ленасси вышел вместе с ним и на улице спросил: «Что вы имеете против Джойса?» — «Ничего! — удивился Вайс. — Небольшое расхождение по денежному вопросу, только и всего. А что он имеет против меня?» Ленасси не ответил и вскоре попрощался.

Взрывом, зацепившим Вайса, был звонок Джойса в банк 1 октября по поводу ежемесячной стипендии от миссис Маккормик и ответ клерка: «Der Kredit ist erschopft»[115]. Припомнив, что Вайс был знаком с Юнгом, личным психоаналитиком миссис Маккормик, и очень немного с ней самой, по сложной цепи ассоциаций Джойс вывел гневное заключение: Вайс убедил ее прекратить поддержку! Нора считала это полной чушью, Вайс утверждал, что ничего подобного не делал, но переубедить Джойса было невозможно. Все складывалось поначалу так хорошо, что непременно где-то должен был появиться предатель, и разумеется, среди самых близких друзей. Когда Герберт Горман в 1939 году попросил Вайса прокомментировать это событие, тот написал небольшое примечание:

«Несколько раз в жизни Джойс демонстрировал эту грубую и необъяснимую смену отношения к своим поклонникам. По крайней мере два примера можно привести из дублинского периода — первый до отъезда и второй во время последнего визита; еще один в Триесте, когда он стал знаменитым… а другой был в Париже. Единого объяснения для них всех нет… но остается фактом, что всю свою жизнь он вызывал восхищение, имевшее и духовную, и материальную форму, доставававшееся ему внезапно и спонтанно, и также внезапно потом трансформировавшееся в пассивную или открытую враждебность».

Разумеется, он воевал за себя — с предателями: писал миссис Маккормик, извещая ее, что собирается уехать в Триест и что наконец отыскал предполагаемого английского издателя для своей книги. Вежливый ответ в начале октября сообщал, что она в данный момент совершенно занята и потому прощается с ним этим письмом. В слабой надежде вернуть ее расположение Джойс

послал ей рукопись «Улисса», но результатом было еще одно письмо, скорее всего, продиктованное секретарше:

«Дорогой мистер Джойс,

благодарю вас за замечательную рукопись — я буду рада сохранить ее для вас, и вам стоит только написать, если она вам понадобится по какой-либо причине. Как известил вас банк, я не в состоянии больше оказывать вам финансовую помощь, но теперь, когда миновали трудные военные годы, вы найдете издателей и, я уверена, преуспеете сами.

Желаю вам успешной поездки.

Искренне ваша

Эдит Маккормик».

Прошли годы, и уверенность Джойса в предательстве Вайса ослабла — Этторе Шмиц даже уговорил их встретиться, но прежней дружбы вернуть не удалось. Зато Юнга, с которым миссис Маккормик консультировалась по любому поводу, Джойс подозревал теперь с удвоенной силой. В 1919 году они еще не встречались, хотя Юнг слышал об «Улиссе», но не особенно стремился прочесть его. Он знал о тяжелых запоях Джойса и оттого не слишком доверял его таланту. Кроме того, Юнга, несомненно, обидело категорическое нежелание Джойса пройти у него сеанс психоанализа: один из подопечных миссис Маккормик, Эрманно Вольф-Феррари, с его помощью избавился от глубокой депрессии и снова начал сочинять музыку.

Вряд ли Джойсу нужна была помощь психиатра; капризы и выдумки американской миллионерши были широко известны, она так же точно перестала субсидировать Филиппа Жарнака. До конца жизни она тратила свое гигантское состояние такими же нелепыми рывками — на астрологию, на исследование реинкарнаций, на оперные постановки. Джойса она не пережила: в 1921 году она вернулась в Америку, где после бурных и эксцентрических выходок вдруг попала на операционный стол с раком груди, после удаления опухоли прожила недолго и скончалась в 1932-м. Вряд ли Джойс носил по ней траур: это был год обострения психической болезни Лючии, переездов из клиники в клинику, новых ссор и разрывов с близкими друзьями и помощниками, и он слишком был занят дочерью и своей последней книгой. Но в «Улиссе» он ее не пропустил. В «Цирцее» она безусловно является прототипом мисс Мервин Толбойз, светской леди с жокейским хлыстом и садистическими наклонностями; во всяком случае, страстной наездницей и лошадницей миссис Маккормик была. И все же, узнав о ее смерти, он написал доктору Дэниелу Броди:

«Мне было грустно узнать о кончине миссис Маккормик. Она

была очень добра ко мне в трудную минуту и являлась женщиной несомненных достоинств. Я не знаю, что случилось потом, хотя имею подозрения, но это не отменяет ее поступка, подсказанного человечностью и щедростью».

Эксцентричная миллионерша подарила ему год сравнительно беспечной жизни, за который он написал большую часть «Улисса». Тем не менее возвращение в Триест, состоявшееся в середине октября 1919-го, было омрачено — Джойсу опять грозило нелегкое время.

Глава двадцать седьмая ТРИЕСТ, ОТЪЕЗД, ПАРИЖ

What portion in the world can the artist have
Who has abandoned from the common dream
But dissipation and despair? [116]

Одним из первых, кому Джойс сообщил о предстоящем возвращении, был, разумеется, Станислаус.

Радости по этому поводу он не выразил: более того, угрожал покинуть квартиру, если в нее ступит нога Джеймса. Он только начал обретать независимость и оправляться от лагерных впечатлений, и тут старые беды грозят вернуться вновь. Джеймс почти не писал ему во время войны, не сдержал обещания посвятить ему «Дублинцев», вычеркнул его из «Портрета художника в юности». То, что это было сделано из творческих соображений, делало ситуацию еще болезненнее. О том, что его ни разу не поблагодарили за непрестанную денежную поддержку, не стоило и говорить.

Но Джеймс и его семья решили, что им лучше остановиться в другом месте. Триест очень изменился, как и они. Гавань была почти пуста, старожилы боролись за жизнь и оплакивали добрые старые времена. Последняя квартира на виа Донато Браманте была реквизирована во время войны. К счастью, мебель и бумаги сохранились на складе. В город вернулись его сестра Эйлин с мужем Франтишеком Шауреком и двумя детьми. Они смогли позволить себе огромную, почти на целый этаж квартиру на виа Санита, где с ними поселился Станислаус. Франтишек получил прежнюю должность прокуриста в «Живностенска банка», а Станислаус быстро обзавелся учениками. Шаурек тоже мало радовался приезду шурина, но сестра быстро переубедила его. Станислаус уступил им свою комнату, перебравшись в меньшую. Мебель Джойса расставили по квартире, Джорджо и Лючия спали на жестких диванчиках, но в целом все было не так уж плохо. О деньгах старались не говорить; все знали, что Джойс перед отъездом из Цюриха уже заложил свои серебряные часы, и Нора, оставшись с Эйлин наедине, поблагодарила ее за жилье: «У нас не осталось ни пенса…» Эйлин посоветовала ей пока не говорить об

этом ни с деверем, ни с Франтишеком. Ведь на этот раз бедность была не так несокрушима: письмо Пинкеру с просьбой аванса от Хюбша, быстро присланные деньги, и вот уже ждать нового транша от мисс Уивер гораздо легче, однако ее поддержка, даже после второго письма, не возобновилась.

Квартира была набита битком, но найти другую было невозможно — цены были фантастические. Про вечера с друзьями в кафе следовало забыть. Да и друзей вернуть оказалось непросто — они чувствовали, как изменился Джойс. Синьора Фанчини говорила: «Джойс стал теперь кем-то другим» — «Joyce non é piu quello». Сильвио Бенко, теперешний редактор «Пикколо делла сера», Арджо Орелл, триестинский поэт, сам Франчини и Джойс гораздо реже собирались теперь за вином и разговорами. С Джойсом было все труднее говорить: он безжалостно отметал то, что занимало его собеседников. Идеи, классификации, политическая терминология его больше не занимают — это преходящее. Интеллектуальный анархизм, материализм, рационализм — они и паука из паутины не прогонят. Но прежние интересы его не оставили. С Франчини они переходили с итальянского на латынь, Джойс декламировал целые куски из литургий, перемежая их забавными пародиями на триестино, французском, немецком, греческом и даже русском. Он распевал насмешливые песни, в том числе о бедном короле Викторе Эммануиле — «Он мал, он мал, но итальянец он!»

Этторе Шмиц, обрадованный встречей с Джойсом, слегка обиделся на скептическое замечание о психоанализе: «Что ж, если так надо, проще оставаться с религией». С ними часто бывали и его прежний ученик Оскар Шварц, и веселый художник Сильвестри.

Джойса узнавали на улицах еще и оттого, что одевался он по-прежнему — пиджак от одного костюма, брюки от другого. Но теперь к нему добавилось слишком короткое и слишком просторное пальто, опоясанное армейским ремнем. Шварц почтительно спросил его:

— Как прошли для вас годы войны, профессор?

Джойс ответил:

— Да, мне говорили, что в Европе идет война…

Сильвестри же он признался как-то раз, в ресторане «Дрезнер» на Пьяцца делла Борса, за ужином: «Сильвестри, я теперь богат». — «Тогда закажи мне свой портрет», — немедленно отреагировал Сильвестри. Джойс согласился, но оказалось, что он просто неспособен позировать — поза менялась то и дело. Сильвестри применил гениальный ход: поставил большое зеркало, отражавшее движения кисти, и Джойс теперь

завороженно следил за работой. Портрет был написан, однако заплатил за него Джойс лишь год спустя.

Частных уроков он давать больше не собирался, но восстановился в Высшей коммерческой школе, которая преобразовалась в университет Триеста. Преподавал он час в день, шесть часов в неделю, но и это для него было невыносимо. Ученики вспоминали, что Джойс мог умолкнуть посреди урока и несколько минут сидеть с отсутствующим видом и загадочной улыбкой или смотреть на них, словно не видя, а руки его при этом делали странные жесты. Системы в его преподавании не было никакой. Заучивание он считал скучным, поэтому диктовал студентам множество слов, особенно названия всяких блюд и продуктов, утверждая, что это крайне важно. Кто-то из студентов робко поинтересовался, как долго нужно учить язык, и Джойс раздраженно ответил: «Я занимался итальянским пятнадцать лет и только начинаю овладевать им». Первое жалованье выплатили только через два месяца преподавания, поэтому Джойс не слишком усердствовал в экзаменах и всем студентам, кроме двух-трех самых настойчивых, поставил минимальный проходной балл.

Писать Джойсу было чрезвычайно трудно, и все же он не сдавался. Более того, он собирался закончить «Улисса» в 1920 году, но пока работал только над тринадцатым эпизодом, «Навсикаей», который в подробностях описывал Фрэнку Бадгену. У него возникает даже не совсем шутливый план запатентовать «новый стиль… полный дыма ладана, культа Девы Марии, онанизма, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей и т. п. и т. п.». Герти Макдауэлл ему пришлось писать при помощи кучи сентиментальных романов и новейшего песенника, присланного тетушкой Джозефиной. Но так как девичьему воображению Герти противопоставлена Блумова наблюдательность, изобилующая деталями, Джойс так же детально выясняет топографию, с помощью той же тетушки Джозефины высчитывая, есть ли за церковью Марии Звезды морей в Сэндимаунте деревья, которые видны с берега, и есть ли ступеньки на спуске от Лизи-террас.

«Навсикаю», как он писал выше, Джойс стремился закончить к своему дню рождения — и успел. Эзра Паунд отнес рукопись мисс Уивер, которая немедленно ее прочитала. На этот раз у нее не было никаких упреков; правда, Джойсу она написала, что у него совершенно медицинский подход к человеческой душе, что он даже не пытается ей польстить; так что он не священник и не врач — он и то и то: видимо, он «преподобный Джеймс Джойс, S.J., M.D.».

Польщенный Джойс слегка ерничает: «Было очень интересно прочесть то, что вы написали обо мне в последнем письме, потому что я трижды принимался изучать медицину, в Дублине, Париже и снова в Дублине. Я был бы куда опаснее для общества в целом, если бы продолжил, чем в моем теперешнем состоянии».

Не откладывая, он погружается в «Быков Гелиоса», который считает «самым трудным эпизодом всей одиссеи… как для толкования, так и для исполнения». Биографы и литературоведы любят упоминать, что перед глазами Джойс держал диаграмму с изображениями человеческого плода на всех стадиях развития, одновременно читая «Историю ритма английской прозы» Сейнтсбери. Сложную структуру эпизода он расчерчивал Бадгену в письме от 22 марта:

«Работаю изо всех сил над „Быками Гелиоса“, идея — преступление против плодородия через стерилизацию соития. Сцена — больница. Прием: девятичастный эпизод без разделений, с введением салюстиано-тацитова типа (неоплодотворенная яйцеклетка). Потом через самую раннюю английскую аллитерационную и моносиллабическую поэзию и англосаксов („Еще в лоне лежа и любовью людскою лелеемо“), затем в стиле Мандевилла… затем „Смерть Артура“ Мэлори („и Лене-хан магистр божился и клялся в том от него не отстати“), затем стиль елизаветинских хроник („в этот самый момент юный Стивен наполнил все кубки“), затем торжественный пассаж, по Мильтону, Тэйлору и Хукеру, оборачивающийся чеканной латинской сплетней в стиле Бертона или Брауна, затем вполне бэньяновский фрагмент („причиной было то, что он возлег с некоторой шлюхой, чье имя, по ее словам, было Птичка-в-Ручке“). Потом дневниковый слог Пеписа-Ивлина („Блум приятно заседал с ватагой бездельников, были там Диксон мл., Вин. Линч, Док Мэдден и Стивен Д.“) и так далее через Дефо — Свифта и Стила — Аддисона — Стерна, Лэндора — Пейтера— Ньюмэна, пока все не завершится жуткой перемесицей пиджин-инглиш, ниггер-инглиш, кокни, ирландского, жаргона Бауэри и ломаного раешника. Эта процессия также тонко связана с каждой частью с некоторыми предшествующими эпизодами дня и, кроме того, с естественными стадиями развития эмбриона и эволюции фауны в целом. Двухстопный англосаксонский мотив прорезается время от времени… чтобы создать ощущение бычьих копыт. Блум оборачивается spermatozoon, госпиталем чрева, нянькой при яйцеклетке, Стивен — эмбрионом. Ну как, впечатляет?»

Сложность схемы не должна скрывать того, что написанное Джойсом сложно лишь в части образа и исполнения. «Мысль для меня всегда проста», — писал он. Т. С. Элиот прочитал эпизод как

изображение воскрешения английской прозы, «всех английских стилей», но дело скорее в том, что Джойс каталогизирует формы, в которых английская проза навсегда застыла, и безжалостно, тем самым пескоструйным аппаратом, с которым он себя уже сравнивал, сдирает с почтенных образцов глянец благоговейных касаний. В его рабочих записях есть хронометраж работы над «Быками» — тысяча часов. Призраки гигантских животных не покидали его, он говорил, что чувствует себя как сотоварищи Одиссея, пожиравшие священных зверей, но в отличие от них понимал, что он делает. Его буквально тошнило за едой. С невероятным облегчением Джойс писал Бадгену 18 мая: «Быки гадского паскудного Гелиоса закончены». Мисс Уивер написала ему полушутя: «Я думаю, эпизод можно назвать „Гадес“ — чтение его будет равно спуску по кругам ада». Он тут же спрашивает ее: не напоминает ли эпизод Гадес-Аид потому, что он так же развивается по девяти кругам, располагаясь между началом хаоса бытия и началом хаоса небытия? Мисс Уивер имела в виду совсем не это и в очередной раз попросила его не обращать внимания на все ее комментарии.

В переписке Джойса не прекращаются просьбы к Бадгену приехать — ему обещают студию Сильвестри, потом комнату в квартире Шауреков, учеников за шесть, семь и даже десять лир в час. «Ты увидишь МЕНЯ, — величаво обещал он. — Ты будешь слушать (покуда не стошнит) проклятых быков проклятого Гелиоса. ЗАПАСИСЬ ЭНЕРГИЕЙ!» Но Бадген, даже искушаясь, предвидел, что Триест для него как для художника — топь и что лучше уж вернуться в Англию, например, в Корнуолл, где он вырос. Поэтому Джойс опять задумался о возможности каникул в Уэльсе, Ирландии или в том же Корнуолле. Ему хотелось повидать отца. Кто-то из друзей семьи писал ему: отец считает, что один лишь Джеймс заботится о нем и верит в него и что все его мысли о сыне — увидеться, прежде чем он, отец, умрет.

Джойс и так не хотел оставаться на лето в Триесте, но в Ирландии дрались — патриоты с черно-коричневыми, — и надежды на скорое перемирие не было никакой. Но тут Эзра Паунд вторично подтолкнул вперед его литературную карьеру.

В начале мая он был в Венеции и предложил встретиться в Триесте. Джойс был готов, но внезапно заболела жена Паунда, и ему пришлось увезти ее на Лаго ди Гарда, где климат был благоприятнее, и позвать туда же Джойса. Тот было собрался, но железнодорожная катастрофа заставила его в очередной раз личное присутствие заменить перепиской.

«Виа Санита, 2,

Триест,

5 июня 1920 г.

Дорогой Паунд: я уже отправился на вокзал, чтобы уехать утренним поездом в 7.30. Но когда я туда прибыл, мне сказали, что пассажирский поезд, отбывший несколько часов назад, столкнулся с другим. По счастью, меня на нем не было. Мне также поведали, что экспресс 7.30 „Триест — Париж“ отменен из-за забастовки. Есть два поезда, между Триестом и Десенцано, один приходит в „ведьмин час“, 23.30. Второй в пять, идущий, точнее, ползущий всю ночь и прибывающий в шесть утра. Для меня это невозможно.

Теперь я намерен пропутешествовать по этой линии, как можно скорее отправляясь в Англию и Ирландию, но думаю, что сейчас уезжать невыгодно. Полагаю, что около 12 июня вы приедете в Лондон. В этом случае мы, надеюсь, встретимся. Единственная причина, по которой я принял ваше щедрое приглашение в Сирмионе, была встреча с вами. Но для вас это обернется большими расходами. И для меня, если я поеду вторым классом. А о состоянии дороги можете судить сами.

Мои доводы за путешествие севером таковы. Мне нужен длительный отдых (это означает не прекращение работы над „Улиссом“, но покой, в котором я смогу его закончить) и не здесь. Не говоря ничего об этом городе (De mortuis nil nisi bonum[117]), положение мое тут за последние семь месяцев было крайне скверное. Я живу в квартире с одиннадцатью другими людьми и с чрезвычайным трудом обеспечиваю время и покой для того, чтобы написать две главы. Вторая причина — одежда. У меня ее нет и купить нечего. Другие члены семьи пока обеспечены хорошим платьем, купленным в Швейцарии. Я ношу ботинки моего сына (которые велики на два размера), и его же едва не выброшенный костюм, узкий в плечах, прочие вещи или моего брата, или свояка. Здесь я ничего не смогу купить. Пиджачная пара, сказали мне, стоит 600–800 франков. Рубашка — 35 франков. На то, что у меня есть, я могу прожить, но не больше. С тех пор, как я тут, я не обменялся с другими и сотней слов. Большая часть моего времени проходит между двумя кроватями, окруженными горами заметок. Я выхожу из дома в 12.22 и прохожу то же самое расстояние по тем же улицам, чтобы купить „Дейли мейл“, которую читают мой брат и моя жена, и возвращаюсь. То же самое вечером. Однажды меня соблазняли театром. Другой раз приглашали на публичный обед, как профессора здешней Scuola Superiore, а на следующий день послали просьбу подписаться на итальянский военный займ на 20 тысяч, 10 тысяч или хотя бы на 500. Мне надо обзавестись одеждой, поэтому я думаю, что должен поехать в Дублин и купить

ее там.

Третье: мои двое детей не спали в кровати с тех пор, как мы здесь. Они укладываются на жесткий диван, и климат с июля по сентябрь здесь очень сложный.

Четвертое: курс меняется сам по себе. Когда фунт (я имею в виду другой фунт, английский, а не американский)[118] держится на 100 или 90, я могу справиться с ценами, потому что мои деньги в английской валюте. Сегодня фунт на 62, и мой свояк (он кассир здешнего банка) говорит, что он катится вниз благодаря всяким коммерческим уловкам и тому, что никто ничего не покупает по таким высоким ценам. Если он упадет до 50-ти, я не продержусь, но утону. Вернувшись в Швейцарию, я все равно бы не смог содержать там семью; кроме того, я ненавижу возвращаться. Цены тут в восемь — десять раз выше, чем в 1914-м.

Я мог бы давать тут уроки (многие люди ожидали этого от меня), но не буду. У меня есть должность в школе, которую правительство подняло до университета. Мне платят около трех шиллингов в час за шесть часов в неделю. Считаю это тратой моего времени и нервов.

Я не могу найти тут квартиру. Чтобы найти, в руке нужно держать чек на 20–30 тысяч лир аванса. Поэтому я предполагаю провести три месяца в Ирландии, чтобы написать „Цирцею“ и закончить книгу. Сюда я вернусь с семьей в октябре (если нам в промежутке кто-нибудь подыщет квартиру) или без них, чтобы дописать конец…»

Письмо похоже на монолог из абсурдистской пьесы — как, впрочем, и многие из тех, где Джойс перечисляет свои нескончаемые неудачи. Едва прибыв в Триест, увязнув в проблемах, он уже просчитывает дорогостоящее путешествие для всего своего семейства в Англию и Ирландию вроде бы для того, чтобы подешевле приодеть себя и свою семью. Но из всего, что уже известно о Джойсе, вырастает уверенность, что тянет его туда собственный Wanderlust[119]. Кстати, письмо умиротворяет и его самого настолько, что он прибавляет иронический постскриптум:

«Послание очень поэтичное. Не подумайте, что это тонко вербализованное прошение о ношеной одежде. Его следует читать вечером, когда озерная вода поплескивает и очень ритмично».

Паунд ответил из Сирмионе очень сочувственным письмом. Они ждали его до восьми вечера, не садясь ужинать, а Паунд приготовил торжественную речь, где Джойсу предлагались или ужин, или визит в баню. Затем случилась ночная гроза, настолько бурная, словно Вулкан-Дедалус и вправду добрался до Италии. Джойсу предлагается пожить в Сирмионе, а одежду купить в

Вероне, где она дешевле, чем в Лондоне. Рассказ о ночной грозе, чего не знал Паунд, мог отвратить Джойса от поездки, но он пересилил себя, понимая, что эта встреча будет очень значимой. Мисс Уивер он написал: «Несмотря на мой ужас перед грозами и отвращением к путешествиям, я еду, прихватив с собой сына в качестве громоотвода».

Когда он приехал к Паунду 8 июня, то первый вопрос, который задал хозяину, был — кто его таинственный благодетель? Но Паунд не смог или не захотел ответить. Потом они обсудили ситуацию Джойса в деталях и пришли к выводу, что Джойсу необходимо пару дней побыть в Париже, осмотреться и, если получится, обсудить возможность перевода на французский «Портрета…», а может, и «Дублинцев». Паунд собирался поехать первым и подготовить почву. Затем состоялось вручение одежды и обуви, описанное Джойсом в лимерике: «Бард в омываемом озером Сирмионе / Жил в покое и кушал мед и акрид, / Пока не появился сукин сын / И не оставил его на берегу озера / Без одежды, ботинок, времени, покоя и денег». Всё оказалось мал***о***, но костюм Джойс носил в Париже.

Паунду он очень понравился: «Под маской сварливого ирландца, упрямого, как мул или ирландец», как он писал, жил человек, написавший «Камерную музыку». Его нельзя было сравнить ни с кем; даже Йетсу не хватало той степени концентрации и поглощенности, которая была нужна для «Улисса». Упрямство Джойса импонировало Паунду — оно помогало не отрываться от настоящей работы ради статеек и журнальной поденщины. Джойс выглядел изможденным, но достаточно крепким, и уверенно выздоравливал после операций.

Вернувшись в Триест, Джойс уже всерьез начал обдумывать переселение. Он по-прежнему собирался в Лондон после двух-трех недель в Париже, и семейство начинало вновь паковать чемоданы со всеми ирландско-итальянскими воплями и ссорами, а Джойс деликатно истребовал назад свою рукопись, некогда подаренную миссис Маккормик, и договаривался с Джоном Куинном о ее продаже. Прошение об отставке руководству университета он уже подал и попросил передать его должность Станислаусу. С Франчини, Бенко, Шмицем, Сильвестри он попрощался, но всегда оставался с ними в переписке. Правда, однажды он едва не поссорился с Франчини, который прочитал залихватскую лекцию «Джойс обнажается на публике». Развенчивая Джойса, он умудрился в конце даже помолиться во спасение его души. Собственно, это был скорее эффектный ход, и Джойс мог бы оценить его как художник, однако он предпочел обидеться.

Проводить Джойса пришли Шауреки, а обиженный в очередной раз Станислаус отказался. Потом в письме он извинился за это, а Джеймс по-братски его простил. «Внимательное чтение моих невинных страниц есть единственный устранитель иллюзий, который оправдает вложенные в меня деньги». По сути, это конец их близости. Они переписывались, но Джойс едва терпел постоянную критику братом его последующих вещей. Конечно, быть братом Джойса — нелегкое состояние, но и Джойсу было нелегко; он был порывист и капризен, а Станислаус пунктуален и зануден. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Эллман считает, что и в этом они были зеркальны: легкомыслие Джеймса было внешним, при нужде оно легко сменялось упорством и суровостью, а твердость и самодисциплина Станислауса были защитой оттого, что казалось ему пороками старшего брата. Он не забывал унижений, которые вытерпел вольно или невольно от Джеймса в Триесте. Но помнил и о том, что в конечном счете из-за его настойчивости сменил дублинскую безвестность на педагогическую карьеру и жизнь интеллектуала-космополита. Долг оказался красен платежом, и с высокими процентами.

Два дня они провели в Венеции, потом остановились в Милане повидаться с Карло Линати, переводившим «Изгнанников», потом через Швейцарию перебрались в Дижон, где провели сутки, а 8 июля они наконец в Париже, где немедленно были взяты в опеку Эзрой Паундом. Сам он жил в «Отель Элизе», на рю де Бон, 9, а их на время устроил неподалеку, в маленькой гостинице, растрогавшей Джойса сходством с дублинскими. В Париж он приехал на неделю, а остался почти до конца жизни.

Глава двадцать восьмая СИЛЬВИЯ, АДРИЕНН, «ЦИРЦЕЯ»

Sing to the end, and sing the strong reward
Of all that discipline…[120]

Чего Джойс поначалу не ожидал, так это оказаться персонажем светской хроники. Как-то внезапно в Париже он стал даже держаться иначе — сумрачно, сдержанно; однако действовало это гораздо сильнее, чем его прежние эскапады. Тридцативосьмилетний Джойс отмерял теперь свое молчание, как другие — слова. Переезд, как всегда, оказался тяжелее всего для детей. От полного непонимания обстановки и отсутствия близких (кроме родителей) они отчаянно держались за итальянский язык и на нем говорили постоянно. Джорджо вымахал за шесть футов, заканчивал школу и не имел никаких планов. Когда Джойса спросили, почему он так безразличен к будущему сына, он ответил: «Я так занят своим, что для его у меня не остается времени». Это очередной спектакль Джойса: на самом деле он заботился о Джорджо и даже подыскал для него место в банке. Но куда больше его обрадовало, насколько противен был банк его сыну — почти как когда-то ему самому.

Тринадцатилетняя Лючия была бы очень хорошенькой, если бы не легкое косоглазие, которое ее пока не волновало. Никаких странностей в ее поведении не было. Они оба были очень привязаны к отцу и во многом зависели от него. Джорджо, правда, начинал над ним подтрунивать; например, сообщал, что считает величайшим романистом Достоевского, а величайшим романом «Преступление и наказание». А отец насмешливо отвечал, что это странное название для книги, в которой нет ни преступления, ни наказания.

Исторический Париж его волновал мало — еще с римских времен Джойс не любил памятников. Валери Ларбо вспоминал, как они ехали в такси мимо Триумфальной арки и он спросил Джойса, как долго, по его мнению, будет гореть Вечный огонь. Тот ответил: «Пока Неизвестный солдат не восстанет в отвращении и не задует его». Зато общения было вдоволь. За несколько недель он познакомился с десятками людей, приходили восторженные посетители и просто любопытствующие снобы, из Америки, Англии и Ирландии, кто-то стал ему другом,

кто-то врагом, он разыгрывал то нищего писателя, то величавого маэстро, и всегда талантливо. Пришли деньги и, разумеется, тут же ушли. Пока что слава была просто всеобщим любопытством к модному имени, а Джойс был чувствителен к таким вещам — они его огорчали. Все это не помешало ему окончить «Цирцею» и три последних эпизода «Улисса».

Паунд, которого дети звали «Синьор Стерлина», то есть «Стерлинг», уже окончательно стал добровольным и бесплатным агентом Джойса. С ним работала профессиональный литературный агент Женни Серруйс, с которой он познакомился в салоне Натали Клиффорд-Барни, приятельницы Реми де Гурмона и Поля Валери. Паунд убеждал ее стать переводчицей «Портрета художника в юности», но она после долгих раздумий отказалась: боялась не найти времени для такой серьезной работы. Тогда Паунд отнес роман мадам Людмиле Блох-Савицки, теще английского поэта Джона Родкера. Она уже работала с какой-то вещью, но Паунд властно отобрал у нее книгу и вручил ей «Портрет».

«Вы должны перевести Джойса, — сказал он. — И немедленно. В современной литературе мира нет ничего похожего, да и в прошлом мало».

Она сдалась. Перевод планировалось издать несколькими выпусками в «Л'Аксьон», но был получен отказ, поэтому сделали заход в «Меркюр де Франс». Неудача и здесь. Наконец «Эдисьон де Сирен» дала согласие, но напечатала перевод лишь через четыре года, в марте 1924-го. Перевод был сделан на совесть, мадам Блох-Савицки не поддавалась ни на какие уговоры Джойса поторопиться и отвечала, что лучше отложит другие свои работы. Джойс унялся, но вдруг решил, что персонажам следует дать французские имена — к примеру, Стивена сделать Этьеном. Ну и автор станет Жаком Жуайезом, пуркуа па? Переводчица не согласилась, однако настояла на другом — французский перевод теперь назывался «Дедалус».

Паунд неутомимо разбрасывал экземпляры «Портрета…» и папки с отзывами прессы — Париж должен был уяснить себе, что к ним прибыл автор с репутацией. У этой работы имелась оборотная сторона: Джойсу приходилось, жертвуя временем и преодолевая раздражение, встречаться со множеством людей.

Многих задевала его нелюдимость и даже грубость, но впечатление он оставлял. И многие решали ему помочь. Первой была та же Людмила Блох-Савицки. Она и ее муж предложили ему бесплатное жилье в Пасси, на улице Л'Ассомпсьон, 5, возле Булонского леса, куда он и въехал с семьей в середине июля. Это была маленькая трехкомнатная квартира, с двумя спальнями

окнами на улицу и крошечной кухней. Джорджо кровати не хватило, и Джойсу пришлось наведаться к Женни Серруйс, которая под неукротимым напором Паунда готова была ему помогать. Она прислала им раскладушку, и Джойс поблагодарил ее письмом в самых чопорных выражениях. Затем, кое-как справляясь с мучительным нежеланием просить, он дал понять, что писать ему не на чем, и она прислала стол. Видимо, то же было с постельным бельем, одеялами, книгами, присланными из Триеста и необъяснимо задержанными таможней; за них пришлось хлопотать. Наверняка она одалживала ему деньги. После он поблагодарил ее в типично джойсовском стиле: «Для вас мелкие проблемы никогда не были затруднением — качество, необычное для женщины».

Женни познакомила его со своим женихом, Уильямом Аспиноллом Брэдли. Переводчик Реми де Гурмона, Уильям представлял в Париже издательство «Харкурт, Брейс и К°». Джойсу он понравился не только поэтому — его интересовало, что Джойс пишет. В это время заканчивалась «Цирцея», и автор подробно объяснял, как он это делает, но скорее себе, чем своим поклонникам. На них проверялись намеки, аллюзии, ассоциации, но Брэдли скоро покинул категорию подопытных, напомнив Джойсу, что генерала Гранта звали Улисс. Джойс это записал — на манжете. То, что генерал курил длинные сигары, внесено было туда же. Известно, что одним из первых рукопись заключительного эпизода видел Брэдли.

Они обсуждали и других авторов, хотя рано или поздно возвращались к Джойсу. Андре Жида любили оба: Джойс читал «Пасторальную симфонию» еще в Цюрихе, и она ему понравилась своей горькой иронией и раскрытием душевной слепоты священника, пытающегося спасти от греха незрячую девочку. Джойс высоко ценил язык Жида. Пруста он отложил после нескольких страниц, сказав, что не видит никакого особенного таланта, но допускает, что ошибается. Прочитав книгу стихов Элиота, он не сказал ничего.

Осенью Брэдли подарил Джойсу свою старую офицерскую шинель, и Джойс носил ее с удовольствием.

Женни Серруйс предложила перевести «Изгнанников», и Джойс радостно согласился. Он мечтал увидеть эту пьесу на парижской сцене, собираясь предложить ее Люнье-По, который уже был известен своей работой с самыми экспериментальными драмами, а в случае его отказа — Жаку Купо из «Вье Коломбье». Джойс мобилизовал все свои знакомства, чтобы убедить кого-то из них; только затем он отправился на прием у Натали Клиффорд-Барни, где бывали Поль Валери и другие французские

писатели. Ему было страшно неудобно, и как всегда в таких случаях, его тянуло говорить о себе, своей работе, словно бы утверждая себя в чужом мире, но он снова пересилил себя и беседовал о другом — о французской литературе, но и тут умудрился сказать, что не выносит Расина и Корнеля. Мисс Барни довольно резко спросила:

— Вы считаете, что такие замечания могут что-то о вас сказать?

Джойс промолчал, а потом весь вечер прятался за колонной, откуда вышел только затем, чтобы все же попросить ее помочь с постановкой. Вряд ли ему по вкусу была утонченность такого салона: он жил той же жизнью, что и большинство его персонажей, поэзия его прозы складывалась из тех самых мелочей — мебели, еды, топлива и чьего-то покровительства. Литературная жизнь вполне укладывалась в его неисчислимые заметки, исписанные страницы и разговор о них с очень немногими. Что творилось в его воображении — очевидно, об этом не всегда и получалось сказать.

Тем не менее в сутолоке первых парижских месяцев состоялось знакомство, имевшее значение для всей последующей жизни Джойса да и всей литературной жизни века.

Людмила Блох-Савицки написала своему другу, поэту Андре Спиру, что познакомилась с Джойсами и в любой день может предоставить ему любое их количество — два, три, четыре… Или ни одного. Спир согласился на двух, и на воскресенье 11 июля Людмила, ее муж, поэт Андре Фонтана с женой и двое Джойсов приехали в Нейи. Кроме Паунда, Спир пригласил Адриенн Монье, хозяйку литературного салона и владелицу книжного магазина, который в шутку называли «Храм Монье», а по-настоящему «Ла мезон дез ами де ливр» — «Дом друзей книги». Адрес его, улица ль'Одеон, 7, знал весь Париж и прежде всего писатели и читатели наисовременнейшей французской литературы. Она сама была довольно даровитой поэтессой и переводчицей, издавала литературный журнал «Серебряный корабль» и оказалась едва ли не первой владелицей книжного магазина в Европе.

Адриенн, невысокая, пухлая, в крестьянском платье работы модного кутюрье, двигалась, по словам Уильяма Карлоса Уильямса, «будто по колено в вязкой глине». С ней пришла ее подруга, американка Сильвия Бич. В Париже она была потому же, почему и многие американцы, — не хотелось оставаться в отведенной ей жизни. Ее отец, пресвитерианский священник Сильвестр Бич, был настоятелем пресвитерианской церкви в Принстоне, Нью-Джерси, но перед войной несколько лет жил с семьей в Париже, как директор Американского студенческого

центра и проповедник американской церкви. Сильвия рано уехала из семьи, много ездила по Европе и незадолго до конца войны перебралась во Францию. Там она и познакомилась с Адриенн, став завсегдатаем ее библиотеки, а затем и любовницей. В ноябре 1919 года она открыла книжную лавку под озорным названием «Шекспир и компания», на улице Дюпюитрен, 8, а затем перебралась на Одеон, 12, через улицу от лавки Адриенн. Вечер прошел вполне спокойно; Джойс отказывался от всех предложенных вин и даже для пущей гарантии перевернул стакан вверх дном. А Эзра Паунд, чтобы подразнить трезвенника, выстроил перед ним все бутылки и соблазнительно ими позвякивал.

Гости слушали спор между Адриенн и Жюльеном Бенда, который нападал на Валери, Клоделя и Жида, а она пылко отстаивала их. Джойс потихоньку перебрался в другую комнату, к книжным полкам, и что-то уже читал, когда к нему подошла робеющая, но решительная Сильвия Бич.

— Это и есть великий Джеймс Джойс? — спросила она.

— Джеймс Джойс, — ответил он, протягивая руку.

Она рассказала ему, как восхищается его книгами, а он расспросил ее о Париже. Улыбнувшись названию ее лавки, записал адрес в книжечку, которую держал у самых глаз, и пообещал навестить. На следующий день он зашел туда и остался почти на полдня. Она вспоминала, что Джойс был одет в дешевый синий саржевый костюм, черную фетровую шляпу, едва державшуюся на макушке, и очень грязные теннисные туфли. При этом он поигрывал изящной тросточкой, совершенно не вязавшейся со всем остальным. Рассказав о том, каково его положение в Париже, он попросил ее помочь с жильем, и она с радостью согласилась и предложила найти ему учеников. Перед уходом он взял из ее библиотеки «Скачущих к морю».

Сильвия понравилась Джойсу: готовность помочь он всегда принимал благосклонно. Почти все, что узнал о французской литературе нового времени, он узнал от них с Адриенн — когда они рассказывали, Джойс молча слушал и записывал. Высокий, худой, нервный, обремененный множеством забот, он вызывал у них материнские чувства, хотя обе они были младше его. Они звали его между собой прозвищами, которые он сам себе дал, — «Иисус-меланхолик» или «Сутулый Иисус». О нем рассказывалось всем завсегдатаям «Шекспира и компании», он был главным сюжетом любого устного выпуска литературных новостей.

Деньги от Пинкера все не приходили, Куинн тоже не торопился с выплатами за рукопись, и неугомонный Паунд придумал занять герцогиней Мальборо опустевшее место миссис

Маккормик. За неделю до этого ее отец, миллионер Вандербильдт, скончался неподалеку в клинике. Паунд, куда менее состоятельный, делился с Джойсом всеми свободными деньгами, и семье как-то удавалось продержаться и даже не голодать. Было нелегко, но Джойс не злился на Париж, как когда-то на Рим, — сюда он приехал уже вождем некоего, еще не вполне сложившегося направления, и это слегка кружило голову. Он шутливо сообщал Станислаусу, что здесь все «отдает Одиссеем»: Анатоль Франс пишет «Циклопа», Жиль Фавр — оперу «Пенелопа», Жан Жироду написал «Эльпенора», а Гийом Аполлинер — сюрреалистическую драму «Груди Тиресия»… «Мадам Цирцея царственно шествует к своему завершению, а я надеюсь вступить в теннисный клуб». На следующий день Паунд отвез его к критику и романисту, сотруднику «Ле пти паризьен» Фрицу Вандерпилю. Джойс, несмотря на умопомрачительные теннисные туфли, показался ему похожим на университетского профессора, но при этом умудрился занять у него сто франков, которых у Фрица тоже не было, но им удачно повстречался более денежный знакомый. Джорджо не остался без подарка на день рождения. Но к завтрашнему полудню от денег не осталось ни сантима, и мрачный Джойс с отвращением перебирал небогатые возможности нового займа, когда в дверь позвонили.

Джон Родкер был постоянным автором «Эгоиста» и увлекался изготовлением книг вручную, на маленьком прессе чуть сложнее гутенберговского. Миссис Родкер надела красный плащ, а женщины в красном были одним из главных суеверий Джойса: они приносили удачу. Вот и в этот вечер семья была приглашена на ужин, а во время ужина прозвучало искусительное предложение напечатать «Улисса» во Франции на деньги «Эгоиста», а затем воспроизвести этот набор в Англии. Джойс был рад и заинтересован, даже вел светский разговор. Верным признаком расположения была шутка, которую он обычно приберегал для друзей, — что его имя на английском значит то же, что и «Фрейд» по-немецки. Но Родкеры были поражены другим: он показался им человеком, на редкость убежденным в своей миссии в искусстве.

Наконец и Пинкер прислал 10 фунтов, но Джойс написал Паунду ироническое письмо с громкими заголовками для прессы: «Джойс Вытянул Улов! Проворный Пинкер Спасает Удрученного Дедала! Завал Зеленых для Поэтов-Пауперов!» Конечно, деньги приходили, но тратились так же быстро. Оставалась мисс Уивер, благодетельно облегчившая несколько лет его жизни и работы, но и она не могла взять на себя всё. Однако это признание его важности и значимости поднимало ему настроение. Станислаусу

он об этом написал, но новый дождевик, одолженный у брата, не вернул — очевидно, по тем же резонам.

Париж затягивал Джойса. Связей и знакомств становилось все больше, кого-то хотелось видеть, кого-то он держал на расстоянии и бывал очень неприятен. Жена японского художника Йосуки Танака, американка Луиза Ганн, вспоминала, как, очарованная рассказами Паунда, пригласила Джойса на ужин и была поражена его неприкрытой враждебностью и злостью. Живопись его не интересовала, что потрясло бедного мистера Танаку. Стоило вспомнить Йетса, и Джойс жестоко вышутил его как расчетливого любовника на содержании леди Грегори. Гостья спросила его, кого он считает лучшими английскими писателями современности. Он ответил: «Не знаю никого, кроме себя». Супругов Танака Джойс все же пригласил составлять ему компанию в ресторанах и кафе, но это ничего не значило. Его не трогал даже откровенный интерес некоторых дам, норовивших нежно взять его под локоть. Нора была тут же и явно не слишком наслаждалась ситуацией. Когда Луиза Ганн сказала ей, что она «заложница гения», она одобрительно усмехнулась. Супруги не любили позднего времяпрепровождения, и скоро отношения прервались. Но паломничество к новой святыне продолжалось. Поэт-сюрреалист Иван Голль, знакомый Джойса по Цюриху, приехал в июле от цюрихского издательства «Райн-Ферлаг» договориться о тамошнем издании «Портрета…» на немецком. Появился и Филипп Супо, в то время упоенно переводивший Блейка и много споривший с Джойсом о «Иерусалиме». Клайв Белл, уже очень заметный критик, когда-то женатый на сестре Вирджинии Вулф, не принял Джойса. Джойс сам понимал, как часто он производит дурное впечатление, но, по его словам, был слишком занят, чтобы следовать завету «curvata resurgo»[121].

Пока самые лучшие отношения, кроме двух книжниц, Бич и Монье, у него были с Фрицем Вандерпилем. Но Вандерпиль был само дружелюбие и участие, хотя и его Джойс нередко угнетал: Фриц говорил, что тот держится епископом, оставаясь в душе семинаристом. Джойс всегда был не прочь побыть ментором. Как-то они обедали в ресторане с другом Вандерпиля, Эдмоном Жалу, и тот уже за «Фендан де Сьон» принялся расхваливать «Три повести» Флобера, утверждая, что стиль и язык безупречны. Любивший Флобера Джойс тем не менее ощетинился: «Pa si bien que ça!» — «Совсем не так прекрасно!» Вцепившись в первую фразу «Простого сердца» — «В течение пятидесяти лет жительницы Пон-ль'Эвека завидовали г-же Обен, хозяйке Фелисите»[122], — стал доказывать, что здесь должно стоять «завидуют», а не «завидовали», потому что действие не

кончилось, а продолжается. Затем он начал выискивать ошибки в «Иродиаде» и нашел — в самом последнем предложении.

В середине августа среди несгибаемых друзей Джойса появился еще один.

Томас Стернс Элиот, один из величайших поэтов XX века, написал из Лондона, что Эзра Паунд доверил ему посылку для Джойса и что Элиот 15 августа привезет ее ему в «Отель д'Элизе». Он также надеется пообедать с мистером Джойсом, и даже если у него не будет времени ответить, пусть просто приходит. Обычно Элиот путешествовал в компании Уиндема Льюиса, чей роман «Тарр» тоже был напечатан в «Эгоисте»; Джойс прочел его еще в Цюрихе. Проза Льюиса ему нравилась, в стихах Элиота он тогда еще сомневался, как это часто бывает, не замечая удивительного сходства со своей прозой: «Место рождения — Хайберн. Место растления/ — Ричмонд. Трамваи, пыльные парки. /В Ричмонде я задрала колени/ В узкой байдарке»[123].

Всю дорогу из Лондона Элиот провозился с тяжелой и плохо увязанной посылкой, таская ее с поезда на поезд. Как ни странно, Джойс пришел в гостиницу вместе с сыном, и встреча с Льюисом обрадовала его. Знаменитых теннисных туфель на нем уже не было, но и без этого он производил странное впечатление в замшевых ботинках и очках невероятной толщины над острой рыжеватой бородкой. С ухмыляющимся Джорджо он говорил то на английском, то на французском, то на беглом итальянском, но вообще, как обычно, разыгрывал из себя этакого ирландца — довольно мастерски, отмечает Льюис. Встреча двух гигантов состоялась.

Элиот подошел и, показывая на громоздкий пакет, объявил, что это и есть та самая посылка, о которой он известил мистера Джойса в телеграмме, вверенная его попечению и неукоснительно доставленная им по назначению.

Затем Элиот уселся, доброжелательно наблюдая, как Джойс, вряд ли толком различавший узел, пытается его развязать — Паунд постарался. Наконец Джойс раздосадованно потребовал у Джорджо перочинный ножик. Джорджо по-итальянски отвечал, что у него нет и не было ножика. Элиот встал и принялся искать нож и тоже не нашел, предложив взамен маникюрные ножницы. Наконец бечевки удалось перерезать. Джойс ощупью раздергивал грубую коричневую бумагу, в которую Паунд старательно завернул таинственное содержимое. Через пару минут сосредоточенной возни в центре вполне благопристойного отельного стола возвышалась пара старых, но тоже вполне приличных коричневых ботинок.

Все молча глядели на этот дар литератора литератору. Потом

Льюис вдруг захохотал. Но Джойс не дотронулся до ботинок. Он сел в свое кресло, изящно уместив левую щиколотку на правом колене. Элиот, со своей знаменитой улыбкой — полу-Джоконда, полупрезидент США, — поинтересовался, не собирается ли Джойс отобедать с ними. Повернувшись к сыну, Джойс на том же стремительном итальянском велел ему идти домой и передать маме, что отец не будет с ними ужинать. То есть он дал понять, что принял приглашения сразу на две трапезы — утреннюю и вечернюю. Джорджо так же стремительно ответил, что не собирается отягощать себя миссией гонца и с удовольствием останется с ними. Джойс неумолимо вручил ему пресловутые ботинки и кивком указал на дверь. С багровым от ярости лицом, бормоча итальянские ругательства, Джойс-младший помчался к двери, но овладел собой настолько, что сумел вернуться, поклониться и даже пожать джентльменам руки. Они пошли в маленький ресторанчик неподалеку, рекомендованный Джойсом, и там он вел себя уже как гостеприимный хозяин. Он выбрал для них столик, заказал отличный обед и хорошее вино, потом расплатился за него, оставив царские чаевые. Льюис вспоминал, что из такси он выскочил раньше всех и заплатил шоферу, также вознаградив его несоразмерно щедро. В кафе Джойс расплатился за пиво и кофе. Так было отмечено прибытие пары старых башмаков.

С Элиотом он вел себя сдержанно. Того забавляло, как мало внимания на него обращает известный прозаик, но говорил Джойс завораживающе. Тем не менее Элиот поначалу нашел его тяжелым и высокомерным, с чем не согласился Уиндем Льюис. Элиот поправился: «Он может не казаться высокомерным, но — остается им». — «Горд, как Люцифер?» — «Ну, я не поминал Люцифера…» Льюис вздохнул: «Какие они все же провинциалы, благослови Господь их уродливые броганы!»[124] — «Однако он был предельно вежлив», — напомнил Элиот. «Да, он вежлив». — «Ты видел, мне ни разу не удалось закрыть за ним дверь; он все время говорил: „После вас“. Он весь сплошное „После вас“». — «О да. Он вполне вежлив. Но он невероятно горделив. Скрытно. Потому он так вежлив. Мне было бы легче, не будь он так вежлив», — улыбаясь, заметил Элиот.

То же самое говорил Станислаус и добавлял упрек в неискренности. Один милый нелитературный англичанин говорил: «Я предельно вежлив, когда я крайне груб». Такой формой самообороны Джойс пользовался в Париже очень часто. И все же Льюис, Элиот и Джойс подружились. Сперва Джойс шутил на темы стихов Элиота, давая понять, что все же читал их: «Я сегодня был в зоопарке и поклонился вашему другу, бегемоту».

Намек демонстрировал знакомство с уже известным стихотворением Элиота «Гиппопотам». Все же серьезно Джойс задумался о стихах Элиота, лишь прочитав «Бесплодную землю». Одна его приятельница сказала: «Как бы мне хотелось понять их!..» И Джойс ответил вопросом, который мог бы задать сам Элиот: «А вам надо их понимать?» Тем не менее он спародировал Элиота в «Поминках по Финнегану» и записал в одной из книжек, что Элиот довел до абсурда идею поэзии для утонченных леди.

Джойс шесть или семь раз переписывал «Цирцею» от начала до конца, пока наконец 20 декабря 1920 года не решил, что она закончена. Он даже решился сообщить Франчини Бруни: «Считаю, что это лучшее, что я пока написал». Но по-прежнему не было известно, кто и как будет печатать всего «Улисса». Последняя надежда Гарриет Уивер напечатать книгу в Англии рухнула после августа — ни один тамошний типограф не решился на это. Сначала вероятнее всего выглядела возможность американского издания: Хюбш, уже выпустивший «Портрет…» и «Дублинцев», заинтересовался «Улиссом». Но к тому времени Американское почтовое ведомство, отвечавшее за непересечение границ страны любой продукцией аморального свойства, задержало, конфисковало и сожгло те четыре выпуска «Литтл ревью», что содержали отрывки из «Улисса». Это создавало прецедент для возможного судебного преследования любого американского издателя за непристойность. Джон Куинн предложил частным образом отпечатать полторы тысячи экземпляров, половину которых можно продать в Европе по 12 с половиной долларов каждый, а гонорар Джойса будет около тысячи фунтов — по крайней мере так он писал Этторе Шмицу в январе 1921-го. Тем временем издательство «Бони и Ливрайт» прислало к нему своего парижского агента для переговоров о правах на «Улисса». Решение зависело от окончательного согласия Хюбша, а он заколебался: приходилось выбирать между тюремным заключением или штрафом и возможностью упустить «громкую» книгу. Джойса это страшно раздражало — он видел здесь лишь недостаток энергии, но тот, кто знает историю американской цензуры, поймет Хюбша. Возможно, понимал и Джойс; ведь это ему принадлежит запомнившаяся Паунду шутка: «Роман не напечатают за пределами Африки».

Работа над «Изгнанниками» тоже встала. Люнье-По вроде бы уже заверил автора, что они с Сюзан Деспре поставят пьесу в декабре или январе, и Джойс даже согласился на то, что Жак Натансон адаптирует ее к сцене, лишь бы увидеть многострадальное детище, и о деньгах он уже не думал, но тут Люнье-По с оглушительным успехом выпустил «Великодушного

рогоносца» Кроммелинка, и работа снова была отложена, предположительно до весны. Именно удивительное сходство между легким фарсом бельгийского драматурга и его мрачноватым треугольником лишало Джойса всякой надежды на успех, даже при выходе на сцену, но Люнье-По официально сообщил ему, что не намерен тратить 15 тысяч франков на заведомо провальную постановку.

Известие это наложилось на два переезда Джойса, правда, уже внутри Парижа: все начало осени он искал квартиру, не нашел и был вынужден переехать обратно, на рю де Юниверсите, свой двадцатый адрес — адрес завершения «Улисса». Потом кто-то из знакомых сообщил ему о квартире на бульваре Рас-пай, 5. Пристанище бальзаковских куртизанок не стало дешевле — наоборот, это было много дороже, чем он мог себе позволить. 300 фунтов в год — Джойс не всякий год зарабатывал столько, но сейчас он собрал эти деньги, чему удивлялся сам: «Я пришел в этот город босиком (для уточнения: в чужих ботинках. — А. К.), а заканчиваю въездом в роскошную квартиру…»

Глаза, как водится, уравновесили это подобие удачи. Весь ноябрь и часть декабря его мучили жестокие боли, но радужка была еще цела. В письме мисс Уивер он шутил, что это Цирцея мстит ему за то, как он переписал ее легенду. Дьявол бы побрал этот год, добавлял он, и как можно быстрее…

Глава двадцать девятая ПОКЛОННИКИ, ПОМОЩНИКИ, ПОДДЕРЖКА

In mockery I have set a powerful symbol up…[125]

Одна из самых необъяснимых и повторяющихся ситуаций в биографии Джойса в том, сколько людей буквально стекалось помочь этому неуживчивому, угрюмому, скандальному и подозрительному человеку. Разрывая самые, казалось бы, сложившиеся отношения, подозревая самых близких друзей в измене и обмане, он тут же находил других — или его тут же находили другие. Париж не стал исключением — среди тех, кто не оставит Джойса никогда и ни за что, оказались уже упомянутые Сильвия Бич и Адриенн Монье.

Как жители мира литературы, они прекрасно понимали, что полезнее всего знакомить Джойса с дружественными критиками. Выбор, который они сделали, не мог быть лучше.

Валери Ларбо (1881–1957) был космополитом, богачом и путешественником. Но при этом он заслуженно считался одним из самых авторитетных французских литературоведов-зарубежников, особенно в английской и итальянской части. Он знал шесть языков и создал значительные переводы английской классики на французский — «Рассказ Старого Морехода» Кольриджа, «Путь всякой плоти» Сэмюела Батлера, романы Конрада и Харди. Выпустил, несколько интересных и насмешливых романов. Эллман считает его скорее великолепно эрудированным дилетантом, чем серьезным исследователем, но он, как и Паунд, отличался острым чутьем на все подлинно новое и считал своим великим долгом этому новому помогать пробиваться сквозь булыжники традиции. Подруги решили, что никто в Париже не сможет лучше помочь пробиться и Джойсу. Еще на Рождество 1920-го они предприняли первый заход, Ларбо заинтересовался «Улиссом», Джойс передал ему номера «Литтл ревью» и машинописную копию «Быков Гелиоса», и Ларбо вдруг умолк почти на два месяца.

Затем в феврале 1921 года Сильвия Бич получила от него письмо, начинавшееся словами: «Я буйно помешался на „Улиссе“». Ларбо писал, что это такая же великая, всеобъемлющая и человечная книга, как и «Гаргантюа и Пантагрюэль», а Блум будет так же бессмертен, как сэр Джон Фальстаф. Он отложил всё, пока не дочитал, а теперь просит

разрешения перевести несколько страниц и приложить их к статье о Джойсе в «Нувель литератюр франсез», лучшем и остромодном издании, освещавшем современную литературу. Можно ли раздобыть фотографию писателя?

«Шекспир и компания» ликовали. Джойс из чистой осторожности не слишком поддавался чувствам и сдержанно поблагодарил Ларбо за «ободряющие и дружелюбные слова», но мисс Уивер, Бадгену, Франчини и прочим друзьям тут же описал нового мощного соратника. Сильвия и Адриенн детально обсудили с Ларбо, как наилучшим образом явить Джойса придирчивой публике. Было решено, что Ларбо еще до публикации статьи даст нечто вроде лекции о Джойсе в «Доме друзей книги» у Адриенн. Представляя Сэмюела Батлера, он имел большой успех. Оставалось повторить это с Джойсом.

Но вряд ли стоило говорить о книге до того, как автор ее закончит. График Джойса определял это событие для апреля — мая, и он работал изо всех сил, стараясь не перелить свою усталость и нетерпение в буйный гротеск последних эпизодов, иногда стеная и ругаясь вслух. На «Эвмея» ушли, по знаменитой раскладке Литца, январь — февраль, одновременно писались и «Пенелопа», которую Джойс вчерне написал еще до «Итаки», с февраля по октябрь. Фрэнк Бадген слегка проблеснул в коварном матросе. «Эвмей» был отослан ремингтонисту (мужчины были ими тогда куда чаще женщин) в середине февраля, затем спешно была прислана «Итака», «мой последний и самый бурный мыс». «Пенелопу» Джойс писал гораздо легче и без прежних мучений, но заметки для этих двух эпизодов все еще оставались в Триесте вместе с его книгами, и Джойс, мучительно боявшийся, что почта может их потерять, решил попросить о помощи Этторе Шмица. Тот часто путешествовал по делам в Париж и Лондон, и Джойс описал, где в квартире шурина стоит «клеенчатая папка цвета живота монашки, перехваченная резинкой, размером 95 на 70 сантиметров… общим весом 4 кг 780 гр». Эту папку с заметками он нижайше просил захватить с собой, буде уважаемый коллега Шмиц или кто из его домочадцев направится в ближайшее время в Париж, и не порвать случайно резинку, ибо записи вылетят и разлетятся… Поэтому ее лучше запереть в отдельный чемодан. Его можно купить, педантично указывал Джойс, в «Грайнитц Неффен» прямо напротив «Пикколо», «мимо которой обычно проходит мой брат, профессор Берлиц-Куль[126]».

Когда в марте Шмиц лично привез папку, Джойс тут же переложил старые записи новыми и бросился в сражение — он хотел построить «Итаку» и «Пенелопу» как два текста-антагониста, текст «математико-астрономико-физико-геометрико-

химико-сублимации Блума и Стивена (дьявол забери обоих)», готовящий финальный криволинейно расширяющийся эпизод, «Пенелопу». Бадгену он истолковывал это еще подробнее:

«„Итака“ пишется в форме математического катехизиса. Все события разрешаются в их космическом, физическом, психическом и т. п. эквиваленте; например, когда Блум входит в дом, набирает воду из крана, никак не может помочиться в саду, зажигает ароматическое курение и обычную свечку, освещая статуэтку, все делается так, чтобы читатель не просто знал это в самом что ни на есть наиподробнейшем виде, но чтобы Стивен и Блум предстали еще и небесными телами, скитальцами, подобными звездам, на которые они глазеют. Последнее слово (человеческое, слишком человеческое)[127] остается за Пенелопой. Оно будет незаменимым паролем в противоположность Блумову паспорту для вечности».

Между тем первые камушки лавины уже катились вниз.

«Литтл ревью» в феврале получил вызов в суд. Но и до этого Маргарет Андерсон и Джейн Хип уже не раз отстаивали журнал от обвинений. У них был свой печатник, серб, которого обсценная лексика, даже на сербском, скорее смешила, чем возмущала. Даже когда почтовое ведомство США начало войну, отказываясь пересылать журнал, содержащий непристойности, он спокойно продолжал его набирать. Выпуски «Улисса» издавались с августа 1918-го, и Джон Куинн, юрист, меценат и защитник нового искусства, беспокоился скорее о возможных последствиях, но после того, как в 1919-м январский номер явил миру «Листригонов», а майский «Сциллу и Харибду», они были конфискованы. Протест Куинна, высланный юристу почтового ведомства, был отклонен, а в январе 1920-го был конфискован номер с «Циклопами».

Ситуация опасно осложнялась. Конфискация чаще всего завершалась «аутодафе», и хотя Джойса это развлекало (он язвил, что второй раз имеет удовольствие быть сожженным при жизни, так что надеется пройти чистилище так же быстро, как и его патрон, святой Алоизий), но создавался опасный прецедент. Кроме того, он тщеславно мечтал о хорошем, звучном процессе вроде суда над «Госпожой Бовари», а процесс «Литтл ревью» оказался совсем не так звучен и общезначим. Иск был вчинен, когда вышла «Навсикая», в июле — августе 1920 года.

Джон С. Самнер, секретарь Нью-Йоркского общества предупреждения распространения порока, милый человеке мягкими манерами, в сентябре подал официальную жалобу. Собственно, Паунд и Куинн предполагали это и даже считали нужным убрать на время книгу из журнала, пока не выйдет весь

текст, который защитит ее лучше всякого адвоката. Выдернутые из контекста части могли показаться чем угодно. Издательниц вызвали в суд, Куинн вызвался бесплатно защищать их, и это было благородно — журнал ему не нравился. Да и Андерсон с Хип тоже, и он пользовался взаимностью, хотя все старались не осложнять ситуацию враждебностью. Паунду примирить их не удалось.

Предварительные слушания состоялись в полицейском суде 22 октября. Дело передали в суд особой инстанции, и не помогли никакие попытки Куинна переквалифицировать его. Рушилось намерение дать Джойсу время напечатать книгу целиком, прежде чем будет принято решение. Удалось добиться нескольких отсрочек, но 14 февраля 1921 года суд все равно состоялся. Дело слушалось тремя судьями, а в зале сидело несколько сотен жителей Гринвич-Виллиджа, тогда богемной и артистической колонии Нью-Йорка.

Куинн прежде всего подверг сомнению компетентность суда, собирающегося решать такие вопросы. Ему было указано, что жюри вполне компетентно. Тогда он сделал сильный ход — вызвал свидетеля. И не одного.

Скофилд Тэйер, издатель знаменитого журнала «Дайэл», Филип Молер из Театральной гильдии, известный романист, философ и критик Джон Каупер Пойс объясняли суду, что «Улисс» — прекрасное и мощное произведение нового искусства, никоим образом не способное развратить умы молодых девушек (трудно поверить, но это была одна из наиболее неумолимых формул судебной оценки), что в нем воплотились категории учения великого доктора Фрейда. Фрейд был для судей не менее подозрителен, чем Джойс. Правда, Тэйер сознался, что он вряд ли напечатал бы «Навсикаю». И это очень неприятно совпало с самыми жесткими фрагментами, умело отобранными и зачитанными Самнером.

Один судья строго заметил, что подобное не должно было звучать в присутствии мисс Андерсон.

— Ведь она издатель, — усмехнулся Куинн.

— Сомневаюсь, что ей было известно значение того, что она издавала, — не сдавался судья.

Двое других судей сочли зачитанные отрывки попросту непонятными. Куинн обрадованно согласился — непонятное лучше непристойного. На замечание о нарушениях норм правописания и пунктуации он ответил, что у Джойса очень слабое зрение. Судьи решили, что заседание следует перенести, чтобы они смогли внимательно прочесть выпуск с «Навсикаей».

21 февраля заседание возобновилось, и Куинн выложил свой

последний довод. Он говорил о том, как похожи судьба кубизма и прозы Джойса — уж о кубизме-то судьи что-то знали. Он настаивал, что эпизод скорее вызывает отвращение, чем развращает. Если даже Герти Макдауэлл и показывает свои трусики, то манекены на Пятой авеню выглядят намного откровеннее. Прокурор громогласно и гневно отклонил эти доводы, чем не преминул воспользоваться Куинн.

— Смотрите! — воскликнул он, показывая на оппонента. — Вот мое лучшее подтверждение. Вот доказательство, что «Улисс» не растлевает и не наполняет людей гнусными мыслями! Взгляните лучше на него! Он совершенно выведен из себя. Он хочет кого-нибудь ударить. Он не хочет кого-то любить. Это и делает «Улисс» — он сердит людей, но не толкает их в объятия каких-то сирен.

Судьи засмеялись. Куинн решил, что победа за ним, но к ним тут же вернулась суровость. Приговор гласил, что за публикацию непристойностей обе издательницы должны выплатить по 50 долларов штрафа. Разумеется, публикация романа приостанавливалась, и Куинн был вынужден признать, что «Навсикая» — самый непристойный эпизод книги, чтобы остальные не утяжелили приговор и не обернулись для Андерсон и Хип тюремным заключением.

На улице он сказал им:

— А теперь, бога ради, не печатайте больше непристойностей.

— И как же я узнаю, что это непристойности? — поинтересовалась Маргарет.

— Я точно не знаю, — вздохнул Куинн. — Но не печатайте их!

И издательницы, и их друзья предпочли бы тюрьму — не из экономии, а ради паблисити. Куинн постарался скорее умалить значение проблемы, чем добиться решения суда о ее сложной природе. В письме Джойсу он оправдывался, что с этими судьями другая тактика не сработала бы… Хотя процессом заинтересовались «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк трибюн», книжное издание «Улисса» стало еще сложнее. Изменений в тексте потребовал даже верный Хюбш, и так как Куинн, пока представлявший Джойса, отказался от них, появились формальные основания отклонить рукопись. «Бони и Ливрайт» не возобновляли разговора об издании. Джойс чувствовал себя все глубже загнанным в угол. Зайдя как-то в «Шекспир и компанию», поделиться своими несчастьями с Сильвией Бич, он сказал:

— Моя книга никогда не выйдет.

Сильвия задумалась.

— Послушайте, — сказала она. — Не окажете ли вы «Шекспиру и компании» честь выпустить вашего «Улисса»?

Несмотря на все, Джойс был удивлен и даже потрясен.

— Вы же понимаете, что эту книгу никто не купит, — сказал он.

— Понимаю, — ответила Сильвия. — Но стоит рискнуть.

— Я согласен, — ответил быстро пришедший в себя Джойс.

На следующий день, 5 апреля, Сильвия пригласила Адриенн, которая искренне обрадовалась, помогла обсудить с Джойсом условия издания и даже посоветовала лучшего из возможных в этой ситуации печатников — Морис Дарантьер, дижонский типограф, интеллигентный и предприимчивый человек, только что отпечатал для нее «Записки „Друзей книги“». Было решено изготовить тысячу экземпляров и все, что можно, побыстрее продать по подписке. Сотню нумерованных экземпляров на знаменитой голландской бумаге «Амстердам» или «Pro Patria», с автографом Джойса по 350 франков; еще полторы сотни на хлопковом верже д’Аркез с шероховатыми волокнами и необрезанными краями. За эти тома — тоже по 250 франков. Остальные на бумаге подешевле, но тоже изысканной — тряпичной, что позволяло установить цену в 150 франков. Роялти Джойса должны были составить 66 процентов от продажи нетто.

Когда компания выходила из квартиры, Джойс показал тростью на сынишку консьержки, игравшего на ступеньках, и сказал:

— Однажды этот парень станет читателем «Улисса».

Забавно было бы узнать, случилось это или нет.

В танцзале «Баль Булье» они отпраздновали соглашение. После они отправились в «Клозери де Лила», а по дороге Джойс развивал одну из своих любимых тем — силу слова, и в первую очередь слова английского языка. Примкнувший к ним молодой англичанин Артур Пауэр отстаивал магию французского, но Джойс неумолимо цитировал Библию на двух языках и сравнивал их. По пути в модный ресторан это звучало особенно завораживающе. Джойс кричал: «Как жалко звучит „Jeune homme, je te dis, leve-toi“ и как могуче „Young man, I say unto thee, arise“!»[128] «Улисс» был не в последнюю очередь написан о том, сколько может этот язык и чем он богат.

Вряд ли Сильвия Бич до конца представляла себе, что за миссию взвалила на себя, а подумать об этом перед изданием было уже некогда. Списавшись с Гарриет Уивер, она обрела бесценную помощницу — та пообещала ей прислать имена и адреса всех, кто в Англии когда-либо интересовался «Улиссом», а Джойсу перевела 200 фунтов как аванс в счет английских роялти,

которые придут от английского издания, напечатанного с французского набора после распродажи ограниченного французского издания. То есть условия оказались даже выгоднее, чем у «Шекспира и компании». Удалось собрать обнадеживающе большое число потенциальных французских подписчиков, чему помогли Ларбо, Адриенн и Леон Поль Фарг, а в Америке старались Паунд и Роберт Макэлмон. Андре Жид подписался лично, Хемингуэй тоже сам прислал восторженную просьбу, Паунд обеспечил подписку Йетса, а нескольким сотням других был разослан четырехстраничный буклет с множеством хвалебных отзывов; Ларбо написал там: «С „Улиссом“ Ирландия совершает сенсационное возвращение в лучшую европейскую литературу».

Отозвались самые неожиданные люди — англиканский епископ, Уинстон Черчилль, ирландцы-революционеры, а из Триеста всего один человек, барон Ралли. Джойс желчно заметил, что если там найдется еще один, кто выложит 300 лир за книгу, можно ставить свечу святому Антонию.

Были и отказы, иногда довольно подробные, чуть ли не целые рецензии. Бернард Шоу написал, что читал куски «Улисса» и считает, что в них дана отталкивающая, но в общем верная картина Ирландии. Ему бы хотелось, чтобы их прочел каждый ирландец (Шоу тщательно оговорился — «ирландец мужского пола»), который сможет выдержать свое отражение в этом зеркале; сам он покинул Дублин в двадцать, но сейчас, в шестьдесят, видит, что там мало что изменилось. «По крайней мере кому-то хватило храбрости написать все это и утереть ирландцам нос…» Он добавил еще, что если мисс Бич полагает в своем энтузиазме, что найдется ирландец, особенно в его, Шоу, возрасте, решившийся заплатить такие деньги за книгу, она очень слабо знакома с его народом.

Джойс тем не менее был в восторге от его письма; к тому же он выиграл у Сильвии ящик шампанского, поспорив, что Шоу припомнит ему отказ «Инглиш плейерс» платить за постановку его пьесы. Шоу тоже припомнили его отказ подписаться — один только Паунд отправил ему дюжину укоризненных посланий. Но Шоу, по его словам, заботился о пенсах, а Паунду (то есть «фунту») предоставлял позаботиться о себе самом.

«Цирцею» перепечатывали несколько машинисток, но они фатальным образом отпадали — одна за другой. У первой отец перенес тяжелый приступ, и Джойс меланхолически отметил, что в напечатанном ею эпизоде описано именно это… Мисс Харрисон, жена служащего британского посольства, держалась дольше всех, но муж случайно глянул в рукопись, перечитал увиденное — и

без слов швырнул в камин. Большую часть она все же успела спрятать и с множеством предосторожностей вернула Джойсу. Удалось сделать фотокопию недостающих страниц с раннего варианта, который прислали из Нью-Йорка, найти еще одну машинистку и завершить работу. Референтной группой стали мисс Уивер, Паунд, Ларбо, Элиот и Бадген; они первыми читали все законченные новые эпизоды. К этому времени было договорено, что Элиот и Ричард Олдингтон обсудят книгу с положительной и отрицательной сторон, но Олдингтон в «Инглиш ревью» за апрель 1921 года язвительно прошелся по тому, что казалось ему недостатками книги. Джойс против обыкновения удержался от скандала, полагая, что сейчас важна любая слава. Паунд, слегка остывший к «Улиссу» где-то посередине, вновь зажегся прежним восторгом, прочитав «Цирцею», и сравнил ее с «Адом» Данте.

Словом, Париж принял Джойса, а он его — «последний из человечных городов». Французская столица не мешала уединению, когда писателю того хотелось, а для общения преподносила ему известнейших людей того времени — он ужинал в компании Игоря Стравинского и Сергея Дягилева, после премьеры их балета. Он пришел позже всех и несколько раз извинился, что одет не по протоколу: опять не было приличного костюма, не говоря уже о смокинге. Потому же он пил больше обычного, чтобы скрыть досаду, и едва не пропустил момент, когда появился Марсель Пруст в толстой шубе (прием был в мае 1921-го). Хотя приглашение было послано, Пруста, известного агорафоба, не ждал никто. Джойса представили, и он со стаканом в руке уселся рядом с Прустом и не отходил от него до конца вечера.

Эпохальный разговор двух титанов передавали потом по-разному. Уильям Карлос Уильямс рассказывал, что Джойс сказал: «У меня каждый день головные боли. А глаза просто ужасные». Пруст отвечал: «Мой бедный желудок… Просто не знаю, что делать. Это убийственно. Думаю, что мне лучше уйти». Джойс вздохнул: «У меня то же самое. Надо попросить кого-нибудь отвезти меня домой. До свидания». — «Очаровательно, — сказал Пруст. — О, мой бедный желудок».

Есть еще несколько версий, более литературных и лестных для собеседников, но сам Джойс писал Бадгену, что их разговор состоял в основном из слова «нет» на трех языках. Пруст спросил его, не знает ли он какого-то герцога, Джойс отвечал «нет». Хозяйка дома спросила Пруста, читал ли он тот или этот отрывок из «Улисса». Пруст отвечал «нет». «Конечно, ситуация была ужасной. День Пруста лишь начинался, а мой подходил к концу».

Джойс не слишком восхищался Прустом. Стиль его не походил на то, что в записной книжке названо «аналитическими натюрмортами Пруста». Предложения Пруста, писал он, заканчиваются для читателя раньше, чем для автора. Завидовал Джойс по-настоящему только тому, что Пруст не испытывает никаких затруднений: комфортабельная квартира на площади Этуаль, со стенами, обшитыми пробкой для полной изоляции от звуков. А ему приходилось писать в комнате, куда то и дело заходили и выходили. Иногда ему казалось, что он не сможет закончить «Улисса» — не дадут. Но закончить «В поисках утраченного времени» не сумел как раз Пруст: он скончался 18 ноября 1922 года, и Джойс был на похоронах.

Пруст ли стал легендой Джойса, Джойс ли легендой Пруста — не имеет значения, потому что Джойс уже становился персонажем собственной мифологии.

«Дорогая мисс Уивер… можно собрать отличную коллекцию легенд обо мне. Вот несколько. Моя семья в Дублине верит, что я в Швейцарии разбогател во время войны, шпионя для обеих сторон. Триестинцы, видя, что я появляюсь из дома моего родственника, обставленного моей мебелью, каждый день на двадцать минут и иду в одном и том же направлении, к почтамту, затем возвращаюсь (я писал „Навсикаю“ и „Быков Гелиоса“ в ужасной обстановке), пустили слух, в который сами безоглядно поверили — что я кокаинист. Общим мнением в Дублине было (пока не появился „Улисс“), что я не могу больше писать, что я разорен и умираю в Нью-Йорке. Человек из Ливерпуля говорил мне, что слышал, будто я стал владельцем нескольких кинотеатров в Швейцарии. В Америке ходят или ходили две версии: что я аскетичен, как помесь далай-ламы с сэром Рабиндранатом Тагором. Мистер Паунд описывает меня как мрачного абердинского проповедника. Мистер Льюис рассказывал, что ему говорили, что я сумасшедший, у которого с собой всегда четверо часов, и никогда не разговариваю, разве что спрашиваю у соседа, который час.

<…> Я перечислил все эти мнения не затем, чтобы рассказать о себе, но чтобы показать вам, насколько все они путаны и нелепы. Правда же в том, что я совершенно обычный человек, не заслуживающий такого избытка росписи воображением. Далее следует мнение, что я искусно симулирую и изображаю квази-Улисса, „тощего иезуита“, самовлюбленного и циничного. Есть в этом некоторая правда, но она не является определяющей для моей натуры (как и для натуры Улисса), это всего лишь привычка выставлять изображение этих качеств, чтобы прикрыть мои хрупкие творения».

О нем рассказывали все причудливее, и жизнь Джойса интересовала все большее число людей, а журналисты выдумывали то, чего не могли узнать, — и о зеркалах, которыми он окружает себя, когда пишет, и о заплывах в Сене, и о том, что он спит в черных перчатках. Слава оказалась не так упоительна, как грезилось ему в начале века на дублинских улицах, долгими одинокими прогулками. К тому же опять начали одолевать болезни и житейские проблемы. Май завершился нетяжелым, но нудным приступом ирита, и закончился срок аренды квартиры. Здесь на помощь опять пришел друг. Валери Ларбо, уезжавший в Италию, оставил ему свою небольшую, но уютную и прекрасно обставленную квартиру на улице Кардинала Лемуана, 71, почти рядом с Люксембургским садом. Такое жилье могло быть у Джойса разве что сейчас, и то при условии, что законы об охране авторского права продолжали бы действовать. Ларбо, известный тем, что не любил никого принимать дома, удивил Париж, но не Джойса: 3 июня он въехал в чрезвычайно понравившийся ему дом. Для него это было еще одним доказательством его значимости. Ларбо, кстати, еще до этого сказал, что одна «Цирцея» могла сделать имя любому французскому писателю. Джойс тем не менее сухо заметил, что становится «монументом веспасианской[129] величавости».

Ободренный переменами, он почти закончил «Итаку» и «Пенелопу» и уже на новой квартире получил от Дарантьера и вычитал первые гранки «Сциллы и Харибды».

О работе Джойса над гранками можно написать самостоятельную книгу, хотя уже есть немало текстологических трудов, описывающих этот жутковатый процесс. Пять последовательных оттисков, несметное количество дополнений, неуклонное усложнение внутреннего монолога, все новые переплетения деталей. Постепенно и вся книга выросла на треть.

Он выматывал всех — и Дарантьера, и Сильвию, но добивался своего.

Гостей становилось все больше. Старые друзья, новые знакомые, ирландцы и американцы. Почти все уже были уверены, что видят гения. Один из них, выпускник и преподаватель Тринити-колледжа Э. Дж. Левенталь, имел с Джойсом длинную и оживленную беседу о еврейских семьях, живущих в Дублине, — Цитронах, Абрамовичах, о Морисе Соломоне, враче-окулисте и вице-консуле Австро-Венгрии. Скоро стало понятно, что Джойса интересуют Блумы, и он с облегчением узнал, что все они давно покинули город… Левенталь, которому были показаны части рукописи «Улисса» со словами на иврите, высказал вежливые замечания по поводу путаницы в транслитерации, однако Джойс

ему не поверил, и в результате ошибки перешли в окончательный текст. Позже Левенталь напечатал в Дублине одну из первых одобрительных рецензий на «Улисса».

Из американцев ближе других ему был Роберт Макэлмон, поэт и новеллист, женатый на богатой английской наследнице. Он с удовольствием тратил деньги тестя и из них около полутора сотен фунтов ежемесячно ссужал Джойсу, чтобы он мог работать над «Улиссом» и закончить его. Возврат кредита его не волновал. Джойса, впрочем, тоже. Джойс то и дело спрашивал его, как Бадгена, — что он думает о той или иной странице его книги. Но Бадген не был писателем, ревнующим к славе другого и заботившимся о своих произведениях; он вряд ли мог дать «суждение простака». Его очень мало интересовали сложности католицизма и буйство ирландской политики. Тем не менее они часто виделись и говорили. Джойс считал его интересным автором и даже находил сходство в их новеллистике. Его не слишком заботили другие писатели, он даже спрашивал Макэлмона, действительно ли Паунд и Элиот значительные авторы. Макэлмон весело отвечал: «Неужели, Джойс, это спрашиваете вы, сомневающийся во всем, даже в себе?»

Макэлмон стал отчасти соавтором романа: когда не удавалось отыскать машинистку для «Пенелопы», он взялся отпечатать текст, но рукопись была сложной сама по себе, а пометки Джойса густо заполняли все свободное пространство, и временами Макэлмон путал строки в монологе Молли; отчаявшись, он сказал себе, что в этом неорганизованном рассудке все равно нет никакого порядка, и оставил все как есть. Но потом он заметил, что Джойс не выправил его нечаянные переносы, и честно спросил его, заметил ли он что-нибудь. Джойс сказал: «Конечно, но согласился с тобой». Тем не менее, когда в 1925 году он упрекал в письме мисс Уивер, что печатник допустил изменения в «Поминках по Финнегану», Джойс издевался над рыцарственным отношением Макэлмона к Молли:

«Менял ли Фосетт эти слова? Там их два. Не имеет значения. „Кромвелирование“ и… О, да! „Бисексцикл“. Такая куча. Надеюсь все же, что поменял. О крысы! Стиль такая дурацкая штука!.. (С извинениями в адрес мистера Роберта Макэлмона)».

Несколько раз ему и Ларбо случалось выпивать вместе, и в их компании возник молодой и брутальный черноусый американец с рекомендательным письмом от Шервуда Андерсона. Звали его Эрнест Хемингуэй, он был беден, носил в обеих ногах «кучу ржавых шурупов и гвоздей» от немецкой шрапнели, писал рассказы и подрабатывал репортерской работой. Появился и Сэмюел Рот, очень интересный поэт, удостоившийся искренних

похвал Э. А. Робинсона. Джойс, по всегдашнему интересу к евреям, благосклонно отнесся к нему и внимал восторгам Рота по поводу его прозы без обычной подозрительности. (Знал бы он, что Рот станет первым его «пиратом», издав куски «Улисса» без разрешения автора! Сильвии Бич придется потратить много сил, чтобы справиться с этим, — понадобится даже так называемый «Международный протест» 1927 года, где уважаемые и известные литераторы высказывались против публикации. С другой стороны, это помогло издательству «Рэндом хауз» добиться отмены цензурного запрета на роман.)

Сисли Хаддлстон, английский журналист и прозаик, сначала не воспринял Джойса: тот показался ему чопорным и скучным. Однако и его до слез рассмешила шутка Джойса. В кафе пела певица, и ночная бабочка влетела ей в широко открытый рот. Певицу едва не стошнило, а сухо усмехнувшийся Джойс тут же процитировал: «Как бабочку тянет к звезде…»[130]

Уиндем Льюис часто встречался с Джойсом в «Цыганском баре» возле Пантеона, и алкоголь смягчал их обычные раздоры, но ненамного. Они спорили обо всем — о готических соборах, о войнах, а самые жестокие споры были о национальных проблемах: в случае Джойса это всегда был разговор либо об ирландцах, либо о евреях. Как-то Джойс заявил, что ирландские и еврейские божества совершенно схожи. Льюис сказал, что ирландские воинственнее.

— Были воинственнее, хотите вы сказать? — вдруг ощетинился Джойс. — Возможно. Я о них очень мало знаю.

Но потом вдруг задумчиво добавил:

— Мне так не кажется… Очень нежная и мягкая раса…

Чтобы было интереснее, Льюис часто приманивал в компанию парочку местных проституток. Их щедро поили, забавлялись их выходками и словечками, но другого внимания не удостаивали. Однажды подвыпивший Льюис нарушил было правило, но Джойс его величаво осадил:

— Не забывайте, что вы автор «Идеального гиганта»…

Самого Джойса как-то заинтересовал дирижер маленького оркестрика, и он спросил старшую из девиц о нем. Та, подумав, сказала:

— Ему сорок. Он старый.

Джойс, которому вот-вот должно было исполниться сорок, спросил:

— Разве сорок — это старость? У римлян «младшим» именовали человека до пятидесяти…

Девица испугалась, что ее выгонят из-за стола, но все обошлось.

Как-то ночью Джойс и Льюис постучались в дверь бара уже после закрытия, и в ответ на требование назваться Джойс принялся громко декламировать Верлена. Двери тут же отворились перед «мсье ле поэт»…

Он продолжал собирать в роман все, что находил, как Стендаль — «Я беру свое добро везде, где его нахожу…» У Уоллисов он подслушал разговор между хозяйкой дома и молодым художником. Что говорил гость, ему не было слышно, а вот «да», произнесенное много раз с меняющейся интонацией и выражением, доносилось отчетливо.

Джойс вдруг понял: вот оно, то слово, которым начнется и закончится «Пенелопа». Он тут же написал Ларбо: «Вы много раз спрашивали меня, каким словом я закончу „Улисса“. Вот оно: „ДА“».

Но тревога за будущее книги никуда не делась: возможно, потому он и пил так часто, невзирая на дурное самочувствие и все ухудшающееся зрение, что ждал новых неприятностей, и они чинно являлись и занимали свои места. В любом событии — зубная боль, гроза, с визгом затормозившее такси — Джойс провидел рок и несчастья. Все суеверия Европы он знал наизусть и видел их повсюду, в явном и скрытом. Тринадцать, его любимое число, приносившее удачу, возникало в сумме цифр 1921; но одновременно это был день смерти Мэри Джейн Джойс. Пенелопа была ткачиха — «уивер» по-английски, а это была фамилия самой преданной его сторонницы и благодетельницы… Он суеверно вглядывался сквозь толстые стекла, как лежат вилка и нож — не крестом ли? Разливали вино — он следил, как Макэлмон это делает. Обычная парижская крыса метнулась по лестнице, и Джойс уже взвинчен: «Дурной знак!» Он потерял сознание от волнения, его пришлось везти домой в такси и с помощью водителя внести в квартиру. Обозленная Нора все же сдержалась, когда поняла, что он не пьян, а еле жив от ужаса. На следующий день, когда они с Макэлмоном и Норой пили кофе с ликером в «Кафе д'Аркур», пришлось опять вызывать такси — у Джойса начался мучительный приступ ирита. Пять недель он пролежал дома, в темноте, пытаясь ослабить боли теплыми компрессами и регулярным закапыванием кокаина. Друзья звонили ему, чтобы хоть как-то приободрить, приходили навестить его вместе с офтальмологом, и Джойс проверял, не ослеп ли он, считая фонари на Пляс де ла Конкорд, а они подтверждали число. К августу приступ прошел. Он радовался, что приходит в себя быстрее обычного, и работал над корректурой то одним, то другим глазом иной раз по двенадцать часов в сутки. Перерывы наступали, когда он переставал что-нибудь видеть и дожидался,

пока снова начнет различать буквы. Джойс понимал, что рискует, но не мог больше откладывать работу. «Голова идет кругом, но моему читателю придется еще хуже, — иронично замечал он. — Конечно, это причуда; книга вряд ли окупит и десятую часть таких усилий». Но он изо всех сил старался наверстать потерянное время.

Ему надо во что бы то ни стало дописать «Итаку», отложенную ради «Пенелопы» и уже несколько раз переписанную заново. Первое предложение «Пенелопы» уже содержало две с половиной тысячи слов и явно должно было вырасти в несколько раз. «Блум и все Блумово скоро помрет, слава Господу. Все говорят, он должен был помереть много раньше…»

В октябре вернулся из Италии Ларбо, и Джойсу пришлось заняться другим привычным спортом: искать жилье. Уиндем Льюис, приглашенный навестить Джойсов перед тем, как они освободят квартиру, вспоминал, как он увидел Джорджо, валявшегося на диване в своей комнате, задрав ноги на печку. Затем он заметил Нору, которая предположительно бегала по Парижу, ища квартиру; но в реальности она сидела, задрав ноги на стол. А на балконе Лючия читала, задрав ноги на перила. Откуда могло взяться при такой позиции новое жилье, было тайной, и Джойсам пришлось переезжать обратно на рю де Юниверсите, 9, где они опять спали втроем в одной комнате, а во второй спал и писал отец семейства. Несколько карликовых пальм в горшках занимали драгоценное место, потому что они напоминали Джойсу о Феникс-парке: одна увядала, ее выбрасывали и заменяли новой. А Джойс продолжал писать.

«Пенелопа» в начале октября отослана печатникам, он занимается заново набранным «Эолом», дорабатывает «Гадес» и «Лотофагов», правит остальные главы, не трогая лишь «Телемака». Он выжимает из тети Джозефины все сведения о старом майоре Пауэлле и Мэтте Диллоне, предположительно прототипах отца Молли Блум, об их дочерях — «всё, что только сможешь вспомнить, нацарапай хоть на оберточной бумаге…». До последнего дня он делал поправки и дополнения, и день завершения «Улисса» едва не стал днем его публикации. Лекция Ларбо уже была назначена на 7 декабря, и Джойс изо всех сил старался успеть к этому дню, и старание это было чуть ли не единственным источником его сил. В конце октября Ларбо прислал экземпляр практически законченной «Пенелопы», 29-го была завершена «Итака» и Макэлмон получил письмо с сообщением, что роман написан. Оставалось лишь поправить четыре последних эпизода.

В ноябре Ларбо получил от Джойса бесценный подарок для

своей лекции — ту самую классическую схему, где расписаны эпизоды и их гомеровские параллели вкупе с характеристиками той литературной техники, которая была использована для каждого из них. И тогда же в большом письме он обсуждает с Ларбо свой метод. Ларбо предложил для него название, подсказанное романом Поля Бурже «Космополис» (1893) — «monologue intériuer», внутренний монолог. Джойс утверждал, что в оформившемся и устойчивом виде его использовал все тот же Эдуар Дюжарден в романе «Лавры срублены»; там, писал он, с первых же строк читатель ощущает себя погруженным в мысли главного героя, прерывающиеся, отвлекающиеся, сбивчивые, и это развертывание пришло на смену традиционному повествованию о действиях или окружении персонажа.

Андре Жид позже будет утверждать, что прием или даже весь метод сложился из техник Достоевского, Браунинга и Эдгара По. Но в конце концов прародителем признан Дюжарден, а имянарекателем — Уильям Джеймс. Впоследствии Дюжардена полюбили и Ларбо, и Уильям Карлос Уильямс, а в 1931 году Дюжарден сам выпустил книгу под названием «Внутренний монолог». Джойсу он прислал хвалебное письмо, а Джойс надписал ему экземпляр «Улисса». В ответе он называл Дюжардена «мэтр», а роман его «вечнозеленым». Но множество исследователей сходятся в том, что значимость и популярность метод внутреннего монолога обрел только после гигантской работы, проделанной Джойсом. Тем не менее он делал все, чтобы книга Дюжардена стала известной, и предлагал перевести ее на английский, чтобы воздать ему по заслугам и доказать, что он не реликт прошлого века, а провозвестник новой литературы. Стюарт Гилберт сделал английский перевод, встреченный с интересом и одобрением.

Возможность извлечь денежную выгоду для Джойса из вечера-лекции Ларбо была подсчитана Сильвией и Адриенн, намеренными даже перевести и прочитать вслух куски из «Улисса», но времени для этого у них уже не было. Всё же они нашли Жака Бенуа-Меше, двадцатилетнего музыканта, умницу и поклонника Джойса. Он с радостью взялся за работу, которая соединяла его с любимым автором. Позже он напишет, что жизнь сводила его с несколькими гениями, но никто не вызвал такого твердого и определенного ощущения человеческой гениальности, как Джойс, — он мог ничего не говорить и все равно вызывал это ощущение. «В нем было нечто беспредельное и избыточное, вдобавок к огромному достоинству. Это был Просперо из „Бури“ Шекспира».

Бенуа-Меше для точного перевода «Пенелопы» понадобилась

та же схема всего «Улисса». Но Джойс показал ему лишь отрывки, добавив полушутя, что вставил в книгу столько загадок и головоломок, что профессорам хватит на много-много лет, и не хочет оставаться без гарантии бессмертия. Переводчик мягко настаивал, и Джойс все же дал ему ее, а затем набросок увидела Сильвия Бич, потом доверенные друзья, и потаенный машинописный листок, правда не целиком, в 1931 году долетел до книги Стюарта Гилберта «„Улисс“ Джеймса Джойса». Многие критики, зная о существовании этого сказочного документа, выпрашивали его прежде, но безрезультатно. Кстати, был человек, которому Джойс послал его раньше всех — видимо, потому, что хотел, чтобы именно он оценил замысел во всей полноте. Это был Карло Линати, друг и итальянский переводчик Джойса, впоследствии именно он перевел «Улисса».

Ему Джойс еще в 1920 году послал эту схему и довольно подробный по тем временам комментарий: «Это эпос двух рас — ирландской и израильской и в то же время цикл человеческого тела, так же как и небольшая история одного дня. Характер Улисса всегда зачаровывал меня — еще мальчишкой. Вообразите, пятнадцать лет назад я начал его с рассказа для „Дублинцев“! Семь лет я работал над этой книгой, будь она проклята. Это еще и краткая энциклопедия. Моим намерением было перенести миф sub specie temporis nostri[131]. Каждое приключение (а также каждый час, каждый орган, каждый вид искусства — все они переплетены и породнены в цельной структурной схеме) не только обусловливает, но и создает свою собственную технику. Любое событие есть еще и, так сказать, отдельная личность, хотя из личностей и состоит…»

На просмотр и утверждение текст Бенуа-Мешe отдали Леону Полю Фаргу, который тоже начинал закрепляться в компании Джойса. Он умудрялся шокировать своими рассказами даже самого мэтра — правда, скорее потому, что не стеснялся и женского присутствия. Фарг, сам большой мастер словесной игры, напредлагал столько вариантов, что к 5 декабря перевод закончить не удалось. Для «Сирен» нашли американского актера Джимми Лайта, который собирался прочесть их по-английски, мелодекламируя. Еще вечером накануне лекции Сильвия Бич слышала, как молодой актер повторяет: «И у дверей глухой Пэт, лысый Пэт, очаеванный Пэт, слушал…», а Джойс негромко правит ритм фразы. А тут и Ларбо, закончивший к 6 декабря свой текст, решил внести добавочные правки в перевод. В эту ночь мало кто спал.

Среда, 7 декабря 1921 года. В маленький книжный магазин чудом вместилось две с половиной сотни гостей. По пути к

лекторскому столу Валери Ларбо безмятежно сообщил Джойсу, что опустил несколько строк из «Пенелопы». Джойс нашел в себе силы не возражать сейчас, но позже написал, что Солнечную систему они бы не решились беспокоить.

Ларбо понимал, что, несмотря на достаточную известность Джойса, придется очертить его место в современной словесности. Он начал с эффектной фразы, что литераторы слышат имя Джойса так же часто, как ученые имена Фрейда или Эйнштейна. Кратко рассказав об ирландском периоде и жизни на континенте, которую Ларбо слегка расцветил (к неудовольствию Джойса), он перешел к книгам. Интересный поворот лекции был в том, что каждая из них рассматривалась одновременно и самостоятельно и как своего рода проба каких-то частей и линий «Улисса». «Камерная музыка» — проба того лиризма, которым просвечивает весь текст романа, «Дублинцы» — отработка способа воспроизведения особой атмосферы города, «Портрет…» — сгущение образности, сходства, символики, сращения биографии и творческой судьбы. В «Улиссе», говорил Ларбо, два гиганта-персонажа движутся сквозь вихрящийся поток кажущихся мелочей и случайностей, придавая ему новое течение и смыслы. Ключом к книге будет Одиссей, герой, которому параллельны Стивен и Блум, чьи приключения сливаются с теми, что описаны Гомером.

Ларбо сумел достаточно прозрачно намекнуть на исключительно сложную и занимательную конструкцию каждого эпизода, но так же мастерски не сказать слишком много. Он с восторгом рассказал о рабочих книжках Джойса, где каждая фраза подчеркивалась карандашами разного цвета, чтобы не спутать, в каком эпизоде она должна будет занять место. Ему также пришлось предупредить слушателей, что наверняка возникнут сразу две неверные трактовки романа — его еврейская линия написана не антисемитом, а чье-то личное отвращение к низшим функциям организма не может служить поводом для изъятия их описания из книги, повторяющей строение человека.

Джимми Лайт прочитал отрывки из «Улисса», а в «Циклопе» публике пришлось вытерпеть режиссерскую находку: свет гас, чтобы передать, как теряет зрение циклоп.

Сам Джойс сидел в кресле за ширмой, но должен был выйти и тоже вытерпеть бурные аплодисменты. Ларбо публично обнимал его, что Джойс тоже стоически вытерпел, багровея от смущения.

Но в целом — это признал и сам Джойс — представление удалось, «Шекспир и компания» не успевал принимать новых подписчиков.

Приближался день выпуска книги, о котором Джойс еще в

ноябре писал мисс Уивер:

«Дни рождения всегда много значили для моих книг: „Портрет…“ появился в вашем журнале в феврале, а завершился первого сентября[132]. „Улисс“ был начат первого марта (день рождения моего друга, корнуэльского художника[133]), а закончен в день рождения мистера Паунда. Интересно, в чей день он будет напечатан».

Сам он давно решил, что сделает все, чтобы роман вышел 2 февраля, в день его сорокалетия. Весь декабрь и январь он заваливал мисс Бич и Дарантьера письмами и телеграммами, непрестанно звонил им по телефону, внося последние поправки и дополнения. Свидетели пишут, что он «выглядел грустным и усталым, но это была грусть человека, узнавшего безграничность мира, и усталость того, кто взвалил на себя задачу исполнить непомерное в стесняющих пределах».

За столом в любимом кафе он говорил, делая долгие паузы между словами:

— Жаль, что публика будет требовать и непременно отыщет в моей книге мораль… Еще хуже, что они воспримут ее серьезнее, чем надо… Слово джентльмена — в ней нет ни одной серьезной строки… В книге множество великих болтунов. Все они там, и все, о чем они забыли. В «Улиссе» записано одновременно все то, что человек говорит, видит, думает и что это говорение, видение, думание делает, все, что вы, фрейдисты, называете подсознанием и что на самом деле ни более ни менее, как чистое мошенничество…

Перед самым появлением книги Джойс и Нора прогуливались с миссис Барнс в Булонском лесу, когда мимо них прошел незнакомец и пробурчал что-то, что дамы не разобрали. Зато разобрал Джойс и весь побелел. Его затрясло. На расспросы он долго не отвечал, а потом сказал:

— Я никогда не видел этого человека, но он сказал мне на латыни: «Вы безобразный писатель!» Скверное предзнаменование, за день до выхода моего романа…

Но из Дижона 1 февраля пришло письмо от Дарантьера, где он обещал Сильвии Бич непременно прислать три экземпляра к полудню 2-го. Мисс Бич, памятуя рассказы Джойса об ужасах почтовой доставки, позвонила ему и попросила придумать что-то другое. Дарантьер переслал экземпляры с кондуктором экспресса Дижон — Париж, и Сильвия в семь утра примчалась на вокзал, нашла кондуктора, вручившего ей пакет с двумя экземплярами. Через десять минут она примчалась в такси домой к Джойсу, отдала ему один экземпляр, а второй увезла выставить в магазине. Публика толпилась перед витриной с открытия до

закрытия.

Вечером Джойс, Натгинги, Уоллесы и Хелен Кляйфер, дочь партнера Куинна, ужинали в «Феррари», дорогом итальянском ресторане. Джойс сидел во главе стола, но чуть в стороне, переплетя ноги — пятка одной под икрой другой. На пальце у него был новый перстень — награда, которую он пообещал себе за этот день. Однако он был грустен, вздыхал и почти ничего не ел. Пакет с экземпляром «Улисса» он принес с собой, но сунул под стул, хотя Нора напомнила ему, что он шестнадцать лет думал об этой книге и семь лет ее писал. Все просили хотя бы открыть ее и показать, но Джойс отмалчивался.

Наконец, после десерта, он распаковал ее и положил на скатерть.

Переплет был в древнегреческих цветах: белый шрифт на синем фоне. Джойс считал их цветами удачи и напоминанием о Гомере и Итаке, белом острове в синем море. За книгу подняли бокалы, что глубоко тронуло Джойса. Два официанта-итальянца подбежали спросить, он ли написал «поэму», и попросили разрешения показать ее «падроне», хозяину. Хозяин был так же тронут, как автор.

Затем они отправились в кафе «Вебер», и там окончательно развеселившийся Джойс показал Лилиан Уоллес, Хелен Наттинг и Дороти Паунд, где они в книге: миссис Хелен Уайнгэддинг, мисс Лилиан и Виола Лайлэк, а также Дороти Кейнбрейк. Ему казалось, что это как раз доброе предзнаменование и пожелание удачи. Когда кафе закрылось, Джойс возжелал продолжения веселья, однако Нора энергично затолкала его в такси. Хелен Наттинг поблагодарила его, что он пригласил ее разделить дни рождения, автора и книги, и Джойс из окна поймал ее руку, чтобы поцеловать, но и не успел, и передумал.

Дарантьер задержал присылку дополнительных экземпляров, обнаружив ошибку на обложке, и Джойс немедленно занервничал. Через неделю прибыло меньше полусотни копий, и в марте Сильвия уехала в Дижон разбираться. Мисс Уивер был обещан экземпляр № 1 из нумерованных, но первый из привезенных экземпляров Джойс надписал Норе и вручил — в присутствии Артура Пауэра. Ему, Пауэру, Нора тут же и предложила купить эту книгу. Джойс улыбался, но явно без особого удовольствия. Книгу она, несмотря на его уговоры, так никогда и не прочла. Когда их пригласили на балет, чтобы отметить день выхода книги, Нора едва не вывела Джойса из себя, спросив, с чего это праздновать такие вещи.

Когда появилось издание со списком замеченных опечаток[134], он вложил в книгу записку для Норы, где сквозит

глубоко затаенная обида:

«Дорогая Нора, то издание, что у тебя, полно опечаток. Пожалуйста, читай по этому. Я разрезал страницы. В конце — список ошибок».

Вскоре Джойс поехал навестить Августа Зутера, который делал статую поэта Карла Шпиттелера. Джойс спросил его, какой памятник он сделает ему.

— Полагаю, — ответил скульптор, — в облике мистера Блума!

— Mais non! Mais non![135] — закричал Джойс.

Такого памятника действительно среди всех джойсовских монументов нет.

Глава тридцатая КНИГА, КНИГА, КНИГА

When that greater dream had gone…
[136]

Разумеется, Джойс испытал все прелести, которые слава несет с собой, — для писателя это прежде всего полный произвол в толковании того, «что же автор хотел сказать нам этой книгой». Ему пришлось особенно туго. Ощущать сходство с героями романа значило признавать себя ничтожеством с кучей мелких грешков; восхищаться новаторством и приматом литературной техники над содержанием — соглашаться с дегуманизацией литературы. Появилась и другая версия: Джойс на самом деле ревностный католик и критикует современность с точки зрения догматов, собираясь вернуться в лоно церкви и привести многих за собой. Куда реже вспоминалось эффектное сравнение Ларбо — Джойс как новый Рабле и «Улисс» как «Человеческая комедия». Самому Джойсу, как многим писателям XX века, только льстила противоречивость и поливалентность толкований, но и досадовал он на это часто. Особенно раздражало его нежелание критиков увидеть сходство между «Одиссеей» и «Улиссом». Даже Паунд, автор нескольких отличных эссе о романе, почти не затрагивал эту параллель, хотя Элиот в «Дайэл» настаивал на ней и утверждал, что такое сопоставление древности и современности «имеет значимость научного открытия». Элиота Джойс поблагодарил с редкой для него сердечностью.

Уже вспоминалась знаменитая фраза Элиота: «Как бы я хотел никогда не читать эту книгу!» Однако многое в его собственной гениальной «Бесплодной земле», завершенной к концу 1921 года, есть прямая или косвенная перекличка с романом. На чаепитии с Вирджинией Вулф состоялся горячий спор о книге Джойса; там-то и прозвучала не менее известная оценка Вулф о «мерзком школяре, расчесывающем свои прыщи». В ее дневнике имеется менее резкое, но вполне снобистское высказывание, что роман содержит «нечто плебейское, не только в прямом смысле слова, но в самой литературной технике». Парадоксальнее всего, что творчество самой Вулф очень скоро начнут видеть сквозь линзу джойсовского метода, а пока Элиоту приходится доказывать ей, что Джойс подвел черту под реализмом XIX века, высмеял архаичность всех отживших стилей и не оставил им обоим выбора. Теперь следовало писать иначе или числиться молодыми старцами, неспособными к продолжению литературного рода. Английский поэт и критик Эдмунд Госсе отозвался еще свирепее:

«Мне трудно пояснить вам суть славы Джойса… отчасти она из политики; отчасти это совершенно циничный призыв к полной аморальности. Разумеется, он не вовсе бездарен, однако это шарлатан высшего разбора. Мистер Джойс неспособен издавать свои книги в Англии, по причине их непристойности. Оттого он делает „частные“ издания в Париже и берет огромные деньги за каждый экземпляр. Он тип маркиза де Сада, только пишет гораздо хуже. Он чистейший образец ирландского англоненавистника… Повторяю, он не лишен таланта, но проституировал его самым бездарным образом».

Элиот писал: «Блум никому ничего не говорит. Конечно, подобный новый метод создания психологии мой разум поначалу воспринимает как неработающий. Он не способен сказать столько, сколько говорит порой случайный взгляд со стороны». Нет никакого прозрения, нового проникновения в человеческую природу. А что же есть?

Сам Джойс позже пришел к оценке внутреннего монолога как к стилизации под работу сознания: «С моей точки зрения, мало что значит, „подлинна“ ли техника; она служит мостом, по которому мои восемнадцать эпизодов могли промаршировать и который, раз уж я повел мои войска, противник мог бы подорвать…»

А в нескольких кварталах от «Шекспира и компании» Гертруда Стайн злилась, что теряет репутацию праматери нового экспериментаторства. Она признавала, что Джойс хорош, даже потому, что непонятен многим. Но ведь ее первая книга, ломавшая каноны, «Три жизни», была напечатана в 1908 году, за четырнадцать лет до «Улисса»! Джойс кое-что сделал, но, как и Синг, он переживет свой день и мирно канет в небытие. Кроме того, Джойс позволил себе не явиться на поклон к ней, великой Гертруде! Но Джойс плохо выносил интеллектуалок. Правда, на каком-то приеме у Эжена Жола их представили друг другу, и Джойс вежливо заметил: «Как странно, что мы живем в одном квартале и никогда не встречались!» На что Гертруда Стайн исчерпывающе отозвалась: «Да». С одним из ее главных протеже, обессмертившим ее эпиграфом к «Фиесте», Эрнестом Хемингуэем, он даже подружился. Тот безудержно расхваливал «Улисса» и писал Шервуду Андерсону: «Джойс сделал чертовски хорошую книгу… Говорят, что он и его семья голодают, но всю их кельтскую команду можно видеть каждый вечеру Мишо, который мы с Бинни можем позволить себе, пожалуй, раз в неделю. Гертруда Стайн, говорит Джойс, напоминает ему старуху из Сан-Франциско. Сын старухи зашиб кучу денег в Клондайке, и она ходит, заламывая руки и причитает: „О мой бедный Джоуи! Мой

бедный Джоуи! У него столько денег!“ Чертовы ирландцы; они вечно стонут о чем-нибудь, но слышали ли вы о голодающем ирландце?» Хемингуэй несправедлив — даже Джойс мог рассказать ему о совсем другом Париже, чем тот, в котором жил он.

Джордж Мур, тоже парижский житель, отнесся к книге младшего коллеги с нескрываемым отвращением. «Вот как проросло семя Золя, — говорил он. — Кто-то прислал мне „Улисса“. Мне сказали, что это непременно следует прочесть, но как я могу продраться через такое? Я прочел немного, и боже, как же скучно мне стало! Возможно, Джойс полагает, что он великий новеллист, раз может напечатать все эти грязные словечки. Вы, конечно, знаете, что он все свои идеи почерпнул у Дюжардена? Джойс — он никто; из дублинских доков: ни семьи, ни породы. Еще кто-то прислал мне „Портрет художника в юности“, книгу совершенно без стиля или оригинальности; да ведь я сделал то же самое, но куда лучше, в „Признаниях молодого человека“. Зачем повторять то же, если не можешь создать книгу получше?»

Он еще признавал кое-какие достоинства за «Дублинцами», но «Улисс» был обречен: «Это не искусство, это копирование справочника вроде „Весь Лондон“. Как ему удается прожить? Ведь его книги не продаются. У него есть состояние? Вы не знаете? Мне любопытно. Спросите кого-нибудь».

Некоторые французские писатели повели себя сходным образом; более того, провели черту между собой и Джойсом. Поль Клодель вернул ему надписанный экземпляр. Андре Жид назвал книгу «шедевром бутафории». Однако когда «Улисса» предложили включить в издания «Плеяды», Жид возражать не стал и после смерти Джойса никогда не говорил о нем дурного.

Дома в Дублине роман встретил еще меньше сочувствия. Отец Джойса и тетя Джозефина получили по экземпляру. Тетка вышвырнула свой в окно, а Джон Джойс, прочитав несколько страниц, сказал Еве: «Да он настоящий мерзавец!» Остальных сограждан занимало только одно — попали они в прототипы или нет. У обладателей книги боязливо спрашивали: «Вы там? А я?»

Йетс тоже получил экземпляр. Прочитав пару эпизодов, он воскликнул: «Сумасшедшая книга!» Но позже в интервью своему биографу Стронгу он признался, что поторопился: «Это была работа гения. Теперь я понимаю ее значение». Йетс написал Джону Куинну: «Совершенно новая вещь — не то, что видит глаз, не то, что слышит ухо, но то, что думает и воображает время от времени блуждающий разум. Он достиг того напряжения, какого не добился ни один романист нашего времени».

Приехавший в Париж Йетс с женой, Паунды и Джойсы вместе

ужинали в конце 1922-го, и Йетс говорил не умолкая; он показался Джойсу таким молодым и воинственным, каким сам Джойс себя уже не чувствовал. Йетс прочитал в Ирландии эпизод в башне Мартелло и сказал Джойсу: «Ведь это наша, ирландская беспощадность, и наша сила, и все эти страницы полны красоты. Жестокий забавляющийся ум, словно огромный мягкий тигр…» Признав, что такое искусство ему чуждо, он попытался сравнить Джойса и Троллопа, но так никогда и не дописал эту работу. Однако Йетс всегда хвалил роман и тогда же, в Париже, пригласил Джойса на родину, от чего тот отказался, сославшись на глаза.

Разумеется, прочел роман и Станислаус, похваливший его весьма сдержанно — как провинциальный обозреватель: «Дублин словно разворачивается перед глазами читателя». При этом он добавлял, что местами роман чудовищен и что ему точно не хватает сдержанности и тепла. «Цирцею» он прочел с отвращением, «Пенелопу» счел нудной и грязной, раскритиковал некоторые идеи книги. Джойс ему не ответил.

Литературный мир весьма осторожно реагировал на роман, не считаясь с нетерпением автора, впивавшегося через мощную лупу в каждую рецензию. Он ощупью помогал Сильвии Бич упаковывать экземпляры для рассылки, любовно перебирал квитанции на подписку, крыл скупых триестинских приятелей и вообще старался быть полезным. Отсутствие рецензий Джойс поначалу относил за счет толщины романа, но потом, само собой, обнаружил наличие заговора.

Первым был обзор Сисли Хаддлстона в «Обсервер» от 5 марта. Среди упреков в вульгарности и материализме просияла хвала гению и новаторству Джойса, что немедленно дало 136 новых подписчиков. Ободренный Джойс начал просить друзей о рецензиях и печатных отзывах. Обычно он посылал книгу, спрашивал о впечатлении, а потом мягко намекал на отзыв и даже подсказывал формулировки. Макэлмон, даже не дочитав, сообщил Джойсу, что выкинет роман из окна. Джойс посоветовал этого не делать, потому что может погибнуть невинный прохожий, а в нем — новый Сократ…

Польстил Джойсу новый министр Ирландского свободного государства Десмонд Фитцджеральд, который нанес ему официальный визит и сообщил, что предложит выдвинуть Джойса кандидатом на Нобелевскую премию. Джойс полагал, что такое предложение не принесет ему лауреатства, а Фитцджеральда обязательно лишит поста… Но мисс Уивер было поручено узнать, дошел ли экземпляр до библиотеки Британского музея. Д. Миддлтон Мерри поместил в «Нэйшн» рецензию, где оценил

роман как «гигантское, чудовищное самобичевание, разрыв с самим собой, выписанный полубезумным гением». Арнольд Беннетт, в свое время презревший «Портрет…», неожиданно сообщил, что лучшие эпизоды романа, «Цирцея» и «Пенелопа», превосходны, даже волшебны. Все обратившие внимание тут же получали письменную благодарность полубезумного гения.

Возбуждение спадало, и Джойс чувствовал: надо уезжать на отдых туда, где можно было прийти в себя. Он уехал бы сейчас, но опять возникли проблемы с Дарантьером, опять надо было искать квартиру… Макэлмон звал его на Ривьеру, но Джойсу это было не по деньгам, хотя он мог позволить себе лучше одеваться, собрал большую коллекцию галстуков. Чтобы утешить его, Макэлмон купил в Ницце и послал ему несколько отличных галстуков и перстень, за что получил удивленно-благодарственное письмо. В марте Джойс получил куда более царский подарок от мисс Уивер — 1500 фунтов. Нора предложила свозить детей в Ирландию и показать их дедушкам и бабушкам, но тоска по родине Джойса пока не мучила. А недавние события в стране и вовсе раздражали, хотя в целом свидетельствовали о торжестве идей Шинн фейн, которые он некогда так страстно проповедовал.

Отказ Имона де Валера принять условия англо-ирландско-го договора от 7 января 1922 года грозил обернуться гражданской войной. Страх Джойса перед возвращением это могло только усилить: в волонтеры свободы он не собирался. Кроме того, его приезд в Ирландию мог создать скандал, равный по размеру скандалу вокруг Парнелла. Когда тот же Фитцджеральд жизнерадостно предложил ему вернуться в Ирландию, Джойс с обманчивой кротостью сказал: «Сейчас — вряд ли». Оставалось отговорить Нору, которая ничего не хотела слушать. Уговоры переросли в ссору, забурлившую свежей ненавистью — сюда добавились безразличие Норы к «Улиссу», ее бесхозяйственность и многое другое. В конце концов она уехала с детьми 1 апреля и пригрозила не возвращаться, на что Джойс в бешенстве дал ей полную свободу действий.

Не успели они уехать, как он принялся отправлять телеграммы, пытаясь задержать их в Лондоне, но через неделю Нора все равно отправилась в Дублин, где ее встретил Майкл Хили и отвез их на целый вечер к Джону Джойсу. Назавтра они были в Голуэе, и все поначалу шло прекрасно и умилительно. Детей свозили в монастырь Богоявления, где Нора когда-то работала, представили их матери-настоятельнице, выслушали все похвалы. А Джойс в Париже привычно сходил с ума. Он без конца спрашивал знакомых, безопасно ли в Ирландии, говорил, что

совершенно лишился работоспособности, жаловался на ухудшение зрения: «Я словно гляжу в черный пруд». Когда она написала ему совершенно бытовое письмо, то получила такой ответ:

«Четверг, 8.30 утра.

Моя дорогая, моя любовь, моя королева; я выскочил из постели, чтобы отправить тебе это. Твоя телеграмма проштемпелевана восемнадцатью часами позже, чем письмо, которое я только что получил. Чек за твой мех придет через несколько часов, вместе с деньгами для тебя. Если ты хочешь жить там (так как ты просишь меня высылать два фунта в неделю), я буду высылать эту сумму… первого числа каждого месяца. Но ты еще спрашиваешь меня, приеду ли я в Лондон. Я приеду куда угодно, если буду уверен, что останусь с тобой одной, без всякой родни и без друзей. Либо так, либо мы должны расстаться навсегда, пусть это и разорвет мне сердце. Видимо, невозможно описать тебе то отчаяние, в котором я нахожусь со дня твоего отъезда. Вчера я потерял сознание в лавке мисс Бич, и ей пришлось сбегать за каким-то лекарством для меня. Твой образ всегда в моем сердце. Как я рад слышать, что ты выглядишь моложе! О моя дорогая, если бы ты могла вернуться ко мне прямо сейчас и прочитать эту ужасную книгу, которая разорвала сердце в моей груди, и забрать меня себе, и делать со мной все, что ты захочешь! У меня всего десять минут написать это и попросить прощения. Напиши мне до полудня и телеграфируй тоже. Вот всего несколько слов и моя неумирающая несчастливая любовь.

Джим».

Джойс не напрасно волновался о безопасности Норы и детей. Как раз в те дни началась гражданская война между правительственными войсками и ИРА. Джорджо признавался потом, что не спал все это время, боясь, что «зулусы» вытащат их из дома и расстреляют. И в дом Хили ворвались солдаты, заняли огневую позицию в комнатах второго этажа, где разместили гостей, и поставили в окнах пулеметы: напротив были склады, где засели мятежники. Детей смертельно напугал пьяный офицер, назвавший Джорджо «жельтменским сынком». Норе было уже не до претензий к мужу: надо было срочно выбираться из Голуэя. Джойс, узнавший о событиях, предложил арендовать самолет и прилететь за ними. От этого проекта пришлось отказаться лишь потому, что Нора не хотела ждать.

Поездом они добрались до Дублина и как раз по пути попали в перестрелку; били с обеих сторон, из окопов, отрытых вдоль линии. Нора и Лючия кинулись на пол, а побледневший Джорджо гордо оставался на сиденье. Рядом так же невозмутимо курил

трубку старик-ирландец, который спросил:

— Ты что, не ляжешь?

— Нет.

— И правильно, — сказал старик. — Они все равно никогда толком не целятся. Наверное, лупят холостыми.

Никто не пострадал. Рассказ о путешествии под пулями стал частью семейных преданий. Однако Майкл Хили купил им в тот же вечер билеты на пароход из Холихеда и отправил в Париж. Возможно, это был единственный раз, когда Джойс одобрил ирландские междоусобицы — они вернули ему жену и детей. К тому же испуганная Нора притихла и почти не затевала ссор. Джойс же мгновенно высчитал, что все это было затеяно и нацелено лично против него. И как его ни уговаривали близкие и друзья, он неколебимо в это верил. Тем не менее он сам собрался в путешествие и в мае уже почти решил ехать в Лондон. Ирит решил иначе. Серьезное обострение вынудило Джойса немедленно обратиться к известному офтальмологу Виктору Мораксу. Ему Джойс рассказал, что простудил глаза в пьяной ночевке в канаве еще в 1910-м. Еще он приобрел острейший артрит правого плеча, почти атрофировавший его дельтовидную мышцу. Первая операция, сделанная в 1917 году, была успешной, хотя зрение все равно ухудшилось, включая и левый глаз. Моракс провел консервативное лечение, но кровоизлияние не прекращалось, обострилась глаукома с нестерпимыми болями. Джойс позвонил Мораксу.

Доктор не мог приехать сам и прислал ассистента, Пьера Мериго де Трени, оказать первую помощь. За дверью молодой медик увидел квартиру, где царил чудовищный беспорядок. Стояли открытые и полувыпотрошенные чемоданы. Повсюду валялась одежда. На стульях лежали бритвы, зубные щетки, полотенца, косметика. То же самое заполняло столы и каминную полку. Посередине на корточках сидел человек в черных очках, укутанный в одеяло. Перед ним была миска, полная куриных костей, и полупустая бутылка вина. Рядом в той же позе сидела женщина и пыталась заглянуть ему в глаза.

Пьер не нашел свободного стула и тоже уселся на корточки, чтобы осмотреть Джойса. Лекарство, прописанное им, сняло боли на несколько дней. Но когда его срочно вызвали во второй раз, он предупредил, что вторая операция, скорее всего, неизбежна. Джойс возненавидел милого, честного Мериго де Трени и попросил Моракса больше его не присылать. Встревоженный Моракс долго беседовал с ним и понял, что дело не в ассистенте: писатель так боялся операции и особенно послеоперационных страданий, что, как туземный вождь, казнил принесшего дурную

весть.

Проявились и другие проблемы. Эзра Паунд привел к Джойсу своего знакомого американского врача, чтобы тот осмотрел его больную спину. Оказалось, что и зубы пациента в таком состоянии, что нужны немедленный рентген и лечение. Но Джойс решил отложить лечение до возвращения из Лондона, потому что оно оттянуло бы всё на неопределенный срок, и в августе вместе с Норой пересек, Ла-Манш. Детей отправили в летние лагеря — Джорджо в австрийский Тироль, Лючию на берег Нормандии.

Отель «Юстон» издавна принимал транзитных постояльцев, остававшихся там на ночь и утром садившихся на поезд от Юстон-стейшн до Холихеда. Но Джойсу разрешили задержаться там и подольше вкусить дары почти родной земли — «английских завтраков, то есть датского бекона, ирландских яиц, американского сахара, французского молока, канадского мармелада, шотландской овсянки, новозеландского масла, голландских тостов. Мистер И. Г. Найт, управляющий, встречал его каждое утро и желал ему „дбрдньмрнайт“. Очнь дбрй члвк». Так «Поминки по Финнегану» обзавелись новым персонажем, МрНайтом. Ночной портье «Юстона» понравился ему настолько, что он передал ему с Гербертом Корманом надписанный экземпляр «Улисса».

Впервые в жизни Джойс встретился с Гарриет Уивер. Разумеется, даже он восхищался ее стойкостью и самоотверженностью, но никаких уступок и перемен в своем поведении делать все равно не собирался. Не демонстрировал бережливости, дожидаясь автобуса, а брал такси и давал щедрые чаевые — строго говоря, пенсами и шиллингами мисс Уивер. Так за несколько недель было спущено больше двухсот фунтов. Она понимала, что его эскапады — зеркальное отражение ее сдержанности и строгости, поэтому никаких деликатных упреков не прозвучало. На вопрос, что он собирается писать дальше, Джойс ответил: «Думаю, историю мира».

Среди встреч с родственниками самым приятным оказался ужин с дочерьми тети Джозефины Мюррей, Кэтлин и Элис — они уже давно перебрались в Лондон, и Джойс пригласил их. По дороге в Сохо Джойс вдруг во всеуслышание заявил, что ему очень нужно сменить носки. Таксист сказал, что может занять их у приятеля, и действительно привез их Джойсу в ресторан. Джойс вернулся из вестибюля довольным. Все были рады. Но за столом он умудрился спросить, как их матушка оценила «Улисса».

Кэтлин сумела выдавить из себя:

— Э-э… Джим… ну, матушка сказала, это не годится для чтения…

— Если «Улисс» не годится для чтения, — сердито ответил Джойс, — жизнь не годится для жизни.

На следующий день опять заболели глаза. Известные лондонские офтальмологи, доктора Генри и Джеймс, ничем его не обрадовали. Жидкость в левом глазу перестала оттекать, и угроза глаукомы стала крайне серьезной. Операцию надо было делать немедленно. Джойс тут же отправился обратно в Париж, надеясь обойтись без хирургов и уехать в Ниццу, чтобы не страдать от мерзкой, сырой и промозглой парижской зимы. Удалось поменять опостылевшую квартиру на рю де ль'Университе и въехать в меблированные комнаты на авеню Шарль Флоке, 26.

Все хуже он выносил свет, движения, скопление людей, от этого немедленно начинались боли. Филиппу Супо он говорил, что любое время кажется ему поздним вечером. Как у многих слабовидящих, обострился слух — Джойс узнавал людей по голосам. Когда наконец вернулся знаменитый Луи Борш, он разрешил ему Ниццу, но при условии, что он там вырвет все зубы и по возвращении ляжет на операцию — не на сетчатке, а на окологлазных мышцах. Опасность глаукомы он счел преувеличенной, но допускал, что это ее форма: та, от которой мог ослепнуть Гомер.

13 октября Джойс с семьей был в Марселе, 17-го они поселились в Ницце. Отель назывался «Швейцария». Джойс когда-то пытался сбежать в Локарно от цюрихской зимы. Лазурный Берег подвел его точно так же. Начались штормы, дождь и ветер, сменившееся давление ухудшило его состояние почти до критической точки. Местный врач прописал ему пиявки к глазницам, чтобы убрать кровь, и капал на глазное яблоко новомодный аспирин — рискованная и болезненная процедура, но Джойсу стало легче. Советом пить красное вино вместо нездорового белого пациент пренебрег.

В середине ноября они вернулись в Париж, на новую квартиру. Почти сразу Джойс поскандалил с Сильвией Бич, а потом и с Фрэнком Бадгеном. Ей он предложил заняться третьим изданием, а заодно обработать целую группу критиков и обозревателей (Паунд, Элиот, Колум, Хемингуэй, Олдингтон и немало других), чтобы они наконец отрецензировали книгу. Она ответила сдержанным письмом, что второе издание настолько похоже на первое, что есть риск судебного иска за фальсификацию и что по Парижу ходят неприятные сплетни.

Мисс Уивер Джойс описывал ситуацию с некоторым юмором — как он смотрит на пуговицы ливреи консьержа и в их блеске видит ответ на все свои многочисленные вопросы. Ему открылось,

да еще при помощи официального письма от типографа, что ни один закон не нарушен, что оба издания приняты в целом благожелательно и что он сообщил об этом мисс Бич. Джойс признавал, что отчасти вина на нем, что со своими личными проблемами он запустил дела и взывает скорее о помощи, стоя среди горы пожитков, с молчаливо ждущим семейством и с черной повязкой на глазу… Ситуация слегка разгладилась, но зерно будущей ссоры упало и начало тихо прорастать.

С Бадгеном Джойс тоже затеял все сам. Тот навещал его время от времени в Париже, но круг новых знакомых Джойса был ему чужим, хотя Джойс по-прежнему хранил их дружбу, писал ему со всегдашней откровенностью и в одном из писем высказался так откровенно и свирепо, что чуть позже одумался и потребовал от Бадгена привезти письмо с собой — взглянуть, что там, собственно, писано. Бадген привез его, и Джойс устроил такую попойку, что даже Бадген несколько раз пытался остановить поток заказов. К концу вечера они оба напились, и Бадген едва добрался до гостиницы. Утром его с трудом добудился посыльный, доставивший ему бумажник и записку от Джойса, где тот объяснял, что с учетом состояния друга решил — будет безопаснее сохранить его деньги у себя. В бумажнике были все деньги, несколько вчерашних счетов из ресторана, но компрометирующее письмо исчезло. Сыграно все было блистательно — Джойса не случайно столько раз объявляли шпионом и даже двойным агентом разных разведок. Памятуя о случаях с Косгрейвом и Гогарти, он решил подстраховаться поосновательнее. Но Бадген был смертельно обижен. Года три он не напоминал Джойсу о себе.

А Джойс так же смертельно боялся удаления зубов и с радостью отложил процедуру с разрешения доктора Борша. В марте его неделю мучил конъюнктивит, в апреле все же пришлось вырвать семь окончательно сгнивших зубов и через несколько дней — все оставшиеся. Операция была настолько тяжелой, что Джойсу пришлось оставаться несколько недель в клинике, но источник инфекции устранили, и в апреле Борш в три приема удалил ему сегмент круговой мышцы глаза. Еще целый месяц Джойс не чувствовал никаких улучшений, но к июню даже стал читать, и Борш уверял его, что за несколько месяцев глаз полностью восстановится. Ему было намного лучше, до самого конца года глаза почти не беспокоили, и это было важно, потому что он собирал материалы для новой книги, задуманной в ходе работы над «Улиссом».

На вопрос о том, как она будет называться, Джойс уклончиво отвечал, что пробивает тоннель в горе сразу во всех направлениях

и пока не знает, что найдет. Под строжайшим секретом Норе было рассказано, что взято оно из анонимной баллады о подсобнике Тиме Финнегане, сорвавшемся с лесов, отпетом и оплаканном, однако воскресшем из мертвых. Слова с нотами продавали уличные музыканты, и у Джойса был экземпляр. Небезынтересно будет привести текст, хотя ни один перевод не передаст восхитительного простодушия и буйной безграмотности этой вещи:

Жил Тим Финнеган да на Пешкин-стрит,
Ирландский желтмен нигде не смолчит,
Язык имел поострее бритвы,
А для прокорму подносил кирпичи.
Маленько Тимоти перебирал.
Так в вискаре он уж в мамке лежал,
Таскать полегше, как примешь с утра,
И он это дело всегда уважал.

Хор: Эх, загулял, подругу кружу,
Топ, да хлоп, да в новых ботинках.
Чистую правду я расскажу,
Что отколол Финнеган на поминках.

С утра в дымину нажрался Тим,
Мотает башкой, хрипит и стонет,
Леса возьми да подломись под ним,
И это был Тима смертельный номер.
В чистой рубахе, в белых носках,
На кровать, где спал, его положили.
Вискаря четверть стоит в ногах,
И темного бидончик ему налили.

Вот Финнеганша закуску несет;
Собралась компания помянуть,
Чай с пирогом, а в свой черед
Подымим-покурим, ну и вискаря чуть.
Тут развылась Бидди не в добрый час:
«Неживой-холодный, миленький мой!
Тимоша! С чего ж ты покинул нас?»
«Да все с того ж», — говорит Маккой.

А Бидди другая наперекосяк:
«Кончай ты, тезка, он был не жилец!..»
Но раньшая Бидди ей въехала так,

Что зубы у ней проскочили в торец.
Тут у них начался прямо погром:
Баба на бабу, мужики меж себя —
Кому в глаз кулаком, кому по носу лбом,
А кому и сапожищем в мудя.

Эх, в Малоуни кто-то четверть пустил,
Да промазал чуток, рука с кукишом,
Как влепилась бутыль в железный костыль,
Покойника умыло всего вискарем.
Уж как Тим подскочил, как раскрыл он хайло —
Сразу поняли все, что воскресе мертвяк!
«Что за падла тут плещет зазря бухло?!
Я вам что здесь, дохлый, или же как?»

Строго говоря, Тим не «мастер-строитель», специальность не такая благородная, почти масонская, как пишет Эллман: он всего-навсего подносчик кирпичей, в заплечном ящике по лесам таскает их к каменщикам. Уличная баллада о Тиме Финнегане, его смерти и чудесном воскрешении не только дала Джойсу название романа — она один из модуляторов книги. Даже как бы случайно опущенный в названии «Finnegans Wake» апостроф создает, имитируя дурную грамматику, еще один смысл — воскрешение всех Финнеганов вместо одного-единственного. Но и это еще не конец игры: он — современное воплощение великого ирландского предка, героя и мудреца Финна мак Кумала. По Ричарду Эллману, Джойс однажды сообщал другу: «Он задумывал свою книгу как сон старого Финна, лежащего при смерти на берегу Лиффи и чувствующего, что история Ирландии и мира, прошлая и будущая, плывет сквозь его сознание, как мусор по реке жизни».

Так должна была выглядеть та «история мира», о которой он неохотно поведал мисс Уивер. Комически уравнивались история и выдумка, персонажи всплывали и исчезали, как призраки вечного рода Всечеловеков, Эврименов — самого Эвримена, жены его Эвримен, детей Эврименов и следующие за ними другие пузырьки в реке времен. Двадцатый век не позволил Хамфри Чимпдену Ирвикеру воплотиться ни героем, ни мудрецом, ни даже поэтом — он трактирщик в Чейпелизоде, а с ним его жена Анна Ливия Плюрабель, его дети, близнецы Шоун и Шем, и их сестра Изабель, распадающаяся на много воплощений. Вряд ли Джойс тогда уже представлял себе так подробно даже эту схему: как всегда, существовало множество записей, клочков салфеток и папиросных коробок, которым предстояло еще стать текстом.

Через семнадцать лет — вдвое дольше, чем он работал над «Улиссом». «Поминки…» займут всю последнюю треть жизни Джойса, эта книга — полускрытое содержание всей ее парижской части, она будет приводить и уводить к нему сторонников и противников, критиков и фанатиков, учеников и исследователей, а также просто друзей и врагов.

«Улисс», как известно, Книга Одного Дня Всей Жизни — *жизднн*, если пустить в русский язык механизм, вырабатывающий язык «ПФ». Она перекликается со своим предшественником не только в этом. Эллман напоминает об эпизоде, которым заканчивается «Пенелопа», когда Молли и Блум нежатся под солнцем среди цветущих рододендронов мыса Хоут и он откусывает из ее губ кусочек печенья с тмином, как Адам и Ева ели яблоко, и в этом раю происходит грехопадение. А «Поминки…» начинаются с падения человека, *слесапада*, где Падение превращается в падение, а Сад и Древо в мертвый деревянный скелет.

Но это куда более глубокое сходство, пусть даже «Поминки по Финнегану», совершенно очевидно, вырастают из отброшенного плана композиции «Улисса»: утренняя песнь-антракт-ноктюрн. Тема потока, великой реки, оказалась более емкой, но и время тоже изменилось. Джойс принялся писать оборотную сторону «Улисса», Книгу Ночи — *снизни*, жизни во сне. «Улисс» начинается с эпизода на море, но море более устойчиво, чем река, оно живет в себе, а река омывает весь мир, и море лишь ее воплощение, ее разлив. С реки начинаются «Поминки…», ею они и кончаются. «Все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь», — писал Суинберн, однако они все равно опять его покидают. Так же, как «Пенелопа», центром «ПФ» становится часть с женщиной-рекой, Анной Ливией Плюрабель, так же разыгрываются в подробностях краткие истории-анекдоты, многие из детства и отрочества самого Джойса. История о встрече Джона Джойса и воришки в Феникс-парке, анекдот о портном и горбатом норвежском капитане, повествование о Бакли и русском генерале, не пригодившиеся в предыдущей книге, уходят в новую, преображенные и расцвеченные. Уже в феврале 1923 года Джойс углубленно перебирает старые материалы к «Улиссу» — 12 килограммов записей.

Однако из суеверия ли, просто ли из занятости Джойс пока редко упоминает о новой вещи. В декабре 1922-го он шлет мисс Уивер рождественский подарок, факсимиле нескольких страниц «Книги Келлса», прокомментированной Эдвардом О'Салливаном. Разрисованное невероятной сложности и красоты орнаментом Евангелие IX века, попавшее после разграбления монастыря

викингами в аббатство Келлс, было одним из любимых артефактов Джойса; репродукцию одной из страниц он носил в своем знаменитом бумажнике и подолгу ее рассматривал. Мастерство неведомых графиков будоражило его: он говорил: «Это самая ирландская изо всех ирландских вещей, ее инициалы иной раз целиком вмещают суть каждой главы „Улисса“. Хотел бы я, чтобы точно так же можно было взять любую страницу моей [новой] книги и так же сразу узнать, откуда она».

Ночная книга не могла быть написана языком Дня, это Джойс понимал. Но языка Ночи не существовало, его следовало изобрести. Сам Джойс не раз признавался в этом и снисходительно объяснял этим самые разные претензии к роману. В 1926 году он уже подробнее рассказывает Гарриет Уивер о намерении написать новую книгу, повествование-сновидение: «Одна из самых больших частей человеческой жизни проходит в состоянии, которое можно внятно передать, лишь используя словарь полностью расторможенного языка, грамматику потрошения, сюжет катящегося камня». Вспоминается знаменитое шекспировское «Из вещества того же…». Фрэнку Бадгену Джойс говорит, может быть, доверительнее всех: «Я должен уложить язык спать». Максу Истмену рассказывалось об отчаянной трудности этой задачи: Джойс говорит, что он как бы создает конвертор дневного языка в ночной. «Записывая ночь, я не мог, чувствовал, что не могу, пользоваться словами в их обычных связях. Использованные таким образом, они не выражали того, какова ночь всех вещей, каковы они в разных стадиях — в сознании, в полусознании, в бессознании. Я обнаружил, что это невозможно, если сочетать слова привычным образом в привычных соотношениях. Разумеется, когда приходит утро, все снова становится ясно… Я верну их (слова. — А. К.) английской речи. Я не разрушаю их навсегда».

Но и в английском, восхищавшем его, кончились нужные слова. «Я дошел до конца английского» — «Je suis au bout de l’anglais», — говорил он в интервью Августу Сатеру. Новая книга будет написана пунами. Англичане уже знали пуны, слова-перевертыши, «бумажники», блистательно сконструированные Лиром и Кэрроллом, благочестивые пуны Джона Донна, где «сан»-солнце превращалось в «Сан» — Сын и т. д. Тут нужны были пуны для всего, и даже для того, чего не было в «Улиссе». Джойс ставил себе задачу невероятной сложности — создать огромный словарь, где слова были бы «многослойны», и работать с сочетаниями этих слоев.

Он презирал Фрейда, питал холодное отвращение к Юнгу (которого считал наемником тех, ко хотел поработить его

сознание), но тем не менее с юношеских лет серьезно интересовался снами и их миром. Джойс говорил о них с Бадгеном, с парижскими друзьями, читал и обсуждал многое. Работать в эстетике сна, где формы длятся и умножаются бесконечно, где виде*е*ния перетекают из банальности в апокалипсис, где мозг использует корни звучаний и преображает их в другие, чтобы назвать свои фантазмы, аллегории и аллюзии, — таким было его новое намерение. Всех, кого мог, Джойс расспрашивал об их снах и грезах с устрашающей дотошностью.

Уильяму Берду он задавал вопросы о том, грезится ли ему, что он читает, и с какой скоростью он читает в этой грезе. Когда Берд признался, что да, но с натугой и по плохо напечатанным книгам, Джойс в него вцепился: знает ли он, что когда ему снится, что он читает, то скорее всего он разговаривает во сне? Но мы не можем говорить так же быстро, как читаем, и потому наш сон изобретает основания для медлительности…

Или он пускался в рассуждения о шумах и звуках во сне, о том, что все, что слышит спящий, превращается в сон. Майрон Наттинг, страстный поклонник психоанализа, пересказывал Джойсу свои сны и дивился, как тонко интерпретировал их Джойс. Он и сам видел сны, если только не сочинял их, — например, Молли Блум в бальном платье, несущую маленький черный детский гробик, похожий на табакерку, подаренную ему крестным, Филипом Макканом. Джойс написал на этот сон очень ядовитую пародию, где Молли смешивалась с Анной Ливией. Но ведь и до этого в Молли Блум слились Нора Джойс, Мари Таллон и Амалия Поппер — это те, кого можно отследить, а сколько менее явных, но не менее ярких для Джойса, амальгамировавших в лаву его эротических видений… А они, в свою очередь, стали Анной Ливией, рекой Лиффи, омывающей мир. В «Поминках по Финнегану» он безоговорочнее, чем прежде, лепит своих героев из смеси мифа и реальности.

Шем и Шоун явно наследуют черты Джеймса и Джона Фордов, дублинских дурачков — их так и называли, потому что они не выговаривали даже своих имен. Все, на что они были способны, это подносить клюшки хоккеистам и таскать рекламные щиты. Но там же проглядывают и сам автор, и Станислаус, и множество персонажей популярных фарсов, комедий и фельетонов, вплоть до старого Ника (дьявола) и святого Мика (архангела Михаила). Возможнее всего, это персонификация архетипов собственного джойсовского мира — подонка и блюстителя, художника и продажного критика, гопника и ботаника, буржуа и анархиста. Джойс слепляет

ипостаси, как экономная хозяйка обмылки, но они те, что проносит по миру тот же поток, Река Всех Рек. Улисс, по наблюдению Виктора Берара, возвращается в Итаку нахоженными торговыми путями, и его двойник идет по Дублину дорогами, по которым он ходил уже тысячи раз, но каждый ли раз этой дорогой проходил тот же самый человек.

Джойс всегда стремился вплести факт в сказку, придать сакральность тривиальности, даже бытовизму. Отсюда и его страсть ко всем предрассудкам, коллекционирование их, нумерология и множество амулетов. Не раз и не два он говорил о том, что его книги — не просто книги, но некие заклинания и предсказания. Он высмеивал себя в роли пророка или мага, на этом построен целый раздел «Поминок…», однако для него жизнь решительно есть колдовство, природа есть гигантская книга волшебств и в любой обыденности светится огонь чуда, которое не дается в руки, но может быть засвидетельствовано.

Сэмюел Беккет писал, что для Джойса реальность есть парадигма, иллюстрация к закону, который, возможно, установить не удастся. Но можно высказать более или менее верное предположение. Для Джойса оно явно было в совпадениях. Реальность обретает те формы, какие может, а из мешка выпадают одни и те же номерки, и закрываются одни и те же цифры на карточке лото. Движение постоянно, но у постоянства есть границы. Блум утешается тем, что любая измена, в том числе и Молли, есть одна из бесконечного множества, а любое проявление жестокости есть новое проявление всегдашней жестокости и т. д. Возможно, Джойса крайне заинтересовал бы метод фракталов, когда любая фигура описывается как повторение все уменьшающихся изображений этой фигуры. Ирония и одновременно уважение Джойса к этому закону прокомментированы тем самым видом Корка в пробковой рамке[137], что висел у него в Париже; совпадает все, вот главное правило мира.

Совпадает ли прошлое с настоящим? Этот вопрос среди множества прочих Джойс обязательно задает в «Поминках по Финнегану». Никаких дат, никаких хронологий, разве что догадки о них, но совпадения во всем и для всей вселенной — слова со словами, люди с людьми, события с событиями, пуны, сны, пародии. Паровоз мчится по рельсам, но в полном тумане. Видно только одну дату. 11 марта 1923 года он написал две страницы новой книги — вслепую, на огромном листе грубой бумаги, чтобы прочесть и поправить. Семнадцать лет спустя, 4 мая 1941-го, он возьмет в руки новую книгу.

Глава тридцать первая ПОМИНКИ, ФИННЕГАНЫ, СЛЕПОТА

A strange, unserviceable thing,
A fragile, exquisite pale shell…
[138]

Новые зубы подоспели вовремя, сели идеально, в них повеселевший Джойс отправился в Лондон с Норой и Лючией — Джорджо остался в Париже.

Кэтлин, младшая сестра Норы, уже собиралась встретить их, из Голуэя приехали Майкл Хили и миссис Барнакл. В пять утра Кэтлин была на Юстон-стейшн и, не увидев там никого, от неожиданности разрыдалась. Но тут появился худой мужчина в темных очках, и она спросила:

— Вы не Джим?

— Боже, Кэтлин, — сказал он, — как мне тебя описали! Откуда у тебя взялись ресницы?

И улыбнулся.

Потом, когда Кэтлин умудрилась потеряться на вокзале, он улыбнулся снова. На ней были ее лучшие вещи, и за столом она вела себя прекрасно, так что Джойс заметил Норе:

— А она вполне.

С ними Кэтлин поехала в Сассекс, где они решили провести лето.

Как ни странно, Джойс оставлял работу ради долгих прогулок и бесед со свояченицей. Возможно, ее поведение и восторг от свободы, которой в Голуэе она не знала, представляли для него чисто антропологический интерес. Он пристально наблюдал, как она по-детски возится с косметикой Норы, тоже запретной для нее. В кои-то веки он пошел к мессе — с ней, предупредив, что лишь для того, чтобы снять эту тему в домашних скандалах. Когда она с радостными воплями покупала у Вулворта чайные чашки для друзей, то он наблюдал за ней почти с умилением. Младшие сестры жен — существа особенные. Биографы описывают ситуацию, когда у Кэтлин лопнула только что купленная замшевая туфелька (редкость по тем временам) и Нора потащила ее в магазин, а управляющий отказался менять пару. Тогда Нора сказала, что ее муж писатель и, если они не поменяют туфли, он опишет это в газете. Хотя Нора спутала писателя с репортером, все же это едва ли не единственный раз,

когда она гордо призналась в занятии своего мужа. Управляющий смалодушничал и обменял товар. Джойс купил себе белые брюки, но носить не смог — они просвечивали.

В Богноре Нора сказал Кэтлин, что муж снова пишет и что это очень тяжело — быть женой писателя. Ей все время приходится прикрывать ему спину. Кэтлин казалось, что Нора — это воплощенное движение и решительность, а Джеймс — неподвижность и размышление. Однако это было распространенной ошибкой: движение Джойса было планетным, а орбита огромной; Нора по сравнению с ним была молекулой.

Он уже погружался в «Поминки по Финнегану». Каков его внутренний мир в эти времена, можно судить лишь гадатель-но, через тусклое стекло писем, дневников, свидетельств очевидцев и воспоминаний. В архивах мира, государственных и частных коллекциях бережно сохраняется огромное количество рабочих материалов, записей и рукописей самого Джойса. Исписанные чудовищным почерком, плодом нетвердой руки и почти угасших глаз, бумаги эти уже сами по себе элементы распространяющегося культа. Одно из самых модных направлений современного джойсоведения — работа с записными книжками Джойса, а в ней первое по сложности место занимает именно анализ материалов «Поминок…».

Что рождает, движет и развивает этот самый странный в мировой литературе текст? Во вполне уязвимой для полемики мере этот вопрос интереснее самой книги. Она похожа на что угодно, только не на текст, написанный неудачником. Действительно, записи, начинающиеся с 1924-го и не закончившиеся 1939-м, рисуют странную картину, многослойные и продолжающиеся изменения всего — речи, стиля, композиции, персонажей. Единственное слово, даже скорее словечко, превращается в целый фрагмент, а внятный и пространный отрывок — в колдовскую, заклинательную, насмешливо закодированную фразу. Все той же мисс Уивер Джойс признается в том, как трудно ему структурировать, а не просто записать; и в поисках формы он снова штудирует Джамбаттиста Вико. Его этимология и построение мифов помогают Джойсу искать значение незначительного, в поверхностном — вспышки глубинных энергий, тектонических сил. Он восхищен простой и вместительной идеей разделения человеческой истории на возвращающиеся циклы, где каждый, словно в стихах Элиота, открывается тем, «что сказал гром». Жречество, аристократия — власть лучших, демократия — власть обобществленная сменяют друг друга, и огненная фантазия мифа уступает рефлексии, абстрактному мышлению, а затем накапливаются ошибки и

заблуждения, порожденные природой человека, наступает нравственная деградация, сползание к варварству, пожар и — новое движение к тому же итогу…

Не идея Вико о Божественном промысле, ведущем человека к созданию «вечной идеальной истории», не педантичное деление на циклы завораживало Джойса. Возможность их психологической интерпретации, подпорок, по которым поднимутся лозы мысли художника, была гораздо интереснее. По разбросанным в письмах и заметках суждениям, Джойса они поддерживали в осмыслении прежде всего собственной жизни и того, что в нее вошло на метафизическом уровне. Он говорил Эжену Жола: «Я легко смог бы написать эту книгу в традиционной манере. Каждому романисту известен рецепт. Нетрудно следовать простой хронологической схеме, которую поймут даже критики. Но я прежде всего пытаюсь рассказать историю чэпелизодского семейства по-новому. Время, река и гора — вот настоящие герои моей книги. Но части совершенно те же, которые может использовать любой писатель: мужчина и женщина, рождение, детство, ночь, сон, брак, молитва, смерть. Во всем этом нет ничего парадоксального. Я только пытаюсь создать многоплановое повествование с единой эстетической целью. Вы когда-нибудь читали Лоренса Стерна?»

Прошлой весной он читал Ларбо странный отрывок о короле Марке, Тристане и Изольде, который он переписал здесь, в отеле «Александра-хауз» на Кларенс-роуд; в нем снова оживала его больная тема, неверность. Чайки, кошачьими голосами вопившие на гребнях богнорских крыш, словно разбалтывали унизительную тайну короля. «Три кварка[139] для мистера Марка! Обаянье его не особенно ярко! И глядится-то он, словно сделан в запарке! Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо, смогучий Марк!»

До конца года Джойс пишет почти всю первую книгу — восемь больших фрагментов, которые джойсоведы называют по-разному. Строение книги, ее композиция — не меньшая, если не большая загадка. Джойс благодетельно обозначил начала и концы частей ПФ, традиционно именуемых книгами. Нумерация их, предпринятая уже литературоведами, временами помогает хотя бы не запутаться окончательно.

В общем, признано, что вступительная глава первой книги представляет нечто вроде обзора тем романа. Сам Джойс упоминал о ней как о «прелюдии». Здесь мы слышим о центральном персонаже, здесь называется имя Финнеган и поясняется, что он подносчик на стройке в Дублине, упавший с лесов, или с башни, или со стены и разбившийся насмерть, и тут он преображается в ландшафт, на котором воздвигнут Дублин.

Рим на холмах, а Дублин на тушке Финнегана. Тело становится поминальной трапезой, накрытой для скорбящих на его поминках, с которыми первоначально и связывается слово Wake. Но как только они принимаются вкушать его, «примите-ядите», он исчезает, словно призрак. Наконец, в соответствии с комической балладой, давшей Джойсу название книги, разгорается драка, виски расплескивается на вновь явленный труп Финнегана, и он воскресает. Еще до того, как эта книга впускает читателя, его встречает пароль — как уже упоминалось, апострофа, положенного по законам грамматики, тут нет, и название читается «Воскрешение (всех) Финнеганов».

Однако прежде чем в конце главы Финнеган Всех Финнеганов восстанет, мы пробираемся через целый набор всяких завитушек (всплывающих эпизодов, *pop-ups*), в критических статьях условно именуемых «The Museyroom», «Mutt and Jute» and «The Prankquean». «The Museyroom» стилизована под экскурсию по памятнику Веллингтону в Феникс-парке, напоминающему Ирвикеру двух девчонок, спрятавшихся в кустики пописать (именуемых в тексте и в разборах «парочка Мэгги», the Maggies), и трех подглядывающих за ними солдат. Финнеган тут преображается в воина (в частности, самого Веллингтона при Ватерлоо). «Mutt and Jute» — нечто вроде диалога между полуглухим и полунемым ирландскими предками. «The Prankquean» (prank + queen + ocean) изображает Финнегана жертвой мстительной пиратской королевы, видимо, прославленной Грейс О'Мэлли.

В конце 1.1 Финнеган, орошенный виски, возвращается в сознание (тоже WAKE!), но наемные плакальщики с совершенно одесскими интонациями и оборотами уверяют его, что ему надо снова лечь и поспать («Now be aisy, good Mr Finnimore, sir. And take your laysure like a god on pension and don't be walking abroad»). Новая версия Финнегана, Эвримэн, плывет по Дублинскому заливу, наследуя древней мистерии: Humphrey Chimpden Earwicker, чьи инициалы HCE («Here Comes Everybody») всплывают то и дело в самых разных фразах этой книги («Howth Castle and Environs» в знаменитой первой фразе).

Глава 1.2 открывается издевательски-серьезным описанием, как HCE получил имя «Earwicker» (Фитиль в ухо? Прут в ухо? Ухосуй?) от короля, заставшего его за попыткой поймать уховертку (*earwig*) перевернутым горшком на палке, в то время как он предположительно должен был блюсти ворота, где взималась плата за въезд (мыто). Похоже, есть и еще один литературный источник, такой же издевательски надежный, как баллада о Тиме Финнегане. Это стихотворение из книги Эдварда

Ньюмена, известного главным образом как автор книг «История трав Британии» и «Введение в изучение насекомых», благосклонно принятых критикой 1840-х годов и выдержавших несколько переизданий. Как многие английские натуралисты — Томас Хаксли, Дарвин и т. д. — Ньюмен удовлетворял свои литературные амбиции поэзией, навеянной длительными прогулками по английским пейзажам и в какой-то мере бывшей побочным продуктом его исследований растений и насекомых.

УХОВЕРТКИ

Первыми гулять выходят Уховертки,
Уховертки — это FORNICULINA;
На хвостах у них находится оружие,
Совершенно схожее с клещами.
Ими, как сообщают, уховертки
Открывают и складывают задние крылья;
Можете понаблюдать и увидеть это;
Мне ни разу не удалось.

Перевод подстрочный, но прелесть подлинника передает полностью[140]. Даже рифма почти совпадает. Стихотворение заслуженно стало звездой антологии «Very Bad Poetry», собранной Катрин и Россом Петрас уже в 1977 году. Джойс с его безупречным слухом на графоманию и фольклор не мог, разумеется, пройти и мимо этого шедевра. Генри, еще Бесфамильный, занимался наблюдениями задолго до Ньюмена, хотя и со сходной страстностью. За что и был вознагражден. Разумеется, пародируются легенды о родовых именах, как и сама ирландская склонность к легендированию и возвышению тривиальных обстоятельств. Хотя имя дано как оскорбление, но ведь королем же! Оно сперва помогает HCE возвыситься в дублинском обществе (как «Неге Comes Everybody»), но потом его низвергают сплетней о сексуальном домогательстве, где замешаны те две девчонки из Феникс-парка (рядом с Чейпелизод). Большинство глав с 1.2 по 1.4 развивают эту сплетню, начиная со стычки HCE с «Хамом-с-Трубкой». Все диалоги и монологи имеют отчетливо кэрролловскую интонацию. Хам спрашивает время, но HCE принимает его вопрос за обвинение и обвиняет сам себя, начиная отрицать сплетни, которых Хам-с-Труб-кой еще не слышал. Тут HCE становится просто параноиком и начинает прятаться от всех и писать книгу, которая определенно напоминает «Улисса». Сплетня набирает размах, HCE обвиняют в новых и новых преступлениях и в конце концов доводят дело до суда.

Несмотря на письмо с подписью АЛП («A Laughable Party», инициалы жены HCE — ALP), защищающее HCE, он посажен в тюрьму, над ним издеваются американские туристы, и наконец он положен во гроб и до поры до времени закопан на дне озера Лох-Ней. Книга преображается в письмо (разбираемое в главе 5.1), диктуемое АЛП Шему, доверяемое Шону для доставки, но как-то оказавшееся в мусорной куче, где его откапывает курица по кличке Бидди. Письмо — то ли обвинительный, то ли оправдательный акт. Глава 6.1, чаще известная как «Квиз», состоит из легкого уклонения от повествования (даже от такого, какое оно есть), чтобы представить протагониста в форме двенадцати загадок и ответов. По Роберту Ван-Хенкесу и Эрику Биндервойту, глава «занимает стратегически важное место между двумя большими вопросами, поднятыми в предыдущих главах, и которые никак не решены: в чем на самом деле тайный грех Ирвикера и о чем было письмо?». В двух последних главах книги 1 мы больше узнаем о писце-писателе Шеме и авторе АЛП, о последней из одного из наиболее популярных фрагментов текста, часто публикуемого отдельно под названием «Анна Ливия Плюрабель». Песнь Песней Джеймса Джойса, одно из удивительных произведений лирики двадцатого века, нипроза-нипоэзия, *проэзия* — приходится тужиться, подражая ДД, чтобы найти хотя бы сносное определение.

Лжетрагедия Ирвикера освещается четырьмя старцами, чье коллективное имя, Мамалуйо, сложено из имен четырех евангелистов — Матвей, Марк, Лука и. Иоанн. Они одновременно четыре летописца и выпевателя истории Ирландии, затем они умножаются до шести певцов-декламаторов и далее до двенадцати дряхлых выпивох в пабе Ирвикера. Эпизод с ними он написал позже как «исследование дряхлости», но связь его с более ранними отрывками доказывает, что Джойс вполне представлял себе хотя бы самое первое строение книги. Сам он непочтительно утверждал, что использует принцип маджонга.

В августе Джойсы вернулись в Париж, куда как раз подоспел очередной перевод от мисс Уивер. Благодаря ему тут же было снято жилье получше, в «Виктория Палас-отель», на рю Блез Десгофе, 6, но квартиру все равно надо было искать. «Отчаянная охота в парижских джунглях продолжается; табуны омнибусов, слоновьи трубы такси и т. п. и в этом караван-сарае, населенном американскими громкоговорителями, я создаю нелепую прозу, положив бумагу на зеленый чемодан, который купил в Богноре…»

Дети Джойса превратились в фактор, который требовалось если не устранять, то обеспечивать его отсутствие. Лючия перелетает из школы в школу. Джорджо — клерк в «Банк

насьональ дю креди», но совершенно явно готовился повторить судьбу отца и бросить финансовую карьеру. Однако потом отец всегда спрашивал его совета по финансовым вопросам. Бас, появившийся после ломки голоса, вполне допускал карьеру профессионального певца, которая отцу не удалась, и Джорджо переходит в «Скола канторум», где и проучится несколько лет. Теперь он предпочитает зваться «Джордж», но фамилия «Джойс» приводит в восторг далеко не всех. Его педагог, молодой американский органист Артур Лаубенштайн, поначалу отнесся к нему всего лишь как к не слишком прилежному ученику, но вскоре они подружились и наставник был даже допущен в семью. Джойсу он тоже понравился; во всяком случае, об астрономии и иезуитах он с музыкантом беседовал охотно. Заметив, что Артур не слишком в этом разбирается, Джойс переходил на епископальную музыку или на тонкости американского английского. Его забавляли выражения вроде «Адам и Ева на плоту» (яйцо в мешочек на поджаренном тосте), которые он собирал для дальнейшего использования. Когда Артур приходил, Джойс начинал беседу с того самого слова, на котором остановился в прошлый вечер. Или задавал неожиданные вопросы: «Что сильнее удерживает людей вместе — вера или сомнение?» Лаубенштайн считал — вера, но Джойс отстаивал сомнение. Жизнь, говорил он, держится на сомнении. Он склонял музыканта прочитать «Улисса» и даже подарил ему экземпляр.

— Как вам понравилась книга? — поинтересовался Джойс пару недель спустя.

— Я ее потерял, — бесстрашно ответил Артур.

Джойс расхохотался и подарил ему другую, а потом долго спрашивал, как он ее находит. И наконец Лаубенштайн признался, что не понимает романа. Но Джойс не обиделся. Он ответил:

— Только несколько писателей и преподавателей его понимают. Ценность этой книги в стиле.

Однако временами он бывал совсем не так мил и понимающ. Джойс не мог бросить пить. Запои вызывали буйные сцены, многочасовые монологи с перечислением всех его неудач, срывов и несчастий. Нора уговаривала его: «Джим, ну Джим, ну мы все это уже знаем, мы это слышали», но Джойс не унимался. Несколько раз его удавалось унять фразой: «Я забираю детей и возвращаюсь в Ирландию!» — но иногда ее просто не было времени произнести. Однажды, когда они возвратились из ресторана, Джойс вылез из такси и, вместо того чтобы подняться домой, бросился бежать по улице, крича: «Зачем?! Зачем я навязал им его?!» Такой он видел судьбу «Улисса». Нора

оглянулась на испуганного Лаубенштайна и сказала: «Не волнуйтесь, я справлюсь». И она действительно догнала мужа и умело вернула его к подъезду.

В октябре 1923 года состоялась первая встреча Джойса и Джона Куинна, которую тщательно готовили, разумеется, под неусыпным наблюдением Эзры Паунда и при участии Форда Мэдокса Форда. Фотография показывает их совершенно разными — суровый Куинн, зевающий Форд, мрачный Паунд, а вот Джойс, как ни странно, спокоен и непроницаем. Ведь он не слишком уважал Куинна, особенно после процесса «Литтл ревью». Судя по письмам, он жалел не о продаже Куинну рукописи «Улисса», а о том, что не запросил больше, особенно после того, как узнал, что тот собирается выставить все манускрипты на аукцион. Джойсу он предложил всего две тысячи долларов — цену вряд ли справедливую. Поэтому писатель никак не отозвался на предложение, но остался достаточно сдержан и доброжелателен — ведь от Куинна пока зависели почти все американские контакты. Он даже предложил прочесть ему несколько отрывков из новой книги. Куинн отказался, сославшись на занятость, но пообещал выслушать их в следующий приезд.

Хемингуэй был на следующей встрече, собранной уже Паундом; он отсиделся в другой комнате, но видел, как Форд уговаривал Джойса принять участие в новом журнале «трансатлантик ревью» (именно так, со строчных букв), который Форд редактировал и собирался выпустить в январе 1924 года. Форд утверждал, что учредители категорически отказались печатать там Джойса, но он согласился принять пост лишь при условии его публикации. Джойс съязвил — жаль, Форд не успел попросить о том же Пруста. Одно его предложение заняло бы весь выпуск. В конце концов он согласился числиться среди перспективных авторов журнала и даже пообещал Форду самую веселую главу, где Ирвикер предстает во всем своем разнообразии. Условие было одно: двое гранок и его авторская правка.

Попытка отговорить Куинна от продажи рукописи не удалась. Ее за 1975 долларов купил известный и уважаемый коллекционер-торговец Розенбах. Цена задела Джойса. Сперва он пытался уговорить сам себя — дескать, кто угадает, что он, Джойс, будет значить для следующего поколения… Но рассвирепел, когда узнал, что автографы двух стихотворений Мередита Куинн приобрел за 1400 долларов. Отказавшись принять свою долю выручки, Джойс потребовал, чтобы Куинн узнал, за какую сумму Розенбах уступит рукопись; Розенбах отказался продавать, а взамен предложил купить правленые

гранки «Улисса». Теперь яростно отказался Джойс.

Но репутации его это не повредило. Теперь он мог влиять на судьбы писателей — и повлиял. Дюжардена он уже вернул из забвения, теперь настала очередь старого друга Этторе Шмица.

Шмиц начал писать во время войны странную книгу; в 1923 году он сумел собрать эти наброски в прославленную ныне «Самопознание Дзено» — роман о человеке, который не хочет бороться за существование, а чтобы избежать обвинений, усердно лечится от курения и непонятной болезни. Предыдущие романы Шмица-Звево, «Жизнь» и «Старость», канули незамеченными, но равнодушие публики к «Самопознанию» было особенно болезненно: писателю было уже шестьдесят, не хотелось думать, что жизнь потрачена зря. Экземпляр книги он послал и Джойсу, вместе с горестным письмом. Джойс ответил: «Что ты жалуешься? Ты должен знать — это, несомненно, твоя лучшая книга». Он подробно оценил текст и, исходя из собственного опыта, предложил Этторе кое-какие меры по продвижению книги; по его совету Шмиц разослал экземпляры Ларбо, Бенжамену Кремье, Элиоту, Форду и тогдашнему редактору «Дайэл» Гилберту Селдесу, как бы невзначай ссылаясь на Джойса. А Джойс в разговоре с первыми двумя заметил, что единственный современный итальянский писатель, который его интересует, это Итало Звево. В апреле 1924-го он уже писал Шмицу, что книга понравилась Ларбо, а тот, прочитав два других романа Звево, уже от себя прислал два доброжелательных письма.

Соединенными усилиями удалось привлечь к Звево внимание Эудженио Монтале — так появилось первое серьезное упоминание о нем в итальянской прессе. Затем Адриенн Монье посвящает ему весь февральский выпуск «Серебряного корабля», а Ларбо все же удается напечатать в «Коммерс» рецензию с обширными цитатами. Последовало переиздание «Старости», и Звево написал Джойсу, что тот «воскресил его, яко Лазаря». До 1928 года он часто приезжал в Париж и радостно появлялся в круге Джойса; он даже закуривал на радостях, но всегда приговаривал цитатой из собственного романа: «Его последняя сигарета»…

Джойс в качестве гонорара позаимствовал имя и волосы синьоры Ливии Шмиц — героиню зовут Анна Ливия, и волосы у нее такие же рыже-бронзовые. Синьора Шмиц слегка встревожилась, не заденет ли это ее честь. Но муж подарил Джойсу ее портрет кисти Веррудо в благодарность за счастье, которое испытал. В интервью безымянному итальянскому журналисту Джойс говорил: «Считают, что я обессмертил Звево, но я также обессмертил и локоны синьоры Звево. Они были

длинными и светло-рыжими. Моя сестра, видевшая, как они ниспадают, рассказала мне о них. Река в Дублине течет мимо красилен, отчего вода в ней красноватая. Так что я в шутку сравнил эти две веши в книге, которую пишу. Дитя в ней будет иметь точно такие же волосы, как у синьоры Звево».

Французский перевод «Портрета художника в юности», сделанный Людмилой Савицки, наконец вышел в 1924 году под названием «Дедалус». Критики приняли книгу хорошо и даже с некоторым восторгом, но Джойса уже поглотила идея перевести «Улисса». Он поначалу считал, что роман в большей части непереводим — на иностранный язык, но вполне переводим в другую систему выражения, например, в кино. Однако вечер Ларбо в «Шекспир и компания» и успех переложения фрагментов снова вернули его к Мысли о французском переводе. Ларбо только что закончил «Путь всякой плоти» Батлера. Конечно, трудность задачи несравнима, и все же какое-то подспудное сходство между этими книгами было, поэтому Ларбо решился и в начале 1923-го снова засел за перевод фрагментов книги, но тут уперся Джойс. Он считал, что это разорвет впечатление от целого. Тогда Ларбо предложил заполнить пробелы чем-то вроде пересказа, но Джойса это не устроило. В итоге Адриенн пригласила Огюста Мореля, который только что хорошо перевел нескольких английских поэтов, и он согласился.

Уехав на побережье Бретани, Морель погрузился в работу и лишь иногда наведывался в Париж, чтобы проконсультироваться с Монье или самим Джойсом. К сожалению, при всей одаренности он не знал английский в тонкостях, как Савицки или Ларбо, да и Ларбо не всегда хватало осведомленности для многочисленных ловушек Джойса: Леон Фарг, переводивший «Пенелопу», тоже слегка перестарался с просторечием, и Молли получилась той плебейкой, которой не была. Однако с помощью Ларбо и Сильвии Бич удалось подготовить несколько отрывков для публикации в «Коммерс» — это был акт привлечения внимания к появлению всей книги. Джойс настоял на добавлении еще нескольких отрывков, которые привели в замешательство княгиню Гаэтани, дававшую деньги на газету. Джойс сумел переубедить ее. Затем в историю решил войти французский печатник, убравший ирландский акцент из монолога Молли; Джойсу пришлось воевать за восстановление. Потребовалась телеграмма Ларбо из Италии, чтобы убедить Адриенн сделать это. Шпильки Молли (Джойс считал, что это последняя деталь туалета, от которой женщина избавляется, прежде чем лечь в постель) тоже едва не стали жертвой редактуры. Многими последующими ошибками ранние переиздания Джойса обязаны этим переводам.

«Телемах» был переведен полностью, «Итака» и «Пенелопа» частями, они вышли в летнем выпуске «Коммерс» за 1924 год. Но вскоре возник довольно неприятный, но предсказуемый конфликт. Ларбо задело то, что Джойс обращается с ним как с литературным агентом. Собственно, даже самые верные друзья мучились тем же, но здесь все осложнялось тем, что Джойс совершенно не считался с тем, что сам Ларбо вовсе не дурной романист и поэт. Да и с кругом Адриенн удавалось ладить все меньше. Джойс тратил столько же энергии на работу, сколько на усилия не давать размолвкам из-за «Улисса» оторвать его от «Поминок…». В феврале он получил обещанные гранки из «трансатлантик ревью», но печатники, не привыкшие к его почерку и манере корректуры, наделали ошибок: правка заняла весь март. Форд был неприятно удивлен, что какой-то текст может стать причиной запрета всего номера. Сисли Хаддлстон, которого Форд попросил об экспертизе, тщательно просмотрел фрагменты и заверил, что никакой суд, ни британский, ни американский, не найдет здесь непристойностей. В апреле «Таймс литэрари сапплемент» в рубрике «Ход работы» поместил тот же фрагмент, а рядом с ним знаменитого сюрреалиста Тристана Тцара и текст Хемингуэя. Форд удачно подобрал заголовок, и Джойс благосклонно давал туда части книги до самого ее выхода в 1939 году.

Но публикация не только порождала интерес. «Поминки по Финнегану» станут в судьбе Джойса чем-то вроде «Саломеи» для Уайльда. Сперва до него доносились только слухи, что фрагменты не нравятся читателям и хуже того — они разочаровали Гарриет Уивер. Он писал: «Не думаю, что ей понравился тон моего последнего извержения, хотя Ларбо, которому я читал его, утверждает, что это самые сильные страницы из написанного мной. Задача, которую я перед собой поставил, безумно трудна, но я верю, что она должна быть завершена. Боже мой. Какие грехи я совершил в моем прошлом воплощении, чтобы оказаться в такой яме?» А ведь ей был послан набросок «Анны Ливии Плюрабель»: «…болтовня двух прачек через реку, которые с приходом ночи становятся деревом и камнем. Река называется Анна Лиффи. Некоторые слова из начала — гибриды датского и английского. Дублин основан викингами. Ирландское название — Байле аха Клиах, Балликли = Город у брода. Ее ящик Пандоры содержит беды, наследованные плотью. Поток бурый, богатый лососем, извилист, неглубок. Разделенный рекой до самого конца (семь дамб), встает строящийся город. Иззи позже станет Изольдой (см. Чейпелизод)».

Почему-то Джойсу казалось, что этот эпизод ей понравится.

Он требовал, чтобы она прочла «Новую науку» Вико, так же, как настаивал, чтобы она перечитала «Одиссею» для лучшего понимания «Улисса». Ведь Шоун-Почтальон спешит в ночи обратно, сквозь уже случившиеся события; так должна была заканчиваться первая книга.

Как всегда, работу духа остановила слабая плоть: в конъюнктиве левого глаза опять начинает застаиваться жидкость, операцию можно было отложить, но ненадолго. Джойс изо всех сил дописывал «Шоуна-Почтальона», рукопись буквально втягивала его в себя, и поэтому он связал все материалы в один пакет и увез в «Шекспир и компанию». Пустота была настолько оглушительной, что Джойс написал стихотворение — впервые за много лет.

Вот снова!
Приди, отдай мне все, ты мой!
Зовет из мрака вкрадчивое слово
С жестокой силой, с кротостью слепой,
Как бы смиряя ужас в обреченном,
Молчи, любовь! Мой рок!
Накрой меня своею темнотой, о сжалься, враг мой милый!
Невыносимым хладом лба коснись,
Вытягивай живые жилы Из сердца! Ниже, ниже наклонись,
Грозя и муча, мстя и сострадая
За все, чем стал, чем был!
Вот снова!
Из шелеста ночного, ветрового, из тьмы, что впереди,
Зовет чуть слышно вкрадчивое слово,
Терзая слух и мозг: приди, приди!
Я — здесь. Я твой, блаженный мой мучитель!
Прими, утешь, спаси! О, пощади![141]

Сложная, неожиданно вспыхивающая рифма, странный, меняющийся, но гармоничный размер — стихотворение в самой высокой степени музыкально, музыкой Стравинского, Дебюсси, Онеггера. Та же интонация, что в письмах Норе после их ссоры в 1912-м — пасть под колесницу, сдаться губительнице-любимой, умереть в ней. А «Ослепи меня своей темной близостью» — вряд ли эта строка только метафора. Сплетая свою вечную тревогу о слепоте и Норе, Джойс горестно признает, что не сможет противиться ни одной из них, но одной из них еще и не хочет. Деспотическая и неумолимая власть над собственным текстом

полярна упоенному эротическому самоотречению. Он отослал его Ларбо. В том же мае 1924 года Джойс безо всякого удовольствия позирует молодому тогда ирландскому художнику Патрику Тьюохи. Больше всего его не то раздражало, не то возбуждало присутствие Филлис Мосс, девушки Тьюохи, беспрерывно щебетавшей на самые разные темы. Джойс отмалчивался или дерзил, говорил колкости художнику — дескать, он имеет серьезные претензии к собственной внешности и не рвется размножать ее в картинах или бюстах. Потом сварливо поинтересовался:

— Вы хотите нарисовать меня или мое имя?

Тьюохи дал верный ответ, и Джойс неохотно смирился, но когда художник с неустранимым дублинским выговором начал разъяснять, что непременно выразит душу писателя, Джойс опять осадил его:

— Оставьте в покое мою душу. Пусть лучше галстук будет на месте.

Тьюохи закончил портрет лишь в 1927-м, в том же году переехал в Америку и там покончил с собой, отравившись газом.

Болезнь глаз опять усилилась, и в июне Джойс лег на пятую операцию и вторую на левом глазу — снова иридоэктомия. Борш стремился избежать осложнения глаукомы: после операции Джойсу пришлось лежать с толстой повязкой на глазах в затемненной комнате, и в силу уже известных особенностей характера фильм, который он крутил для себя, составляли самые невеселые воспоминания. Их перемежали мысли о судьбе «Поминок…». Майрон Наттинг вспоминал, как он пришел в клинику на улице Шерш-Миди навестить Джойса и, открыв дверь в палату, понял, что Джойс только что спрятал что-то под подушку. «Привет, Джойс!» — сказал он, и Джойс тут же достал из-под подушки большой блокнот и карандаш, вслепую дописал фразу, сунул все обратно и ответил: «Привет, Наттинг…»

Шестнадцатого июня в блокноте нацарапано: «Сегодня 16 июня 1924 года двадцать лет спустя. Вспомнит ли кто-нибудь эту дату». И вскоре в палату внесли большой букет белых и синих гортензий — подарок друзей к Блумдню. Так его уже называли.

Повязки сняли, и он, почти не веривший, что радужная оболочка сможет освободиться от мути, осознал, что видит вполне достаточно. Решив, что парижский климат не для него — «таким себе представляют ад методисты-проповедники», — Джойс зарезервировал на будущий год квартиру в Ницце. Но поехал в Сен-Мало, где скверная погода с июля по август вернула хандру. Даже яркая и шумная бретонская ярмарка, даже дружеское письмо от Йетса не помогли — впрочем, письмо он скопировал

для мисс Уивер и брата. Бретонский язык тоже поучаствовал в сотворении «Поминок…». Джойс еще не знал, что на вручении литературной премии «Тайлтенн» Йетс сказал: «Нам не придется рассматривать ни „Завоевателя замка“ Падрайка Колума, ни „Улисса“ Джеймса Джойса, ни „Беседы на Эбьюри-стрит“ Джорджа Мура, ибо они, как и мистер Джордж Бернард Шоу, не являются жителями Ирландии. Однако мы считаем нашим долгом сказать, что книга мистера Джойса, пусть и непристойная, как роман Рабле, и потому запрещенная законом в Англии и Соединенных Штатах, куда бесспорнее является произведением гения, чем любая проза, написанная ирландцем со времени смерти Синга».

Постоянно писать Джойс еще не мог и занимался больше тем, что сводил воедино уже опубликованные части «Хода работы». Мисс Уивер он писал, что одним глазом созерцает море и ничто больше не заставляет его сидеть с разинутым в восторге ртом. Но Джойс смог проехаться и к менгирам Карнака с Норой, американским писателем Ллойдом Моррисом и его матушкой. Правда, обсуждать фаллические изваяния древних кельтов он решился только после того, как леди ушли вперед.

В самом начале сентября Джойсы вернулись в Париж и нашли квартиру на авеню Шарль Фуке, 8; а в конце месяца глава семьи отбыл в Лондон. Среди поклонников Джойса появились две дамы — уже знаменитая H. D., Хильда Дулитл, поэтесса и романистка, когда-то невеста и выученица Эзры Паунда, а тогда еще жена Ричарда Олдингтона и соосновательница имажизма. Рядом смертельно влюбленная в нее романистка и киножурналистка Уинифред Макэлмон, автор одной из первых книг о кино советской России, невероятно богатая тогда еще жена-лесбиянка бедного писателя-гомосексуалиста Роберта Макэлмона. Собственно говоря, она и вышла за него, чтобы уйти из семьи и дать себе полную волю, и дала — Х. Д., которой доктор Фрейд подробно разъяснил, что она бисексуальна и другой не будет, ушла к ней вместе с маленькой дочерью, прожила с ней почти двадцать лёт и встречалась до самой смерти. Эти друзья и помощники давно уговаривали мисс Гарриет наконец встретиться со знаменитым подопечным, и она согласилась. Ей прекрасно были известны слабости Джойса, он сам их подробно описывал в обильной переписке, но все же и она была ошеломлена, в октябре увидев его в том же отеле «Юстон» — Джойс был в тяжелом запое. К чести проповеднической дочери и старой девы, надо сказать, что она в тот раз не поменяла к нему своего отношения. Хотя Джойс стыдился этого случая, но вскоре его заслонил другой.

Письмо от брата Чарльза принесло очень мрачное описание

состояния тети Джозефины. Она умирала. Джойс, написавший ей накануне очень резкое письмо, раскаивался и тут же написал другое, непривычно мягкое:

«Я ведь даже надеялся встретить тебя в Лондоне пару недель назад. Мне не сказали, когда я звонил, что ты в больнице… Теперь я езжу в Англию чаще и надеюсь увидеться с тобой либо там, либо в Дублине в самом ближайшем будущем. Только вчера утром я собирался написать тебе — как обычно, на предмет сведений о моем детстве, ибо ты одна из двух людей во всей Ирландии, кто может что-то сказать мне об этом. Чарли переслал мне твое необычайно доброе письмо. Я крайне глубоко тронут, что ты сочла меня достойным упоминания в такой тяжелый час. Меня привлекло в тебе еще в юности то множество проявлений доброты, помощь и советы, сочувствие, особенно после смерти матушки… Ничто не доставляло мне такого удовольствия, как возможность говорить с тобой о самых разных вещах…Я до сих пор привязан к тебе узами благодарности, преданности и уважения. Надеюсь, что ты простишь мне эти путаные слова. Нора, Джорджо и Лючия шлют тебе горячие пожелания скорейшего выздоровления.

…Письмо Чарли было настолько тяжелым, что я должен написать тебе то слово, которое не могу написать. Прости мне, если в моем нежелании я совершаю ошибку. Но эти скудные слова благодарности я все же посылаю тебе и надеюсь, несмотря на дурные вести».

Но Джозефина Мюррей уже скончалась. От старого Дублина в этом кругу остался только Джон Джойс. Умер одноклассник Джеймса Ричард Шихи, в августе 1924 года скончался Джон Куинн, в декабре умер Уильям Арчер, не признававший Джойса наследником Ибсена. Горе Джойса было одиноким и жестоким: сила переживаний снова начала отнимать у него зрение. Шестое вмешательство помогло снять с левого глаза растущую катаракту, и Джойс увидел мир с давно забытой четкостью — но всего на несколько минут. Борш уверял, что зрение вернется, но в январе 1925-го улучшение было крайне слабым. Ему сделали капсулотомию: в центр помутневшего хрусталика вставляли циститом, крохотное лезвие, и вырезали отверстие, через которое свет попадал на сетчатку глаза. Вторую операцию, в его сорок третий день рождения, Джойс попросил отложить на день, а затем ее отложили еще, и тут правый глаз поразил конъюнктивит, настолько острый, что Джойсу пришлось срочно вернуться в клинику. Конъюнктивит перешел в эписклерит, заболевание не столько опасное, сколько мучительное, особенно по ночам, когда до глаза невозможно дотронуться. Пиявки слегка ослабили боли,

но не устранили их. Пришлось использовать морфин.

А в Нью-Йорке в этот день шло сорок седьмое представление «Изгнанников», и премьершу звали Джойс.

Выписали его только через десять дней, но Боршу не нравилось состояние его рта, он предполагал скрытый абсцесс и даже не один; рентген показал нагноение глубоко сидевшего обломка корня. Удалить его не успели: обострилось воспаление правого глаза. Борш прописал Джойсу строжайшую диету, ежедневные десятикилометровые прогулки. Джойс говорил, что если он проходит это расстояние, когда один глаз практически слеп, а другой воспален, в густом тумане и на пустой желудок, это при парижском-то движении, то ему просто обязаны дать орден Почетного легиона. В апреле обломок удаляют, оперировать до заживления нельзя, и Джойс видит достаточно, чтобы переписать большой кусок текста для июльского номера «Крайтириэн». Затем левый глаз оперируют, снова десять дней в клинике, почти в одиночестве: посетителей мало — Уиндем Льюис, миссис Наттинг, ставшая для него чтицей книги о Дублине, которую он напряженно запоминал с ее голоса, даже примечания и дополнения. Он требовал подробностей о нашествии датчан, ему очень нравилось выражение «прошли вглубь, насколько может проплыть лосось», и Джойс пытался выяснить, сколько это в милях. Миссис Наттинг вспомнила, что уховертка на йоркширском диалекте «подергушка», а Джойс пересказал ей старую легенду, что Каин придумал похоронить Авеля, наблюдая за суетящейся возле трупа уховерткой. С ним подолгу сидела Нора, которая обижалась на друзей, что они не сбегаются к мужу.

И еще одна женщина вошла в круг Джойса — таково было его обаяние. Похоже, он пробуждал в них некое преображенное подобие материнского инстинкта, особенно в богатых, бездетных, неугомонных, неспособных справиться с собственной семьей. Хелен Кастор Флейшман, жена парижского агента издательства «Бони и Ливрайт» Леона Флейшмана, была именно такой. Джойсу в больницу она принесла баночку его любимого джема из ежевики, и благодарный Джойс задумчиво поведал, что во Франции такого не едят. «Потому что на самом деле мученический венец Христов был сделан из колючих стеблей ежевики…»

Он отказывал журналистам в интервью. Не любил он их еще и из-за репортера, прорвавшегося к нему с воистину ошеломительным вопросом: «Что вы чувствуете и делаете сейчас, когда вот-вот ослепнете?» Седьмая операция и вправду не сулила успеха, хотя уголком левого глаза Джойс уже видел; правый глаз

с непроходящим конъюнктивитом мог читать печатный текст через мощную лупу. Йод, аспирин, скополамин, морфин, уколы, пиявки, охлажденные искусственные слезы… «В вашем письме упомянуто нечто под названием „теплый солнечный свет“. Что это такое? В трудах выдающихся писателей встречаются ссылки на него…» Утро в клинике, вечер у Борша. К маю он почувствовал себя лучше, но говорил, что майское солнце светит для него совершенно по-декабрьски. В июне 1925 года Джойсы снова переехали; это был тупичок, площадь Робийяк, выходящий на рю Гренель, 192, и прожили там до конца апреля 1930-го — дольше, чем где-либо еще в Париже. Суета переезда, шум и неудобства вызвали новый приступ глазных болей, и назавтра Джойс уехал в клинику прямо с оперы, где пел Шаляпин. Тем не менее приходилось обживаться: куплена недорогая мебель, развешаны семейные портреты и фотографии, новый портрет отца кисти Тьюохи, снимок здания дублинской таможни на берегу Ливффи и неожиданно — репродукция «Головы девушки» Вермеера. Левому глазу было не лучше, и Борш предупреждает его, что летом надо отдохнуть и окрепнуть, ибо сентябрь уйдет на операции и выхаживание.

Джойс уезжает в Нормандию. Излишне говорить, что при всех болях, неудобствах и отчаянии он работает, но его преследует даже погода — стоит ему уехать в самое наикурортное место, как через неделю начинаются дожди и штормы. Очевидно, само его присутствие колебало какие-то очень сложные природные механизмы. Они перебираются в Руан, но там погода вскоре стала еще хуже, пришлось уехать в Аркашон, оттуда в Ньорт и Бордо. «Бесплодную землю» Элиота он уже прочел, и ее образность чрезвычайно уместно легла на его настроение. В письмах он описывал Руан именно в этом ключе, пародируя поэму: «… размачивая сырой мозг в вымокших костях… (поспеши Джойс, ибо время!). Слышу я москитов, клубящихся над старым Бордо — множество. Не думал я, что земля скрывает их столько (поспеши, Джойс, ибо время!). Но будет дивное время, когда мы вернемся в Клинику, бесплодную землю, о Эскулапиос! (Шатанти? Шатанти? Шатанти?)». Прогулки по пляжу в Аркашоне только подтвердили, что он почти ничего не видит, а театр — что он не различает даже лиц актеров. Но он упрямо высидел в Аркашоне до начала сентября и вернулся прямо в клинику Борша. Улучшение позволило отложить седьмую операцию, и он, не вставая, дописывал седьмой эпизод «Шоу-на» — о дорогах, как «Анна Ливия Плюрабель» была о реках. Неожиданно сердечное письмо Станислаусу, написавшему о помолвке со своей бывшей ученицей Нелли Лихтенштейгер, содержало приглашение посетить их,

«пока не начался сезон у Берлица и в Биаррице». Растроганный Станислаус обещал приехать позже.

Борш назначил было операцию на 23 ноября 1925 года, но правый глаз был все так же плох, и ее пришлось отложить на 8 декабря, а сразу после этого еще сделать восьмую и девятую. В середине декабря Джойс вернулся домой — слепой на левый глаз, с болями и головокружениями, и когда Наттинги пришли навестить его, то нашли в совершеннейшем отчаянии. Он даже сказал: «Это все тянется слишком долго. Я устал». К Новому году он мог писать лишь огромными буквами, а как-то взял у Майрона Наттинга его угольный карандаш и набросал шарж на Блума, пучеглазого, простодушного, в котелке. Рядом так же небрежно выведена на койне первая строчка «Одиссеи»: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который…» На предложение диктовать Джойс ответил отказом: он должен был писать и видеть, что написано, и потому же отказался от пишущей машинки Уильяма Берда. Боли продолжались, глаз не мог вывести экссудат, скапливавшийся после операции, и Джойс лежал, ожидая, пока «Ирландский Глаз (так называется маленький островок возле Хоута) исполнит свой долг…», Но к весне наступило облегчение, и несколько месяцев глаза никак не давали о себе знать.

1925 год в основном ушел на книгу Шона, третью часть романа, составленную из четырех глав, или «бдений», и на переделку первой части. Несколько первых страниц Макэлмон опубликовал в сборнике современных авторов. Разумеется, типографы снова протестовали. В июне точно так же целомудренные английские печатники отказались набирать «Анну Ливию Плюрабель» для «Кэлендер». Джойс забрал ее, рассчитывая на публикацию в «Серебряном корабле».

Болезни, слепота, дурная погода, плохие предчувствия, переезды — ничто не могло остановить Джойса. Откуда он так уверенно знал, что это будет не только его величайшая книга, но одна из величайших книг мира? (Скорее угадывая, чем видя то, что написано на листе, вслепую внося дополнения и поправки, он делал страницу за страницей и нуждался только в том мире, который просачивался в него и откладывался в нем. Он писал о человеке, и прежде всего о нем, но лишь о том, которым был он сам, хотя был он сразу многим.

Глава тридцать вторая СНОРЕЧЬ, СЛЕПОРЕЧЬ, НОЧЕСЛОВ

In toils of measurement beyond eagle
or mole, beyond hearing or seeing…[142]

Воспрянули «Изгнанники». «Стейдж сосайети» через семь лет вновь решилось сделать спектакль на сцене Риджент-тиэтр в Лондоне.

Уильям Фэй 14 и 15 февраля показал премьеру; Джойс послал исполнительнице главной роли цветы и попросил всех лондонских друзей и знакомых побывать там. Бенуа-Мешe в Париже он усадил читать пьесу и по окончании спросил: «Так же хорошо, как у Гауптмана?» — и молодой человек ответил: «Некоторые эпизоды даже хуже…»

Не рискуя после операции ехать в Лондон, Джойс попросил друзей поподробнее записать свои впечатления — мисс Уивер, Клод Сайкс, Этторе Шмиц добросовестно сделали это. Зал был почти полон, публика аплодировала, особенно первым двум актам, третий озадачил их своим двусмысленным финалом. Сосед Шмица проворчал: «Они нам навязывают итальянские чувства», на что Шмиц ответил: «Итальянцы известны тем, что ревнуют, даже когда не влюблены».

Бернард Шоу был на втором дне премьеры и на обсуждении, организованном «Стейдж сосайети», говорил о пьесе Джойса вполне благосклонно — судя по всему, он вообще стал относиться к нему гораздо мягче, оспаривая темы и язык, но признавая «классический тип» таланта. Рецензентов это раздражало. Но Шоу позже дал Арчибальду Хендерсону очень интересное интервью, в частности о Джойсе и его языке, где сказал: «Запретите книгу, и вы не будете знать, что такое непристойность и просторечие. Это будет защита грязи, а не нравственности. Если человек поворачивает зеркало к вашей природе и показывает, что она нуждается в мытье, а не в отбеливании — бесполезно разбивать зеркало. Надо брать мыло и воду». В 1939 году он написал довольно жесткое письмо редактору «Пикчер пост», утверждавшему, что Шоу испытывал отвращение к тошнотворному реализму «Улисса» и сжег свой экземпляр в камине: «Кто-то обманул мистера Григсона. Я читал „Улисса“ в выпусках американского „Литтл ревью“ и много лет не различал, что это история единственного дублинского дня. Но проведя семь или восемь сотен единственных дней в Дублине, я различил и

талант, и поэтичность этой книги. Я не сжигал ее и не испытал отвращения. Если мистеру Джойсу когда-нибудь понадобится от меня свидетельство о том, что он автор литературного шедевра, оно будет выдано со всем возможным и искренним энтузиазмом».

Очень трогательно. Особенно если учесть, что ни Шоу, ни Йетс так романа и недочитали…

Джойс-младший, Станислаус, приехал на Пасху. Отношения между братьями давно были прохладными, а неприязнь Станислауса к «Улиссу» и «Поминкам…» усугубила их. Станислаус упрекал Джеймса, что он по-прежнему тонок, искренен и лиричен в стихах, а в прозе просто перестает быть собой. «Если литература должна развиваться в направлении твоей последней работы, она непременно станет, как предсказывал Шекспир века назад, „много шума из ничего“». Он был так же непримирим, нервен и воинствен, как семь лет назад. На площади Робийяк Станислаус увидел Джеймса и толпу поклонников, прощавших ему всё, Джеймса чванного и переставшего нуждаться, величаво роняющего слова и пьющего, пьющего. Поклонники осудили Стэнни за отличную в общем фразу: «Ты создал самый длинный день в литературе, а теперь призываешь самую темную ночь». Однако Джойс, как всегда, пил, но дело разумел: отношения Шоуна и Шема, особенно фраза о «дурнопрославленном каламбуристе», сконструированы из того же вещества, что и их с братом нескончаемые контры.

Уехал Станислаус, и появилась Эйлин Шаурек с детьми, проездом из Триеста в Ирландию, а с ними миссис Шихи-Скеффингтон и Гарри Синклер из Дублина. Джойс любил не столько ирландских гостей, сколько возможность проверить свою память — например, назвать по порядку все лавки и магазины вдоль О'Коннел-стрит, припомнить всех друзей и все знакомые места. Называл владельцев лавок и огорчался, когда те переходили к другим людям. Из его гигантской галереи словно изымали экспонат. Теперь, когда миссис Мюррей умерла, даже отца приходилось расспрашивать через третьих людей — а узнавать нужно было мельчайшие детали семейной истории, близких, древние и нынешние дублинские сплетни. Джон Джойс охотно делился всем, но иногда пробирало и его, и он интересовался, окончательно ли спятил Джим.

Третья книга «Поминок…» в мае 1926 года была переработана в той части, где появляется Шоун; Джойс заканчивает ее и отсылает мисс Уивер 7 июня с просьбой как можно быстрее сообщить свое мнение. Но тут левый глаз дает о себе знать так, что десятую операцию пришлось делать немедленно, а вот оправлялся Джойс после нее очень долго. Он

упорно вставал и появлялся на людях, но все знаменитые фото с черной накладкой сделаны именно тогда. В августе он отправился с Норой в Остенде и жил в отеле «Океан», где его страшно забавляло то, что на все звонки там отвечали: «„Океан“ слушает». Остенде неожиданно оказался уютен, погода чудная, а пляж настолько хорош, что Джойс вдруг вспомнил свое легкоатлетическое прошлое и пробегал по нему изрядное расстояние. Взял больше полусотни уроков фламандского, который, разумеется, пошел туда же — лакей Сокерсон в «Поминках…» пользуется фламандскими словами. Там же оказались многие цюрихские знакомые, и среди них Георг Гойерт, выигравший конкурс переводчиков «Рейн-Ферлаг», швейцарско-немецкого издательства Джойса, — с ним они обсуждали уже готовый перевод «Улисса», и около сотни страниц было авторизовано. Оставалось еще очень много вопросов, и Джойс с Гойертом уговорились встретиться в Париже. В Остенде прилетел Джеймс Лайонс, родич по материнской линии, провел с Джойсом несколько часов и снова лихо улетел на своем гидроплане. Джойс был в нешуточном ужасе: он говорил потом, что полетит на аэроплане только захлороформированным.

Новости были не только приятными. Еще в 1922 году ему написал американец Сэмюел Рот, даровитый поэт и начинающий издатель, выражавший искреннее сожаление, что «Улисс» недоступен американским читателям. Он успел заработать приличные деньги на школе, обучавшей иммигрантов английскому языку, и открыл несколько журналов, один из них, «Бо», считается предтечей всех американских мужских журналов типа «Эсквайра». Литературные журналы «Ту уорлдс» и «Ту уорлдс мансли» тоже печатали и перепечатывали современных писателей, наиболее откровенных и смелых в изображении секса. С сентября 1925-го Рот перепечатал из «Хода работы» пять фрагментов Джойса и даже прислал ему 200 долларов, пообещав прислать еще, чего никогда не произошло. Осмелев, Рот напечатал в сдвоенном выпуске «Ту уорлдз мансли» за июнь 1927 года почти всего «Телемаха», да еще и поправил его. США не подписывали тогда Бернскую конвенцию по защите авторских прав, но Джойс телеграммой попросил партнера Куинна начать процесс против Рота; тот, как и отец Эзры Паунда, отказался. Пришлось отложить всё до возвращения в Париж.

С семьей он отправился в Антверпен, затем в Гент и Брюссель. Разумеется, не обошлось без автобусной экскурсии в Ватерлоо — ведь в первой книге романа сражаются Наполеон и Веллингтон, и следовало запастись «де-визу» проверенными деталями. В автобусе, чего он не знал, был молодой Томас Вулф,

который не осмелился с ним заговорить, но наблюдал пристальнее, чем за экскурсоводом: «У него черная нашлепка на одном глазу… Одет очень просто, даже бедновато… Женщина с ним имеет внешность тысяч француженок среднего класса — вульгарна, большерота, не слишком интеллигентна по виду… Джойс очень прост, очень мил. Он шел рядом со стари-ком-гидом, водившим нас, с явным интересом слушал его разглагольствования на ломаном английском и задавал вопросы. Мы возвращались в Брюссель через прекрасный лес, Джойс сидел рядом с водителем и задавал множество вопросов… На обратном пути он держался театральнее — набрасывал плащ на плечи… Но мне нравилось смотреть на него — ничего необыкновенного сперва, но потом это ощущение нарастает. Лицо очень яркое, слегка вогнутое, тонкий, но крепкий рот, чрезвычайно насмешливый. Крупный, сильный, прямой нос — краснее лица, в шрамах и угрях».

Во Франкфурте в 1928 году они встретились снова и даже перекинулись парой слов, но по застенчивости Вулф опять не представился. Шервуд Андерсон и Фрэнсис Скотт Фицджеральд с Джойсом познакомились, но близкими друзьями не стали.

Сентябрь в Париже обернулся для Джойса началом неприятностей с «Поминками по Финнегану». «Дайэл», попросивший третью главу, поначалу принял ее, затем потребовал поправок, потом отказался печатать. Но Джойса насторожило даже не это, а растущая неприязнь к книге, которая, собственно, еще не была написана. Опыт «Улисса» его мало успокаивал: да и против «Поминок…» высказывались теперь даже друзья, принявшие первые романы. Те, на чью поддержку он надеялся, отмалчивались, в лучшем случае дожидаясь издания целой книги. Им было трудно читать ее иначе чем как бесконечную цепь каламбуров, пун, лингвистических шуток, а по-другому они не могли. Сперва удивление, потом раздражение и даже гнев. Многие высказывали огорчение, но были откровенные издевки. Очень осторожна была в своих письмах мисс Уивер, хотя при этом всячески поощряла работу Джойса. Но он чувствовал неладное. Всячески стараясь помочь ей верно воспринять книгу, он подробно объяснял и комментировал посылаемые куски текста, а однажды даже предложил ей «заказывать» фрагменты по своему усмотрению.

Предложение в общем было вполне приемлемым, в силу универсальности задуманной книги; оно даже позабавило мисс Уивер, которая написала ему о каких-то местных легендах Пенрита, где отдыхала, и шуточное письмо в стиле его словообразований. Там описывались гигантский кенотаф, два

каменных столба и четыре горизонтальных бруса между ними, который называли «могилой великана». Правда, последняя фраза была такой: «Но то, что мне действительно понравилось, скорее всего станет заказом на вашу следующую книгу! Однако время это еще далеко». Джойс уловил тревожную для него ноту, но остановиться уже не мог и не хотел.

Он ответил ей: «Я знаю, что это не более чем игра. Но это игра, которую я научился вести на свой собственный лад. Дети могут играть или не играть. Огр все равно придет за ними». Джойс и этот символ истолковал как каменное воплощение Ирвикера — голова в Хоуте, ноги в Кастл-Нок, что в Феникс-парке, а второе — бочонок виски и бочонок «Гиннеса» в головах и ногах Финнегана.

Отрывок (почти всю книгу «Шоуна») вместе с подробным комментарием пун, топонимов и антропонимов Джойс послал и Паунду. В середине ноября тот ответил:

«Дорогой Джим, рукопись прибыла. Все, что я могу сделать, это пожелать тебе всех возможных успехов.

Я возьмусь за нее еще раз, но в данный момент я ничего в ней понять не могу. Ничего не могу и сказать, ни о какой нехватке божественного прозрения или нового средства от триппера, ст***о***ящего такой оплетающей перифразировки.

Несомненно, сыщутся терпеливые души, которые продерутся через всё в поисках возможной шутки… но отсутствие любой связи с замыслом автора служит только развлечению или наставлению… К данному моменту я отыскал фрагмент в части Тристана и Изольды, который ты читал год назад… mais apart ca…[143] и в любом случае я не вижу, что здесь к чему… undsoweiter[144]

Всгдтвй Э. П.».

А через пару дней он получил письмо от мисс Уивер. Благодарность за подробные разъяснения впервые сопровождалась очень осторожным упоминанием о Читателе Обыкновенном: «Но, дорогой сэр (я, кажется, всегда нахожу какое-то „но“) хуже всего то, что без общего ключа и глоссария, такого, какой вы сделали для меня, бедный простодушный читатель утратит очень большую часть вашего замысла; беспомощное барахтанье — неминуемая опасность… Возможно, вы хотели, чтобы Он, Она и Они таким образом исчезли с горизонта — и особенно все чиновники — по крайней мере чтобы книга беспрепятственно могла доплыть до дальнего берега „Дублина всех времен“. Другими словами, будет ли это совершенно против вашей природы, убеждений и принципов опубликовать (когда

придет время) одновременно с обычным изданием еще и аннотированное (скажем, по двойной или тройной цене?). Забрасываю как простое предложение».

Судя по дневникам, письмо мисс Уивер его не удивило — опыт таких предложений накапливался со времен «Дублинцев»; но от Паунда он такого не ожидал. Нора вспоминает, что он долго лежал на диване, отвернувшись к стене. Но на следующий день Джойс, как ни в чем не бывало, сел за ответ:

«Громадная часть человеческого существования проходит в состоянии, которое не может быть передано осмысленным образом с помощью языка бодрствования, сухомолотой грамматики и бегущего сюжета».

Паунд стоял на своем — ни одна книга не ст*о*ит таких усилий, кроме Библии, а Библия написана другим языком и о других вещах. Паунд не понимал главного — он был среди немногих людей, от которых Джойс ожидал поддержки. Еще Лактанций говорил: «Habent sua fata libelli…» — «Книги имеют свою судьбу», эту часть цитаты знали все, но гораздо реже звучало продолжение, «…pro captu lectoris», «зависящую от способностей читателя». Способности Паунда останавливались как раз перед «Поминками по Финнегану». Слабым утешением было то, что таких явно ожидались миллионы.

В начале ноября 1926 года Станислаус известил брата, что на сорок втором году жизни собирается стать мужем Нелли Лихтенштейгер; Джеймс послал ему чек и пожелал счастья. Но тут же пришла истерическая просьба о деньгах от сестры Эйлин, которая приехала в Дублин: почти одновременно Станислаус написал ему, что Шаурек скоропостижно умер. Эйлин возвращалась через Париж, еще не зная о смерти мужа, а Джойс не нашел сил, чтобы сообщить ей об этом. В Триесте цветы на его могиле уже завяли, а она все еще отказывалась принять печальный факт. Эйлин категорически потребовала эксгумации; когда тело было извлечено, она впала в глубокий шок и три месяца почти не приходила в себя.

В дополнение к этим потрясениям развивалась история с Ротом. «Ту уорлдс мансли» продавался рекордными тиражами в полсотни тысяч экземпляров, и Джойс разыскал самого популярного в Париже американского юриста Бенджамена Коннера, согласившегося взяться за процесс против Рота через нью-йоркскую юридическую фирму. Ждать судебного результата можно было годами, и Джойс решил начать с организации письма в его поддержку. Позже его назовут Международным Протестом. Копии были разосланы большинству значительных писателей мира — на подпись:

«Всем необходимо знать, что „Улисс“ мистера Джойса перепечатывается в США, в журнале, издаваемом Сэмюелом Ротом, и перепечатка эта осуществляется без разрешения мистера Джойса, без выплат мистеру Джойсу и с изменениями, серьезно искажающими текст. Это присвоение и повреждение собственности мистера Джойса совершается под предлогом законной защиты, так как „Улисс“ издается во Франции, но изымается из посылок в Соединенных Штатах и его авторские права не защищаются. Проблема оправдания такого исключения пока не ставится; подобные решения принимались властями в отношении произведений искусства и прежде. Вопрос в том, может ли публика (включая издателей и редакторов, которым предлагается его реклама) поощрять мистера Сэмюела Рота воспользоваться складывающимся юридическим затруднением, чтобы лишить автора его собственности и изуродовать произведение его искусства. Нижеподписавшийся протестует против поведения мистера Рота и его перепечатки „Улисса“, обращаясь к американской публике во имя той сохранности плодов интеллекта и воображения, без которых искусство не может существовать, и зовет противостоять деятельности мистера Рота всей силой честного и достойного мнения».

Обращение подписали не все, кому оно было разослано. Зато среди подписавшихся были Бенедетто Кроче, Жорж Дюамель, Эйнштейн, Элиот, Э. М. Форстер, Голсуорси, Джованни Джентиле, Жид, леди Грегори, Хемингуэй, Гуго фон Гофмансталь, Д. Г. Лоуренс, Уиндем Льюис, Метерлинк, Мережковский, Шон О’Кейси, Пиранделло, Джордж Рассел, Джеймс Стивенс, Артур Саймонс, Мигель Унамуно, Поль Валери, Уэллс, Ребекка Уэст, Торнтон Уайлдер, Вирджиния Вулф и Йетс. Подписи Эйнштейна, Кроче и Джентиле, ни в коем случае не литераторов, но крупнейших умов своего времени, вызвали краткий восторг Джойса.

Неподписавшиеся тоже интересны. Бернард Шоу, скажем, припомнил Джойсу их собственную проблему с репертуаром английского театра в Цюрихе. Не подписал и Эзра Паунд — считал, что Джойс вылезает с личной проблемой перед боевыми порядками сражения против законов об авторском праве и порнографии в целом и требует батарею тяжелых пушек, чтобы палить по комарам. Ему принадлежит знаменитая фраза «Главный скандал — это сам американский народ, санкционирующий такое состояние закона». В декабре 1926 года Паунд написал Джойсу: «Считаю эту акцию отвлекающим залпом, уводящим внимание от главного и перетягивающим к пустякам». Джойс ответил на удивление мягко, что понимает — Паунд счел

свою подпись чрезмерной и не стал усложнять ситуацию… Явной ссоры удалось избежать, Джойс становился дипломатом. Когда процесс уже шел, Паунд прислал Джойсу аффидевит[145] на свою подпись, но требовал, чтобы в лице Рота он заклеймил презрением все американское. Хемингуэй отнесся к акции с плохо скрытым пренебрежением, но и Джойс пренебрег его оценкой. Отпечатан протест был, разумеется, в день рождения Джойса, 2 февраля 1927 года. Вечером он давал ужин для близких друзей, и за столом были Ларбо, Сильвия Бич, Адриенн Монье, Мак-Лиши, Сисли Хаддлстон и двое ирландцев.

Рот не обратил внимания на протест — «Улисс» выходил до самого октября, последним был отпечатан финал «Быков Солнца» с его затейливым и вполне американским кощунством: «В бога яйца, а это что еще за экскремент, этот англича-нишка-проповедник на Меррион-холл? Илия грядет! Омытый в Крови Агнца. Приидите все твари винососущие, пивоналитые, джиножаждущие! Приидите псиноухающие, быковыйные, жуколобые, мухомозглые, свинорылые, шулера, балаболки и людской сор! Приидите, подлецы отборные из отборных! Это я, Александр Дж. Христос Дауи, что приволок к спасению колоссальную часть нашей планеты от Сан-Франциско до Владивостока. Бог это вам не балаган, где насулят с три короба и покажут шиш. Я вам заявляю, что Бог это самый потрясающий бизнес и все по-честному. Он есть самая сверхвеличайшая хреновина, вбейте себе это покрепче. И все как один прокричим: спасение во Царе Иисусе. Рано тебе надо подняться, грешник, ох как рано, если думаешь обмишулить Всемогущего. Баам! Да уж куда там. Для тебя, дружище, припасена у него в заднем кармане штанов такая микстурка от кашля, которая живо подействует. Бери скорее да попробуй». По мнению С. С. Хоружего, здесь сплетены реминесценция знаменитого монолога Мармеладова из начала «Преступления и наказания» и риторическая фигура средневековых проповедей, саркастически сзывавшая грешников, преступников и отпадших. Лучшего завершения для своей авантюры Сэмюел Рот выбрать не мог. В ноябре юристы Джойса прижали его достаточно серьезно, публикация была приостановлена, но постановление Ричарда Митчелла, члена Верховного суда штата Нью-Йорк, Рот получил только 27 декабря 1928 года. Документом запрещалось любое использование имени Джойса. О возмещении убытков речи не было. Поначалу Джойс был доволен, однако вскоре начал препираться с адвокатами, особенно когда по ошибке его авторские права были оформлены на одного из юристов и потребовалось специальное заседание суда, чтобы оформить документы заново. После этого он

заплатил им только треть гонорара.

Среди людей, неотделимых от биографии Джойса, было несколько, появившихся в ней как раз в эти дни.

Эжен Жола и его жена Мария познакомились с ним в конце 1927 года. Жола, француз, родившийся в Нью-Йорке, пятнадцатилетним вернулся в Америку, где женился на высокой хорошенькой кентуккийке Марии Макдональд. Последовательно разочаровавшись в техническом прогрессе, в Американской Мечте, в репортерстве, Жола погрузился в новую литературу. Он был полиглотом — свободный английский, французский и немецкий, с обостренным чувством языка и сочетаемости слов. Ему хотелось создать такую философию искусства, которая была бы одновременно и философией жизни; Жола казалось, что ею и будет «религия Слова» — он даже разрабатывал нечто вроде обрядов и церемониала с вполне заклинательной терминологией. Доверять бытию нельзя, искусству можно — оно помогает воссоздавать реальность с помощью воображения, даже революционизировать ее, и совершить эту революцию Жола намеревался в языке, изменив слово. Его книга «Слова Потопа» позабавила Джойса, который позже одарил его лимериком: «Жил-был юный поэтарий Эже, /Который вопил с громадной сердечностью:/ Пусть больные души рыдают, прося утешения, /А младые ликуют с Жола!/Заказывайте места! После нас хоть потоп».

Среди подписавших манифест Жола о свершившейся революции и свержении тирании времени были молодые писатели, самым известным из которых станет Харт Крейн. Для дальнейшей пропаганды лингвистической революции Эжен и Мария решили открыть журнал. Когда они жили в Нью-Орлеане, то начали такой, который должен был опередить «Дабл дилер», но в Европе создали другой — transition, переход. Именно с такого эпатажа, пренебрежения правилами, начинался журнал нового типа — «Международный ежеквартальник творческого эксперимента». Согласно посылке, журнал должен был публиковать новейшие и самые экспериментальные работы — Гертруду Стайн, Хемингуэя, Беккета, Уильяма Карлоса Уильямса, Харта Крейна и, разумеется, Джойса. Жола был едва знаком тогда с Джойсом, и Сильвия начала сводить их; заинтересовавшийся Джойс пригласил супругов и Элиота Пола, соредактора «*транзишн*», к Бич и Монье, на чтение первого раздела «Поминок по Финнегану».

Джойс читал с едва заметной улыбкой, звучным гибким голосом. Закончив, он поинтересовался, понравилось ли слушателям. Ответы последовали далеко не сразу. Когда Жола

удалось прочитать первые 120 страниц, которые, в сущности, содержат все основные линии книги, Джойс одобрительно заметил, что для этого нужно как минимум одиннадцать читателей. Но Жола читал ее с собственной точки зрения — он обнаружил библию своего движения, «Капитал» своей революции. Дадаисты уже научили словесность «лепету и музыке крыл», сюрреалисты — конструктивной несвязице, а в тексте Джойса Жола нашел всеобъемлющую форму, победоносно соединяющую все их достижения. Он предложил печатать «Поминки…» выпусками в «транзиты» — с самого начала, а затем в выправленном виде и все уже изданные фрагменты.

Так и было с апреля 1927-го по ноябрь 1929-го, сначала ровно, без задержек и скандалов, потом публикации стали появляться неравномерно, а в ноябре наступил длинный перерыв. «Транзиты» заполнял паузу публикациями статей о Джойсе, что помогало сохранить интерес. Однако мисс Уивер не могла больше и уже не хотела скрывать своего крайнего недовольства «Поминками…» — оно копилось до самого января 1927-го, пока она не собралась внятно сформулировать их. Но поначалу шло довольно кротко. Джойс даже удовлетворял какие-то требования поправок и изменений, соглашался, что не надо работать так неистово, и мисс Уивер решила начать серьезные действия:

«Приказ на прекращение работ поступил так быстро, что я чувствую желание попробовать снова и отдать совсем другой приказ — но только ради глаз и здоровья. Собственно, речь о том, что пока к вам нет слишком настоятельных требований (разве что с минусовой стороны шкалы)… но я подожду вашего разрешения его изложить… Может быть, когда нынешняя книга будет закончена, вы будете в состоянии внять нескольким вашим старым друзьям (Э. П. войдет в их число); но пока время обсуждать это не пришло».

Джойс встревожился. 1 февраля 1929 года он пишет ответ:

«Ваше письмо наградило меня прелестным маленьким приступом головной боли. Заключаю, что фрагмент вам не понравился? Я продолжаю обдумывать его. Мне кажется, он хорош — лучшее, что я смог. Я с радостью пришлю другой, но он из второй или четвертой части, и не раньше первой недели марта или около того… Вам, похоже, не нравится все, что я пишу. Или конец первой части есть нечто, или я имбецил со своими суждениями о языке. Я крайне обескуражен этим, потому что в этом огромном и трудном деле мне нужно ободрение. Возможно, Паунд и прав, но я уже не могу повернуть обратно. Я никогда не слышал его возражений по „Улиссу“, с тех пор, как я решил отослать ему книгу, но уклонился от них настолько тактично,

насколько смог. Некоторые аспекты моей вещи он понял очень быстро, и тогда этого было более чем достаточно. Он сделал блестящие открытия и вопиющие ошибки. Он полностью сбил меня с толку относительно первого цюрихского благодеяния[146], и с тех пор я не полагался на его проницательность…»

Извинения мисс Уивер за доставленные переживания не отменили ее оценок. Через три дня Джойс получает ее ответ:

«Некоторые тексты вашей работы я беспредельно люблю — и вы, я уверена, знаете это — особенно более прямые и раскрывающие характер части, и (для меня) прекрасно выписанные части с призраками (например, предложение у Шона, о датах и призрачных метах, и та, о водных ликах, перед тем, как вы, мне кажется, ее испортили, — хотя, признаю, иначе она не могла бы встать там, где стоит); но я такова по натуре, что не слишком волнуюсь из-за вашей Оптовой пуноводческой фермы[147], как и из-за темноты и нечитаемости вашего искусственно усложненного языка-системы. Мне кажется, что вы растрачиваете свой дар. Но я допускаю, что могу быть неправа и в любом случае вы будете продолжать делать то, что делаете, и зачем тогда говорить обескураживающие вас глупости? Надеюсь, что больше этого не сделаю».

Теперь Джойс получил более тяжелый удар. Продержавшись некоторое время, он все-таки слег. Нора, которая язвительно спрашивала, не может ли он случайно написать книгу, понятную людям, нанесла как бы случайный визит Жола, где упомянула — ее супруг так расстроен, что вряд ли успеет с рукописью для следующего номера. Когда Джойс наконец смог встать, он поехал к Макэлмону, которого считал честным и откровенным человеком.

Его он и спросил: «Вы тоже думаете, что я на неверном пути со своим „Ходом работы“? Мисс Уивер говорит, что я кажусь ей сумасшедшим. Скажите честно, Макэлмон. Ни один человек не может сказать сам за себя».

Макэлмон заверил его, что он не сумасшедший — просто гений джеймс-джойсовского образца.

Уильяму Берду Джойс уже исповедовался спокойнее: «Что до моей новой работы, то знаете, Берд, признаюсь — не понимаю многих моих критиков, вроде Паунда и мисс Уивер. Они говорят, что она невразумительна. Конечно, они сравнивают ее с „Улиссом“. Но действие „Улисса“ происходит по преимуществу днем, а моя новая вещь развивается ночью. Ведь естественно, что ночью нельзя видеть так же четко, как днем?»

Клод Сайкс услышал от него: «Ведь все так просто. Если фраза кому-то непонятна, все, что нужно, это прочесть ее вслух».

Еще кому-то он говорил, что его роман и вправду безумие, но это выяснится точно лишь через столетие.

Джойс все равно собрался с силами. Мисс Уивер он слегка напугал: она даже пыталась заверить его, что это только ее мнение, что ему не надо оправдываться, но он отвечал ей предельно кратко, а однажды даже назвал ее в письме чужим именем. Паунда он еще не окончательно исключил из списков дружбы и даже послал ему на суд тринадцать стихотворений, написанных через много лет после «Камерной музыки», с 1904-го по 1929-й. Паунд вернул их даже без сопроводительной записки. Когда Джойс попытался все же добиться оценки, Паунд сухо ответил, что они годятся для семейного фотоальбома, но не для печати. Сказано это было о таких маленьких шедеврах, как «Тилли», «Целебные травы», «Банхофштрассе», «Прилив», «Ecce Puer». Арчибальд Маклиш, наоборот, прислал Джойсу два подробных письма, где с восторгом разбирал стихотворения, и очень ободрил Джойса, с веселым недоумением посетовав на обе ошибки Паунда и посоветовав обязательно напечатать цикл. Тот душевный свет и сострадательность, на которые был способен Джойс, чаще светятся в его стихах, чем в прозе.

Дружественные отзывы уменьшили, но не сняли горечь от нападок на «Поминки…», тоже исходящих от друзей, которые считали, что желают ему добра. Чтобы отвлечься, он принял приглашение британского ПЕН-клуба и уехал в Лондон на неделю, с 3 по 9 апреля 1927 года, хотя чувствовал себя по-прежнему плохо. Джон Голсуорси был среди гостей и писал потом, как Джойс разочаровал и даже обидел публику, не пожелав произнести традиционную ответную речь. В Ирландию он не поехал, хотя и собирался. Вернувшись в Париж, он написал мисс Уивер, что с удовольствием бы отдал эту книгу кому-нибудь, кто ее закончит, но такого человека нет.

В мае он уехал отдохнуть в Голландию и несколько дней пролежал в шезлонге на гаагском пляже. Там на него несколько раз кидался чрезмерно игривый пес, но Джойс, боявшийся собак с детства, шарахался так, что в конце концов разбил свои очки с мощными линзами. С хозяином собаки они, светски беседуя, ползали на коленках в песке, собирая осколки. Ему нравились смешливые голландцы, он легко осваивал язык, его забавляло, «когда шестьсот человек на площади едят серебрящихся в лунном свете селедок — это зрелище для Рембрандта». Но в амстердамском отеле его атаковал следующий кошмар — над городом грохотала затяжная гроза, собор напротив вспыхнул от удара молнии, и он бежал вместе с Норой обратно в Париж, где просидел все лето.

Июль принес радость: маленькая яблочно-зеленая книжка, изданная «Шекспиром и компанией», вобрала в себя те самые тринадцать стихотворений и называлась теперь «Яблоки по пенни» — «Pomes Penyeach», хотя и продавалась за один шиллинг, или двенадцать франков. Название как бы вобрало в себя «pommes», по-французски «яблоки», и поэтическое английское «pome», и слегка анаграммированное «poemes», а «penyeach» можно перевести и как «за любую мелочь». Туда вошли и стихи, написанные еще в Триесте, и самые последние. Однако резонанс был слабый — Джордж Слокомб из «Дейли геральд» долго был едва ли не единственным, и даже последовавшие несколько отзывов не смогли отвлечь внимание критиков от «Поминок…». Правдолюб Станислаус не остался в стороне — он не признавал новую книгу за литературное произведение.

Затем пошли новые осложнения. Маклиш, которому Джойс доверил копию гранок «Дублинцев» с обильной правкой, сообщил, что не может найти покупателя. Депрессия Джойса резко усугубилась, и он написал мисс Уивер неприятное письмо:

«Мое положение — фарс. Полагаю, у Пикассо имя тусклее, чем у меня, но он может получить от 20 до 30 тысяч франков за несколько часов работы. Я же не ст*о*ю и пенса за строку и, похоже, не могу продать такую редкую книгу, как „Дублинцы“. Конечно, я отказался от лекционного тура по Америке и не даю интервью. Мне придется оставаться тут до весны, ждать, выйдут ли немецкий и французский переводы „Улисса“ и как они будут раскупаться. Но это все напряженнее… я все острее ощущаю бурную враждебность к моему эксперименту, интерпретирующему „ночную тьму души“. Личное озлобление разочарованных художников, растративших свой талант или даже гений, пока я с меньшим дарованием и чудовищным бременем физических и умственных затруднений совершил или, возможно, совершил нечто, что вам не кажется важным…Не думаю, что рецензии много значат. Ни одной не появилось в английской прессе. Однако лондонские книготорговцы несколько дней назад заказали 850 экземпляров („Яблоки по пенни“. — А. К.), а Дублин взял 250. Я видел заказы из Неаполя, Гааги, Будапешта и т. д. Думаю, что на некоторых это производит такое же впечатление, словно автор у них за обеденным столом. Одна леди, когда-то пришедшая молиться, осталась поиздеваться. „Он похож на утопленника“, — заметила она. — Et ça m’est parfaitement égal[148] …»

Интересно было бы узнать, кого именно Джойс посчитал даровитее себя и даже гениальнее, но скорее всего это фигура речи. Мисс Уивер откликнулась только в сентябре 1927-го, как бы

не заметив горького упрека. Подобие дружбы между ними сохранялось, в свой приезд в ПЕН-клуб он весело предложил и ей угадать название будущей книги, словно будя ее приязнь к «Поминкам…». Она включилась в эту игру, и несколько месяцев они забавлялись догадками и комментариями к ним. В апреле 1927 года Джойс писал:

«Я строю экипаж с одним колесом. Никаких спиц, разумеется. Колесо — правильный квадрат. Вы понимаете, к чему я клоню? Я крайне торжественен, не думайте, что это дурацкая история о лисе и винограде. Нет — ведь это колесо: я говорю о мире. И оно все *квадратное*».

Книга заканчивалась началом, четыре части замыкались на себя, но и реальное колесо собиралось прежде из нескольких сегментов; состав *этого* колеса — Поминки — Воскрешение-Конец — Возвращение. Мисс Уивер, не отпущенная из игры, попыталась назвать книгу «Колеся квадратом» или «Квадратура колеса», и Джойс использовал эти ошибки. Он подсказал ей еще раз, что в названии и, правда, два слова, но среди довольно остроумных вариантов правильного не было, хотя трижды она подбиралась очень близко — «Феникс-парк», «Финн-Таун» и «Финн-Сити». Джойсу вовсе не нужно было, чтобы она угадала. Он заставлял ее отрабатывать чувство вины перед ним.

Следующим ответом хулителям должна была стать ювелирно отделанная «Анна Ливия Плюрабель» — в «транзишн» она публиковалась третий раз. Ларбо Джойс сказал, что она обошлась ему в 1200 часов тяжелого труда. Ставки были высоки, но и на кону лежал бриллиант. «Они не могут понять моей новой книги, — говорил он Сисли Хаддлстону, — поэтому считают ее бессмысленной. Если бы она была бессмысленной, ее можно было бы написать быстро, без раздумий, без мучений, без эрудиции; но я уверяю вас, что эти двадцать страниц, что лежат перед нами, стоили мне двенадцати сотен часов и огромного числа мучений».

27 октября Джойс счел работу завершенной. Вскоре он прочитал ее двадцати пяти близким друзьям, и отзывы его воодушевили. Маклиш написал ему письмо:

«Дорогой мистер Джойс,

Вчера у меня не было — да и сегодня нет — слов, чтобы сказать, как те страницы, что вы прочли, тронули и восхитили меня. Чистое творение, почти поднимающееся над силой слов, использованных вами, что-то, о чем я не могу говорить. Но и молчать не могу. В этом я уверен: то, что вы сделали — нечто, чем можете гордиться даже вы.

Искренне ваш,

Арчибальд Маклиш».

О своих ощущениях Джойс говорил, что разламывается надвое от усталости и судорог. Приезд Джона Фрэнсиса Бирна обрадовал его как повод отложить работу — они не виделись с 1909 года. Среди дублинских новостей одна его потрясла глубже прочих. Винсент Косгрейв, Линч из «Цирцеи», на которого Стивен показывал пальцем и цитировал Евангелие: «Вышел Иуда. И удавился», — утонул в Темзе при неясных обстоятельствах. Нора попыталась с помощью Бирна уговорить Джойса наконец оформить их брак, и Джойс даже не сопротивлялся, но Бирн уехал, а сам Джойс не особенно рвался решать эту проблему…

В январе 1928 года состоялся визит Гарриет Уивер. Ей хватило ума и интуиции понять, что в его литературную жизнь она вмешалась не лучшим образом и надо как-то уладить то, что еще можно. Разговор она начала с того, что не имеет значения, как она относится к его работе: он должен ее продолжить и закончить. Джойс пытался объяснить ей будущую книгу — он считал, что, поняв, мисс Уивер полюбит ее, и она мудро не отрицала такой возможности. 2 февраля в квартире Джойсов она сидела на софе с Бобом Макэлмоном, а с другой стороны сидела Адриенн Монье, пышная, голубоглазая и златовласая. Все знали, что она любит поесть и поговорить, и ее попросили опекать тихую гостью. Артур Пауэр, Лючия, еще несколько гостей сидели на другом диване, элегантные, оживленные. Джойс с Норой держались в стороне и молчали, и Адриенн, как часто бывало, заполняла собой застолье.

Композитор-американец Джордж Антейл, собиравшийся писать с Паундом оперу по «Циклопам», заиграл старинную английскую музыку, и тут Джойс принялся импровизировать галантный танец, перешедший во что-то вроде сиртаки, а весельчак Макэлмон затанцевал по-негритянски. Потом Макэлмон запел блюз, но на тему гибели «Титаника». Как можно было обойтись без пения Джойса? Он, не чинясь, спел несколько баллад и любимую всеми «О, темный эль, о светлый эль!». Джойс был в голосе, пел звонко и с оттенками. Восхищенная Хелен Наттинг вспоминала, что это было еще и в высшей степени ирландское пение — нежность, тоска, грусть. Затем все выпили шампанского, потанцевали, спели уже хором, никто не остался в стороне, и только мисс Уивер сидела на софе и молча смотрела на публику. Джойс тоже умолк, но он явно выложился весь, а неподвижность мисс Уивер, как писала Хелен, была «сродни камню, и явно от характера». Тем не менее Джойс чувствовал себя спокойнее, чем до ее приезда. Однако так же ясно понимал, что зависит от нее до самой смерти — своей или ее. Переписка продолжалась, но уже без игры «Угадай название».

Немецкий переводчик «Улисса» Георг Гойерт приехал в Париж в апреле 1927-го: перевод «Улисса» уже выходил, и тут же понадобились правки и переделки. Джойс был недоволен, но не чрезмерно, однако французский перевод его заботил куда больше.

Появление нового члена «джойсокруга» очень способствовало движению работы. Стюарт Гилберт, выпускник Оксфорда, попал в Бирму, на гражданскую службу, судьей, и прослужил почти двадцать лет. Кстати, с 1922 по 1927 год там служил полицейским инспектором Эрик Блэр, впоследствии Джордж Оруэлл, и они наверняка знали друг друга. Уволившись, он с восторгом кинулся в мирную жизнь, женился на француженке и стал почти парижанином. Он был одновременно мудрым скептиком и добросовестным исполнителем. Лавку Сильвии он отыскал почти сразу, они понравились друг другу, и она показала Гилберту отрывок из французского перевода «Улисса», который еще делал Морель. Гилберт сразу же отметил две существенные неточности, а она попросила его написать о них Джойсу, хотя они еще не были знакомы. Вскоре они встретились и неожиданно подружились. Ларбо, тоже приятельствовавший с Гилбертом, несколько раз скандалил с Сильвией и Адриенн, не ценивших его заслуг. В запальчивости он предложил вместо себя Андре Моруа, но Джойс величаво собрал их всех на ужин в «Трианоне» и предложил заключить договор, по которому Ларбо единогласно признали верховным арбитром. На этот раз дипломатия сработала. Опубликованный Адриенн Монье «Улисс» на титульной странице имел подзаголовок «Перевод мсье Огюста Мореля при участии мсье Стюарта Жильбера. Полная редакция перевода мсье Валери Ларбо в сотрудничестве с автором».

Работа утомила Джойса, и по своему обыкновению он уехал, но рукопись увез с собой в Дьеп и уже там дописал «Мурровая и Куйзнайчика» для «транзишн». Мартовская сырость и ветер вынудили его перебраться в Руан, но и там он вытерпел меньше недели и вернулся в Париж.

Форд Мэдокс Форд предложил ему свой домик в Тулоне. Джойсы уехали туда на апрель и блаженствовали. Ни штормов, ни собак, прекрасное вино, да еще названное в честь святого Патрика (правда, переименованное в «Шатонеф-дю-Пап»), но, к сожалению, красное, а Джойс пил только белое. Но всем ирландским друзьям он его поименовал, ибо, по его мнению, святой Патрик был единственным святым, за которого стоило пить. Джойс считал, что святой Патрик тоже написал свой «Портрет художника в юности» — только на плохой латыни, слишком поздно и назвал «Исповедь». Джойс считал его первым

профессиональным ирландским литератором и коллегой.

В Париже их уже ждали гранки «Анны Ливии Плюрабель» вкупе со вторым и третьим бдением Шоуна. АЛП должна была быть опубликована с предисловием Падрайка Колума роскошным изданием в 850 нумерованных экземпляров. Едва он закончил работу, приехали гости — сестра Эйлин Шаурек с детьми. Им Джойс запомнился мягким и сердечным: двенадцатилетняя Берта капризничала и отказывалась есть, но дядюшка пообещал ей за послушание нитку жемчуга и сдержал обещание.

Затем он собрался в Данию — освежить свой датский, требовавшийся для «Поминок…», но в итоге уехал с Гилбертами в Зальцбург. Там же проводил свой медовый месяц Станислаус, и выбор места определялся возможностью встречи со старшим братом. Они немедленно поспорили из-за невразумительной «книги ночи», но Джойс утешил Стэнни тем, что собирается писать «книгу пробуждения». Намеков на такое продолжение в документах и свидетельствах очень мало, более полных разъяснений нет вообще. Он был оживлен и доволен собой, потому что два американских издателя только что пообещали ему 11 тысяч долларов и 20 процентов роялти за «Поминки по Финнегану». Через Франкфурт и Мюнхен он вернулся в Гавр, а оттуда в сентябрьский Париж.

Вскоре после приезда у него опять начались боли в глазах, и читать он больше не мог. Борш колол его мышьяком и фосфором и считал приступ следствием нервного перенапряжения. Однако громадное письмо Гарриет Уивер, продиктованное им, содержит подробный отчет о проделанной за год работе, а также о купленной им одежде и обуви. В тексте все время чувствуется невысказанный вопрос: «Как же ты все-таки относишься к моему роману? Почему ты его не любишь так, как первый?» Беспокойство усиливается новыми рецензиями — особенно Шона О'Фаолейна в элиотовском «Крайтириэн»; ему кажется, что это начало нового предательства и Элиот покинет его, как Паунд и Льюис. Но вставать ему по-прежнему не разрешали, глаза жестоко болели, и он, чтоб не терять времени, учил испанский с голоса преподавателя.

Следующая беда оказалась совсем уж неожиданной. Нора никогда не болела, но тут почувствовала себя настолько плохо, что врачи заподозрили рак легких. Ее отправили в больницу, а Джойс отказался оставаться один или, скорее, разлучаться с ней: ему поставили кровать в ее палате. Первая операция в ноябре сопровождалась лучевой терапией, но улучшение было кратковременным, и уже в феврале 1929 года Нора вернулась в клинику на гистерэктомию. Самоотверженная мисс Уивер

примчалась в Париж на помощь, а Джойс опять лег туда же и пролежал с Норой весь февраль и часть марта, когда она была признана здоровой. Нора, как тот гвоздь из детской считалки, скрепляла его жизнь. А еще она умела то, чего он не умел и боялся. — презирать его слабость. Ни с кем и никогда Джойс не был так же свободен и откровенен. О чем они говорили в этой палате, узнать уже невозможно. Вполне вероятно, что ни о чем.

Между ее операциями Джойс лечил глаза и пробивал новую идею.

Встреча с Гербертом Уэллсом прошла на удивление хорошо и дружелюбно, они понравились друг другу. Уэллс писал потом, что ожидал встретить долговязого задиристого типа в фризовом дождевике и с дубиной, а увидел высокого, хрупкого и несмелого человека. Интеллигентного, но без интеллигентской болтливости, почти слепого, но без шумной напористости некоторых слабовидящих — его трудно было счесть ниспровергателем и сокрушителем. Надо было помочь этому робкому существу с больной женой, и чуткий Джойс уцепился за это намерение — из клиники он торопит Сильвию с отправкой Уэллсу всех выпусков «транзиты» с «Ходом работы». Выждав приличествующее время, он попросил Уэллса повлиять на мнение публики и расположить ее к новой книге.

Уэллс ответил со свирепым добродушием:

«Мой дорогой Джойс,

я много изучал вас и размышлял о вас. В итоге я не думаю, что смогу что-то для вас сделать по части пропаганды вашей работы. Я испытываю огромное уважение к вашему гению, начиная с самых ранних ваших книг, а сейчас я чувствую к вам еще и величайшую личную привязанность; но я и вы, мы следуем абсолютно разными курсами. Вы выучены католицизмом, бунтовщичеством и Ирландией; я же скорее конструктивной наукой и Англией. Мой разум держится пределов, где возможен всеобъемлющий, объединяющий и концентрирующий процесс (энергетический и экономический рост вместе с сосредоточением усилий), где прогресс не то чтобы неизбежен, но интересен и возможен. Игра эта меня влечет и держит. Для нее мне нужны язык и утверждения настолько простые и ясные, насколько это возможно. Вы начинали как католик, то есть в рамках системы ценностей, жестко противопоставленной реальности. Ваше интеллектуальное бытие поглощено чудовищной системой противопоставлений. Вы вечно разражаетесь воплями о пизде, говне и аде, потому что можете верить в чистоту, целомудрие и личного Бога. Так как я не верю в подобные вещи, разве что в качестве глубоко личных ценностей, мой разум не был потрясен

существованием ватерклозетов и женскими прокладками — а также незаслуженными неудачами. В то время как вы росли под иллюзией политического угнетения, я воспитывался в иллюзии политической ответственности. Вам кажется замечательным попирать и крушить. Мне — ничуть.

А теперь о вашем литературном эксперименте. Очень значительно, что вы значительный человек и в вашем густонаселенном сочинении демонстрируете гениальный дар изображения, который обходится безо всякой дисциплины. Но я не думаю, что он вас куда-то приведет. Вы повернулись спиной к обычному человеку, к его повседневным нуждам и краткому существованию, к его мышлению, которым воспользовались.

И каков результат? Исполинские головоломки. Две ваши последние работы было куда восхитительнее писать, чем когда-либо будет читать. Считайте меня типичным средним читателем. Получу ли я какое-то удовольствие от этой книги? Нет. Почувствую ли я что-то новое и озаряющее, что чувствую даже от дурно переведенной Анрепом книги Павлова об условных рефлексах? Нет. Поэтому спрашиваю: кто, черт возьми, этот Джойс, требующий столько часов бодрствования из нескольких тысяч, отпущенных мне на жизнь, для постижения его вывертов и выдумок и вспышек истолкований?

Все это моя точка зрения. Может, правы как раз вы, а я ошибаюсь во всем. Ваша работа — выдающийся эксперимент, и я откажусь от чего угодно, чтобы спасти ее от разрушительного или пресекающего вмешательства. У нее есть свои верующие и последователи. Пусть они возликуют с нею. Для меня это тупик.

Мои самые теплые пожелания вам, Джойс. Я не могу встать под ваш стяг, равно как и вы не встанете под мой. Но мир велик и в нем есть место для наших обоюдных заблуждений.

Ваш

Г. Дж. Уэллс».

Уэллс, позитивист до мозга костей, при всем своем могучем интеллекте не мог себе представить, что научное мышление может быть и таким — если оно вторгается туда, где царит сон. Он исследовал бодрствование хорошо образованного среднего человека, и замечательные его фантазии, о чем бы они ни были, рождены при свете дня, даже когда он пишет о слепых или призраках. Поэтому Джойс точно так же усомнился, что язык Уэллса и его отношение к слову порождены наукой; об этом он писал мисс Уивер. Рационализм Уэллса здесь давал серьезный сбой, равно как и чутье художника. Еще смешнее Джойсу было читать о склонности ирландских католиков к литературному эксперименту и ее отсутствии у англичан-атеистов. Но «под всеми

его остальными оценками я подпишусь, как под своими… чем больше я узнаю о политическом, философском, этическом рвении и трудах большого духового оркестра под управлением Паунда, тем больше задумываюсь, как меня туда пустили с моей „волшебной флейтой“…».

Джойс, как сказано у Торо, слышал совсем другой оркестр, шел не в ногу и играл другие песни. Ему никогда не удалось бы сделать то, что он сделал, если бы он был верным ландскнехтом. Но то, что в нем бушевало, уводило его из любой группировки, если начинало входить в противоречие с его прозой и его музыкой. Его прославленные ссоры с самыми близкими друзьями в немалой степени объясняются и этим, даже если внешние причины вполне явны и нелитературны.

Глава тридцать третья ОТЦЫ, ДЕТИ, ПСИХОАНАЛИЗ

Beloved, may your sleep be sound
That have found it were you fed… [149]

«Дорогой Джим,

тысяча благодарностей тебе за твое доброе и приветственное письмо с вложением. Утешительно на склоне моей жизни убедиться, что у меня есть по крайней мере один сын, и он и есть тот, что мною любим, который вспомнил обо мне в мой, быть может, последний день рождения. Благослови тебя Господь и да сохранит Он тебя для твоих детей. Передай им самую нежную мою любовь. Был рад узнать, что твоим глазам лучше, и горячо желаю увидеть тебя, прежде чем умру. С нежной любовью

По-прежнему твой любящий.

Отец».

Больше сотни таких писем Джон Джойс написал сыну, которого долго считал главной неудачей своей жизни. Сын был занят описанием чужих, пускай не вовсе выдуманных семей, но время от времени вспоминал о сыновнем долге, посылал ему деньги и просил друзей навестить отца от его имени. Остальные дети в основном о нем не помнили; а отцу 4 июля 1929 года исполнилось 80 лет. Возможно, Джеймсу в европейском далеке было легче помнить добро, но остальные не забывали отцу все, чего они натерпелись от него и по его вине. Старший все больше привязывался к Джону, а тот написал завещание, где завещал «все свое имущество единственному верному сыну». Он по-прежнему был остроумен и меток в суждениях и, даже когда ошибался, делал это в отличной литературной форме. Например, о новом ирландском правительстве он писал сыну, что Ллойд Джордж знал, что делает, «когда даровал нам свободное государство; он был уверен, что мы устроим в нем полный развал». Он не слишком восторгался карьерой сына и, как Нора, считал, что тот упустил возможность стать выдающимся ирландским тенором.

Сам Джеймс тоже не вмешивался в жизнь детей — не столько из уважения к их личностям, сколько из беспокойства за свою. Почти ничего им не приказывая и по возможности не запрещая, он был с ними добр и щедр. Пожалуй, он все же признавал за ними право на собственную жизнь задолго до Конвенции прав ребенка. Джойс выбрал один из лучших способов влияния на их выбор и стремления: беседы, осторожные намеки и

предположения, и хотя медленно, однако без потерь и терзаний, они добивались своего.

У Джорджо открылся отличный бас, ему повезло на педагога. 25 апреля 1929 года он дебютировал на заметном концерте с двумя песнями Генделя, был одобрен критикой. Некоторые чисто джойсовские склонности он унаследовал тоже — тягу к спиртному и беспечность. Вместо выступлений он с головой ушел в роман с Хелен Кастор Флейшман, уже успевшей развестись с мужем. Роман развивался успешно, дама была счастлива войти в семью знаменитого писателя, а ее деньги обещали легкую жизнь, поэтому Джорджо не слишком волновался о своей карьере.

Лючия, очень любившая брата, почувствовала себя брошенной. Поведение ее стало неустойчивым — маленькие странности поначалу относились за счет фамильной эксцентричности, но пройдет всего несколько лет, и она изменится до неузнаваемости. Пока она весела, болтлива, смешит взрослых на вечеринках у Джойсов, изображая Чарли Чаплина в обвислых штанах, котелке и с тросточкой. Потом героем стал Наполеон — о нем она даже написала маленькую статью, и ее напечатал Ларбо, одним из первых заметивший ее странности.

Девочка превращалась в девушку, озабоченную дефектами своей внешности. Лючия довольно заметно косила, а на подбородке у нее был шрам. Джойс боялся операции, которая могла бы снять косоглазие, но Лючия начала сама настаивать на ней. Операцию сделали, но без особого успеха. Вряд ли это было решающим фактором; многие биографы считают, что Лючия больше пострадала из-за той беспорядочной жизни, которую семья вела до и после ее рождения, — переезды, ссоры, бесконечная череда гостей. Школы, менявшиеся одна за другой, тоже сделали свое дело: два года в Триесте, потом четыре с половиной года Цюриха при полном незнании немецкого — она училась целый год, снова год Триеста, затем переезд в Париж в 1920-м — новый язык, сначала полгода в частной школе, потом год в лицее Дюрэй. Но и вне школы тянулась такая же череда метаний от одного занятия к другому: в Цюрихе и Триесте Лючия три года занималась пианино, в Париже и Зальцбурге брала уроки пения, в академии Жюлиана в Париже училась рисованию, однако больше всего она тянулась к танцу. Упорно и сосредоточенно, как Джойсы при необходимости могли, Лючия занималась, меняя школу за школой и работая по шесть-семь часов в день. За это время она числилась на знаменитых курсах Жака Далькроза, у шведа Яна Берлина, у венгра Мадика, у Владимира Егорова, американца Рэймонда Дункана, современным танцем занималась у Маргарет Моррис.

Тоненькая, высокая, по-отцовски грациозная, Лючия была заметна и своеобразна; ее скоро начали включать в серьезные концерты, давать интересные партии. Она станцевала многое в постановках Луи Аттона, была на гастролях в Брюсселе, но 28 мая 1929 года состоялось ее последнее выступление. Международный конкурс танца в Баль-Булье не принес ей приза, но дал что-то вроде славы: Лючия выступала в сверкающем костюме рыбки, и публика от души аплодировала, крича: «Голосуем за ирландочку!» Джойс был страшно доволен. Однако странности одержали верх и тут. Девушка решила, что для танцовщицы ей не хватает выносливости, и после месяца непрекращавшихся рыданий с карьерой было покончено.

Вскоре после этого Мария и Эжен Жола встретили в ресторане, куда они зашли с Джойсами, знакомую-врача. Та поинтересовалась, не знают ли они этих англичан, и, узнав, кто там за столиком, покачала головой:

— Будь я матерью дочери Джеймса Джойса, я бы очень задумалась, почему она так странно глядит перед собой…

Но Джойс не обращал на это никакого внимания и настаивал, чтобы она вернулась к рисованию. В следующие два года Лючии будет не до рисования, и неизвестно, упущено было время или ничего все равно нельзя было сделать.

У самого Джойса, похоже, снова назревала операция, хотя следовало дождаться более серьезного ухудшения, а потому приходилось терпеть слабость и постоянную боль, несмотря на которую Джойс пытался закончить новую версию бдения Шоуна. Он не мог потерять работу целого месяца.

Одновременно критикам и серьезным читателям был преподнесен сюрприз.

Еще в мае появилась книжка о «Ходе работы». Издевательски длинное название, «Our Exagmination round His Factification for Incamination of Work in Progress», пародирующее средневековые апологии, включало слова, также издевательски переплетенные с латинскими корнями. Например, «Exagmination» контаминировано из «Examination» и «ex agmine», то есть «уводить, отрываться», — Эллман считает, что в данном случае авторы собрались отделить в стаде Джойса агнцев от козлищ. Но сам Джойс безоговорочно полагал себя среди козлищ, как он говорил Ларбо, отчего мог думать и писать «капризно» («capra» на латыни «коза»). Авторов было двенадцать — в пабе Ирвикера двенадцать выпивох и у Христа столько же апостолов. Книга собрала эссе Сэмюела Беккета, Бадгена, Гилберта, Жола, Марселя Бриона, Макэлмона, Томаса Мак-Криви, Элиота Поула, Джона Родкера, Роберта Сейджа и Уильяма Карлоса Уильямса. В книгу

вошли два злобных и упоительно безграмотных письма протеста, подписанных Дж. В. Л. Слингсби и Владимиром Диксоном. Так звали талантливого русского эмигранта, умершего в 1929 году в парижском американском госпитале от эмболии, и Джойс в своей беспощадности мог воспользоваться услышанным именем, тем более что он бывал там, в Нейи. Он сочинил и подписал нелепым для английского уха сочетанием чушь, полную ошибок, превращавшихся в пуны. Дж. В. Л. Слингсби было псевдонимом женщины-журналистки, пожаловавшейся на невнятность текста, и Сильвия Бич попросила ее написать об этом. Журналистка согласилась и весело сконструировала себе имя из «Джамблей» Лира.

Многое уже публиковалось в «транзиты», и в целом направление сборника диктовал сам Джойс, хотя некоторые статьи были вполне научны, а лучшая, конечно, была сделана Беккетом. Без шлейфа скандала и нищеты за кормой в 1927 году молодой блистательный лектор перебрался из Дублина в Париж и уже преподавал в «Эколь нормаль сюперьер». Джойс настойчиво подсказывал авторам, что именно нужно ответить самым заметным критикам книги — а это были Уиндем Льюис, Ребекка Уэст, Шон О'Фаолейн.

Джойс намеревался продолжать эту работу, у него были даже нумерологические основания — четыре больших эссе как речения четырех старцев из «Поминок…» о ночи, механике, химии и юморе. Как это колдовским образом сбывалось в его жизни: нашлись публикаторы — богатая молодая пара, Гарри и Кэресс Кросби, развлекавшиеся книгоиздательством. В 1927 году они учредили в Париже издательство «Блэк сан пресс», где собрались издать фрагмент из «Хода работы». Через супругов Жола они передали просьбу Джойсу, и он благосклонно прислал им «Сказки, сказанные Шемом и Шоуном», где были «Лизса и Выньнаград», «Грязина Толщетоптанная», «Мурровай и Куйзнайчик». Введение взамен деликатно отказавшихся Джулиана Хаксли и музыковеда Дж. Салливана согласился написать Чарльз Кей Огден, создатель популярной системы «Бейсик инглиш», облегченного варианта английского языка. Лингвист-экспериментатор не смог отказать другому лингвисту-экспериментатору. Кроме того, он должен был потом перевести «Анну Ливию Плюрабель» на «бейсик» и договориться о граммофонной записи чтения Джойса.

Кросби решили сделать фронтиспис с портретом Джойса работы Пикассо: но тот узнал, что модель не только чужда кругу его приятельницы Гертруды Стайн, но в какой-то мере даже ей противостоит. Кроме того, сказал он Кросби, «я не рисую по

приказу». Следующим был румын Константин Бранкузи, скульптор и художник, пионер современной абстрактной скульптуры. Он охотно сделал несколько вариантов портрета Джойса, которые глубоко поразили миссис Кросби — в нескольких параллельных прямых разной длины и нависшей над ними спирали нелегко было узнать автора книги. Бранкузи терпеливо объяснял, что он создавал «Символ Джойса», орнамент, воплощающий то, что он узнал о Джойсе, его загадочную внутреннюю эволюцию… Джойса это позабавило; с Бранкузи, шедшим к своему искусству невероятно тяжелым путем, они подружились.

Когда в Дублине Джон Джойс увидел книгу и «портрет», он мрачно заметил: «Однако парень здорово изменился».

Супруги Кросби еще не знали, каким ужасом издателей был Джойс, работавший над рукописью до последнего, но вскоре испытали это в полной мере. Когда набор был закончен, на последней странице оказалось всего две строки, но мисс Кросби и слышать не хотела о добавочных восьми строчках. Через сутки типограф явился к ней и покаялся: он сам уговорил мсье Джойса написать их, и тот хотел сделать даже больше, но побоялся мадам… В августе 1929 года издание появилось на свет.

27 июня автобус привез большую компанию в Ле-Во-де-Серней, маленькую деревню за Версалем, в которой был отель под названием «Леопольд». Состоялось запоздалое празднование годовщины выпуска французского перевода «Улисса» и двадцать пятой годовщины «Блумдня». Пате «Леопольд» был превосходным, но речей Джойс категорически не хотел. Зато по дороге домой воодушевившийся Беккет без конца затаскивал их в придорожные кафе; в конце концов Беккет, разозливший всех, кто был потрезвее, «был бесславно покинут в одном из тех временных дворцов, неразрывно связанных с памятью императора Веспасиана»[150]. Так деликатно описал эпизод сам Джойс.

Короткие каникулы с Норой и Гилбертами в Торки перемежались встречами с друзьями — на неделю приехала мисс Уивер, походами в местные пабы, где он внимательно слушал болтовню посетителей и, совершенно естественно, в ней участвовал. Гилберт прочитал ему глава за главой своего «„Улисса“ Джеймса Джойса», а Джойс указывал, как удобнее разбить ее для журнальной публикации. Элиот обсуждал с ними книжное издание работы Гилберта у «Фабер энд Фабер» и дешевое издание «Анны Ливии Плюрабель», Джон Дринкуотер сказал, что последние страницы «АЛП» — одни из лучших в английской литературе, а Джеймс Стивенс добавил, что это величайшая проза, когда-либо написанная человеком. Джойс

оживал под похвалами и снова погружался в книгу.

В Летчуорте Клод Сайкс отыскал местного жителя по фамилии Ирвикер, и Джойс попросил сделать его фото. Но главным достижением была все же знаменитая запись «Анны Ливии», сделанная в Ортологическом институте, для которой текст был отпечатан огромными буквами, и все равно Джойс в полутьме студии не мог их прочесть без помощи суфлера.

После Лондона Джойсы отправились в Дувр, где пришлось дожидаться, пока утихнет шторм с сильной грозой: молнии, да еще над океаном, удвоили бы его обычный невроз. За октябрь в Париже он сумел закончить последнее бдение Шоуна для ноябрьского номера «транзишн», но больше не издавался в нем до 1933 года: деньги кончились, журнал завис, и Джойс печатался в разных частных издательствах. Первая и третья книги были закончены в черновике, и Джойс разбирался со второй и четвертой. По правде говоря, после лондонских похвал он снова ушел в депрессию — вторая книга оказалась самой тяжелой. Спасаясь, он то занимался французским переводом «АЛП», то сидел с Гербертом Хьюзом над «Книгой Джойса», сборником музыкальных произведений на его тексты, а в ноябре целую неделю подробнейшим образом разъяснял Джеймсу Стивенсу план «Поминок по Финнегану» — Стивенс уже сам чувствовал себя персонажем.

Приостановка «транзишн» дала Джойсу независимость от жесткого графика публикаций, и увеличившаяся внутренняя свобода имела довольно неожиданный итог. Он увлекся — и даже не женщиной.

Станислаус восторженно описывал ему тенора-ирландца Джона Салливана, выступавшего в Триесте и читавшего «Портрет художника в юности». Когда Салливан в конце 1929 года вернулся в «Пари опера», то по настоянию Станислауса позвонил Джеймсу и встретился с ним. Симпатия была мгновенной и обоюдной. Салливан был из Корка и в родстве с Керри; теперь он, пережив множество театральных интриг, стал ведущим тенором в одной из главных французских оперных трупп.

Когда Джойс впервые услышал его пение, симпатия превратилась в яростную, чуть ли не любовную привязанность. Вагнера Джойс не любил, Тангейзера презирал как персонаж, но Салливан мог петь что угодно — голос его потрясал. По телефону заказывались билеты на каждый спектакль, где пел обожаемый тенор, а на «Самсоне и Далиле», где пел еще один ирландец, Дэн О'Коннелл, Джойс сидел радостно и гордо. В «Гугенотах» он наслаждался сценой заклятия клинков, где Салливан «собирал вокруг себя всю музыку». Точно подсчитал, сколько каких нот

Салливан берет: 456 «соль», 93 «ля минор», 54 «си-бемоль», 15 «си», 19 «до» и две «до-диез». Он называл его голос «трехмерным» и сравнивал со Стоунхенджем.

Сохранилось фото, где они втроем с Джеймсом Стивенсом; Джойс предлагал назвать его «Три ирландские красотки». Он говорил, что у Салливана сложение дублинского полисмена, а лицо как у ученика закрытой школы, сбежавшего оттуда в 14 лет. Взрослым Салливан был — его яростно делили между собой жена и несколько постоянно обновлявшихся любовниц, его никогда не приходилось долго уговаривать выпить, но он был щедр, тянул на себе дюжину иждивенцев и ссужал деньги многим. «По темпераменту — непослушный, скандальный, склонный к дракам, недипломатичный; но с другой стороны, добродушный, общительный, непритворный, забавный и многое знающий» — так описывал его сам Джойс. Салливан рассказал ему, как его предупредил «итальянский круг», обожавший Карузо, Мартинелли и Лауро-Вольпи, чтобы он не совался в Ковент-Гарден, Метрополитен-опера и Чикагский оперный, а до многого Джойс доискался сам, и друг, подвергнутый такому преследованию, стал ему больше чем другом… «От запрещенного автора — запрещенному певцу», — написал он на одной из подаренных книг.

Эллман высказывает догадку, что Джойс постоянно искал сходство между собой и другими людьми; собственно, на этом держались его долгие и краткие дружбы. Но если многие ищут сходства, то Джойс искал того, чем не стал, но мог стать сам, альтер эго, и Салливан, сделавший карьеру, от которой отказался Джойс, блиставший так, как могло получиться и у него, был воистину драгоценным отражением. Он приводил друзей на все его спектакли — не прийти означало поссориться с Джойсом; иногда покупал им билеты, учил их кричать: «Браво, Корк!» — и вести певца потом в «Кафе де ла Пэ» или «Версаль». Он настаивал, чтобы они писали о Салливане меценатам и влиятельным фигурам, и даже уговорил Уильяма Берда опубликовать в «Нью-Йорк сан» статью о бойкоте Салливана и об обещании, данном Джону Маккормаку Бостонским оперным театром, что ни один другой ирландский тенор никогда не споет на их сцене. Руководители театра с обидой отрицали это, Берд чувствовал себя идиотом, но Джойс уверил его, что это отличный шаг в паблисити Салливана. В марте 1930 года он говорил, что написал о Салливане тринадцать раз в ведущие американские, английские, ирландские и французские газеты. Пауза, к великому облегчению Норы и друзей, наступила, когда Джон Салливан получил ангажемент в Алжир и уехал.

На одной из дискуссий по проблемам времени Джойс говорил с Олдосом Хаксли, тоже терявшим зрение, а третьим был дублинец Томас Пью, знавший текст «Улисса» лучше автора — он был одноглазым. Сочетание было забавным, а предсказание жутковатым. К тому же умер доктор Борш, лечивший его много лет, и Джойсу становилось все хуже, но никто не мог ослабить боли. Цюрихские друзья написали Джойсу о профессоре Альфреде Фогте, прославившемся целым рядом удачных операций. Они же помогли ему договориться о консультации у Фогта в апреле 1930-го. Пора было менять и образ жизни: квартира на площади Робийяк становилась проходным двором, работать было трудно, а при необходимости остаться в Цюрихе на более долгий срок нужно было временное жилье. Все ближе становилась другая проблема: собственность Джойса унаследовать по английским законам было можно, только постоянно проживая в Англии. А для этого нужно было сделать то, чего столько лет добивалась Нора, — заключить легальный брак. Но перед этим, что вполне логично, Джойс хотел и буквально видеть, что он, собственно, делает. И, обосновав очередную отсрочку, уехал в Швейцарию.

Цюрих, который он увидел остатком зрения, поразил его. Он словно увидел его заново — и восхитился: «Что за город! Озеро, гора и две реки!..»

Обрадовал его и Фогт. Джойсу сняли боли и обещали сохранить по крайней мере один глаз. Фогт ни разу не позволил ему заплатить за лечение; даже Имон де Валера, премьер-министр Ирландской республики, не пользовался у него этой привилегией. Мнительный Джойс в Париже проконсультировался у доктора Коллинсона, который подтвердил, что в любом случае одиннадцатая операция необходима. В мае 1930 года Фогт прооперировал ему левый глаз, удалив третичную катаракту, но завершить операцию не сумел — возникла угроза, что стекловидное тело, и так уже поврежденное предыдущими операциями, погибнет окончательно. Джойс некоторое время мучился иритом из-за скопившейся крови, но врачи убрали ее из глаза с помощью пиявок. Микроскопическим обследованием Фогт установил, что кровь все равно поступает прямо в стекловидное тело; поэтому разрез было решено оставить открытым и дать измученному глазу восстановиться, на что могло уйти несколько месяцев. Кроме того, последняя операция Борша привела к образованию сложной катаракты на правом глазу, которую тоже надо было удалять. Фогт прислал Джойсу подробное письмо, где описал ситуацию и пообещал, что сделает в сентябре операцию для возвращения большей части ясного и рабочего зрения.

Хотя Джойс мог уже ездить поездом, но он побоялся приехать даже на триумфальное выступление Салливана в Ковент-Гардене 20 июня. Казалось, реальный или воображаемый заговор против Салливана разрушен. Однако в Париже Джойс узнал, что одну из лучших партий Салливана, Арнольда в «Вильгельме Телле», спел Лауро-Вольпи; с сокращениями, купюрами, практически отменив речитативы и, как было написано в послании Салливана газетам, «полностью избежав губительной дуэли с хором в финале». Критики единодушно восторгались Лауро-Вольпи, но в письме ему иронически предлагалось попытаться спеть партию полностью, а им обещали дать личную партитуру Салливана, чтобы они могли сверять по ней исполнение оперы, «изрядно ими подзабытой». Собственно, у него были основания чувствовать себя задетым: опера не исполнялась на европейской сцене с 1889 года, достаточно долго после смерти Таманьо не находилось тенора, который бы справился с этой партией, и Салливан напряженно работал, чтобы восстановить ее. Письмо называлось «Справедливость прежде всего!».

Post hoc est propter hoc — контракт Салливана с Ковент-Гарден был таинственным образом прекращен, и тогда Джойс решил устроить свой собственный спектакль. 30 июня 1930 года в Парижской опере давали «Вильгельма Телля» с Салливаном. Газетная заметка описала это так:

«Публика стала свидетельницей драматической сцены, превосходившей по накалу драму, игравшуюся на сцене… По залу пронесся шепот… когда водной из лож человек, в котором многие узнали Джеймса Джойса, ирландского романиста и поэта, перегнулся через барьер, сорвал с глаз толстые черные очки и воскликнул: „Merci, mon Dieu, pour ce miracle. Après vingt ans, je revois la lumière“[151]».

В остальных газетных публикациях он старался, где только мог, упоминать Салливана и Фогта; его парижские доктора, говорил он в интервью, позволили ему снимать глухие темные очки только в опере, и журналисты разнесли эту информацию повсюду, но Бич и Монье неприязненно интересовались, почему он так увлекся этим не слишком популярным певцом. Джойс отвечал, что со времен его появления в Париже он был представлен многим признанным гениям, все они милы и дружелюбны, однако для него — возможно, гении. А вот голос Салливана — здесь никакого «возможно». И скоро Джойс поставил второй акт личных «Страстей по Салливану». Когда он закончил арию из четвертого акта, Джойс вскочил и закричал на весь театр: «Браво, Салливан! Лаури-Вольпи — дерьмо!» Смех и аплодисменты достались ему заслуженно.

Очередная офтальмологическая поездка в Цюрих была еще и попыткой вернуться к «Поминкам…», простаивавшим почти год. Джойс вдруг написал большой кусок той самой второй части, и она также вдруг оказалась «самым веселым и легким из всего, что я написал». Там играли дети — в те же самые игры, что и когда-то он, а взрослый видел в этих играх коды иной жизни. Эллман считает, что в них отражено яростное сексуальное соперничество Шема и Шоуна. За 1930 год Джойс напечатал всего один фрагмент, в определенной мере такой же классический, как и «АЛП», но уже об Ирвикере, а в 1931-м его перепечатал отдельным изданием «Фабер энд Фабер». Вторым и третьим изданием немцы напечатали перевод «Улисса», а к третьему изданию по просьбе цюрихского представителя «Рейн-Ферлаг» Дэниела Броди предисловие написал Карл Густав Юнг.

Предприятие было крайне рискованным — во-первых, отношение Джойса к Юнгу не изменилось. Во-вторых, предисловие было таким, словно эта книга была написана для иллюстрации юнгианства и ни для чего больше. Джойс говорил потом Георгу Гойерту: «Он прочел книгу, ни разу не улыбнувшись. В таких случаях полезно сменить любимые напитки». У Броди он поинтересовался: «Почему Юнг со мной так груб? Ведь он меня даже не знает? У меня нет ничего общего с психоанализом». Броди ответил: «Объяснение только одно. Переведите свою фамилию на немецкий». Перевод был — Freud. Однако Юнг серьезно поработал над статьей и опубликовал ее самостоятельно уже в 1932-м. Джойсу он послал экземпляр с таким сопроводительным письмом:

«Дорогой сэр,

Ваш „Улисс“ явил миру такую огорчительную психологическую проблему, что меня много раз привлекали в качестве эксперта-психолога.

„Улисс“ оказался очень твердым орешком и вынудил мой разум не только к самым непривычным усилиям, но и к довольно экстравагантным постижениям (говоря с точки зрения ученого). Ваша книга в целом не избавила меня от этой проблемы, и я размышлял над нею около трех лет, пока я не нашел в ней самого себя. Я глубоко благодарен вам, равно как и вашему гигантскому опусу, ибо многое узнал из него. Я никогда не смогу быть до конца уверенным, что наслаждался им, потому что чтение означало чрезмерное расходование нервов и серого вещества. Я также не знаю, сможете ли вы наслаждаться тем, что написал я, потому что я не уставал повторять миру, как устал, как раздражен, как ругаюсь и как восхищаюсь. Сорок страниц безостановочного чтения до самого конца — целая гирлянда

настоящих психологических лакомств. Полагаю, матушка дьявола может знать столько о женской психологии; я — нет.

Но я просто рекомендую вам свое маленькое эссе в качестве забавной попытки полного новичка, заблудившегося в лабиринте вашего „Улисса“ и выбравшегося оттуда исключительно по чистой удаче. В любом случае вы можете заключить из моей статьи, что именно „Улисс“ сделал с предположительно уравновешенным психологом.

С выражением глубочайшей признательности остаюсь, дорогой сэр,

Искренне вашим —

К. Г. Юнгом».

Джойс как литератор оценил отменное сочетание лести и критики, но Нора высказалась о его проницательности и знании слабого пола короче и безапелляционнее: «Да он вообще ничего не знает о женщинах». Существует обширная феминистская литература по этому поводу, соглашающаяся с супругой писателя, но привлекающая для доказательства куда более солидный аппарат. Мужчинам уютнее солидаризоваться с великим психологом, слегка пококетничавшим в своем письме.

С начала 1930-х и почти до последних цюрихских дней с Джойсом работает новый человек, один из его настоящих друзей, Поль Леопольд Леон, Павел Леопольдович, русский эмигрант, успевший в 1918 году покинуть Россию и добраться до Лондона, а оттуда до Парижа вместе с женой. Суеверному Джойсу его двойное имя, совпадавшее с обоими именами Блума, показалось высоким предзнаменованием, а то, что он был неплохо образованным юристом и опытным историком-литератором, свободно писавшим по-французски, обещало серьезную помощь. Кроме того, он был веселым, легким и чудаковатым человеком. Познакомил их приятель Джорджо Алекс Понизовский, дававший Джойсу уроки русского. Леон был его свояком. К Джойсу он относился с легким подтруниванием, но юмор у него был щадящим, а в остальном он любил и уважал Джойса и был ему по-настоящему предан. Он искренне смущался, когда Джойс благодарил его за помощь, а интереснее всего было то, что он так и не прочел «Улисса» и даже не старался понять «Поминки…» — он был уверен, что это шедевры, а шедевры не обсуждаются. Джойса Леон считал величайшим писателем современности, и то, что он писал понятное очень немногим, только подтверждало это. Леон писал позже, что человек, сближавшийся с Джойсом, начинал чувствовать, что старается войти в тончайшую сеть полувысказанных мыслей и чувств, создававших атмосферу такой вкрадчивости, что ей было невозможно сопротивляться, тем более

что она и не предполагала никакого сопротивления… Сам он окутался ею бесповоротно и целиком.

Леон дружил с Джорджо и Хелен Флейшман, а когда они в декабре 1930 года поженились, чета Леонов присутствовала на церемонии. Хелен была старше мужа на десять лет, что очень огорчало Нору, но после свадьбы они с невесткой даже подружились. Хелен, кроме немалых денег, имела и отличный вкус, чего у Норы никогда не было, и в результате шляпки и платья свекрови автоматически заказывались там же, где и для Хелен. Джойса это забавляло: живые женщины для него были б**о**льшими куклами, чем его выдуманные, у них были какие-то устройства для какого-то мышления, но лучше всего они были наряженными и ухоженными, с ними можно было играть в сложные или грубоватые игры. Бадген попытался как-то перебить один из его язвительных монологов о женщинах, спросив, неужели, их тела не вызывали у него восторга и предвкушения, на что Джойс ответил: «Конечно! Прежде. Но теперь нет, черт возьми. Мне интересны только их туалеты». И даже деньги, уходившие на это, не огорчали его.

Джойс много позировал художникам — с разной мерой удачливости. Настало время и для биографа. Гилберт его не устраивал по разным причинам, а вот Герберт Горман, уже написавший о нем, с радостью согласился делать и вторую книгу. Множество бесед с Джойсом, вопросники ему и его друзьям, сложные консультации со Станислаусом, работа с документами и дневниками; но сложнее всего оказалось с самим Джойсом. На какие-то вопросы Джойс отвечал детально и словоохотливо, на другие — вдруг замыкался и предлагал Горману, человеку далеко не богатому, съездить в другой город или страну и разузнать самому. Но и друзья, как, скажем, Эзра Паунд, порой не собирались ворошить ранящее прошлое. Другие просто задумывали собственные книги и не желали делиться с конкурентом. Третьих даже при всей их готовности нелегко было разговорить или добиться полной откровенности. Да и сам Джойс постепенно утратил интерес к проекту, хотя продолжал помогать в чем-то и добивался от Станислауса копий писем и дневников, что было вовсе не легко. Год, запланированный на книгу, оказался полной фикцией, чем Джойс был крайне раздосадован. Однако любезные отношения сохранял.

Одновременно Джойс был увлечен работой с французским переводом «Анны Ливии Плюрабель». В декабре 1930 года его начал делать Беккет со своим молодым французским приятелем Альфредом Перроном, недолго учившимся в Тринити-колледже. Он хотел бы закончить эту работу, но ему надо возвращаться в

Ирландию. Перевод разбирали Леон, Жола и Иван Голль, поэт-экспрессионист, писавший одинаково свободно на немецком, французском и английском. Потом включился и Филипп Супо, отлученный четыре года назад от сюрреализма самим Андре Бретоном. В квартире Леонов на рю Казимир Перье они сидели по нескольку часов за круглым столом; Джойс курил в кресле, Леон читал английский текст, Супо — французский, а прочие или сам Джойс останавливали чтение и принимались обсуждать вариант. Джойс детально пояснял оттенки вложенного смысла и увлекал их поиском лучшего звука и ритма, а не значения. Этим же он поражал и Нино Франка, с которым позже делал итальянский перевод. Через пятнадцать таких встреч он был опубликован 1 мая 1931 года в «Нувель ревю франсез» и оказался намного интереснее перевода «Улисса».

Конец 1930 года для Джойса ознаменован важным рубежом: он, по совету своих английских юристов, начинает жить на собственный доход. Джентльмен со скромными средствами получал в то время около девяти тысяч франков в месяц, что равно 70 фунтам, или 350 долларам — таковы роялти от «Улисса». Но и тратит он их по-джентльменски — нищета его ничему не научила. Вот и очередное 2 февраля оставило бы его вечером дома, если бы не Джорджо и Хелен, вернувшиеся с медового месяца в Германии, которые утащили их на ужин в «Трианон». Безденежье было настолько серьезным, что Джойс вынужден был съехать с квартиры на площади Робийяк, оставив только самые необходимые вещи и едва наскребя денег заплатить грузчикам.

Но дела шли совсем неплохо. Среди «джойсистов» появляется еще один оплот, критик Луи Гилле, с которым он повстречался на вечере поэтессы Эдит Ситуэлл, беглой английской аристократки, только начинавшей входить в славу. Гилле подошел с Сильвией извиниться за давнюю ругательную статью о Джойсе — сейчас он был о нем другого мнения. Джойс благосклонно принял извинения — статья в свое время его даже не слишком задела. Вскоре на обеде они обменялись замечаниями о «Ходе работы», и Гилле пообещал опубликовать эту беседу в «Ревю де де монде», что означало причисление теперь уже всех книг Джойса к большой литературе современности.

Объявились и давние знакомые, Падрайк и Мэри Колум. Со временем они с Джойсом стали лучше относиться друг к другу. На лекции молодого лингвиста Пера Марселя Жюссе о технике «внутреннего монолога» и его происхождении от «Лавровые деревья срублены» Дюжардена Мэри спросила Джойса:

— Ты недостаточно позабавился? Мало еще надул народу?

Почему бы тебе не признать наконец свой долг Фрейду и Юнгу — неужели так плохо быть обязанным великим открывателям?

Джойс уже забыл, когда с ним разговаривали в такой манере. Он заворочался в кресле и гневно ответил:

— Терпеть не могу всезнающих женщин!..

Однако Мэри тоже была ирландкой:

— Нет, Джойс, можешь. Ты их любишь, и в этом я тебя стану убеждать даже печатно, где только смогу.

Он метнул на нее яростный взгляд, и вдруг гнев на его лице медленно сменился полуулыбкой. Но потом он все равно отплатил ей — язвительным стихотворением про дам-зануд.

Стычки у них бывали постоянно. Когда Джойс читал отрывок из «Хода работы» и спросил ее потом, что она об этом думает, Мэри ответила:

— Джойс, я думаю, это за пределами литературы.

Писатель промолчал, а потом наедине сказал Падрайку:

— Твоя жена говорит: то, что я читал, за пределами литературы. Скажи ей — за пределами сегодняшней литературы ее будущее.

С Падрайком ему было гораздо легче. Он помогал Джойсу, перепечатывая и обсуждая текст «Хода работы», во фрагменте об Ирвикере даже остались две его вставки. Ирландский Колум знал свободно, притом со множеством диалектных словечек. Джойс в качестве благодарности назвал корабль в тексте «Паудрайк».

Между тем Адриенн Монье снова занялась популяризацией «Хода работы». Мисс Уивер собралась посетить действо, и Джойс написал ей, что день этот может стать концом его парижской карьеры, как 7 декабря 1921 года стало ее началом. На 26 марта было решено устроить чтения французского перевода «Анны Ливии Плюрабель» — его читала Адриенн, а перед этим с пластинки звучал отрывок, начитанный Джойсом. Су-по рассказывал о трудностях перевода. Все было очень прилично и скучно до невозможности, и забавник Роберт Макэлмон поднял руки в молитвенном жесте и держал их так до тех пор, пока к нему не подковылял какой-то старик и не дал ему затрещину. Интереснее всего, что это оказался Дюжарден, которому показалось, что Макэлмон жестом намекает на распухшие ноги его супруги… Потом все извинились и помирились. Джойс решил, что имеет теперь полное право уехать в Англию на более долгий, чем обычно, срок.

Нора очень не хотела этого — она знала, чем обернется для него британский климат и британские встречи, но все же в апреле они съехали с площади Робийяк, пожили недолго в отеле и несколько дней спустя отправились в Лондон. Джойс назвал это

их «пятой хиджрой». В Лондоне они остановились в «Белгравии»; Джойс уже мог себе это позволить. Квартира в Кенсингтоне, на Кэмден-гроув, 28-Б, снималась на неопределенный срок, потому что Джойс намеревался осесть в Англии и уже вел консультации о регистрации по английским законам брака с Норой. 4 июля, день рождения отца, был выбран днем регистрации, чтобы старик наконец утешился и не боялся, что «беззаконно живущие беззаконно и погибнут». Но в бюро регистрации Джойс сказал, что они уже были зарегистрированы под другим именем жены, и клерк заупрямился. Им следует сначала развестись, а потом уже заключать второй брак. Адвокат Джойса объяснил, что церемония совершенно законна, потому что о предыдущей никаких записей в бюро нет.

«Джеймс Огастен Алоизиус Джойс, 49 лет, холост, независимый доход, заключает брак с Норой Джозеф Барнакл, девицей, 47 лет, оба проживают на Кэмден-гроув, Лондон, 4 июля 1931 года. Отец жениха — Джон Станислаус Джойс, государственный клерк (на пенсии). Отец невесты — Томас Барнакл (сконч.), пекарь».

Репортеры накинулись на них при выходе. Довольная Нора сказала: «Теперь весь Лондон знает, что мы здесь». На первой полосе «Ивнинг стандарт» была фотография новобрачных; Джойса это рассердило, ему казалось, что его выставили на посмешище: когда Артур Пауэр шутливо спросил, как прошла церемония, Джойс сухо ответил: «Если нужна информация, посетите моего поверенного» — и отвернулся. Этот пустяк навсегда испортил их отношения. Но позже он написал о регистрации Станислаусу во вполне юмористическом тоне, подписавшись «Дорогой профессор, матримониально Ваш».

После регистрации к ним приехала Кэтлин, сестра Норы, теперь красивая молодая женщина. Джойс как-то разглядел, что на ней нет часов, подаренных им еще в Богноре, и удивленно спросил ее о них. «Я их заложила», — удрученно призналась Кэтлин. Хохотнув, Джойс ответил: «Точно так же, как я когда-то». С удовольствием он съездил с ней в Стоунхендж, куда Нора ехать не захотела, и в лондонский Тауэр, и в Виндзорский лес, и по шекспировским местам. Он просил ее называть ему деревья, которых различить не мог. В музее мадам Тюссо Кэтлин сказала, что хотела бы его там видеть, а Джойс кисло усомнился в такой возможности. К слову, он оказался прав, хотя и не совсем: они с Йетсом стоят в Зале писателей в Дублинском музее восковых фигур и к ним ходят те же посетители, что и к Майклу Джексону, выставленному по соседству.

Сестры подолгу разговаривали, и Нора жаловалась, что

ненавидит ужины, где надо сидеть с творческими личностями до часу ночи, смертельно скучать, но из-за любви к мужу и сострадания к его гаснущему зрению оставаться там… Телесная сторона брака почти утратила для нее значение — похоже, и для него. Чудачества Джойса (так она их называла) то и дело раздражали ее. Когда Кэтлин сказала Норе, что он дал официанту не одну пятифунтовую банкноту, а две, Нора отмахнулась: «Вечно он так!» Еще одна пятифунтовая досталась Кэтлин. Вечером Нора потребовала, чтобы он не давал чаевых привратнику в театре, но Джойс все равно сунул ему два шиллинга. Обозлившаяся Нора повернулась и вышла вон; приунывший муж последовал за ней. Но были и любимые развлечения Джойса, всегда взбадривавшие его.

В июле 1931 года газета «Франкфуртер цайтунг» напечатала рассказ под названием «Возможно, сон». Автором числился Джеймс Джойс. Дэниел Броди, швейцарский издатель Джойса, узнал об этом и написал ему о фальшивке. Джойс ответил, что это сущее свинство, и тут же снесся с Сильвией, профессором Кертисом, Хэролдом Николсоном, Элиотом, Станислаусом, Джорджо и лондонскими адвокатами. Ему посоветовали немедленно потребовать извинений и пригрозить иском. Но «Франкфуртер цайтунг» тут же напечатала опровержение, что это, дескать, ошибка Ирен Кафки, переводчицы (и не родственницы писателя), поставившей «Джеймс» вместо «Майкл». Оказалось, что это даже не выдумка реакции — Майкл Джойс существовал и написал Джойсу письмо с сожалениями об ошибке. Однако Джойс настаивал, чтобы «Монро и Соу» потребовали от газеты более развернутых извинений, которые она отказывалась приносить. Франкфуртский юрист предупреждал, что публика считает ошибку пустяком и что нет смысла вчинять иск — можно отсудить фунтов двадцать пять, не больше, а Джойса будут считать мелочно мстительным, что недостойно писателя его таланта и славы.

Английская «хиджра» подходила к концу: на Кэмден-гроув им не нравилось, Джойс говорил, что там бродят мумии. На зиму лучше вернуться в Париж, а весной в Лондон. Июль они успели провести в Дувре, где знакомые ирландцы держали отель «Лорд Уорден». А в августе Лючия начала вести себя странно. Ее вывел из себя брак родителей; она жестоко раздражалась присутствием Кэтлин и совершенно беспричинно ревновала ее к ним, а когда они задержались в Дувре, она сорвалась в Англию одна, к Джорджо и Хелен. Родители считали это девичьими причудами и до сентября оставались друг с другом. Поменяв несколько отелей, они сняли в декабре меблированную квартиру на авеню Сент-

Филибер, 2, и перевезли туда свою мебель. Джойс наконец обратил внимание на поведение дочери, считая, что она огорчена, и попытался утешить ее, вовлекая в работу — она должна была сделать большие буквицы для стихотворений, включенных в «Книгу Джойса» Герберта Хьюза, издаваемую Оксфорд Юниверсити пресс. Как ни странно, Лючия сделала эту работу к ноябрю 1931 года, но книга была уже отпечатана, и Джойс стал искать другой способ их использовать, но так, чтобы дочь не узнала, что это чистая благотворительность.

«Улисс» и «Поминки по Финнегану» привлекали все больше внимания, Джойсу поступало все больше предложений. Но Сильвия, которая, в сущности, делала обе книги, возражала против американского издания — ей от него не доставалось ни цента. Он сумел уговорить ее в обмен на некоторые свои рукописи отказаться от прав и теперь мог работать с издателями сам. Американские законы стали мягче, и можно было рассчитывать на успех. Брат Хелен Джойс, Роберт Кастор, в феврале 1932 года сделал заказ на «Улисса» от имени «Рэндом хауз», и в марте Джойс подписал контракт. Б. У. Хюбш настойчиво пытался по старой дружбе получить права на «Поминки…», и Джойс подписал контракт и с ним. Настоянием Хюбша в него был введен специальный пункт о том, что если он, Хюбш, разорвет отношения с «Викинг пресс» и решит издавать книгу сам или с помощью другой компании, то автор делегирует те же полномочия по контракту новой фирме.

В конце декабря Джойсу сообщили, что его отец смертельно болен. Припоминая все, чем огорчил старика, в удвоенном горе он послал телеграмму врачу, другу семьи, в Дублин: «Мой отец опасно болен больница драмкондра диагноз неопределенный пожалуйста предоставьте лучших специалистов все расходы за мой счет благодарю заранее джеймс джойс париж авеню сент-филибер 2». Он звонил и сыпал телеграммами в больницу через каждый час, упрашивал врачей, но сделать ничего было нельзя. Джойс-старший умирал красиво: дочери он сказал: «Я взял от жизни больше, чем любой белый человек». За несколько минут до смерти он пришел в себя, чтобы прошептать: «Передайте Джиму — он родился в шесть утра». Это не был бред: в одном из последних писем Джеймс спрашивал его о своем часе рождения, для точного гороскопа.

Джон Джойс умер 29 декабря 1931 года. Джеймс был совершенно раздавлен горем. Керрану и Майклу Хили, посетившим похороны, он писал, упрашивая выяснить, что еще говорил о нем отец перед смертью, и оба заверили его, что Джон сказал несколько раз: «Джим никогда меня не забудет…» Он

писал всем, забыв о ссорах и разорванных отношениях. Паунду было написано: «Он глубоко любил меня, тем сильнее, чем старше становился, но несмотря на мои собственные глубокие чувства к нему, я никогда не смел доверять себе среди моих врагов». Элиоту: «Он очень любил меня, и мое горе и раскаяние возобновляется тем, что я много лет не приезжал в Дублин повидать его. Я держал его в заблуждении, что вот-вот приеду, я все время писал ему, но инстинкт, которому я доверял, удерживал меня от приезда, как бы мне ни хотелось».

Отцовская смерть настолько потрясла его, что он в очередной раз собрался бросить «Поминки…». Джойс считал, что вся эта книга выросла из города, куда он никогда не вернется, из человека, которого он больше не увидит, и из воспоминаний, которые не с кем больше разделить: «Меня сокрушила не его смерть, а обвинение самого себя». Он был так же волен в обращении с жизнью и благопристойностью, он так же тратил не глядя и оправдывал себя во всем, как отец, и считал эту черту основой своего таланта, дарованной ему Джоном Джойсом.

«Бедный старый дурак! — писал Джойс мисс Уивер. — Порой мне кажется, что в моем теле и горле звучит его голос. В последнее время все чаще — особенно когда вздыхаю».

2 февраля 1932 года не стало в этот раз счастливым днем. С утра Лючия была раздражительна и ссорилась по пустякам со всеми, а к вечеру в гневной истерике кинулась на мать со стулом наперевес. Нора была перепугана, и только Джорджо сумел вызвать такси и увезти сестру в психиатрическую клинику, где она была оставлена на несколько дней и вернулась сравнительно спокойной. Можно представить, в каком состоянии духа Джойс приехал к Жола на рю де Севинье. На стол подали пирог с пятьюдесятью свечами, а посередине был сине-белый сахарный «Улисс», но Джойс смотрел и не видел.

15 февраля Хелен Джойс, с огромными трудностями выносившая дитя, родила мальчика. Его назвали именами двух людей — вымышленного и мертвого: Стивен Джеймс Джойс. Но дед Джеймс решил, что мальчик сменил на этом свете своего деда. Одно из последних и самых лирических его стихотворений написано в этот самый день:

ECCE PUER

Из бездны веков
Младенец восстал,
Отрадой и горем
Мне сердце разъял.

Ему в колыбели
Покойно лежать.
Да снизойдет
На него благодать.

Дыханием нежным
Теплится рот
Тот мир, что был мраком,
Начал отсчет.

Старик не проснется,
Дитя крепко спит.
Покинутый сыном
Отец да простит![152]

К удивлению многих, Джон Джойс оставил старшему сыну наследство. В дублинской книге общественных записей значится запись «665 фунтов, девять шиллингов, ноль пенсов».

Глава тридцать четвертая ДОЧЬ, БЕЗУМИЕ, НАДЕЖДЫ

And should some crasy hand dare
touch a daughter…[153]

Вопрос, связывать детей с религией или не связывать, в тридцатых годах XX века был достаточно болезненным не в силу запрета, а как раз по причине свободы выбора. Джойс в свое время принял решение в куда более агрессивной общественной среде и нес все последствия своего поступка. Но теперь он обернулся к нему совершенно неожиданной стороной.

Умилительные радости воспитания внука Джойсу не достались — Джорджо и Хелен известили его, что собираются крестить Стивена, и Джойс решительно воспротивился. В свое время он наслушался упреков, что не дает детям религиозного воспитания. Отвечая, что в мире сотни религий и он не может лишать детей возможности выбрать свою, Джойс в общем не кривил душой. Но тут все было иначе — его собственного внука собирались повергнуть в то самое рабство, из которого он бежал. Сын и невестка не стали спорить, но с помощью Падрайка и Мэри Колум отнесли младенца в церковь, а Эжен Жола был восприемником у крестильной купели. От Джойса это скрыли. Когда Бирн был в Париже, они с Джойсом изрядно выпили, и Джойс принялся рассказывать, как родители не могли решить, крестить его внука или обрезать. Жола со смехом добавил:

— Поэтому они его крестили…

Джойс вздрогнул:

— Крестили?

Жола хватило ума, чтобы выдать свою оговорку за шутку, и Джойс узнал правду через несколько лет, но тогда ему стало не до нее — снова начались проблемы с Лючией, домашними средствами уже неодолимые. Собственно, заниматься ими следовало много раньше, но Джойсы повторили ошибку множества родителей.

Три года назад, когда Беккет стал появляться в парижской квартире Джойса и работать с ним, Лючия влюбилась в молодого красивого ирландца, в его причуды и рискованные шутки. Он не был беззаветным тружеником, как ее отец, — Пегги Гуггенхайм сравнивает его с молодым Обломовым, который не мог заставить себя встать с постели раньше полудня, вяло преодолевая ту самую ennui[154], которую превосходным парижским диалектом описал

на страницах «В ожидании Годо». Джойс и Беккет с удовольствием обменивались молчанием, сидя в одинаковых позах: Беккет очень скоро усвоил манеру переплетать ноги, которой так славился Джойс. Скупые реплики могли касаться чего угодно — социализма, идеализма, женщин. Джойсу нравилось общество Беккета, но оно не заменяло ему семью — пожалуй, единственных людей, которых он мог любить. Даже Салливан не попадал в их число. Привлекало Джойса мышление Беккета, та отточенная отстраненность, которой не обладал даже он сам, как и утонченность, проявлявшаяся во всем. Лючия чувствовала то же, хотя и по-своему.

Джойс говорил с ним о философах, в которых пытался разобраться; Беккету было продиктовано несколько кусков «Поминок…»; однажды в дверь постучали, Джойс ответил «Войдите», и Беккет записал это. Перечитывая запись, Джойс оставил реплику. Случай-помощник — такое забавляло. Беккета, в свою очередь, забавляла сингулярность работы. Лючия интересовала его как отражение Джойса, причудливое, болезненное, одолеваемое комплексами, которых не было у оригинала. Они бывали в ресторанах, на спектаклях, бродили по городу, когда Беккета не одолевала лень. Молодая женщина (ей было 24 года) все хуже справлялась с собой и все откровеннее давала ему понять, как она на самом деле к нему относится. Когда ее состояние достигло пика, Беккет не нашел ничего лучше, как разъяснить ей, что приходит прежде всего к ее отцу. Та же Пегги Гуггенхайм вспоминает, что он понимал, насколько жесток, но говорил, что мертв и потерял человеческие чувства — у него не получалось влюбиться в Лючию.

Она же была ранена глубоко. Как уже бывало, дочь обрушилась на мать, обвиняя ее в подстроенном разрыве, но Нора терпела всё, стараясь поддержать и отвлечь ее. Она считала, что Лючии нужен молодой муж, да и сама Лючия откровенно говорила тому же Уильяму Берду, что ее одолевает «сексуальный голод». Но он ответил ей, что она начиталась дурацких книжек, и прекратил разговор.

Супруги Леон, видевшие происходящее почти каждый день, жалели Лючию. Леон даже попытался сосватать ей свояка Алекса Понизовского, который только что порвал с любовницей, и тот даже согласился. Но после нескольких встреч Леон предупредил его, что девушка слишком хорошо воспитана для обычной интрижки. Понизовский без особого рвения согласился сделать Лючии официальное предложение и, естественно, получил согласие.

Отдыхавшим на юге Франции Джорджо и Хелен полетела

телеграмма, и брат воспринял ее настолько всерьез, что вернулся.

— Что ты имел в виду, когда писал про помолвку? — спросил отца Джорджо.

— Ну если они хотят заключить помолвку… — начал Джойс.

Джорджо перебил его:

— Какая может быть в ее состоянии помолвка? — Он не понимал того, почему этого не видит отец.

На Понизовского давил Леон, который напоминал ему, что невесте надо послать цветы, позвонить по телефону… Жених уже не чаял как выбраться из неосмотрительно затеянного предприятия. Лючия настаивала, чтобы свидетелем пригласили Беккета. Она казалась спокойной и деловитой.

Через несколько дней в ресторане «Друан» должна была состояться официальная помолвка. Перед самым выходом Лючия вдруг уехала на квартиру Леонов, упала там на диван и осталась лежать — бледная, неподвижная, незрячая. Каталепсия — называют это психиатры. Она никого не слышала, даже Нору, лепетавшую о судебном иске по нарушению брачного обещания. Потом Лючия потеряла сознание.

Врачи пытались вывести ее из жестокой прострации, кололи ее всем, что было тогда в их фармакопее, и Лючия очнулась, но безумие тоже усилилось. Помолвка была забыта. Джойс пытался найти для нее отдельную квартиру и нанять опытную сиделку, потому что рядом с ней оставаться было невозможно. Единственный, кто мог общаться с ней, был отец — он воссоздал для себя картину ее прерывистого сознания, в какой-то мере знакомого ему по собственным текстам, и следовал ей. Она рвалась в Англию, но Джойс понимал, что жить там не сможет, и искал новую квартиру, потому что срок аренды этой заканчивался. Они решили свозить ее в Лондон, слабо надеясь, что это поможет, но в апреле, когда багаж на Гар-дю-Нор был уже погружен и они садились в поезд, Лючия вдруг устроила дикую истерику, визжа, что ненавидит Англию и не хочет никуда ехать, что требует немедленно отвезти ее к Леонам и уложить ее в постель, что и было сделано. Полторы недели она пролежала у них, а потом вдруг потребовала отвезти ее к Колумам, тогда жившим в Париже. Мэри только что сделали операцию, но и она героически ухаживала за Лючией целую неделю. Джойс пытался увезти ее в психиатрическую лечебницу, но она отказалась наотрез, и врача каждое утро привозили к Колумам. Мэри пришлось притвориться, что это ее врач и что у нее те же симптомы, и доктор терпеливо слушал обеих пациенток. Потом Мэри под каким-то предлогом уходила и врач работал только с Лючией, но все, что он мог, — это признать, что она в более

тяжелом расстройстве, чем сознавали все окружающие. В конце мая приехал Джорджо и увез вместе с Мэри свою сестру, обманув ее относительно цели поездки. Доктор Меллар поставил грустный диагноз: «гебефренический психоз».

Название болезни не изменилось до сих пор. Форма шизофрении, наиболее характерной особенностью которой являются эмоционально окрашенные изменения. Бред и галлюцинации, которые возникают неожиданно и так же неожиданно прекращаются. Настроение изменчивое и неадекватное, сопровождаемое ужимками, величественными позами, гримасами, ипохондрическими жалобами и однообразными фразами. Мышление дезорганизовано, человек стремится к одиночеству. Эта форма шизофрении обычно начинается в возрасте от 15 до 25 лет и не излечивается. Лючия пройдет весь тогдашний ад психиатрического лечения — смирительные рубашки, холодные ванны, морфий, электрошок, — а после 1940-х уже появятся благодетельные аминазин и галоперидол, которые и будут ее уделом до самой смерти.

Джойс позже сказал горькую фразу: «Та искра дарования, которая, возможно, у меня есть, перешла к Лючии, но в ее мозгу устроила пожар». Высочайшая степень способности к абстрагированию, с которой справлялся его мощный интеллект, сорвала дочери обыденное мышление. Не случайно Беккет изучал Джойса по Лючии: он отождествлял себя с ней и почти никогда — с сыном. Пошли консультации с медиками, клиники, уколы, попытки операций, и отныне это будет содержанием большей части отведенного ему срока.

Джойс все глубже увязал и в сложностях с мисс Уивер и Сильвией Бич. Его и ее поверенные снова напомнили ему, что он тратит свой капитал и не старается жить на доход. Джойс раздраженно перечислил свои незапланированные расходы и добавил, что она отравляет ему пятидесятилетие. Мисс Уивер приехала в Париж, чтобы успокоить его, но Джойс при встрече молчал. С Сильвией отношения портились давно, и попытки обеих сторон вернуться к прежней дружбе не удавались. В эту ситуацию была замешана и Адриенн Монье. Не так уже редко она публично высказывалась о прославленном бессребреничестве Джойса и его безразличии к славе; но в этот раз она написала ему письмо. Ее и Сильвию обязали продавать малый тираж «Хода работы», от них без конца требовали роялти с продажи «Улисса», но они не могли сделать больше, чем уже делали. Джойсу предлагалось понять, насколько их жизнь сложнее, чем его. А в конце следовали уверения в совершеннейшем к нему почтении.

Джойсу было не привыкать сносить такие удары. Он вежливо

поблагодарил мадемуазель Монье, хотя и заметил, что причины для благодарности несколько иные, чем те, что сформулированы в письме. Он понимает, что мисс Бич расстроена — экономическая депрессия уменьшила продажи, ухудшилось ее здоровье, не говоря о других неприятностях. С юмором он припомнил, как она случайно смахнула пачку вырезок с рецензиями на его книги и решила, что он будет на коленях собирать их, а он, конечно, гордо ими пренебрег… Трудно представить, что можно сделать для мисс Бич сейчас, когда «Улисс» вот-вот будет издан в Англии и США; она почти распродала одиннадцатую допечатку, а двенадцатая теперь вряд ли понадобится. Пусть даже она получила с согласия Джойса права на издание во всем мире, но стоило ли требовать такую большую выплату с «Рэндом хауз»? Сильвия неохотно отозвала свои претензии, главным образом после того, как Джойс пообещал ей свою рукопись и подтвердил, что она имеет право требовать свои роялти с любого европейского издателя.

Тем временем на «Улисса» обратил внимание кинематограф. Запрос на право экранизации прислали «Уорнер бразерс», но Джойс поначалу отказал им, однако не стал возражать, чтобы Леон проработал ситуацию. Состоялась и знаменитая встреча с Сергеем Эйзенштейном, который давно следил за Джойсом. В 1927 году он читал Джойса по единственному московскому экземпляру «Улисса», а через год Айви Лоу, жена зам-наркома иностранных дел М. М. Литвинова, привезла Сергею Михайловичу из Женевы собственную книгу. В письме французскому писателю и кинокритику Леону Муссинаку от 22 ноября 1928 года он пишет: «Очень жаль, что из-за его глаз я никогда не смогу показать свои фильмы этому замечательному человеку. Мой интерес к нему и его „Улиссу“ совсем не платонический — то, что Джойс делает в литературе, очень близко тому, что мы делаем, вернее, собираемся делать в новой кинематографии!» Он просил Муссинака подписаться на «транзишн» и пересылать ему номера с «Ходом работы». Он раздобыл и читал книги Гормана и Гилберта. Он включал Джойса во все свои размышления о современном кино. В Америке, работая над экранизацией «Американской трагедии», Эйзенштейн вгрызался «в сладкие плоды познания и тонкой отравы „Улисса“ Джойса и комментариев к нему Стюарта Гилберта». Он набрасывал сценарии по нескольким произведениям Джойса и очень серьезно думал о киноверсии «Улисса».

Джойс принял Эйзенштейна в комнате с завешенными окнами, где они стояли и беседовали об «Улиссе». Остальная часть квартиры и прихожая были ярко освещены, однако,

вспоминает Эйзенштейн, «этот высокий и слегка сутулый человек почти без фаса — настолько резко отчетлив его профиль красноватой кожи и огненных с густой проседью волос — почему-то странно размахивает руками и шарит по воздуху… И только сейчас я соображаю, до какой степени слабо зрение в отношении окружающего мира этого почти слепого человека, чья внешняя слепота, вероятно, обусловила ту особенную пронзительность внутреннего видения, с которой описана внутренняя жизнь в „Улиссе“… удивительным методом внутренней речи».

Впоследствии Эйзенштейн подведет итог этой встречи знаменитой фразой — «Великий человек! Он по-настоящему делает то, что все мы только хотели бы сделать, потому что вы это чувствуете, а он знает». Через два года Сергей Михайлович прочтет в Государственном институте кинематографии большую лекцию о Джойсе.

Стюарт Гилберт набрасывал сценарии по «Улиссу» и «Анне Ливии Плюрабель», против чего Джойс тоже не возражал, но при его жизни у кино не оказалось шансов стать вровень с литературой. «Улисса» экранизирует Джозеф Стрик лишь в 1967 году, а следующая версия, «Блум» Шона Уолша, выйдет в 2003-м и особого фурора не произведет. Лучше всех, пожалуй, будут «Мертвые» Джона Хастона, которые тоже выйдут только в 1987-м.

Переводы его книг на иностранные языки очень импонировали Джойсу, но и тут случались огорчения. Японцы в феврале 1932-го выпустили пиратскую версию «Улисса», и безотказному Леону пришлось писать британскому консулу в Токио, где адвокаты выяснили, что европейские права действуют на территории Японии всего десять лет. Джойсу посулили какую-то скромную сумму, и он негодующе отказался от нее.

Одновременно приходилось заниматься делами Лючии. Джойса приводила в ужас даже не ее болезнь, а то, как она повторяет начало его судьбы, — стойкую неприязнь к матери и непрестанную тягу к отцу… Подошло время ехать в Цюрих к Фогту, показывать ему правый глаз с растущей катарактой. Жола были неподалеку, в Фельдкирхе, и Джойс решил взять с собой Лючию. Мария Жола согласилась приглядеть за ней, а одну из сестер клиники наняли для более квалифицированного ухода. Леон пытался убедить его показать Лючию серьезному врачу, но Джойс и слушать не хотел.

Перед отъездом Уильям Берд взял их на автопрогулку по Булонскому лесу. Джойс поразительно хорошо ориентировался там и показывал дорогу, в итоге приведшую их к ресторану; Нора тут же запротестовала, но Джойс пообещал, что ограничится одной бутылкой шампанского. Нора не соглашалась, но после

шампанского в ход пошел железный аргумент — Джойс попросил Берда проводить его до мужского туалета, потому что не видит ступенек. Как только Нора потеряла их из виду, Джойс живо остановил Берда и сказал:

— Берд, я могу больше никогда вас не увидеть. Не окажете ли мне услугу?

— Любую, — ответил Берд, — но мы встретимся с вами еще много раз…

— Встретимся, разумеется. Но завтра я еду в Цюрих на новую операцию и чувствую, что в этот раз могу вернуться слепым. Поэтому я сказал, что могу никогда вас не увидеть.

Тронутый Берд попытался утешить его:

— Джеймс, я всегда сделаю для вас все, что могу…

Джойс нащупал его локоть и радостно сказал:

— Тогда пошли закажем вторую.

Разъяренная Нора, увидев шампанское, потребовала такси, но Берд проводил ее до машины и пообещал, что доставит ее мужа домой не позже чем через полчаса. Он сдержал слово — правда, спустя три часа.

Полулегально забрав Лючию с медсестрой из клиники, Джойс увез их в Фельдкирх, оставил у Жола и убедил дочь продолжать работу над буквицами, а сам уехал с Норой в Цюрих.

Фогт встретил его неласково: Джойс не показывался два года подряд, вместо договоренных частых консультаций, и оправдания, что на него сваливалась неприятность за неприятностью, не сняли главной проблемы: состояние правого глаза ухудшилось до почти неминуемой слепоты. Можно было попробовать сделать сразу две операции, но и тут уверенность в улучшении была небольшой, однако уже можно было прооперировать и левый глаз. Джойсу было твердо сказано, что состояние его нервов отражается на зрении; но какой мог быть покой для отца сходящей с ума дочери? Джойс написал докторам Харманну и Коллисону в Париж, и они категорически не согласились, что левый глаз следует оперировать сейчас. Даже Лючия написала ему об этом.

Джойс злился — ему достался «лучший в мире офтальмолог, живущий в худшем климате мира». Жола осторожно намекали, что Лючия очень плоха, но это его не убеждало, хотя и тревожили ее совершенно бессвязные речи. Она требовала разрешить ей приехать в Цюрих, и родители, опасаясь, что Жола станут свидетелями сцены вроде той, что сорвала отъезд в Лондон, сняли номер в отеле и пробыли с ней в Фельдкирхе с августа по сентябрь. Поначалу Лючия была спокойна, терпеливо работала над шрифтами, а Джойс писал Леону и Пинкеру, что делает книгу

детских стихов по алфавиту. Им надлежало подготовить ее продажу. Алфавит был сделан до буквы «О». Кое-что удалось использовать в факсимильном издании «Яблок по пенни», выпущенном в октябре 1932 года. Несмотря ни на что, Джойс дописал несколько кусков для начала второй части «Поминок…», а в самом начале сентября вернулся в Цюрих, к Фогту, готовый лечь на стол; пресса уже обсуждала возможную трагедию, но Фогт после осмотра и оценки состояния глаза отложил операцию. Разрез пришлось бы делать сквозь хрусталик, а это почти наверняка грозило травматическим иритом, способным поразить второй глаз; он был сейчас получше, но перенес много операций и мог просто отказать. Спустя год-другой глаз восстановится и даст шанс. Джойсу поменяли его чудовищно сложные очки, и Фогт сердито посоветовал ему приезжать каждые три месяца для осмотра.

Отсрочка взбодрила Джойса: с утра он подолгу ходил с Жола вдоль реки Илль, взбирался на холмы, и торжественно возглашал: «Реки и горы останутся, когда исчезнут все народы и их правительства…» После полуденного отдыха он снова гулял — до первой вечерней рюмки. А до нее он встречал экспресс Париж — Вена, останавливавшийся в Фельдкирхе на десять минут. Полчаса до поезда он степенно прохаживался по платформе. Эжену Жола Джойс рассказывал, что в таком поезде решилась судьба «Улисса»; в 1915 году его переезд в Швейцарию задержался именно тут. Он ощупывал рельефные надписи на вагонах, слушал, что и на каких языках говорят пассажиры, расспрашивал о них Жола, а когда поезд трогался, Джойс махал шляпой, словно провожая дорогого друга. В восемь часов он входил в отель на встречу с первым стаканом «Тишвайна».

Мария Жола опять попыталась уговорить Джойса довериться врачам. Его было трудно убедить обратиться к Юнгу, которого он по-прежнему не любил, но еще труднее — что Лючия все-таки больна. Отослав дочь с медсестрой в Ванс, он собирался оставаться неподалеку, в Ницце, чтобы успеть в случае острой необходимости и одновременно избавить Лючию от присутствия семьи.

В середине октября вновь начались проблемы с зубами и ухудшилось состояние Лючии. Втроем они переехали из Ниццы в неудобный отель на Елисейских Полях. Нора приглядывала за дочерью с помощью одной женщины, но пришлось нанять вторую. Несмотря ни на что, Джойс работал. С ноября он дописывал девятую главу, где играют дети. Переписку за него вел Леон, это составляло до двадцати писем за день. Джойс не переставал

надеяться, что доброта и внимание изменят поведение Лючии. Мисс Уивер он писал, что девушка почти не врет и чаще разыгрывает комедии, что свойственно большинству девушек. В качестве терапии Джойс выдал Лючии четыре тысячи франков на покупку шубы, что, по его мнению, излечивает комплекс неполноценности лучше любого психоаналитика. Странно, что собственное зрение он покорно лечил у врачей, а в совершенно очевидной ситуации словно бы упорно добивался развития болезни дочери…

Метод себя не оправдал. Лючия внезапно бросила графику, закатив скандал по поводу того, что ей не заплатили за «Яблоки по пенни». Джойс выслал издателю еще тысячу франков и секретно попросил перевести ей. Сняв меблированную квартиру на рю Галилей, он опять надеялся, что смена обстановки будет благотворной, но Лючия круглые сутки рыдала или бросалась на сиделок с кулаками. Один из врачей посоветовал ей пить мелкими глотками морскую воду, и это, как ни странно, почти на месяц помогло. Затем снова начались истерики и драки. Джойс возил ее от врача к врачу, но это подтверждало лишь две вещи — что он наконец обеспокоен и что дочь неизлечима. Довольно горькую мысль высказывают другие биографы: Джойс был в чрезвычайном затруднении, заканчивая «Поминки…», и Лючией занимался не в последнюю очередь потому, что его проблема отражалась в ее недуге. Ему временами удавалось отстраниться, но чаще всего в эти дни он жестоко упрекал себя в том, что ставил литературу выше здоровья дочери, и теперь наказывал себя парадоксальным, но понятным образом: делал то, что было сейчас невероятно трудно, — писал, не переставая думать о Лючии.

Она ненавидела всех близких. Джойс пытался сохранять терпение и любовь к ней, однако дочь рвалась из дома. Намерение уехать в Лондон и поселиться у мисс Уивер было бы еще год назад вполне фантастическим, но шизофрения разрушает способности критической оценки. Интереснее всего, что Лючия собиралась стать миротворицей и вернуть отношения отца и его благодетельницы к прежней дружбе, но вряд ли Джойс доверил бы ей эту миссию даже в лечебных целях. Он и сам начал искать случая отвлечься; в январе 1933-го он уехал в Руан, где гастролировал Салливан, в компании супругов Жола и того самого сиамца Рене-Улисса, оказавшегося племянником короля Камбоджи. Зимний грипп бесчинствовал в зале, кашляли все, кроме неуязвимого Салливана — он пел в «Сигурде» Рейера. Посидев немного, Джойс заявил, что он болен; едва доехал домой, где выяснилось, что ему хуже, а утром он выбрался из

своей комнаты в квартире Леона и потребовал врача. В больнице не нашли ничего, кроме легких проблем с правым глазом. Нервы, сказали врачи. Джойс не согласился — менингит и алкогольное отравление. Но дома дочь кинулась его лечить, что доставило ему несказанное удовольствие. Приехала даже мисс Уивер, но ее больше всего заботило его пьянство, поэтому разговора не получилось; Поль Леон написал, что у больного «сильное раздражение сменяется бессильной яростью, а затем приступами слезливости». В апреле Джойс решил, что страдает от колита, сопровождающегося бессонницей. На вопросы о «Ходе работы» он просто отмахивался. Отчаяние не проходило.

В Цюрих он не мог ехать один, Нора должна была оставаться с Лючией, но их забрали с собой Гьедоны; 22 мая 1933 года все отправились в Цюрих. Джойсу удалось показаться Фогту дважды, и тот нашел, что левому глазу чуть лучше, правому чуть хуже — катаракта почти кальцинировалась, реакция на свет минимальная, сетчатка частично атрофировалась… Слепота или операция предположительно в сентябре — выбор был крайне шаткий, в чем откровенно признался Фогт. Луи Гилле вспоминает, что на осторожный вопрос о возможной потере зрения Джойс бесстрастно ответил:

— Глаза дают очень мало. Я создаю сотни миров, а теряю лишь один из них.

Десятая глава, которую он доделывал, возводила детский урок в историю мира, движение познания. В новом тексте она была самой трудной: сплетаются традиционные средневековые тривиум (грамматика, риторика, логика) и квадривиум (арифметика, музыка, геометрия, астрономия), то есть гуманитарное и естественное знание, и наряду с ними каббала, сплетающая в себе все эти начала и добавляющая к ним глубокую эзотерику. Она начиналась как аллегория-обзор Творения, описание нисхождения Духа в пространстве-времени, возникновение творящей Воли, зачинающей Вселенную, и из первооблика она становится возможностью, приобретает формы и наконец воплощается полностью. Человек воссоздается в своих первых диких вожделениях и запретах, и происходит это внизу в пабе Ирвикера. А на его высоких уровнях, в детской, складывается крохотная, но поразительно четкая модель Человеческой Комедии — с ней разбираются дети и наставник.

Июль Джойсам удалось провести вместе в Эвиан-ле-Бен, затем они уехали на месяц в Цюрих. Дикая сцена, устроенная Лючией на вокзале, все равно не убедила Джойса, что следует наконец довериться специалистам. Неохотно он дал согласие, и ее показали местному светилу доктору Гансу Майеру, главе

кафедры психиатрии Цюрихского университета и главному врачу крупнейшей лечебницы города. Он нашел у нее только невротические отклонения. По его совету Лючию направили в Нион, в санаторий «Ле Риве де Пранжин», возглавляемый еще одной знаменитостью — Оскаром Форелем, сыном прославленного психиатра Августа Фореля. Агрессивность ее к тому времени сменилась вялостью, проникнутой страхом, что родители начнут ссориться и бросят ее, и она старалась в их присутствии быть веселой и разговорчивой. Неделю спустя она впала в такую панику, что Джойс забрал ее, несмотря на уговоры Фореля-младшего, убежденного, что сможет справиться с ее состоянием психотерапией, гипнозом и тем, что сейчас называют арт-терапией. Труднее всех приходилось Норе — большая часть забот о дочери падала на нее, а враждебнее всех Лючия относилась именно к матери. Джойса умиляли стойкость и терпение жены, ее спокойное остроумие, но какой ценой она сохраняет его, он не слишком интересовался. Да и она не спорила с тем, как он распоряжается психическим здоровьем, вернее, нездоровьем дочери.

Когда они в сентябре возвращаются в Париж, то Лючия опять живет с ними под присмотром нанятой сиделки-компаньонки. Джойса укладывают в постель боли в желудке, снова объясняемые нервами, и лечат их соответственно — лауданумом. Неделю он читает через сложную оптику гранки книги Бадгена «Джеймс Джойс и создание „Улисса“», а Бадген и Гилберт помогают ему удержать длинные полосы, расползающиеся из-под рук. Книга ему понравилась: ведь Бадген работал в основном с тем материалом, который он сам ему давал и уточнял. Он удивлялся, что его давний друг, оказывается, так хорошо пишет, но относил это за счет своего влияния. Но и Джойс помогал Гилберту делать английский перевод «Лавровых деревьев» Дюжардена. Только Герберт Горман разочаровывал его: месяцами он не показывал Джойсу новых материалов, и тот в конце концов отозвал свою авторизацию.

Энергии и азарта ему добавляло новое судебное преследование. Окружной суд штата Нью-Йорк вел разбирательство по поводу обвинения «Улисса» в непристойности. Поверенный Джойса Моррис Л. Эрнст и его помощник Александер Линдли собрали множество писем и отзывов от педагогов, писателей, священников, бизнесменов и библиотекарей. Типографов в этом ряду нет: был учтен печальный опыт английских изданий «Дублинцев» и «Улисса». В деле цитировались оценки Стюарта Гилберта, профессионального юриста и судьи, Ребекки Уэст, Шейн Лесли, Арнольда Беннета,

Эдмунда Уилсона и многих других видных персон. Разумеется, аргумент, что стандарты пристойности и непристойности в 1933 году иные, чем тридцать лет назад, был использован сразу; говорилось, что «Улисс» — это уже классика, написанная для «просвещения и удовольствия», и он слишком сложен для «похотливого интереса». Процесс вел спокойный и вдумчивый судья Джон М. Вулси, терпеливо выслушавший все доводы. За лето он внимательно прочитал книгу и ознакомился с большей частью критики на нее, осень ушла на слушания, а в декабре огласил свое решение, удовлетворившее даже честолюбие Джойса красноречием и прекрасной литературной формой.

Вулси говорил, что Джойс намеревался показать «экран сознания» с его ясным передним планом и размытым фоном. Подобная задача требовала предельной откровенности, иначе автор не смог бы с ней достойно справиться. Да, текст «чувственен», однако он «честен», «искренен» и является «отчасти трагическим, но очень сильным толкованием внутренней жизни мужчин и женщин». «Мне совершенно ясно, что из-за нескольких сцен „Улисс“ — очень мощное усилие, для восприятия требующее чувственности, хотя и в пределах нормы личности. Но после долгих размышлений, по моему твердому мнению, хотя некоторые места „Улисса“ без сомнения могут вызвать у читателя тошноту, они нигде не пытаются быть афродизиаком. Таким образом, „Улисс“ может быть разрешен в Соединенных Штатах».

По телефону это решение было передано в «Рэндом хауз». Через десять минут линотиписты уже набирали книгу. Первая сотня экземпляров во избежание пиратства была отпечатана в январе 1934 года, а остальной тираж в любимом месяце Джойса, феврале. Кстати, в том же месяце был отменен знаменитый «сухой закон».

Новость о вердикте была сообщена Джойсу телеграммой и мгновенно разлетелась по Парижу. То и дело звонил телефон, друзья поздравляли Джойса, и наконец шум и суматоха настолько возбудили Лючию, что она перерезала провод. Репортеры терзали Поля Леона, а он вежливо отвечал: «Мистер Джойс находит, что судья не лишен чувства юмора». Сам Джойс отправил Керрану дюжину бутылок красного «Кло Сент-Патрис» урожая 1920 года, сопровождаемую телеграммой: «Так пала половина англоговорящего мира. Вторая последует за ней».

Психиатрам наконец разрешили заняться Лючией, но болезнь была непоправимо запущена. Ни семья, ни друзья уже не могли выдержать ее поведения, хотя Джойс иногда верил той нелепице, которую она ему рассказывала — например, о том, что все молодые люди, которые бывают в их доме, домогаются ее. И отец

закрыл перед ними двери. Даже перед земляком-дублинцем редкого благочестия и общеизвестного целомудрия, глубоко оскорбленным таким приемом. Но и это не помогло; в январе 1934 года она бежала из дома, и вернуть ее удалось совершенно по-детски, угрозой позвонить в полицию. Джойс отчаянно старался видеть в этом временную эксцентричность обычной молодой женщины и упрямо верил, что смена обстановки может в конце концов помочь. Он написал Станислаусу, что собирается приехать в Триест, но еще до ответа Лючия устроила драку на отцовском дне рождения — она бросилась на Нору и ударила ее по лицу.

Джойс сдался. Под надзором сестры-сиделки дочь отправили обратно в санаторий Фореля-младшего, где она поначалу оставалась апатичной и рассеянной, а потом вдруг заинтересовалась окружением и людьми. Но надежда отца на выздоровление снова была разбита ее дикими галлюцинациями, а затем несколькими попытками сбежать в Париж. Она пряталась в крестьянском амбаре, пыталась перейти границу, но попалась и была возвращена в «Ле Риве де Пранжин». Ей становилось все хуже, но Джойс упрямо и нелепо продолжал надеяться: «Говорят, она поправляется. Нужна Соломонова мудрость и богатство царицы Савской, чтобы заниматься этим…» К Юнгу он по-прежнему отказывался обращаться.

Подобие прежней парижской жизни стало налаживаться, когда Лючия оказалась в больнице. Хотя Джойс не отказывался от общения, Поль Леон допускал к нему далеко не всех, и это помогало восстановить интерес к «Поминкам…». Мисс Уивер по тону переписки, по отзывам знакомых сочла, что жизнь Джойса меняется к лучшему, но он уже пропустил консультацию, глазу становилось хуже, и работа снова остановилась. В марте она приехала ненадолго и, увидев Джойса, очень деликатно предложила ему наконец собраться, по-прежнему полагаясь на ее деньги и дружбу. А начать следует с глаз. Будучи в редком для него расположении духа, Джойс прислушался, и когда в апреле 1934 года Рене Байи, французский промышленник, женатый на ирландке из Голуэя, предложил отвезти их на автомобиле в Цюрих (через Монте-Карло и Невшатель), он согласился. Путешествие было печальным, потому что накануне на той же дороге погиб в аварии его старый друг и ученик Жорж Борак — 13-го, в Страстную пятницу…

Фогт подтвердил неизбежность двух операций на правом глазу и пообещал, что это улучшит прохождение света. До сентября Джойс хотел успеть написать и наконец отдать в печать новый кусок «Хода работы», девятую главу, или «Мим Мика, Ника

и нескольких Магги». В июне ее напечатало в Гааге издательство «Сервире пресс». Подготовить рукопись помогала мадам Рафаэль, интеллигентная женщина, которая разбирала его почти нечитаемые пометки и переписывала их огромными буквами. Она признавалась Джойсу, что надеется, что делает все правильно, хотя иногда чувствует себя тонущей в трясине — настолько мало она понимает. Джойс утешал ее, что она-то будет понимать текст лучше других, когда работа будет закончена. Возвращаясь в Париж, мадам Рафаэль выпала из автомобиля и проломила голову. Суеверный Джойс был потрясен: это был третий секретарь, получавший серьезную травму во время работы с ним. Он нанес ей визит, когда она чуть-чуть поправилась. Подержав руку на ее плече, Джойс внушительно произнес:

— Можете быть уверены, что с вами больше никогда ничего не случится…

Новый сюрприз преподнес Роберт Макэлмон, который говорил всем, кого знал, что закончил свою книгу «Рядом с гениями». Джойс попросил ознакомить его с той частью рукописи, где говорилось о нем, и автор несколько вечеров добросовестно читал вслух. Через несколько месяцев должна была появиться книга Бадгена, с текстом которой Джойс был преимущественно знаком, и ему было с чем сравнивать. Бадген писал о Джойсе-гуляке, Джойсе-эксцентрике, но главным было то, как во всем этом умещается Джойс-автор; Макэлмона интересовал Джойс пьющий и скандалящий. От друга можно было ожидать иного подхода, и Джойс не стал спорить с Макэлмоном, позже ядовито заметив, что это «месть посыльного». Вряд ли Роберт собирался мстить — наоборот, это была та непредвзятость, которая мешает осмыслить истинные размеры личности. Отношений с ним Джойс не порвал, но охлаждение было заметным и грустным.

Начались проблемы и у Джорджо. Хелен настаивала на переезде в Штаты, ближе к своей семье и друзьям. Ей казалось, что Джорджо станет-таки знаменитым певцом, а Америка представлялась лучшим для этого местом. Нора яростно противилась их отъезду, боясь, что расстанется с ними навсегда, Джойс не возражал, и в конце концов они в мае отплыли в Новый Свет. Переписка шла непрерывно, хотя легкость и юмор давались Джойсу нелегко. Особенно когда приходилось говорить о Лючии. Неожиданно помощницей стала Нора, хотя ей тоже непросто было заставить себя писать, но она создавала очень уютную картинку двух веселых старичков. Так она описывает свое новое вечернее платье:

«Джим подумал что спина уж очень декольте поэтому он решил что зашьет платье сзади можеш вообразить результат?

Конечно зашил он все криво. Так что мне пришлось распарывать снова. Я решила что лучше с голой спиной. Видел бы ты его сшивающего мою кожу с моим позвоночником».

Джойс писал Лючии за двоих — обычно на итальянском: «Дорогая Лючия, мама сегодня отправила тебе кое-какие платья. Как только придет список того, что тебе нужно, мы немедленно отправим твои вещи. В письме от 29-го списка не было. Насчет пишущей машинки — это большой расход, около четырех тысяч франков. Дома есть одна, и я сужу по последнему письму доктора Фореля, доставившего мне большую радость, что твое пребывание на чудных берегах Женевского озера теперь не затянется. (Дьявол побери лето! Духота затуманивает стекла моих очков, и я с трудом вижу, что пишу.) Но ты можешь взять машинку напрокат. В Женеве она, конечно, найдется.

В моем королевском дворце всегда чего-то не хватает. Теперь настала очередь чернил. Посылаю тебе программу индийского танцовщика Удая Шанкара. Если он будет выступать в Женеве, не пропусти. Он оставляет далеко позади лучших русских. Я такого никогда не видел. Он движется по сцене, как полубог. Поверь мне, в этом несчастном ветхом мире все же есть кое-что прекрасное.

Рад, что ты в хороших отношениях с голландским доктором, но не будет ли невежливо с моей стороны написать ему, если я уже переписываюсь с докторами Форелем и Хумбертом. Но если он напишет мне первым, я смогу ему ответить. (Святой Франциск Сальский, покровитель писателей, добавь чернил в мою чернильницу!)

Мама болтает по телефону с дамой сверху, которая так хорошо танцует уанстеп и выудила у меня тысячу лир в лифте. Предмет разговора — дама на пятом этаже, которая разводит собак. Эти „друзья человека“ мешают даме с четвертого этажа медитировать наподобие Будды. Теперь они закончили с богами и перешли ко мне.

В твоих письмах я вижу серьезное улучшение, но в то же время там есть печальная нота, которая нам не нравится. Почему ты всегда сидишь у окна? Конечно, это красивое зрелище, но девушка, гуляющая в полях, тоже прелестна.

Пиши нам чаще. И забудем денежные проблемы и черные мысли.

Ti abraccio,

Babbo[155], 15 июня 1934 года».

Всё венчала вечная проблема Джойса — поиск жилья. Но наконец он может написать мисс Уивер: «Мои сорок месяцев скитаний в пустыне должны подойти к концу…» Новая квартира

на рю Эдмон Валантэн, 7, у реки и недалеко от Эйфелевой башни. Пять комнат, телефон, отопление и лифт. Джойс, поручив Полю Леону присмотреть за отделкой и оборудованием, увез Нору в Бельгию, в Спа, и снова, несмотря на июль, в дурную погоду. Но были вещи и посерьезнее дождей: в Австрии с начала года шли бои шуцбундовцев с правительственными войсками, погибли сотни людей, а 25 июня нацисты, переодетые в форму армии и полиции, захватили резиденцию канцлера Дольфуса и радиоцентр. Дольфус был убит. Хотя мятеж подавили в тот же день, но стало ясно, что в мире появилась еще одна опасная сила. Несмотря на то что многих интеллигентов зачаровывала наглая мощь и самоуверенность фашизма, Джойс, как всегда, остался в стороне: демагогия, националистическая истерика и уж конечно антисемитизм вызывали у него отвращение, с которым он уже посчитался в «Циклопах». Он угадал по крайней мере одного будущего поклонника фашизма среди своих близких — Эзру Паунда.

Неприятности множились, сложно переплетаясь: в «Альбатрос пресс» потеряли оригиналы заставок-буквиц, нарисованных Лючией. В конце концов они нашлись, но Джойс опять едва не слег. Затем он потратил много сил на добывание материалов — дублинских журналов, иллюстрированных еженедельников, открыток 1904 года — для Анри Матисса, иллюстрирующего американское нумерованное издание «Улисса». Джойс боялся, что французский перевод сам по себе не передаст всего ирландского колорита. Но усилия пропали втуне; Матисс после долгих переговоров сделал рисунки как бы сквозь «Одиссею».

Кружным путем — через Бельгию, Люксембург, Мец и Нанси — Джойсы возвращаются к Лючии. Предчувствия у них самые скверные, и в конце августа они наконец добираются до Монтре, где в санатории происходит печальная встреча с доктором Форелем. Лючии стало хуже, к психическому расстройству прибавился сильно повышенный лейкоцитоз, что мгновенно возбудило подозрения на туберкулез. Свидание с ней прошло ужасно: приступы паники и страха, а затем она набросилась на врача и сестер, крича и пытаясь их бить. Те короткие периоды прояснения, которыми все перемежалось, делали встречу еще тяжелее. Джойсу казалось, что в этом есть какой-то смысл, переход на иные уровни мышления. Он с восторгом рассказывал, как она вдруг принялась уговаривать его начать курить трубку вместо папирос, и на следующий день в Женеве Джойс буквально уселся на хорошую дорогую трубку, забытую на скамейке. «Иногда у нее всеведение змия и кротость голубки», — писал он Джорджо.

После подробных бесед с врачами Лючию решено было перевести в клинику доктора Лоя для так называемого «свободного лечения»; но за день до этого она подожгла свою комнату в нескольких местах и едва не сгорела сама. Форель настоял на постоянном клиническом наблюдении. Джойсу пришлось поместить ее в «Бергольцли», знаменитую психиатрическую лечебницу в Цюрихе. Попутно ее должны были лечить специалисты по заболеваниям крови, что могло положительно сказаться и на психическом состоянии. Ее привезли туда в сентябре, она выглядела полностью владеющей собой, но профессор Майер заключил, что на самом деле никакой контакт пока невозможен. Он попытался расспросить ее, почему она устроила пожар в комнате, но Лючия не отвечала, хотя потом вдруг сказала сиделке, что у ее отца лицо красное, как огонь. Рассказы о «Бергольцли» она слышала с детства, и когда поняла, где находится, тревога ее стала расти. Но точно так же росли любовь и беспокойство Джойса — они с Норой каждый день приезжали и забирали ее на прогулку по городу. Он спорил с каждым словом в заключениях врачей. «Бедная девочка не вопящая безумица, она просто несчастный ребенок, попытавшийся сделать слишком много и понять слишком многое. Ее зависимость от меня теперь абсолютна, все привязанности, подавлявшиеся годами, ныне изливаются на нас обоих. Минерва направляет меня».

После «Бергольцли» ее надо было переводить куда-то для направленного лечения. Джойс несколько раз отмалчивался в ответ на настойчивое предложение Марии Жола показать Лючию Карлу Густаву Юнгу. Она говорила, что его критика «Улисса» не значит ничего по сравнению с теми чудесами, которые он творит как врач. Наконец Джойс согласился, что если он сам не хочет иметь ничего общего с Юнгом, то дочери он хочет только добра. Может быть, это последний шанс.

28 сентября 1934 года Лючию перевезли в Кюснахт, где в частном санатории доктора Бруннера практиковал Юнг — он должен был стать двадцатым врачом, консультировавшим ее. На удивление родителей, Лючия вошла с ним в контакт. Они говорили, она казалась спокойнее, чем прежде, охотнее ела и стала набирать вес. Она писала родителям милые письма на двух языках. Диагноз ставили очень осторожно, Юнг обронил несколько ободряющих слов, и Джойс, который уже был готов поверить, что дочь неизлечима, снова начал искать подтверждения надежде. В октябре Лючия написала ему письмо, на итальянском, и Юнг попросил его перевести. Там среди прочего было сказано (пунктуация и синтаксис сохраняются):

«Дорогой папа, у меня была слишком хорошая жизнь. Я испорчена. Вы оба должны простить меня. Надеюсь, что вы оба снова сюда приедете. Папа, если мне когда-нибудь взбредет фантазия увлечься кем-нибудь, клянусь тебе на главе Иисуса, это не потому, что я тебя не люблю. Не забывай об этом. Я прямо не понимаю что я пишу Папа. В „Пранжин“ я видела много художников, особенно женщин, которые показались мне ужасными истеричками. Неужели я становлюсь как они? Нет, лучше я буду продавать туфли, если это можно делать просто и правдиво. Кроме того, я не знаю, что для тебя значит все, что я пишу. Мне хотелось бы такой простой жизни, какая у меня сейчас, с садом, может быть, с собакой, но ведь никто никогда не бывает доволен, правда? Так много людей завидуют мне и маме, потому что ты такой хороший. Как жаль, что ты совсем не любишь Ирландию, это такая чудная страна, если судить по картинам, которые я видела, и по рассказам, которые слышала. Кто знает, какая судьба у нас впереди? В любом случае, несмотря на то, что жизнь кажется светлой этим вечером, тут, если я когда-нибудь отсюда выйду, „это будет страна, которая отчасти и твоя“ (трансформация цитаты из „Портрета…“ — А. К.) разве это не правда, папа? Видишь все еще пишу тебе глупости.

Посылаю вам обоим самые горячие приветы, и надеюсь, что вы никогда не опоздаете на поезд.

Лючия.

P. S. Почему бы вам не поужинать в том маленьком ресторанчике возле отеля „Аби Рояль“ куда мы заходили много лет назад?»

Джойс видел текст, который полностью укладывался в технику внутренней речи, в классический «поток сознания», но работы психиатров изобилуют подобными примерами разорванного мышления, неспособности следовать простейшим последовательностям изложения. Более того — он видел растущую способность к ясновидению и даже пророчеству. Мисс Уивер было рассказано о том, что есть люди, которые «пытаются отравить ее разум, направить против меня», что его можно считать идиотом, но он придает огромное значение тому, что Лючия говорит, особенно когда она говорит о себе. «Ее интуиция поразительна». Он упоминает людей, «изувечивших ее добрую и мягкую природу и теперь насмешливо улыбающихся ее репликам испорченного буржуазного дитяти», а ведь они с женой сотни раз были свидетелями ее ясновидения…

Первенец его пока был вполне благополучен. Сам Джон Маккормак помог Джорджо получить несколько ангажементов, два месяца он пел ирландские песни и арии Моцарта и

Чайковского в программах Эн-би-си, среди них любимые вещи отца — «Темный эль, светлый эль» и «Салли гарденс». Правда, ирландский выговор ему так и не дался, что его огорчало. Перед каждым концертом отец посылал ему ободряющую телеграмму: их забавляло, что они оба пели «Салли гарденс» на своем первом выступлении перед публикой и получили примерно одинаковый гонорар — Джойс две кроны, а Джорджо десять долларов. Они часто писали друг другу, но редко говорили о состоянии Лючии, не желая огорчать его и зная, что брат не верит в возможность ее выздоровления. Джойс не вмешивался в работу врачей, но оставался в Цюрихе месяцами, несмотря на расходы и ухудшавшееся здоровье, и отказывался верить, что известие о его приезде каждый раз оборачивается для нее срывами и паникой. Он с трудом выносил боли в желудке, у него началась тяжелая депрессия, не прекратившаяся даже при известии, что правительство США окончательно прекратило все процессы против «Улисса», заявив, что «искусство, разумеется, не может развиваться под давлением традиционных форм». Работать над книгой удавалось от случая к случаю. «Если впереди у нас есть что-то, кроме крушения, пусть кто-нибудь расскажет мне об этом», — писал он Бадгену осенью 1934-го.

Первые успехи Юнга не имели продолжения: Лючия замкнулась и от него. «Этот жирный швейцарский материалист не получит мою душу», — писала она. Отец, и только отец оставался единственным человеком, которому она доверяла, и его отсутствие так же взвинчивало ее, как и присутствие. Бедный разум ее жил чудовищными метаниями. То она рвалась удалять бледный шрам с подбородка, разбитого в детстве, и к ней привозили хирурга, но ей вдруг не нравилось его лицо и она сбегала с операционного стола. То она требовала, чтобы отец позавтракал с ней на Рождество, но не дотрагивалась ни до чего за столом. Джойс несколько раз говорил с Юнгом, который деликатно указывал ему на совершенно безумные строки в ее стихах и письмах, но Джойс отвечал ему, что это его предубеждение против новой литературы, а Лючия — непонятый новатор, что некоторые из ее слов-бумажников и неологизмов удивительны, хотя и бессистемны. Позже он скажет, что они с дочерью были как два человека, пытающихся найти дно реки: но один нырял, а другой тонул… Юнг считал их обоих классическим подтверждением своей теории «анимы», о «шизофреническом стиле, в котором не может говорить и мыслить обычный пациент, но Джойс повелевает им и развивает с такой творческой силой, которая объясняет, почему он сам не перешел границу. А его дочь делает это потому, что не наделена гением отца и просто остается

жертвой своего заболевания. В любое другое время работа Джойса не оказалась бы и близко от печатного станка, но в наш благословенный XX век — это послание, пусть еще непонятое».

Юнг не вызывал у Джойса особого доверия — человек, настолько не понявший «Улисса», вряд ли мог проникнуть в душу Лючии. Он решил перевезти Лючию из «Кюснахта», несмотря на уговоры доктора Бруннера, в частный пансион под присмотр сиделки. Юнг, как ни странно, одобрил решение Джойса. Он сказал Джойсу, что его дочь — случай не для психоанализа и что только отец может ей как-то помочь. Психоанализ же способен вызвать полное крушение личности, от которого она уже не оправится. Разумеется, Джойсу это польстило.

В пансионат «Вилла Элит» Лючию перевезла Эйлин Шаурек, к которой та пока благоволила, и какое-то время тетя оставалась с ней. Джойс уехал в Париж заниматься накопившимися делами. Мисс Уивер опрометчиво пригласила Лючию к себе в Лондон, где к тому же был в это время Беккет, и та зажглась этой идеей — ей казалось, что она войдет в разорванную метафизику отношений скрепляющим звеном, а после этого станет таким же звеном для отношения Ирландии к Джойсу. Эйлин взяла ее с собой в Лондон и оставалась с ней там несколько дней, чтобы убедиться, что Лючия справляется. Гарриет Уивер поначалу тоже восприняла дочь Джойса как существо подавленное, хотя и не все время, не всегда способное сосредоточиться, но явно не безумное. Когда она попросила свою тетю купить ей револьвер, та предложила купить два — на случай, если один даст осечку. Лючия захохотала и похлопала тетушку по спине. Растроганный Джойс прислал Лючии антикварный экземпляр «Вита Нуова» Данте как намек на начало новой жизни.

Но Эйлин было необходимо возвращаться в Брэй, и это известие опять растревожило Лючию. Эйлин она проводила, но за этим последовали дикие выходки, которые даже мужественную мисс Уивер откровенно испугали. Однажды Лючия исчезла на целую ночь. Затем она опять решила прооперировать свой подбородок и потребовала консультаций с врачами. Эйлин поспешила вернуться, но это ничего не дало: племянница становилась все неуправляемее. Однажды она выбежала на улицу неодетая (стоял февраль), заявив, что едет в Виндзор, и запрыгнула в автобус. Эйлин успела вскарабкаться следом и уже из отеля в Виндзоре позвонила мисс Уивер, попросив привезти одежду. Тем временем Лючия протелеграфировала мисс Уивер, что возвращается в Лондон, однако вернулась в отель. Когда Эйлин пришла к ней, в номере ее снова не оказалось. Джойс отнесся к этим происшествиям крайне спокойно, сказав, что это

пустяки по сравнению с тем, что Норе пришлось вытерпеть за последние три-четыре года. Эйлин уехала в Брэй и забрала Лючию с собой. Трудно представить, чем после этого мисс Уивер могла успокоить Джойса — ей куда больше было жаль Эйлин, но Джойс втянул ее-в обсуждение Лючии и все время настаивал на том, что она в здравом уме. Его жестоко раздражало, что дочь упоминают рядом с Эйлин, которую он считал «воспитанной как рабыня», и уж если упоминать ее рядом с кем-то, то лишь с ним, потому что он «тоже безумен». А дочь «очень часто ведет себя как идиотка, но разум ее так же ясен и беспощаден, как молния».

Даже неглупого и опытного Поля Леона, офицера Первой мировой войны, он сумел убедить в том, что Лючия сохраняет все качества здорового человека, в том числе юмор и наблюдательность, и нуждается в оценке с помощью другой логики, чем обыденная, нужно просто больше терпения и сострадания. Леон даже убеждал мисс Уивер, что Джойс скрывает ото всех постоянное напряжение и тревогу. Летом Филипп Супо был в Штатах и сообщил Джорджо с Хелен, что у Джойса очень плохо с желудком, настолько, что он потерял интерес ко всему — его состояние беспокоит всех. Если сын с невесткой не приедут, Джойс может серьезно заболеть. Поначалу они не слишком поверили в это, но пришли независимо друг от друга несколько других писем о том же. Сам Джойс весной 1934 года писал мисс Уивер: «Возможно, выживу я, возможно, это дикое безумие, что я сейчас пишу, возможно, все это очень смешно. Уверен я лишь в одном. Je suis bien triste»[156]. В другом письме: «Чувствую себя, как зверь, получивший в череп четыре сокрушительных удара дубиной. Но в письмах сыну и невестке сохраняю тон почти веселой безответственности». Отсутствие Лючии было тяжелым испытанием: при всех сложностях ее со стояния она была дополнительным основанием жестче контролировать ее и себя:

«Бывают минуты и даже часы, когда в моем сердце нет ничего, кроме ярости и отчаяния, ярости и отчаяния слепца. Со всех сторон я слышу, что я оказывал и оказываю на моих детей дурное влияние. Зачем мне просить их вернуться? Париж — спесивая развалина, похожая на меня, или, если угодно, разлагающийся кутила. Стоит мне включить радио, и я слышу, как британский политик мямлит чушь, а его немецкий кузен орет и вопит, как безумный. Возможно, Ирландия и США — безопасные места. А возможно, газ пустят именно там. Что ж, пусть так. Девиз под моим гербом — „Mors aut honorabilis vita“[157]».

С каждым днем его ярость и отчаяние становились все очевиднее.

— Говорят о моем влиянии на дочь, — слышала от него Мария Жола. — Но почему не говорят о ее влиянии на меня?..

Но что-то все же продолжало удерживать его в мире. Когда воры забрались в домик Эйлин и не нашли ничего достойного кражи, он написал ей, спрашивая: что может вор надеяться отыскать в доме любого из Джойсов? Он писал веселые письма дочери, рассказывая, что воры ожидали сокровищ, произведений искусства, сундуков золотых монет и драгоценностей, которые наверняка имелись в таком домишке. «Нет, видно, не перевелись еще идеалисты…» Лючия ладила со своими сестрами, Норой и Боженой, и им пока удавалось оберегать ее от серьезных травм. Однажды она едва не отравилась аспирином, в другой раз устроила костер из торфа прямо на полу. Избегая говорить об этом с тетей, Лючия писала ему, прося денег, устраивала истерики, обвиняя в нечуткости, и жаловалась на дурное обращение. Джойс попросил нескольких своих дублинских друзей, включая Майкла Хили, проверить, что происходит на самом деле. Ответы были тревожные: Лючия опять решила уехать — из Брэя в Голуэй к Кэтлин Барнакл; в Дублине на почте она случайно повстречала ее. Кэтлин обрадовалась Лючии, но ей самой надо было в клинику, ложиться на операцию. Потом Лючия снова сбежала, и дряхлый больной Майкл Хили, которому оставалось жить всего несколько месяцев, гонялся за ней по дублинским пригородам, пока ее сострадательно не задержала полиция. Тети Ева и Флоранс отправились выручать ее и были потрясены ее запущенным видом — грязная, одичалая, голодная, не понимающая, где находится. Но она сама попросила отвезти ее в приют, и Керран по просьбе Джойса помог. А в июле ее поместили под надзор в Фингласе.

Джойсу ее неприятности принесли новые недуги: он почти не спал, а когда засыпал, его мучили кошмары; он тонул и выпрыгивал из воды, как рыба, а днем его мучили слуховые галлюцинации, но врачи считали, что это просто расходившиеся нервы. Работать он теперь не мог; упросил Марию Жола съездить в Ирландию и узнать правду — что происходит с Лючией.

Она поехала и убедилась, что девушка в гибельном состоянии. Керран с женой помогли Марии увезти ее в Лондон, где мисс Уивер снова пришла на помощь. Лондонский хирург Уолтер Макдональд практиковал курс лечения, облегчавший состояние некоторых психически больных. Джойс, по-прежнему считавший, что у недуга Лючии происхождение органическое, уцепился за эту идею. Но после курса инъекций ей и в самом деле стало легче, и по совету врача мисс Уивер сняла для нее коттедж в Кингсвуде, 24 мили от Лондона, и увезла туда Лючию с

опытной медсестрой. Там ее, продержали до середины декабря, пока ее вымотанные родители приходили в себя в Фонтенбло под присмотром Герберта Гормана и его новой жены Клэр. В сентябре они уехали в Париж, куда все-таки возвращались Джорджо и Хелен.

Теперь мисс Уивер снова посылала Джойсу отчеты о состоянии Лючии. Она приходила в себя и даже начала писать ему, а он тут же предложил ей купить себе новую шубу: два чемодана с ее вещами пропали. Но желания Лючии менялись ежеминутно. Прежним оставалось одно — Джойс не выносил предположений, что она неизлечима. Только Джорджо мог говорить такое, не задевая его. Остальным, даже друзьям, это не позволялось.

Через месяц он опять попросил Марию Жола съездить и посмотреть. Многострадальную мисс Уивер он подозревал в том, что она смягчает факты, чтобы не волновать его. На самом деле она и медсестра изо всех сил старались избежать новых приступов и не отходили от Лючии, но деревенский воздух не помог. Со второго курса лечения она рвалась домой, и доктор Макдональд запросил разрешения родителей оставить ее, потому что она психически больна. Это было ошибкой. Джойс ответил, что не позволит распоряжаться своей дочерью какому-то англичанину, даже если он шотландец. Марии Жола опять пришлось ехать в Англию и забрать Лючию в Париж. Она собиралась оставить ее у себя в своем большом доме в Нейи, но уже в дороге поняла, что никакого улучшения на самом деле не было. В марте 1935 года, через три недели после возвращения, Лючию увезли из дома в смирительной рубашке. Врачи в клинике Ле Везине пришли к заключению, что она опасна и нуждается в специальном надзоре. Все, что смог Джойс, это поместить ее в заведение покомфортабельнее: с апреля ее содержали в приюте для душевнобольных в Иври. Поначалу тамошний главный врач, доктор Ашиль Дельма, решил, что у нее циклотимия, хроническое расстройство настроения, но личность не разрушена и ее можно лечить. Джойс приезжал к ней, писал ей, настойчиво твердил, что придет день, когда она выздоровеет.

Она не выздоровела больше никогда. А он так и не перешел ту самую границу.

Глава тридцать пятая МЭТР, МАЭСТРО, МАСТЕР

And near the narrow graves calling
my child and me…[158]

На лечение и капризы Лючии ее отец тратил три четверти своего дохода, и этого положения не изменили даже крупные выплаты за американское издание «Улисса». Расходы росли, а за последние два года особенно резко; он продал б***о***льшую часть своих акций, не считаясь с низкими ценами. «Когда они кончатся, — говорил он Леону, — я снова буду давать уроки». Мучимый тревогой за Лючию, он изменил своим обещаниям и напивался так, что Нора в бешенстве угрожала уйти от него и даже несколько раз переезжала в отель, хотя и ненадолго. На следующий день делегация добрых друзей приезжала с букетом роз умолять ее вернуться. В конце концов она уступала, несколько дней Джойс пил умеренно, потом опять срывался. Одному он все же не изменял: ночные загулы сменялись лихорадочной дневной работой над рукописью. Жуткий почерк, гигантские буквы на огромных листах, лупы и очки.

Джорджо перенапряг связки на американских концертах, требовалась операция, Хелен тоже болела. Джойс то страдал вместе с домашними, как Блум, то вдруг полностью отстранялся от всего, как Стивен Дедалус, и на изумление окружающим был легок и весел; чаще всего это требовалось для той части «Поминок…», над которой он в данное время работал.

Лючии в Иври не становилось лучше. Джойс решил издать ее рисунки к Чосеровой азбуке в подарок ко дню рождения, 26 июня. Одно из самых приличных его писем этой поры — красноречивое описание этого проекта, сочетающееся с горестными описаниями положения Лючии. Под конец он опять срывается: «Мне представляется, что будь вы там, где сейчас она, и чувствуй вы то, что должна она, возможно, вы ощущали бы надежду, если бы понимали, что не заброшены и не забыты». Гарриет немедленно предложила долю в расходах на издание, но Джойс набросал список предполагаемых подписчиков и дал понять, что те, кто не подпишутся, перестанут считаться его друзьями. Выпавшие были. С ними Джойс порвал отношения.

Книгу издали в июле 1936 года; больше ничего Джойс сделать не мог. Боясь, что Лючия может отреагировать истерикой, если ее не возьмут, они с Норой тайком уехали в Данию. Ему

давно хотелось увидеть и ощутить Скандинавию — отчасти из-за всегдашней любви к Ибсену, отчасти потому, что он придумал Ирвикеру скандинавское родство и нужны были детали. Кроме того, шведы уже начали переводить его книги, поэтому он хотел переговорить и с датчанами, заинтересовавшимися «Улиссом». Через Льеж и Гамбург они отправились в Копенгаген. Там, тихо и незаметно поселившись в отеле «Турист», Джойс принялся изучать датский. Инкогнито сохранить, разумеется, удавалось недолго, и когда он заказал в книжном магазине доставку нескольких книг, владелец тут же узнал его и радостно известил, что «Улисс» отлично продается. Джойс не успел обрадоваться, как ему с тем же восторгом сообщили, что «Любовник леди Чаттерлей» продается еще лучше.

Книготорговец познакомил его с Томом Кристенсеном, датским писателем, рецензировавшим в 1931 году «Улисса», и Джойс поразил Тома своим беглым датским — правда, с триестинской интонацией. Разговор, естественно, перешел на роман, и Джойс спросил, не хочет ли Том перевести книгу. Тот жизнерадостно ответил:

— Конечно! Дайте мне десять лет!

Переводчицей должна была стать госпожа Кастор-Хансен, и Джойс немедленно потребовал ее телефон, а когда их соединили, отчеканил:

— Я Джеймс Джойс. Я понял так, что вы будете переводить «Улисса», и прибыл из Парижа сказать вам, чтобы вы не меняли ни единого слова.

Госпоже Кастор-Хансен и не пришлось этого делать; она не смогла заняться «Улиссом», и отличный перевод полковника Могенса Бойзена был издан уже после смерти Джойса.

Одновременно с каникулами ему пришлось вычитывать гранки английского издания, запланированного Джоном Лэйном на 3 октября 1936 года. Все трудности меркли перед фактом, что он все-таки победил, пусть на это ушло двадцать лет и неизмеримое количество сил и здоровья. Кристенсен приводит реплику Джойса: «Война между мной и Англией окончена; я победил». Но его самые желчные замечания касались того, как это воспримут ирландцы. Карл Фрис-Меллер, поэт, критик и переводчик Элиота, пересказал Джойсу слова Йетса после присуждения ему Нобелевской премии в 1923 году: «Разве не примечательно, что Джойс, не бывавший в Дублине с ранней молодости, пишет лишь о Дублине?» Джойс, выслушавший его, ответил: «Я никогда не вернусь в Дублин».

Кристенсен очень развеселил его, когда рассказывал, как читал «Улисса» в Риге, куда бежал от несчастной любви. «Надо

быть изгнанником, чтобы меня понять, — подтвердил Джойс, — Стюарт Гилберт торчал в Бирме, читая мой роман». На многочисленные вопросы о символике «Улисса» Джойс отвечал уклончиво: «Может быть» — или вообще отмалчивался. Ему явно не хотелось ничего объяснять. Даже на вопрос о «Новой науке» Вико он ответил, что не верит ни в какую науку, но его воображение начинает работать при чтении Вико, чего не дают тексты Фрейда или Юнга… Точно так же он уклонялся от разъяснений пун в «Ходе работы», хотя весело обсуждал рассказ о портном и норвежском капитане. Взамен он попросил прислать ему книги Кристенсена и Фрис-Меллера и прочитал их с немалым интересом, особенно роман Кристенсена, во многом повторявший «Портрет…».

Джойса много интервьюировали, и при всей своей нелюбви к журналистам он говорил с ними. Одно из интервью оказалось намного более подробным и длинным — Оле Виндинг сумел пробить его броню, — но вышло только после кончины Джойса. Журналист был поражен очень хорошим датским языком писателя, и Джойс серьезно ответил, что после захвата викингами Дублина в нем наверняка течет немного датской крови… Он читал Гуннара Хейберга так же внимательно, как Ибсена, а на неизбежный вопрос об Ибсене сказал, что ставит его выше очень многих, что он мастерски выстраивал сюжеты и не воспользовался ни единым лишним словом. Ибсен на «голову с плечами» выше Шекспира в том, как строится драма. Ему никто не ровня. Он обновляется в каждом поколении и будет обновляться. Каждое время будет открывать в его проблемах свои.

Возникло подобие дружбы. Оле Виндинг возил их с Норой по Копенгагену и, разумеется, в Эльсинор. Закапал дождь, и Джойс упрекнул Нору, что она не взяла зонт, а жена ответила ему точной цитатой из нечитаного романа мужа: «Ненавижу зонтики». Виндинг шутки ради согласился, что зонтики комичны, а Джойс, вдруг развеселившись, заявил, что зонтики королевски величавы (Ирвикер, кстати, всюду носит зонтик) и что его друг, молодой член королевской семьи Камбоджи, который живет в Париже, говорил о своем отце, которому в силу высокого ранга положено семь зонтиков, один над другим, а ему пока только шесть. Зонтик — это высокое отличие.

Литература тоже было затронута. На вопрос о Габриеле Д’Аннунцио Джойс коротко ответил: «Когда-то он был великолепным поэтом». Естественным образом прозвучал вопрос: «Вам нравится Италия при Муссолини?» Джойс пожал плечами: «Конечно. Сейчас — как и всегда. Италия есть Италия. Не любить ее из-за Муссолини было бы так же нелепо, как ненавидеть

Англию из-за Генриха Восьмого».

Про входившего в моду Хемингуэя Джойс сказал: «Мы были знакомы еще до того, как он уехал в Африку. Он пообещал нам живого льва. К счастью, не привез. Но вот книгу, которую он написал, нам бы хотелось. Хемингуэй — хороший писатель. Он пишет, как живет. Он нам нравится. Он здоровый, крепкий крестьянин, сильный, как буйвол. Спортсмен. Готов сам жить той жизнью, которую описывает. Он бы никогда не написал этого, если бы его тело ему не позволило. Но здоровяки такого типа обычно по-настоящему скромны; за оболочкой Хемингуэя прячется больше, чем знают остальные».

«Тайм» в 1954 году опубликует интервью с Хемингуэем, где он расскажет:

«В одном из тех случайных разговоров, которые ведутся за выпивкой, Джойс сказал мне, что опасается, что его проза слишком городская и что ему, наверное, следует поездить и увидеть мир. Он боялся некоторых вещей, молний и прочего, но был замечательным мужчиной. Его тяготило многое — жена, работа, зрение. Жена как раз была с нами и сказала, да, твоя проза слишком городская, Джиму не помешало бы поохотиться на львов. Мы пошли выпить, и Джойс ввязался в драку. Он не мог даже разглядеть того парня, и потому кричал: „Задай ему, Хемингуэй! Врежь ему!“».

Следующим, разумеется, был Юджин О’Нил, о котором Джойс не захотел говорить; сказал только, что его драматургия совершенно ирландская. С куда большей охотой он высказывался об Андре Жиде: ему очень нравились «Пасторальная симфония» и «Подземелья Ватикана», которые он считал восхитительными. Но он рассказывал, что Жид — коммунист и что некоторое время назад молодой человек по имени Арман Птижан, шестнадцатилетний, как Рембо, взялся писать большое исследование по «Ходу работы» и закончил его задолго до того, как был завершен исследуемый текст!.. Сейчас ему двадцать. За время изучения предмета Птижан якобы стал преданным поклонником Джойса и спросил у Жида, что будет с Джойсом, когда во Франции победит коммунизм. Жид якобы поразмышлял некоторое время, а затем ответил: «Мы разрешим ему остаться».

«Ход работы» Виндинг читал, хотя и не целиком. Джойс говорил не столько о книге, сколько о том, что ему стоило и значило написать ее. С 1922 года, когда он стал с ней жить, никакой нормальной жизни больше не было. Она требовала чудовищного расхода энергии: «Моя книга была для меня большей реальностью, чем сама реальность. Все вливалось в нее. Все, что было вне ее, было неодолимой трудностью: даже

утреннее бритье, к примеру. Любые нападки на книгу, любые попытки защитить ее были ничем по сравнению с тем, что давала работа над ней. Между персонажами двух книг никакой связи нет. В „Ходе работы“ отсутствуют характеры. Это же как сон. Стиль тоже иной, он нереалистичен. Здесь мир сна. Если запомнился герой, это чаще всего старик или андрогин. Однако и его связь с реальностью очень слаба». Виндингу он сказал (это было в начале сентября 1936-го), что написать осталось совсем немного. Три четверти книги уже готовы, теперь работа пойдет быстрее.

В Копенгагене Джойсу нравилось — ритуал развода караула, неспешные прохожие, нарядные почтальоны. Дворцы впечатляли его меньше, чем крестьянские фермы, чистые, основательные, с сытым и ухоженным скотом. «Коппелия» Делиба в Королевском театре показалась ему лучшим спектаклем, который они с Норой видели. Джойс решил на следующую весну переселиться в Копенгаген и пожить там, а может, и остаться.

Но в Цюрих приехал Станислаус, по непонятной причине высланный фашистами из Италии, и Джойсу пришлось из Парижа сразу ехать туда; у брата не было ни денег, ни работы, он пытался найти ее в Швейцарии, и Джеймс попросил о помощи швейцарских друзей. Нашлось прилично оплачиваемое место школьного учителя, но очень высоко в горах, в Цугерберге, крошечном унылом городишке. Станислаус решил рискнуть и вернуться в Триест. Никаких разговоров о политике Джойс не потерпел: стиль его прозы не захотел обсуждать Станислаус. Но расстались они дружески. Риск оправдался. После многих проволочек Джойсу-младшему вернули должность в университете, где он и проработал до самого начала войны.

Светская жизнь Джойса в Париже сильно съежилась; он почти не виделся даже с Сильвией Бич. Магазин его больше не привлекал, пусть там и бывали люди, которым он был интересен, однако они были для него всё безразличнее. Сражаясь за Салливана, Джойс встречался и завязывал отношения со многими людьми, но к 1936 году их почти не осталось. Да и Салливан перестал восхищать его, как прежде, — голос его становился все зауряднее, терял свой божественный звон. Общение практически ограничивалось людьми, которых Джойс знал еще с 1920-х годов, а то и раньше. Но среди них оставались Поль Леон и его жена Люси Понизовская. Официально он не был никем, отказывался получать жалованье за огромную работу, но случалось, писал не только под диктовку, но и ответы за Джойса. Джойс благосклонно принимал его шутливую преданность. Когда у Леона случился тяжелый приступ астмы, он прислал ему корзину фруктов с

запиской: «Надеюсь, фрукты приемлемы для вашей инвалидности. Дж. Дж.». Экземпляр «Поминок по Финнегану» был надписан так:

«Тому самому евразийскому рыцарю, Полю Леону, с тысячью и одной благодарностью от того самого многострадального писателя Джеймса Джойса.

Париж, 4 мая 1939 года».

Горману он продиктовал уже всерьез: «За последний десяток лет, в болезни или здравии, ночью или днем он (Поль Леон. — А. К.) был абсолютно бескорыстным и преданным другом, и то, что я сделал, я никогда бы не смог сделать без его помощи».

Круг друзей Джойса в основном исчерпывался Гилбертами, Жола, Беккетом; время от времени туда попадали Рене Байи и его жена-ирландка, Филипп Супо, Нино Франк и, разумеется, Салливан. Почти все они прошли через испытания — Джойсу приходилось помогать все время. Супо вспоминал, что гостю обязательно задавался вежливый вопрос, какой дорогой тот будет возвращаться; при любом маршруте визитеру находилось попутное поручение — купить книгу, позвонить, вычитать гранки, уточнить цитату, что-нибудь найти. Нора говорила, что, если бы сам Господь сошел с небес, и ему Джойс нашел бы поручение. Но и он был внимателен ко всем. Знал и помнил все дни рождения и годовщины, хотя смертельно обижался, когда не поздравляли его — упрекал даже Лючию. Заболевших он регулярно обзванивал, подробно справляясь об их самочувствии. Детям он дарил игрушки, а смерть третьего ребенка Жола была для него тяжелым личным потрясением.

Джойс почти не выходил из дому один: в театр и рестораны его чаще всего водили Супо и Гилберты. Театр для него теперь означал несложные комедии в «Пале-Рояль»; он с удовольствием хохотал, сидя в первом ряду, откуда мог что-то видеть. Беккету он пересказывал эпизод, где человек в ресторане пробует суп, а официант подает реплику: «Похоже на дождь», на что следует ответ: «И вкус такой же…» Нино Франк водил его в кино или в оперетту, где он слушал музыку дублинской юности. Его забавляли шансонетки Мориса Шевалье, особенно тексты с игрой слов и жеманными намеками. Все это изумляло друзей, особенно помнивших его с юности. Он словно бы уходил все дальше от себя прежнего или куда-то, куда им не было доступа. Когда фрау Гьедон познакомила его с Ле Корбюзье, восхищавшимся «Улиссом», они проговорили почти час о попугаях Джойса, а потом архитектор сказал, что Джойс чудесен: «Я словно разговаривал с птицей».

Нино Франк одно время бывал с Джойсом больше, чем

остальные, — Джойс предложил ему перевести «Анну Ливию Плюрабель» на итальянский. Основание было сформулировано крайне интересно: «Следует сделать это, пока жив хоть один человек, понимающий, что я пишу, — это я сам. Однако я не гарантирую, что через два-три года я все еще буду в состоянии это делать». Очевидно, имелось в виду понимание. Франк пытался доказывать, что итальянский язык не подходит для пун, что невозможно перевести эту главу на итальянский, но не преуспел; дважды в неделю они сидели над текстом, и Джойс работал над звучностью, ритмом, словесной игрой, а Франк пытался отстаивать смысл, которым Джойс нередко пренебрегал. Франк напомнил ему о сонете Петрарки, где перечисляются итальянские реки, и Джойс немедленно принялся строить текст вокруг него, хотя и с другими названиями. Итальянскому он почему-то благоволил; английский ритм уступал место итальянскому.

Появился еще один переводчик, Жорж Пелорсен, которого Жан Пулен попросил перевести для журнала «Мезюр» сборник «Яблоки по пенни». Джойс даже подружился с ним, но неумолимо требовал искать точнейшую эквиритмию при переводе. На все возражения Пелорсена Джойс отвечал печальными вздохами. Несколько раз Джойс вытягивал Пелорсена на прогулки с непредсказуемыми результатами: однажды потащил его в Нотр-Дам слушать проповедь. Священника звали отец Пинар; также называлось дешевое красное вино, и Джойса это страшно забавляло. Он тут же сочинил на арго сочный лимерик, затем гимн дешевому красному на старофранцузском и принялся громко его распевать. Визит в собор окончился почему-то за полночь в бистро.

Особые отношения связывали Джойса с Беккетом, несмотря на тягостную память о его роли в жизни Лючии. Хотя на присланную ему рукопись «Мэрфи» Джойс отозвался ехидным лимериком, но впоследствии поразил автора, цитируя по памяти большой кусок, почти целый эпизод. Беккет, правда, ответил ему таким же ехидным акростихом. Текст его балансирует между пародией и любовью, по-джойсовски перемешивая несколько языков и игру слов. Большинство биографов трудолюбиво переводят и пересказывают его на современном английском, но Беккет главным образом любовно-иронически обыгрывает там девиз Стивена Дедалуса «Молчание, изгнание, мастерство».

Они на диво мало говорили о литературе — Джойс со все большим отвращением относился к таким беседам. Немногим, что он еще отстаивал и о чем спорил, были «Поминки по Финнегану». Одной посетительнице, которую он почему-то

принял, Джойс даже прочел отрывок из книги, на что она с удивлением сказала: «Но это же не литература!» «Это была литература», — ответил Джойс, имея в виду то, что она слушала его чтение. Он много раз повторял, что его слово вернулось к музыке и именно так его следует воспринимать. «Одному Богу известно, что означает моя проза. Но она приятна уху». Другой английский гость сказал, что его текст — смесь музыки и прозы. На что Джойс строго ответил: «Это чистая музыка».

Тогда же прозвучал знаменитый вопрос: «Почему вы написали книгу таким образом?»

Не менее знаменитый ответ последовал мгновенно:

«Чтобы следующие триста лет критикам было чем заняться».

Максу Истмену Джойс говорил: «Я требую от своего читателя посвятить моим текстам всю свою жизнь». В шутку и всерьез он ищет идеального читателя «Поминок…» среди «страдающих идеальной бессонницей».

С первых написанных им строк Джойсу приходится воевать за свое видение мира, свой способ отражения, за темы и сюжеты. Все добивались простоты — Джойс отстаивает сложность. Все воспевают уникальность — Джойс ищет и находит все, что говорит о вечном круговороте лиц и положений. Нераздельность формы и содержания с ритмом и звуком, то, что выстраивает зрелую поэзию Элиота в замечательное творческое явление, Джойс отыскал и воссоздал в прозе намного раньше. Та деформация языка, которую предпринял он, описывая ночное бытие личности, мир сна и все его преображения, служила идее Джойса об истории, отбрасывающей тень, где события оборачиваются своими же комичными отражениями. Бороться приходилось и за нее. Книга подходила к концу, и это помогало Джойсу выстоять: бросать работу было нельзя.

Но фигурой мирового масштаба он все равно оставался. В 1938 году, пусть ненадолго, в его жизни появилась немецкая политэмигрантка Гизела Фройнд, социолог, искусствовед и фотограф, ученица Адорно, Мангейма и Норберта Элиаса. При Гитлере ей пришлось вместе с семьей эмигрировать во Францию из-за еврейского происхождения и социалистических симпатий. Там она занималась историей искусства, снимала и писала, ее фото проиллюстрировали ее же очерки о Северной Англии и потомках знатных английских родов. Гизела Фройнд сотрудничала со многими европейскими журналами, но наиболее известными ее работами стали снимки литературных знаменитостей Франции, Англии и Америки.

С Джойсом, которого она к тому времени знала и глубоко почитала, молодую немку познакомила Адриенн Монье,

поселившая ее в своем доме и, по некоторым данным, ставшая ее любовницей. Идея отснять и Джойса возникла сама собой. Сильвия Бич и Адриенн, в сущности, ввели Фройнд в обширный круг знакомых писателей, поэтов и критиков. Они же уговорили Джойса, панически боявшегося фотовспышек и прожекторов, неизбежных при работе с низкочувствительной тогда цветной пленкой. Больные глаза могли не выдержать такой нагрузки. Неохотно сдавшись их обещаниям сделать все щадящим образом, Джойс принял Фройнд и компанию еще в квартире на рю Эдмон Валантэн. С собой они привезли маленький проектор, складной экран и коробку тщательно отобранных цветных и черно-белых слайдов. Норе, которая тоже без особого энтузиазма отнеслась к этой фотосессии, было клятвенно обещано, что Джойса не задержат и не переутомят. Усадив его как можно ближе к экрану, ему показали современников — Роллана, Колетт, Арагона, Монтерлана, Валери, Жида и многих других. Больше часа Джойс вглядывался в них, иногда трогал и обводил пальцем изображения, но не сказал ничего. Лишь глубоко вздыхал, явно волнуясь.

Свет выключили. Джойс помолчал и сказал:

— Они великолепны. Когда вы хотите снимать меня? Разумеется, не в цвете. Мои глаза этого не выдержат.

Перехватив инициативу, он повел себя как опытный продюсер — усадил всех за стол и помог набросать план фотосессии «Джеймс Джойс в Париже». В сущности, снимки должны были стать частью рекламной кампании «Поминок по Финнегану» и центром становилась книга. Эжен Жола был приглашен на следующий день, чтобы участвовать в съемках в качестве персонажа снимка, где они с Джойсом работают над корректурой «Поминок…». Потом Джойс предложил серию снимков на фоне интерьера «Шекспира и компании» и с присутствием Адриенн. Но это вряд ли был приступ великодушия: Джойс прекрасно знал, что английские и американские читатели связывают их с Сильвией имена — ведь это она бесстрашно издала «Улисса» в 1922 году, а французы помнят, что французский перевод выпустила Адриенн Монье. Нелишне было еще раз напомнить, что он издается, несмотря ни на что, и что он автор великой книги. А для ублажения общественной морали, которую наверняка должно было потревожить воспоминание о скандале вокруг «безнравственного» Джойса, решено было завершить сессию домашними снимками Джойса-патриарха, отца семейства, в окружении жены, сына и внука — Гизела назвала это «человеческим миром большого писателя, практически скрытого дымовой завесой эрудированной литературной критики».

Из всей работы, проделанной тогда, в мае 1938-го, осталось пять снимков, ставших теперь классикой иконографии Джойса и вообще классикой. Хотя Джойс был сущим наказанием для художников, он оказался идеальным натурщиком для фотографа: терпелив, внимателен, артистичен и добивался наилучших возможных результатов. С той же целью он настоял, чтобы Гизела уничтожила пять или шесть снимков, показавшихся ему неудачными. Всего, по воспоминаниям Фройнд, их было больше сотни, она сама отобрала дюжину, которую хотела продать, но Джойс оставил от нее половину.

На июньской конференции ПЕН-клуба в Париже он произносит короткую речь о пиратстве и о решении, принятом американским судом, по которому — и это сделано независимо от Бернской конвенции — автор не может быть отлучен от прав на свое произведение. Джойс всегда настаивал, что дело «Улисса» есть прецедент международного права, но все обошлось корректным прослушиванием, занесением в протокол и полным отсутствием обсуждений. Когда Нэнси Кьюнард попыталась добиться от него ответов на анкету о его отношении к гражданской войне в Испании, Джойс ответил, что это политика, и что политика сейчас лезет во всё, и что в уставе ПЕН-клуба написано, что там политика никогда не будет обсуждаться, а вместо этого на официальных обедах клуба произносятся политические речи, ведутся споры, зачитываются политические статьи, вместо того, чтобы говорить о защите интересов писателя, и что лучше отошлет ей свой комментарий по этому поводу — для опубликования. Затем рассерженный Джойс отправился обедать (читай: хорошенько выпить) с издателем Беном Хюбшем и австрийским поэтом и прозаиком Францем Верфелем. В разговоре выяснилось, что жовиальный здоровяк Верфель переводил на немецкий либретто нескольких опер Верди, Джойс повеселел и погрузился в любимую тему.

Несколько дней спустя всплыл повод съездить в любимую и проклятую Ирландию. Кэтлин, сестра Норы, вышла замуж и прислала им «ломоть слегка зачерствевшего, но вполне годного для поединка свадебного пирога» и серебряную туфельку-пепельницу для Джойса. Звал Джойса и Керран, однако тот не собирался отныне приближаться к родине ближе острова Мэн. Он решил во что бы то ни стало закончить «Поминки по Финнегану», работая по шестнадцать часов в сутки, пусть даже «каждый день по-разному я шагаю по улицам Дублина и вдоль набережной. И слушаю голоса…». Когда миссис Шихи-Скеффингтон спросила его, почему он не вернется, Джойс ответил: «А разве я уезжал?..» Но поехал он с Норой в Швейцарию — очевидно, управляемая

ностальгия была полезнее «auld lang syne»[159]. Кто-то прислал ему три билета на прогулочный пароход «Джон Джойс», отходящий от Дун-Логайра, старинного города-порта неподалеку от Дублина, он страшно обрадовался и даже засобирался, но в регистре Ллойда такого судна не оказалось — погрустневший Джойс несколько раз проверял это. Остроумный, но жестокий розыгрыш.

Август всего в полугоде от любимого февраля, и Джойс усиленно пытается закончить книгу, работая буквально днем и ночью. Герберта Гормана он просил не выпускать свою биографию раньше марта 1938 года, чтобы публикация усилила интерес к роману, и Горман, которого уже теребили издатели из «Фаррар энд Райнхарт», неохотно согласился, публично поклявшись, что никогда больше не будет писать биографий живых персонажей.

Снова возникли семейные проблемы: Джорджо с Хелен уехали обратно в Америку, и Джойс очень тосковал по сыну и внуку, требовал, чтобы ему точно сказали, когда они вернутся, и наполовину в шутку собирался ехать на Азорские острова — перехватить их там и конвоировать назад во Францию. Пришлось съездить и в Цюрих, к доктору Фогту, который заверил его, что пока беспокоиться не о чем, но работу пришлось отложить, и теперь Джойс выбрал новую дату — 4 июля, день рождения отца. Издатели уговаривали его сменить ее, потому что летний отдых и праздник не самый лучший выбор, но Джойс надменно ответил, что его имя достаточная гарантия интереса. Затем его воистину умоляли дать им название книги, но он также надменно заявил, что назовет его за три дня до того, как книга уйдет к переплетчику, и ни днем раньше. Название он уже давно выбрал, но его знала только Нора.

Он стал охотно пояснять друзьям и знакомым все пуны и словесные игры в «Ходе работы», разумеется, из уже изданных кусков. И наконец дошел до названия. «Фабер энд Фабер», само собой, пока ничего не знали, но Гилберты, Горман, Беккет, Леон и супруги Жола уже вошли в игру: Джойс предложил им угадать, каким будет титул, а победителю обещана была тысяча франков. Не угадал никто, как и Гарриет Уивер. На летней террасе ресторана Фуке Джойс после нескольких бутылок рислинга открыл второй тур, Нора вдруг принялась распевать ирландскую песенку про мистера Фланнигана и мистера Шэннигана. Встревоженный Джойс попытался урезонить ее, но потом понял, что это не слишком понятная подсказка, и сам принялся отчетливо артикулировать F и W. И тут Мария Жола воскликнула: «Fairy's Wake!»[160] — «Браво! — зааплодировал Джойс. — Но кое-

чего не хватает!» Мария и Эжен несколько дней перебирали варианты, и вдруг утром 2 августа совершенно сказочным образом Эжен проснулся с твердой уверенностью, что название — «Поминки по Финнегану»…

Вечером они ужинали с Джойсами, и он как бы между прочим произнес эти слова.

Джойс побледнел. Медленно поставил стакан, уже поднесенный к губам.

— Жола, вы меня обобрали… — печально сказал он. А потом вдруг развеселился.

«Когда мы расставались, он обнял меня, станцевал несколько искусных па и спросил: „Как вы желаете получить деньги?“ Я ответил: „Монетами по одному су“. На следующее утро Джойс явился ко мне, с мешком десятифранковых монет и уговорил нашу дочь выложить их мне за завтраком. Но он взял с меня клятву хранить все в секрете, пока он не поставит точку, а ее пока нет».

Точки не было, но были постраничные гранки первой книги, гранки второй без тридцати-сорока страниц, а эти страницы были уже в машинописи и готовы к печати. Как ни пытался Джойс не думать ни о чем, кроме завершения книги, но жизнь беспощадно вмешивалась. Немецкий и итальянский переводы «Анны Ливии Плюрабель» были отложены — фашисты были ревностными поборниками высокой нравственности, — а в советской России Джойса все чаще причисляли к формалистам и антигуманистам. Он старался хотя бы не тратить время на публичные мероприятия, избегал дискуссий о нацизме, но очень давно уже презрительно именовал Германию «Гитлерланд» и не выносил ни малейших намеков на харизму и политический талант фюрера; когда об этом заговорил Леон, это едва не кончилось скандалом. Тем не менее Джойс даже тут исповедовал беспристрастность. Он считал Гитлера феноменом — увлечь за собой целый народ! Когда Беккет рассказал ему о наиболее омерзительных случаях преследования немецких евреев, Джойс пожал плечами и напомнил ему о том, что делали с евреями в других европейских странах. Участвовать в левых и социалистических журналах он тоже отказывался. Когда писатель и лектор Жак Меркантон предложил ему напечататься в «Масс унд верк», антифашистском журнале Томаса Манна, Джойс, поколебавшись, отказался. Немалую роль в этом играло его желание избежать запрета новой книги в любой стране, чувствительной к политическим мотивам.

Однако Джойс прекрасно понимал, что происходит в мире. Его реплика Беккету по поводу антисемитизма уравновешивалась его же замечанием о «предрассудке, которым пытаются

доказывать что угодно». Студент из Гарварда, написавший хвалебное письмо об «Улиссе», упрекнул его в насмешливом изображении Блума; Джойс ответил, что писал с ощущением величайшей симпатии к евреям. Кроме этого, «Улисс» как немногие из романов литературы XX века развенчивает само понятие власти и диктатуры на любом уровне, от семьи и церкви до школы и мира. Отгораживаться от политики можно было как угодно, а вот отказать людям, спасающимся от нацистов, в личной помощи Джойс не мог. В 1938 году он помог писателю Герману Броху, бежавшему после «аншлюса» из Вены, добраться до Лондона. Двум другим он помогал через знакомых получить французскую визу, еще пятерым — при переезде и расселении. К нему словно вернулись его прежняя энергия и желчное упорство.

Нора была недовольна тем, что они перестали выезжать из Парижа: Джойс каждое свободное мгновение проводил над книгой. Она пыталась не беспокоить его, но летом ей было трудно в раскаленном городе, а у Джойса при малейшей попытке оторвать его от работы начинались его знаменитые боли в желудке. Общение их свелось к трем словам — утром: «Газеты!», за завтраком: «Это что?» и третье: «Не трогай!» Но все же 19 августа 1938 года они съездили в Лозанну, к старому другу Павла Леона Александру Трубникову. За ужином они решили проверить качество вина и заказали по стакану из каждого бочонка на стенах ресторана. Джойс повеселел и дразнил Леона его пристрастием к русской церковной музыке, а по пути бросил в ящик открытку его жене: «Поль наслаждается уже четвертой баней». Жаку Меркантону он надписал экземпляр «Улисса», датировав его «Днем мадонны Блум» — 7 сентября было днем рождения и Молли, и Святой Девы.

Но все веселье не могло снять тревоги за Джорджа, у которого начались серьезные нелады с женой. Хелен явно заболевала тем же, чем и Лючия. Частный санаторий в Монтре был временным выходом, но дальше надо было решать проблему всерьез. Навестив ее там, Джойс и Нора были обрадованы — она выглядела гораздо лучше, чем месяц назад, — и со спокойным сердцем уехали в Цюрих. Там, как и ожидала Нора, у Джойса начались мучительные желудочные спазмы, их уже нельзя было списать на нервы, и ему посоветовали срочно сделать рентген. Но Джойс пренебрег всеми настойчивыми советами и уехал в Париж, а оттуда в Дьеп, где пролежал неделю на пляже, слушая ленивый летний прибой и стараясь не думать о вторжении немцев в Судеты. В Париж надо было возвращаться хотя бы за тем, чтобы решить, как быть с Лючией; война близилась, могло случиться что угодно, и доктор Дельма уже планировал эвакуацию клиники

в глубокую провинцию. 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, и Дельма заспешил, попросив Джойсов сопровождать дочь в Ла-Боль. Джойс презирал Чемберлена, как и всю английскую дипломатию, отдавшую Европу уголовнику, но решил, что получил отсрочку и может закончить книгу, не срываясь с места, как тысячи других беженцев. Ему оставалось дописать несколько страниц четвертой книги, то самое начало монолога Анны Ливии «Мягкое утро, город!», где как бы стекались воедино все концовки предшествующих книг, перерастая в размышление о смерти и перекликаясь с монологом Гэбриела в «Мертвых». Но в нем постоянно мерцает и мысль о той жизни, которую прожил сам Джойс:

«Я сделала все, что могла, когда меня пустили. Всегда думаю, что, если я иду, все идут. Сотни забот, десятина тревог — и никого, кто меня понимает? Один в тысячу лет ночей? Всю мою жизнь я прожила среди них, и они становятся мне омерзительны. И я люнавижу (lothing) их мелкие теплые выходки. И я люнавижу их подлые уютные манерочки. И вся жадность рвется из душонок. И все ленивые истечения из их расчесанных телец. Какое все маленькое такое!»

Этот вопрос о том, «кто меня понимает», — собственный вопрос Джойса, выкрикнутый тридцать четыре года назад в Дублине юной гостиничной прислуге. Фраза «Унеси меня, taddy (папа + плюшевый медведь), как на ярмарке игрушек!» — воспоминание о ярмарке в Триесте и вопящем маленьком Джорджо, которого тащат на руках, потому что он рвется к игрушечной лошадке. Анна Ливия — она нечеловек и человек, она река, но ее жизнь складывается из человеческих воспоминаний, знаний и горечей: горькая соль Дублинской бухты и ранящие «зубцы», через которые она прорывается, — это Северная и Южная стены, гранитный причал, от которого уплывали с родины все ирландцы и сам Джойс, и трехмильный каменный волнорез, не пускающий море к каналам и городу…

Джойс особенно тщательно работал над завершением, если можно считать им последние строки этого монолога: «Чайки. Крики. Дальние клики. Идти, даль! Конец тут. Нам тогда. Финн, вновь! Возьми… Пока тысячеконцеты. Гбы. Ключи к. Даны! Путь одно ласть любть длить то».

Последнее слово книги, THE, в отличие от знаменитого «Yes», перевести на русский пока невозможно, можно лишь предложить толкование. Джойс думал над ним едва ли не дольше, чем над всеми оставшимися тридцатью страницами. Луи Гилле приводит его комментарий из письма: «В „Улиссе“, чтобы описать бормотание засыпающей женщины, я отыскал для конца

наименее побудительное слово, какое мог найти. Я нашел слово „да“, едва произносящееся, означающее уступку, самоотречение, расслабление, конец всякого сопротивления. В „Ходе работы“ я постарался сделать получше. На этот раз я нашел слово из самых скользких, наименее акцентированных, самое слабое английское слово, которое даже и не слово, едва звучащее меж зубами, вздох, ничто, артикль the».

Молли и Анна похожи в том, в чем Джойс решил наделить их женскими качествами, но Анна Ливия-Лиффи наполнена тем, чего у Молли почти нет — верностью, бескрайней, как море, которое если и уходит, то все равно возвращается, если исчезает, все равно где-нибудь плещет. То описание Молли, в которое он включил слова «ненадежная» и «равнодушная», вряд ли полностью высмотрено в тридцати с лишним годах жизни с Норой и в ней самой. Скорее всего, дело в том, что Анну Ливию читатель видит глазами и памятью ее мужа, которому она всецело подчинена, а он, в свою очередь, растворен в ней. Вернее, Мужа, Мужского Начала. Английская грамматика без мужских и женских местоимений многое запутает для русского читателя, но Муж и Жена в тексте все-таки есть. Она — часть природы, в которой женское и мужское начала сплетены неразделимо.

Слияние чистой пресной воды реки и горькой соли моря Джойс придумал и написал за одно утро, хотя поначалу это были полторы страницы. Они намного проще окончательного текста, в них почти нет неологизмов и «эпифанической речи» (Е. Фоменко), и автор немало потрудился над «джойсированием» монолога: достаточно просто сравнить их. Закончив отделку, Джойс ощутил, что не может заниматься ничем, и позвонил Жола, чтобы тот проводил его на прогулке. До его прихода Джойс сидел на скамейке и не мог сделать даже нескольких шагов. Кровь словно бы полностью оставила мозг; он чувствовал себя полностью иссушенным. Они добрались поначалу до ближайшего бистро на углу рю де Гренель и рю де Бургонь, где они с Леоном обычно встречались перед ужином, затем отправились к Фуке. Там он упросил Хелен Джойс прочесть вслух кусок по свежей машинописной странице и явно наслаждался тем, что слышал. А восхищенный Леон умиленно глядел на него. Ведь ему так редко приходилось видеть Джойса спокойным, довольным собой и даже гордым. Через неделю в монологе было уже десять страниц. Он передал их Беккету, чтобы тот прочел их по пути на вокзал; и почти сразу Беккет принялся звонить ему, рассказывая, насколько он тронут этим чудом.

Тронут был и Джойс. Он и сам читал этот отрывок вслух глубоким, звучным, мягким, чуть теноровым голосом. Та запись,

которую Чарльз Огден сделал для коллекции своего института, знаменитый диалог двух прачек, показывает, как мастерски оркестровал Джойс свою прозу и какой ритм должен звучать в голове читателя. Разговор на ирландском диалекте с фантастическим словарем Джойса выглядит естественно и сказочно в одно и то же время, он становится ласковым, бранчливым, томным и одним словом-звуком напоминает о плеске-шлепке волны о берег. Ничто не преувеличено, все живое и звучащее. Отрывок то и дело перегружается с тысячи интернет-сайтов, диски с аудиокнигами Джойса обязательно включают и его.

13 ноября книга была закончена. Вычитывать гранки Джойс, разумеется, не мог — Мария Жола у себя в Нейи разместила нескольких профессиональных корректоров, которые помогали ей, часть текста увез вычитывать на улицу Казимир-Перье верный Поль Леон, Стюарт Гилберт на улице Жеана дю Белле работал с другим куском, и все знали, что нужно успеть дать типографу отпечатать тираж к дню рождения автора, 2 февраля. Джойс почти не спал, а однажды потерял сознание и упал во время прогулки в Булонском лесу. Леон, метавшийся между всеми ними, умудрился забыть в такси последнюю часть вычитанного текста и побежал обратно к стоянке, но водитель уже уехал. Когда он чуть ли не со слезами рассказывал об этом Джойсу, тот принял случившееся спокойно — «Поминки по Финнегану» он назвал в письме цюрихскому приятелю Пауло Руджеро «maledetto», пр**о**клятой книгой, ей не должно было везти. Так же, как и сожженному в 1921 году сошедшим с ума ремингтонистом фрагменту машинописи «Улисса» и изрубленным в 1912-м оттискам «Дублинцев»; Джойс знал, что у его книг не может не быть via dolorosa[161]. Леон уже заказывал разговор с Лондоном, чтобы просить новые оттиски, но тут сказочным образом появился таксист с рукописью.

К Новому году работа была практически завершена. Джойс писал Ливии Шмиц:

«Дорогая синьора, я наконец окончил свою книгу. Три пятилетия расчесывал я волосы Анны Ливии. Теперь ей пришло время появиться на сцене». Напомним, что именно удивительно красивые волосы Ливии были одной из побудительных сил появления замысла «Поминок…».

Книга была отпечатана даже раньше — свой экземпляр Джойс получил от «Фабер энд Фабер» 30 января. «МОЯ САМАЯ ТЕПЛАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ ЗА ТЕРПЕНИЕ И БЫСТРОТУ КОТОРУЮ Я ГЛУБОКО ЦЕНЮ» — такая телеграмма ушла из Парижа в Лондон.

Леон по его просьбе отнес книгу Луи Гилле, подержать в руках, и тот сказал, как настоящий француз: «Это похоже на явление генерала Дезе в битве при Маренго…»

Бадген приехал из Лондона поздравить Джойса, а когда он после теплой и славно омытой встречи уехал, Джойс позвонил ему и сказал: «Отличная потеха», и Бадген ответил: «На поминках по Финнегану!»

Хелен Джойс, пока она была еще здорова, придумала очаровательный подарок Джойсу ко дню рождения. Лучшему кондитеру Парижа был заказан торт в виде перевернутой пирамиды из семи изданных книжек; каждую покрывала глазурь под цвет обложки, а «Поминки по Финнегану» была самой большой. К торту прилагалась крошечная золоченая книжка с гравировкой на обложке «Джеймс Джойс. Поминки по Финнегану», внутри была карточка «От Джорджо, Стивена и Хелен — с любовью». Книжка была привязана к роскошной авторучке.

Стол был сервирован вокруг овального зеркала, изображавшего Ла-Манш, на одном краю — игрушечный Париж, на другом — Дублин: с французской стороны стоял хрустальный графин в форме Эйфелевой башни и ночник — ветряная мельница. Другой ночник, изображающий церковь, и бутылка под колонну Нельсона обозначали Ирландию. Лиффи и Сену изготовили из мятой фольги, добавив маленькие лодочки, а на Лиффи даже лебедей.

Нора впервые надела подарок мужа, золотое кольцо с аквамарином, тоже символом Лиффи. Гилберты, Леоны, Жола, Супо и доктор Дэниел О'Брайен из Фонда Рокфеллера, недавно принятый в компанию, праздновали с ними этот день. Джойс был мягок и весел. Он рассказал, как замысел романа сложился у него за поездку в Ниццу, в 1922 году. Мария Жола играла на пианино, а Джорджо и отец пели дуэтом. Хелен читала отрывки из «Поминок…». Джойс пил белое швейцарское, и все было почти так, как последние двадцать парижских лет. Если не считать войны, болезней и безумия.

Джойс не мог не написать «Поминки по Финнегану», «Уэйк всех Финнеганов», «Финнеганское бдение», «Пробуждение Финнеганово» и как там еще называют его переводчики. Более того, в изрядной мере книга вынудила его написать ее и — себя. Разумеется, даже самые страстные джойсопоклонники предпочли бы большую открытость текста. Эдмунд Эпстайн писал, как ему, еще мальчику, книгопродавец, узнав от его отца, что ребенок любит читать, протянул «Поминки…» и с усмешкой сказал, что если эта книга его не отвадит, то он действительно любит

читать… Роман провожал Джозефа Кэмпбелла по всей жизни, и самую свою знаменитую работу, «Универсальный ключ к „Поминкам по Финнегану“», он написал именно по нему. Но куда важнее, что это пространство оказалось открыто самому Джойсу: читателю предоставлялась возможность пройти этой же странной дорогой точно так же, самолично. Он уже написал о пробуждающемся и начинающем бодрствовать сознании «Дублинцев», осознании, начинающем постигать и постигающем самое себя — «Портрет художника в юности» и «Улисса». Но бодрствование невозможно без сна, и вот о спящем сознании, перебирающем то, что явилось при свете, чтобы снова узнать о явленном правду, стала выписываться новая книга. Гораздо позже именно так скажет о донных течениях писательской работы Хемингуэй — to write something out of one's system, — «выписать нечто из своего состава». Ночь и подполье разума Джойс не открыл ни как ученый, ни даже как писатель, но он страшно не любил, когда говорили, что он все же создал некую терапию, мир, куда можно отселить тревогу, путаницу и нерешаемые загадки. Ему хотелось другого — увлечь читающих новой Книгой Келлса, ее плетениями и цветом.

Слабое зрение, почти слепота Джойса предлагает крайне соблазнительное толкование поверхностному толкователю, но оскорбительна своей легкостью для критика, более вдумчивого и доверяющего писателю. С английским словом Джойс уже мог все, вплоть до того, чтобы показать, как речь и мыслеслово зависят от времени суток. Для новой книги понадобился новый язык. Ему предстояло показать, как всплывают слова, слипаясь в конгломераты значений, оттуда, из первичного океана, где зарождается любая речь. С ними всплывают смыслы — Джойс много раз говорил, что даже самые нижние уровни сознания не могут быть такими животными и элементарными, какими их предлагают видеть Фрейд и его последователи. Джойс разбирал слова и образы на части и создавал из них, как Босх, совсем не то, чем они были раньше, но не убивая в них прежней жизни.

Современники и единомышленники Джойса атаковали традицию, заставляя принимать новые стили, новые темы, новые сюжеты и способы создания характеров. Он сделал то, что не смог и даже не пытался никто из них: вынудил литературу увидеть иное бытие и возможность нового языка. Не важно, что вторую задачу никто, кроме него, уже семьдесят лет не пытается повторить; Джойс оставил достаточное наследство, чтобы пользоваться даже лишь процентами с него. Техническое совершенство, с которым он сделал это, на долгие годы заложило пример, как можно сплести воедино в крошечной буквенной

группе ощущение потехи и беды, приниженности и возвышенности, загадки и предельной ясности. Джойс славит жизнь, которая «есть-трагедия-ура», комедия, рассказанная о смерти Бога.

Глава тридцать шестая
КОНЕЦНАЧАЛОВЕЧНОСТЬ

Out-worn heart, in a time out-worn,
Come clear of the nets of wrong and rights… [162]

Происходящее вокруг мучило Джойса все беспощаднее. Даже завершение главной муки, «Поминок по Финнегану», ничего не устранило, потому что случилось одно из главных несчастий любого писателя — мир оказался поглощен другими событиями. Кроме того, Джойс был серьезно болен, как ни парадоксально это звучало по отношению к нему, очень недолго в течение жизни бывшему здоровым. Все непоправимее он терял способность управлять своей жизнью, да, собственно, и талантом. Невозможно было и подумать о новой книге; кому-то Джойс признался в ответ на сакраментальный вопрос о творческих планах: «Я перепробовал все». Тон ответа предполагал, что новых открытий или будящих впечатлений не нашлось. Книга, кстати, не была еще напечатана, выход был отложен до 4 мая, и американское издание Хюбш тоже предлагал перенести на осень, более коммерчески живое время, но Джойс об этом и слышать не хотел. Пусть лучше поторопятся сейчас, говорил он, вот-вот разразится война, и никто вообще никогда не прочтет мою книгу.

В марте Гитлер, отбросив все обязательства по Мюнхенскому соглашению, захватывает оставшуюся территорию Чехословакии. Затем правительство Литвы отдало немцам Клайпеду, ставшую Мемелем; Германия требовала у поляков Гданьск. Пакт Молотова — Риббентропа заставлял думать лишь о том, что и он будет растоптан. Джойс, помнивший свои мытарства в Первую мировую, понимал, что бежать придется снова. Но пока только переселился из слишком большой для него теперь квартиры на рю Эдмон Валантэн в квартиру поменьше и подешевле, на улицу де Винь, 34. Мэри Колум получила письмо с описанием переезда и зловещей фразой: «Нам повезет, если не придется переехать много дальше и куда поспешнее». Безумие всегда идет впереди войны, и в весеннем Париже оно ощущалось так же остро. Мария Жола вспоминала, как Нора перед переездом в новое жилье рвала письма Джойса к ней, а он молча смотрел на это. Писем было немного.

«Поминки по Финнегану» все-таки вышли — одновременно в Англии и США. На ужине в ознаменование события Нора сказала одну из своих бессмертных фраз:

— Знаешь, Джим, я не читала ни одной твоей книги, но когда-нибудь прочту, они должны быть интересными, раз так хорошо продаются…

Джойс был недоволен слишком высокой ценой, из-за которой книга плохо покупалась. С таким доходом, говорил он, придется подумать о карьере уличного певца. Беккету он жаловался на совершенно ужасную денежную ситуацию, заставляющую думать о возобновлении преподавания, и Беккет даже отыскал ему вакансию преподавателя итальянского в Университете Кейптауна. Джойс заинтересовался этим предложением, но когда услышал о знаменитых тамошних бурях, немедленно отказался.

Пресса на «Поминки…» была, но Джойса она по большей части разочаровывала или раздражала. А заметка в «Айриш таймс» даже разъярила — там книгу приписали Шону О'Кейси, и тот поспешно написал мэтру: «Вы же знаете, как они ненавидят нас обоих… это была такая шутка». О'Кейси любил Джойса и про «Поминки…» написал ему, что был бы счастлив создать такую же изумительную книгу, а автобиографический роман «Я стучусь в дверь» только показывает, скольким вещам он научился у него. Один из самых лестных отзывов был написан совершенно неожиданным автором — Гогарти. Друг-враг 7 мая 1939 года напечатал в «Обсервер» рецензию, где назвал роман «самым колоссальным розыгрышем со времен „Оссиана“», но признал «неукротимость духа» автора и «величие книги». Джойс заметил, что Гогарти, как отличный спортсмен, понимает, что такое забег на очень длинную дистанцию. Но были и другие — Гарри Левина, Эдмунда Уилсона, французских критиков Жоржа Пелорсона и Жака Меркантона. Луи Гилле был уже в Америке, но оттуда написал Джойсу в июне, что хотел бы вернуться в шале и залечь на несколько дней с «Поминками…». Его интересовало, вызвала ли книга скандал. Взамен Джойс сообщил ему, что Альфред Перо говорил о ней по парижскому радио — впервые имя Джойса прозвучало в эфире.

Ненадолго вернуло Джойсу радость то, что 4 мая 1939 года вышла та самая подборка фото Гизелы Фройнд, которую она сделала год назад. Ее опубликовали почти одновременно в США и Англии, после чего «Тайм» попросил Гизелу убедить Джойса согласиться на цветные снимки — черно-белые, как бы хороши они ни были, не годятся для обложки. Фройнд уже поклялась Джойсу, что больше никогда не побеспокоит его, но теперь пришлось брать слово обратно. Все оставшиеся тогда в Париже

друзья хором уверяли его, что обложка «Тайма» будет крайне полезна для продвижения очень трудной книги к обычному и крайне капризному читателю. Но Джойс упирался — у него опять было плохо с глазами, и он попросту боялся яркого света. Тогда Сильвия предложила свой способ. По ее совету Гизела написала письмо и подписалась своей брачной фамилией — она была замужем за бароном Блумом. Джойс был эмоционально глубоко связан со своими персонажами, а тут еще и подлинная, яркая и настойчивая миссис Блум… Он согласился немедленно.

Для цветного снимка он оделся в бархатную куртку глубокого винного цвета, а на длинных чутких пальцах поблескивало несколько красивых перстней. Однако на сложное и старомодное, чуть не с дуговыми фонарями оборудование Гизелы он смотрел с ужасом. Нервничали оба, снимки делались с удвоенным напряжением.

Уставший и боявшийся Джойс пожелал ей удачи и встреч по другим поводам, и Гизела помчалась в лабораторию проявлять пленки и печатать снимки — заказ «Тайма» был срочным. Но по дороге такси попало в аварию, где пострадали аппаратура и сам фотограф. Когда Гизела сообщила об этом Джойсу, прославленное суеверие сыграло двойную роль: Джойс устыдился, что едва не испортил работу собрата-художника, и одновременно испытал глубокое удовлетворение от того, что его неприязнь способна стать действенной силой…

К сожалению, незаурядной работе Фройнд помешало то же — война. Она ушла вместе с беженцами; во Франции при немцах ее непременно арестовали бы. Однако архив негативов она сумела разобрать, датировать и упаковать так, чтобы зарыть в безопасном месте, в саду у знакомых. После всех беженских мытарств она вернулась во Францию, откопала ящик и, кротко предъявив множеству изданий свои права, смогла получить выплаты за ставшие крайне популярными снимки. Карьера ее как фотографа и искусствоведа сложилась, она стала к тому же личным фотографом Франсуа Миттерана и совсем немного не дожила до конца XX века.

Герберт Горман закончил в июне свою книгу о нем, «Фаррар энд Райнхарт» рассчитывали выпустить ее в июле, но они плохо знали Джойса. Он продиктовал Леону длинное официальное письмо, где извещал Гормана, что не собирается утверждать рукопись без тщательнейшего с ней знакомства. Уже просмотренные фрагменты содержали, по его мнению, серьезные ошибки, требовали дополнений и правильной расстановки акцентов. Серьезные претензии предъявлялись почти ко всем упоминаниям Джона Джойса и Джорджо, чьей артистической

карьере эти неточности могли повредить. Разумеется, существенной реконструкции требовал рассказ о «женитьбе» Джойса и «переженитьбе» в 1931 году по английским законам. Сухо и неприязненно упоминалось то самое высказывание Шоу о сожженном «Улиссе», давно и строго опровергнутое, а Горман все же привел его как реальное. Высказывалось удивление, что биограф, проведя столько лет в Парике и столько беседовавший с самим Джойсом, вдруг исчезает на несколько месяцев и внезапно появляется, чтобы известить о срочной публикации ограниченным тиражом-«люкс». Подобные обстоятельства тем огорчительнее при художественном вкусе и тонком понимании автора. Джойс не настаивает на публикации изображения гербов Дублина и его семьи, а также не слишком озабочен цветом обложки, но вот о вышесказанном следует позаботиться.

Гранки Джойс читал еще летом, но случая указать биографам их место он упустить не мог. Поправки были очень тонкими. Нора была не «блондинкой», а «каштаново-русой». Плата за урок в Триесте была не «десять пенсов», а «два шиллинга», поднятая затем до «двух шиллингов шести пенсов», а в некоторых случаях до «четырех шиллингов и пяти пенсов». Педантично были исправлены названия репертуара старых певцов и самого Джойса. До предела облагорожен лик Джона Джойса. Горман откровенно писал, что Джойс-старший менял квартиру, как только приходило извещение о просроченной плате, а Джойс-младший заменил это фразой, что его отец постоянно искал более просторное жилье для растущей семьи. Он даже приписал, что именно отец посоветовал ему сменить реакционный Дублин на место, где атмосфера для его литературного дарования будет более благоприятной, что «его духовным отцом стала Европа, куда его направил отец по плоти». А об отъезде из Триеста, оказывается, не уставал ему твердить именно Джон Станислаус Джойс.

Правки были сделаны и затем, чтобы расплатиться за старые обиды — перепало и бедняге Станислаусу, и Франчини-Бруни, и Майклу Леннону, вписан злой лимерик о цюрихском генконсуле Беннете. Иногда это делало книгу забавной, иногда создавало портрет гонимого и преследуемого художника. Все материалы о жизни Джойса после 1922 года были тщательно стерилизованы, убраны практически все упоминания о Джорджо и Хелен, ни единого слова о болезни Лючии. Отослав выправленные гранки Горману, Джойс уехал с Норой повидать внука в летнем лагере в Этрета, а потом Джорджо отвез его в автомобиле в Париж, чтобы успеть к 26 июля устроить Лючии день рождения. Хелен после нескольких тяжелых приступов пришла в себя, и в августе они перебрались к ней в Монтре, но Джорджо остался в Париже,

чтобы не быть свидетелем возможного нового ухудшения. В Лозанне Джойс помогал Жаку Мер-кантону написать статью о «Поминках…». Он чувствовал, что война неизбежна, и после недолгого пребывания в Берне и Цюрихе вернулся с женой в Париж — прежде всего из-за Лючии.

Клиника-санаторий доктора Дельма должна была переехать в гостиницу «Эдельвейс» в Ла-Боль; туда они и отправились. В сущности, гостиницу должны были официально реквизировать для размещения больных, и мадам Дельма оставалась проследить за процессом. День за днем Джойс ходил к ней (она жила за городом, в двух милях от него), и его заверяли, что все вот-вот произойдет, но наступил сентябрь, и оказалось, что не сделано ничего. Леон, заваленный собственными делами, сумел все же выяснить, что никаких мер не принято, и Джойс, боявшийся, что Лючия брошена в Иври одна, без присмотра, телеграфировал Джорджо в Париж, чтобы тот принял меры. Дельма пытался объяснить, что его контракт с гостиницей оказался нарушенным и что сейчас он ищет другое место. Без промедления Джойс отыскал врача с загородной клиникой возле Ле-Круази и запросил, может ли он принять Лючию; тот согласился, но Дельма предупредил, что там нет условий для буйных пациентов. Назавтра Джойс решил отвезти Лючию на обычной машине, но Дельма настоял на специальной санитарной карете, ведь только что, 15 сентября, Франция объявила войну Германии, отчего дороги будут забиты военным и беженским транспортом…

Отчаявшийся Джойс написал Джорджо и Хелен, что Лючия брошена в Париже, который разбомбят, пока Дельма что-нибудь сделает. Сын, невестка и внук были в сравнительной безопасности на своей загородной вилле, но оставалась Лючия — Джойс боялся, что испуг и одиночество приведут ее к новому срыву, и что надо хотя бы звонить или ездить к ней, чтобы забрать ее любой ценой при признаках опасности.

Ла-Боль, как и следовало ожидать, переполнялся беженцами, и Джойс обратился за помощью к Дэниелу О'Брайену, кстати, психиатру по специальности. Он очень вовремя оказался по делам в городке. Вряд ли он мог много сделать, но оставался сколько получалось рядом с Джойсом, который и сам был испуган и обескуражен. Ему удалось чуть успокоить писателя, и тот даже стал выходить на прогулки. В Ла-Боль был большой ресторан с танцзалом, куда каждый вечер набивались солдаты из британских и французских лагерей. Около трех сотен «томми» и «пуалю» поднимали боевой дух у стойки, и дело дошло до «Марсельезы». Джойс присоединился к пению, и его пока что сильный тенор слышен был даже в этом огромном хоре. На него заоглядывались,

а потом группа солдат подняла его на стол и потребовала, чтобы он спел снова — от начала до конца. «Не приходилось видеть, — вспоминал потом О'Брайен, — зрелища такого полного покорения и приведения в восторг целой толпы одним-единственным человеком. Джойс стоял и пел „Марсельезу“, и они снова пели вместе с ним, и атакуй их в этот момент целый полк немцев, он никогда бы не прорвался. Такое было ощущение. Джойс и его голос парили надо всем».

К середине сентября наконец привезли Лючию и других пациентов, их разместили в Порнише, по соседству с Ла-Болем. Отец и мать оставались там, чтобы как-то уменьшить дикий страх Лючии перед бомбардировками. 8 октября, день своей «свадьбы», они тоже встретили там; О'Брайен устроил что-то вроде ужина-сюрприза в ресторане на вершине холма, хотя ночь была грозовая, Джойс нервничал и едва не вернулся с полдороги, но потом взял себя в руки и даже расшалился, как ребенок.

Но безумие преследовало не только их: Хелен неуклонно близилась к новому припадку. Джорджо не мог справиться с ее непредсказуемым поведением и переселился на другую квартиру. Ее поддерживали друзья, включаявсе тех же Леонов, которые считали, что дело лишь в супружеском разладе, и пытались снова свести их. Поль Леон жаловался Джойсу на неуместное поведение Джорджо — тот хотел, чтобы Хелен уехала обратно в Нью-Йорк, и просил Леона послать письмо Роберту Кастору, ее брату, чтобы он забрал сестру домой. Люси Леон была категорически против такого письма как в случае с Лючией, настаивала, что это не болезнь, а обыкновенные истерики. Джойсу, как видно из писем, эта тема была уже не по силам; он не слишком старался успокоить Хелен, и все, что он смог — вернуться с Норой в Париж 15 октября 1939 года.

Город, приютивший тысячи страдников, становился гнездом беды. Постоянные воздушные тревоги, затемнение и патрули не давали Джойсу выходить по вечерам, как он делал это много лет. Друзья, на которых можно было опереться во всех смыслах, уезжали или готовились уехать. Эжен Жола был в Нью-Йорке, Мария увозила свою школу в пригород Виши, Сен-Жеран-ле-Пюи. Леоны делали что могли, но отношения были напряженными. Оставался Беккет, но он тоже был занят своими делами и не мог бывать с Джойсом постоянно. Вести домашнее хозяйство Норе в таких условиях было тяжело, и они снова переехали в отель «Лютеция». Джойс, нервничая, вдруг бросался к пианино и начинал как одержимый играть и петь на пределе звука. Он не понимал целей этой войны, не видел от нее никакой пользы и отказывался соглашаться с Беккетом, объяснявшим ему свое

понимание и целей, и пользы. В «Поминках по Финнегану» Джойс предельно ясно выразил бессмыслицу и ничтожество войны, а теперь мир лишался возможности прочесть его книгу, изданную книгу: что могло быть унизительнее для писателя.

Треснула еще одна опора его парижской жизни. Джойс поссорился с Полем Леоном. Джойс защищал сына, Леоны — Хелен. Расхождение было все категоричнее, и наконец дошло до того, что Джойс поручил Алексу Понизовскому попросить шурина вернуть доверенности на издание его книг. Леон позвонил Джойсу, чтобы удостовериться, что не ошибся, и когда Джойс холодно подтвердил свою просьбу, прислал ему такое же холодное письмо, сообщая, что передает документы с Понизовским и просит расписку о получении. Десять лет самой тесной дружбы обернулись прахом.

Хелен, которой становилось все хуже, была помещена в клинику в Сюрене, а Стивена отвезли в «Лютецию» к бабушке и деду, затем Джойс позвонил Марии Жола и предупредил, что отправляет к ней Стивена. Мария пригласила его, Нору и Джорджо встретить с ней Рождество в Сен-Жеран-ле-Пюи. Джойс согласился, не особенно раздумывая. Он пил все больше, тратил деньги, не задумываясь о будущем, и с каким-то особенным удовольствием признавался Беккету, что понимает, как близки они к крушению. Сейчас он больше, чем когда-либо, напоминал своего отца в его худшие дни.

В конце декабря они добрались до ближайшей к Сен-Жеран-ле-Пюи станции, где их встретила Мария, в единственном на всю округу такси, и отвезла в гостиницу. Не успели они войти в номер, как у Джойса случился приступ мучительных болей, сваливший его в постель. Списывать на нервы больше было нельзя; утешительный диагноз, радостно им принятый, здесь не годился. О'Брайен, все еще неплохой медик, предположил какое-то поражение желудка, и Джойс промолчал — скорее всего, он уже понимал это сам. Если это была язва двенадцатиперстной кишки, то при таких болях она могла привести к смерти. Но врача Джойс не вызвал. На рождественском ужине он сидел нахохленный, почти не ел и только пил белое вино. Война, утратившая разум дочь, идущая к тому же невестка и запущенная язва — все это привело его на край бытия. Односложные ответы на любые вопросы, невидящий взгляд в пространство, и только музыка наконец вывела его из оцепенения. Мария играла и пела рождественские гимны, а остальные пели по очереди свои — немецкие, французские, английские… Джойс спел с ней ирландскую песню, потом еще несколько, потом свои любимые доулэндовские песни и заставлял других подпевать. А потом

вдруг вскочил и попытался закружить Марию в вальсе — гостиная была едва ли больше двух пароходных кают. Когда она, смеясь, попыталась остановить его, он крикнул:

— Ну давай! Ты же знаешь, что это мое последнее Рождество!..

Назавтра Джорджо вернулся в Париж. Он был под двойной угрозой: возраст его был призывным, в Виши его могли мобилизовать французы, а в Париже немцы. Джойс собрался было следом, но Нора сумела отговорить его. Тут он отыскал в «Поминках…» пророчество, которое его ужасно обрадовало. Финская война 1939 года и яростное сопротивление финнов показались ему воплощением легенды о великом предке, Финне Мак-Кумале, «Финне, воскресшем вновь». Он писал Фрицу Вандерпилю:

«Странно, что после публикации моей книги, заголовок которой обыгрывает одновременно и поминовение и воскрешение Финна (великого кельто-нордического героя) Финляндия, до сих пор „терра инкогнита“, внезапно оказалась в центре внимания, сначала после получения финским писателем (Франсом Эмилем Силланпяя в 1939 году. — А. К.) Нобелевской премии по литературе, а затем вследствие русско-финского конфликта. Как раз перед началом боевых действий я получил странный комментарий на эту тему из Хельсинки».

Рассказывая об этом всем оставшимся друзьям и знакомым, устно и в переписке, Джойс черпал утешение в своем мистическом провидении, предсказавшем возвышение Финляндии; а тут подоспел и итальянский перевод «Анны Ливии Плюрабель», подписанный Этторе Сеттани, но по большей части сделанный Нино Франком и им самим. Однако в целом его имя не звучало на фоне военных известий и разгоравшегося мирового пожара. Джойс всерьез боялся, что книгу никто не прочтет, и более того, что вряд ли ему следует писать что-то еще. Ничем особенным Джойс в деревне не занимался: поздно вставал, бродил почти на ощупь по незнакомым улочкам, выставив трость, в длинном черном пальто и черных очках. Местные жители принимали его за инвалида и не могли поверить, узнав, что это прославленный писатель. Собаки видели в нем только нежелательного чужака и без конца облаивали, но трость всегда была наготове, а карманы Джойс набивал камнями («Мой боезапас», — говорил он) и очень метко швырял их «на звук». Он почти перестал говорить с Норой, и практически единожды она сумела добиться от него связной речи — когда упросила миссис Элиот, другую беженку, чья дочка училась в школе Марии Жола, зайти к ним на ужин: «Я его больше не вынесу. Вы ему нравитесь.

Может, он разговорится, и я смогу прийти в себя…» Миссис Элиот пришла и сумела вовлечь Джойса в разговор об опере, он понемногу ожил и проговорил с ними допоздна.

С Марией Жола он иногда обсуждал вопросы образования и обучения и даже спорил с ней о католических школах настолько жестко, что она несколько раз напоминала ему — она католичка и детей воспитывает в католичестве. Джойс отмахивался: какой во Франции католицизм! А в Ирландии это скорее черная магия… Они не говорили только о войне и все-таки однажды сорвались. Джойс, по ее воспоминаниям, едва ли не первым произнес слова «un dróle de guerre» — странная война, определяя то, что произошло с Францией. По большей части он молча читал «Разговоры с Гёте» Эккермана, а по воскресеньям из школы приходил Стивен Джойс, усаживался возле кровати деда, закутанного в халат и курящего папиросу за папиросой, а тот рассказывал ему про Улисса, пока не наступало время обеда. Мальчик помнил, где они останавливались на прошлой неделе.

Начались пасхальные каникулы, и Мария пригласила Джойсов на освободившееся место. Джойс по обыкновению молчал, но Марии по каким-то едва уловимым признакам показалось, что он думает о новой книге. Из Парижа не было слышно ничего утешительного. Хелен была плоха, Джорджо не давал о себе знать. Но зато приехал Беккет, и Джойс даже собрался с ним на Пасху в Мулен, а потом по дороге в свой полк заехал Жорж Пелорсон. Поздний ужин утомил всех, но когда гости и хозяева улеглись, Джойс и Пелорсон остались поговорить. Они легко переходили от темы к теме — Гракхи, герои поэмы Пелорсона, пасхальная литургия, рискованные шуточки о доминиканцах, слышанные Джойсом от наставников-иезуитов. Пелорсон осторожно поинтересовался, чем занят Джойс.

— Переписываю «Поминки по Финнегану», — ответил мэтр.

— Как? Зачем?

— Расставляю запятые.

Поняв, что над ним подшутили, Пелорсон спросил:

— Нет ли в планах новой книги?

— Нет, — сказал Джойс. — Или да. Но думаю, что напишу что-нибудь очень простое и короткое.

С началом занятий Джойсы решили перебраться в Виши, где хотя бы еще топили в гостиницах. Разрыв с Полем Леоном очень сильно ударил по его деловым связям, Джойс практически не знал, что происходит с его финансами и издательскими делами, Джорджо неделями ничего о себе не сообщал, и родители изводились двойной тревогой. Никого, кто мог хоть как-то их успокоить, рядом больше не было — только Мария,

разрывавшаяся между ними и школой. Оставалась и Лючия; еще летом Джойс узнал о лечебнице в Мулене и отправился побеседовать с директором, внимательным и сочувственным врачом. Хлопоты по переводу оборвали перемены в ходе войны. Немцы 9 апреля оккупировали Данию и Норвегию, к 4 июня Бельгию и Нидерланды, а 22 июня Франция подписала капитуляцию. Британский экспедиционный корпус, отрезанный танками Гудериана, был с огромным трудом эвакуирован через Ла-Манш. Начальник Генерального штаба вермахта фельдмаршал фон Рунштедт отдал приказ не преследовать англичан, побросавших все тяжелое вооружение. К 25 июня военные действия прекратились.

Мария Жола пыталась увезти Джойса и Нору обратно в Сен-Жеран, где было чуть безопаснее, но Джойс отказался уезжать, даже еще выругал ее за то, что она забыла заказать ему через Эжена в США новый роман Конрада Эйкена. Тема романа «Пришествие дня Осириса Джонса» показалась ему настолько близкой, что он мог предположить появление сходно мыслящих авторов — прошел почти год со дня выхода «Поминок…», и ему, как пишет Эллман, «казалось куда более важным прочесть книгу, чем ехать». Но через два дня уже был закрыт Лионский вокзал, чему Джойс поначалу даже не поверил, ведь Беккет только что приехал из Парижа, и снова принялся выяснять у Марии, заказала ли она ему книгу Эйкена. У Беккета не осталось ни гроша, он не мог оплатить чек ирландского банка, и Джойс дал ему письмо к Валери Ларбо, которое озаглавил строчкой из модной уличной песенки «В субботу вечером после работы». Ларбо оплатил Беккету чек, но Джойсу помочь было труднее.

Париж немцы взяли 14 июня, отель «Божоле» в Виши был реквизирован под резиденцию французского правительства, и утром 16 июня, «Блумова дня», Джойс прибыл в Ла-Шапель, где с родственниками жила Люси Леон. Родня ее только что бежала из Божанси, и буквально в последнюю минуту из Парижа успел уехать Джорджо. Хелен еще 2 мая увез в Штаты брат, Роберт Кастор. Появление сына слегка успокоило родителей, хотя двойная опасность — мобилизация французами или арест немцами — никуда не исчезла. Джойс написал Марии письмо с просьбой выдать Джорджо за преподавателя итальянского, пения или чего угодно, а письмо сжечь. Дата под ним стояла примечательная — «18 июня 1940 года». Внося ноту мрачного юмора, Джойс приписал и место: «Ватерлоо».

В тот же день на телеге, запряженной ослом, приехал запыленный и измученный Поль Леон, сохранивший, однако, способность к самоиронии: «Подобно Христу, въезжаю в

Иерусалим на осляти…» Неприязнь Джойса не устояла, и они провели вместе несколько часов. Леон, как опытный беглец, описывал возможные пути спасения, а тот сухо посмеивался. Они примирились настолько, насколько Джойс вообще был способен к этому.

Через неделю немцы заняли Сен-Жеран. Линия демаркации, за которой формально еще правило вишистское правительство, была пятью милями севернее. Джорджо несколько дней просидел взаперти, а потом объявил, что больше не может и выходит на улицу. Хотя отец советовал ему не напрашиваться на неприятности, Джорджо вышел. Ему повезло: задерживать его никто не стал, а то, что он пренебрег регистрацией в мэрии, сделало Джойса-младшего человеком-невидимкой — французские власти имели повод никого не искать. Родители некоторое время жили в квартире женщины, лежавшей в больнице. Потом переехали в комнатушку «Отель дю коммерс», куда Мария на время перенесла свою школу. Леоны одно время тоже поселились там, когда учеников стали разбирать по домам. Мария заботилась и об учениках, и о друзьях, навещала больную подругу, и Джойс вызвался подменить ее. Правда, больной в его присутствии стало хуже, и как он ни старался помочь ей, она скончалась практически у него на руках.

Среди тягот войны есть одна, сравнимая только с поиском еды, — информационный голод. Газеты ничего не могли сообщить: немцы быстро установили жесткую цензуру. Можно было слушать пока не конфискованные радиоприемники и надеяться услышать о победе союзных войск. Французы еще не знали подробностей операции «Динамо», эвакуации из Дюнкерка и прочих грустных вещей; приезжие надеялись вернуться к парижской жизни, чего так и не случилось. Джойс правил и правил опечатки в «Поминках по Финнегану», ему снова помогал Поль Леон, каждый день они наслаждались этой прежней тщательностью совместной работы, словно вокруг не было пожара, способного пожрать всё. Незадолго до ужина Леон уходил к семье, а Джойс, никому не говоря, добирался до ближнего кафе, входил через заднюю дверь и натощак выпивал пару стаканов вина. К ужину он приходил взвинченным, невнимательным и почти не ел, правда, уже и не пил. Теперь Нора пилила его за то, что он не выдерживает единственного стакана… Ему становилось все хуже, и он поддерживал себя привычным способом.

Деревенская жизнь для горожан бывает непереносимой. Первой уехала Люси Леон — ее обязанности корреспондента «Нью-Йорк геральд трибюн» требовали работы в Париже. Да и

квартира нуждалась в присмотре. Джойс проводил ее до остановки и неожиданно поцеловал на прощание. Она спросила его, кончится ли этот кошмар когда-нибудь, а он грустно ответил, что не знает. Мужу ее было намного сложнее — еврей, русский эмигрант, бывший офицер… Джойс уговаривал его остаться в деревне и не рисковать, но в сентябре Леон уехал — теперь уже навсегда. Сэмюел Беккет вспоминал, что встретил его в Париже в августе 1941-го, в разгар облав, и настаивал, чтобы Леон немедленно уезжал, но тот печально сказал, что не может — завтра у его сына экзамен на степень бакалавра… На другой день его схватили и отправили в концлагерь, откуда он уже не вышел; в 1942-м его казнили как еврея. Люси переживет войну и в 1950 году издаст в Нью-Йорке книгу о них, «Джеймс Джойс и Поль Л. Леон: История одной дружбы».

Мария Жола, тоже остававшаяся во Франции дольше, чем было безопасно, получила срочную и настойчивую телеграмму-вызов от Эжена, и в начале августа уехала с дочками в Марсель, получать паспорт для отъезда в США. Чтобы управиться как можно быстрее, Джойс посоветовал ей обратиться к греческому консулу в Марселе, Николасу Сантосу, и его жене, друзьям еще по Триесту. Когда Мария вернулась, то принялась уговаривать его уехать с ними в Штаты: американский представитель в Виши, Роберт Мерфи, подтвердил, что Джойсов и Лючию тоже можно перевезти в Америку, если они выдержат перелет. Но Джойсу и страна, и способ казались одинаково устрашающими, и он взамен изложил свой план — переезд в Швейцарию как проверенное спасение от войн. Гьедоны звали их в Цюрих, но проблемой был отъезд Джорджо. Его, лицо призывного возраста, могли задержать на границе. Джойс не представлял, что делать.

Отъезд Марии был еще одной ошеломительной новостью. Разумеется, это должно было случиться, но Джойсу невмочь было вынести все сразу. Он был одновременно упорен и нерешителен, и Нора была в этом на него похожа, вдвоем они никогда ни к чему разумному не приходили, а самые надежные третьи покидали их один за другим. Вот и Мария 28 августа отплывала из страны. Ей было доверено увезти американским издателям последние корректуры «Поминок…», которые потом внесут в книгу, и Джойс опять напомнил ей о романе Эйкена, а на станции он отдал ей чемоданы и долго махал вслед уходящему поезду рукой с тростью. В Баньоле их ждала шутливая телеграмма с полуприличным обратным адресом, а в Лиссабоне — письмо:

«Я не мог сказать вам об этом на станции, потому что чемоданы потребовали всех моих сил. Вы казались мне подавленной. Помните, если бы вы даже ничего больше не

сделали, то благодаря вам множество детей надолго стали счастливыми. Когда они вырастут в якобинцев, графинь, святых и исследователей, они всегда будут помнить об этом — особенно в самые свои мрачные минуты. Но Богу ведомо, что вы сделали много больше. Я желаю вам спокойного моря и попутного ветра. И напомните обо мне Жола и любому, кто сможет вспомнить обо мне.

Осирис Джонс не объявился ни днем, ни ночью, и я жду экземпляр биографии от Гормана или его издателей.

Сердечно ваш,

Джеймс Джойс.

7 сентября 1940».

Оставалось неясным, разрешат ли швейцарские власти Лючии пересечь их границу, но Джойс все равно попросил Гьедонов выяснить насчет клиники Килшберга, психиатрической лечебницы возле Цюриха, где он однажды был, а затем написал в швейцарское представительство в Виши о разрешении на переезд для всей семьи. В прошлую войну попасть в Швейцарию было гораздо легче. Теперь самому Джойсу пришлось просить о помощи всех, кого можно. Эдмунд Браухбар сейчас жил в Штатах и занимался экспортом, но у него были отделения в Цюрихе и Лионе, и он наказал своему сыну Рудольфу и всем партнерам помочь Джойсу чем только можно.

В Женеве ему порекомендовали юриста, который мог быстро помочь с въездными разрешениями для всех Джойсов, но пока лишь в Берн, а не в Цюрих. Джойс согласился и связался с адвокатом, одновременно пытаясь устроить Лючию в клинике возле Главурны. Дельма обещал сопровождение до границы, а швейцарский психиатрический госпиталь брался проводить их дальше. Немцы без проволочек выдали выездные документы для Лючии, и теперь вся сложность была с Виши и швейцарскими властями.

План насчет Берна сорвался. В сентябре Джойс, ни на что особенно не надеясь, запросил еще раз консульство в Лионе о въездных визах и разрешении оставаться в Швейцарии на время войны. Документ ушел в Федеральную полицию для иностранцев, а она отправила его в цюрихскую кантональную полицию. Там не знали, кто такой Джойс, и посоветовали отказать. Один из друзей Джойса пошел выяснять причину, и ему сказали, что Джойс — еврей. Когда ему об этом сообщили, он даже не удивился. Но Федеральная полиция в октябре все же вернула документы Джойсов на пересмотр, потому что к делу подключилось немало уважаемых швейцарских граждан: Жак Меркантон заверил власти, что Джойс не еврей, «а ариец из Эрина»; Гьедоны, доктор

Фогт, композитор Отмар Шоек, Роберт Фаези, Теодор Сперри, мэр Цюриха доктор Эмиль Клети, ректор университета Эрнст Ховальд настаивали на разрешении. Профессор Цюрихского университета Генрих Штрауман подтвердил, что книги Джойса — лучшие опубликованные тексты английской литературы, и его поддержало Швейцарское общество писателей. Под этим натиском кантональное начальство подалось, но все равно потребовало громадных финансовых гарантий в 50 тысяч швейцарских франков, урезав их затем до 20 тысяч. В цюрихском банке пока работал его старый друг Пауло Руджеро — он мог помочь со счетами и переводами.

Джорджо колесил на велосипеде от Сен-Жерана до Виши каждый день, рискуя попасться патрулям, но получить разрешения на выезд не мог. Друзья помогли встретиться с ирландским послом, предложившим ему получить ирландский паспорт и без помех покинуть Францию в качестве гражданина нейтральной страны. Посоветовавшись с отцом, Джорджо решил не делать в военное время того, что тот не сделал бы в мирное. Риск был велик, но честь Джойсов — дороже. На вопрос отца, что же он все-таки собирается предпринять, Джорджо честно ответил:

— Ничего.

— Отлично! — сказал Джойс. — Значит, мы все остаемся тут.

Но на самом деле он жал на все кнопки и узнал, что по одному из подзаконных актов Джорджо имеет право уехать с семьей. Для этого нужно было разрешение субпрефекта. Теперь Джорджо помчался в Лапалисс и предъявил чиновнику четыре паспорта и три разрешения на выезд. Тот без звука взял все четыре паспорта и проштемпелевал их. Но оказалось, что два из четырех были просрочены — Джойса и Норы. Единственный, кто мог им помочь в Виши, был американский представитель, и Джорджо терпеливо поколесил в его резиденцию.

— Но как я могу продлить британский паспорт? — удивился тот.

— Если не вы, то кто? — настаивал Джорджо. Американец сдался и продлил документы.

Когда возникло третье препятствие, никто уже не удивлялся: швейцарские визы действовали только до 15 декабря и их тоже надо было продлевать, так же как и разрешение Лючии.

Поезд отходил в три часа ночи 14 декабря со станции Сен-Жермен-де-Фоссе. Нужна была машина, чтобы увезти их и багаж из деревни. Джорджо нашел автомобиль и шофера, но горючего не было. Снова на велосипед, снова в Виши, снова просьбы к американцам из посольства. У них самих не было ни капли. Поколесив по Виши, он купил единственный галлон по

чудовищной цене и повез его домой. К поезду они успели; их доставили в Экс-ле-Бен, а затем и к границе. Возбужденный Стивен без умолку тараторил по-английски, и вся семья тряслась от ужаса, что их задержат. На границе швейцарские пограничники потребовали пошлину на ввоз велосипеда, но у Джойсов уже не было ни единого лишнего франка, и велосипед пришлось оставить. В десять вечера они прибыли в Женеву и провели ночь в гостинице.

Затем была Лозанна, где они впервые распаковали чемоданы в «Отель де ла Пэ». Нора ахнула: все было в зеленых чернилах, Джойс неплотно закрутил флакон. Но по крайней мере наконец удалось надеть пижаму и халат, лечь в постель и не слушать ничьих жалоб. Дымить сигаретой и смотреть в потолок. Он вышел только со Стивеном — купить ему марципанов и шоколада, которого в Париже не ели давно. Потом после обеда отправился в лечебницу рядом с Шарворне, договориться насчет Лючии, а к ужину вернулся с помощью Жака Мер-кантона. Утомленный, едва держащийся на ногах, Джойс ничего не рассказал и не захотел ничего обсуждать, он не строил никаких планов на будущее и жил как будто по инерции. Чуть оживился он на встрече с Эдмоном Жалу, хотя говорили они всего несколько минут. И еще Меркантон принес и прочитал ему рецензию на «Поминки…» из итальянской католической газеты «Оссерваторе Романо». Совершенно неожиданно рецензия оказалась более чем благожелательной — «книга духовна… в ней отражен реалистический дух девятнадцатого столетия». Джойс был очень доволен.

В середине декабря они перебрались в Цюрих. Восьмичасовой поезд привез их на главный вокзал, Руджеро и Гьедоны встречали Джойса, который сказал, что в неоплатном долгу перед ними всеми. Поужинав в вокзальном ресторане, они отвезли Джойсов в пансион «Дельфин», где они пока разместились в двух комнатах, чтобы потом найти квартиру. Джойс вернулся в город, куда тридцать шесть лет назад они с Норой, молодые и энергичные, приехали, чтобы начать жизнь заново, где они спасались от Первой мировой войны, где он впервые осознал силу, которой наделен. Больным и разрушенным, состарившимся и истраченным вернулся он туда, где всё напоминало о блистательном прошлом. Несколько дней он оставался в номере и писал письмо на немецком в самых изысканных оборотах мэру Цюриха, благодаря за поддержку «первого гражданина этого города».

Его навестили несколько старых друзей и несколько новых, в том числе Генрих Штрауман, он принял их, но после французских

волнений предпочитал покой и одиночество. Вторую половину дня он проводил со Стивеном, гуляя под снегопадом вокруг озера или у слияния рек. Джорджо пытался выяснить, как он себя чувствует, но Джойс отмалчивался. Какие-то записи в маленькой книжке он делал — в основном новые словечки военного времени. Внуку Джойс покупал книги по древнегреческой мифологии и рассказывал, как воюют современные греки с итальянской армией. До оккупации Греции он не доживет.

Гьедоны устроили им рождественский обед у себя дома. Тишина, покой и отличная еда умилили Джойса, и когда хозяева заговорили о переезде из старого дома в новый, построенный по проекту Марселя Брейера, Джойс решительно воспротивился. Здесь, говорил он, вы ощущаете, на чем стоите. Посмотрите на эти могучие стены, на эти изысканные окна. К чему менять это на стерильность и хрупкость? Чистота — это хорошо. Но все растет на грязи.

К концу вечера Джойс с сыном распелись, ирландские песни и латинские гимны перемежались с записью Маккормака «Луна моей любви», которую сам Джойс с удовольствием повторил после гения. Остаться ночевать он не захотел: дом стоял на горе и, следовательно, был уязвим для гроз. Пусть даже это зима. Суеверия сохраняли в нем свою прежнюю силу.

В первую неделю января Джойс узнал, что Станислауса высылают из Триеста во Флоренцию, и отправил ему открытку со списком людей, к которым можно обратиться за помощью. Это было его последнее письмо. 8 января они с Норой ужинали в ресторане на Кроненхалле, с хозяевами которого, семейством Цумстег, Джойс был давно знаком: они были к нему привязаны. Фрау Цумстег принесла ему бутылку их лучшего «Мон Бене», Джойс поблагодарил и сказал фразу, которой тогда не понял никто:

— Полагаю, я здесь ненадолго.

Через двое суток, 10 января, в пятницу, Джойс снова зашел в ресторан после выставки французской живописи XIX века. Он пригласил туда же Пауло Руджеро, у которого был день рождения. Вернувшись домой, Джойс слег: у него начались жестокие спазмы в желудке. Ему становилось все хуже, и в два часа ночи Джорджо помчался за местным врачом, который ввел отцу морфин, чтобы снять боли, но морфин не действовал. Рано утром пришлось вызвать карету «скорой помощи», которая увезла Джойса в больницу Красного Креста. Стивен запомнил, как деда выносили на носилках и его тело, перетянутое ремнями, трепетало и билось, «как у рыбы». Рентген показал прободение язвы двенадцатиперстной кишки. Решено было срочно

оперировать, но Джойс поначалу отказался: наркоз означал, что он потеряет сознание, а это было одной из его главных фобий.

Переубедить его попросили Джорджо.

— Это рак? — спросил Джойс.

— Нет.

— Ты мне никогда не лгал, — сказал отец. — Скажи правду и теперь.

— Нет, это не рак, — повторил Джорджо.

— Тогда ладно, — почти передумал Джойс, но тут же нашел новый довод: — Но как же ты за это заплатишь?

— Не имеет значения, — сказал Джорджо, — как-нибудь управимся.

Фрау Гьедон нашла хирурга, доктора Фрейза, который тем же утром, в десять часов, прооперировал Джойса.

После полудня Джойс пришел в себя, и казалось, что операция удалась.

— Я уже думал, что не выберусь, — сказал он Норе. А потом снова начал спрашивать о стоимости лечения. Он выглядел обретающим силы, шутил, интересовался деталями события, но в воскресенье ему стало хуже. Очевидно, началось внутреннее кровотечение, и потребовалось переливание. Двое солдат швейцарцев со сходной группой из Невшателя дали свою кровь.

Нора с надеждой говорила: «Джим ведь крепкий…» Но это было скорее попыткой утешения. За последние годы Джойс и тут слишком много тратил и слишком мало получал.

Во второй половине дня он впал в кому. На минуту его удалось вывести из нее, и он тут же попросил, чтобы Норе поставили кровать рядом. Но врачи попросили ее и Джорджо уехать, пообещав немедленно звонить о любых изменениях.

В час ночи 13 января Джойс пришел в себя и попросил сиделку позвонить жене и сыну, а затем снова началась кома. В два часа Нору и Джорджо вызвали в больницу, но в два пятнадцать, пока они шли по вестибюлю, Джеймс Джойс умер.

Они вернулись в «Дельфин» в полчетвертого, и тут же завыли сирены воздушной тревоги. Завернув Стивена в одеяло, они спустились в подвал и сидели там до отбоя, мальчик без конца спрашивал о Nonno[163], а они отвечали, что с ним все в порядке. Утром его отправили к родственникам Хелен, а Джорджо поехал в похоронное бюро.

На рабочем столе Джойса оставались две книги — словарь древнегреческого языка и сборник Гогарти «Следом за святым Патриком». Фрау Гьедон позвонила скульптору Паулю Шпеку и с согласия Норы заказала посмертную маску. Католический пастор предложил отслужить погребальную службу, но Нора отказалась

наотрез.

— Не могу с ним это сделать, — сказала она.

Тело привезли 15 января. День был снежный и морозный, как в «Мертвых». Церемония проходила в Фридхофкапелле, на вершине холма, но Джойс уже ничего не боялся. Два крупных ирландских дипломата были в то время в Швейцарии, но ни один из них не пришел. Позже, когда Нора попросила отправить прах мужа в Ирландию и перезахоронить там, ей ответили отказом.

Лорд Деруэнт, британский посол в Берне, говорил на английском; Макс Гейлингер, поэт, говорил на немецком от лица Сообщества швейцарских писателей. Затем говорил профессор Генрих Штрауманн. Тенор Макс Мейли спел арию из «Орфея» Монтеверди «Прощай, земля, прощайте, небеса».

Деревянный гроб стали опускать в могилу, и Нора Джойс вдруг взмахнула рукой — то ли прощаясь, то ли пытаясь удержать своего Джима. Глуховатый коротышка, пансионер «Дельфина», увязавшийся за процессией, громко спросил подручного гробовщика, кого это хоронят. Подручный ответил:

— Герра Джойса.

— Кого-кого?

— Герра Джойса! — крикнул ему в ухо подручный, и в этот момент гроб коснулся дна могилы.

Ничего роскошного на могиле не поставили. Нынешний памятник достаточно скромен и похож на Джойса. Он не любил цветов, но дерево там растет. В литье изгороди вплетено изображение ирландской лиры. Никак иначе Ирландия не обозначена.

Лючии сообщили о смерти отца, но она не поверила. Когда Нино Франк навестил ее, она спросила его: «И что он делает под землей, этот идиот? Когда он решит вернуться? Он же все равно следит за нами».

Нора осталась в Цюрихе. Она жаловалась, что ей невыносимо скучно: «При нем всегда что-нибудь происходило». Когда ее спросили, она ли изображена в виде Молли Блум, Нора ответила:

— Конечно, нет — она куда жирнее.

Ее злили разговоры об «Улиссе» — она считала, что «Поминки по Финнегану» куда важнее, и добивалась от Марии и Эжена Жола, чтобы они наконец написали о романе. Интервьюеры добивались от нее воспоминаний о других писателях, которых она знала, но вряд ли читала, да и вряд ли помнила, и Нора наконец произнесла свою знаменитую фразу. В ответ на вопрос об Андре Жиде она сказала:

— Знаете, когда ты замужем за величайшим писателем мира, обо всех помельче как-то забываешь…

Чаще всего она вспоминала о его неуемности, о страсти к звуку, мелодии и наслаждении ими. Гостей и визитеров она водила на кладбище, находившееся рядом со знаменитым Цюрихским зоопарком, а парк вокруг Джойс сравнивал с Феникс-парком Дублина. Нора говорила:

— Тут похоронен мой муж. Он ужасно любил львов. Мне нравится думать, что он лежит и слушает, как они ревут.

Она скончалась от уремии 10 апреля 1951 года. Довольно часто ходила в церковь. Незадолго до смерти ее положили в монастырскую больницу, и она попросила священника исповедать, соборовать и причастить ее. Священник сказал последнее слово над ее могилой, упомянув, что она была «великой грешницей». Вряд ли он был прав.

Ее похоронили на том же кладбище, но места рядом с Джимом уже не нашлось. Жилищные проблемы способны продолжаться бесконечно.

Прямых родственников Джойса уже практически не осталось.

Чарльз Джойс умер в Лондоне через пять дней после смерти брата, 18 января 1941 года.

Станислаус Джойс умер в Триесте 16 июня 1955-го, в Блумов день.

Ева Джойс умерла 25 ноября 1957-го.

Эйлин Шаурек — 27 января 1963-го.

Маргарет Джойс, или сестра Мария Гертруда, монахиня монастыря Милосердия в Новой Зеландии — 1 марта 1964-го.

Флоренс Джойс — 3 сентября 1973-го.

Мэй Джойс-Монахэн — 8 декабря 1966-го.

Джорджо Джойс развелся с выздоровевшей Хелен и в 1954 году женился на художнице Асте Янке-Остервальдер, с которой и жил в Мюнхене до самой смерти в 1976-м, сохраняя репутацию не столько музыканта, сколько бонвивана и любителя выпить.

Лючия Джойс прожила в нортхэмптонской клинике Святого Андрея до 12 декабря 1982 года.

Стивен Джойс окончил Гарвард, долго работал в международном агентстве по экономическому развитию, в 1991 году вышел в отставку, живет в Париже и беззаветно сражается за наследие деда, затевая один процесс за другим. Единолично распоряжаясь архивом, он по своему усмотрению уничтожает документы — практически все письма Лючии погибли именно так. Алексис Леон продал библиотеке часть архива Джойса, и Стивен требует доказательств, что рукописи принадлежали ему или его родителям. Он накладывает свирепые вето на публикации и использование даже коротких текстов. В 2004 году он притянул к суду Ирландскую библиотеку за публичное чтение отрывков из

«Улисса» во время празднования столетия «Блумова дня», чем возмутил даже самых стойких защитников копирайта. Детей у него нет.

Племянник писателя, Джеймс Джойс, сын Станислауса, некоторое время был директором Дублинского центра Джеймса Джойса. Живет в Ирландии.

* * *

Последнее изгнание Джойса завершилось успешно. Им он управлять не мог, но первым правил жестко и целеустремленно. Джойс обрек себя на самоизгнание по многим причинам, но главная была в том, что ностальгия убивает среднего человека и дает электричество душе художника. Принято порицать такую точку зрения, высказанную многими интересными критиками и историками литературы. Возможно, и все же не в случае с Джойсом. Он это понял еще очень молодым человеком и стал удаляться от всего, что на самом деле любил. Рыбы никогда не открыли бы воду — они догадывались о ней только тогда, когда их выхватывали в чудовищную, сушащую, палящую, жестокую среду. В воздух. Джойс выбрасывал себя в воздух, чтобы писать.

Ян Парандовский, много и с упоением рассказавший о внешних механизмах, заводящих главный писательский мотор, не писал, насколько помнится, почти ничего о Джойсе. Рембо предлагал нормальному писателю «разрегулировать все свои чувства». Джойс обострил их до предела, наделив невероятной восприимчивостью. Слова его текстов будто бы разгонялись, как частицы в магнитном поле, и набирали энергию, не только увлекающую читателя — они разрушали свой носитель.

Джойс терял зрение, его выедало изнутри, но только так и можно было сделать то, что сделал он. Разумеется, метафоры конструировать легко, и у всех многочисленных болезней Джойса были совершенно материальные причины, однако так же явно, что и не только они. При обширной «гисториа морби» чтение самых физиологичных, самых слизистых фрагментов его прозы поражает именно здоровьем, стойкостью интереса ко всему, что держит человеческий состав, ко всему о плоти и разуме, которые неустанно перекликаются друг с другом. И все же он словно теряет этот состав, написав две эти книги, не думая и не тревожась больше ни о чем. Последний год он существует будто по недоистраченной привычке. Даже о Лючии он тревожится уже через силу. Возможность ареста всей семьи гестапо на границе из-за кое-как оформленных документов, похоже, практически его не

волнует. То, что вызвало к жизни эти тексты и заставило Джойса жить ради них, истратило его до самого конца, до последней капли сил и благодетельно прекратило его бытие, одновременно оставив его в памяти современников и передавая все дальше.

Еще одним из наиболее таинственных обстоятельств, плохо поддающимся любым биографическим исследованиям (не случайно современники и даже собеседники, ощущая титанизм его дара, не смогли даже краем глаза взглянуть в этот невероятный механизм), является работа сознания самого Джойса. Реконструкция любого творческого сознания до сих пор задача невозможная, а описание его мало что может добавить. Джойс выглядит обывателем, городской плесенью, Человеком-в-очках-и-шляпе, живущим по тем же законам, что и все.

Однако если поглядеть на него через волшебные очки, то мы увидим пылающий, раскаленный, яростно вибрирующий резец, стягивающий на себя все земные поля и так же яростно их рассекающий. Он проверяет на прочность всё. Дружба, товарищество, соратничество, семья, любовь, нравственность, право, вера, патриотизм — всему этому выносится не общий, а скорее сводный приговор: в нем собраны все дополнения к тому общему закону, который так страстно желали вывести романтики и все возможные комментарии, набиравшиеся реалистами.

Он страстно хотел, чтобы его читали. Он добивался этого. Но труднее всего делать это вместе с ним: Джойс хотел, чтобы его читатель одновременно видел и слово, и событие, «следил заходом показывания» (М. Хайдеггер). Сэмюел Беккет советовал читателю смотреть и слушать, стать соучастником. Джойс написал свой супертекст и еще при жизни стал его частью. То же происходило и будет происходить с любым, кто доверяет себя этому чтению. Оно может занять всю жизнь и даже стать ею. Имеются свидетельства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор считает неотменимым долгом искренне поблагодарить всех, без кого книга не появилась бы. Прежде всего это Сергей Сергеевич Хоружий, Григорий Иванович Кружков и Екатерина Юрьевна Гениева.

Особая благодарность — Дмитрию Львовичу Быкову за научение, веру и помощь, а также за высокие примеры литературного труда;

Нине Александровне Протопоповой — за неоценимую и многократную помощь в работе;

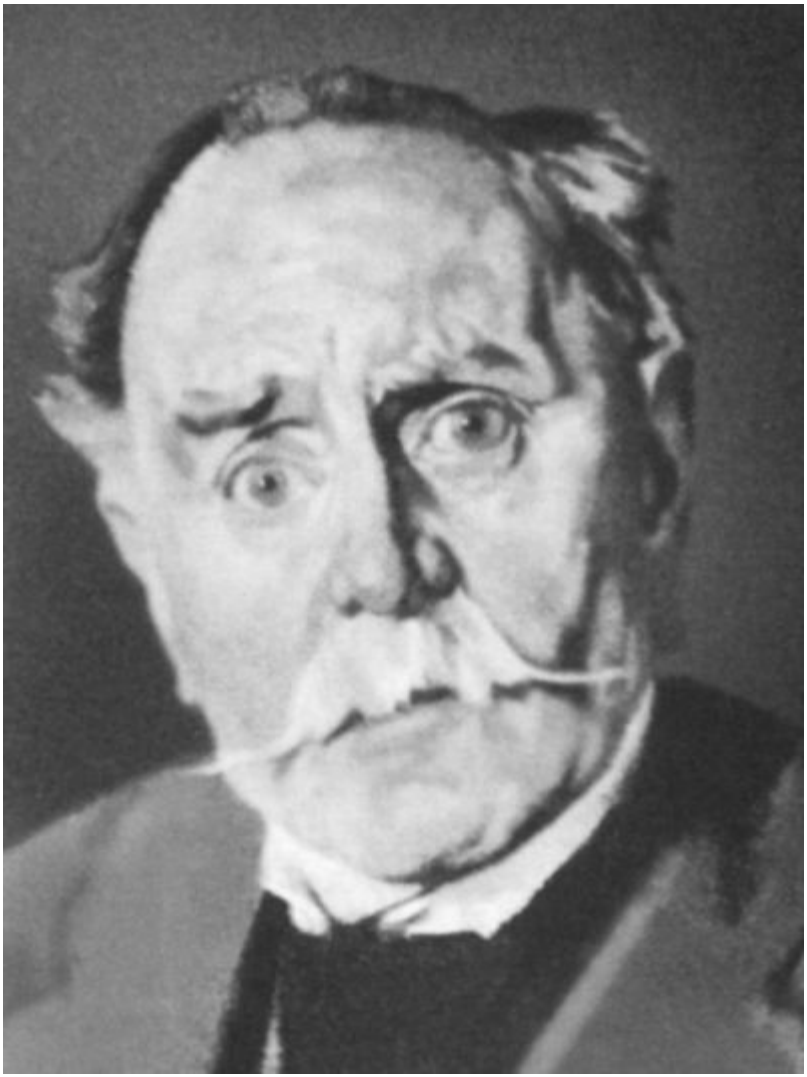
Арону Абрамовичу Брудному — за бескорыстное одобрение и предоставление замечательных материалов;

Марине Веанировне Земляных — за дружескую критику, профессиональные консультации и духовную близость;

а также печально многим из тех, кто расстался с автором прежде, чем он успел выразить свою признательность ученика, приязнь друга и просто любовь.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дом на Брайтон-сквер, 41, где родился Джойс



Отец — Джон Станислаус Джойс

Джеймс (Санни Джим) в шесть лет

Семья Джойсов в 1888 году. Слева направо: дядя отца Уильям О'Коннел, Джеймс, мать, отец

Бельведер-колледж

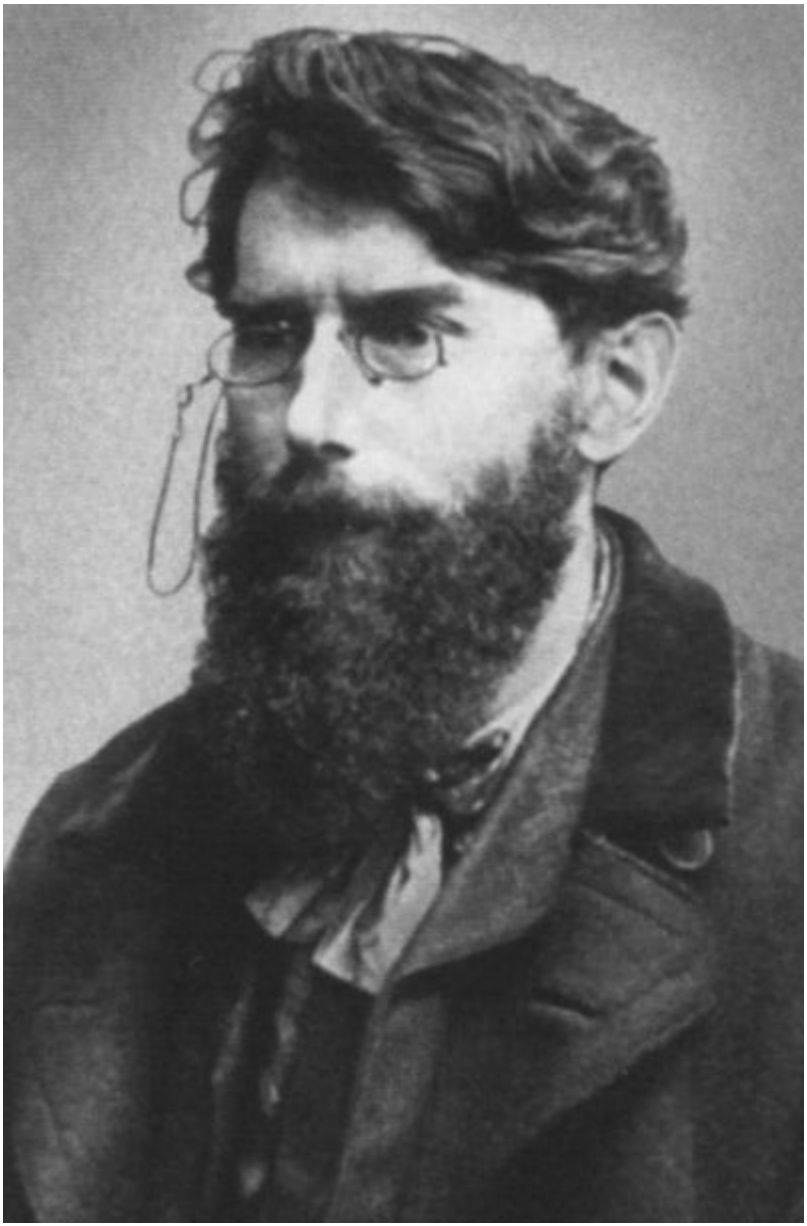
Джойс — студент

Дублин во времена молодости Джойса

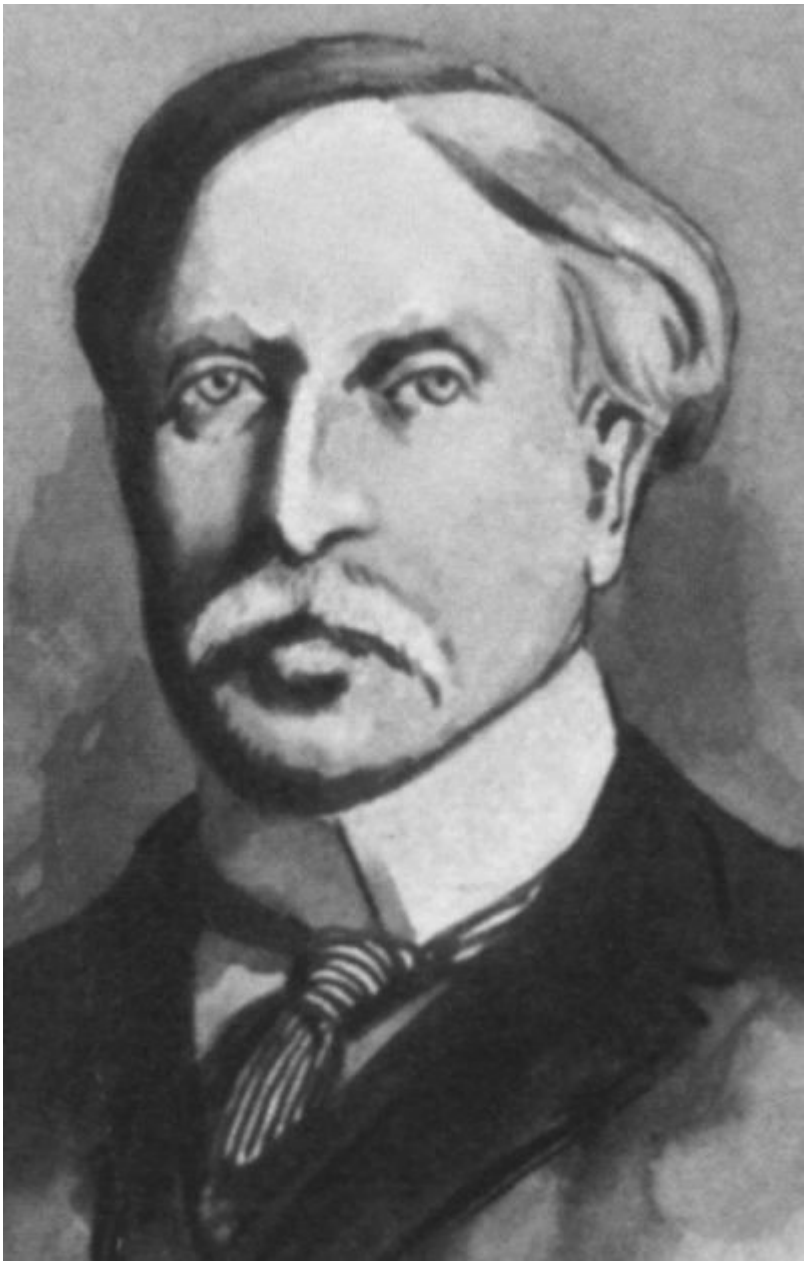
Национальная библиотека

Уильям Батлер Йетс

Леди Грегори

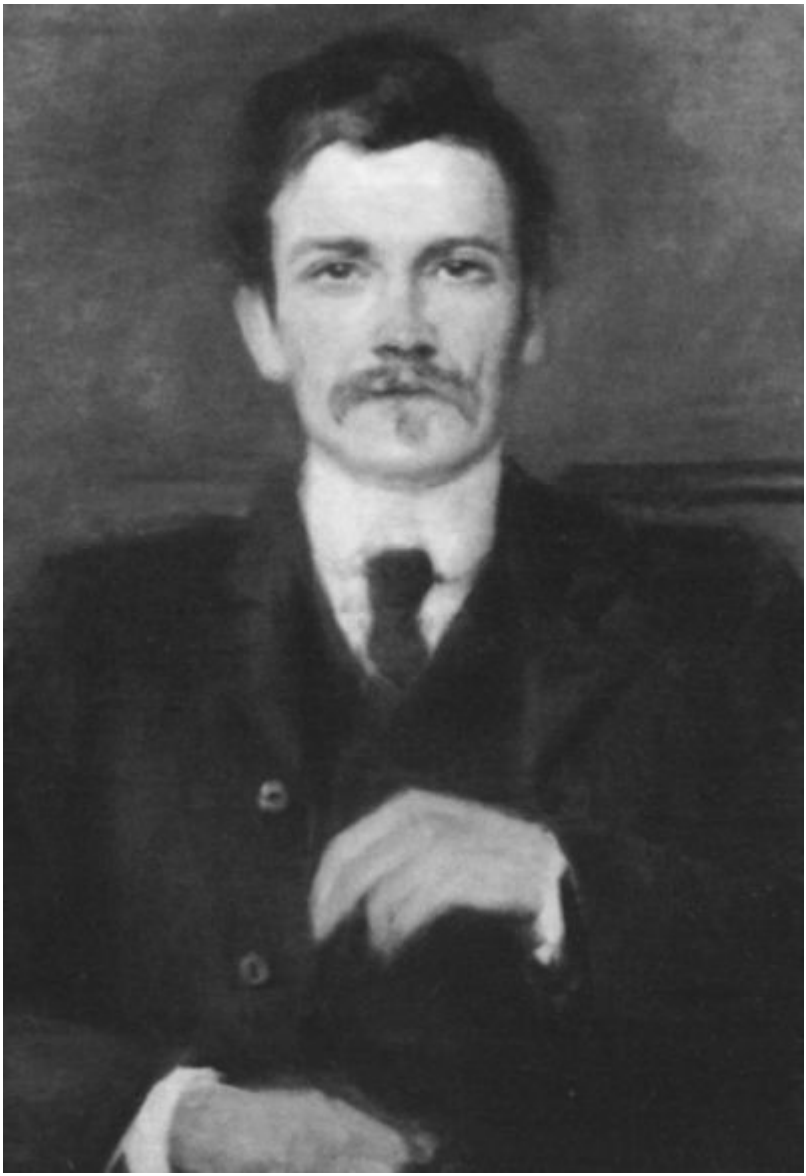


Джордж Рассел (А. Е.)



Джордж Мур

Театр «Аббатство»



Джон Миллингтон Синг

Башня Мартелло в Сэндикоуве

Оливер Гогарти

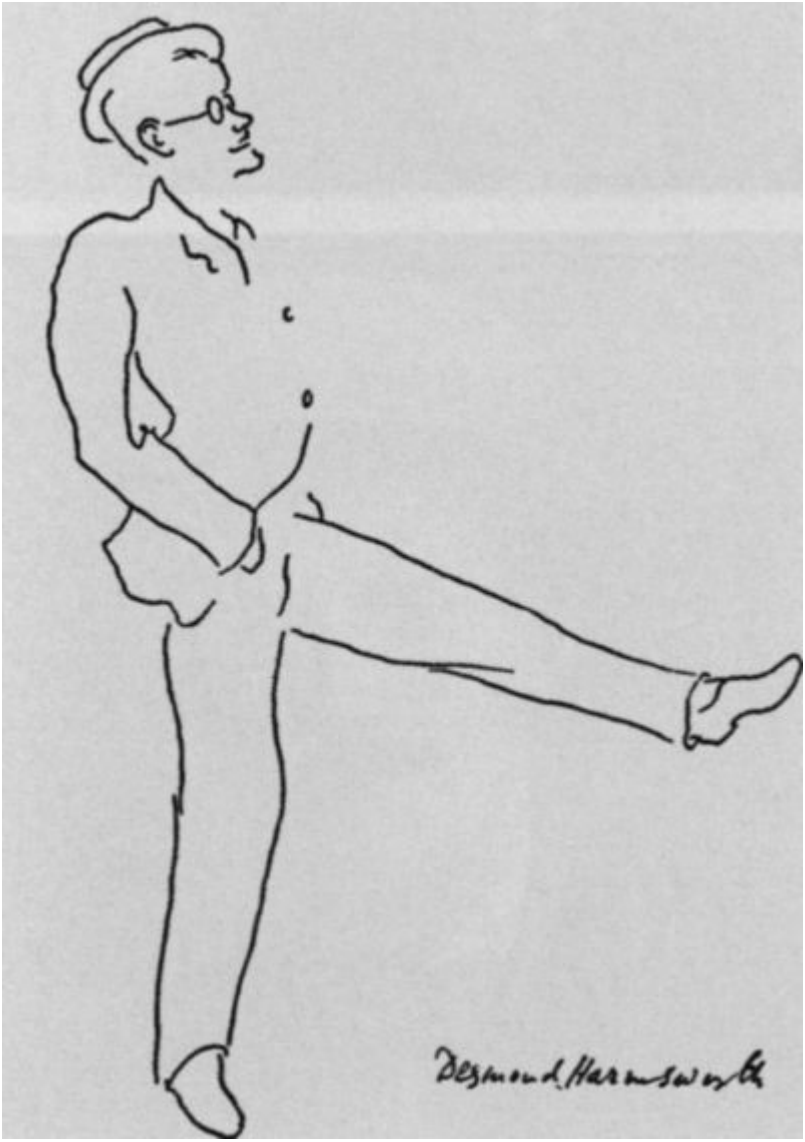
Станислаус Джойс

Нора Барнакл, будущая миссис Джойс

Триест в начале XX века

Итало Звево

Гарриет Уивер

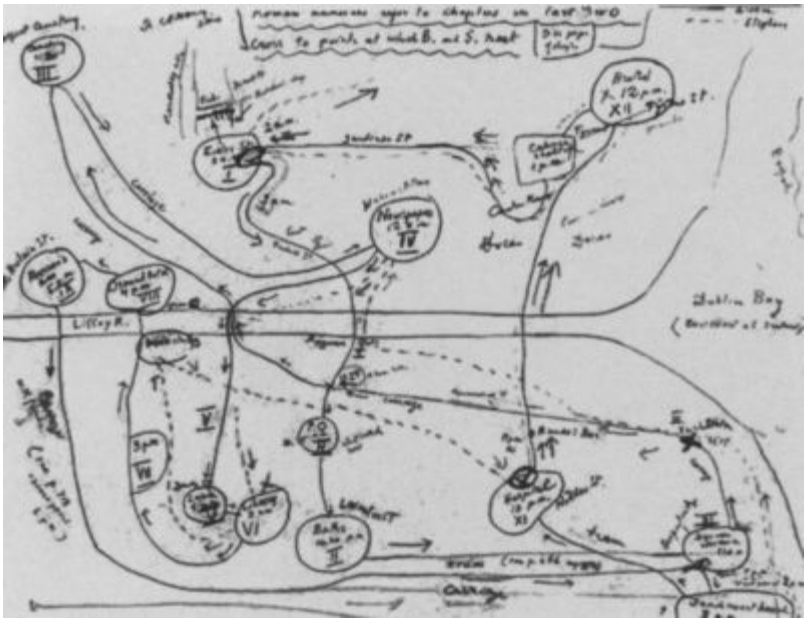


Джойс танцует. Рисунок Д. Хармсворта

Нора с детьми. 1914 г.

Джойс в 1915 году

Леопольд Блум. Рисунок Дж. Джойса



Путь Блума по Дублину. Рисунок Дж. Джойса

Джойс в Цюрихе. 1915 г.

Амалия Поппер

Обложки книг Джойса

События «Блумова дня» (16 июня 1904 года) в изображении художника Дж. Райена

Джойс в 1929 году. Фото Дж. Эббота

Джойс в Цюрихе. 1918 г.

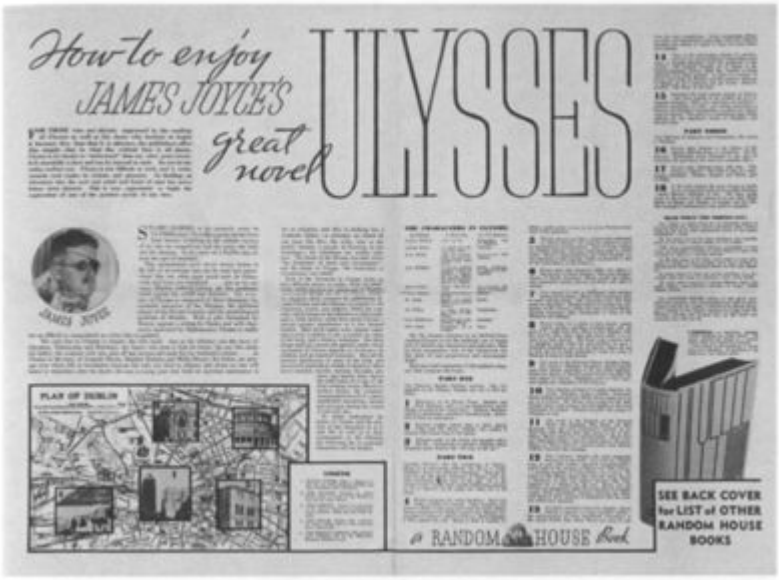
Марта Фляйшман с любовником, инженером Р. Хитпольдом

Дом Джойса в Париже

Рабочий кабинет Джойса

Английские писатели в Париже. Слева направо: Эзра Паунд, Джон Куинн, Форд Мэдокс Форд, Джеймс Джойс

Семья Джойса в 1924 году

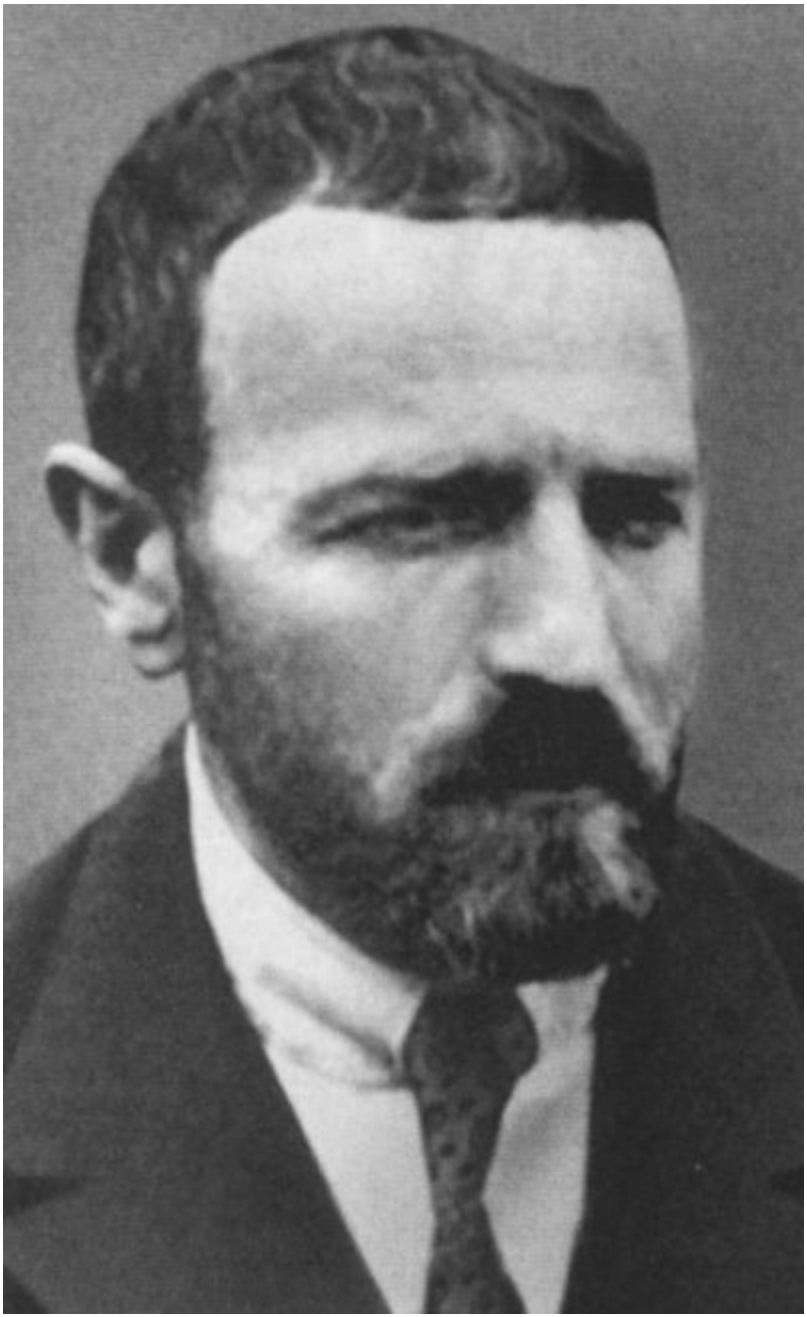


Рекламная листовка к дню выхода «Улисса»

Джойс и Сильвия Бич в магазине «Шекспир и компания»

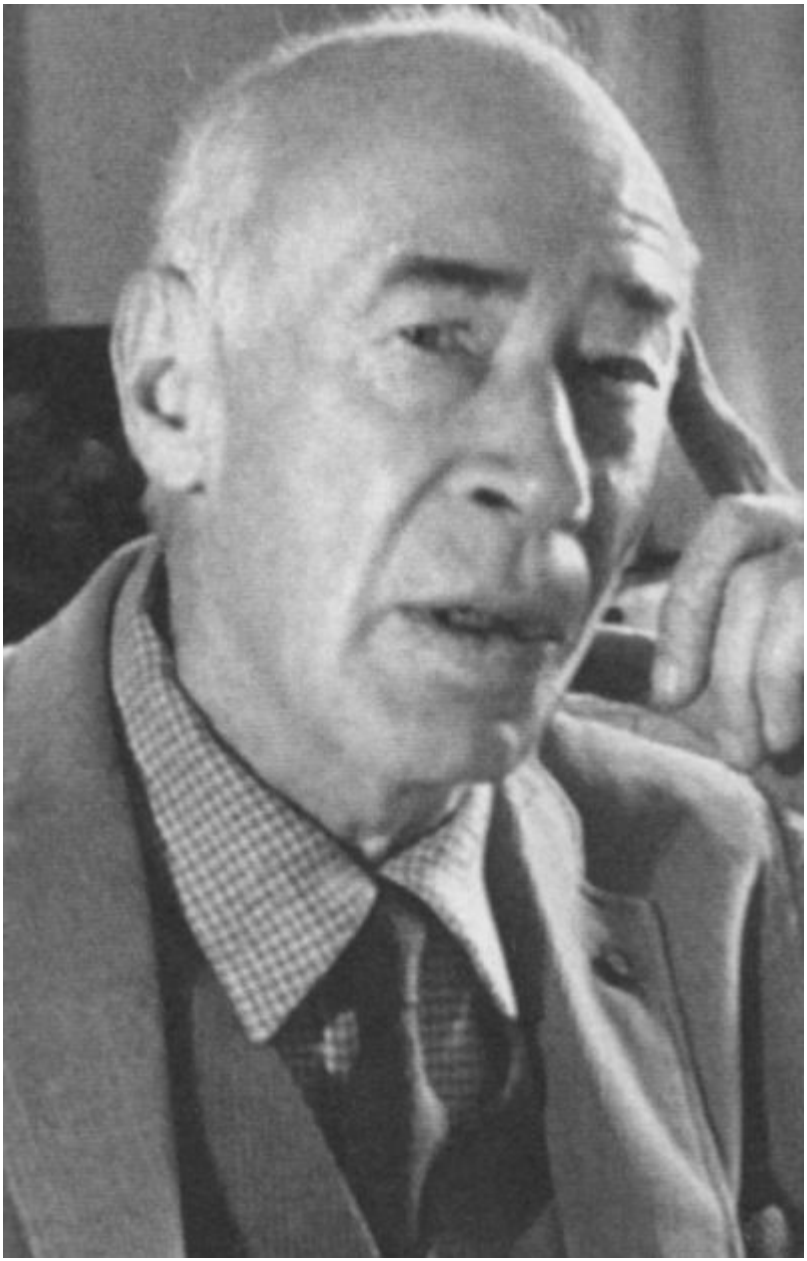
Нора Джойс в 1920-е годы

Джойс после серии офтальмологических операций

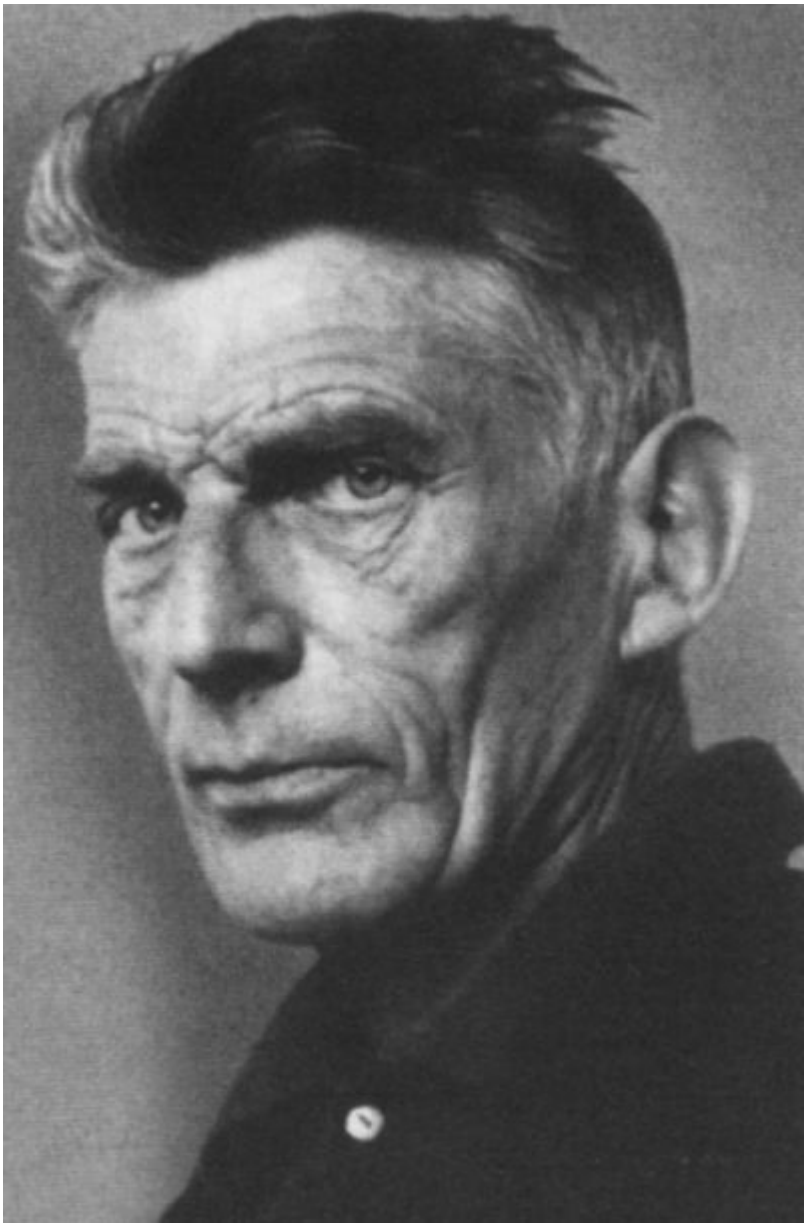


Фрэнк Бадген

Вирджиния Вулф

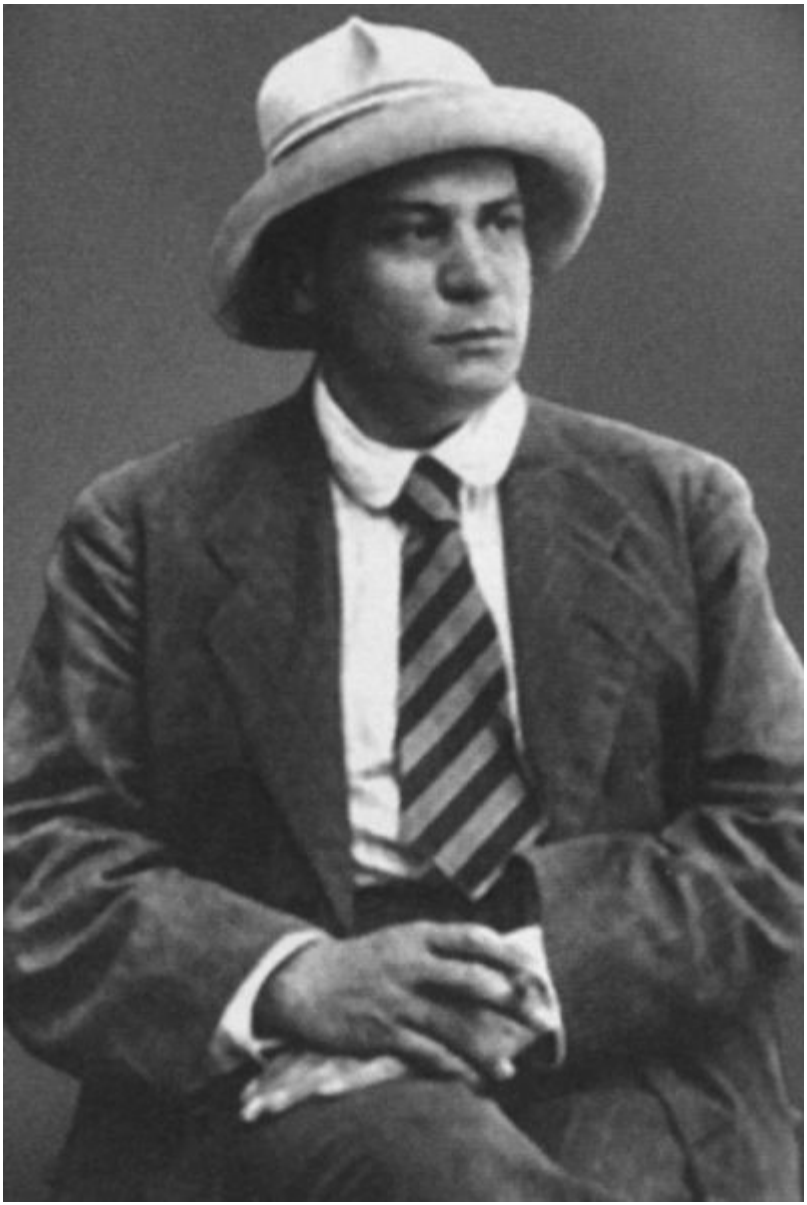


Генри Миллер



Сэмюел Беккет

Томас Элиот



Валери Ларбо

Жан Кокто

Джойс и Поль Леон

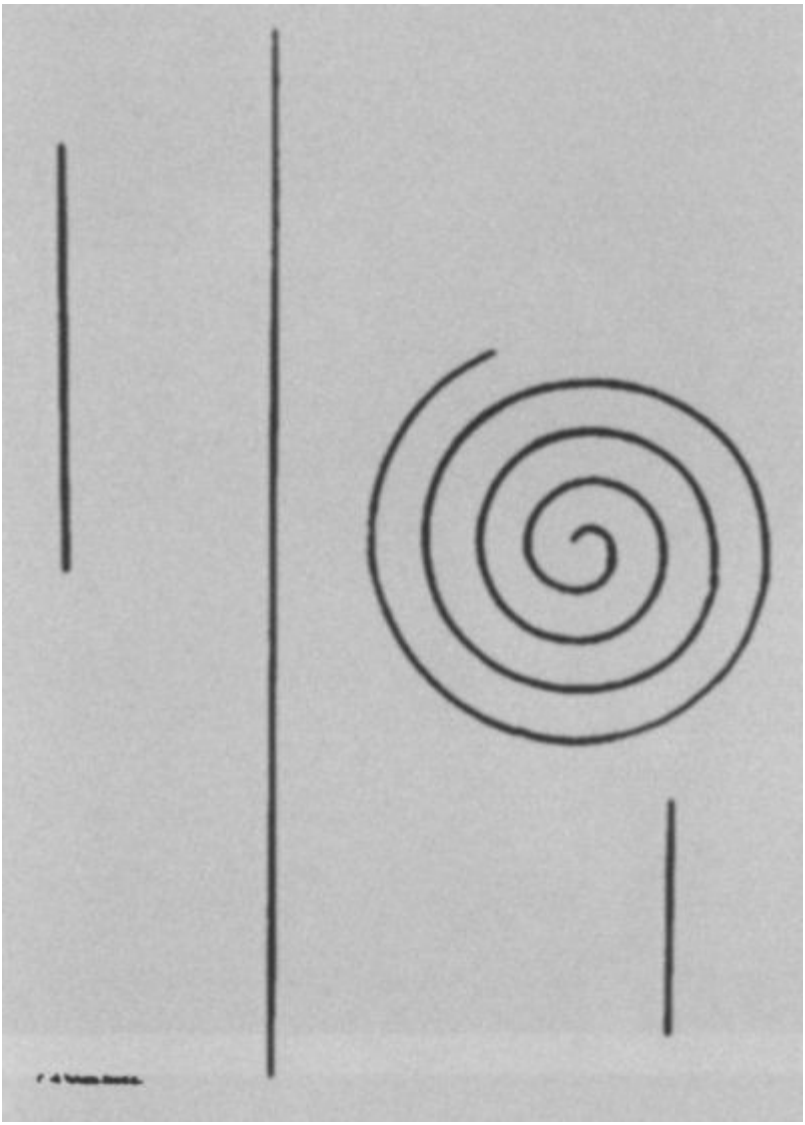
Джеймс Стивенс, Джойс и тенор Джон Салливан в Париже

Бракосочетание Джойса и Норы. 1931 г.

За пианино

Джорджо Джойс с женой Хелен Флейшман

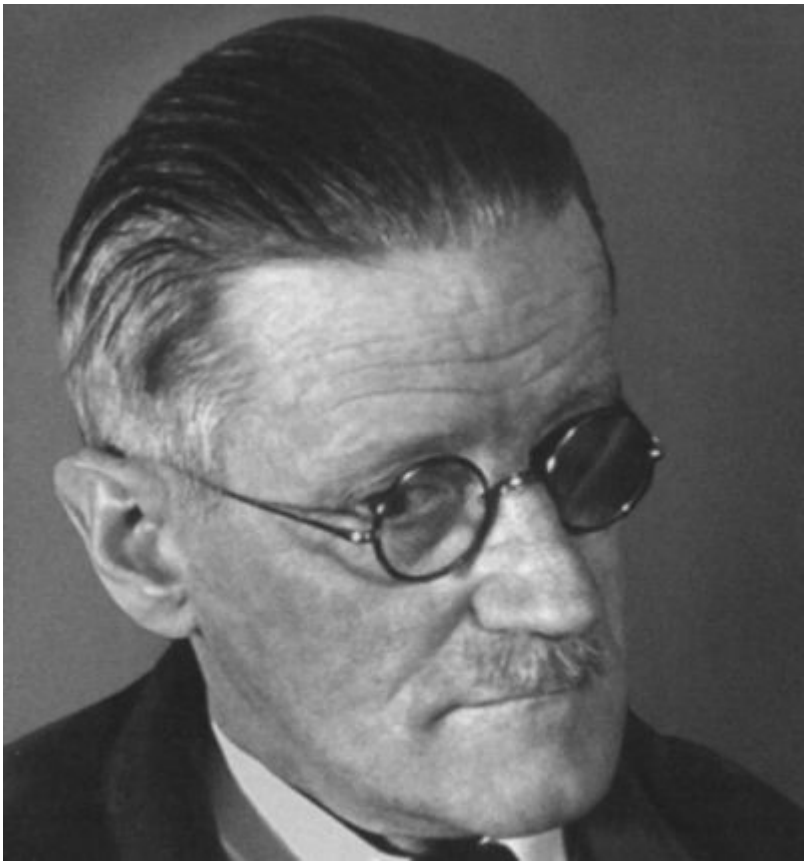
Джойс с внуком Стивеном



Портрет Джойса работы К. Бранкузи

Правка «Поминок по Финнегану»

Джойс в Цюрихе. 1938 г.



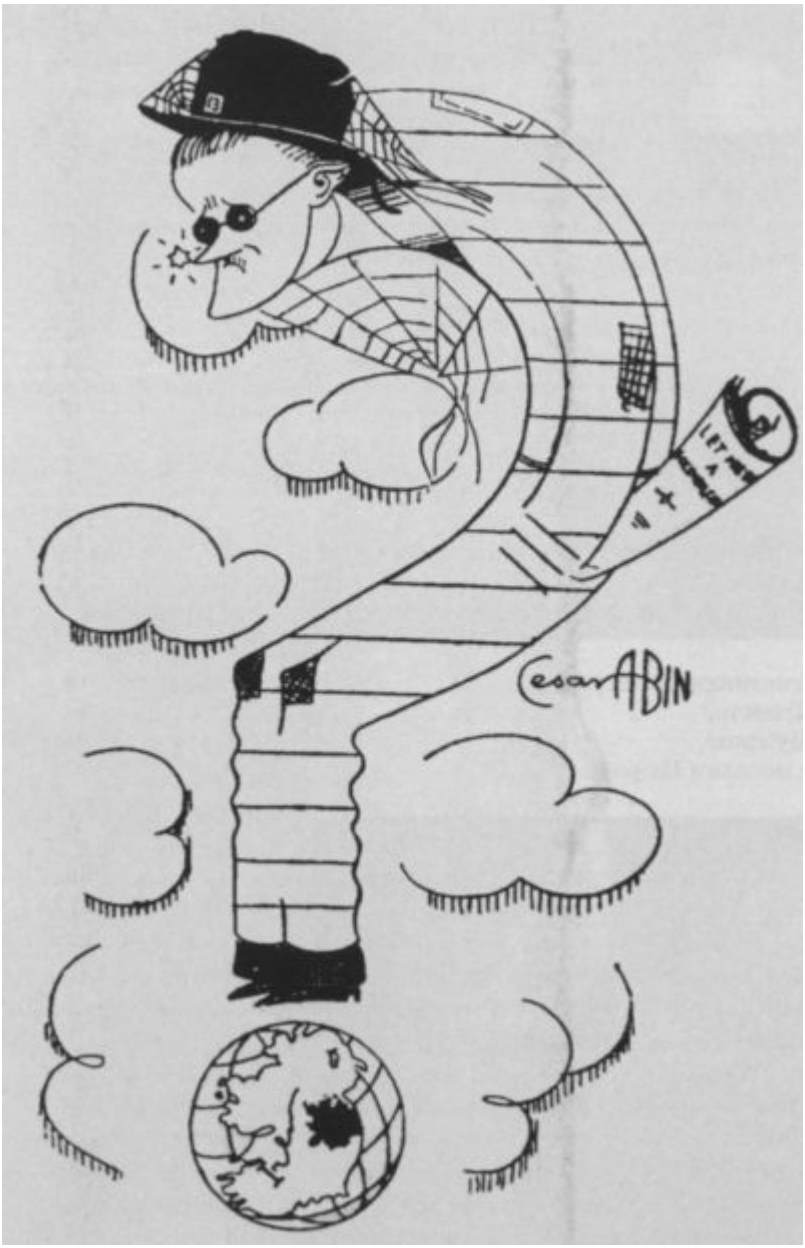
Последнее фото писателя

«Анна Ливия Плюрабель». Фонтан в Дублине

Памятники Джойсу: в Триесте,

в Дублине,

на могиле в Цюрихе



Карикатура французского художника Сезара Абена на Джойса — своеобразный эпиграф к творчеству писателя

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖ. ДЖОЙСА

1882, 2 февраля — в Дублине у Джона Станислауса Джойса и Мэри Джейн Джойс (Мюррей) родился Джеймс Огастин Алоизиус Джойс, старший из десяти выживших детей.

1888, сентябрь — Джойса отдают в Клонгоувз-Вуд, иезуитскую школу-интернат для мальчиков, где он остается до июня 1891 года.

1891 — первое известное произведение «Et Tu, Healy» — стихи на смерть Ч. С. Парнелла, отпечатанные частным порядком (не сохранились). Джойса забирают из школы по финансовым обстоятельствам.

1893 — по протекции отца Джона Конми Джеймса и его брата Станислауса определяют в иезуитскую школу Бельведер-колледж. По ее окончании в 1898 году он поступает в дублинский Юниверсити-колледж.

1900 — Джойс пишет пьесу «Блестящая карьера» (не сохранилась).

В «Фортнайтли ревью» напечатана его статья «Новая драма Ибсена».

1901 — Джойс пишет и печатает за свой счет эссе «День толпы», отвергнутое школьным цензором.

1902, июль — окончание колледжа.

Ноябрь — отъезд в Париж для учебы на медицинском факультете. Встреча в Лондоне с У. Б. Йетсом и Артуром Саймонсом.

1903, январь — возвращение в Париж после каникул в Дублине. Встреча с Дж. Сингом в Лондоне.

Апрель — возвращение в Дублин из-за болезни матери.

13 августа — смерть Мэри Джейн Джойс.

1904 — написан рассказ-эссе «Портрет художника». Сделаны первые наброски «Стивена-героя» (будет напечатан посмертно в 1944 году). 10 июня — встреча с Норой Барнакл.

16 июня — первое свидание с Норой, впоследствии ключевая дата «Улисса» и «Блумов день».

Октябрь — отъезд с Норой на континент. Переезд в Пулу (Австро-Венгрия) для работы в школе Берлица преподавателем английского языка. Изданы первые варианты рассказов «Сестры», «Эвелин», «После гонок».

1905 — перевод в Триест преподавателем школы Берлица.

27 июля — рождение сына Джорджо.

Октябрь — приезд Станислауса Джойса в Триест.

1906, июль — переезд семьи Джойсов в Рим. Работа в банке.

1907 — работа для триестской газеты «Пикколо делла сера», статьи об Ирландии. Написаны «Мертвые». Опубликована «Камерная музыка». Начата работа по переделке «Стивена-героя» в «Портрет художника в юности».

26 июля — рождение дочери Лючии Анны.

1909 — поездка в Ирландию с сыном. Вторая поездка в Ирландию, открытие кинематографа «Вольта».

1910 — возвращение в Триест. Банкротство «Вольты». Отложено издание «Дублинцев» в «Маунсел и К°».

1912 — последняя поездка в Ирландию. Набор «Дублинцев» рассыпан. Памфлет «Газ из горелки». Новые статьи об Ирландии в «Пикколо делла сера». Начало работы над «Изгнанниками».

1914,15 июня — Грант Ричардс печатает «Дублинцев». В журнале «Эгоист» до осени 1915 года печатается «Портрет художника в юности». Март — начата работа над «Улиссом».

Август — Первая мировая война.

1915 — австро-венгерские власти разрешают Джойсу уехать с семьей в Швейцарию. Написаны первые эпизоды «Улисса».

1917— «Портрет…» издан в Лондоне. Г. Уивер начинает поддерживать Джойса. Первые офтальмологические операции.

1918 — стипендия от миссис Маккормик. Создание с Клодом Сайксом труппы «Инглиш плейерс». Судебные разбирательства и скандал с британским консульством.

1919 — стипендия Маккормика отменена, в октябре Джойсы возвращаются в Триест. Преподавание в коммерческой школе и работа над «Улиссом».

1920 — встреча с Паундом в Италии. Переезд в Париж.

1921 — завершение работы над «Улиссом». Договор с Сильвией Бич об издании книги в Париже. 20 октября Джойс объявляет о завершении работы, но еще долго обрабатывает последние четыре эпизода.

1922, 2 февраля — напечатан «Улисс».

1923, март — первые наброски «Поминок по Финнегану».

1924 — ухудшение зрения. Первые фрагменты «Поминок…» напечатаны в «Трансатлантик ревью» Опубликована книга «Джеймс Джойс: первые сорок лет», биография Джойса работы Х. Гормана. Грамзапись авторского чтения фрагмента из «Улисса».

1925 — журнал «Крайтириэн» (Лондон) печатает второй фрагмент «Поминок…». Первая русскоязычная публикация Джойса — альманах «Новинки Запада», эпизод 18-й «Улисса» — «Пенелопа».

1927 — протест международной группы писателей против пиратского издания «Улисса» в США. До мая 1938 года отрывки «Поминок…» печатаются в журнале Эжена Жола. Публикация сборника стихов «Яблоки по пенни».

1928, 20 октября — выходит книгой «Анна Ливия Плюрабель». Публикация «Хода работы» в Нью-Йорке для защиты авторских прав.

1929 — издан французский перевод «Улисса».

1930 — серия офтальмологических операций. Угроза слепоты.

Декабрь — свадьба Хелен Кастор Флейшман и Джорджо Джойса. Встреча С. Эйзенштейна и Джойса в Париже.

1931 — регистрация в Лондоне брака Джеймса Джойса и Норы Джойс, урожденной Барнакл.

29 декабря — в Дублине в возрасте 82 лет умирает Джон Станислаус Джойс.

1932 — родился Стивен Джеймс Джойс, сын Джорджо и Хелен. Первые приступы болезни у Лючии Джойс. Знакомство и начало сотрудничества с Полем (Павлом Леопольдовичем) Леоном.

1933 — решение судьи Джона М. Вулси об отсутствии порнографии в «Улиссе» и возможности издания книги в США.

1934 — американское издание «Улисса».

1936, декабрь — напечатан сборник «Избранные стихотворения».

1939, 2 февраля — Джойс получает первый переплетенный экземпляр «Поминок по Финнегану», хотя официально книга будет отпечатана в США и Англии только 4 мая.

1940 — оккупация Франции нацистами. Из Виши Джойсы перебираются в Цюрих. Лючию увозят нелегально из-за ошибки в документах. 1941, 13 января — в возрасте 59 лет Джеймс Джойс умирает в больнице Красного Креста в Цюрихе после операции прободной язвы двенадцатиперстной кишки.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. ДЖОЙСА

Джойс Дж. Собрание сочинений. Т. 1–3. М., 1993.

Джойс Дж. Герой Стивен. Портрет художника. М., 2003.

Джойс Дж. Дублинцы. Портрет художника в юности. Стихотворения. Изгнанники. Статьи и письма. М., 2004.

Joyce J. Epiphanies. Ed. by O. A. Silverman. Buffalo, 1956.

Joyce J. Chamber Music. London, 1907.

Joyce J. Dubliners. London, 1914.

Joyce J. Giacomo Joyce. With an introduction and notes by R. Ellmann. London, 1968.

Joyce J. Stephen Hero. London, 1944.

Joyce J. A Portrait Of The Artist As A Young Man. London, 1917.

Joyce J. Exiles. A play in three acts. London, 1918.

Joyce J. Ulysses. Paris, 1922.

Joyce J. Poems Pennyeach. Paris, 1927.

Joyce J. Collected Poemes. London, 1936.

Joyce J. Finnegans Wake. London, 1939.

Joyce J. Letters of James Joyce Vol. 1–3. N.Y., 1957 — 66.

2. ИССЛЕДОВАНИЯ

Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс. — В кн.: Английская литература XX века. 1918–1939. М., 1965.

Гениева Е. Ю. И снова Джойс. М., 2011.

Хоружий С. С. Портрет художника // Топос. Литературно-художественный журнал. 2003. № 2–3 http://topos.ru/article/869

Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994.

Budgen F. James Joyce and the Making of Ulysses. London, 1934.

Benstock B. James Joyce: The undiscover'd country. Dublin-N.Y., 1977. Campbell J., Robinson H. M. A Skeleton Key to Finnegans Wkke. London, 1944.

Costello P. James Joyce. The Years of Growth. N.Y., 1992.

The Cambridge Companion to James Joyce. Ed. by Derek Attridge. Cambridge, 1990.

Deming R. H. James Joyce: The Critical Heritage. Routledge, 1997.

Ellmann R. James Joyce. Oxford, 1959 (revised edition 1982).

Fargnoli N. A., Gillespie M. P. Joyce A to Z. Oxford, 1995.

Goldberg S. L. Joyce. Edinburgh, 1969.

Gorman H. James Joyce. N.Y., 1924.

Hodgart M. James Joyce: A Student's Guide. London, 1978.

James Joyce: A Collection of Critical Essays. Ed. by M. T. Reynolds. Englewood Cliffs (N.J.), 1993.

James Joyce's «Dubliners». Critical Essays. Ed. by Clive Hart. London, 1969. Joyce S. My Brother's Keeper. N.Y., 2003.

Kenner H. Dublin's Joyce. Bloomington (Indiana), 1956.

Power A. Conversations with James Joyce, ed. Clive Hart. N. Y., 1974. Tindall W. Y. A reader's guide to James Joyce. N.Y., 1959.

notes

Примечания

1

…И смотрел бы на мир, в котором венчаются в церкви… (У. Б. Йетс «Заячья кость»). Здесь и далее фрагменты, где не указан переводчик, переведены автором.

2

Дэниел О’Коннел (1775–1847) — ирландский политический деятель, боровшийся за права католиков и самоуправление Ирландии. Получил прозвище «Освободитель». — Прим. ред.

3

Фении — члены тайных революционных обществ, боровшихся во второй половине XIX века за независимость Ирландии. Широко применяли террористические методы. — Прим. ред.

4

Я родом из Ирландии, святой земли Ирландии… (У. Б. Йетс «Слова, возможно, для музыки», перевод Г. Кружкова).

5

Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — ирландский политик, лидер движения за гомруль, основатель Земельной лиги.

6

«И ты, Хили» (лат.) — перифраз крылатого выражения «И ты, Брут».

7

Фредерик Марриет (1792–1848) — английский писатель-маринист, друг и современник Диккенса. Писал в основном для подростков и невзыскательных взрослых читателей.

8

Мысль переходит в образ, а душа — в телесность формы… (У. Б. Йетс «Фазы Луны», перевод Г. Кружкова).

9

Уильям Уайльд (1815–1876) — знаменитый ирландский медик, археолог и фольклорист, отец Оскара Уайльда.

10

Молитвы, читаемые по четкам, а также сами четки или кольцо с четырьмя выступами, соответствовавшими молитвам «Отче наш», «Радуйся», «Мария» и «Слава» — так называемый «ирландский розарий» для скрытого ношения в период преследования католиков.

11

Игра слов — роман Т. Харди называется «Jude the Obscure», а смущенный мальчик спрашивает «Jude the Obscene».

12

Ирландское возрождение — движение ирландской интеллигенции за возврат к национальной самобытности, гэльскому языку и культуре. Его лидерами были поэт У. Б. Йетс, эссеист Дж. Рассел, драматург Дж. М. Синг, фольклорист И. О. Грегори. — Прим. ред.

13

…Она из всех возможных избирает/ Труднейший путь. Душа и тело вместе / Приемлют ношу… (У. Б. Йетс «Фазы Луны», перевод Г. Кружкова).

14

Джон Генри Ньюмен (1801–1890) — крупнейший теолог и писатель периода викторианства. Реформатор англиканской церкви, перешедший затем в католицизм. Стал кардиналом, выработал многие положения, легшие в основу Второго Ватиканского собора задолго до его проведения (1962–1965). Автор популярной автобиографии «Оправдание моей жизни». Джойс ценил его как блестящего стилиста и парадоксалиста.

15

Перевод М. Богословской.

16

Перевод Г. Кружкова. Фергус мак Ройг — герой ирландского эпоса. В трактовке Йетса — король, отказавшийся от власти, чтобы постичь мудрость мира.

17

Ирландское свободное государство (Irish Free State) создано в 1922 году в соответствии с англо-ирландским договором как британский доминион. С 1937 года — Ирландская Республика. — Прим. ред.

18

Пиво, говядина, бизнес, библии, бульдоги, крейсера, педерастия и епископы (англ.).

19

Так в документе.

20

Актеры и расцвеченная сцена мою любовь забрали целиком… (У. Б. Йетс «Мой усталый цирк»).

21

«Дикая утка»(Vildanden) — название одной из самых популярных пьес Ибсена.

22

Перевод М. Богословской.

23

В русскоязычной литературе чаще встречается вариант «Патер». Однако фонетику еще никто не отменял.

24

Бросить бы мне этот берег и уплыть далеко…(У. Б. Йетс «Заячья косточка», перевод Г. Кружкова).

25

Кэтлин-ни-Хулиэн — персонаж ирландского фольклора, бездомная старуха, просящая о заступничестве и превращающаяся после него в молодую царственную красавицу. Популярный символ Ирландии, эксплуатировавшийся националистами. Использован Йетсом и леди Грегори в пьесе того же имени (1902).

26

Я ночью на огромный дом набрел, кружа впотьмах,
Я видел в окнах свет — и свет в распахнутых дверях (У. Б. Йетс «Проклятие Кромвеля», перевод Г. Кружкова).

27

Перевод М. Богословской.

28

Легендарное древнеирландское племя.

29

Жалость он приберегал для себя (англ.). — Прим. ред.

30

В оригинале — NOTHER.

31

Рвать, рыскать, рваться от корней,
Покуда не придет в пустыню правды… (У. Б. Йетс «Меру»).

32

Перевод Н. Дарузес. Целомудрие русского перевода огорчительно: в оригинале вместо «физическое влечение» стоит «sexual intercourse», что, как известно, далеко не одно и то же.

33

Женщины и дороги — страсть моя и судьба…(У. Б. Йетс «Буйный старый греховодник», перевод Г. Кружкова).

34

Ангус — волшебник, делавший невидимым то, что накрывал полой своего колдовского плаща. Он же в кельтской мифологии — бог любви, юности и поэтического вдохновения.

35

Премия для поэтов Оксфорда, учрежденная в честь сэра Роджера Ньюдигейта, вручающаяся с 1806 года. Ее лауреатами были Мэтью Арнолд и Оскар Уайльд. Гогарти в списке лауреатов нет.

36

Любительский концерт в саду (фр.).

Ряполова В. А. У. Б. Йетс и ирландская художественная культура. М., 1985. С. 111.

«Век Брахмы» — 311 040 000 000 000 лет.

39

Дражайшая (ит.).

— Ну и чушь! — оценила она. — А теперь скажи по-простому.

41

Театр «Эбби» («Аббатство»), основанный в декабре 1904 года Йетсом и леди Грегори, стал центром пропаганды идей Ирландского возрождения.

42

Я был на тропе камней…(У. Б. Йетс «Он скорбит о перемене…»).

43

Кампаньи Дино — средневековый историк, писатель и политик XIII–XIV века, автор знаменитой «Хроники».

44

«Земля» — в наиболее распространенном русском переводе Е. Калашниковой.

45

Мир держится на многих обручах (У. Б. Йетс «Меру», перевод Г. Кружкова).

46

Игра слов: ménage à trois (фр.) — «брак втроем», ménage à Trieste — брак в Триесте.

47

В наиболее распространенном русском переводе Н. Дарузес. Вариант Е. Ю. Гениевой, «Прискорбный случай», для «A Painful Case» выглядит литературнее и точнее.

48

Я знаю: есть остров за морем, волшебный затерянный край… (У. Б. Йетс «Белые птицы», перевод Г. Кружкова).

49

Женщина, также «баба» и «самка» (нем.).

50

Я плоть (или «мясо»), что вечно утверждается (нем.). Перифраз слов Мефистофеля из трагедии И. В. Гёте «Фауст»: «Ich bin der Geist, der stets verneit» — «Я дух, что отрицает (всё)».

Один из них — божба, поминание всуе Богородицы, сокращение от «By Our Lady».

52

Я чувствую, как жизнь мою несет/Неудержимым током превращений… (У. Б. Йетс «Фергус и друид», перевод Г. Кружкова).

53

Джойс обыгрывает ошибку Блума: вместо «poesia» он говорит «Poetria», что созвучно с «patra» и «porcheria» — грязь, свинство.

К сожалению, в русском переводе (С. Я. Маршак) этой классической строки А. Теннисона закрепилось жестокое «мертвой» и «голос, которого нет», тогда как в оригинале гораздо более мягкое «vanished» и «the voice is still». Зато «days that are dead» превратились в умильные «потерянные дни».

55

…И пел, чтобы смягчить ирландское зло… (У. Б. Йетс «Ирландии грядущих времен»).

«Funferal» и «funferal» в оригинале.

Преданный (англ.).

Здесь и далее перевод О. Холмской.

59

Bodkin — кинжал (англ.).

60

Я жажду перестроить их заново… (У. Б. Йетс «Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце»).

61

Зло от многих уродств — зло слишком большое, чтобы о нем рассказать (У. Б. Йетс «Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце»).

Любовь несчастна, когда любви нет (англ.).

63

И знание в его глазах, что дураку никак не дастся… (У. Б. Йетс «Еще одна песенка шута»).

Затемняй! (др. — гр.).

Перевод М. Богословской.

66

Восстала дева с горькой складкой рта
В великой безутешности своей…(У. Б. Йетс «Печаль любви», перевод Г. Кружкова).

67

Страданья изведав сама, знаю, как страдавшим помочь (лат.).

Католичнейших (ит). Джойс имеет в виду сестер.

Обыгрывается значение фамилии — «драгоценный» (ит.).

70

Солнце взошло для вас (ит.).

71

Одни слова еще добры,
И только в песне — утешенье… (У. Б. Йетс «Песня счастливого пастуха», перевод Г. Кружкова).

И все, что было для меня безмерно,
Тяжелым бременем, ему казалось
Простым и легким… (У. Б. Йетс «Фергус и друид», перевод Г. Кружкова).

73

Здесь и далее перевод Н. Киасашвили, местами крайне приблизительный. Фразы на немецком, итальянском и латинском без пояснений переведены на русский.

Здесь и ниже — подстрочный перевод.

И никогда не возвращаться (ит.).

76

Что, если прежняя Венера (то есть любовь) вернется? (лат.).

Не его, но Варавву! (Иоанн, 18, 40).

Перевод Г. Кружкова.

79

«Cantos» — назвал свой сборник Паунд, подразумевая «Песни». Однако «песни» по-итальянски canti.

80

Общее торжество (фр.).

81

Формально — вторая, но никто и никогда не пытался отнестись к «Блестящей карьере» всерьез, а «Вещество снов» просто не сохранилось. «Изгнанников» хотя бы ставили — первым был знаменитый английский режиссер и драматург Гарольд Пинтер в 1970 году, в лондонском театре «Русалка».

И чей-то образ, человек ли, тень,
Скорее тень, чем человек, скорей не тень, а лик… (У. Б. Йетс «Византия»).

83

Перевод М. Лозинского.

84

Встреча с матерью — четвертая остановка Иисуса на виа Долороса.

Беззаконная (англ.).

86

Снова джойсовский код — отец Блума, чья фамилия Вираг, «цветок» на венгерском, отравился аконитом, ядом, получаемым из корней красивого цветка.

Сердце… Бог… тобой… (нем.).

Еврей-странник (англ.). То же, что «Вечный жид».

89

Баба (нем.).

Вечно женственное (нем.).

91

Когда взбесилось и завыло время… (У. Б. Йетс «Ирландии грядущего»).

92

Перевод М. Л. Лозинского.

93

Модный танец; другое значение — беззаботная прогулка.

94

Добудь все золото, и серебро, все, что сумеешь, насыщай тщеславие… (У. Б. Йетс «Выбор»).

Чужого хлеба (ит).

96

Середина пути (ит.).

97

Прощайте навеки, счастья мечтанья (ит.).

98

Роза таинства, молись за нас; башня Давидова, молись за нас; башня слоновой кости, молись за нас (лат.).

99

Да здравствует Ирландия! (букв. Ирландия навсегда!) (гэльск.).

100

Я никогда не пишу статей *(фр.)*.

101

Потому что кто-то вложил боль и ярость, желанье и страх в ноги мои…(У. Б. Йетс «Он скорбит о перемене…», перевод Г. Кружкова).

Cul — задница (фр.).

103

Имеется в виду древнегреческая пародия на «Илиаду» — поэма «Война мышей и лягушек». — Прим. ред.

104

Я ищу в себе свой новый образ — антипода, во всем несхожего со мною прежним… (У. Б. Йетс «Ego Dominus Tuus», перевод Г. Кружкова).

105

Возможно, Теодоро Майера.

«Белая луна» (фр.).

107

«И в сердце растрава…» (перевод Б. Пастернака).

«Алеют слишком эти розы…» (перевод Ф. Сологуба).

109

Книга — свинья (искаж. нем.).

От «arse» — задница (англ.).

111

Перевод Г. Кагана.

112

Но храм любви, стоит, увы,/ На яме выгребной… (У. Б. Йетс «Безумная Джейн говорит с епископом», перевод Г. Кружкова).

113

Перевод Г. Кружкова.

Платоническая любовь (нем.).

115

Кредит закрыт (нем.).

116

Какой барыш на свете может ждать/Того, кто, пошлый сон стряхнув, узрел/ Распад и безысходность? (У. Б. Йетс «Ego Dominus Tuus», перевод Г. Кружкова).

117

О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).

118

Каламбур: фунт (pound) пишется также, как фамилия Паунд.

119

Жажда странствий (нем.).

120

Спой до конца, пропой о той награде, /Что этот путь таинственный венчает… (У. Б. Йетс «Фазы Луны», перевод Г. Кружкова).

121

Выпрямляю согнутое (лат.).

122

Перевод Е. Любимовой.

123

Здесь и далее перевод А. Сергеева.

124

Броганы — грубые ботинки ирландских крестьян. Также презрительное прозвище ирландцев, наподобие русского «лапотники».

125

Насмешничая, я воздвигну символ сил… (У. Б. Йетс «Кровь и луна»).

126

Джойс опять обыгрывает school и cul — задница (фр.).

127

Обыгрывание названия книги Ф. Ницше «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» (1878).

128

Юноша! Тебе говорю, встань! (Евангелие от Луки, 7:14).

129

Французское «Vespasian», по имени римского императора, введшего налог на уборные и выгребные ямы, в просторечии означает «мочевой, мочеиспускательный».

130

Перси Биши Шелли «К…» (перевод Б. Пастернака).

131

С точки зрения наших времен (лат.).

132

Месяц рождения Джойса и день рождения Г. Уивер.

133

Ф. Бадген — наполовину корнуоллец.

134

Джек Далтон считал, что в первом издании было около двух тысяч ошибок.

135

Ну нет! Ну нет! (фр.).

136

Когда ушла великая мечта…(У. Б. Йетс «В тени Бен-Балбена»).

137

Cork — пробка (англ.).

138

Странная небесполезная эта вещица, /Хрупкая раковина, что бледно искрится… (У. Б. Йетс «Последняя ревность Эммер», перевод Г. Кружкова).

139

Кварк — одно из самых популярных слов «Поминок…»: так названа в квантовой физике одна из элементарных частиц. Производные термины еще поразительнее. Считалось, что это подражание крику чаек, вьющихся над Марком, или просто заумь. Но в записях М. Л. Гаспарова есть ссылка на Вяч. Вс. Иванова, поясняющего его как жаргонное венское словечко, передразнивающее славянское «творог», а оно, в свою очередь, выводится от «творить», как «fromage» от «fromare».

140

К внимательному читателю: да, я знаю, что в этом предложении все слова, кроме «но», начинаются с «п».

141

«Мольба» (перевод Г. Кружкова).

142

Мучаясь счетом, оком крота иль орла, или не видя, не слыша… (У. Б. Йетс «Последняя ревность Эмер»).

143

Но кроме этого… (фр.).

И так далее (нем.).

145

Письменное показание, заверенное нотариусом.

Анонимных дотаций от мисс Уивер.

147

В оригинале Wholesale Safety Pun Factory — мисс Уивер тоже не уступает в игре словами: a safety pin — «английская булавка».

148

И мне это совершенно все равно… (фр.).

149

Спи, любимый, отрешись/От забот и от тревог… (У. Б. Йетс «Колыбельная»),

150

Имеется в виду туалет.

151

Благодарю тебя, Господь, за это чудо. Через двадцать лет я снова вижу свет (фр.).

152

Сравнительно малоизвестный, но наиболее точный и эмоционально близкий перевод А. Ливерганта.

153

И если дочери рука безумная коснется… (У. Б. Йетс «1919»).

154

Тоска (фр.).

155

Обнимаю тебя, папа (ит.).

156

Я очень печален (фр.).

157

Смерть или достойная жизнь (лат.).

158

И слышу зов тесных могил — меня и дитя окликают мое… (У. Б. Йетс «Неукротимое племя»).

159

«Старое доброе время» — шотландская национальная песня на стихи Р. Бернса.

«Поминки по фее» (англ.).

161

Скорбный путь (ит.).

162

Дряхлое сердце мое, очнись, /Вырвись из плена дряхлых дней! (У. Б. Йетс «В сумерки», перевод Г. Кружкова).

163

Дедушка (ит.).